



Журнал

Редактор Евгений Беркович

**СЕМЬ
ИСКУССТВ**

Наука

Культура

Словесность

7/2012

Журнал
«Семь искусств»

Июль 2012

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник Дорота Белас

2012

Журнал

«Семь искусств»

Июль 2012

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная вёрстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер

Издательство «Общества любителей еврейской старины»

Содержание

Валентин Бажанов	
Прошлое присутствует в настоящем.....	5
Евгений Майбурд	
Теория игр и все-все-все	13
Оскар Шейнин	
Статистическое мышление в Библии и Талмуде	32
Борис Э.Альтшулер	
О последних годах жизни академика Льва Давидовича	
Ландау и о политравме	51
Наталья Завойская	
Современники <i>Sine ira et studio</i>	99
Сергей Хазанов	
Что мы Гекубе?	165
Стив Левин	
«Мария! Имя твое я боюсь забыть...»	169
Борис Тененбаум	
Чезаре Борджиа	175
Эдуард Бормашенко	
Мертвая Истина	188
Александр Левиков	
Просветление на фоне затмения.....	194
Люсьен Фикс	
Уникальная коллекция Джозефа Хиршхорна	206
Дора Ромадинова	
Шостакович: герой или антигерой	217
Евгений Кисин	
Воспоминания о Тихоне Хренникове	237
Борис Юдин	
Наброски	269
Михаил Воловик	
Блокпост.....	274
Анатолий Николин	
Маленький хасид.....	282
Борис Суслович	
Три рассказа.....	309
Владимир Крастошевский	
Два этюда.....	318

Владимир Савич «Табуретка Мира».....	323
Моисей Борода Сын Буратино.....	374
Алекс Тарн Еврейская смерть.....	411
Ася Лapidус По памяти: Валя Турчин и всякое разное по поводу и без повода.....	416
Вильям Баткин Молодой Булат.....	426
Игорь Ефимов Джером Сэлинджер.....	437
Мина Полянская Владимир Набоков в Берлине.....	473
Инна Кушнер Ванечка, дядюшка Исачок и семья Рабинович.....	494
Михаил Юдсон Познание ребра.....	519
Александр Рашковский О шести изданиях 2011 года.....	522
Об авторах.....	537



Валентин Бажанов

Прошлое присутствует в настоящем



моей тридцатилетней жизни в науке, большая часть которой прошла, понятно, за пишущей машинкой, а потом за компьютером (точнее, компьютерами – от самых примитивных, еще с магнитофоном, до современных) было несколько любопытных эпизодов, когда прошлое вдруг обнаруживало себя реальным настоящим. Думаю, что описание этих эпизодов может представить интерес для достаточно широкого круга читателей.

Однофамилец

В начале и середине 1980-х годов я проходил стажировки в Институте философии АН СССР, писал и защищал там докторскую диссертацию и принимал активное участие в работе ряда научных семинаров, в частности, в семинаре по философии математики в МГУ. Там мы довольно часто встречались с известным математиком, любимым учеником выдающегося советского математика А.А. Маркова (родоначальника конструктивного направления) Н.М. Нагорным. Интересы Николая Макаровича выходили далеко за пределы собственно математики и когда мы возвращались с семинаров, он часто рассказывал много интересного. Оказалось, что Н.М. – близкий друг Наума Коржавина, замечательного поэта (о котором я до встречи с Н.М. ничего не слышал), знаток и тонкий ценитель музыки и литературы.

Как-то мы стояли с Н.М. у метро "Университет" и готовы были уже распрощаться, как он, смущаясь, меня осторожно спросил (осторожно – потому, что на горизонте брезжили лишь первые робкие признаки перестройки и хотя мы были достаточно давно знакомы, но вдруг я не вполне надежен?): "В.А., а Борис Бажанов не Ваш ли родственник?". Я удивился возможности

заиметь нового родственника и спросил, чем знаменит тот самый Борис Бажанов. В ответ услышал хорошо известную ныне историю о секретаре Сталина, которого лучший друг физкультурников и колхозников весьма ценил и которому доверял, но который в один прекрасный день тайно перешел иранскую границу и решил, что более безопасно для него быть подальше от всемогущего отца народов и всего прогрессивного человечества и от совдепии в том числе. Борис Бажанов оставил подробные воспоминания о периоде его хождения во власть, которые получили широкий резонанс на Западе, а к нам пришли лишь с наступлением перестройки.

Я, само собой разумеется, об этой истории ничего не знал. Услышав ее, я сказал, что если кто-то из моих предков был хотя бы далеким родственником Бориса Бажанова, то вряд ли в настоящий момент стоял рядом с Н.М. Он улыбнулся и заметил, что скорее всего было бы именно так, но история – дама с причудами, которые предугадать невозможно.

Следующая история – именно об этом.

Логика советской системы

В 1990-1991 годах я готовил к изданию книгу А.В. Васильева о Лобачевском, которая должна была выйти в издательстве "Наука" к двухсотлетию со дня рождения гениального ученого. Книга А.В. Васильева была издана в 1927 году, но по той причине, что, вероятно, кто-то вспомнил, что автор являлся членом Первой Государственной Думы, Государственного Совета и одним из лидеров кадетской партии, -- а такой человек и в книге о Лобачевском мог втихую протаскивать опасные для советской власти мыслишки, то в 1929 году тираж книги был *полностью* уничтожен. Чудом сохранилась лишь одна из корректур¹.

Воссоздание этой книги для истории отечественной науки обещало стать событием и наш самый крупный историк математики Адольф Павлович Юшкевич вызвался быть научным редактором издания, тем более, что он, будучи мальчишкой как-то виделся с А.В. Васильевым, а его отец – П.С. Юшкевич сотрудничал с А.В. Васильевым и издавал вместе с ним широко известную серию "Новые идеи в математике".

¹ Подробнее об А.В. Васильеве и этой истории см.: Бажанов В.А. История логики в России и СССР. Концептуальный контекст университетской философии. М., 2007. Гл. 2.2.

В связи с редакционной работой над текстом мы часто встречались с А.П. и я неоднократно провожал его из Института истории естествознания и техники АН СССР (располагавшийся в Старопанском переулке) домой на Ленинский проспект. А.П. был одинок (сын уже эмигрировал) и охотно со мной общался. Однажды я решился спросить А.П. о такой деликатной теме, как судьба его отца.

Дело в том, что в "Материализме и эмпириокритицизме" – книге, считавшейся своего рода Библией советской философии – В.И. Ленин сурово критиковал П.С. Юшкевича как одного из наиболее видных последователей эмпириокритицизма.

Я спросил Адольфа Павловича о том, какие последствия в советское время имела критика вождя мирового пролетариата для Павла Соломоновича (а П.С. дожил до 1945 года!). Она ведь была известна всем, а слова Ленина, как это было с высылкой интеллигенции, воспринимались едва ли не как прямые указания к действиям!

Адольф Павлович ответил, что ровно никаких последствий эта критика для его отца не имела. Все, исключительно все, неприятности и испытания, которые выпали на долю Павла Соломоновича в советский период, были обусловлены тем, что он являлся евреем.

Такова была логика советской системы: беспощадная идеологическая критика В.И. Ленина ничего не значила по сравнению с тем, что человек был евреем, невинная оговорка могла привести к репрессиям, хотя, впрочем, даже оговорки вовсе не были обязательны для репрессий².

Вилла Троцкого

Летом 2003 года в Стамбуле проходил Всемирный философский конгресс. Стамбул – интереснейший город – и в историческом, и в гуманитарном смысле, и мы с друзьями старались посмотреть как можно больше.

Излюбленное место отдыха стамбульцев – Принцезы острова, куда отправляется много пароходов с отдыхающими. Наибольшее число рейсов совершалось с причалов, находившихся довольно далеко от места стоянки нашего "философского"

² Логика репрессий описана в подзабытом ныне анекдоте: разговор трёх заключенных в ГУЛАГе; один из них утверждает, что сидит за то, что выступал за Радека, другой обмолвился, что посажен как раз за то, что выступал против Радека, а третий признался, что он и есть Радек.

парохода. Мы (с В.Г. Торосяном из Краснодара и Я.С. Яскевич из Минска) как-то решили сплавать на Принцевы острова с ближайшего к нам причала, откуда рейсов было немного.

На этом причале никто не говорил по-английски, а мы никак не могли понять, что нам пытаются объяснить по-турецки. "Наобум" садиться на пароход мы не решались.

Вдруг я заметил старичка, который стоял с сеточкой, а в сеточке у него лежала армянская газета. Я обратил на это внимание Вардана Григорьевича Торосяна, который подошел к старичку и заговорил по-армянски. Они поняли друг друга и таким образом мы узнали, когда и какой пароход идет на один из Принцевых островов. Это был не самый удобный, как нас проинформировали для отдыха и купания остров, но мы решили поехать в надежде, что в конце концов место для купания найдем и там.

Мы расположились на закрытой верхней палубе и мирно беседовали. Рядом сидел пожилой статный мужчина, который, как я заметил, прислушивался к нашему разговору. Вдруг он к нам обратился по-английски. Оказалось, что он происходил из бедной еврейской семьи, рано остался сиротой, и был принят на воспитание в состоятельную армянскую семью, которую считает родной. Более того, английскому языку его учил переводчик из советского консульства, а мальчик заодно выучил какие-то фразы по-русски. Затем он занимался торговлей сукном, стал богатым человеком, но вот уже несколько лет оставил бизнес и живет на острове, где после изгнания из СССР какое-то время жил Л.Д. Троцкий и более того, его вилла находится рядом с бывшей виллой Троцкого.

За полтора-два часа пути и беседы он стал нам явно симпатизировать и, узнав и цели поездки, пригласил нас себе в гости (заметив, что общественных пляжей на острове нет, и выход к морю перекрыт частными владениями).

На острове, чтобы не портить воздух, не было ни одного автомобиля. Нам наняли конный экипаж и вскоре мы посмотрели виллу Троцкого и купались рядом с ней, пользуясь гостеприимством нашего случайного попутчика.

Когда мы накупались, то он посадил нас на свой катер, мы объехали и посмотрели все красоты Принцевых островов с моря и вовремя были доставлены к пароходу, отходившему на Стамбул.

Совпадение нескольких случайностей сделало тот день незабываемым.

Встречи в Неаполе и Ватикане

Неаполь

Осенью 1991 года я был приглашен прочитать несколько лекций в Неапольском университете. Принимающая сторона была против, чтобы мы приехали с женой.

Принимали нас очень радушно – русские тогда в Италии были совсем редкостью, а русские учёные "в новинку". На субботу и воскресенье нам устроили замечательную поездку на остров Капри. В воскресенье же вечером мы были приглашены в гости к одному из профессоров в Неаполе.

Познакомившись с расписанием отправления пароходов на воскресенье, я выбрал рейс в 17.00. Прямо из порта мы проехали бы в гости.

Гуляя уже недалеко от причала Капри и, наблюдая как отправляются пароходы, жена усомнилась в том правильно ли мы выбрали рейс. Я успокоил ее, что правильно.

Когда мы созрели для посадки на пароход, то выяснилось, что по воскресеньям на Неаполь пароходы отбывают не в 17, а в 16.00! В 17.00 идет последний пароход на материк – на Сорренто. Нас без билетов сажают на этот пароход, полный немцев и голландцев, многие из которых, заметив волнение жены, проявили к нам участие.

Из Сорренто до Неаполя мы доехали на поезде, но не знали, как с вокзала добираться до нужного нам места. Мы уже опаздывали... Сойдя с поезда, мы оказались в громадной толпе людей, которая растекалась по подземным переходам привокзальной площади. Куда идти? На каком транспорте добираться? Кого спросить – ведь здесь вряд ли говорят по-английски... Недалеко шла женщина, судя по цвету кожи, из Африки. Ну, думаю, может быть она понимает по-английски. Обратился к ней. Оказалось понимает. Она ответила "follow me, I'll show you the way (идите за мной, я покажу Вам дорогу)". Жене по-русски я сказал, что нам сейчас покажут дорогу. Вдруг эта "африканская" женщина по-русски воскликнула: "Откуда Вы!?". Здесь уже обомлели мы.

Оказалось, что это служащая американского консульства в Неаполе, учила русский язык в университете, но никогда не была в СССР и мечтает там побывать. Она участливо показала нам дорогу, посадила на нужный автобус и мы успели в гости почти вовремя.

Ватикан

Перед отъездом из гостеприимной Италии мы несколько дней провели в Риме. Понятно, что мы не могли не посетить Ватикан.

День был распланирован так: утром мы идем в Ватикан, а сразу после него в гости к одному из римских профессоров, который "курировал" нас в Риме. Время нашего пребывания в Италии подходило к концу, и мы решили, что настало время расстаться со всеми подарками, которые мы везли с собой. У нас оставалось две бутылки водки (тогда это была "валюта!"), которые мы и намеревались подарить вечером. Я положил их в сумку, а заодно поместил туда и две бутылки воды – погода в Риме стояла жаркая.

Перед собором святого Петра в Ватикане стояла толпа народа. Чтобы зайти внутрь собора нужно было пройти осмотр карабинеров, которые, как мы обратили внимание, живо извлекали из сумок бутылки с водой, кока-колой и т.п. и выбрасывали их в контейнеры для мусора³. Нам было крайне жалко расставаться с водой и, тем более, водкой (что тогда дарить!?) и при подходе к карабинерам я самолично решительно извлек из сумки бутылки воды и выбросил их в контейнер. Карабинеры более основательно содержимым моей сумки интересоваться не стали. Водка осталась до вечера.

В соборе мы сумели занять место перед искусственно сделанным из деревянных блоков проходом. Оказалось, что предстоит служба Папы. Через несколько минут в сопровождении швейцарских гвардейцев, поразивших нас своим ярким одеянием, в полуметре от нас медленно прошел Иоанн-Павел II. Мы прослушали службу. Папа на разных языках читал молитвы и обращался к верующим.

В декабре 2006 года я снова (в пятый раз) посетил Рим и Ватикан и прошел уже мимо могилы Иоанна-Павла II. Ни разу больше мои посещения не попадали на столь высокие службы.

Око энциклопедии Британники

Я никогда серьёзно не занимался ни философскими, ни историческими аспектами геометрии. Подготовка к изданию книги А.В. Васильева о Лобачевском – эпизод в моей научной жизни.

³ Эта мера была, в частности, вызвана тем, что какой-то ненормальный бросил бутылку с краской в Пьету и нанес ей ощутимый ущерб. Ныне, кстати, меры предосторожности при посещении собора такие же, как при посадке в самолет.

Однако данная работа позволила-таки посмотреть на некоторые обстоятельства жизни Лобачевского и открытия неевклидовой геометрии в новом свете. С одним из моих итальянских коллег (А. Драго), который очень интересовался данной проблемой, мы написали статью, в которой давали не вполне обычную интерпретацию ряда ситуаций в жизни и творчестве Лобачевского.

Мой соавтор настоял, чтобы статья была отправлена в один из самых престижных западных журналов. Однако этот журнал статью отверг. Мы выбрали другой престижный журнал, но и он статью не оценил. Что делать? Не пропадать же труду! Мы направили материал во второстепенный в смысле авторитета журнал, где она и была опубликована⁴.

Вскоре в своём почтовом ящике я обнаружил письмо из Чикаго, из редакции знаменитой энциклопедии Британники (американцы давно купили права на ее издание и готовили очередной её, кажется, 14-й или 15-й выпуск). В этом письме меня приглашали написать статью "Лобачевский, Николай Иванович" и обозначали ряд требований к её форме и содержанию. До сих пор в энциклопедии помещалась статья о Лобачевском крупного математика и историка математики Я. Стройка, труды которого хорошо известны отечественным представителям точных наук. Видимо, кому-то в энциклопедии Британника попала на глаза наша с А. Драго статья, он её, не в пример сотрудникам престижных журналов оценил, и решил обновить менее удачную и отчасти устаревшую информацию Я. Стройка.

Я подумал, что следует рискнуть и предложение принять.

С интересом начал работу. Мне удалось не только написать эту статью, но и удостоиться похвалы редакции, оценившую её как "superb" (высшая степень похвалы), получить приличный гонорар.

Правда, саму статью мне так (пока) и не удалось увидеть "живьём". Если я оказывался в каком-то заграничном университете, то либо там не было Британники, либо мне некогда было до неё добираться. Друзья, правда, прислали точную ссылку⁵. Мне же как-то посчастливилось купить CD с полным текстом Британники на одном из рынков (где продаются обычно

⁴ Toward a More Adequate Interpretation of Lobachevskii's Scholarly Work // Atti della Fondazione Giorgio Ronchi, Vol. LIV, N 1, 1999, p. 125-139 (with A. Drago).

⁵ Lobachevsky, Nikolay Ivanovich // The New Encyclopaedia Britannica Vol. 7, 15th edition Encycl.Brit., Inc Chicago, 2001, 2002, 2003, PP. 428. (www.britannica.com).

под видом энциклопедии Британники лишь справочники Британники), и там была моя статья и указано, что автор – профессор истории науки в Ульяновском университете.

Сей факт меня убедил, что профессионал-философ вполне может соперничать с профессионалами-математиками на их "поле", в области их компетенции. Обыкновенно полагают, что возможно лишь обратное.



Евгений Майбурд

Теория игр и все-все-все



днажды Винни Пух с Пятачком пошли вместе охотиться на Слонопотама. Вырыли яму-ловушку, а в качестве приманки положили на дно горшок с медом. Ночью, однако, медвежонок почувствовал, что ему чего-то очень не хватает. Уговорив себя, что он только оближет немного меда, он пошел к яме и... съел всю приманку. Естественно, Слонопотам не явился к ловушке. В терминах теории игр, Винни Пух выбрал стратегию предать свою команду ради собственной выгоды и этим лишил всех игроков коллективного блага.

В 1944 г. вышла книга «Теория игр и экономическое поведение».¹ Ее написали двое: математик Джон фон Нейман и экономист Оскар Моргенштерн. Истоки идей фон Неймана прослеживаются еще в его статье «К теории салонных игр» (1928, на немецком). Однако задним числом историки науки находят элементы теоретико-игрового подхода уже в теории дуополии Огюстена Курно².

Идею подсказала фон Нейману игра в покер, которой он иногда отдавал свое время отдыха. Сообщают, что он не был особо хорошим игроком. Как видим, однако, никому из тех, кто его обыгрывал, идея в голову не пришла.

Покер отличается от многих других игр тем, что игроку приходится делать догадки о том, как другие игроки реагируют на его поведение, а также блефовать – стараться обмануть соперников относительно своих намерений в игре. То же самое относится и к каждому из соперников.

¹ *Theory of Games and Economic Behavior*. В тексте название дается по русскому изданию 1970 г. Если бы авторы хотели назвать книгу, как передано в русском переводе, они бы написали, скорее, *The Game Theory and Economic Behavior*. Поэтому более адекватным выглядит перевод: «Теория игр и *экономического поведения*».

² «Математические основы теории богатства». 1838.

Книга была предназначена для математиков и экономистов. «Большинство экономистов ее не читали (и никогда не прочитают), - пишет Паундстоун. – Ее даже нет в библиотеках многих экономических вузов. В одном рекламном объявлении было сказано, что несколько экземпляров купили профессиональные игроки».³ Интересно, пригодилась ли им такая «теория игр»?..

Книга эта – больше полутысячи (в английском издании, а в русском – почти тысяча) страниц, заполненных математическими формулами. Читать ее непросто. Но ведь нынешних экономистов математикой не удивишь, почему же данная *теория экономического поведения* не стала элементом стандартного экономического анализа?

Об этом потом. Начнем с того, что теория игр не учит, как выигрывать и даже как играть в реальные игры. *Игра* в теории игр – это *конфликт рациональных индивидов, не доверяющих друг другу*. Вернее, это схема конфликта с набором заданных «очков». Очки зависят от того, какие ходы делает игрок (примерно, как у боксеров). Возможные ходы известны наперед и называются они *стратегиями*. Если игра многоходовая, то стратегией называют набор последовательных ходов. Так что иногда говорят о *теории стратегических игр*.

Фактически, эта теория есть *анализ конфликтных ситуаций различного рода*. Теория игр есть, в определенном смысле, раздел математической логики.

Ходы известны наперед? Где же конфликт?

У каждого участника есть выбор из нескольких возможных стратегий, каждая из которых приносит ему какие-то очки. Здесь и заложен конфликт, потому что участники, зная наперед все доступные другим стратегии, не знают заранее, кто из соперников какую именно стратегию выберет.

Выигрыш одного из участников зависит от выбора других. А выбор каждого из них зависит от выбранной им стратегии. Он строит предположения о выбранных партнерами стратегиях, но может ошибиться. Более рискованная для него стратегия обещает больше очков в случае успеха, но зато в случае неуспеха он теряет очки. И так – для всех участников игры. Ее результат определяется всеми сделанными выборами.

³ William Poundstone. *Prisoner's Dilemma*. Anchor Books. 1992. Известный в США автор увлекательных научно-популярных книг, физик по образованию.

Известно, что фон Нейман считал свою теорию неприложимой к шахматам. Потому что теоретически, для каждой позиции в шахматной игре у каждого из игроков не только существует одна наилучшая стратегия, но она в принципе может быть просчитана обоими. Здесь нет места гаданию о том, каков будет ход противника, и нет места обману и блефу.

Общий итог выигрышей и проигрышей называется *суммой игры*. Если выигрыш одной стороны в точности равен проигрышу другой, имеем *игру с нулевой суммой*. Примеры салонных игр с нулевой суммой в реальной жизни - преферанс, покер, бридж. Когда выигрыш превышает проигрыш, имеем *игру с ненулевой (положительной) суммой*. В реальной жизни примером такой игры выступает взаимовыгодный обмен между лицами или странами.

Игроков может быть двое или больше. При этом, игроком (лицом) считаться может и группа, если она выступает как команда. Игра двух лиц с нулевой суммой называется *антагонистической*. При числе участников больше двух есть два класса игр. В одном допускаются стратегии вступать в коалицию. Это есть *кооперативная игра* (такие вещи допускаются, например, в преферансе, когда двое спасовавших открывают карты и объединяются против того, кто взял игру на себя). Во втором случае перед нами *некооперативная игра* (каждый только за себя, как обычно, хотя и не всегда, в покере⁴).

В спортивных командных играх (футбол, хоккей...) обычно важны многие показатели (соотношение мячей, число только забитых...) – ввиду прицела на конечные результаты турнира. Но если взять изолированно один матч (что почти нереально), то важен здесь только выигрыш или проигрыш. Один выигрывает, другой проигрывает – игра с нулевой суммой. Если учитывать очки, тогда это игра с положительной суммой ($1 + 0$ или $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$). Турнир (чемпионат) – игра с положительной суммой.

Джон фон Нейман смолоду был признан математическим гением.⁵ Его называют одним из величайших математиков. Теория игр поначалу, скорее, была его хобби. Но в итоге он увидел в ней

⁴ Реальные игры упоминаются только для иллюстрации.

⁵ Джон фон Нейман – John von Neumann (1903-1957). Его главные достижения, как сообщают, относятся к области чистой математики и математической физики. В теории игр, помимо многого другого, он доказал важнейшую *теорему о минимаксе*. Причиной его преждевременной смерти был рак.

возможность анализа реальных конфликтов жизни и мира – таких, как гонка вооружений или варианты внезапной ядерной атаки.



Джон фон Нейман

Он скоро понял, что теория игр дает возможность анализировать реальные дилеммы (в том числе, этического порядка), выявлять их логическую структуру и пытаться найти наилучшее решение.

В дальнейшем фон Нейман основное внимание посвятил изучению кооперативных игр (с числом игроков больше двух). Когда, например, кооперация является лучшей стратегией, чем стратегии «каждый за себя»?

Смысл кооперативных игр, которыми занимался фон Нейман, в предположении, что рациональные игроки будут стремиться вступать в групповые коалиции, если только увидят в этом свою выгоду. В таком подходе есть большой смысл, как показывает экономическая практика. Примерами служат торги, предшествующие заключению коллективного договора, сговоры фирм той или иной отрасли с целью поддержать цены, а также коалиции организованных интересов. Разнообразные, свободно формируемые самими людьми, коалиции – неперенный атрибут свободного предпринимательства и, шире, свободного общества. Единственный тип некооперативных игр, рассматривавшийся фон Нейманом, это антагонистические игры, где один непременно выигрывает, а другой столько же проигрывает. Именно для такого случая он доказал теорему о минимаксе.

Минимакс есть наилучшее решение антагонистической игры. *Это такое решение, когда максимальный выигрыш одного из игроков – минимален из всех возможных, а минимальный выигрыш другого – максимален из всех возможных.*

Напомним, что выигрыш одного равен проигрышу другого.

Поскольку каждый из игроков стремится максимизировать свою выгоду или минимизировать потерю, равновесие достигается в точке минимакса, или, что то же самое, в *седловой точке*. Преследование своей выгоды каждым игроком, не доверяющим партнеру, ведет обоих к равновесию минимакса.

Джон Нэш и его Равновесие

Он признан второй звездой после фон Неймана. Родился в 1928 г., изучал математику в Принстоне и скоро проявил интерес к теории игр. В своей диссертации (1950) двадцатидвухлетний Нэш сформулировал понятие, которому суждено было изменить теорию игр.

Говорят, что если бы Нэш получал по доллару за каждое, где бы то ни было, упоминание о «равновесии Нэша», он бы стал миллионером. Так или иначе, он скоро стал профессором в Массачусетском Технологическом Институте и одновременно консультантом в РЭНД.⁶

Предметом исследований Нэш сделал сначала игру двух лиц с *ненулевой суммой*, а затем *некооперативные игры* с числом участников больше двух. Нэш не только выдвинул понятие о равновесии в подобных ситуациях, он тогда же доказал, что *оно существует для всех конечных игр с любым числом игроков*. До того существование равновесия было доказано (фон Нейманом) только для игры двух лиц с нулевой суммой.

⁶ РЭНД (RAND – Research and Development). Бесприбыльная частная корпорация, основанная в 1948 г. Во время войны в разных научных центрах велись работы, позже получившие общее название «исследование операций». После окончания войны группа энергичных людей из ВВС и корпорации «Дуглас» выступила с инициативой собрать под одной крышей тех, кто занимался исследованием операций, да и не только, – для продолжения и развития исследований. В РЭНД работали выдающиеся математики и ученые иных специальностей. Многие из них, как фон Нейман и Нэш, совмещали это с работой в университетах.

В 1994 г. Джон Нэш получил Нобелевскую премию по экономике. Вместе с ним удостоены были Джон Харсаньи и Райнхард Селтен. Интересно звучит объяснение Нобелевского комитета, кому за какие достижения дана награда. Харсаньи – за распространение Равновесия Нэша на широкий класс игр с неполной информацией, когда игроки не обязательно знают предпочтения своих партнеров и лучшие варианты их выбора. Селтену награда дана за обогащение этого равновесия. Чтобы советовать совершенно рациональным игрокам наилучшие стратегии, требования Равновесия Нэша необходимы, но не достаточны - могут существовать дополнительные равновесия, которые, однако, можно изъять из рассмотрения путем предложенной Селтеном процедуры усовершенствования.

Как видим, все трое получили премию за работы, связанные с Равновесием Нэша! Что же это такое?

Равновесие Нэша есть ситуация, в которой ни один из игроков не может улучшить свое положение, изменив свою стратегию односторонне, без изменения стратегий другими игроками.

Предполагается, что каждый игрок знает, какие стратегии доступны другим. Говоря иначе, Равновесие Нэша – это ситуация, когда каждый выбирает лучшую для себя стратегию (принимает решение) с учетом решений, принимаемых другими игроками. Эта совокупность стратегий может выдержать «тест оглашения»: если все игроки огласят свои стратегии одновременно, наверняка ни один не захочет пересмотреть свою стратегию. Тогда и выходит, что любая попытка какого-то игрока изменить свою стратегию в одностороннем порядке (когда никто больше не меняет свою) может только ухудшить его результат. В этом – залог устойчивости Равновесия Нэша.

Равновесие Нэша есть самовыполняющееся соглашение. То есть, явное или неявное соглашение, которое - будучи достигнуто игроками, - не нуждается во внешних силах, чтобы провести его в жизнь и поддерживать. Ибо в лучших интересах каждого следовать ему, когда ему следуют все другие. И в этом находят объяснение различия между играми кооперативными и некооперативными. Первые – это такие, которые могут нуждаться во внешнем инфорсменте (например, через суд). Вторые такого не требуют, так как устойчивым является только соглашение, отвечающее равновесию.

Одним из случаев равновесия Нэша является ситуация, когда «всем плохо». Положение каждого игрока могло бы стать лучше, и для всех игроков было бы выгоднее, если бы все

изменили свои стратегии. Но для этого необходимо сотрудничество, недостижимое оттого, что игроки не хотят кооперироваться - не доверяют друг другу или по иным причинам. Понятно, что односторонняя попытка одного из игроков изменить свое положение либо невозможна, либо лишь еще ухудшит его.



Джон Форбс Нэш

Хорошим примером такой ситуации может служить один американский фильм.⁷ Двое подонков терроризируют пассажиров в вагоне метро. И никто не осмеливается выступить против них. Если кто-то начинает протестовать, все кончается его унижением, и он бессильно замолкает при всеобщем молчании. Совместным выступлением всех или большинства пассажиров можно бы обуздать хулиганов и даже выгнать их из вагона на ближайшей станции, но взаимное недоверие предотвращало кооперацию.

Равновесие Нэша нашло, говорят, много применений в экономике, социологии, экологии, биологии – отчасти потому, что оно может быть истолковано множеством различных способов.

Понятие Равновесия Нэша обладает еще одним интересным свойством. Оно позволяет понять ситуации, когда для игроков оказывается «выгоднее», то есть, предпочтительнее, не вступать в коалиции, или когда мотивации одного какого-то игрока вступают друг с другом в противоречие, подчас непримиримое. Ситуации последнего рода образуют класс, который называют *социальными дилеммами*. Самой известной из таких ситуаций является «дилемма заключенного».

⁷ В прокате в СССР он назывался, кажется, «Инцидент». Поставлен по сценарию Белл Кауфман.

Дилеммы

Ты, твоя мать и твоя жена захвачены сумасшедшим изобретателем. Вас троих развели по комнатам и каждого наглухо привязали к креслу. Перед тобой какая-то несусветная машина и кнопка, которую ты можешь достать. Злодей объявляет тебе, что на твою мать и на твою жену направлены дула пулеметов. Если ты нажмешь кнопку, твоя мать будет убита. Если не нажмешь в течение минуты, убита будет твоя жена. Что делать?

Сцена напоминает какой-нибудь голливудский фильм. Невольно ожидаешь, что вот-вот появится великолепный детектив, который давно охотится за этим маньяком. Но избавление не есть решение моральной проблемы.

Мы знаем, что похожие дилеммы нередко возникали перед евреями, которые скрывались от нацистов. Кого спасти, кем пожертвовать? Здесь нет наилучшей стратегии, есть только личный выбор трагедии.

Можно представить более сложную дилемму. Вас только двое – ты и близкий человек (жена, мать, сын или дочь...). Вас обоих тоже захватили, развели по комнатам и связали. Но теперь перед каждым есть кнопка. Объявляют, что если никто из вас не нажмет кнопку, убиты будете оба. Если же один из вас нажмет, то будет убит, но спасет другого. Времени на размышление – минута, связь между комнатами отсутствует, и перед каждым – синхронные часы. Ну, и что делать?

Дилемма разрешается просто, если оба решат одинаково (или когда-то заранее решили), кому умереть и кому жить. Тогда один нажимает кнопку, жертвуя собой и спасая другого. Второй вариант – каждый решит спасти другого. Тогда все решается тем, кто первым успеет нажать кнопку. Третий вариант – если каждый хочет остаться в живых. И вот, часы отсчитывают минуты, но кнопку никто не нажимает...

Ты сидишь, ты пытаешься представить, что творится в душе твоей матери (жены, дочери) Может, она собирается с силами, чтобы решиться нажать кнопку... Но минуты бегут, ничего не происходит... А самому ох как трудно отважиться на подвиг... Но ты размышляешь... Может, мать (жена, дочь...) там в полуобмороке? Себя не спасти в любом случае, так не лучше ли нажать самому?... Но можно хотя бы подождать до последней минуты... секунды... И если нет, тогда...

Тот тип сказал, что часы синхронизированы с машиной, но мало ли, что скажет маньяк... Так что, если ты решился, тогда нажать кнопку нужно не на самой последней секунде, а на...

предпоследней, что ли? Но если вдруг близкое существо тоже ждет до последних секунд?

Тут все решит реакция человека и... реальная точность часов... Может произойти одновременное нажатие обеих кнопок – и никто не выживет... Или оба могут не успеть на последней секунде, и тогда тоже никто не выживет. Или же кто-то успевае́т нажать первым... Рационального решения дилеммы не существует, все решает случай.

Искусственно сконструированная ситуация? Да как сказать. Довольно схожая ситуация была в начале 50-х годов между США и СССР, когда обе страны обзавелись ядерным оружием. Понятно, о взаимной любви речи нет. Зато есть стопроцентное взаимное недоверие и полная неопределенность относительно реальных планов противной стороны. Особенно, с началом Корейской войны... Что делать? Ждать удара, чтобы затем отомстить? Или ударить первым с риском получить *симметричный* ответ?..

Известно, что в США прорабатывались всевозможные варианты и оценки, в том числе на моделях теории игр. Этим плотно занимались математики в РЭНД-корпорации. Наверняка и в СССР пытались что-то рассчитать и предугадать, хотя подробностей мы не знаем. Зато известно, что нанесения превентивного ядерного удара по СССР активно и шумно требовал тогда Бертран Рассел, будущий «борец за мир». Такого же мнения были и иные политики в Америке. А также Джон фон Нейман, часто бывавший в РЭНД.

К счастью, было отличие от описанной выше условной дилеммы. Состояло оно в том, что при взаимном «ничего-неделаю» обе стороны оставались гарантированно невредимыми. Однако, рассчитать вероятность такой стратегии со стороны противника было практически невозможно.

Хотя какой-то шанс на взаимную сдержанность был. Равновесие страха. Можно ли назвать его Равновесием Нэша? Похоже, но не совсем, потому что каждой стороне не известно, какую стратегию выбирает другая. В той ситуации решающее, по-видимому, значение имела интуиция президента Трумэна, не согласного на превентивный удар. А Сталин? Может, у него была какая-то информация о настроении Трумэна? Вообще-то последнее и не составляло особого секрета...

Подобные дилеммы изучаются в теории игр. Одна из моделей игры двух лиц, придуманная в РЭНД, приобрела широчайшую известность. Получившая название *дилемма заключенного*, она гораздо больше подходила к ситуации гонки

вооружений и оценки целесообразности превентивной войны, чем описанные выше дилеммы.

Дилемма заключенного

Совершен грабёж. Арестованы двое уголовников, Том и Джерри. Имеются сильные основания их подозревать, но свидетельств и улик недостаточно для обвинения.

Полиция предлагает им подумать о ситуации и сделать выбор. Если оба признаются, то им грозит по 2 года тюрьмы. Если оба не признаются, тогда есть основания, чтобы посадить каждого на год (например, за сопротивление при аресте). Но если признается только один, он уходит на свободу, зато партнер его получает 3 года. Пояснение: тот, кто признается, закладывает также и подельника.

Обоих содержат в изоляции, никакая связь, никакие переговоры между ними не возможны. Каждому дается день на размышления, и каждый может узнать о том, что выбрал подельник, только тогда, когда уже сделает свой выбор. Оба озабочены только собой, оба – рациональны.

Как обычно в теории игр, весь расклад изображается в виде матрицы – в данном случае, это матрица 2 x 2. Итак (срока в клетках указаны сперва для Тома, потом для Джерри):

	Джерри не признается	Джерри признается
Том не признается	1 год / 1 год	3 года / 0 лет
Том признается	лет / 3 года	2 года / 2 года

Ситуации для обоих абсолютно идентичны. Но решение принимать каждому на свой страх и риск. И никому из них не ведомо, что выберет другой.

Рассуждает Том. Я признаюсь, что тогда? Джерри либо тоже признается, тогда я получаю 2 года, либо не признается, тогда я получаю свободу. Теперь скажем, я не признаюсь. Если Джерри признается, я получаю 3 года. Если не признается, я получаю год.

Что же получается? Если признаемся оба, мне садиться на 2 года. Но если мы оба не признаемся, то мне грозит лишь 1 год. Да... откажись тут, а он возьмет да признается – и я хватаю три года.

Точно так же - абсолютно так же - рассуждает и Джерри. Что же лучше выбрать? Ведь потом можно и пожалеть о своем выборе. Но так или иначе, выбор Тома не влияет на выбор Джерри – и наоборот.

Наилучшей стратегией для обоих выглядит обоюдная «несознанка». Или обоюдное признание. То есть, *кооперативное поведение*. Но сговориться невозможно. Остается логика и свой шкурный интерес.

Здравый смысл подсказывает: повлиять на поделщика я не могу, поэтому лучше не сознаваться, а там уж как получится - или 1 год, или 3. Но тут здравый же смысл подсказывает прямо противоположное: повлиять на поделщика я не могу, поэтому лучше сознаться, а там опять как получится. Или свобода, или 2 года.

Так все же, что лучше выбрать? Кажется, что есть более предпочтительный вариант для Тома (Джерри): сознаться. Но если сознается и поделщик тоже, ты получаешь 2 года и весь срок будешь мучиться – зачем сознался. Могли бы оба не сознаваться и получить только год.

Эту игру разыгрывали экспериментально РЭНДовцы, между собой и с участием нематематиков. Больше чем в половине случаев выбиралось признание, притом обоими. Поскольку сговор исключен, получалось, что люди чаще склонны предавать партнеров, если рассчитывают получить выгоду для себя (иногда это называют оппортунизмом). Наконец, разыгрывали целые серии, повторяя раз за разом знакомую нам задачу. Хотели понять, влияет ли прошлый опыт игры на выбор стратегии. Частота выбора была примерно такая же, как в одноразовой игре.

Пора уже упомянуть, что «дилемму заключенного» не смогли решить (в смысле отыскания единственной оптимальной стратегии) ни Джон фон Нейман, ни Джон Нэш, ни кто-либо еще. Она так и остается нерешенной. А ведь эта дилемма – одна из распространенных жизненных ситуаций. Тому свидетельство – философия, литература, искусство...

Скажем, «золотое правило» морали (Гилель Великий, Евангелие от Матфея, Сенека, Конфуций...): не делай другому, чего не пожелал бы себе. Хотя этот принцип не буквально идентичен дилемме заключенного, если присмотреться, он содержит похожую дилемму. Каждому свойственно преследовать свой интерес, и подчас это вступает в противоречие с благом «ближнего». Золотое Правило призывает нас поступать «кооперативно», то есть согласно с благом «ближнего», в противовес «отказу от сотрудничества».

Если бы каждый из двоих заключенных знал, что его поделник всегда поступит согласно Золотому Правилу, они бы выбрали оба одно из двух: обоим отпираться или обоим признаться.

В рассказе Эдгара По «Тайна Мари Роже» есть такой эпизод. Детектив Огюст Дюпен предлагает тому из шайки преступников, кто сознается первым, деньги и свободу. Дальше он замечает, что для каждого них не так важны деньги и освобождение, как страшно предательство. Поэтому каждый стремится предать первым, чтобы не предали его.

Еще ближе к «дилемме заключенного» интрига оперы Пуччини «Тоска» на сюжет пьесы В. Сарду. В застенке у шефа полиции Скарпия ждет казни близкий к карбонариям художник Марио Каварадосси, любовник певицы Флории Тоска. Скарпия, давно равнодушный к женщине, предлагает ей сделку: она ему отдается, а в обмен он приказывает расстрельной команде заменить боевые патроны холостыми, чтобы вышла только инсценировка казни.

Что делать женщине? Она выбирает согласие - с условием, что свое обязательство выполнит после того, как будет отдан приказ о патронах. Скарпия отдает приказ, после чего Тоска, оставшись с ним наедине, убивает его ножом. Она бежит на площадку крепости. И там, у нее на глазах, происходит реальный расстрел Каварадосси. Скарпия ее обманул. Участники сделки согласились сотрудничать, но оба предали друг друга.

Основной момент «дилеммы заключенного» в том, что действующее лицо испытывает искушение добиться своего интереса таким путем, который был бы для него дурным или даже убийственным, если бы другой сделал это по отношению к нему. В мире такие ситуации возникают сплошь и рядом. Поэтому иные говорят, что «дилемма заключенного» представляет фундаментальную проблему общества – *проблему зла*. Фактически, все трагедии истории порождаются только людьми – индивидами или группами, - которые преследуют свой интерес в ущерб общему благу.

Проблема «безбилетника»

Так принято передавать по-русски то, что по-английски называется *free rider problem*. Конечно, это не «вольный наездник», и перевод правильный: проехать за чужой счет. Как говорится, на халяву.

Когда я подростком подчас ездил «зайцем» в автобусе, я знал, что обманываю *государство*, и не считал это грехом. Что

такое «государство» для пассажира советского автобуса? Пустая абстракция.

Но что, если все пассажиры начнут ездить «зайцем»? – Все? Это невозможно! – Ладно, большинство. – И это невозможно. Во-первых, контролеры и штрафы. Во-вторых, всегда есть «сознательные» люди. – Хорошо, возьмем правдоподобную цифру 20%. Транспортная система станет регулярно терять пятую часть доходов. Что последует? Скорее всего, повышение цен на проезд. Какая-то часть пассажиров ездит бесплатно, потому что их долю расходов на транспорт вносят остальные.

Но это лишь одна сторона проблемы «зайца». Если людям нужно автобусное сообщение, они не перестанут ездить из-за повышения платы за проезд. Представим другую ситуацию. Группа фермеров из довольно отдаленного уголка предложила всем соседствующим фермерам числом, скажем, 10 скинуться, чтобы проложить хорошую дорогу в район их расположения. Ясно, что это будет экономически выгодно для всех, кто там хозяйствует. Именно поэтому один из фермеров участвовать отказался. Зачем тратить ему лично, если дорогу и так построят? Узнав об этом, отказались еще двое, и проект не состоялся.

Таков смысл *проблемы безбилетника* в теории коллективных благ. Дело здесь даже не в этичности (или неэтичности) его поведения. Проблема в том, что сама возможность такого поведения часто приводит к тому, что коллективное действие может не состояться. Одни выбирают «проехать зайцем» и получить коллективное благо «задарма». Другие, наблюдая или предполагая такое поведение со стороны каких-то членов группы, выбирают вообще не участвовать в коллективном действии.

Проблема «зайца» есть та же «дилемма заключенного», только приложенная к числу участников больше двух. Такая ситуация встречается в самых различных областях жизни. К примеру, ситуация похищения людей с целью выкупа. Обычно родня готова уплатить выкуп (если только она уверена, что похищенный жив). Однако выплата выкупа поощряет других на подобные преступления.

Если бы никто и никогда не платил выкуп, похищения очень вероятно прекратились бы. Но в каждом конкретном случае родственники похищенного заинтересованы только в его освобождении, и им дела нет до других потенциальных жертв будущих похищений.

Можно сказать так: когда дело идет о жизни и смерти дорогого человека (чаще всего – ребенка), никому уже дела нет до

борьбы с преступностью. И здесь, в отличие от предыдущих примеров, стратегия «безбилетника» (точнее, неучастие в коллективном действии) морально оправдана.

Другой пример. Почему миллионы потребителей, скажем, молока (или бензина) не могут скооперироваться, чтобы противостоять немногочисленному лобби, пробивающему повышение цен на этот товар? Если бы они самоорганизовались, они собрали бы огромную сумму, достаточную и для шумной рекламной кампании, и для покупки услуг лучших юристов. Главной причиной того, что такая кооперация не получается, является распространенное подозрение (достаточно обоснованное, заметим) о том, что найдется немало «безбилетников».

Можно сказать, пожалуй, что *проблема безбилетника* еще более безнадежна, чем *дилемма заключенного* для двух лиц. Здесь бывает, что личный эгоизм одного лица вредит интересам великого множества, даже миллионов людей. И этот один может успешно, так сказать, раствориться в толпе. Эта проблема является ключевой в реальных ситуациях, когда кооперация жизненно необходима для выживания сообщества, не говоря уже о ситуациях менее критических, но просто потенциально облегчающих жизнь.

Один из самых простых (и самых невинных) примеров описывает У. Паундстоун.⁸ В Новой Зеландии (или в каких-то ее районах) принято распространять газеты посредством открытых и не охраняемых ящиков. Газету можно унести, не платя, но мало кто так делает, потому что большинство осознаёт: если все станут воровать газеты, их доставка прекратится. Налицо кооперативное поведение, обусловленное отсутствием «безбилетников». В Америке, добавляет Паундстоун, газеты были бы разворованы в первый же день.

Долларовый аукцион

В РЭНД постоянно думали о моделях игр для новых и разных ситуаций. И подчас придумывали интересные вещи. Джон Нэш, Мартин Шубик и группа коллег желали придумывать игры, в которые можно играть не на бумаге, а реально.

Однажды они придумали довольно жестокую групповую игру (с использованием покерных фишек), которую назвали «Прощай, лох!» (so long sucker). Игроки должны были формировать коалиции внутри группы (допустим, играть трое на трое), но часто индивиду, ради личной пользы, оказывалось выгодно поступить оппортунистически - предать свою команду.

⁸ См. прим. 2.

Последнее и в жизни случается нередко, что нашло отражение в литературе. Не только Винни Пух с опилками в голове, но вполне нормальные люди с мозгами подчас склонны поддаться искушению предать свою команду ради собственной пользы. Вспомним, хотя бы, «Боливару не снести двоих».

Позднее была придумана игра «долларовый аукцион». В 1971 г. Шубик опубликовал ее в статье, и ему обычно приписывают ее авторство. Это – аукцион на приобретение обычной долларовой купюры. Игра очень простая, но, как говорится, заводная. Ее правила таковы:

1. Как в обычных аукционах. Выигрывает тот, кто предложит наивысшую цену. Каждая следующая цена должна быть выше предыдущей, и игра кончается, когда больше никто не предлагает надбавки.

2. Не как в обычных аукционах. Второй участник, чью цену перебил выигравший, *тоже должен уплатить* – ту последнюю цену, которую он предлагал. Но взамен он не получает ничего.

Вот и все правила. Заметим кстати, что в начале 70-х один доллар, по покупательной способности, был не меньше (если не больше) 10 сегодняшних. Поэтому игра могла идти всерьез. Второе правило вносило в игру изрядный азарт.

Вот как мог проходить такой аукцион. Некто предлагает 1 цент. Но кто же откажется получить доллар за 2 цента? Это уже выгоднее, чем банковский процент по обычным вкладам. Поэтому второй объявляет 2 цента. Если первый остановится, ему придется отдать ни за что 1 цент. Но зачем же? Лучше он скажет: 3 цента. Теперь второй в таком же положении. Отдать 2 цента и ничего взамен, когда есть шанс получить доллар всего за несколько центов? Лучше скажу: 4 цента! Так оно и идет...

И к чему приходит игра? Наверное, она кончается, когда цена доходит до 1 доллара?.. Как бы не так! Если второй остановится сейчас, тогда он должен отдать 99 центов. Впустую.

Очень не хочется. Ему представляется, что лучше объявить 1 доллар и 1 цент. Если выиграт, он потеряет всего цент, но зато избежит потери в 99 центов.

«Когда игра доходит до барьера в 1 доллар, - писал Шубик, - наступает нерешительная пауза. Но затем дуэль вспыхивает и идет с нарастающей скоростью, напряжение нарастает, пока наконец не иссякает». Уже давно победивший имеет шанс купить свой доллар за сумму, большую, чем доллар, и плата проигравшего также растет, да еще за просто так. По воспоминаниям Шубика, доходило до того, что победитель

покупал свой доллар за 3, или 5, или еще больше долларов. А второй, конечно, просто терял чуть поменьше.

Шубик замечает, что, когда надбавки намного превышают 1 доллар, под вопросом оказывается рациональность игроков (одно из главных допущений во всей теории игр). Возможно, только кто скажет, на каком уровне аукциона рациональность кончается и начинается иррациональность? 1 доллар ровно? 1 доллар 1 цент? Или где?

Нужно также принять во внимание, что сам Шубик считал наиболее подходящей ситуацией для такого аукциона вечеринку (party), «когда у всех приподнятое настроение, а склонность к расчетливости не очень высока», пока участники не оказываются втянутыми в торг. Подходящая ли ситуация, чтобы делать выводы о человеческой рациональности?

Так или иначе, только ситуация аукциона Шубика возникает в жизни гораздо чаще, чем может показаться по описанию игры. Известны такие выражения, как «иначе вообще все было зря», «все усилия и жертвы были впустую, что ли?», или «вложено уже слишком много, чтобы бросить это дело», или «нет возможности остановиться, сохранив лицо».

Забастовка, приносящая ущерб как предпринимателям, так и профсоюзам, может длиться и длиться потому, что каждая сторона рассчитывает: «еще немного, и они уступят». Притом, с каждым днем все больше сожаление об уже понесенных убытках, и сильнее желание оправдать их конечной победой.

Чем больше денег мы вкладываем в ремонт старой машины, тем меньше желание избавиться от нее, «пока ездит». Чем больше мы проигрываем в карты, тем сильнее желание продолжать игру в надежде отыграться. Чем дольше ждем автобуса, тем меньше желания пойти пешком или взять такси, если идти далеко. И так далее.

Некоторые полагают, что война во Вьетнаме стала для США «долларовым аукционом» - по крайней мере, с того времени, когда поняли, что не предвидится победа в привычном смысле слова.

Гонка вооружений есть чистый аукцион Шубика. «Побеждающий» - страна, обгоняющая другую по количеству и качеству ракет и боеголовок, - выигрывает большую степень безопасности. «Проигрывающий» же остается не просто в меньшей безопасности. Практически, он оказывается перед фактом, что все огромные затраты на оборону не дали ему ничего. Выброшенные деньги. Поэтому он хочет «потратить еще немного, чтобы ликвидировать отставание в вооружениях».

И все же, какова рациональная стратегия в такой игре? Таковой не существует. Конечно, лучше выйти из игры, когда цена доходит до 1 доллара. Или вообще - как можно раньше. Но так мы приходим к тому, что лучшая стратегия – вообще не вступать в аукцион. Игроки не знают заранее, например, насколько соперник дорожит каждым центом, каково его терпение, насколько он азартен и т.д. Все решают такие факторы, как психология, личные качества, везение... Теория игр здесь бессильна.

Итак, насколько можно понять, *теория игр и экономического поведения* обернулась со временем, скорее, теорией *человеческого поведения*. Хотя конечно, теоретико-игровыми моделями хорошо описываются определенные экономические ситуации (тот же пример теории дуополии Курно).

Но вот что интересно. Как мы смогли увидеть, чем ближе к жизни подходят игровые модели, тем труднее оказывается отыскание оптимальных стратегий. Для таких моделей, которые охватывают самый широкий спектр жизненных дилемм, не только не найдены оптимальные стратегии, но и существование таковых не доказано.

И все это, тем не менее, – огромное достижение теории игр. Ибо без нее мы гораздо меньше могли понимать самих себя. Когда мы говорим, например, «равновесие Нэша нашло много применений в экономике, социологии, экологии, биологии», это не обязательно значит, что мы имеем инструмент для анализа в обычном смысле слова. Однако, это – бесценное средство структуризации проблем, их более отчетливого понимания. Последнее же есть необходимая предпосылка их решения.

Государство Израиль

Израиль сейчас стоит перед дилеммой в отношении Ирана. Ее можно изложить так: ждать решительных действий о стороны США или ударить самому?

Что может подсказать здесь теория игр? Иран в игре не участвует. Есть два «игрока»: США и Израиль. У каждого в распоряжении, по меньшей мере, две стратегии: действовать совместно или ударить по Ирану в одностороннем порядке. Несмотря на то, что в данном случае возможны коммуникация и согласование стратегий, полного доверия к партнеру нет ни у одной, ни у другой стороны. Недоверие только укрепилось после недавней утечки секретной информации, организованной администрацией США в своих политических целях. Все это

равносильно препятствию к согласованию стратегий и сильно снижает вероятность такого выбора.

Ситуация определенно смахивает на дилемму заключенного. Если оба «подельника» выберут стратегию скооперироваться, наиболее вероятен положительный исход игры. Но у Израиля нет уверенности в кооперативном поведении США. При этом, насколько коммуникация имеет место, от США не поступает определенного сигнала. Ни да, ни нет. Риск США - как в случае сотрудничества, так и в случае отказа от него - неизмеримо меньше и качественно слабее.

В отличие от классической дилеммы заключенного, здесь матрица наказаний и наград в зависимости от выбора стратегии - не симметрична. Однако, в той модели каждому из заключенных приходится принимать решение на свой страх и риск. И положение Израиля почти точно эквивалентно положению одного из них в классической модели, безотносительно к положению США.

Теоретически, для каждого существует третья стратегия: ничего не предпринимать вообще. Для Америки это самая выгодная стратегия. Во-первых, перед ними не стоит вопрос о выживании в случае «ничего не делать вообще». А во-вторых, у Израиля такой стратегии практически нет, ему рано или поздно придется действовать самому, сняв ответственность с правительства США.

Выбрав третью стратегию, правительство США может даже помочь тому, чтобы Израиль выбрал стратегию одностороннего удара. Это и есть оппортунистическая стратегия, которая в общем случае дилеммы заключенного называется предательством.

Итак, для Израиля оптимальной стратегией является кооперация. Для США наилучший выбор – избежать совместных действий, то есть, оппортунизм.

Односторонние действия Израиля ради «шкурного интереса» (выражение приобретает в данной ситуации буквальный смысл) формально могли бы попасть в категорию «предательства», но здесь нет соответствия с классической моделью. Это далеко не лучшая стратегия. Однако кооперация от него никак не зависит. Поэтому при односторонних действиях предательства интересов партнера не будет. Для последнего это не обернется большой бедой, а может обернуться и выигрышем.

Конечно, мы опускаем здесь многие политические детали и нюансы - давление на правительство США со стороны Конгресса и пр. Мы не рассматриваем политических игр, особенно

закулисных. Мы не занимаемся вычислением вероятностей того или иного исхода. Цель наша здесь – структурировать дилемму.

Как мы знаем, дилемма заключенного не имеет единственного и оптимального решения.



Оскар Шейнин

Статистическое мышление в Библии и Талмуде

Stochastic thinking in the Bible and the Talmud
Annals of Science, vol. 55, 1998, pp. 185 – 198

Авторский перевод с небольшими изменениями

1. Введение



1.1. Пояснения. Мы описываем с указанной точки зрения *Библию*, *Талмуд*, а также и *Книгу Мормона*, которую мормонская ветвь христианского вероучения (Церковь Иисуса Христа Святых последних дней) считает дополнением *Библии*.

Ранняя часть Талмуда (ее название – *Мишна*) является истолкованием *Торы* или *Пятикнижия* (первых пяти книг Ветхого завета) и подразделяется более чем на 60 трактатов. Остальная часть *Талмуда* составлена из позднейших комментариев самой *Мишны*, которые известны в двух вариантах. Соответственно, существуют два варианта *Талмуда*, – *Иерусалимский*, в основном законченный в IV в., – и более влиятельный, *Вавилонский*, – законченный примерно на столетие позже. Наши ссылки, поскольку не указано противное, относятся к *Вавилонскому Талмуду* и, например, T/Avoth относится к его трактату Avoth. Мы также упоминаем нескольких комментаторов *Талмуда*, особенно известного философа и ученого Мозеса Маймонида (113-1204).

Ссылки на *Библию* мы указываем по ее недавнему лондонскому изданию (год выпуска не указан, видимо 1990-х годов), однако впервые мы отыскивали их в известном варианте *Oxford Annotated Bible* (1985). Впрочем, названия отдельных книг этих двух изданий не всегда идентичны. Не владея ивритом, мы в основном пользовались английской частью двуязычного *Вавилонского Талмуда Mishnayot*, vols 1 – 7. London, 1951 – 1956, редактор Ф. Блэкман, но изредка ссылаемся на *Der Babylonische Talmud*, Bde 1 – 12. Berlin, 1930 – 1936, редактор Л. Гольдшмидт и *Le Talmud de Jérusalem*, tt. 1 –

6. Paris, 1960, редактор М. Шваб. Русского перевода *Мишны* (тт. 1 – 6. СПб, 1899 – 1904, переводчик Н. Переферкович) мы не смогли увидеть. Русское написание трактатов *Мишны* нам известно лишь в нескольких случаях, названия же остальных мы указываем по Блэкману. Наконец, мы пользовались русским изданием *Книги Мормона* (Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, 1988).

1.2. Религия и наука. Наши рассуждения не связаны с религиозной верой, однако следует подчеркнуть, что тексты *Библии* и *Талмуда* отразили распространенные чувства древних общин и народов, т. е. что содержащиеся в них утверждения характеризуют накопленное к тому времени знание. Они, эти утверждения, дополнили пояснения Аристотеля (а иногда предшествовали им), который пытался пояснить понятия случайности и вероятности.

Древние комментаторы *Мишны* не обращали серьезного внимания на естествознание или математику. Так, раввин Elieser ben Chisma (Т/Аvoth 3¹⁸) убеждал, что законы, относящиеся к

Жертвоприношениям птиц и наступлениям менструации, являются существенными традиционными установлениями, однако определение границ сезонов и геометрия это лишь придатки (after-course) мудрости¹.

Общеизвестно, что во многих случаях церковь препятствовала признанию важнейших научных открытий, но что при изучении природы крупнейшие ученые, включая Ньютона, вдохновлялись желанием постичь божественные законы. И во всяком случае религия требовала логического мышления. Так, в Книге Притчи 14:28 мы находим прямое и противоположное утверждения: “Во множестве народа – величие царя, а при малолюдстве народа беда государю”. Можно сослаться и на Книгу От Матфея 12:33 и 35, но первый пример интересен и потому, что в середине XVII в. ту же мысль разделяли основатели политической арифметики, предшественницы статистики, Дж. Граунт и У. Петти, а в XVIII в. – немецкий статистик Зюссмильх. Подобный же пример, на этот раз из *Талмуда*, мы привели в п. 5.5².

1.3. Предшествующая литература. Назовем статьи Nasofer (1967), который описал применение жребиев в *Талмуде*, и книгу Rabinovitch (1973), частично написанную на основе предыдущих статей автора. Мы весьма обязаны Рабиновичу (частые ссылки на него мы обозначаем просто сокращением *Раб*), но не удовлетворены ни его выбором примеров, ни пояснениями. Он обнаружил не существующие в древних источниках аксиомы теории вероятностей и преувеличил значение действительно

встречающихся там элементов некоторых понятий (закон больших чисел, заключения по выборочным данным)³.

Рабинович (1974) кроме того изучал линейные измерения, описанные в *Талмуде*, и мы и здесь многим обязаны ему, но снова не удовлетворены его публикацией.

Ipeichen (1996) обсуждал нашу тему в краткой главе своей книги, в основном по работам обоих указанных выше авторов. Он, однако, не подошел к своей теме критически, и во всяком случае мы почти не перекрываемся с ним. Наконец, мы опираемся на наши предшествующие работы.

2. Случайность

Теория вероятностей изучает закономерности массовых случайных явлений, и случайность для этой дисциплины поэтому является основополагающим понятием. Первую попытку прояснить его мы находим у Аристотеля, и вот два из его примеров.

а. Копая яму для посадки дерева, некто находит клад. Случай – отсутствие закона или цели (*Метафизика*, кн. 5, XXX, 1025a).

б. Случайные ошибки “в действиях природы” приводят к появлению уродов, и ее первое уклонение от “типа”, вызванное искажающими влияниями, но в то же время и “естественная необходимость”, это рождение самки (девочки) вместо самца (мальчика).

Таковым (второй пример) было возможно первое (и вряд ли удачное) утверждение о связи необходимости и случайности (*Физика* 199b; *О возникновении животных* 767b, кн. 4, III).

Современное естественно-научное пояснение случайности ведет начало от Пуанкаре, который обсуждал это понятие в нескольких научно-популярных брошюрах и предложил для него несколько определений, а затем объединил свои рассуждения в статье 1907 г. и перепечатал ее в своем трактате (1896/1912, Введение) Вот самое известное и самое важное его определение (с. 11 русского перевода 1999 г.):

Очень мелкая, ускользающая от нас причина вызывает значительное действие, которое мы не можем не заметить; тогда мы говорим, что этим следствием мы обязаны случаю.

Здесь косвенно указано: в условиях неустойчивого равновесия; и можно даже сказать, что для такого равновесия необходимо и достаточно подобное следствие. Первый (и возможно второй) пример Аристотеля подходит под определение Пуанкаре: при небольшом сдвиге ямы клад не был бы найден.

Кеплер (1618-1621/1952, т. 16, с. 932) привел рассуждение, аналогичное второму примеру Аристотеля:

Будь небесные движения работой ума, [...] совершенно круговые пути планет были бы правдоподобны, [...] но небесные движения [...] вызваны [...] природой [...],
исказились и стали эллиптическими.

И даже задолго до него раввин и ученый Леви Бен Гершон (*Раб* с. 77 со ссылкой на *Milhamot haShem* III-4) утверждал, что детерминизм в природе является лишь приближенным и иногда нарушается препятствиями. И вот утверждение Пуанкаре (1896/1912, русск. перевод 1999 г., с. 9):

Ни в одной области точные законы не определяют всего, они лишь очерчивали пределы, в которых дозволялось пребывать случаю.

Начиная с работ Мизеса математики пытаются определить бесконечную (и даже конечную) случайную числовую последовательность. Современный подход к этой теме основан на том, что начальный отрезок такой бесконечной последовательности должен быть “иррегулярным”, “незаконосообразным”. Таким образом, иррегулярность является существенным свойством случайности, а подразделение явлений на детерминированные и случайные остается исключительно трудной проблемой (см. также п. 5.1).

В Ветхом завете имеется несколько примеров случая, каждый из них в духе первого примера Аристотеля:

“Я случайно пришел на гору Гелвуйскую” (Вторая Царств 1:6).

“Там случайно находился один негодный человек” (там же 20:1).

“А один человек случайно натянул лук и ранил царя Израильского” (Третья Царств 22:34 и почти дословно то же во Второй Паралипоменона 18:33).

“Не проворным достается успешный бег, не храбрым победа [...], но время и случай для всех их” (Екклесиаст 9:11).

3. Вероятность

Известны несколько видов вероятностей; помимо логической и субъективной есть и теоретическая (априорная) и статистическая (апостериорная). Закон больших чисел Якоба Бернулли соединил две последние, доказав, что в вероятностном смысле статистическая вероятность неограниченно приближается к теоретической.

Во многих случаях вероятность случайного события неизвестна, и некоторые авторы доказывали, что субъективно следует считать ее равной $1/2$ (Poisson 1837, с. 47). Подобное заключение (по *принципу безразличия*) нельзя использовать ни в каких серьезных приложениях. Впрочем, оно предоставляет наименьшую возможную информацию о неизвестном событии и кроме того Лаплас и тот же Пуассон (Шейнин 2005, с. 117) прямо указывали на необходимость постоянного совершенствования принятых гипотез при помощи новых наблюдений.

Раб (с. 44 со ссылкой на Makhshirin 2³⁻¹¹ и Баба Батра 6¹) заметил, что при отсутствии “явного большинства” сомнение в *Талмуде* оценивается как “половина и половина”. Тем не менее, в первом из его источников скорее сказано, что большинство равносильно целому. Примеры Рабиновича несомненно связаны с вероятностями, так что Пуассон имел предшественников.

И всё же по меньшей мере в одном случае (Ketubot 1¹⁰; Makhshirin 2⁹; *Раб*, с. 45) принцип *половина и половина* вряд ли приводил к правдоподобному заключению:

Если 9 лавок продают кошерное мясо, а одна лавка – не кошерное [видимо, говядину в обоих случаях], и кто-то купил в одной из них, но не помнит, в какой именно, – оно запрещено ввиду сомнения. Но если мясо найдено [на улице], то следует исходить из большинства.

В обоих случаях рассматривается по существу одно и то же, и вероятность нарушить запрет в них обоих одна и та же (0.1).

4. Случайная величина и ее ожидание

Математическая теория вероятностей не может рассматривать случайность саму по себе; соответственно, было введено понятие о случайной величине, но формально это сделал лишь Пуассон (1837, с. 140-141; Шейнин 2005, с. 134), да и то неуверенно. До него математики обсуждали случайные выигрыши в азартной игре, случайную продолжительность жизни, случайные ошибки наблюдения.

До начала XVIII в. считалось, что вероятности всех возможных значений случайной величины совпадают (Шейнин 1995, п. 7.1). Один из первых, кто не согласился с этим, был Мопертюи (1745/1756, т. 2, с. 109 и 120 – 121). По существу он объяснил сравнительно редкую схожесть ребенка с дальним предком, равно как и мутации (современный термин), “неравномерной” случайностью. В то же время он (1751/1756, там же, с. 146), обсуждая происхождение глаз и ушей у животных,

лишь сравнил “равномерную и слепую склонность” с некоторым “принципом разума” и остановился на нем.

Маймонид (*Паб* с. 74 со ссылкой на *Sefer haMitzvot*, Запрещающая заповедь 290), однако, убеждал, что “среди случайных (contingent) вещей некоторые весьма правдоподобны, другие возможности [возможности других вещей?] весьма маловероятны, а еще некоторые промежуточны”. Иначе говоря, он указал на случайные события, вероятности которых весьма отличались друг от друга. Но он же (1977, с. 124) утверждал, что “события, постигающие людей, происходят не случайно (not of accident), но по божественному правосудию”.

Своеобразное случайное событие с довольно высокой вероятностью видимо рассматривалось в Книге Исход 21:29:

Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин, быв извещен о сем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, и хозяина предать смерти.

Иначе: бодливый вол (*источник повышенной опасности*) весьма вероятно будет бодаться и впредь.

В 1654 г. Паскаль и Ферма независимо друг от друга ввели ожидание случайного события в качестве критерия для справедливого раздела ставки в прерванной серии азартных игр, и это понятие остается одним из важнейших параметров случайной величины.

Первым, кто упомянул ожидание (на до-математическом уровне) был, возможно, Маймонид (*Паб* с. 164 со ссылкой на *Mishna Torah*, *Edut* [Эдуйот?] xxi-1), который засвидетельствовал, что брачный контракт, обеспечивающий вдову или разведенную жену в 1000 зуз, “можно продать за 100 [этих денежных единиц], но контракт в 100 зуз – лишь меньше, чем за 10 зуз”. Этот контракт, как оказывается, имел более или менее установленную цену, притом большие возможные выигрыши считались предпочтительнее, хоть объективно они и не были благоприятнее. Та же самая субъективная склонность существует и сегодня (и нещадно используется организаторами лотерей).

Известно, что аналогичные идеи, также не вполне определенные, возникли в Европе на несколько столетий позже в связи со страхованием жизни (Шейнин 1977, с. 206-209). Добавим, однако, что ожидания в те времена (тем более при Маймониде) не обязательно понимались так же, как сегодня, и во всяком случае вероятности соответствующих событий (например, развода или дожития до определенного возраста) могли назначаться только субъективно (и интуитивно).

5. Вероятностные решения

5.1. Отделение случайного от преднамерения. Именно это было главной целью ранней теории вероятностей и можно сослаться здесь на Муавра (1718/1756, с. 329), – на его Посвящение своей книги Ньютону. Он определил свою цель как

Установление определенных Правил для оценки того, насколько некоторые виды Событий могли быть вызваны скорее Преднамерением, чем Шансом.

Вот два классических примера. Слово *Константинополь* составлено из литеров наборной кассы. Можно ли заключить, что оно появилось намеренно? Подразумевалось, что вероятности выбора каждой литеры, равно как и их взаимных расположений, совпадали.

Лаплас (1814/1999, с. 837, левый столбец) заявил, что слово появилось намеренно, поскольку оно осмысленно (ср. первый пример Аристотеля в п. 2), и имел в виду, что чисто вероятностный ответ невозможен. Эту задачу придумал Даламбер (1768, с. 254-255), – и называется она по именам их обоих, – который, однако, смутно решил, что все размещения равновероятны лишь математически, на самом же деле – нет.

Другой, более ранний пример, в котором нет явных равновероятных случаев, представляет заключение Кеплера (1604/1977, с. 337) о появлении новой звезды:

Я не хочу приписывать это удивительное совпадение по времени и в пространстве слепому случаю, и особенно потому, что появление новой звезды само по себе, даже безотносительно времени и пространства, является не обычным событием, как при броске игральной кости, а великим чудом.

Он посчитал, что и время, и место появления Новой были также примечательны, так что шансы этого события, будь оно случайным, оказались бы слишком низкими, и оно должно было соответствовать предустановленной цели.

5.1.1. Библия. а) В Книге Бытие 41:1.6 описаны коровы и колосья, которых увидел Фараон в своих снах. Сны отличались друг от друга лишь по форме, по существу же они описывали невероятные события, притом дважды подряд. Иначе говоря, они не могли быть случайными.

Можно, конечно, предполагать, что весь этот эпизод малозначителен, но вот неожиданное заключение из *Книги Мормона* (1Нефий 16:29): “Малыми средствами господь совершает великие дела”. Отсюда, между прочим, видимо следует, что по меньшей мере иногда судьба человека (или человечества?)

находится в неустойчивом равновесии (см. определение случайности по Пуанкаре в п. 2).

б) Другой повторный сон: Бытие 37:7-9.

с) Даже однократный и осмысленный (т. е. вряд ли случайный) сон иногда считался Божественным посланием (От Матфея, гл. 1 и 2).

д) Низкая (на этот раз статистическая в смысле общего представления) вероятность привела Иова (9:24 и 21: 17 – 18) к отрицанию случайности в пользу причины: “Земля отдана в руки нечестивых”, поскольку не часто “угасает их светильник”⁴.

5.1.2. Талмуд. В нем можно указать три аналогичных примера, см. также *Раб* (с. 87, 90 и 84).

а) Если три дня подряд, но не одновременно, и не в течение четырех дней, в городе, “выставляющем” 500 (1500) солдат, умирает 3 (9) жителей, то их смерть следует приписать чуме и объявить его на особом положении (*Taanit* 3⁴). Количество солдат наверняка должно было отражать неизвестное число жителей города, а умершие, как следует полагать, считались по меньшей мере не очень большими и среди них не должно было быть младенцев.

б) Для утверждения в качестве надежного средства амулет должен вылечить трех больных подряд (*Sabbath* 6²). Заметим, что дальнейших наблюдений над браслетом не предусматривалось.

с) Если найдено несколько связок ритуальной одежды, то следует проверить по три пары в каждой (*Иерусалимский Талмуд*/Eiruvin 10¹).

Первый пример мы рассмотрим в п. 5.3, здесь же остановимся на втором. Пусть амулет не обладает целебными свойствами, тогда вероятность, что он “поможет”, равна $p = 1/2$ (ср. п. 3), а вероятность случайного исцеления трех человек подряд окажется равной $p = 1/8$, т. е. более или менее низкой. Вероятности всех прочих исходов будут, правда, также равны $1/8$, однако можно полагать, что три исцеления подряд следовало скорее приписать единой причине, – силе амулета, ср. рассуждение Лапласа в п. 5.1.

д) День Искупления. Ежегодно в этот день Первосвященник приносил в жертву двух козлов, – одного Богу, другого – Демону пустыни Азазелю (*Leviticus* 6:3-10). Он вытягивал два жребия из урны, по одному в каждую руку, и в течение 40 лет, пока им был Шимон Праведный, билетик “для Бога” неизменно оказывался у него в правой руке (*T/Yoma* 4¹). Чудо, как его считали, приписывалось причине, – особым достоинствам Шимона.

е) Выкуп за перворожденных. *Библия* (Числа 3:44 – 49) описывает уплату выкупа за них лишними 273-мя “против числа Левитов” (освобожденных от уплаты), которые определялись по жребию (*Иерусалимский Талмуд*, Санхедрин 1⁴)⁵. Моисей написал “Левит” на 22 000 билетиков и приготовил еще 273 билетика с надписью “5 сиклей” [шекелей]. В *Иерусалимском Талмуде* сказано, однако, что билетиков первого вида было 22 273, а раз жребий тянуло столько же человек, то Моисей подвергал себя риску (незначительному) недополучить ожидаемую сумму.

Оказалось, что все особые 273 билетика вышли в тираж (и все деньги были получены), притом через одни и те же интервалы, что было сочтено чудом. Но остается вопрос, который мы рассмотрим в п. 5.1.4.

5.1.3. Особый случай? И в *Библии*, и в *Талмуде* неоднократно описываются события, происшедшие трижды. Так, в Ветхом завете (Числа 22:23 – 27 (Валаамова ослица); Первая Царств 3:4 – 8; Третья Царств 18:34) и в Новом завете (Деяния 10:16; От Матфея, гл. 4; там же, 26:34 (“трижды отречься от меня”) и 40 – 45; От Луки 23:18-22).

Аналогично, в *Талмуде* (Menahot 10³; Parah 3¹⁰) и, добавим мы, многократно в *Книге Мормона* (1Нефий 4:10 – 12; Геламан 5:31 – 33; 2Нефий 11:3 и 27:12; Ефер 5:3; 3Нефий 11:3 – 5; Мормон 3:13).

И всё-таки (п. 5.1.1) трижды происшедшее событие не было единственным доказательством отсутствия случайности.

5.1.4. Выкуп за перворожденных: особое обстоятельство. Мы возвращаемся к п. 5.1.2е и задаем вопрос: зачем были нужны лишние 273 билетика? Известно лишь (*Иерусалимский Талмуд*/Санхедрин 1⁴), что некоторые участники жеребьевки вроде бы решили, что она не будет справедливой (последним 273-м возможно достанутся только особые билетики)⁶.

Нетрудно доказать, что перед началом жеребьевки ожидание избавиться от выкупа было одним и тем же для всех. Пусть в урне находится m билетиков, выигрывающих по a шекелей и n билетиков, выигрывающих b . В нашем примере $a = 0$ и $b < 0$, но эти ограничения несущественны. Более того, пример можно обобщить на случай билетиков трех, четырех, ... видов.

При первом тираже ожидание выигрыша равно

$$E\xi_1 = \frac{ma + nb}{m + n}.$$

После этого в урне остается либо $(m - 1)$ билетиков первого вида и n других билетиков, и этот случай произойдет m

раз; либо m билетиков первого вида и $(n - 1)$ других, что случится n раз. Ожидание второго участника жеребьевки окажется равным

$$E\xi_2 = \frac{1}{m+n} \left[m \frac{a(m-1) + bn}{m+n-1} + n \frac{am + b(n-1)}{m+n-1} \right] = E\xi_1.$$

Аналогично, $E\xi_3 = E\xi_2 = \dots$ и т.д.

5.2. Принятие решений. В нашем сравнительно несложном контексте принятие решения означает либо наиболее благоприятный, либо наименее неблагоприятный выбор альтернативы. Так (п. 3), если 9 мясников из 10 продают кошерное мясо, то мясо неизвестного происхождения можно считать кошерным. Или, в другом примере (Т/Таанит 4², см. также *Раб*, с. 355), найдено три (рукописных) экземпляра Торы. Обнаружив незначительные расхождения между ними, “мудрецы отвергли один и приняли [совпадающие] тексты остальных”.

Римский врач Цельс (Celsus 1935, с. 19 англ. перевода) даже заявил, что “внимательные люди замечали, что, в общем, лучше подходит, и начали назначать то же самое своим пациентам. Так возникло искусство врачевания”. Он, видимо, имел в виду, что при некоторых теоретических познаниях дальнейшего продвижения медицины можно было достичь методами, обладающими более высокой (статистической) вероятностью успеха.

В свою очередь, Маймонид (*Раб*, с. 91 со ссылкой на *Responsa*) подчеркнул значение опыта: “Как были обнаружены все ныне хорошо известные средства от болезней, если не опытным путем? [...] Должны ли мы сейчас запереть ворота перед экспериментированием?”

И вот подходящее правило из *Талмуда* (Hodayot 1¹; см. также *Раб*, с. 38), которое “в первую очередь” относилось к юриспруденции: “следуй за большинством”. Оно указывало, что приговоры могли выноситься большинством голосов (более квалифицированным, если случай допускал смертную казнь). Гражданские дела, видимо, также рассматривались в соответствии с указанным правилом, а в сомнительных случаях иногда не выносилось никакого суждения. Так произошло (Т/Евмот 11⁶) в примере с неопределенным отцовством⁷.

Сошлемся, наконец, на правило о подкидышах (Т/Makhshirin 2⁷). Ребенок, найденный в городе с преимущественным не еврейским населением, предполагался таким же, и евреем как в противном случае, так и если население города делилось поровну между этими двумя группами (что можно было установить лишь весьма грубо).

Якоб Бернулли (1713/1986, с. 27) заявил, что должно “выбирать или следовать тому, что будет найдено лучшим, более удовлетворительным, спокойным и разумным”, и что вероятности “оцениваются одновременно и по числу, и по весу [соответствующих] доводов”⁸.

У Маймонида (1963, II-23, см. также *Раб*, с. 138) мы находим, что при сравнении сомнений о противоположных мнениях

Следует учитывать не число сомнений, а в первую очередь как велико их несоответствие и насколько они не согласуются с существующим. Иногда единственное сомнение сильнее тысячи других.

Можно предположить, что Маймонид имел в виду какую-то связь сомнений и их силы с вероятностями, потому что сомнительное возможно с более или менее низкой вероятностью.

Правила о запрещенной пище тоже косвенно опирались на (статистические) вероятности. *Талмуд* (например, *Тегумот*) устанавливал запреты различной строгости на пищу, разрешенную лишь священникам: остальное население должно было в каждом отдельном случае руководствоваться определенными соотношениями запрещенного и разрешенного (например, для зерна двух видов), и таким образом существовала шкала соотношений. *Раб* (с. 41 со ссылкой на *Mishna Tora*, Запрещенная пища XV) сообщает, что Маймонид признавал семь соответствующих “уровней значимости”. Мы бы сказали: ввел шкалу из семи вероятностей для строгости различных степеней. Так, при разрешенном соотношении 1/100 вероятность съесть запрещенную пищу равнялась 1/101.

В новое время подобные шкалы (также и для логически устанавливаемых вероятностей) появились в юриспруденции и медицине еще до того, как вероятностные рассуждения стали полностью количественными (Лейбниц 1765/1936, кн. 2, гл. 16).

И вот особый пример вероятностного рассуждения (*Раб* с. 40), относящийся к раввину Shlomo ben Adret см. также [II, п. 4.2], которого Рабинович упоминает несколько раз, называет комментатором Талмуда и, на с. 5, указывает даты его жизни (1235-1310).

На тарелке лежат три или несколько (это неясно) кусков мяса, один из которых не кошерный. Можно съесть первый кусок, потому что он [вероятно] не запрещенный, так же само – второй [и т. д.?], а когда очередь дойдет до последнего, можно сказать, что “а этот разрешен, ибо по библейскому закону один из двух недействителен [?]”. Рабинович таким образом процитировал

раввина и разъяснил (с. 39), что если запрещенный кусок смешивается с двумя разрешенными, то запрет отменяется.

Мы сомневаемся, что этот пример (и его обоснование) согласуется с решением о найденном куске мяса в конце п. 3, но главное в том, что описанное рассуждение противоречит здравому смыслу и может считаться разве лишь вероятностным софизмом, который, впрочем, вполне объясним опорой Shlomo ben Adret на субъективную, но отнюдь не объективную вероятность. И можно ли обобщить это рассуждение на произвольное число кусков мяса?

5.3. Выбор гипотезы: ожидания. Здесь критерием является не сама вероятность, как в примере об отцовстве (п. 5.2), а соответствующие ожидания выгоды (или наименьшего ущерба). Если некоторая альтернативная гипотеза, будь она менее вероятна, обеспечивает большее ожидание, то она более благоприятна (или наносит наименьший ущерб). Можно даже полагать, что с подобной целью интуитивно учитывались вероятности при слушании серьезных преступлений, при решениях о подкидышах и установлении запретов различной строгости на запрещенную пищу (п. 5.2). И выбор между случайным и детерминированным, видимо, иногда производился с той же целью.

Рассмотрим случай заподозренной чумы (п. 5.1.2). Да, действительно, случаи смерти 0, 1, 2 и 3 человек в течение трех дней (для меньшего города) видимо считались равновероятными (ср. там же пример б), и ложная тревога имела вероятность $1/8$, но положение оказывалось серьезным и требовало принятия особых мер. Но почему случай трех смертей в течение, скажем, двух дней не принимался во внимание? Один из ранних комментаторов, раввин Meir (немецкое издание *Талмуда*, т. 3, с. 707), пояснил это, – на наш взгляд, вопреки здравому смыслу, – ссылкой на бодливого вола (п. 4).

В новое время выбор между гипотезами, основанный на ожиданиях, начался по существу с Паскаля (1669), – с его знаменитого посмертно опубликованного пари. Человек либо живет праведно и потому трудно, либо грешит. Если Бог существует, то греховодник проигрывает, потому что вслед за конечными наслаждениями наступит бесконечное страдание, в противном же случае он выиграет. Вероятности существования Бога истинно верующий автор не назначил, хотя быть может только потому, что не успел отредактировать свой текст, но легко видеть, что при сколь угодно низкой, но конечной вероятности следует вести праведный образ жизни.

В иудаизме нет, кажется, четких понятий ада и рая, и *Талмуд* (Avoth 2¹) содержит лишь соответствующее детерминированное утверждение (вставки редактора *Мишны*):

Какой верный путь должен человек выбрать для себя? [...] Соотнеси потери, вызванные [невыполнением] заповеди с наградой [обеспеченной ее соблюдением], а выгоду [от] нарушения – с [последующей] потерей⁹.

5.4. Особый выбор гипотез: моральная достоверность.

Аристотель (*Problemata* 951b) считал, что предпочтительнее оправдать преступника, чем осудить невинного, т. е., в данном случае, отвергнуть верную гипотезу лучше, чем принять неверную. Современная презумпция невиновности не противоречит этому утверждению, и уже Якоб Бернулли (1713/1986, с. 31) считал, что приговоры в (уголовных) делах должны быть морально достоверными, т. е. быть справедливыми с вероятностью 0.99 или 0.999.

Много веков раньше Маймонид (1977, с. 124), как заметил *Раб* (с. 111), утверждал, что лучше освободить тысячу грешников, чем казнить одного невинного. И по меньшей мере в одном случае еврейский гражданский закон руководствуется той же мыслью. *Талмуд* (Yevamot 10) требовал свидетелей для объявления безвестно отсутствующего умершим. И вот современное толкование (*Lexikon* 1987, т. 4, часть 2-я, статья Verschollenheit, с. 1199):

Предположение о смерти, в соответствии с которым длительно отсутствующие объявляются официально умершими, не известно еврейскому закону.

Даже если гипотезы не вводятся явно, различие между указанными выше утверждениями и случаями, описанными в п. 5.2, всё же существенно, и состоит оно в том, что решения уже не зависят от простого сравнения соответствующих вероятностей.

5.5. Дополнение: гипотезы и наука. Мы кратко остановимся на вопросе, не относящемся к теории вероятностей или статистике. В другом случае спорного отцовства (ср. п. 5.2) *Талмуд* (Маккот 3¹⁵⁻¹⁶; см. также *Раб*, с. 120) указал: “Что мы видим, то можно считать доказанным, но мы не считаем доказанным то, чего не видим”.

И вот утверждение Ньютона (1687/1936, с. 662): “Причину же этих свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю”.

Маймонид (1975, с. 123) убеждал врачей и судей, рассуждая в духе последовательной проверки гипотез, начиная притом с простейших: исцеление следует вначале добиваться

“пищей”, при неудаче прописывать “нежные” лекарства, и только в качестве последней меры переходить к “сильным”.

Аналогично, судье следует “добиваться соглашения” между тяжущимися, затем объявлять суждение “в приятном тоне” и становиться “тверже” только после тщетного использования этих более мягких средств.

И вот ньютоново Правило “философствования” (т. е. умозаключений в физике) № 1 (1687/1936, с. 502): “Не должно принимать в природе иных причин сверх тех, которые истинны и достаточны для объяснения явлений”. Маймонид, правда, имел дело вовсе не с физикой, но “причины” тяжб, как, видимо, следовало вначале предполагать, можно было исключить достаточно простыми средствами.

6. Измерения

6.1. Линейные измерения. Понимая, что их наблюдения существенно искажены ошибками, древние астрономы представляли себе свои результаты не в виде определенных чисел, а отрезками, ограниченными некоторыми ранее установленными концами. Они поэтому считали возможным принимать за окончательное значение измеряемой константы почти любое число из такого отрезка (Шейнин 2005, п. 1.1.4). И даже в Средневековье (Price 1955, с. 6) “многие [крупномасштабные] карты” составлялись не на основе измерений, а в соответствии “с общим знанием местности”.

Еврейская традиция, однако, требовала довольно точных измерений различного рода. В субботу нельзя было покидать места своего жительства, и поэтому было необходимо устанавливать границы каждого поселения, т. е. проводить соответствующие линейные измерения в поле.

Единственным разрешенным средством для этого (T/Eiruvin 5⁴) была [льняная] “веревка длиной пятьдесят локтей”, и комментаторы разъяснили, что более короткая веревка вытягивалась, а более длинная – провисала бы. Впрочем, применялись и железные цепи, которые, однако, упомянуты в другом трактате (T/Kelim 14³). Ввиду возможных погрешностей границы поселений не считались жестко установленными; древний комментатор, раввин Shimon, допускал при этом ошибку в 0.75%. Для сравнения, точность, достижимая измерениями стальной лентой длиной 20 м, составляет 0.14%¹⁰.

Рабинович (1974) исследовал древние измерения более подробно и добавил, что в своем комментарии *Талмуда* Shimon из Joinville (XIII в.) видимо полагал ошибки каждого знака в

линейных измерениях равновозможными. Впрочем, некоторые составляющие полной ошибки (например, вызванные рельефом местности и неизбежной извилистостью измеряемой прямой) действуют систематически, – увеличивают длину.

6.2. Единица объема. Во многих случаях еврейский закон ссылаясь на куриное яйцо как на единицу объема и, более четко, на среднее из объемов “наибольшего” и “наименьшего” из них (Т/Kelim 17⁶), т. е. на полусумму крайних значений объемов. Но определить эти значения можно было лишь по какому-то конечному числу яиц, указано же было – “на глаз”.

Начиная с Кеплера, или быть может на несколько десятилетий раньше, стандартной оценкой измеряемой константы стало среднее арифметическое из ее наблюдений (Шейнин 2005, с. 25 – 26). До того, однако, астрономы вряд ли придерживались какого-нибудь единого правила, хотя среднее из крайних значений (которое в случае двух наблюдений совпадало со средним арифметическим) иногда использовал Бируни.

7. Некоторые выводы

Библия (особенно Ветхий завет) и *Талмуд* содержали интересные примеры статистического мышления¹¹. Случайность подразумевалась неоднократно (п. 2); устанавливалось различие между случайным и причинным (п. 5.1); и решения принимались на основе либо вероятностей, либо ожиданий (пп. 5. 2-5.3).

Соответствующие образ действий и эвристические понятия можно отыскать и в других источниках (Шейнин 1974, с. 117-119). Гиппократ приписал выздоровление пациента вероятной причине, а некоторые его афоризмы были основаны, мы бы сказали, на качественной корреляции, например: “Люди, очень полные по природе, склонны умирать в более раннем возрасте, нежели худощавые”. Тот же подход мы находим и у Аристотеля и интересно, что подобные высказывания были в духе качественной науки того времени.

Судебные приговоры, выносимые большинством, признавались не только *Талмудом* (п. 5.2), но и в Индии (и возможно не только там) начиная со II в., если не раньше. Также в Индии закон отличал случай от божественного возмездия виновному: считалось, что свидетель, с которым не позднее недели после дачи показаний случалось несчастье, был наказан свыше (там же, с. 08).

По мнению Конфуция (там же, с. 112, Прим. 68), судьбу должны разьяснять три предсказателя, двум из которых, если их указания совпадают, следовало доверять. И, наконец, Аристотель

(п. 2) разъяснил случайность, чтобы включить это понятие в свое учение о причинах.

Наша статья подтверждает, что статистическое мышление стало естественным в древности. Более того, оно было широко распространено среди евреев, хотя и ограничивалось жесткими рамками (п. 5.1), поскольку каждое поколение изучало и Ветхий завет, и *Талмуд*.

Особо скажем, что Маймонид ввел элементарную шкалу вероятностей (п. 5.2) и что его рассуждения о сомнениях и гипотезах были эвристически родственны позднейшим утверждениям Ньютона и Якоба Бернулли (пп. 5.4-5.5).

Но мы обязаны добавить, что некоторые рассуждения в *Талмуде* и комментарии к ним противоречат здравому смыслу. Назовем примеры с мясом неизвестного происхождения (п. 3 и конец п. 5.2), условия, при которых смерть жителей города приписывалась чуме (п. 5.1.2а) и, особенно, несусветное обоснование этих условий (п. 5.3).

Признательность. Эта статья явилась результатом нашего доклада на заседании Общества еврейских врачей и психологов в Берлине под председательством д-ра Р. Скобло. В прениях проф. Г. Розенталь обратил наше внимание на *сны Фараона* (п. 5.1.1), а вопросы и предложения редактора журнала проф. А. Граттан-Гиннеса и рецензента помогли нам при окончательном оформлении рукописи.

Примечания

1. Но вот, правда, намного более позднее мнение Маймонида (1977, с. 122) о “математической астрономии”: “Наши мудрецы подтвердили, что [в этом] истинная мудрость (wisdom in the sight of the people), но теории астрологов лишены всякого значения”.

2. Прямое и обратное утверждения содержатся и в *Учениях и заветах Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Драгоценная жемчужина* (Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 1995) 88:37. Во Введении (с. iii) сказано, что эта книга является собранием “Божественных откровений и Боговдохновенных изречений”.

Другую связь с политической арифметикой предоставляют вопросы Моисея (Числа 13: 17 – 20). Он

Послал мужей [...] высмотреть землю Ханаанскую, [узнать] какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен? И какова земля [...]. И каковы города [...].

3. Раб (с. xi) опровергнул утверждение (*Encyclopaedia* 1962, с. 920 – 921) о том, что “древняя еврейская мысль не знала понятия вероятности” (точнее: никак не использовала ее).

4. Возможно, что это заключение вызвало следующий комментарий (T/Avoth 4¹⁵), хотя и без ссылки на него: “Раввин Jannaï сказал, что не в наших силах объяснить ни процветание нечестивых, ни несчастья праведных”.

5. Жребии были распространены в древности. Проводимые в установленном порядке, они должны были сообщать божественное мнение, в противном же случае их результат считался чисто случайным.

6. В конце 1960-х годов квартиры в строящихся в Москве кооперативных домах должны были распределяться по жребию. В одном случае члены кооператива выразили аналогичное сомнение в справедливости жеребьевки, но В.Н. Тутубалин доказал им, что ее порядок не случаен. В 1972 он описал этот эпизод в своей брошюре *Теория вероятностей*. М., МГУ.

7. Раб (с. 59) ввел разумные предположения и попытался решить эту задачу по теореме Бейеса, т. е. выбрать более (и достаточно) вероятную гипотезу, но определенного ответа так и не получил.

8. Бернулли видимо следовал средневековому учению *пробабиллизма*, которое позволяло опираться на вероятное мнение любого Отца католической церкви. Соответственно, он допускал неаддитивные вероятности (сумма которых превышала единицу), см. по этому поводу Shafer (1978).

9. Мы приведем выдержку из того же источника, в основном ввиду красоты слога: “День короток, а задание велико; работники вялы, [хоть] вознаграждение обильно, а Хозяин дома настойчив (urgent)”.

10. В соответствии с геодезическими наставлениями примерно 1960-х годов.

11. Будучи комментарием, написанным многими учеными людьми, он богаче по содержанию. Но сама краткость *Библии*, и, разумеется, ее более раннее появление означают бóльшую значимость ее утверждений.

Библиография

Аристотель, Aristotle (1975 – 1983), *Сочинения*, тт. 1-4. М. *Метафизика* включена в т. 1, *Физика* – в т. 3. *О возникновении животных* не попало в это собрание (но было переведено в 1940 г.), равно как и возможно не принадлежащее Аристотелю сочинение *Problemata*. Общеизвестны два собрания сочинений Аристотеля в английском переводе: 12 томов под редакцией Д.

Росса (Оксфорд, 1908 – 1952; датировка по *British Library Gen. Catalogue of Printed Books up to 1975*), на которое мы ссылаемся, и двухтомное (Принстон, 1984).

Шейнин О. Б., Sheynin O. B. (1974), On the prehistory of the theory of probability. *Arch. Hist. Ex. Sci.*, vol. 12, pp. 97 – 141.

– (1977), Early history of the theory of probability. Там же, т. 17, с. 201 – 259.

– (1995), Понятие случайности от Аристотеля до Пуанкаре. *Историко-математич. исследования*, вып. 1 (36), № 1, с. 85 – 105.

– (2005), *Теория вероятностей. Исторический очерк*. Берлин. Также www.sheynin.de

Bernoulli J., Бернулли Я. (1713, латин.), Искусство предположений. В книге автора *О законе больших чисел*. М., 1986, с. 23-59.

Celsus A. C. (1935, латин. и англ.), *De Medicina*, vol. 1. London.

D'Alembert J. Le Rond (1768), Doutes et questions sur le calcul des probabilités. В книге автора *Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie*, t. 5. Amsterdam, pp. 239 – 264.

De Moivre A. (1718), *Doctrine of Chances*. Третье изд. Лондон, 1756 перепечатано: Нью-Йорк, 1967.

Encyclopaedia (1962, иврит), *Encyclopaedia Hebraica*, vol. 14. Tel Aviv.

Hasofer A. M. (1967), Random mechanisms in Talmudic literature. *Biometrika*, vol. 54, pp. 316 – 321. Расширенный вариант: *Proc. Assoc. Orthodox Jewish Scientists*, vol. 2. Jerusalem – New York, 1977, pp. 63-80.

Heichen R. (1996), *Würfel und Wahrscheinlichkeit*. Heidelberg.

Kepler J. (1604, нем.), A thorough description of an extraordinary new star. *Vistas in Astronomy*, vol. 20, 1977, pp. 333-339. – (1618 – 1621, латин.), *Epitome of Copernican Astronomy*. В книге *Great Books of the Western World*, vol. 16, 1952, pp. 845-1004.

Laplace P.-S., Лаплас П. С. (1814, франц.), *Опыт философии теории вероятностей*. В книге Прохоров Ю. В., редактор (1999), *Вероятность и математическая статистика. Энциклопедия*. М., с. 834- 863.

Lexikon (1987), *Jüdisches Lexicon*, Bde 1 – 4. Frankfurt/Main.

Leibniz G. W., Лейбниц Г. В. (1765, нем.), *Neue Abhandlungen über menschlichen Verstand*. Новые опыты о человеческом разуме. М. – Л., 1936.

- Maimonides M.** (1963), *Guide for the Perplexed*. Chicago.
– (1975), *Introduction to the Talmud*. New York.
– (1977), Letter to the Jews of Marseilles. В книге автора *Letters*. New York, pp. 118 – 129.
- Mauertuis P. L. M.** (1745), *Venus physique*. В книге автора (1756, t. 2, pp. 1 – 133).
– (1751), *Système de la nature*. Там же, с. 135 – 184.
– (1756), *Œuvres*, tt. 1 – 4. Lyon.
- Newton I., Ньютон И.** (1687, латин.), *Математические начала натуральной философии*. Перевод А. Н. Крылова. Книга составляет т. 7 *Собрания сочинений Крылова* (М. – Л., 1936).
- Pascal B., Паскаль Б.** (1669, франц.), [Pari]. Несколько русских переводов в переведенной книге автора *Мысли о религии*, которую мы не видели. Также в сборнике переводов Шейнин О. Б. (2007), *Вторая хрестоматия по истории теории вероятностей и статистики*. Берлин, с. 56 – 58 и в www.sheynin.de
- Poincaré H.** (1896, франц.), *Calcul des probabilités*. Paris, 1912. *Теория вероятностей*. Ижевск, 1999.
- Poisson S.-D.** (1837), *Recherches sur la probabilité des jugements*. Paris. [Paris, 2003.]
- Price D. J.** (1955), Medieval land surveying and topographical maps. *Geogr. J.*, vol. 121, pp. 1-10.
- Rabinovitch N. L.** (1973), *Probability and Statistical Inference in Ancient and Medieval Jewish Literature*. Toronto.
– (1974), Early antecedents of error theory. *Arch. Hist. Ex. Sci.*, vol. 13, pp. 348 – 358.
- Shafer G.** (1978), Non-additive probabilities in the work of [J.] Bernoulli and Lambert. *Arch. Hist. Ex. Sci.*, vol. 19, pp. 309- 370.



Борис Э.Альтшулер

**О последних годах жизни
академика Льва Давидовича
Ландау и о политравме**

«У меня не телосложение, а теловычитание!»

Из афоризмов Л.Д. Ландау



Прошло более 50 лет после тяжёлой автокатастрофы, в которой пострадал «прародитель» советской атомной бомбы и Нобелевский лауреат по физике за 1962 г. Л.Д. Ландау (1908-1968). Публикация неврача, профессора Бориса Соломоновича Горобца¹ о спасении, драматической реабилитации и причинах смерти великого физика XX в. в интернет-журнале „7 искусств“ и рецензия на неё двух уважаемых коллег – дорогого хирурга и ортопеда-травматолога, доктора медицинских наук Иона Лазаревича Дегена и нейрохирурга (к сожалению учёное звание в авторской справке не приводится), д-ра Семёна Талейсника (отчество, к сожалению, не указано) – вызвали у меня целый ворох воспоминаний. Сын академика Льва Ландау, Игорь, писал о Борисе Горобце: *«его мать в течение многих лет находилась в близких отношениях с Лифшицем (поженились они позднее) и он, Борис, мог многое слышать из их разговоров»*. Соавтор знаменитого „Курса теоретической физики“, академик Е.М. Лифшиц – отчим уважаемого автора очерка. Поскольку по этой теме уже опубликовано относительно большое количество книг, статей и очерков, в том числе и на Портале Берковича, то я решил ещё раз кратко обобщить известную информацию публикаций для того, чтобы попытаться самому разобраться в шести последних годах жизни, болезнях и страданиях выдающегося учёного с точки зрения хирурга.

¹ Борис Горобец; Смогла ли бы медицина спасти Л.Д. Ландау сегодня?, Семь искусств, Номер 4(29) - апрель 2012 года, <http://7iskusstv.com/2012/Nomer4/Gorobec1.php>

Тогда, в январе 1962 г., во время моих зимних каникул на первом курсе Рижского медицинского института по радио, по телевидению, а потом в газетах и журналах сообщили о тяжёлом ДТП, в результате которого гениальный физик оказался в больнице с тяжелейшей политравмой в состоянии клинической смерти. Поскольку эта история косвенно оказалась определяющей для моей дальнейшей судьбы хирурга и ортопеда-травматолога, я решил написать несколько строк как врач, не находясь в отличие от многих авторов по этой теме в родственных или дружеских отношениях с Л.Д. Ландау, его семьей и элитой советской науки. Заинтересовавшись травмой и лечением трижды лауреата Сталинской, лауреата Ленинской и Нобелевской премий, я проанализировал доступные по мере возможностей публикации. Вот что пишет врач из Рязани, кандидат медицинских наук Николай Евгеньевич Ларинский, автор интересных реконструкций историй болезней различных выдающихся и известных исторических персон:

«История болезни выдающегося советского физика, лауреата Нобелевской, трех Сталинских и Ленинской премий, Л.Д.Ландау была не менее драматична, чем у В.И.Ленина, но в отличие от последнего, протекала на виду у большого количества вольных или невольных свидетелей и участников. И так же как у «вождя мирового пролетариата», больного Ландау окружал целый сонм медицинских «звезд». Был это триумф советской медицины или все вышло по пословице: «Медицинское светило утопает в похвалах, а больного ждет могила, видно, так судил Аллах»?²

Итак, в воскресенье, 7 января 1962 г., в десять часов утра из Института физических проблем (ИФП) в Москве выехала новая светло-зеленая «Волга». Стоял сильный гололёд и вся Москва превратилась в этот день в каток. За рулем сидел молодой неопытный водитель, научный сотрудник Владимир Судаков, которого Ландау, дававший всем клички, звал Судаком. На заднем сидении – жена Судакова Вера, и справа от нее академик Ландау. Автомашина ехала по заледеневшему Дмитровскому шоссе из Москвы в находящийся в 130 км от неё исследовательский атомный центр Дубну. Судаков держался на дороге впритык и

² Николай Ларинский: «Синдром Ландау». Триумф или трагедия советской медицины?
http://uzrf.ru/publications/publicistika/Niikolay_Larinskiy_Sindrom_Landau_1/

сзади за автобусом – встречного транспорта не было. Подходя к остановке, автобус замедлил ход, – и тут Судаков вслепую выскочил на левую полосу движения и, не снижая скорости, пошел на обгон, грубо нарушая правила движения. Ему навстречу шел, однако, самосвал, которого он до начала обгона не видел. Водитель хотел было свернуть на обочину, но там стояли дети. Шофёр самосвала старался проехать по самому краю проезжей дороги, оставляя Судаку возможность проскочить. Был гололёд, не ситуация для резкого торможения, и более удачливый водитель сбавил бы скорость и прошел между самосвалом и автобусом. Плохой водитель поцарапал или помял бы крылья. Судаков потерял нервы, резко затормозил, – автомобиль заскользил, закружился, стал неуправляем и буквально влетел правым боком в самосвал на встречном направлении шоссе. Ландау сидел сзади справа, свою меховую шапку, которая могла бы немного смягчить удар, он уже снял, – и практически вся энергия удара пришлась на его голову. Ландау был единственным пострадавшим в катастрофе. Сам Судаков, его жена Вера и даже упаковка яиц в салоне остались целы и невредимы. Незадачливый самосвал, дав задний ход, унес на себе правую дверь судаковской «Волги». Без сознания Дау вывалился на январский лед дороги и пролежал там двадцать минут, пока примчалась «Скорая помощь».

Из виска и уха мертвенно-бледного пассажира «Волги» сочилась кровь. Когда к месту аварии прибыла «скорая», то врач с ужасом увидел, что совершенно растерянный Судаков, находившийся в шоковом состоянии, прикладывает к голове раненого снег. Результаты столкновения были ужасны. Спасательные команды, врачи и санитары, вытащили знаменитого физика из легковушки и сумели быстро отвезти его в больницу № 50 (в народе «Полтинник») Тимирязевского района. Врачи «скорой» определили последствия травмы как несовместимые с жизнью.

В больницу № 50 Ландау поступил согласно записи в журнале 7 января 1962 г. в 11 часов 10 минут. Диагноз при поступлении:

«Перелом основания и свода черепа, множественные ушибы головного мозга, отек и острое набухание головного мозга, ушиблено-рваная рана лобно-височной области, сдавление грудной клетки, множественный перелом ребер (4 ребра справа, 3 ребра слева) с повреждением левого легкого, левосторонний гемопневмоторакс, перелом костей таза, забрюшинная гематома, травматический шок, осложненный острой массивной кровопотерей.»

По теперешним понятиям диагноз сформулирован не совсем верно, но объём повреждений, полученных Ландау, он передаёт. То, что Ландау не погиб в первый же день после травмы, несомненно, заслуга врачей–травматологов 50-й больницы. Первую помощь Ландау оказали дежурные врачи В.Лучков (провёл первичную хирургическую обработку раны головы), Л.Панченко, Н.Егорова и В.Черняк. К счастью, в больнице оказался и заведующий кафедрой травматологии ЦОЛИУВ профессор Валентин Александрович Поляков, один из лучших травматологов СССР. Выживание Ландау в первый день после травмы – несомненная заслуга этих специалистов. Однако высокий статус Ландау заставлял страховать. Бедный Судак провёл после катастрофы шесть недель на подоконнике шестого этажа больницы, готовый при смертельном исходе лечения травмированного спрыгнуть вниз и покончить жизнь самоубийством.

В больницу начали съезжаться несколько приглашенных высококвалифицированных врачей-специалистов, которых нашёл в воскресенье лечащий врач Ландау И.Я. Кармазин. К счастью, Судаков знал номер его телефона и сразу сообщил о катастрофе.

Профессор Л. Лихтерман из НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН, изучивший лечение политравмы Ландау, свидетельствует:

«...главные зафиксированные повреждения: переломы основания и свода черепа, множественные ушибы головного мозга, сдавление грудной клетки с переломом четырех ребер справа и трех – слева, повреждение левого легкого и гемопневмоторакс, перелом костей таза, абдоминальная гематома, массивная кровопотеря, травматический шок. При поступлении в ГКБ № 50 пострадавший находился в коме с выраженной дыхательной недостаточностью»³.

Информация доктора Н.Е. Ларинского:

«Он поступил туда в 11 часов 10 минут. Запись в журнале: «Множественные ушибы мозга, ушиблено-рваная рана в лобно-височной области, перелом свода и основания черепа, сдавлена грудная клетка, повреждено легкое, сломано семь ребер, перелом таза. Шок». Потом диагноз был уточнен, но не стал менее грозным. У Ландау были выявлены: перелом основания и свода черепа, множественные ушибы головного мозга, отек и острое набухание головного мозга, ушиблено-рваная рана лобно-

³ Леонид Лихтерман: Медицинская газета, номер 33 от 11 мая 2012 г., <http://www.mgzt.ru/article/2689/>

височной области, сдавление грудной клетки, множественный перелом ребер (4 ребра справа, 3 ребра слева) с повреждением левого легкого, левосторонний гемопневмоторакс, перелом костей таза, забрюшинная гематома, травматический шок, осложненный острой массивной кровопотерей. Состояние ученого, когда его доставили в приемный покой, было крайне тяжелым. Он находился в коме с выраженной дыхательной недостаточностью (число дыханий – 32). 40 суток (960 часов) академик находился в критическом состоянии, без сознания!»⁴

Трудно делать анализ травм и состояния пострадавшего через 50 лет, не имея под рукой истории его болезни и протокола вскрытия, поэтому приходится ссылаться на всевозможные источники. Согласно информации в публикациях и на основании мемуаров членов семьи и друзей, в больнице были в конце концов установлены серийные переломы не семи, а даже девяти рёбер, разрыв лёгких с гемопневмотораксом, тяжёлые переломы костей таза с отрывом крыла, разрыв лобковых костей и громадная забрюшинная гематома (кровоизлияние) с протеканием в брюшную полость, контузия органов грудной и брюшной полостей, переломы костей черепа с тяжёлой контузией мозга, а также упоминаемые журналистами разрывы(?) желчного и мочевого пузыря (последнее упоминание вызывает сомнение, т.к. насколько это удаётся сегодня реконструировать по публикациям, операция брюшной полости на этом этапе выполнена не была – Б.А.). Левая верхняя конечность была полностью, правая и нижние конечности – частично парализованы. Всё это на драматическом фоне клинической картины нарушения функций дыхания и кровообращения. Другими словами, Лев Ландау находился в состоянии тяжелейшего травматического гиповолемического шока. По сообщениям печати он был слеп и глух, рефлексы и чувство боли не вызывались – он находился в коме.

Собрались ведущие специалисты для медицинского консилиума. В 16 часов в больницу для консультации вызвали нейрохирурга Сергея Николаевича Фёдорова (1925–1995) из НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, о котором говорили, что он в состоянии вытащить больных с того света. С.Н. Фёдоров едва ли не единственный, о ком в своих мемуарах жена Ландау (даже она!) отзывалась положительно. Первые дни он вообще ни днём, ни

⁴ Николай Ларинский: «Синдром Ландау».

Триумф или трагедия советской медицины?

http://uzrf.ru/publications/publicistika/Niikolay_Larinskiy_Sindrom_Landau_1/

ночью не отходил от Ландау, и в том, что травмированный не умер в эти часы, заслуга Сергея Николаевича. На несколько месяцев Федоров стал лечащим врачом Ландау. Консультантов было много, а лечащим врачом был он один.

На утро непосредственно после злостной катастрофы больницу заполнила необычно притихшая толпа физиков, узнавших о несчастье. Первыми в больницу №. 50 понесся цвет московской профессуры и АН СССР, но они-то не были врачами, а коллегами-физиками. Потом приехали кремлёвские врачи, которые первым делом принялись писать протокол о несовместимости полученных травм с жизнью. По воспоминаниям супруги Льва Давидовича – Кору (Конкордии Терентьевны) Дробанцевой (1908-1984) – эти учёные использовали свои контакты и подняли на ноги всевозможных важных людей. После обеда у постели Ландау собрались ведущие медики СССР. В «штабе физиков по спасению Дау», который опекал А.И. Микоян, активно работали академики П.Капица, В.Энгельгардт, Н.Семёнов, Л.Арцимович, – одну из ведущих ролей играл близкий друг, коллега и соавтор Ландау, впоследствии академик Евгений Михайлович Лифшиц и его жена Елена, медик по профессии. Жизненно важную обязанность приготовления питательной смеси для кормления бессознательного Дау через зонд взяли на себя через несколько дней Александр Шальников и его жена Ольга. Другие физики дежурили круглосуточно, готовые в любой момент кого-то привезти или отвезти, перенести, поднять, наладить. Многие недели они не знали напрасны ли их старания...

9 января больного по настоянию профессора А.М. Дамира подключили к аппарату искусственного дыхания, привезенному из Института полиомиелита. В ночь на 10 января разорванные легкие отказались снабжать кислородом организм больного. Дежурный врач С.Н. Федоров незамедлительно произвел трахеотомию, В дальнейшем из Швеции для этой цели доставили два дыхательных аппарата «Энгстрём». Искусственное дыхание обеспечивали нейрореаниматолог, доктор медицинских наук Л.М. Попова, врачи В.Ф. Дубровская, известные специалисты в области анестезиологии-реаниматологии, профессора Г. Рябов, В. Салалыкин, Ю. Смирнов; техники В. Калмыков и Н. Алексеев ежедневно подвергали аппарат «Энгстрём» осмотру.

«Такие больные только с переломами рёбер погибают в 90% случаев от того, что им невыносимо больно дышать, они не могут дышать», – сказал Фёдоров. Сегодня аппаратная вентиляция лёгких является признанной терапией при серийных переломах рёбер.

Рассказ о травме Л. Ландау неотделим от того участия, какое приняли в беде ученые России и всего мира. Леонид Лихтерман видел журнал, где были расписаны дежурства у постели Ландау таких научных величин как И. Халатников, А.Абрикосов, Е.Лифшиц, и многих других. Ученые стран Западной Европы и Северной Америки обеспечили срочную доставку очищенной мочевины, маннитола, антибиотиков, дыхательной аппаратуры. Лишь полтора месяца спустя появились первые признаки возвращения сознания. Специально для Ландау физики создали функциональную кровать, а также ряд других приспособлений. Эти примеры солидарности не менее впечатляющи, чем самоотверженность медиков.

11 января у Ландау развился коллапс, потребовавший внутриартериального нагнетания крови, а 14 января – двусторонняя (гипостатическая) пневмония, потребовавшая использования «сильных американских антибиотиков». После этого начались другие осложнения: парез кишечника, возникло состояние, именуемое «полиорганной недостаточностью». Черепно-мозговая травма осложнилась гипертоническим синдромом (резким повышением внутричерепного давления).

Было налажено зондовое кормление и активный уход. Критическое коматозное состояние длилось 40(!) суток. На 6-м этаже корпуса № 3 пятидесятой больницы были выделены две специальные палаты: одна по типу палаты интенсивной терапии с постоянным врачебным контролем, в которой находился Ландау; другая – гостевая для дежурных физиков, включившихся в борьбу за жизнь своего великого коллеги. Физики разных стран и разных поколений (соратники и друзья, ученики и ученики учеников) стремились внести свой вклад в спасение жизни Ландау. Около ста физиков добровольно взяли на себя в Москве обязанности курьеров, водителей машин, посредников, снабженцев, секретарей, дежурных, наконец, носильщиков и чернорабочих.

С госпитализацией тяжёло травмированного началось долгое многонедельное сражение за его жизнь. По поступлении в больницу 7 января была выполнена первичная обработка ран и открытых переломов черепа. На четвёртый день после травмы сердце Дау остановилось, он был клинически мёртв. В этот момент в бой за жизнь физика вновь вступила группа врачей-реаниматологов, специалистов по оживлению. Последовало упомянутое массивное переливание крови, искусственное дыхание и массаж сердца, а также дача медикаментов по стимулированию дыхания и циркуляции крови. Кроме этого первого дня Ландау умирал ещё три раза:

на седьмой, девятый и на одиннадцатый день. И каждый раз его возвращали в жизнь в соответствии с указанием самого Хрущева: «Этот человек не должен умереть!»⁵

Полтора месяца комы его жена Кора не принимала никакого участия в драматическом спасении жизни Ландау. Она его даже не видела как и их 15-летний сын Игорь. Через несколько дней после аварии Кора легла в академическую больницу удалять уплотнение в груди. Узнав, что её муж начал проявлять первые признаки сознания, приехала впервые в больницу к Дау через полтора месяца после травмы, 22 февраля. В воспоминаниях⁶ Кора никак не объяснила своё странное поведение. Интерес представляет её деловитое письмо из больницы в конце января, адресованное сотруднице администрации института. В письме – распоряжения относительно денег и зарплаты мужа и попытка переложить на нее ответственность за свое поведение:

«К большому сожалению я переоценила свои силы, в больнице я еще задержусь на одну неделю. ...Сейчас я Вам так благодарна, что Вы настояли мне лечь в больницу».

Тогда же в письме жене Шальникова Кора объясняла:

«Только здесь в больнице, где ежедневно на конференциях разбирают состояние здоровья Дау, я все узнала о нем, чтобы Гарик не знал, кроме тяжелой травмы головы, у него поломанными ребрами правое легкое измято на ? и левое на ?, разбит таз и тазобедренный сустав. Поэтому, Оленька, я решилась на операцию сейчас, а не через месяц, через месяц я буду нужна Дау и буду привязана на годы, а через год мне операцию будет делать поздно. Дау выйдет из больницы с плевритом и может быть он останется на всю жизнь. Сейчас я уверена, что все, что нужно для Дау, Вы сделаете, а деньги на питание для Даули тоже пусть будут у Вас. Маичка [Майя Бессараб – Б.А.] очень непрактична, она может нечаянно потратить деньги на ненужные в настоящее время безделушки» (оригинальный текст).

Письмо с планами на будущее после Ландау... Столь деловитые планы делались в то время когда не было известно, переживет ли учёный последствия страшной травмы.

Наталья Шальникова свидетельствует, что по мнению её *«родителей, хорошо знавших Кору многие годы, это было сделано для того, чтобы ничем не заниматься».*

А заниматься было чем:

⁵ Nobelpreisträger viermal tot, Der Spiegel, 51/1962

⁶ Кора Ландау-Дробанцева. Академик Ландау. Как мы жили, ЗАХАРОВ, Москва, 1999

«Сохранились записи моей мамы, в которых приводится меню, составленное по рекомендации врачей, на каждый день для Дау. В течение всего периода, пока Дау был без сознания, мои родители и сестра, ожидавшая ребенка, готовили протертую пищу для зонда, с помощью которого врачи в больнице кормили Дау. Кто-то привозил свежие продукты с рынка, кто-то отвозил готовую пищу в больницу, и часто не один раз в день. Родители стерилизовали посуду, протирали все приготовленное до состояния вязкой жидкости (например: свекла с черной икрой). Добавлю к этому, что кухонных комбайнов для приготовления протертой пищи у нас не было...Иногда пищу готовили даже по ночам...На мой вопрос: 'А Кора?' мама, до этого всегда защищавшая 'бедную Кору', грустно ответила: 'А Кора просто сбежала от трудностей, просто сбежала...' Кора вновь появилась только тогда, когда стало ясно, что Дау останется в живых.»⁷

Семь недель дыхание Ландау поддерживалось аппаратами, – семь недель непрерывных инфузий и питания через желудочный зонд. А физик был всё ещё в бессознательном состоянии, не реагировал на свет и звук, температура тела редко опускалась ниже 40° С. Гедеэровская газета Neues Deutschland комментировала борьбу врачей у постели больного в тоне оптимистической трагедии: «Несмотря на всё, врачебный коллектив не опустил руки». Итак, в общей сложности Л.Ландау перенёс после своей политравмы четыре (4!) клинические смерти (четырёхкратные терминальные состояния) с реанимациями, двустороннюю пневмонию, парез кишечника, выраженный посттравматический отек мягких тканей всего туловища, полиорганную недостаточность. Председателем, постоянно действующего на первом этапе болезни консилиума был профессор, действительный член АМН СССР Николай Иванович Гращенков (1901–1965). Невропатолог Гращенков был скорее чиновником, а не клиницистом, и уж тем более не специалистом по нейро- и политравме. Даже как теоретик он был сомнительной величиной. Мало того, в лечении Ландау именно Гращенков был инициатором ложной интерпретации клинической картины: академик-физик в течение шести лет постоянно жаловался на жуткую боль в животе, а академик-невролог объяснял ему, что эта боль «от нервов»! Он даже говорил, что Ландау «теперь придумал себе боль в животе».

⁷ Геннадий Горелик, Советская жизнь Льва Ландау, Москва: Вагриус, 2008.

Игорь Ландау отметил в воспоминаниях, что ввиду описанного отсутствия реакций органов ощущения врачи стали взвешивать возможность операции на головном мозге. Так как специалисты не смогли сойтись во мнении, то по инициативе академиков М.Келдыша, П.Капицы и Л.Арцимовича 22 февраля 1962 г. был организован международный врачебный консилиум. В нем приняли участие лучшие специалисты мира: профессор Зденек Кунц (Чехословакия), профессора Мари Гарсен и нейрохирург Жирар Гийо (Франция), нейрохирург Уайдлер Пенфильд (Канада), член-корреспондент Академии наук СССР, член Лондонского Королевского общества Н.И. Гращенко, профессора Г.П. Корнянский, Б.Г. Егоров (1892-1972), профессор И.М. Иргер, хирурги профессора Б.К. Осипов и Б.А. Петров, врач Л.И. Панченко, кардиолог профессор В.Г. Попов, невропатолог профессор М.Ю. Раппапорт, терапевт профессор А.М. Дамир (1894-1982), рентгенолог профессор Ю.С. Соколов, микробиолог академик З.В. Ермольева.

В это время коллеги, ученик и соавтор Ландау, профессор Евгений Михайлович Лифшиц сделал, по его словам, решающее наблюдение. Как сообщил американский журнал врачей *Medical World News*, Лифшиц прокрался к постели своего учителя и прошептал ему:

– Дау, если ты меня узнаёшь, – закрой глаза.

Ландау действительно закрыл глаза, и операция была отменена. Через семь недель началось постепенное отключение искусственного дыхания, сначала лишь на несколько минут в день.

Несколько иначе и прозаичнее описывает ситуацию профессор Лихтерман:

«Чрезмерно затягивавшаяся кома склоняла к предположению внутрочерепной гематомы; на этом диагнозе настаивал канадский нейрохирург У.Пенфильд. Ангиография (в ту пору прямая) представлялась опасной. Наложили фрезевое отверстие, убедившее в отсутствии, по крайней мере, оболочечной гематомы.» Т.е. была проведена диагностическая минимальная трепанация черепа.

В марте Ландау перевели в НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, – тогда, в основном, центр по хирургическому лечению онкологических заболеваний мозга. Поскольку в комнате Льва Ландау находился единственный в Москве аппарат для управляемого дыхания, в советском обиходе названный «искусственными лёгкими», то отдельную палату, в которой лежал академик, на просто превратили в центр интенсивной терапии, куда из ночи в ночь привозили тяжелобольных из других

корпусов, да и из других больниц, которым также требовался жизнеспасающий аппарат. Люди мучались, – иногда умирали на глазах уже пришедшего в себя Ландау. С улучшением общего состояния больного искусственная вентиляция уже не требовалась, но руководство НИИ не спешило отдавать машину назад в институт полиомиэлиты. Дау требовал убрать аппарат из палаты, в ответ к нему приводили в очередной раз психолога, которого подключили к реабилитации, побеседовать для успокоения...⁸

Неожиданно Ландау заболел инфекционной жёлтухой. В апреле он начал говорить. Сначала одно слово, потом короткие фразы. Говорил каким-то не своим – очень высоким голосом. Это обстоятельство, удивлявшее близких и друзей, было последствием длительной интубации, трахеостомии и периода долгого аппаратного дыхания.

Тесты показали, что разговорный центр поражён не был, лишь блокирован. Первым языком, на котором Ландау начал вновь говорить, был английский. Последовала многомесячная тяжёлая реабилитация. Почти через год после ДТП корреспондент «Svenska Dagbladet» принёс больному радостную весть о присуждении тому Академией наук Швеции Нобелевской премии в разделе физики.

Когда празднование? - спросил Ландау.

10 декабря, - ответил журналист.

Ответ Ландау:

– А когда декабрь?

В апреле гибельного 1962 г. ему присудили Ленинскую премию, а спустя полгода по представлению его учителя и друга Нильса Бора – в ноябре – Нобелевскую. Посол Швеции в СССР Рольф Сульман поздравил Ландау с премией, и добавил:

– Нобелевский комитет очень сожалеет, что вы, господин Ландау, не смогли приехать в Стокгольм и получить эту награду лично из рук короля. Ради этого случая допускается отступление от существующих правил.

Ландау ответил по-английски:

– Благодарю вас, господин посол. Прошу передать мою глубочайшую благодарность Нобелевскому комитету, а также наилучшие пожелания Его Величеству, королю Швеции. Надеюсь посетить вашу замечательную столицу, как только выздоровею.

⁸ Виктор Топоров: Гений и богиня. Постмодернистская подоплека трагических мемуаров, Независимая газета, http://www.ng.ru/style/2001-01-11/16_geniy.html.

Медаль лауреата, диплом и чек были вручены впервые в истории Нобелевских премий в больнице 10 декабря того же года. Несмотря на трагическую ситуацию и не восстановленные интеллектуальные способности, сам факт того, что Л.Д. Ландау остался в живых был воспринят в медицинском мире как сенсация. American World News писала: *«История выживания Ландау не имеет себе подобных в анналах медицины»*.

Для того, чтобы читатель мог себе представить ситуацию лечения тяжёлых политравм в советской хирургии и травматологии в начале 1960-х годов, надо сказать несколько слов по этому поводу. С одной стороны СССР накопил громадный опыт военно-полевой хирургии во время ВОВ, изложенный в многотомном собрании трудов «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне». Ближе к окончанию мною института ветеран медицинской службы Латвийской дивизии Красной Армии и отец журналиста газеты «Советская молодёжь» Илана Полоцка, опытный рижский врач Изекииль Полоцк узнав, что я интересуюсь проблемой политравм, посоветовал мне ознакомиться с одной из статей о танатологической картине боя в этом издании, где давался интересный эпидемиологический обзор на основании анализа вскрытий павших бойцов.⁹

1960-70 годы были несомненно годами бурного технологического развития, в том числе и советской медицины. В ортопедии, например, были созданы революционные аппараты и опробованы методики компрессионно-дистракционного остеосинтеза, скрепления и удлинения костей, получившие сегодня широкое распространение в клиниках всего мира под названием *fixateur externe*. Это были аппараты О.Н. Гудушаури, а потом всё больше модели всемирно признанного Г.А. Илизарова и их многочисленные варианты, – в Латвии модели профессоров В.К. Калнберза и И.С. Вассерштейна. Израиль Соломонович Вассерштейн запатентовал свой аппарат и в Германии – и стал здесь пионером клинического прорыва метода компрессионного остеосинтеза. В ведущих НИИ СССР были разработаны специальные аппараты для сшивания сосудов и операций на кишечнике, сегодня – неотъемлемая часть операций брюшной полости, в том числе неинвазивных и т. д. С наступлением

⁹ Бялик В.Л.: Причины смерти на поле боя по данным патологоанатомических вскрытий, Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., М.: Медгиз, 1955. -Т. 35. -С. 68-144.

кризиса, Перестройки и новой свободы эти технологии были проданы за границу.

С другой стороны, не хватало инструментов и самого необходимого. Мне, например, в молодости повезло: для своего отделения в Латгалии случайно нашёл и купил во время летнего отпуска в Сочи в магазине медицинской аппаратуры специальные ложечки для операций желчных путей, – и это было большой удачей.

В очерках о лечении Ландау важна одна особенность, о которой не говорится в тексте немедика Горобца: профессия анестезиолога в те годы ещё не была широко распространена, а реаниматолога – практически неизвестна или делала первые шаги в современном смысле слова. Как уже упоминалось, в Москве с трудом нашли единственный аппарат «искусственных лёгких», обеспечивавший аппаратное дыхание, который и был привезен в больницу №г. 50 из института полиомиелита. Вот что пишет профессор Леонид Лихтерман:

«Спасение жизни Льва Давидовича – это первая длительная аппаратная искусственная вентиляция легких у коматозного больного с тяжелым ушибом головного мозга (как считали тогда, а на деле это было грубое диффузное аксональное повреждение), это первый в нейротравматологии физиологический и биохимический мониторинг, это первое применение мочевины для преодоления отека мозга, это первая относительно успешная нейрореабилитация после длительного бессознательного состояния и многое другое. Таким образом, случай с Л.Ландау обоснованно можно считать началом современной практической нейрореанимации, по крайней мере, в отечестве».

Свою деятельность молодого хирурга в зональной латгальской больнице на самой восточной границе Латвии с Россией, в Зилупе, я начинал с наркозом маской Эсмарха, на которую санитарка капала эфир, – каждые две минуты надо было высвечивать фонариком зрачки пациента для контроля. Операции живота и даже резекция желудка нередко проводились под местным обезболиванием. У нас ещё не было современных наборов инструментов для инфузионной терапии типа немецких бранюль (Branula, Venous Cannulation), обязательных тогда для всех клинических отделений на Западе и в Израиле. Для длительной инфузионной терапии надо было сточить острый кончик инфузионной иглы и фиксировать её венесекцией. В середине 60-х годов появилась, наконец, кафедра анестезиологии в Рижском

медицинском институте и анестезиологи-реаниматологи в больницах, были импортированы учебные фильмы по оживлению из Англии, достигнуты успехи в расшифровке патофизиологии и патогенеза травматического шока и пр.

Сегодня Латвия опустела: из 2.7 миллионов населения треть, около 0.9 миллионов, в основном мужчин, оставили республику. Они зарабатывают на жизнь рыбаками в Ирландии, сборщиками клубники в Испании или обдирателями шкурок норок на фермах Дании. Дома остались одинокие жёны с детьми, живущие на переводы из заграницы. Сама Рига была тогда, в мои юные годы, иной: пульсирующей метрополией Балтики, битком набитой (особенно летом) туристами и отдыхающими. То же было на улицах и пляжах Юрмалы. Повсюду строительство, фабрики и заводы, нескончаемые потоки транспорта, электропоезда, троллейбусы, трамваи и автобусы, не считая бесчисленных грузовиков и легковых автомобилей и т.д. И, конечно же, сопровождающий это развитие травматизм.

После освобождения Риги от фашистов на территории бывшей Сарканкалнской психиатрической больницы был развёрнут военный госпиталь №г. 3679. В декабре 1945 г. на улице Дунтес был организован НИИ ортопедии и восстановительной хирургии для лечения инвалидов Великой Отечественной войны в Прибалтике и четырёх соседних с нею областей Российской Федерации, преобразованный после выполнения задачи в Рижский НИИ травматологии и ортопедии (РНИИТО). Официально он начал свою работу 24 июля 1946 г.

РНИИТО стал организационно-методическим и лечебно-консультативным центром травматологии, ортопедии и восстановительной хирургии в Прибалтике. Ещё студентом мне удалось заинтересовать директора института и заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Рижского медицинского института, тогда члена-корресподента, а затем и действительного члена Академии медицинских наук СССР, профессора Виктора Константиновича Калнберза проблемой политравм. Высокий, обаятельный и красивый блондин, ещё совсем молодой, профессор Калнберз был номенклатурой и выездным. Он постоянно привозил из-за рубежа свои прекрасно выполненные и очень информативные кинофильмы с впечатлениями о поездках, медицинских новинках, хирургических операциях и о новациях за рубежом. Эти фильмы врачи Риги всегда с удовольствием смотрели на заседаниях хирургических обществ, их даже показывали по республиканскому телевидению.

Я пошёл по пути автора статьи о танатологической картине боя и начал анализировать статистику и отдельные факты политравм мирного времени в клиничко-анатомическом исследовании – сначала в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы в Риге (директор – В.К. Шмидт), где консультировался там с канд. мед. наук Т.В. Симановской, присутствовал при вскрытиях, пытался выявить закономерности в кажущемся хаосе картины различных сочетанных травм. Понятие «политравма» как довольно размытое было тогда не в ходу, – в советском хирургическом обиходе говорили о «сочетанных травмах». В моей работе, вначале в латгальской провинции, а затем в Риге в хирургическом и травматологическом отделении Центральной больницы Латвийского Бассейна на улице Патверсмес (главврач больницы – Инта Спилва, главврач Латвийского Бассейна – канд. медицинских наук Давид Соломонович Слуцкер), которое было клинически ассоциировано с Рижским НИИ травматологии и ортопедии, смог продолжить захватывающее исследование уже в клинических условиях. После восстановления независимости Латвии ЦБЛБ была в конце XX-го в. преобразована в Латвийский центр морской медицины. Работа в этом отделении проходила под руководством заведующего Г.Р. Пурмалиса, а научные разработки – под руководством сотрудников РНИИТО: травматолога и специалиста по хирургии кисти, канд мед наук Л.К. Катлапса и, позже, профессора, доктора медицинских наук С.М. Лишневого.

Масштабная разработка по политравмам стала возможной при участии коллег, которые тогда работали в клинике (Г.Р. Пурмалис, П.Я. Туркопулс, Г.Г. Степановс, Г.С. Бирук, Г.В. Штауверс и т.д.) или, будучи врачами на судах, проходили стажировку в больнице (И.В. Неудачин, Б.П. Крустыньш, К.М. Лосев, В.А. Гаврилюк). В поисках информации о сочетанной торако-абдоминальной травме нашей группой были подняты архивы практически всех больших рижских больниц. Это позволило сравнить результаты патологоанатомического исследования в танатологической группе с клинической информацией, включая собственную. В общей сложности насчитали около 1000 изученных нашей группой торако-абдоминальных травм (ТАТ) в обеих сериях: в танатологической, на основании результатов вскрытий погибших, – и в клинической. В мировой специальной литературе к тому времени было описано около 4000 случаев ТАТ. Таким образом, в нашем распоряжении оказалась четверть мировой статистики тяжёлых сочетанных торако-абдоминальных травм мирного времени. Результаты

исследования убедили в том, что необходимо в первую очередь изменить условия организации оказания помощи в экстремальных ситуациях и чётко определить хирургическую тактику. Главной проблемой было лечение тяжёлого травматического гиповолемического шока и острой кровопотери. В этом отношении показателен опыт военно-полевой медицины США, особенно американских медиков в Корейской войне и в войне во Вьетнаме. С особенным интересом мы следили за публикациями американских коллег, которые тогда также занимались этой проблемой, особенно в госпиталях ветеранов в Сан Антонио в Техасе. Контакты с математиками привели к идее и предложению применить теорию распознавания образов для оптимизации менеджмента, определения стратегии и тактики, особенно при массовом поступлении политравм, используя применение алгоритма идентификации.

В это время я часто бывал на конференциях, конгрессах и деловых встречах в Москве, особенно в НИИ им. Н.В. Склифосовского, где работал блестящий патофизиолог, профессор, доктор медицинских наук Ю.М. Гальперин, с которым я имел удовольствие консультироваться. Во время одного из моих таких визитов познакомился с директором НИИ им. Н.В. Склифосовского, профессором, доктором медицинских наук Б.Д. Комаровым и налабил контакт между ним и профессором В.К. Калнберзом. Контакты вылились в активный обмен опытом между Ригой и Москвой на конференциях и конгрессах. Как резюме этой активности непосредственно перед моей эмиграцией в Израиль в 1975 г. 1-я Рижская городская клиническая больница стала больницей скорой и неотложной помощи.

Антисемитизм сопровождал меня с раннего детства. Особенно нетерпимым он стал после Шестидневной войны 1967 года. Ещё работая в зональной больнице в Зилупе, я стал получать письма перлюстрированными, с корявой надписью на конверте: «Письмо дошло в открытом виде». Разные антисемитские эксцессы, включая вызовы для бесед в КГБ, давали всё чаще о себе знать. Последней каплей, окончательно сточившей камень моих сомнений, стало замечание потной толстенной продавщицы мороженого на Рижском взморье, в Юрмале:

– Выбирают тут, людей задерживают... В свой Израиль езжайте. Там будете выбирать сколько душе угодно.

Стояла длинная очередь, я стал орать на продавщицу, но никто кроме молоденькой еврейской девушки меня не поддержал. Швырнув эскимо толстухе в рожу, я ушёл. В электричке по дороге

в Ригу я подумал, что эта толстая дама в грязно-белом халате всё-таки в чём-то права. Пришла пора эмигрировать. В Риге меня ожидала защита готовой докторской диссертации, но ведь таких эпизодов как с мороженым – и даже похуже – будет ещё великое множество. Если не сейчас, то когда! После некоторых раздумий я, чтобы не подводить коллег, уволился с работы и подал свои документы на выезд в Израиль. Несмотря на это мне пришлось ещё пройти чистилище, общее собрание сотрудников больницы.

По приезде в Израиль, на собеседовании в компетентных организациях я рассказал о своей работе и, в надежде на её продолжение на Земле Обетованной, выложил на стол незащищённую диссертацию, которую получил через месяц назад. Через полгода прочитал в газете «Маарив», что в больнице «Тель хаШомер» в Тель-Авиве создана новая исследовательская группа по изучению и лечению политравмы. Я вновь поехал в компетентную организацию, добился приёма и наивно спросил: почему меня не включили в упомянутую группу? Внятного ответа я так и не получил. Ещё чуть-чуть повзрослев и попросившись с иллюзиями, я понял, что израильтяне всё делают своим собственным способом и по собственному сценарию. Опубликовал пару статей в эмигрантском медицинском журнале, но коллеги объяснили, что хотя я уже признанный Ph.D. мне нужна ещё одна степень для врачей, которая тут высоко цениться: GiA. Для того, кто не знает что это такое – она расшифровывается на идиш как *гевезен ин Америка* (побывал в Америке).

Списался для начала с больницей во Франкфурте в Германии, где мной очень заинтересовались, пригласили на работу и даже пообещали помочь издать книгу. Решив обзавестись рекомендацией для публикации, написал письмо главному врачу ЦАХАЛ, доктору Дани Михаэли, брату известной израильской актрисы Ривки Михаэли. От него получил ответ, что такую рекомендацию мне дать не могут, т.к. работа не была выполнена на материалах ЦАХАЛ. Прилетев в Франкфурт и начав работать, я первое время корпел над американским экзаменом ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates), к которому уже начал готовиться в Израиле. Тогда мы, желающие, сдавали его в консульстве. Идея была: поработать в Германии, поднакопить деньги и уехать в США.

В Германии был, наконец, закончен перевод работы на английский и в 1982 г. во Франкфурте-на-Майне издано моё клинико-анатомическое исследование в качестве монографии: B.Altshuler, Associated Peacetime Thoraco-abdominal Trauma.

Clinical-anatomy Research.¹⁰ Но мне уже было не до Америки и степени GiA. Я сдал все немецкие экзамены, получил подтверждение квалификации специалиста-хирурга и -травматолога, смог поработать в сосудистой хирургии, стал старшим врачом и заместителем заведующего хирургического-травматологического отделения большой больницы. Потом я ушёл в частную практику под Саарбрюккеном с койками в стационаре. Моя монография пользовалась успехом, тираж был распродан, появились очень положительные рецензии в международной хирургической прессе – и расходы по изданию книги оплатились.

Ещё раз тряхнул стариной в травматологической униклинике Гомбург в земле Саарланд, где представил мою монографию шефу клиники. Один из молодых доцентов использовал её тогда в качестве образца и стандарта для собственной актуальной диссертации на материалах униклиники. В 1990 – начале 2000 годов я приезжал в Ригу и преподнёс экземпляры монографии профессору В.К. Калнберзу и библиотеке РНИИТО. Я ни о чём не сожалею и, оглядываясь назад, горд тем, что мои исследования чем-то помогли в спасении жизней при тяжелейшей политравме в как минимум четырёх странах: в Латвии, бывшем СССР, Израиле и в Германии. Специально оборудованные помещения приёмных покоев больниц, готовых для приёма пострадавших с политравмой, – сегодня неотъемлемая часть организации лечения во многих больницах и госпиталях мира. Я смог лично убедиться в этом в прошлом году во Флоренции, в Италии, попав в качестве пациента после ДТП в больницу Ospedale Santa Maria Nuova Firenze.

Теперь вернёмся к Ландау. Снова свидетельство профессора Лихтермана:

«Из комы больной перешел в вегетативный статус, к счастью, оказавшийся непродолжительным. Первой заметила слежение жена. Потом в этом убедились доктора. Для восстановления функций мозга и движений Л.Ландау в конце февраля перевели в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Лечащим врачом был выбран Сергей Николаевич Фёдоров. 22 февраля 1962 г. состоялся международный консилиум, в котором

¹⁰ В.Алшuler: Associated Peacetime Thoraco-abdominal Trauma. Clinical-anatomy Research, Riga – Jerusalem – Frankfurt a. M., 1975 – 1981; Frankfurt 1982.

приняли участие крупнейшие нейрохирурги – У.Пенфильд (Канада), Ж.Гийо (Франция), З.Кунц (Чехословакия), Б.Егоров, И.Иргер, Г.Корнянский, неврологи – М.Гарсен (Франция), Н.Гращенко, М.Рапопорт и многие другие специалисты.

Началась комплексная реабилитация. Появились речь, сначала на английском языке, движения рук, ходьба с «манежем».

Через много месяцев он начал говорить и стал, хромя, ходить с «ходилкой» (манежем), которую прислали из Америки, – в России тогда таких не было.

«В дальнейшем Лев Давидович проводил восстановительное лечение в больнице Академии наук СССР и в Чехословакии. Итог реабилитации и восхищал и угнетал одновременно. С одной стороны, «вытянуть» больного после 40-суточной комы и добиться восстановления не только речи и мобильности, пусть ограниченной, но и критики (когда коллеги из АН СССР захотели проверить интеллект Ландау, они в одну из формул, выведенных ученым, внесли заведомую ошибку. Лев Давидович сосредоточился и тут же эмоционально взорвался: «Только идиот мог написать такую чушь!»), а с другой – гений современной физики уже не смог вернуться к своей творческой работе, не говоря уже и о том, что он был инвалидизирован хроническим болевым синдромом и рядом других последствий тяжелой травмы.»

Боль в животе у Ландау как ни странно врачами во внимание не принималась, не только нейрохирургами и неврологами, но и терапевтами. 10 февраля 1964 г., во время прогулки с Корой, Ландау перенёс обморожение большого пальца правой стопы, снова долго лежал, – потом развилась пневмония, потом был «тромбофлебит» глубоких вен правой нижней конечности.

Сломанный неоперированный таз сросся в неправильном положении. Ландау с трудом ходил в тяжёлых ортопедических ботинках и жаловался на постоянные боли в левой нижней конечности и в животе.¹¹

В 2005 году, нейрореабилитолог, позже профессор, доктор медицинских наук В.Л. Найдин, тот самый, которого Кора в своих воспоминаниях снисходительно назвала «молодым врачом по физкультуре», вполне благожелательно писал на основании своих дневниковых записей 40-летней давности о случае Ландау в очерке «Античные руины»:

¹¹ В. Найдин: Античные руины (Л.Д. Ландау), najdin.ru/49.html

«Конечно, даже то немного, что осталось от Ландау, было значительным и неповторимым. Некоторые черты формально сохранились. Но симптом посттравматической болезни мозга – глубокие психические изменения. Раньше, свободный и независимый, Ландау уходил, когда и куда хотел. Теперь, беспомощный, он полностью попал под влияние Кору. Ему нужно на кого-то опереться: ‘Кто тут рядом? А, вот я же ее знаю!...’ И когда Кора это поняла, она и стала полной хозяйкой положения.

Одно из посттравматических изменений психики Ландау проявлялось в том, что им время от времени овладевали некие навязчивые идеи, фразы, которые он гонял по кругу. Он и стихи по кругу гонял. Закончит стихотворение, и тут же опять повторяет. Если не остановишь, он гонит и гонит. Такой же характер имела его идея вступить в компартию. Такие циклические штуки называются ‘смысловые эмболы’. ...Сходный характер имели и его фразы о боли в ноге. Болей на самом деле не было. Писали энцефалограммы, есть ли болевые варианты. Не было».

На мой взгляд это, возможно, не вполне корректное заключение нейрореабилитолога В.Л. Найдина. В конкретном случае речь могла идти ещё и о болях в левой ноге у пациента с обширным ретроперитонеальным рубцом после организации (рубцевания) громадной гематомы. Эту возможность позже не исключал выдающийся советский хирург, академик А.А.Вишневский.

Из-за выраженных болей пациенту были назначены конкретно не указанные «медикаменты против болей». В 1960-х годах в таких случаях часто назначались препараты морфинового ряда, а, например, кодеин продавался в аптеках без рецепта. Так что, на мой взгляд, и наркотическая зависимость, которая нередко выражается в болях нижних конечностей, не может быть полностью исключена. После обморожения большого пальца правой стопы к болячкам присоединился тромбоз глубоких вен правой нижней конечности с последующим развитием посттромботического синдрома, что было подтверждено результатами секции. Светилами советской медицинской науки этот тромбоз был интерпретирован как «тромбофлебит» (Б.А.).

«Давали болеутоляющие, не помогало (возможно, из-за развития наркотической зависимости – Б.А.). И не могло помочь. Он же спал всю ночь спокойно! К вечеру боли кончались и не возобновлялись до утра. Так же не бывает. Это был его способ

закрыться, уйти от разговора, который он не хотел вести. О физике, например.

...После сильного сотрясения мозга возникают тяжелые психопатические нарушения. Для травматической энцефалопатии, помимо многих других дефектов личности, характерно сутяжничество, которое абсолютно не вписывалось в суть и образ прежнего Дау и шокировало знавших его прежде людей. Это надо было всячески гасить, а не стимулировать. В этом основная вина жены. У таких больных, кроме того, бывают наслоения: достаточно ему что-то рассказать, и он это воспринимает уже как свое... Его мир изменился, уплотился. Похоже, что именно так Ландау стал воспринимать версии Коры, ее мифы. И прежде всего миф о «ворюге» Е. М. Лифшице. Я же видел, как он искренне старался, костью лёг, чтобы спасти Ландау! Первое время Микоян дал самолет. Был штаб, который возглавлял Гращенков. А потом эти деньги кончились, как всегда. Они шли на дороге лекарства, на сиделок. Лифшицу всю свою долю Ленинской премии просадил на лечение [как раз в 1962-м этой премией Ландау и Лифшица наградили за их знаменитый „Курс теоретической физики“ – Б.А.]. И мифы Коры о врачах и о том, что это она вылечила Ландау лаской и вниманием. Я пришел к Капице и объяснил ему, что ее мифы и диагнозы не имеют под собой никаких оснований. На это Капица сказал спокойно: **‘То, что он женился на Коре, это он первый раз попал под машину’**» (выделено мною – Б.А.)...

С другой стороны:

«В своем отношении к Ландау Евгений Михайлович Лифшиц оказался в хорошей компании морально чутких людей. Ограничиваясь лишь знаменитыми именами, назову Нильса Бора и его жену Маргарет, писательницу Лидию Чуковскую, поэта Давида Самойлова. Они смеялись по поводу подростковых странностей и дурачеств Дау, но ясно видели его исключительную внутреннюю свободу и правдивость. Они видели человека как он есть, круглый ли, квадратный ли, или более хитрой формы, и не пытались «переформатировать» его по своему образу и подобию, орудуя собственными циркулярными линиями.»¹²

Особенность личности Коры состояла в том, что она не старалась приспособиться под гений Ландау, а в качестве посредственности всю жизнь пыталась «переформатировать» его

¹² Геннадий Горелик: Квадратура круга Ландау (о книге Б. Горобца «Круг Ландау», М., 2006).

под себя. По поводу конфликта между Корой и Е.М. Лифшицем Петр Леонидович Капица как-то заметил ещё:

*«Несчастье Ландау в том, что у его постели сцепились две бабы – Кора и Женя».*¹³

Как заметила однажды Лидия Чуковская, коллегами и друзьями Дау Кора воспринималась, как красивая пустышка, как елочная игрушка. Поэтому-то понятны её постоянная злость, неудовлетворённость и расстройств. Красивая, но небольшого ума женщина в компании Ландау и его друзей-интеллектуалов выглядела еще проще. Однако характер у неё был стальной: недаром она на всю жизнь так яростно вцепилась в своего супруга и его грандиозное наследие.

По словам В.И. Гольданского в оставшиеся пять лет жизни

«Дау совсем перестал говорить о физике, был почти безучастен к окружающему, постоянно жаловался на боли в ноге, на потерю памяти. Память его сохранилась как-то избирательно, например, он по-прежнему свободно говорил по-английски, но многое вовсе улетучилось. Совершенно потеряна им была способность воспринимать новое».

Лечащий врач-реабилитолог Владимир Львович Найдин писал:

«...уже по фотографиям Ландау до аварии и [после] видно, что это совершенно разные личности. Меня потрясает фото, где он в очках читает – тупой взгляд».

Другой врач, Сергей Федоров, по единодушному мнению всех спасший жизнь Ландау, так отвечал на вопрос, сильно ли искажена у учёного картина мира:

«У него нет никакой картины, ведь у него сильнейшая амнезия – расстройство памяти, он страшно несамостоятелен в мышлении, это сосуд, который можно наполнить чем угодно, но из которого многое утекает».

Подпись Ландау стояла под рукописью «его» статьи в «Комсомольскую правду» в 1964 г. Еще меньше сомнений состоит в том, что подлинная подпись Ландау стояла под письмом, направленным в редакцию газеты «Нью-Йорк Таймс» в 1965 г. с целью предостеречь американских сионистов-империалистов от намеченного ими на завтра митинга в Мэдисон-сквэр-гарден. По поводу интервью и высказываний Ландау, которые печатали в газетах, Федоров сказал:

¹³ М.Я. Бессараб: Лев рабочий, 2008.

«Каждый честный врач расценил бы это как преступление, которое только вводит общественность – и нашу, и зарубежную, – в заблуждение»¹⁴.

Дальнейшая жизнь Дау проходила в основном между домом и академической больницей. Люди, приходившие к нему, пытались рассказывать новости физики, не понимая, что он не может как прежде сосредоточиться и это доставляет ему мучение. Зато старые вещи он прекрасно помнил. Говорят, что у него пропала оперативная память. Но это не совсем верно: оперативная память у него не пропала, как и не пропал юмор, несмотря на сильные боли.

Валерий Тырнов пишет:

«Лев Давидович был личностью абсолютистской (правовое мышление великого физика находилось в довольно дремучем состоянии), он своего – и первого, и лучшего – ученика (соавтора первого тома „Курса теоретической физики“ – Л.М. Пятагорского) немедленно «отлучил от церкви» (по совершенно неоправданному подозрению в стукачестве – Б.А.) Он прекратил сотрудничество и общение с ним, фактически отобрал у него и отдал другому физика практически готовую кандидатскую диссертацию, и т.д.»¹⁵.

Ландау был гениальным эгоманом с большой харизмой и уничтожительно-язвительным юмором, который вызывал восторг его многочисленных талантливых поклонников, собравшихся вокруг него на Олимпе теоретической физики.

«В самом Институте физических проблем, в институте, которому Ландау отдал тридцать лет жизни, остроумие – признак «хорошего тона», определитель морального здоровья, юмор там – средство воспитания, сатира – острое орудие товарищеской критики»¹⁶.

Перу Ландау и Лифшица принадлежит знаменитый «Курс теоретической физики» который часто называют кратко «Ландафшиц», что вполне отражает роль каждого из соавторов.

Академик Виталий Лазаревич Гинзбург был осторожен в своих суждениях о Ландау. Развивались ситуации, когда поступки

¹⁴ Геннадий Горелик, Советская жизнь Льва Ландау, Москва: Вагриус, 2008.

¹⁵ Валерий Тырнов: Люди с другой планеты, Семь искусств, Номер 8(21) - август 2011; <http://7iskusstv.com/2011/Nomer8/Tyrnov1.php>
16 Голованов Я. Этюды об ученых. Лев Ландау: «ФИЗИКА – ЭТО ВЫСОКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ», http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/golov/03.php

Дау вполне соответствовали обычному пониманию слова «дружба». Его свидетельство гласит:

«Если бы меня спросили, то к друзьям Ландау я с уверенностью отнес бы только Е.М. Лифшица. Раза два (правда, когда Ландау был болен) я видел со стороны Е.М. проявление к нему тех очень теплых чувств, которые характеризуют истинную дружбу. Со стороны Ландау я таких проявлений не видел по отношению к кому бы то ни было. Конечно, это ничего не доказывает, такое часто проявляется лишь в чрезвычайных обстоятельствах, а многие не любят демонстрировать свои теплые чувства. Но почему-то думаю, хотя в этом и не уверен, что Ландау вообще подобных чувств обычно не питал».

К моменту автокатастрофы Лев Ландау находился в романтических отношениях с радиожурналисткой Ириной Рыбниковой, которую коллеги-физики были склонны считать его фактической женой, тогда как Кора была в свою очередь всецело поглощена амурами с очередным любовником. Физики с радиожурналисткой оттеснили сначала Кору от большого овра Ландау. Частично придя в себя, Ландау узнал и признал жену, тогда как радиожурналистке объявил полный «отлуп», сказав, что он её в жизни не видел. И тщетно – прямо в больничной палате, на глазах у посторонних – женщина выпростала некогда столь восхищавшую учёного прекрасную грудь, – Ландау не признал и грудь. По свидетельству Кору позже, в январе 1964 г., когда Ирина пришла с новогодним визитом, он её всё-таки опознал.

«Он окончательно спятил», – решили физики. «Он разобрался в собственных чувствах, он совершенно нормален», – решила в свою очередь Кора.

Валерий Тырнов пишет о последних годах жизни Л.Д. Ландау:

«Полученные травмы оказались хоть и совместимы с жизнью, но несовместимы со счастливой жизнью Ландау. Он лишился разом всех трех слагаемых в своей формуле счастья – и науки, и любви, и дружбы. Он утратил не только интерес к физике. Он полностью утратил интерес к свободе. Его врожденную внутреннюю свободу не сломала сталинская тюрьма, но сломил мощный удар по голове. В результате, он покорно принял покровительство жены, ставшей подлинной

хозяйкой положения. И эта зависимость его не тяготила. Чтобы осознать свое рабство, уже нужна какая-то свобода духа»¹⁷.

Катастрофическую перемену в его личности после аварии видели не только друзья-физики, но и те, кто близко знали Ландау вне физики: писательница Лидия Чуковская, многолетний помощник Капицы – Павел Рубинин и многие другие. Вот свидетельство Натальи Шальниковой, выросшей в соседней квартире и знавшей Ландау – друга отца:

«Остался ли Дау тем же человеком, каким был до аварии? Печально, но нет. Изменился его голос, его лицо, его внимательный лукавый взгляд, изменилось буквально все. Он казался искусственно созданным. Я называла его про себя «Голова профессора Доуэля». Сколько бы раз в день я ни встречала его, сидящего на лавочке у крыльца или с трудом передвигающего ноги в тяжелых инвалидных ботинках под руку с медсестрой, он повторял всегда одно и то же: «Нога болит. Очень болит нога». И смотрел на меня с такой тоской и надеждой, что сердце мое разрывалось от жалости.

В катастрофе погиб Дау – гениальный физик и необычный человек, а выжил обыкновенный советский человек, полностью зависящий от внешних обстоятельств: врачей, сиделок и жены. Кора получила то, о чем мечтала – полную власть над мужем.

Желание Кору доказать окружающим, что Дау остался прежним, раздражало, так как нельзя было не видеть физических его страданий и исчезнувший интерес и к науке, и к жизни, что, впрочем, для него было одно и то же. Его присутствие на семинарах и Ученых советах вызывало чувство неловкости, искусственности. Сам Дау сопротивлялся таким походам, но Кора настаивала, и он подчинялся. В институте все осуждали Кору: «Зачем мучить Дау?». Каковы были ее мотивы: корысть (страх потерять зарплату, если Дау уволят), отчаянная глупая надежда, что нормальная жизнь вернется, или просто самообман? Этого я не знаю... Но смотреть на страдания Дау было мучительно...»

Уже после смерти Ландау Кора на свой примитивный лад свела «счеты» с академиком Лифшицем не только в мемуарах: в довольно преклонном возрасте, узнав о публикации новой книги академика, она подстерегла его у подъезда и жестоко избила палкой для гимнастики. Алчная Кора на полном серьезе считала,

¹⁷ Валерий Тырнов: Люди с другой планеты, Семь искусств, Номер 8(21) - август 2011; <http://7iskusstv.com/2011/Nomer8/Tyrnov1.php>

что гонорары за новую самостоятельную публикацию и – вообще за все дальнейшие публикации Лифшица – наполовину полагаются ей!¹⁸

Знаменитая гиперсексуальность Ландау не пропала даже во время лечения и реабилитации после четырёх реанимаций. Прикованный к одру, академик ухитрился соблазнить и «обрюхатить» одну из сиделок, Марину, ветерана Красной Армии, дошедшую в ВОВе до Берлина – или, по версии Кору, сама сиделка соблазнила его в часы ночного беспамьяства. Её уговорили сделать аборт.

Он жаловался на боли в животе при каждом вдохе. До двадцати раз в день носился в туалет из-за позывов на дефекацию. А медицинские светила объясняли ему как малому дитяте, что это ему только кажется, будто у него болит живот, а на самом деле он не болит.

– *Неужели вы не слышали, что иногда у человека болит нога, которая давно ампутирована?* – удивлялся врач.

– *Слышал, – устало отвечал больной. – Это так называемые фантомные боли. Но у меня боль возникает при вдохе. Уверяю вас, это совсем другое.*

– *Вас осматривали ведущие специалисты, и они поставили диагноз.*

Дау ни разу не поднял скандала, понимая, что это ничего не даст. Он вообще не был скандалистом, – скандалисткой была Кора. Как это ни ужасно, в споре с врачами он оказался прав. Только за неделю до смерти хирург Симонян рассек тяжи, которые образовались в брюшной полости после травмы и все эти годы, целых шесть лет, доставляли больному такие мучения. Тяжёлый генерализированный склероз сосудов учёного хирург Симонян был практически не в состоянии распознать во время операции.

«Я бы давно сделал ему эту операцию, но разве наши медакадемики разрешили бы мне прикоснуться к генеральскому животу!»

Когда Ландау не стало, один из ведущих специалистов, на этот раз светило-патологоанатом, производивший вскрытие, печально сказал коллегам:

– *Травма головы повела медиков по ложному пути*¹⁹.

¹⁸ Виктор Топоров: Гений и богиня. Постмодернистская подоплека трагических мемуаров, Независимая газета, http://www.ng.ru/style/2001-01-11/16_geniy.html

После попытки лечения яблочной диетой(?), которую Кора предприняла по совету одного из самых знаменитых терапевтов, профессора Бориса Евгеньевича Вотчала, и которая очевидно спровоцировала непроходимость кишечника, у больного начались невыносимые боли, живот вздулся, его немедленно отправили для операции в больницу. Вот тогда-то, во время лапаротомии, выполненной Кириллом Семёновичем Симоняном, учеником знаменитого московского хирурга С.С. Юдина, специалиста по полостным операциям живота и, особенно, желудка, – и школьным другом Солженицына – были, наконец, рассечены тяжи и спайки, особенно в илеоцекальном углу, мешавшие дышать и вызывавшие боли, в которые никто не хотел верить, – и удалён аппендикс. Некоторое недоумение вызывает наложение не очень эффективной цекостомы, свища слепой кишки.

Вот что пишет Игорь Львович Ландау (1946-2011), сын академика:

«Как я уже говорил, состояние отца после катастрофы считалось безнадежным и то, что он выжил, уже было чудом. Да, перенесенные травмы оставили многочисленные следы, и все 6 лет, которые отец прожил после аварии, он был тяжело больным человеком. Одна нога стала намного короче другой, три пальца на левой руке не сгибались, но, самое главное, его непрерывно мучили боли в животе. Именно эти боли не давали ему ни на чем сосредоточиться, именно из-за них он так и не вернулся к науке. Бывают люди, которые хорошо переносят физическую боль. Отец был не из их числа. Как потом выяснилось, эти боли были вызваны спаечной болезнью кишечника, которую можно было легко вылечить хирургическим путем. Но это было начало шестидесятых годов и тех методов диагностики, которые могли бы показать спайки, еще не существовало. Кроме того, светила советской медицины, отобранные Е.М. Лифшицем, единогласно утверждали, что эти боли центрально-мозгового происхождения...»

...В результате многолетней спаечной болезни у отца развился паралич кишечника, и потребовалось неотложное хирургическое вмешательство. В течение операции были удалены и спайки. Те самые спайки, которые вызывали постоянные боли в животе и несколько дней, которые отец прожил после операции,

¹⁹ Бессараб М.Я. Так говорил Ландау / Бессараб М.Я. - М.: Физматлит, 2003. - 128 с. - ISBN 5-9221-0363-6 ; <http://www.egamath.narod.ru/Landau/Dau2003.htm>

были первыми после аварии, когда у него не было этих ужасных болей. Он мог бы выздороветь. Выздороветь совсем и вернуться к физике. Но жизнь распорядилась иначе – через несколько дней после операции отец умер от тромбоэмболии легочной артерии. Старый тромб, возникший за несколько лет до операции, оторвался от своего места и перекрыл артерию, которая ведет от легких к сердцу...»²⁰

По указанию русской Википедии и свидетельству Майи Бессараб причиной смерти учёного стал тромбоз мезентеральных сосудов,²¹ и как следствие – некроз кишечника.

В соответствии с воспоминаниями сына, Игоря Ландау, было тактической ошибкой не привлечь общих хирургов и травматологов-ортопедов для постоянного наблюдения в течение всего процесса излечения. Практически всё лечение находилось в руках нейрохирургов и нейрореаниматологов. Вот что пишет профессор Лихтерман:

«А теперь представим собственно историю болезни Л.Ландау. Разумеется, в кратком и фрагментарном ее изложении, ибо, что очень непонятно, и в архиве ГКБ № 50, и в архиве Института нейрохирургии истории болезни такого выдающегося пациента отсутствуют, так же, впрочем, как и протокол в ГАИ о дорожно-транспортном происшествии, в котором он пострадал. Не будем строить догадки, как и почему это произошло, но, увы, это факт»²².

Его же перу принадлежат некоторые выводы по результатам анализа лечения Л.Д. Ландау:

«Во-первых, уникальность удовлетворительного восстановления функций головного мозга (умеренная инвалидизация по шкале исходов Глазго) после 40-суточной (!) комы.

Во-вторых, роль этой трагедии в развитии современной нейрореанимации в силу особой значимости личности пострадавшего.

В-третьих, впечатляющий пример объединения ученых мира для спасения жизни своего коллеги.

20 Игорь Ландау: Подлинный Ландау ?!!, Журнал "Самиздат", http://zhurnal.lib.ru/l/landau_i_l/letter.shtml.

²¹ Ландау, Лев Давидович, http://ru.wikipedia.org/wiki/Ландау,_Лев_Давидович

²² Леонид Лихтерман: Медицинская газета, номер 33 от 11 мая 2012 г., <http://www.mgzt.ru/article/2689/>

В-четвертых, тяжелая травма как сигнал поспешить отдать наградные долги пострадавшему».

Когда из Индии вернулся Исаак Маркович Халатников – первый директор Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау, то в марте в ИФП устроили празднование юбилея, 60-летия Ландау. Было много народу, присутствовали нобелевские лауреаты, в конференц-зале, а потом в кабинете Капицы пел Александр Галич. Дау сидел с отрешенным видом, слабо улыбаясь его поздравлявшим²³.

Менее чем через месяц его не стало.

1 апреля 1968 года Лев Давидович Ландау умер в академической больнице. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, на его могиле стоит надгробие работы Эрнста Неизвестного. Рядом покоится прах его жены Кору, пережившей Дау на шестнадцать лет.

С 1937 года до последнего дня своей жизни Ландау – сотрудник ИФП. То, что инвалид Ландау остался после тяжелой травмы формально на своей должности и смог сохранить для себя и семьи привычный жизненный стандарт, несомненная заслуга коллег и П.Л. Капицы. Ниже приводится фрагмент из статьи Бориса Горобца с комментариями Игоря Ландау (ИЛ):

«Горобец: После долгих месяцев мучительной болезни Ландау должен был быть переведен Врачебно-трудовой экспертной комиссией на инвалидность, естественно, с потерей должности и зарплаты. Но тогдашний президент Академии наук Мстислав Всеволодович Келдыш посоветовал директору Института физических проблем академику Петру Леонидовичу Капице сделать как-то так, чтобы Ландау хотя бы посещал заседания Ученого совета института. Это формально обосновало бы возможность ставить ему в табеле рабочие дни и сохранять занимаемую должность заведующего теоретическим отделом института.

И вот впервые после долгого перерыва Ландау появляется в зале заседания, поддерживаемый санитаркой Татьяной Близнач, и садится на свое привычное, третье справа, место в первом ряду. Время 10.00. Рядом с Ландау сидит Халатников. Он

²³ Семен Соломонович Герштейн, академик, Институт физики высоких энергий (Протвино): Великий универсал XX века (к 100-летию Льва Давидовича Ландау), «Природа» №1, 2008

замечает, что академик зафиксировал взгляд в одном направлении – на часах, висящих напротив.

ИЛ: Я уже писал, что отцовские боли обострились, когда он сидел. Для него этот час заседания Ученого совета был часовой пыткой. Я и сам часто ходил на Ученый совет вместе с отцом, заменяя Таню Близнец, и хорошо знаю, как ему было там тяжело. Да, он с нетерпением ждал окончания и практически никогда не участвовал в каких либо дискуссиях. Тут надо иметь в виду, что на таких Советах обсуждались самые разные вещи. Некоторые из них бывали и вовсе не интересны, а другие интересны лишь узкому кругу лиц. Почему же он ходил на эти заседания? – Тут все очень просто. Он очень надеялся выздороветь и совсем не хотел, чтобы его перевели на инвалидность»²⁴.

Много уже писалось о личной жизни Льва Ландау; на Российском ТВ по книге Кору Ландау-Дробанцевой был поставлен скандальный фильм, где гениальный учёный был представлен секс-маньяком. Будучи молодым многообещающим и уже всемирно известным физиком, Ландау, к тому времени ещё девственнику, довелось встретить в Харькове разведённую украинскую красотку Кору (Конкордию Терентьевну) Дробанцеву, которая стала себя позже величать Конкордией Ивановной. Дау понадобилось небольшое хирургическое вмешательство для того, чтобы интимная близость между молодыми людьми стала вообще возможной.

«Кора Ландау начала писать свои воспоминания после смерти мужа в 1968 году и работала над ними более десяти лет... Получилось три солидных тома. Переплетенные, дополненные фотодокументами, они в виде самиздата какое-то время циркулировали в среде ученых-физиков, но вскоре почти все экземпляры были уничтожены академиками и их женами, которые ханжески возмущались этим откровенным текстом, шокирующими подробностями личной жизни великих умов СССР и неллицеприятными оценками "неприкасаемых"»²⁵.

Честно говоря не очень верится, что к тому времени целомудренный физик-теоретик предстал перед невестой,

²⁴ Ландау Игорь: Что еще пишут о Ландау; 2005-2009, http://zhurnal.lib.ru/l/landau_i_l/gorobetz.shtml

²⁵ Из издательской аннотации к книге Кора Ландау-Дробанцева: Академик Ландау. Как мы жили. Воспоминания, 2011 http://zakharov.ru/index.php?option=com_books&task=book_details&book_id=303&Itemid=56).

жениться на которой он не собирался, одновременно ещё и теоретиком свободной любви. Плохо верится в, якобы, созданную абстинентным Ландау (он не курил и не пил) «формулу любви», позволившую супругам вести толерантный открытый брак, где у каждого были ещё и другие партнёры. Это уже находки её мемуаров. Ландау женился на Коре только за неделю перед рождением единственного ребёнка, сына Игоря, в 1946 году. Это говорит об очень многом во времена сталинского террора, когда «моральному облику советского человека», в случае Ландау нереабилитированного и уже проведшего год в застенках НКВД, уделялось особое значение.

Ландау никогда не забывал о своём еврейском происхождении. Этого не забывало и окружение. Майя Бессараб вспоминает реакцию антисемитки на упоминание имени «бандита Ландау» в отличие от родственника-физика этой дамы, чистокровного русского человека. Дау был интернационалистом, российским интеллигентом, – и среди его друзей и близких знакомых было много евреев. А его язвительный юмор и многочисленные анекдоты были очень уж еврейскими. Чего стоит один его диалог с алчной Корой, которой он отдавал 60% своих заработков (40%, оставлял себе – «на разврат»), во время которого он ей объяснил, что она «в семье единственный жид»?

Красавица Кора была его первой сексуальной партнёршей и явно психопатичной личностью, – об этом пишут многие авторы: врачи, коллеги и друзья Ландау, об этом говорит её экстравагантное поведение и её книга. Несмотря на высшее образование химика, графоманский язык её отредактированных издательством мемуаров в лучшем случае довольно примитивен. Это язык сплетен, бесстрашных инсинуаций и злых фантазий. Её оценки коллег Ландау оскорбительны, а в отношении честнейшего «ворюги-Женьки», академика Е.М. Лифшица (1915-1985), угробившего причитающуюся тому половину Ленинской премии на лечение Дау, просто шизофренны. В отличие от друзей любящая Кора, спасая накопленное, не нашла после злополучной травмы мужа ничего лучшего как скрыться от забот по финансированию лечения и ухода за ним в престижной московской больнице. Потому-то гений, вероятно, искал на вершине своего интеллектуального торжества на стороне то, чего никак не находил дома, пока не стал просто бабником по привычке. Кора осталась хороша собой, была прекрасной домохозяйкой и в последние годы болезни Дау исполнилась, вероятно, искреннего сострадания к трагедии и мукам большого мужа. Будучи здоровым, он избегал её общества во время своих

отпусков, проводил много свободного времени в компаниях единомышленников на своём физико-математическом Олимпе небожителей. До травмы Ландау по-своему нашёл метод противостояния агрессивной психопатии жены через садомазохизм: он посвящал её во все интимные детали своих очередных завоеваний, приводил любовниц домой прямо в супружеское ложе, и заставлял жену заботиться о постельном белье и комфорте.

В Харькове Ландау уже до войны сблизился со своим коллегой, талантливейшим учеником, соавтором и до травмы большим другом, Евгением Михайловичем Лифшицем, также ставшим позже академиком. Кора с самого начала ревновала Дау к своему научному «сопернику» Лифшицу и в своих фантазмах стилизовала его в олицетворение зла. В скандальных мемуарах она даже нарочито неправильно пишет его фамилию – Лившиц. Она хотела Дау только для себя, – и хотела диктовать ему поведение по отношению к коллегам. До травмы, на вершине интеллектуального торжества, Ландау очень удачно справился с ситуацией. Можно спекулировать, что он, возможно, в вегетарианские хрущёвские времена мог даже играть мыслью о разводе. После травмы, будучи тяжёлым инвалидом, он был уже не в форме для такого противостояния. При всей хорошо описанной амнезии это обстоятельство, вероятно, сыграло большую роль в «отлупе» любимой женщине, которую он не признал, несмотря на выпростанную в больничной палате при всём честном народе великолепную грудь.

Его мучили жуткие боли в ногах, в животе и тenezмы – каждые полчаса он должен был идти в туалет. А рядом с ним была семья, что-то уже давно установившееся – был сын, была та самая рутина, которая нужна исходящему от болей инвалиду. Он выбрал определённую реальность – и подчинился (наконец-то!) Коре. Надо признать, что в его новой ситуации это было, вероятно, оптимальным решением: жена, член КПСС, была настырной, энергичной, даже наглой – знала ходы и выходы в кулуарах власти, бегала-жаловалась, скандалила, очень успешно выбивала средства на «бесплатную» советскую медицину, не возвратила физикам – коллегам Ландау – те самые 4,5 тысячи рублей, которыми те скинулись и выложили для обеспечения ухода на первых порах – это сделал, вероятно, Лифшиц, – и довольно нахраписто контролировала ситуацию реабилитации больного под лозунгом: «Это Гений – и Я рядом с ним».

Наиболее подробно историю болезни Л.Д. Ландау после травмы попытался реконструировать российский врач из Рязани, кандидат медицинских наук Николай Евгеньевич Ларинский, опубликовавший серию исследований о болезнях известных людей. Он является автором более 320 работ по истории медицины²⁶.

Советская медицина демонстрировала во время лечения последствий политравмы Ландау свою отсталость – после травмы у Ландау начался отек мозга, а лечащие врачи, светила советской медицины, даже не знали, что мочевины является мощным дегидратантом. Все бросились искать мочевины, которую отечественная советская промышленность ещё не выпускала.

Свидетельство Д. Данина:

«День несчастья. Первый консилиум. Угроза отека мозга. Применяются все обычные меры. Но возникает идея — испробовать специальный препарат, который можно достать в Чехословакии и Англии. Капица немедленно посылает три телеграммы старым друзьям-ученым: известному физики Блеккету — в Лондон; ассистенту знаменитого Ланжевена французу Бикару — в Париж; семье Нильса Бора — в Копенгаген. Капица не адресовался к самому Бору, чтобы не огорчать 77-летнего старика — учителя Ландау. Но на следующий день пришла от него короткая телеграмма с сообщением о высылке лекарства. <...> А Бикар позвонил в Прагу своему знакомому <...> Немцу. Немец связался с академиком Шормом, и Шорм послал необходимый препарат. Но еще раньше помощь пришла из Англии. Правда, телеграмма не застала Блеккета в Лондоне. Однако ее тотчас переслали Джонсу Кокрофту, выдающемуся атомисту Англии, и тот без промедления стал предпринимать все, что нужно. А тем временем Евгений Лифшиц позвонил оксфордскому научному издателю Максвеллу — нашему другу, издавшему в Англии всю многотомную “Теоретическую физику” Ландау и Лифшица. Усилия Кокрофта и Максвелла соединились, и на день ТУ-104 был задержан на час в аэропорту Лондона, дабы успеть захватить посылки для Москвы с коротким адресом — “мистеру Ландау” <...>. Однако в действительности спасла Ландау от смертельно опасного отека в первый день ампулы препарата, которую разыскал академик Владимир Александрович Энгельгардт. Он и академик Николай Николаевич Семенов решили

²⁶ Персона. Ларинский Николай Евгеньевич, <http://uzrf.ru/persons/one-person/?id=24>

еще в воскресенье 7 января предпринять попытки немедленно синтезировать препарат и стерилизовать его, но, к счастью, выход был найден более простой: ученики Энгельгардта нашли готовую ампулу в Ленинграде. Она попала в руки врачей раньше максвелловской»²⁷.

В те же дни мочевины была срочно заказана и в посольстве СССР в Берлине. Одна банка с технической мочевиной пришла по почте неторопливо и пунктуально – через 2 месяца(!).

Профессор И.А. Кассирский, член консилиума врачей Ландау, писал в журнале «Здоровье» № 1 за 1963 год:

«За сорок лет моей врачебной работы было много замечательных исцелений, казалось, безнадежных больных, но воскрешение из мертвых всемирно известного физика Л.Д. Ландау, о чем сообщалось в нашей и зарубежной прессе, – особо волнующий момент. Каждая из полученных им травм могла бы привести к смертельному исходу. Консилиумы собирали по несколько раз в сутки...

Отек мозга был предотвращен инъекцией мочевины, была отмечена грозная опасность поражения продолговатого мозга. Но от избытка введенной мочевины возникло тяжелейшее осложнение – почки не справлялись с ее выведением, возникло отравление – уремия. Остаточный азот катастрофически нарастал».

В этот момент в процесс лечения решительно вмешался чешский нейрохирург Зденек Кунц. По его рекомендации сняли капельницу и резко увеличили дачу жидкостей и жидкого питания больному через носовой зонд. Сразу заработали почки, выделилась моча. Вместе с тем Кунц определил: *«Травмы несовместимы с жизнью, больной обречен, он протянет, скорее всего, лишь около суток».* После этого Кунц улетел на родину, но его визит, возможно, спас Ландау от смерти вследствие уремии. Можно ещё добавить – и через 10 месяцев сделал Ландау Нобелевским лауреатом.

Сохранилось заключение англичанина У. Пенфилда:

«Семь недель назад серьезная автомобильная авария. Перелом таза и ребер. Рентгеновское исследование обнаруживает двусторонний перелом черепа и оперативное трепанационное отверстие в левом средне-фронтальном положении около 5 см перед центральной извилиной. В течение 24 часов больной находился в децеребрационной ригидности. Затем

²⁷ Данин, Д. Товарищество [о борьбе за спасение жизни Л.Д. Ландау], Литературная газета, 21 июля 1962

это исчезло. Он продолжал оставаться без сознания, и его жизнь была спасена только благодаря героическому уходу и лечению. Постепенно начали развиваться в левой руке произвольные движения типа базальных ганглиев. **Результаты осмотра:** Движение глаз хорошо координировано. Когда его жена заговорила с ним, он кивнул и затем посмотрел на меня, фиксируя свой взгляд. Когда профессор Лифшиц попросил его показать свои зубы, он сделал быстрое движение, которое я истолковал как ответ. Это было с левой стороны рта, и не похоже на то подергивание, которое я наблюдал время от времени в этом месте. Я сделал бы вывод, что отсутствие контакта не следует относить за счет афазии. Это подтверждается и тем фактом, что профессор Егоров при трепанации вблизи зоны Брока в левом полушарии не нашел отклонений от нормы....Рассеянное повреждение мозга, вызванное несомненно мелкими ушибами глубоко в мозгу, вполне может нарушать центрэнцефалическую проводимость субкортикальных узлов. В настоящее время нет признаков повышения внутричерепного давления. Я делаю вывод, что консервативная терапия, примененная в случае профессора Ландау, была правильной. Ничего больше сделать нельзя было. Прогноз очень затруднителен. Сейчас больному лучше. Если улучшения будут продолжаться, он приобретет, как я полагаю, способность говорить. Но я опасаясь, что нарушение двигательной способности правой руки сохранится постоянно. Похоже, что произвольные движения левой руки будут продолжаться, но, как ни странно, он может в настоящее время до некоторой степени контролировать движение как правой, так и левой руки, что свидетельствует о некотором улучшении в этой области. Я советую в лечении применить принцип «*secundum artem*». Со временем физиотерапия и терпеливый уход в нормальном окружении дома».

Черепно-мозговая травма была крайне тяжелой, с выраженным гипертензионным синдромом, резким повышением внутричерепного давления. Стоял вопрос о декомпрессионной трепанации черепа, а технические средства в это время были ограниченными. Компьютерной томографии тогда ещё не существовало, а ангиографическое исследование могло превысить порог опасности самого повреждения. Врачам оставалась наблюдать за динамически изменяющейся клинической картиной последствий повреждения мозга и периодически производить спинномозговые пункции по поводу диагностики субарахноидального кровоизлияния с санацией ликвора, осуществлять дегидратационную терапию. Тактика лечения

оказалась правильной, поскольку явной клиники компрессии головного мозга не отмечалось.

Терминальные состояния – это своеобразный патологический симптомокомплекс, проявляющийся тяжелейшими нарушениями функций органов и систем, с которыми организм без помощи извне справиться не может. Другими словами, это состояния пограничные между жизнью и смертью, четыре раза потребовавшие реанимации Ландау. К ним относятся все стадии умирания и ранние этапы постреанимационного периода. Гипоксия, вызывающая умирание, проявляется в недостаточном снабжении тканей кислородом и возникает в результате поражения органов дыхания и мозгового дыхательного центра: первым погибает мозг, а затем проявляются патологические изменения в сердечной мышце. При первичном поражении головного мозга раньше других угасает ФВД (функции внешнего дыхания) и вторично расстраивается функция сердечно-сосудистой системы. Независимо от причины терминального состояния прогрессирующая гипоксия постепенно поражает все ткани организма, что приводит к развитию в них комплекса патологических и компенсаторных изменений. При этом компенсаторно-приспособительные изменения преобладают на начальных этапах умирания, а патологические – по мере углубления процесса.

Французские врачи были, очевидно, ошарашены тем, что увидели:

«Мы впервые в нашей практике наблюдаем такого больного. Непонятно, как он мог выжить, получив столь тяжелые травмы. До сих пор больные с такими повреждениями умирали. Вероятно, поэтому многие симптомы кажутся необычными. Мы удивляемся упорству, мужеству и мастерству наших русских коллег, которые протащили этого больного живым через смерть»

Но и они высказались против операции. Ландау будет здоров и без операции головного мозга, – оптимистично заявили врачи.

Реальную угрозу жизни Ландау представляли инфекция и патология, лежащая за пределами компетенции хороших нейрохирургов и неврологов, лечивших академика. Кора Ландау-Дробанцева свидетельствует: *«Позывы газопускания стали все чаще и настойчивей, а медики стали все глубже вникать в психологию»*. Восстановление физического здоровья шло очень медленно. Плавно шло восстановление памяти, речи, слуха, движений, нормальных физиологических отправлений. Большой

мысленно возвращался в пору раннего детства, юности, зрелости. Осталась типичная для таких случаев ретроградная амнезия: он так и не смог вспомнить обстоятельств травмы.

Из больницы № 50 он был вначале переведен для нейрореабилитации в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, где имелись высококвалифицированные специалисты по восстановлению функций мозга и двигательной активности, в том числе нейрореабилитолог В.Л. Найдин. Поскольку Ландау там часто переливали много крови, он заболел во время пребывания в Институте нейрохирургии инфекционным гепатитом. Его же ведь не лечили в клинике Мэйо, но он пережил и это! Всех по разным причинам волновал один вопрос – восстановится ли интеллект Ландау, а если «да», то насколько? Провели консультацию академика-физика у академиков-психиатров. Сначала его осматривал выдающийся советский психиатр, академик АМН СССР Олег Васильевич Кербиков (1907-1965), который с 1952 года был заведующим кафедрой психиатрии 2-го Московского медицинского института. По иронии судьбы сам профессор О.В. Кербиков умер от недиагностированной(?) диабетической комы, а тяжело больной Лев Ландау на три года пережил Кербикова и Гращенкова.

После НИИ им Н.Н. Бурденко его перевели в клиническую больницу АН СССР. Появились движения рук, затем он стал ходить по палате с «манежем» – столиком на колесах (сегодня на Западе – роллатор), который физики приспособили по росту специально для него. Наконец, он начал медленно разговаривать, сначала на английском языке. Но травматическая болезнь и последствия перенесенной полиорганной недостаточности сказались на его состоянии. К научной работе он не вернулся.

После Кербикова Ландау попал к одиознейшей фигуре советской психиатрии, академику АМН СССР Андрею Владимировичу Снежневскому (1904-1987) – основателю одной из нескольких школ советской психиатрии и директору Института судебной психиатрии им. Сербского (1950—1951), с 1962 года директору Института психиатрии АМН СССР, а с 1982 года — директору Всесоюзного научного центра психического здоровья АМН. Снежневский пользовался дурной славой. Так, он поставил диагноз «вялотекущая шизофрения» Валерию Буковскому. Позднее Буковский был обследован западными психиатрами и признан здоровым. В 1964 году судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная под председательством Снежневского, признала психически больным бывшего генерал-майора

П. Григоренко, выступившего с критикой советских порядков. В отношении Ландау Снежневский был корректен, немногословен и сдержанно-оптимистичен.

Ландау консультировал и выдающийся советский нейрофизиолог и психолог, профессор Александр Романович Лурия (1902-1977). В практической деятельности нейропсихологов используются предложенным А.Р. Лурия методом синдромного анализа, называемый также «батарея Луриевских методов». А.Р. Лурия отобрал ряд тестов и объединил их в «батарею», которая позволяет оценить состояние всех основных *Высших психических функций* (ВПФ). По их параметрам методики тестов адресованы ко всем мозговым структурам, что позволяет определить зону поражения мозга. Изменение сложности задач и темпа их предъявления даёт возможность с большой точностью выявить тонкие формы нарушения (топический диагноз). Однако Лурия со своей «батареей» не понравился Ландау, – тот его выгнал и сделал всё, чтобы Лурия больше не появлялся. Когнитивные нарушения были самой главной проблемой восстановления (она так и осталась нерешённой), т.е. прежнего Ландау больше не было. А был страдающий, искалеченный больной, который много раз говорил о самоубийстве.

Сразу после травмы у Ландау возникла пневмония и плеврит, которые усиленно лечились «сверхсильными американскими антибиотиками». Все почему-то, упустили из виду, что антибиотики неизбежно приведут к дисбиозу. Удивительно, что об этом не упомянула и лечившая Дау микробиолог, академик З.В. Ермольева. Мудрость к ней в данном случае пришла задним числом. Боль в животе врачами долго во внимание не принималась, не только нейрохирургами и неврологами, но и терапевтами, среди которых консультантами у Л.Д. Ландау были профессор Иосиф Абрамович Кассирский и профессор Алим Матвеевич Дамир, в то время – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета II ММИ, заслуженный деятель науки. Примечательно, что именно его пригласили как специалиста по пневмониям. И.А. Кассирского призвали, соответственно, как специалиста по почкам (у Ландау после щедрого введения мочевины возникла острая почечная недостаточность). Позднее к ним присоединились профессор Васильев и Борис Евгеньевич Вотчал.

10 февраля 1964 г. во время прогулки с Корой у Ландау произошло обморожение большого пальца ноги. Он вновь долго лежал, потом была очередная пневмония, потом тромбофлебит (тромбоз!) глубоких вен правой нижней конечности, возможно, с

развитием посттромботического синдрома («нога болит»). В это время у постели Ландау появился выдающийся советский хирург, академик Александр Александрович Вишневский (1906-1975) – главный хирург Министерства обороны СССР, генерал-полковник медицинской службы (1963), который занялся лечением. Последствия этого тромбоза стали, вероятно, одной из причин смерти Ландау четыре года спустя. Дело в том, что сохраняющаяся окклюзия или частичная реканализация сосуда после тромбоза глубоких вен нижней конечности нередко сопровождается развитием так называемого посттромботического (постфлебитического) синдрома. Методы лечения «тромбофлебита» (тромбоза!) нижней конечности постельным покоем и компрессами позволяют предположить, что они, возможно, включали в себя новокаиновые блокады и аппликации тогда обязательной «мази Вишневского». К чести Вишневского надо отметить, что он первым(!), два года спустя после травмы, обратил внимание на боли в животе, его постоянное вздутие и частые (20-30 раз в сутки) позывы на дефекацию, тенезмы, мучившие учёного.

Именно Вишневский обратился к руководителю микологического отдела Центрального кожно-венерологического института (ЦКВИ) Минздрава СССР, профессору Абраму Михайловичу Ариевичу (1896-1988) – лучшему знатоку микозов в СССР. Врач В.И. Зарочинцева, у которой Ландау пролежал в клинической больнице АН СССР около полутора лет, ни разу не назначила ему анализ кала на грибковую флору, ведь сам(!) невропатолог Гращенко объяснял боль в животе центральным происхождением. Реакция А.М. Ариевича со слов К.Т. Ландау-Дробанцевой:

«За всю мою многолетнюю практику впервые такой тяжелый случай – кишечная флора погибла полностью. Грибки сильные, окрепшие, их возраст где-то около трех лет. Я даже не знаю, как начать с ними борьбу, я удивлен, что больной жив!»

После этого Ландау вновь консультировала академик З.В. Ермольева. Была назначена простокваша по Мечникову, зелень, диета, «нистатин из американской упаковки». А что ещё тогда могла предложить советская медицина? Флора почти нормализовалась через полгода, но боль в животе оставалась. Поскольку целостность тазового кольца была нарушена после травмы тремя переломами, то Вишневский решил, что имеется ирритация тазового сплетения рубцами и попытался устранить боль своими знаменитыми новокаиновыми блокадами, но из этого ничего не вышло. Вновь возникло вздутие живота, которое не

удалось ликвидировать заново составленной диетой, на этот раз без углеводов и клетчатки. Ландау вновь осмотрел Зденек Кунц, но постоянные боли в животе оставались.

В начале 1965 года по протекции М. Бессараб около Ландау появился хирург Кирилл Семёнович Симонян (1918-1977), ученик легендарного московского специалиста по полостным операциям С.С. Юдина (заведовавшего в своё время хирургическим отделением НИИ им. Н.В. Склифосовского), – в то время главного хирурга больницы № 53 Пролетарского района Москвы и имевшего репутацию хорошего абдоминального специалиста. Даже после консилиума с участием А.М. Дамира и А.А. Бочарова хирург К.С. Симонян продолжал придерживаться точки зрения покойного к тому времени Н.И. Гращенкова, согласно которой боли в левой руке и животе были «центрального происхождения» и органической основы не имели. К чести Симоняна надо отметить, что он предложил диагностику «ex juvantibus» через спинномозговую анестезию: если боли центральные – они не прекратятся, если спаячные – исчезнут, но тут воспротивился академик А.А. Вишневский. В диагностике, возможно, помогла бы несколько менее травматичная эпидуральная блокада, но она вообще предложена не была.

После этого мученика Ландау повезли в Карловы Вары, где кишечные промывания и питье минеральной воды несколько ослабили боли, а чешские ортопедические сапожники изготовили для него удобную ортопедическую обувь, которую в СССР делать не умели. Чешские профессора Кунц, Старега и Заводный отбросили идею о «центральных болях» как бредовую и считали наиболее вероятным их кишечное происхождение. Первым из медиков об этом уверенно высказался главный врач санатория в Карловых Варах Ян Иш. После этого Ландау побывал еще в санатории в Крыму, где хорошо перенес грязелечение. Но по возвращении домой вернулись боли и вздутие живота.

Академика обследовали вновь в Кунцевской больнице 4-го управления МЗ СССР («Кремлёвка») и нашли камни желчного пузыря, возникло предположение о наличии кальцинированных гематом в брюшной полости. Поскольку сильные боли оставались, К.С. Симонян собрал новый консилиум с участием лечащего врача из клинической больницы АН СССР Паленко и профессоров Вотчала и Васильева. Попытки решить проблему яблочной(?) диетой успеха не имели, к тому же Б.Е. Вотчал был все-таки клиническим фармакологом и пульмонологом, а не гастроэнтерологом. 25 марта 1968 года в три часа ночи К.С. Симонян, А.А. Бочаров, Д.А. Арапов и О.Ф. Афанасьева

высказались за лапаротомию Л.Д. Ландау, на которую было получено разрешение сверху. Разрешение на экстренную операцию живота было дано самим министром здравоохранения СССР Б.В. Петровским (анестезиолог Ю.А. Кринский). При операции выяснилось, что тонкая кишка свободна от спаек, но имелись обширные спайки брюшины со слепой, восходящей и нисходящей петлями толстой кишки, что и поддерживало постоянный парез кишечника. Поперечноободочная кишка была предельно раздута и сжата нисходящей и восходящей петлями. Симонян освободил кишечник от спаек и наложил цекостому(?). Более обосновано было бы, возможно, наложение трансверзостомии в области поперечноободочной кишки.

Никто не хотел оперировать Дау: Бочаров чувствовал себя неважно, Арапов не владел пальцем после перелома, а заведующий хирургическим отделением больницы Академии В.С. Романенко (тот самый, который прооперировал Коре здоровую грудь, перепутав её с больной) просто сказал, что участвовать в операции не будет. Никто не выразил согласия на ассистенцию и поэтому Симоняну пришлось после того как было дано «добро» в верхах оперировать непроходимость кишечника с дежурными хирургами. К счастью, это были опытные врачи, а одна из них – Олимпиада Федоровна Афанасьева — работала с ним много лет до этого в Институте им. Н.В. Склифосовского.

Симонян пишет о находке во время операции:

«Его состояние было обычным для непроходимости обтурационного плана. Живот был вздут и тверд, как бочка, но общих симптомов интоксикации не было. Атака у Дау началась к вечеру, а оперировали мы его глубокой ночью. Причиной непроходимости был подозреваемый мной обширный спаечный процесс <...>. Тонкая кишка была свободна от спаек, но множественные сращения брюшины со слепой, восходящей и нисходящей петлями толстой кишки ограничивали ее функцию и были причиной постоянно поддерживаемого пареза. Поперечная кишка, напротив, была предельно раздута и как бы сжата восходящей и нисходящей петлями. Операция состояла в том, чтобы освободить кишечные петли от сращений и наложить цекостому <...>. Я сделал то, что было нужно, и больной был снят со стола с хорошим давлением и пульсом».

После операции каждые два-три часа приходилось делать сифонную клизму (через стому), развилась пневмония и постоянная тахикардия. Симонян правда пишет, что он допускал возможность тромбэмболии. С помощью электростимуляции, которую произвел Аркадий Владимирович Лившиц, старший

научный сотрудник Института имени А.В. Вишневского, была сделана попытка вызвать активную перистальтику, —но безрезультатно. АТФ, гентамил, кокарбоксилаза, которая тогда считалась чудотворным препаратом, никотинамид... Тахикардия оставалась. В конце Ландау сказал: *«Все же я хорошо прожил жизнь. Мне всегда всё удавалось»*. На восьмой день после операции Л.Д. Ландау потерял сознание и спустя несколько часов умер. На вскрытии профессор Я.Раппопорт обнаружил тромбоемболию легочной артерии, источником которой был «тромбофлебит» (правильнее говорить о старом тромбозе – Б.А.) глубоких вен правой голени; в некоторых публикациях сообщается о тромбозе артерий брыжейки(!),— русская Википедия и Майя Бессараб прямо пишут о мезентеральном тромбозе как причине непроходимости кишечника, страданий и смерти Ландау.

Важный аспект многих хирургических трудов обычно составляет глава «Ошибки, опасности и осложнения». Никогда не ошибаются только те врачи, которые не работают в клинике и не оперируют. Но ошибки надо разбирать и анализировать —это хорошая классическая традиция медицины. Процесс лечения Ландау не обошёлся без них. Самоотверженный подвиг врачей 50-й московской больницы в первые дни после политравмы Ландау незамедлительно оброс сложной советской бюрократией. Потребовался чех Зденек Кунц чтобы предотвратить уремию и назначить питание и поступление жидкостей через носовой желудочный зонд. Руководство лечением взяли в свои руки исключительно нейрохирурги и невропатологи, пытаясь спасти самое ценное из того, что было у Ландау – его мозг. Советские звёзды медицины ещё не знали тогда о необходимости применения мочевины при тяжёлой черепно-мозговой травме. Препарат пришлось получать из-за границы очередным рейсом «Аэрофлота».

Ландау оказался на редкость живучим, перенёс четыре клинические смерти (терминальные состояния), включая реанимацию с интраартериальным нагнетанием крови. Отрицание зафиксированных клинических смертей Ландау – явная оценочная ошибка со стороны Симоняна годы спустя. Инфузионно-трансфузионная терапия сказалась поначалу на малом круге кровообращения, — развилось посттравматическое «влажное лёгкое» (wet lung) как последствие катастрофы, потом пневмонии, потребовалась дача сверхмощных американских антибиотиков широкого спектра. В качестве возможной досадной ошибки в

тактике стоит рассмотреть отсутствие попытки оперативного восстановления целостности тазового кольца или хотя бы его стабилизации, что могло уменьшить громадную забрюшинную гематому и способствовать профилактике терминальных состояний с последующими героическими реанимациями в самом начале лечебного процесса. Академик ведь был уже интубирован и находился под искусственной вентиляцией лёгких... Такую возможность врачи пытались очевидно взвесить, но боялись взять на себя ответственность. Сегодня с самого начала лечения в ходу активная хирургическая тактика, согласно которой несколько групп специалистов (травматологи, нейрохирурги, полостные хирурги и т.д.) одновременно проводят оперативные вмешательства.

Потом у Ландау был инфекционный гепатит после переливания крови, обморожение пальца правой стопы после прогулки с Корой, тромбоз глубоких вен правой нижней конечности — и все шесть лет после травмы жуткие боли в левой, потом и в правой нижних конечностях и в животе, — последние из-за спаек кишечника на фоне зарубцевавшейся забрюшинной гематомы с нарушением деятельности кишечника и функции его опрвления. Ландау, описывая свои страдания, говорил о мучивших его иголках в ногах и в животе. Дополнительно к этому появился недиагностированный кандидамикоз кишечника, потребовавший долгого лечения. Так что глубокое недоверие Конкордии Терентьевны Ландау-Дробанцевой по отношению к светилам отечественной советской медицины имело своё обоснование.

Согласно воспоминаниям Кору, через две недели после ДТП, академику Ландау на основании нового тогда советского закона о борьбе с алкоголизмом по выходным дням прекратили выплату зарплаты. Испугавшись гигантских расходов по «бесплатному» советскому лечению и забот по уходу за своим мужем, Кора непосредственно после автокатастрофы легла на операцию по поводу опухоли (мастопатия?) груди в больницу АН СССР, где главный хирург больницы В.С. Романенко прооперировал ей... здоровую грудь.

Жена Ландау в своих мемуарах высказывает сомнения в компетентности некоторых специалистов лечивших Ландау, особенно врачей из спецклиник по лечению руководства СССР. Героическая история спасения жизни Л.Д. Ландау, на фоне тяжёлой гипоксии тканей после четырёх терминальных состояний, с массивной инфузионно-трансфузионной терапией на протяжении первых полутора лет тяжело отозвалась на его

сосудистой системе генерализированным атеросклерозом, что и стало в конце концов причиной смертельного осложнения. Согласно свидетельствам специалистов в статье Бориса Горобца это были ДВС (диссеминированное нарушение внутрисосудистого свертывания) и последовавшая тромбозомболия мелких ветвей легочной артерии (ТЭЛА) с выраженным учащением пульса. Кстати, и предыдущие пневмонии Ландау могли быть следствием микроэмболии мелких ветвей легочной артерии. Поэтому ДВС и ТЭЛА в конце жизни Ландау могут рассматриваться как вершина айсберга на фоне последствий упомянутой тяжелой посттравматической гипоксии.

Для профилактики тромбозов до и после операций приблизительно с середины 1970-х годов успешно применяется Low-Doses-Heparinization (CALCIPARIN, LIQUEMIN N, FRAXIPARIN и т.д.), а также, например, различные пероральные препараты типа аспирина и маркумара. Тогдашний уровень медицины ещё не позволял применения Low-Doses-Heparinization, но было известно применение в инфузиях хороших советских препаратов низкомолекулярных декстранов типа полиглюкина (синонимы: Detxtravan, Expandex, Macrodex, Rheomacrodex и т.д.). Каждый грамм полиглюкина связывает 25 мл воды, в результате чего объем циркулирующей в сосудах плазмы быстро восстанавливается, но зато возможно усиление гипоксии тканей. Увеличение объема крови способствует дезагрегирующему влиянию препарата на тромбоциты и эритроциты. Дезагрегирующее действие полиглюкина на эритроциты и форменные элементы крови в конце концов положительно сказывается на микроциркуляции, нарушаемой при шоке. Уже тогда для тех же целей на Западе применялись пероральные препараты аспирина в качестве профилактики тромбозов. Повышенное свертывание крови, общий склероз сосудов с образованием plaques и постоянно растущих атеросклеротических бляшек с сужением просвета сосудов, агрегация эритроцитов и форменных элементов крови, изменение скорости кровотока были результатом долгого процесса, но в публикациях о болезни Ландау не упоминаются консультации специалистов по этому поводу. Стадии развития атеросклероза сосудов сегодня эффективно определяются специальными рутинными маркерами. Насколько эта проблема не проста иллюстрирует, к примеру, спор лечащих врачей и консультантов в 2005 г. у постели другого известного коматозного пациента, премьер-

министра Израиля Ариэля Шарона, когда выяснилось, что дача неправильного медикамента для профилактики тромбов вызвала кровотечение в мозг, приведшее к катастрофе.

Кора Ландау-Дробанцева пишет в своей книге:

«Помня о том, что больной перенес тромбофлебит после отморожения стопы, мы с Кринским опасались тромбоза (подозрение на это высказал и Вишневецкий в один из консилиумов в ближайшие после операции дни (очевидно описка – надо бы дни – Б.А.)), поэтому ежедневно и постоянно больному вводили гепарин в столь больших дозах, что рисковали вызвать кровотечение».

Кора смело – по принципу *«мы пахали»* – пишет в своих мемуарах *«...мы с Кринским»*. В другом пассаже своей книги она называет себя аж *«клиницистом»*. Тактику оперативной и постоперативной, в том числе и гепариновой, терапии принципиально определяет консилиум врачей и оператор. Поэтому надо исходить из того, что настырная Кора лишь слышала какой-то звон...

Ужасают обстоятельства проведения операции в Кремлёвской больнице: доктор Кринский был вынужден сначала латать дырявый наркозный мешок и искать интубационную трубку необходимой длины. Специалисты, у которых Борис Горобец консультировался по поводу ДВС, придерживались того мнения, что гепариновая терапия, да ещё в больших дозах, очевидно, проведена не была.²⁸ Это звучит довольно правдоподобно, потому что до середины 1970-х годов практические хирурги просто боялись таковой из-за опасения кровотечений. Правду мы узнаем, когда история болезни академика Ландау станет, наконец, доступной для исследователя.

„...гепарин не упоминается в записках К.С. Симоняна среди лекарственных препаратов, которые вводились Ландау. Между тем, гепаринотерапию следовало бы попытаться проводить хотя бы сутки спустя после операции. В ее отсутствие происходил процесс массивного микротромбирования.»²⁹

Ещё раз из воспоминаний Майи Бессараб:

²⁸ Борис Горобец; Смогла ли бы медицина спасти Л.Д. Ландау сегодня?, Семь искусств, Номер 4(29) - апрель 2012 года, <http://7iskusstv.com/2012/Nomer4/Gorobec1.php>

²⁹ Цитируется по: Борис Горобец; Смогла ли бы медицина спасти Л.Д. Ландау сегодня?, Семь искусств, Номер 4(29) - апрель 2012 года, <http://7iskusstv.com/2012/Nomer4/Gorobec1.php>

«...когда Ландау не стало, еще один ведущий специалист, на этот раз светило-патологоанатом, производивший вскрытие, печально сказал коллегам:

– Травма головы повела медиков по ложному пути.»³⁰

Самый трагический аккорд трагедии лечения Ландау прозвучал в день операции, когда специалисты, не желая перенимать ответственность, отказались ассистировать Симоняну во время ургентной операции. Успех как известно имеет много отцов, неудача — сирота. К.С. Симонян высказал примечательную мысль: когда у врачей еще была надежда, что Ландау будет спасён, что он поправится и вернется в строй, то каждый из них, вольно или невольно старался большую часть заслуг приписать себе. Но когда все увидели, что кроме физического увечья ног и рук интеллект великого учёного не вернулся, все потеряли надежду и инвалид Ландау уже практически никого не интересовал.³¹

В отношении Симоняна-хирурга можно заметить, что тот, вероятно из-за советской бюрократии, даже не взвесил возможность более активной хирургической тактики в форме релапаротомии, повторного оперативного вскрытия брюшной полости для контроля результатов своей первой операции, что даже в 1968 г. представлялось необходимым. Пассивное ожидание на фоне неудовлетворительной клиники постоперативного «острого» живота с некрозом кишечника, перитонитом и развитием тяжёлого сепсиса надо признать грубой ошибкой. Сегодня хирурги, возможно, наложили бы трансверзоколостомию вместо малоэффективного свища слепой кишки, а при той ситуации, которую нашёл во время операции Симонян, зашили бы брюшную стенку для ревизии через 24 или 48 часов «молнией».

Ярослав Голованов писал:

«...2 апреля 1968 года... Ландау умер. Оторвавшийся от стенок сосуда тромб вызвал смерть неожиданную и быструю. Он поразил Дау как шальная пуля. В тот день академик А.Б. Мигдал написал: «Умер один из удивительнейших физиков нашего времени. В наш век специализации науки это был, быть может,

³⁰ Бессараб М.Я. Так говорил Ландау / Бессараб М.Я. - М.: Физматлит, 2003. - 128 с. - ISBN 5-9221-0363-6; <http://www.egamath.narod.ru/Landau/Dau2003.htm>

³¹ Николай Ларинский: «Синдром Ландау». Триумф или трагедия советской медицины? http://uzrf.ru/publications/publicistika/Niikolay_Larinskiy_Sindrom_Landau_1/

последний из учёных, занимавшийся всеми областями теоретической физики». Мне кажется, это очень точно сказано. Вряд ли можно назвать среди учёных всего мира столь универсального физика... Но, может быть, он сидит где-нибудь в университетской аудитории, а мы ещё просто не знаем, что он уже существует.»³²

Есть немало врачей, которые не делают никаких ошибок, но эти коллеги не лечат живых людей. Человеческие заблуждения врачей в процессе лечения больных всегда были причиной трагедий в клиниках всего мира. Несмотря на это надо заметить, что постоперативный уход, комплексная реабилитация после политравмы до и после Перестройки часто оставались в СССР на уровне легендарного диагноза Михаила Жванецкого: *„Операции они делают удачно, они выхаживать не могут.“*³³ Поэтому относительно пассивный процесс лечения и реабилитации Л.Д. Ландау в течение шести лет, похоже, несколько усыпил лечащих врачей.

Я начал очерк и хочу его закончить вновь цитатой-сравнением из статьи врача Н.Е. Ларинского:

«...российская боблеистка Ирина Скворцова, попавшая в жуткую аварию в 2009 году, не имела такой «значимости личности» как Л.Д. Ландау, и оказывали ей помощь сразу после травмы в крошечном (население меньше, чем в Сасове) городке Верхней Баварии – Траунштайне (население чуть больше 18000 человек). Но помощь была оказана на уровне высочайшем (ежели бы она в сасовскую больницу попала, то давно бы уже панихиду справили!), а Ландау лечили академики в лучших лечебных учреждениях и потребовались усилия едва ли не всей «великой» страны. Вот в чем разница, как у покупательной способности рубля и евро...»³⁴

Лев Давидович Ландау на шесть лет пережил свою несовместимую с жизнью политравму. Это говорит многое о подвиге московских врачей, медицинского персонала, коллег и друзей. С другой стороны последние годы жизни Л.Д. Ландау прожил тяжёлым инвалидом и терпеливым пациентом-мучеником.

³² Голованов Я. Этюды об ученых. Лев Ландау: «ФИЗИКА – ЭТО ВЫСОКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ», http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/golov/03.php.

³³ Михаил Жванецкий: Давайте в августе, восьмидесятые, http://www.jvanetsky.ru/data/text/t8/davaite_v_avguste/

³⁴ Николай Ларинский: «Синдром Ландау», http://uzrf.ru/pages/Niikolay_Larinskiy_Sindrom_Landau/

А это не самая положительная из всех оценок советской медицины по результатам лечения последствий тяжёлой политравмы и посттравматической болезни.



Наталья Завойская

Современники Sine ira et studio

(продолжение, начало в №6/2012)

Прогнозы



течественные журналисты, освещавшие в прессе и научно-популярных брошюрах работы в области управляемого термоядерного синтеза, были призваны выражать те представления, которые формулировались в небольшом по численности кругу специалистов, а также политиков от науки и просто политиков. В 50-60-е годы минувшего века надежды на быстрое решение проблемы УТС разделяли многие физики, правда, с отклонениями в область пессимизма. В определённой мере оптимизму способствовало достаточно быстрое создание водородной бомбы и её успешное испытание. Вспомним оптимистичное утверждение председателя Первой Женевской конференции Хоми Баба, который заявил, что результат усилий учёных придёт уже через 20 лет. Когда же на следующей конференции (1958 г.) ему снова задали вопросах о сроках получения энергии ядерного синтеза, то он отшутился, что вычел бы из тех двадцати три прошедших года.

Академик Л.А. Арцимович в 1958 г. призывал не поддаваться пессимизму в решении проблемы управляемого термоядерного синтеза¹.

Академик И.В. Курчатов в речи на XXI съезде КПСС (3 февраля 1959 г.), касаясь прогноза в отношении осуществления УТС, заявил: «Я не беру на себя смелость делать предсказания о сроках выполнения управляемой термоядерной реакции...»².

¹ Арцимович Л.А. Исследования по управляемым термоядерным реакциям // Атомная энергия. 1958. Т. 5, № 5. С. 501-521.

² Курчатов И.В. Ядерную энергию – на благо человечества. М., 1978. С. 365.

Академик М.А. Леонтович на вопрос корреспондента журнала «Смена» (1960 г.), «когда же всё-таки будет построена термоядерная электростанция? Когда на Земле зажжётся Солнце, созданное людьми?», ответил: «Несколько лет назад группа физиков, изрядно утомившись после очередного обсуждения, провела шуточную анкету. Каждому дали маленькую бумажку, на которой был написан только один вопрос: когда мы начнём практическое использование термоядерной энергии?» Требовалось поставить год. К сожалению, самый «оптимистический» срок уже прошёл. Но до года, предсказанного самым «осторожным» из нас, ещё много времени. Это шутка, конечно, Можно надеяться, что читатели «Смены» будут свидетелями покорения термоядерной энергии»³.

Принявший эстафету от Курчатова второй директор ИАЭ академик А. П. Александров на Общем собрании Академии наук, посвящённом итогам XXI съезда КПСС, заявил: «Нет сомнений, что наши учёные оправдают то доверие, которое нам оказано, оправдают те средства, которые вкладывает страна в эти работы, что в течение ближайших десяти-двадцати лет мы решим задачу использования неисчерпаемых энергоресурсов синтеза лёгких ядер, и проблема энергетического голода никогда не встанет перед человечеством»⁴.

Профессор Д.А. Франк-Каменецкий, переместившийся от Л.А. Арцимовича и возглавлявший лабораторию в секторе Е.К. Завойского, в шутку сравнивал плазменщиков с... ветеринарами: и те, и другие не могут получить членораздельного ответа от подопечного⁵.

Проблема УТС широко обсуждалась в советской прессе. В качестве примера приведу слова журналиста ТАСС Н. Железнова, который в своей статье «Термоядерный синтез – когда и как?» привёл слова члена-корреспондента Б. Б. Кадомцева, который заявил о «наиболее эффективных реакторных системах типа «токамак», выразив, таким образом, единодушие с мнением академика Арцимовича о бесперспективности «пробкотронов»⁶.

В 1968 г. Е.К. Завойский писал по этому же поводу: «Мне думается, что физики близки к решению первой задачи

³ Леонтович М.А. Люди зажгут на Земле Солнце // Смена. 1960. № 19. С. 22-23.

⁴ Вестник АН СССР. 1961. № 12. С. 52.

⁵ Покровский А., Смирнов Ю. Как зажигается солнце. Репортаж с термоядерных установок // Правда. 1967, 3 ноября.

⁶ Учительская газета. 1966. 3 декабря.

регулируемого термоядерного синтеза: в ближайшее десятилетие учёные смогут получить высокотемпературную плотную плазму. Однако вторая ступень всей проблемы – удержать горячую плазму – потребует ещё много усилий учёных и инженеров всего мира, и срок окончательной победы предвидеть невозможно»⁷.

17 сентября 1970 г. академик В.Л. Гинзбург в своей лекции «Какие проблемы физики и астрофизики представляются сейчас особенно важными и интересными?» сказал: «В том, что энергию ядерного синтеза каким-то образом удастся использовать, сомневаться трудно – достаточно упомянуть о тривиальной возможности применения подземных взрывов. С другой стороны, управляемым синтезом пристально интересуются уже двадцать лет, но контуры будущего термоядерного реактора ещё далеко не ясны»⁸.

В поздравлении с 75-летием сотрудники писали академику И.Е. Тамму:

«Говорят, говорят, скоро будет термояд,
Будет мирный, будет смирный, управляемый.
Нам об этом термояде говорили в детстве дяди.
Говорят, говорят, скоро будет термояд.
А теперь мы сами дяди, сами то же говорим,
И мечтой о термояде все горим, горим, горим, горим...»

В 1971 г. первый заместитель председателя Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР И. Д. Морохов в статье, опубликованной в журнале «Новое время» писал: «Когда же термоядерный синтез из научной станет инженерной проблемой? На этот вопрос IV Женевская конференция не дала однозначного ответа. Её председатель д-р Гленн Сиборг считает, что этим рубежом будет 1975 год. Академик Л. А. Арцимович полагает: к тому времени, когда остро встанет вопрос об энергетическом дефиците, проблема термоядерного синтеза будет решена. Думается, что мнение, высказанное академиком Н. Н. Боголюбовым в его итоговом докладе, наиболее объективно: «Анализ современного состояния проблемы термоядерного синтеза показывает, что, несмотря на появление новых направлений, она ещё не вышла из стадии разработки физических основ получения таких параметров

⁷ Завойский Е.К. За порогом 100 миллионов градусов // Красная звезда. 1968, 1 июня.

⁸ УФН. 1971. Т. 103, вып. 1. С. 90. Подтвердил он своё мнение и в 2002 г. (УФН. 2002. Т. 172, вып. 2. С. 213.

плазмы, которые позволили бы использовать происходящие в ней реакции для технического решения создания термоядерного реактора. Будем надеяться, что оставшаяся часть пути будет пройдена не медленнее предыдущей»⁹.

А вот что писали в 1975 г. академики Е. П. Велихов и Б. Б. Кадомцев в газете «Правда»: «Исследования по УТС вступают в новую фазу... Можно ожидать решения этой проблемы на физическом уровне в течение в течение ближайших 5-6 лет... Тогда на конец века можно будет планировать начало создания термоядерной энергетики, определить её место и роль в общем энергетическом балансе СССР. В преддверии XXV съезда КПСС учёные Института им. И. В. Курчатова будут трудиться с ещё большим творческим подъёмом»¹⁰.

4 июля 1975 г. в Дубне под Москвой открылось совещание, организованное МАГАТЭ и Государственным Комитетом по использованию атомной энергии СССР, которое должно было обсудить четыре проекта демонстрационных термоядерных реакторов¹¹. В совещании приняли участие учёные десяти стран: СССР, США, Великобритания, Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов, Швеции, Японии. В связи с этим «Известия» поместили интервью академика Б.Б. Кадомцева, которое он дал корреспонденту газеты Б. Коновалову. «Сейчас, – заявил Борис Борисович, – исследования по управляемому термоядерному синтезу во всём мире обрели очень быстрые темпы... Все четыре проекта... – это системы типа «токамак». Давать прогнозы всегда рискованно, но я думаю, что если не случится ничего непредвиденного, то примерно к 1980-1982 годам первый испытательный, или демонстрационный термоядерный реактор будет создан. А ещё лет через пять можно уже будет ставить вопрос о создании энергетического термоядерного реактора, а может быть, даже и термоядерной электростанции. Во всяком случае, я уверен, что до конца столетия они появятся»¹².

А вот что сказал много лет спустя ближайший сотрудник И. В. Курчатова Игорь Николаевич Головин в своем докладе, который он представил на Международном коллоквиуме

⁹ Морохов И.Д. Будущее мирного атома. // Новое время. 1971. № 48 (ноябрь).

¹⁰ Велихов Е. П., Кадомцев Б. Б. Задача века. // Правда, 4 апреля 1975 г.

¹¹ Проекты «токамака» // Известия, 1975, 12 июля.

¹² Путь к термоядерным электростанциям. // Известия. 1975, 5 июля.

Голландской Академии наук и искусств: «Международная термоядерная программа должна развивать альтернативы, а не замыкаться только на один токамак»¹³. Должны были пройти два десятилетия, чтобы эта простая мысль могла быть произнесена перед лицом учёных мира.

Интересно проследить также «эволюцию» в предсказании сроков осуществления УТС в западном научном мире. Вначале за границей также надеялись, что решение проблемы УТС не за горами. Так, американский физик Р. Пост, крупный специалист по физике плазмы, в 1956 г. писал: «У многих физиков, активно занятых в исследованиях по управляемому синтезу в этой стране существует твёрдая уверенность, что все научные и технологические проблемы контролируемого синтеза будут преодолены, может быть, в течение последующих нескольких лет»¹⁴.

Тот же Р. Пост и Т. Фаулер шутливо писали в 1966 г., что «усилия в решении проблем УТС имеют много общего с попытками слепого описать слона, исследуя его отдельные органы. У нас происходит непрерывный прогресс понимания того, что представляет собой этот слон, но мы ещё не можем утверждать, что способны нарисовать его портрет, т. е. дать рабочую схему УТС. Всё же контуры постепенно принимают определённую форму. У нас мало сомнений в существовании слона, а также в том, что мечта о получении неограниченного источника энергии из морской воды в один прекрасный день превратится в реальность»¹⁵.

18 апреля 1967 г. в Англии министр технологии Энтони Бенн сделал в своём дневнике запись, припомнив предсказания Л. А. Арцимовича: «Итак, 10 лет назад мы сказали, что потребуются 20 лет, чтобы синтез заработал, и сейчас мы скажем, что потребуются 20 лет, чтобы заставить синтез работать, так что нашу позицию мы не изменили»¹⁶.

В 1988 г. Д.Паломбо, бывший директор термоядерной программы ЕВРОАТОМа, писал: «Когда мы только развернули

¹³ Головин И.Н. Энергетика XXI века и термоядерные реакторы, сжигающие гелий-3. М., 1992. Препринт ИАЭ-5522/8. С. 22.

¹⁴ Herman R. Fusion. The Search for Endless Energy. Cambridge University Press, 1990. P. 5.

¹⁵ Р.Пост, Т.Фаулер. На пути к термоядерному реактору // УФН. 1967. Т. 92, вып. 2. С. 321-338.

¹⁶ Nuttall W. J. Institute of Physics Report. Fusion as an Energy Source: Challenges and Opportunities. Sept. 2008. P. 10

нашу деятельность по УТС, мы надеялись, не игнорируя трудности, ещё до выхода на пенсию увидеть экспериментальный реактор работающим или, по крайней мере, в процессе сооружения. Но, к несчастью, потребовалось больше времени, чем было предусмотрено, чтобы преодолеть научные и технические трудности, и мы оставляем эту симфонию неоконченной. Мы передаём задачу нашим последователям, тем, кто трудился с нами, и кто с умом и хорошими темпами пойдёт вперёд. И так, как дедушки мы можем надеяться, что однажды через икс-лет получим приглашение на церемонию открытия первого в Европе или, может быть, в мире экспериментального термоядерного реактора»¹⁷.

Современные деятели не утратили надежды получить заветную энергию, но они стали осторожнее в оценках сроков. Кто-то идёт вслед за Насрединином, кто-то предпочитают оставлять хотя бы небольшую щёлку для отступления, употребляя примерно такие слова: «Если мы только не столкнемся с непреодолимыми препятствиями». Вот что, например, заявил К. Л. Смит в своей лекции, прочитанной в ФИАНе 17 мая 2009 г.: «Всё выглядит так, что ядерный синтез сможет быть осуществлён, когда ископаемое топливо станет скудным и человечество ощутит в нём потребность. Успех не 100%-й, но мы должны сделать всё, чтобы добиться успеха».

Насколько мне известно, мой отец в своих в газетных статьях не упоминал о сроках осуществления управляемого термоядерного синтеза. Как работающий своими руками экспериментатор, он не считал нужным называть какие-то сроки (очень любил изречение Козьмы Прутковка: «Единойжды солгавши, кто тебе поверит?»), а как человек непубличный не был подталкиваем к этому обстоятельствами. В необходимости и возможности решения проблемы он вряд ли сомневался, раз работал над этим до последних своих дней. Но между наукой и популяризаторством, а также пропагандой он ставил чёткую преграду. Это я испытала на себе: как-то отец читал популярную лекцию об ЭПР в Политехническом музее. Зал был полон, вопросов была масса. Мне очень хотелось понять то, о чём говорил мой отец. Сначала всё было понятно, но через пару минут я была выбита из колеи понимания и отключённо просидела всю лекцию. Когда мы возвращались домой, я спросила отца, почему лекция была названа популярной, а я ничего не поняла. И

¹⁷ Palombo D. The growth of European Fusion Research. // Plasma Physics and Controlled Fusion. 1988. Vol. 30, no. 14. P. 2072.

получила в ответ задиристое: «А ты и не можешь этого понимать». Что поделаться? Гуманитарию не дано...

Незадолго до Третьей Международной конференции в Новосибирске (1968 г.) в газетной статье «За порогом 100 миллионов градусов» Евгений Константинович писал: «Мне думается, что физики близки к решению первой задачи регулируемого термоядерного синтеза: в ближайшее десятилетие учёные смогут получить высокотемпературную плотную плазму. Однако вторая ступень всей проблемы – удержать горячую плазму – потребует ещё много усилий учёных и инженеров всего мира, и **срок окончательной победы предвидеть пока невозможно** (выделено мной. – Н. З.). Вместе с тем история науки знает немало примеров, когда в планы многолетних исследований вносились существенные изменения новыми, внезапно возникшими идеями»¹⁸.

По мере того, как страны, работавшие над УТС, накапливали экспериментальный материал, становилось ясным, что быстрого решения проблема УТС не может иметь по причине её невероятной сложности. К тому же в конце 1960-х академику Л. А. Арцимовичу удалось, применяя современное словцо, «продавить» токамаки, «заразив» ими и зарубежные лаборатории. Одни называют это «токамакоманией», а другие с негативным оттенком – «токамакомафией». Это, вероятно, сузило область изучения проблемы, сконцентрировав и финансовые вливания, и усилия физиков только на работах с машинами типа токамак.

Наверное, было бы неправильно представлять себе, что сам процесс продавливания токамака проходил плавно и мирно. Можно вполне определённо сказать, что в те же годы и в СССР, и за рубежом существовала оппозиция этим машинам. Советская пресса, разумеется, о ней ничего не писала. Теперь трудно восстановить общую картину. Да в России и сейчас по этому вопросу почти не слышно дискуссий¹⁹.

За границей с этим делом проще. Вот высказывание того же американца Ричарда Ф. Поста (декабрь 2008 г.): «Когда я мысленно прослеживаю историю ядерного синтеза, то этот простой ход событий представляется мне предвестником гибели всех других подходов, непохожих на токамак или хотя бы как-то с ним не соприкасающихся... Имеются ли лучшие, не требующие столь долгой разработки подходы к магнитному синтезу, чем

¹⁸ Завойский Е.К. За порогом 100 миллионов градусов // Красная звезда, 1968, 1 июня.

¹⁹ Осадин Б.А. Избранное. О плазме и термояде // borisosadin.ru

токамак? Да, имеются! В качестве примера я привел бы Axisymmetric Tandem Mirror. Мы полагаем, что АТМ сможет быть свободен от турбулентности плазмы, которая преследует токамак и требует громадных его размеров. В поддержку этой возможности концепция стабилизации плазмы была теоретически проанализирована физиком Дмитрием Рютовым»²⁰. Академик Д. Д. Рютов, работающий теперь в США, – это ученик Е. К. Завойского!²¹ Помнит ли он об этом?

В канун XXI столетия сотрудник Технологического института штата Джорджии В. М. Стэси писал: «За почти полвека было исследовано множество идей магнитного удержания. С шестидесятых годов, когда русские сообщили о своём успехе в замкнутых схемах с тороидальным удержанием, известных как токамак, последний стал лидером, и брешь между токамаком и другими идеями постоянно расширялась. Что было тому причиной: то ли токамак был существенно лучше других, то ли очень большая доля мирового бюджета на экспериментальные работы по синтезу была отдана токамаку, – сегодня этот вопрос остаётся открытым. Большинство других идей осталось на обочине, ибо исследования, представленные их защитниками, не смогли быть реализованы в лаборатории: тогда они просто не были ни столь успешными, ни столь обещающими, как токамак».

Конференция МАГАТЭ в Зальцбурге

Через три года после Второй Женевской конференции в австрийском городе Зальцбурге состоялась Международная конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу (4-7 сентября 1961 г.)²². Это была первая конференция такого рода, организованная незадолго до этого учреждённым Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). На неё съехались более пятисот специалистов из 29 стран и от 6 международных организаций. Обсуждались следующие темы: удержание плазмы, стабильность, колебания и турбулентность; сжатие плазмы, её нагрев, ударные волны в плазме; взаимодействие частиц и электромагнитных волн с плазмой и т. д.

²⁰ Post R. F. Thoughts on Fusion Energy Development. P. 3.

²¹ Весной 1965 г. Д. Д. Рютов был послан Е. К. Завойским в подшефную школу № 154 прочитать лекцию о достижениях в физике и был принят с восторгом учениками выпускных классов.

²² Sweetman D.R. Conference on Plasma Physics and Thermonuclear Fusion, Salzburg, September 1961 // British. Journal of Applied Physics. 1961. Vol. 13, no. 3. P. 102.

Большинство участников конференции составляли физики из Харуэлла (в том числе П. Тонеманн, Р. С. Пиз, Н. Пикок, с которыми в дальнейшем тесно взаимодействовал Л. А. Арцимович), часть была из Империял-колледжа и Atomic Research Establishment. От США прибыли учёные из огромного числа лабораторий университетов, институтов, а также корпораций (например, из Принстонского университета, из Радиационной лаборатории Лоуренса, Аэрокосмической корпорации и др.); Франция прислала сотрудников Сакле, Политехнической высшей школы, Национальной комиссии по ядерной энергии); Япония – из Токийского университета.

Как известно, в Зальцбурге произошёл неприятный инцидент: экспансивный Лев Андреевич обрушился на американского физика Фрэда Кёнсгена, отпустив в его адрес и в адрес Р. Поста поток неакадемических выражений, несмотря на то, что Кёнсген в устном сообщении признал свой неверный вывод. Как сказал академик Е. П. Велихов в докладе, посвящённом 100-летию своего учителя, Л. А. Арцимович «раскатал» американцев, раскритиковав в пух и прах их научные результаты. Это было воспринято в штывы как соотечественниками²³, так и иностранцами. Теперь же в воспоминаниях можно увидеть и одобрение этому выпадку. Кстати, и словцо «раскатал» из той же серии. Но реакция части присутствовавших (возмущение) мне более понятна²⁴.

Публичное шоу с Кёнсгеном и Постом оставило след в западной литературе. «Лев Андреевич Арцимович, – писала Журналистка Робин Герман, – был одним из больших людей в ядерном синтезе и, по общему признанию, одним из великих спорщиков»²⁵. Она привела о нём слова М. Готтлиба: «Это человек, который едва ли выносил оппозицию». Арцимович обрушил град саркастических ударов и на программу Ливерморской национальной лаборатории по пробкотронам, назвав её чуть ли не халтурой. М. Розенталь писал: «Когда мы лучше узнали русских, мы поняли, что жёстко атаковать на публике – это их стиль. То, что для нас было шокирующе грубым, для них было нормальным... Спустя годы, Кёнсген вспоминал

²³ Головин И. Н. В Курчатовском институте // Академик М. А. Леонтович. Ученый. Учитель. Гражданин. М., 2003. С. 252-253.

²⁴ Об этом инциденте знаю только из книг. Отец мой по этому поводу не произнёс ни слова.

²⁵ Herman R. Fusion: the Search for Endless Energy. MIT Press. 1990. P. 66, 67, 68, 69.

этот инцидент с затаённой горечью». По мнению Кёнсгена: «Это была маленькая граната, которую он хотел бросить, чтобы заставить нас выглядеть в плохом свете, выставить нас идиотами. Я действительно не ожидал, что международная политика может войти во всё это». Об том же инциденте писал и Г. Фюрт: «Острая дискуссия развернулась между академиком Арцимовичем... и американскими специалистами по зеркальным ловушкам. С целью примирения противников было создано специальное вечернее заседание. Однако последовал новый взрыв, доставивший явное удовольствие Арцимовичу, который подливал масла в огонь своими незабываемыми лаконичными репликами»²⁶. МАГАТЭ, должно быть, хранит стенограмму тех бурных заседаний, так что желающие могут её отыскать.

К юбилейной дате Л.А. Арцимовича в институтской многотиражке появилось четверостишие будущего академика В.Д. Шафранова:

«Взгляд львиный с остротой рентгена
Узрел ошибки Коунсгена,
А легкомысленного Поста
Лев попросту смешал с... компотом»
(должно быть: компостом)²⁷.

Подводя итоги конференции, сотрудник Олдермастонского научно-исследовательского центра атомного оружия Д.Р. Свитмэн сказал: «Хотя мы очень далеки от конечной цели, но всё же, по крайней мере, теперь мы яснее понимаем, в чём состоят трудности, и до сих пор не обозначился фундаментальный барьер».

Задержимся ещё немного на зальцбургском эпизоде и приведём слова тех, кто был хорошо знаком с Львом Андреевичем Арцимовичем. Современники писали о «динамическом диапазоне его личности», о многогранном и талантливом в любых проявлениях человеке, чуждом «анизотропии поведения». Его американский друг Б.Т. Фельд писал, что «внешне он любил играть роль циника. Для него это была вполне естественная роль. Он был нетерпимым человеком и не выносил глупцов (fools) ни в физике, ни в политике... Он становился очень нетерпимым, когда дискуссия шла к тому, что ему казалось бесцельным. На наших встречах часто случалось... видеть Льва Арцимовича, поднявшегося со своего места и начавшего ходить взад и вперёд в

²⁶ Воспоминания об академике Л.А. Арцимовиче. М., 1981. С. 58.

²⁷ Советский физик. 1969, 24 февраля.

конце комнаты. Можно было видеть, как росло его нетерпение...»²⁸ Академик С. П. Капица вспоминал: «Будучи весьма эмоциональным человеком, Лев Андреевич, тем не менее, часто маскировал свою страсть иронией и нарочитой отстранённостью»²⁹.

ВЫСОКИЙ АВТОРИТЕТ – ЭТО НЕ ВСЁ

В 1962 г. планировалась командировка Е.К. Завойского в Англию «с целью посещения английских производственных центров и атомных станции»³⁰. В характеристике в духе того времени отмечена его политическая грамотность и моральная устойчивость, а также «высокий авторитет среди научных работников и руководимого им коллектива». Однако эти «заклинания» не помогли, и поездка не состоялась.

ТРУСКАВЕЦ

Летом 1962 г. у папы случился тяжёлый приступ почечной колики. Произошло это на даче у профессора-гельминтолога А.А. Скворцова. Приехавшая из санатория «Сосны» скорая помощь сделала обезболивающий укол и уехала. Сказали, что надо взять в городскую больницу. Боли, конечно, возобновились. Ни о каких мобильных мы тогда и слыхом не слыхивали. Было решено посадить за руль ЗИМа меня. Я уже не раз сидела за рулём, но водительских прав не имела. С грехом пополам довезла родителей до больницы и даже как-то ухитрилась сходу заехать в узкий гараж. Так началась моя многолетняя автомобильная деятельность.

Врачи посоветовали папе подлечиться в Трускавце, и в десятых числах июля он отправился туда поездом, один, без мамы (второй путёвки не достали)³¹. Отдыхать в обыденном смысле слова отец мой не умел. Он и с мамой никогда не выдерживал в санатории всего срока, его одолевала скука. Вот что он написал ей в день приезда: «...Городок Трускавец очень напоминает Кисловодск (нарядной публикой) своей гористостью, парком, но

²⁸ Proceedings of the Twenty Third Pugwash Conference on Science and World Affairs. 1973. P. 85.

²⁹ Воспоминания об академике Л. А. Арцимовиче. М., 1981. С. 116.

³⁰ Архив РНЦ «Курчатовский институт». Ф. 1. Оп. 3 л/д. Д. 9362. Л. 16.

³¹ Благодаря тому, что папа в Трускавец поехал один, на свет появились его письма, которые я здесь привожу. Писать письма он вообще не любил. На эту нелюбовь наложился закон военного времени и саровских лет – тогда письма вскрывались.

архитектура проще и много деревянных зданий. Окрестности довольно красивы, но, конечно, нет высоких гор. Но пока я в Трускавце провёл только три часа... Но скука предстоит серая. Воды ещё не пробовал, может быть, она поправит настроение? Котров не видно, купаться – в бане!»³².

На следующий день отец снова писал маме: «Здравствуй, Вера! Сегодня кончаются вторые сутки моего безделья... Про здешнюю воду («Нафтуся») идёт слава по всем городам и весам. Она открыта только 2-3 года назад, но пить её, по-видимому, можно с таким же успехом в Москве! Пишу это письмо (впрочем, это происходит весь день и вечер) под звон костяшек домино – это заблуждение людской тупости и лени шевельнуть мозгами.

Сегодня послал бандеролью Косте справочник по полупроводниковым приборам и заодно вложил туда прочитанную книжечку по счётным машинам...» Через два дня зарядил дождь: «Ну, и погода! Сутками непрерывно идёт ровный дождь. Чёрт бы его побрал! Хожу, как и другие, мокрым, а ходить приходится много: в столовую 3-4 раза, пить воду 3 раза. Всё это под дождём и без суши.

Сегодня ездили на автобусе на малый перевал, Это приблизительно в 70-ти км от границы с Чехословакией и Польшей. Природа очень богатая, население живёт в отдельных хуторах, разбросанных друг от друга иногда на 200-1000 метров. Постройки довольно добротные и с удобными участками, много зелени. Проезжали реку Стрый, который мы неоднократно пересекали, когда ездили в Закарпатье в позапрошлом году.

Видели добычу нефти из небольших скважин, дающих нефть только для местных нужд. Нефтяные скважины автоматизированы полностью, а иногда до пяти станций качает один электромотор, передающий движение на сотни метров через тросы. Это очень своеобразные устройства и очень экономичные. От насосов проведены трубопроводы, и нефть сливается в одно место. Сигнализация от скважины поступает к диспетчеру, и он посылает ремонтную бригаду, если где-нибудь будет неисправность. Нужно сказать, что я первый раз видел такие устройства (конечно, это полукустарный промысел). Вот и все новости. От тебя не получил ни одного письма. Пиши. Женя».

Написал папа письмо и мне в Планерское, где мы были тогда с братом: «Здравствуй, Наташа! Сегодня получил твою открытку. Спасибо. Получила ли ты мою телеграмму? Очень

³² Это письмо и все остальные – из личного архива Е.К. Завойского.

прошу тебя и Костю писать маме регулярно, так как она нервничает, беспокоясь за вас...

Встретил Явлинских³³ и ещё несколько знакомых из Москвы и Казани. Ездил два раза на экскурсию на перевал и в Дрогобыч. 25 июля поеду во Львов. Места здесь очень красивые, природа богатейшая. В Дрогобыче есть костёл XIV века. На нём заметил непонятные барельефы (см. на обороте). Спрашивал всех встречных и поперечных, никто не знает. Этот костёл полуразрушен...

У меня здесь оказался отдыхающий наш сотрудник, очень интересный собеседник. Он был два с половиной года в Америке при ООН. Много обсуждали вопросов по кибернетике и... новому искусству (он рисует). Надеюсь на него, так как погода начинает хмуриться, а это здесь надолго. Ну, целую тебя и Костю. Иду ужинать. Папа».

24 июля папа писал маме: «Здравствуй, Вера! У нас стоит отличная погода. Завтра едем в экскурсию в город Львов. Пробудем там почти весь день. Жизнь течёт медленно, но через несколько дней буду заказывать билет...

У меня просьба: позвони Михаилу Васильевичу Бабыкину, пожалуйста, и спроси, переслали ли наши две заметки «Письма в редакцию ЖЭТФ». Когда я буду звонить тебе, то ты скажешь мне об этом.

Сегодня опять виделся с Явлинскими во время «хода вод». Этот «ход вод» здесь такой же, как и в Кисловодске. Не занимайся дома так много. Передай привет всем нашим! Целую. Женья».

28 июля папа отправил маме новое письмо: «Здравствуй, Вера! От тебя я начал получать письма почти каждый день, но я стал писать их через 1-2 дня: уж очень однообразно существование! Правда, 25 июля ездили во Львов на экскурсию. Смотрели Стрийский парк, кладбище, холм Славы, театр, и мы с Д. Л. Симоненко ходили в картинную галерею. Здесь совершенно неожиданно обнаружили картины Рубенса, Гойи, Микельанджело, Карреры (пастели), Фёдорова и др. Мы были в восторге! Это оправдало пыль и жару дороги (2,5 часа туда и 2,5 часа обратно). Вера! Мне пришлось твою посылочку отправить назад, так как её не выдают без паспорта, а он в санатории, и его получить трудно. Спешу на ужин. До свидания. Женья».

Упомянутые в письмах моего отца Явлинские – это семья сотрудника Л.А. Арцимовича. Они втроём, родители с маленьким сыном Яником, отдыхали «дикарями», т. е. без путёвок, в

³³ Семья Н. А. и Ц.Л. Явлинских жила в соседнем с нами доме.

Трускавце, откуда решили перебраться на Кавказ. При полёте к аэродрому их самолёт врезался в гору, и все, кто был на борту, погибли. Старший сын Юлий³⁴, оставшийся в Москве, хоронил сразу троих.

Весть об этом трагическом событии быстро долетела и до мамы, и до меня. По телефону мама уговаривала папу сдать билет на самолёт и ехать поездом, а я из Планерского телеграммой умоляла папу сделать то же. Мама писала мне, что только благодаря тому, что в санатории папа встретил исключительно интересного человека, Д. Л. Симоненко, он не уехал из Трускавца раньше срока. А самолёты он уважал больше поездов и уж, конечно, пароходов. Но папа нас не послушал и прилетел домой самолётом.

«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

В ноябре 1962 г. в журнале «Новый мир» была опубликована повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»³⁵. Помню, что отец, прочитав её, очень разволновался. Он, таивший в себе столько лет горечь утраты родных, сразу же назвал появление повести знаменательным событием в жизни страны. Тогда мы мало что знали о том, каких усилий стоило главному редактору «Нового мира» А.Т. Твардовскому «пробить» публикацию повести: ведь тема советских лагерей была совершенно запретной. Что публикация могла выйти только с «высочайшего разрешения», в этом отец мой не сомневался. Подробности, которые были позднее описаны Солженицыным в его «Телёнке»³⁶, в общих чертах рассказала ему Н.М. Долотова, жена нашего соседа Б.Т. Гейликмана, работавшая редактором в «Новом мире». Моей реакцией на прочтение повести отец был разочарован: он увидел, что до моего сознания полностью не доходит значение этого произведения. Да и как всё это могло захватить меня, выросшую в полном неведении, можно сказать, под колпаком пропаганды и при молчании родителей?

ДВЕ ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ

Газета «Московская правда» опубликовала статью Б. Б. Кадомцева, в которой говорилось о «сенсации номер 1 в физике»³⁷. Речь шла о работе сотрудников Института им.

³⁴ Сейчас Юлий Натанович живет в Израиле.

³⁵ Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича // Новый мир. 1962, № 11.

³⁶ Имеется в виду книга Солженицына А.И. «Бодался телёнок с дубом».

³⁷ Московская правда». 1963, 25 мая.

Курчатова М.С. Иоффе, Ю.Т. Байбородова, Р.И. Соболева и В. М. Петрова, получивших на плазменной установке ПР-5 «устойчивую плазму, температура которой приблизилась к 40.000.000 градусов». Буквально на следующий день в «Советской Киргизии» появилась статья Л.А. Арцимовича «Путь к управлению термоядерным солнцем», где речь идёт о той же установке ПР-5 и полученных на ней результатах³⁸.

СВОИМИ РУКАМИ

Недавно вице-президент РАН академик Г. А. Месяц припомнил байку, будто бы когда президента М. В. Келдыша спросили, сколько в СССР академиков, он ответил: «Один. Завойский. Никто так не умеет поставить эксперимент и лично его вести»³⁹. Не берусь судить, сколько времени проводили члены Академии наук в лабораториях, обязаны ли они были вообще это делать, имели ли они к этому тягу и прочее. Здесь лучше привести слова сотрудников Евгения Константиновича. Так, П.П. Гаврин писал: «Некоторые шутники-острословы говорили, что Завойский является единственным работающим академиком в институте»⁴⁰. В.Д. Рютов вспоминал: «В отличие от многих руководителей института Е.К. Завойский был экспериментатором. Он всегда с удовольствием и радостью принимал участие в опытах, проводимых его учениками»⁴¹. Причём нас, студентов, очень удивляло, что при необходимости Евгений Константинович мог надеть халат, встать к токарному станку и выточить нужную деталь»⁴². Брат В.Д. Рютова, Дмитрий Дмитриевич, которого я уже упоминала, писал: «По моим наблюдениям, он принадлежал к категории экспериментаторов, которые любят всё делать своими руками, и это стимулирует их творчество. Евгения Константиновича было непросто застать в его кабинете. Зато почти всегда мы могли его найти в экспериментальном зале, одетым в рабочий халат и погружённым в настройку того или иного датчика. Евгений Константинович справедливо опасался, что если бы возникла необходимость резкого увеличения масштабов экспериментов, то его авторитет и лидирующая

³⁸ Советская Киргизия. 1963, 26 мая.

³⁹ Майский А. Властелин импульсных энергий // Наукоград. 2007, 27 мая.

⁴⁰ Чародей эксперимента... С. 83.

⁴¹ К сожалению, нет ни одной фотографии моего отца с учениками: фотографировать на территории было категорически запрещено.

⁴² Чародей эксперимента... С. 109.

интеллектуальная роль с неотвратимостью привели бы его к позиции «менеджера», представляющего коллектив во внешнем мире и вынужденного тратить львиную долю своего времени на решение организационных вопросов»⁴³.

А вот воспоминание Р.А.Антоновой, прибывшей вместе с Г.И.Ростомашвили из Грузии: «Нас радушно встретили в секторе и объяснили, в какой комнате можно видеть Евгения Константиновича. Мы очень робели перед встречей с «отцом парамагнитного резонанса». Тихонько постучали в указанную дверь. Нас пригласили войти. Переступив порог, мы очутились не в кабинете академика, как ожидали, а в лаборатории. За одной из установок сидел единственный в комнате человек – «пожилой» экспериментатор в чёрном халате с паяльником в руке. Он что-то перепайвал в схеме. Наше волнение мгновенно улеглось, и мы спокойно спросили, где можно видеть академика Завойского. Ответ поразил нас невозможностью: «Я вас слушаю». От неожиданности мы потеряли дар речи»⁴⁴.

ВНОВЬ О НОБЕЛЕВСКОЙ

В 1964 году Е.К. Завойский вновь выдвигался у нас на Нобелевскую премию. Сохранилась номинация директора ИАЭ А.П. Александров. Она приведена в моей книге «История одного открытия»⁴⁵.

После того как в 1965 г. нобелевская премия по литературе была присуждена Шолохову за «его» роман «Тихий Дон», мама высказала мысль, что находиться в одном ряду с таким человеком просто стыдно.

БЫЛО И ТАКОЕ

В 1964 г. общественная следственная комиссия парткома ИАЭ во главе с В.И. Мостовым (будущим членом-корреспондентом АН СССР) выдвинула клеветнические обвинения против сотрудника Л. А. Арцимовича И. М. Подгорного. К тому времени он уже был старшим научным сотрудником, активно работавшим над проблемой УТС, лауреатом Ленинской премии (1958 г.). Как писал сам Подгорный, «прегрешения» его состояли в том, что он «в 17-летнем возрасте при отступлении немецкой армии был взят в плен и увезён с

⁴³ Чародей эксперимента... С. 111.

⁴⁴ Чародей эксперимента... С. 104-105.

⁴⁵ Завойская Н.Е. История одного открытия... С. 164.

тысячами других в Румынию, оттуда позднее бежал в Красную Армию и воевал до конца войны»⁴⁶.

После поступления доноса Подгорный был лишён практически всех прав. Все его квалификационные дипломы были признаны недействительными. Был он лишён и звания лауреата Ленинской премии, которое получил вместе с академиком Арцимовичем и его коллективом.

Хорошо помню, что мой отец был возмущён «делом», раздутым вокруг И. М. Подгорного. Он даже отошёл от правила ничего не говорить нам о том, что происходит у него на работе. Помню, он рассказал, что тот мальчиком был принудительно увезён на работы в чужую страну, бежал, а потом воевал до конца войны в рядах Красной Армии и что вот, через 20 лет, по чьему-то доносу его обвиняют в военном преступлении.

Для Евгения Константиновича встать на защиту И. М. Подгорного было совершенно естественным поступком. Он знал, что защитить его перед «органами» (а «делом» ведали именно они), а также от клеветы он сможет только научной работой и поэтому сразу же предложил ему написать обзор об экспериментах с магнитными ловушками для журнала «Успехи физических наук»⁴⁷, чем Игорь Максимович и занялся. У Арцимовича он уже больше не работал, а был отправлен «под крыло» Евгения Константиновича. Известно, что начальник сектора № 74 Е. К. Завойский писал рекомендательное письмо, в котором отразил научные достижения своего нового подопечного.

Сотрудники сектора Завойского также приняли Подгорного благожелательно в свои ряды. За несколько месяцев, несмотря на хождение по судебным инстанциям, стоившее ему нервов, он написал рукопись «Лекции по диагностике плазмы». Затем, благодаря дипломатии Евгения Константиновича он был переведён в Институт Космических исследований, где трудится и сей день.

АМЕРИКАНЦЫ В СССР

В начале 1964 г. в СССР по культурной программе побывала группа американских физиков⁴⁸. Они осмотрели лаборатории Москвы, Ленинграда и Сухуми, работавшие по УТС. С 1960 г. это был первый визит такого рода. На совместном заседании комитетов по атомной энергии Сената и Палаты представителей США были сделаны доклады, в которых

⁴⁶ Чародей эксперимента ... С. 176.

⁴⁷ Подгорный И. М. УФН. 1965. Т. 85, вып. 1. С. 65-86.

⁴⁸ Finney J. W. Soviet Science Gains // New York Times, 06. 03. 1964.

высказывались опасения, что советская наука, на долю которой приходились 35% всех работ по УТС в мире (25% – на США, а 40% на все остальные страны, в основном на Европу), может занять лидирующее место. Докладчики подчёркивали расширение программы работ в СССР и приток молодых, талантливых теоретиков. Это были, как известно, годы холодной войны, и вопрос первенства во всём, включая балет (визборовские слова «а также в области балета мы впереди планеты всей»), был главным для сверхдержав. Отсюда и беспокойство американских физиков, не забывавших также, что в этой ситуации можно получить дополнительное финансирование.

Р.З. САГДЕЕВ СТАНОВИТСЯ ЧЛЕНОМ- КОРРЕСПОНДЕНТОМ

Летом 1964 г. Е.К. Завойский выступил на Общем собрании Отделения общей и прикладной физики АН СССР в поддержку бывшего своего сотрудника Роальда З. Сагдеева, выдвинув его в члены-корреспонденты: «Р.З. Сагдеев является, как сказал председатель (Л.А.Арцимович. – *Н. З.*), одним из самых блестящих теоретиков в области физики плазмы. Ему принадлежит разработка совершенно нового направления по бесстолкновительной плазме. До недавнего времени казалось, что она не может пропускать через себя ударную волну. Сагдеев эту проблему решил и показал, что здесь может образоваться такая волна и имеет место диссипация энергии.

Эти его расчёты были экспериментально проверены и здесь на семинаре эти результаты докладывались. Кроме того, сейчас такие эксперименты в большом количестве проделаны в лабораторных условиях. Эксперименты показали, что действительно наблюдается мощная диссипация за счёт нестабильного пучка, который возникает на фронте ударной волны. Нужно сказать, что эти работы положили начало громадному направлению физики плазмы, которое развивается сейчас как у нас, так и за границей.

Роальдом Зиннуровичем сделано ещё много других работ, связанных с высокочастотным нагревом плазмы. Все эти работы отличаются необычайной свежестью идей, оригинальностью идеи и практически всегда оправдываются в эксперименте.

Я могу горячо рекомендовать и поддержать эту кандидатуру в члены-корреспонденты по Сибирскому

отделению»⁴⁹. Р.З. Сагдеев был избран в члены-корреспонденты по Сибирскому отделению АН СССР по специальности физика 46 голосами против двух.

Е.К. ЗАВОЙСКИЙ ИЗБРАН В АКАДЕМИКИ

В те же выборы в действительные члены АН СССР был выбран Евгений Константинович. Согласно стенограмме заседания Общего собрания ООПФ (23 июня), о его кандидатуре высказались: от партгруппы отделения член Президиума академик В.А. Котельников, академик-секретарь ООПФ Л.А. Арцимович, академики И.В. Обреимов, И.Е. Тамм и И.К. Кикоин. Лев Андреевич сказал: «Что касается Е.К. Завойского, открывшего парамагнитный электронный резонанс, значение которого возрастает с каждым днём и вышло за рамки чистой физики, поскольку в химии и биологии этот метод играет решающую роль в решении целого ряда проблем, то мне кажется, что вряд ли необходимо очень подробно характеризовать эту работу.

Я хочу сказать, что Е.К. Завойский продолжает оставаться активным физиком-экспериментатором вплоть до самого последнего времени. За последнее время им выполнены прекрасные исследования по физике высокотемпературной плазмы и было открыто явление (пропуск в стенограмме: турбулентного. – Н. З.) нагрева плазмы, когда образуется поток электронов, которые превращают свою энергию непосредственно в тепловую энергию плазмы. Так что Е. К. Завойский не ограничился своей работой по ЭПР, а продолжает разрабатывать вопросы экспериментальной физики. Он занимается применением электронно-оптических систем для исследования ядерных процессов»⁵⁰.

Академик И.В. Обреимов заметил: «На семинаре Завойский выступил с совершенно замечательным докладом по вопросам плазмы, который ничего, кроме восторга, не мог вызвать». «За» было подано 20 голосов, 2 «против».

ВЫХОД ПОПУЛЯРНОЙ БРОШЮРЫ

В 1965 г. в серии «Физика. Математика. Астрономия. Беседы по актуальным проблемам науки» вышла популярная брошюра, посвящённая проблемам термоядерных исследований,

⁴⁹ Архив РАН. Ф. 1948. Оп. 1. Д. 9. Л. 28. Академик М.А. Леонтович тут же задал вопрос: «А не по Сибирскому отделению?», на что Е.К. Завойский ответил: «И не по Сибирскому отделению».

⁵⁰ Архив РАН. Ф. 1948. Оп. 1. Д. 8. Л. 50.

со статьёй Е.К. Завойского «Прогресс в изучении плазмы», где он выступил как защитник модели плазмы, основанной на теории Анатолия Александровича Власова.

БОРЬБА ЗА ИДЕЮ

Е.К.Завойский был участником Международной конференции по проблемам управляемого синтеза легких ядер, организованной (МАГАТЭ), состоявшейся 6-10 сентября 1965 г. в Калэме (Англия).

Конференция проходила в новом, недавно созданном центре исследований в области физики плазмы и ядерного синтеза, в Калэмской лаборатории, расположенной неподалёку от Оксфорда. Лаборатория имела к тому времени 110 научных работников и 150 инженеров, не считая сотрудников вспомогательных отделов⁵¹. По сравнению с Институтом атомной энергии это была совсем небольшая лаборатория. Возглавлял её в ту пору доктор Дж.Б.Адамс. Заседания проводились в двухэтажном здании комплекса.

В конференции принимали участие около 300 человек от 25 стран и трёх международных организаций: МАГАТЭ, ЦЕРН и ЕВРАТОМ. Её участниками были физики Центра ядерных исследований (Франция), Радиационной лаборатории Лоуренса из Ок Риджа, из Нью-Йоркского и Принстонского университетов, Лаборатории Лос Аламоса, Морской исследовательской лаборатории, Исследовательской лаборатории «Дженерал Электрик», из ядерного центра Юлих (Германия) и другие. С советской стороны приняли участие физики Института атомной энергии, а также Харьковского, Новосибирского и Ленинградского, Сухумского физико-технических институтов, а также физических институтов Москвы, Новосибирска и Тбилиси. Вот имена некоторых участников конференции: А.С. Бишоп, М. Б. Готтлиб, Дж. Драммонд, Д. Керст, А. Колб, Б. Коппи, Н. Кристофилос, Р. Пост, М. Розенблют, Л. Спицер, Г. Фюрт (США), Дж. Б. Адамс, Р. Дж. Байкертон, П. С. Тонеманн (Англия), Х. Альфвен и Б. Ленерт (Швеция), А. Шлютер (ФРГ), Л. А. Арцимович, М. В. Бабыкин, В. Е. Голант, И. Н. Головин, Р. А. Демирханов, Д. П. Иванов, Б. Б. Кадомцев, А. И. Карчевский, В. С. Муховатов, М. К. Романовский, В. П. Силин, В. С. Стрелков, Н. Л. Цинцадзе, В. Д. Шафранов (СССР) и совсем не по науке в Англию прибыл от Института им. Курчатова полковник С. А. Тополин.

⁵¹ Шпигель И.С., Кузнецов Э.И. Работы в области УТС и горячей плазмы // Вестник АН СССР. 1966, № 5. С. 97.

Среди названных советских физиков значительную часть составляли сотрудники отдела Л. А. Арцимовича.

В Калэме в то время велись работы по программе, включавшей вопросы получения, нагрева и удержания плазмы, исследования по физике плазмы, а также астрофизические исследования⁵².

Характерной особенностью Калэма было то, что руководство ставило своей целью не создавать крупных термоядерных установок, отдавая предпочтение средним и малым установкам, на которых можно было получить ответ на различные вопросы значительно быстрее и без больших затрат средств. Это было созвучно принципу работы Е. К. Завойского, который, прежде чем затевать финансовые хлопоты, предпочитал работать с оригинальными дешёвыми конструкциями, чтобы проверить целесообразность сооружения крупных.

На конференцию в Калэм от сектора Е.К.Завойского прибыли сам Евгений Константинович и его молодой сотрудник М.В. Бабыкин. Последний смог поехать только как «научный турист» на деньги, заплаченные за него шефом. Доклад назывался «Турбулентный нагрев плазмы током прямого разряда»⁵³. Соавторами были П.П. Гаврин, Л.И.Рудаков и В.А.Скорюпин. В докладе излагались результаты экспериментов по турбулентному нагреву плазмы током прямого разряда в ловушке с магнитными пробками, а также исследования по адиабатическому сжатию нагретой плазмы и некоторые свойства турбулентной плазмы.

Так как на конференции от ИАЭ прозвучали два сходных доклада, но с разными результатами (Завойского и Карчевского), то, естественно, это вызвало вопросы. Так, физик из США Т. Окава спросил: «Здесь был также прочитан доклад о подобном эксперименте, проведённом в том же институте. Хотя параметры сходны, результаты экспериментов отличаются. Не могли бы вы это пояснить?», на что Завойский ответил: «На наших двух установках мы получили довольно обширный разброс результатов. Механизм нагрева очень сложен и должен удовлетворять ряду условий. Допустим, например, что механизм нагрева имеет порог. Ниже порога нагрева нет, и, так как напряжение увеличивается (мы дошли до 100 кВт), нагрев

⁵² Федоренко Н. В. Лондонская конференция по физике электронных и атомных столкновений // Вестник АН СССР. 1964, № 1. С. 51.

⁵³ Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research: Proc. Conf. Culham, 1965. IAEA, 1966. Vol. 2. P. 851.

увеличивается. И неудивительно, что относительно низкие температуры частицы получаются на одной установке и более высокие на другой». Весь сыр-бор «разгромного» семинара уложился в простую фразу. Никакой враждебности и никаких сомнений в отношении корректности работ Е.К. Завойского и его коллектива со стороны иностранных делегатов не было, вспоминал М.В. Бабыкин.

В своем докладе «Инжекция плазменных сгустков в пробочную ловушку с адиабатически сжатием. Установка «АСПА» А.И. Карчевский говорил о «весьма близких условиях» экспериментов своих и Завойского. Он заключил: «Можно полагать, что основные значения, описанные в работах (здесь шли ссылки на две работы коллектива Е.К.Завойского) могут быть вызваны появлением и захватом в ловушке небольшой группы ускоренных электронов, а не нагревом всей плазмы. Нам представляется, что наблюдаемые там эффекты не могут служить однозначным доказательством существования нового механизма нагрева плазмы»⁵⁴.

По программе доклад Е. К. Завойского состоялся в самый последний день конференции, что заставило его все дни пребывать в напряжении, шлифуя свой доклад после заседаний и приёмов. Посмотреть Лондон ему не очень-то удалось. Он сделал несколько фотоснимков в Гайд-парке, где его поразила сама атмосфера: любой мог подняться на невысокое возвышение и сказать что-то своё, и при этом никакие последствия ему не угрожали, если даже слова были направлены против правительства... Должны были пройти более полвека, чтобы у нас, уже не СССР, а в России заговорили о гайд-парках, очевидно, «по-русски».

Советским учёным, выезжавшим за рубеж, платили такие незначительные суммы, что обязательные чаевые приводили моего отца в смущение, а желание приобрести книгу о Микеланджело, стоимость которой превышала карманные деньги, так и осталось невыполненным.

Оба делегата, М.В.Бабыкин и Е.К.Завойский, были размещены в студенческом общежитии (Крист-Чёрч-Колледж), старинном двухэтажном здании, оббитым плюшем. В каждой комнате, по давней традиции, имелась бухта каната, что, конечно, сразу же вызвало вопросы прибывших. Оказалось, что канат предназначался для загулявших за полночь студентов, чтобы они

⁵⁴ Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research Conference Priceedings. Culham. Sept. 1965. IAEA. Vienna, 1966. Vol. 2. P. 191-208.

понапрасну не стучались во входную дверь, а просили бы разумных собратьев сбросить им канат, чтобы они могли по нему подняться к себе.

ПРЕДЫСТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Поездка на Калэмскую конференцию имела в ИАЭ свою предысторию, которую условно можно разделить на четыре этапа: знакомство с работой сектора Завойского в отделах академиков И.К. Кикоина и Л.А. Арцимовича и последовавшее за этим повторение экспериментов А.И. Карчевским; бурный семинар «Т» («Термояд»); образование комиссии по проверке экспериментов сектора Завойского и обсуждение в верхах ИАЭ, кого же следует послать в Калэм, а кого не следует.

В отделе у И.К. Кикоина работал молодой специалист А.И. Карчевский, который имел к тому времени репутацию «расшибателя открытий». Вот он-то и обрушился с резкой критикой на работы Завойского и его сектора. Он-де эти эксперименты повторил, и него, Карчевского, ничего не вышло. Он пришёл к выводу, турбулентного нагрева как такового не существует. Карчевский обратился к Кикоину, а тот к Арцимовичу. Последний – к директору ИАЭ, академику А.П. Александрову. И последовало решение созвать семинар «Т».

Этот общесоюзный семинар был организован ещё самим И.В. Курчатовым и пользовался заслуженной славой. На семинар собирались не только сотрудники ИАЭ и других московских институтов, но приезжали физики-плазменщики из Сухуми, Харькова, Новосибирска, Ленинграда.

Так было и 10 июня 1965 г. Вот на этом-то семинаре и произошло прилюдное, так сказать, «очное» (говорят, что зал был полон, даже на ступеньках сидели) столкновение руководителей двух неравных «кланов»: Л.А. Арцимовича, И.К. Кикоина и М.А. Леонтовича, с одной стороны, и Е.К. Завойского, с другой. Судя по рассказам свидетелей, оно зрело до этого события где-то глубоко в институтских недрах и выплеснулось при полном зале.

Если вспомнить описанный И.Н. Головиным демарш Арцимовича на Международной конференции в Зальцбурге, когда физики-американцы демонстративно протестовали против высказываний Льва Андреевича, то можно себе представить накал страстей на июньском семинаре в Москве. Ни один из выше названных академиков лично не захотел выступить на семинаре против экспериментов Завойского: на «арену битвы» были выпущены молодые сотрудники: А.И. Карчевский (от Кикоина) и К.А. Разумова (от Арцимовича).

Что на семинаре должно произойти нечто конфликтное, было известно даже мне, хотя я вовсе не была в курсе событий у отца на работе. Дело в том, что накануне семинара вечером состоялся неожиданный визит к отцу И.Н.Головина, который ни до этого, ни после у нас дома не бывал, т. е. он пришёл не как гость, а как официальное лицо. Отец придерживался принципа: взаимодействовать с сотрудниками на работе. Игорь Николаевич, обладавший всепроникающим голосом (недавно мне сказали, что у него было нехорошо со слухом), долго уговаривал моего отца пренебречь семинаром и не появляться на нём, предоставив «сражаться» молодым сотрудникам, т. е., яснее говоря, признать своё научное поражение и «подставить» своих учеников. Отец же мой был полон решимости выступить на семинаре с защитой разработанного им с сотрудниками метода нагрева плазмы. Он был вполне убеждён в корректности своих экспериментов. Он, конечно, и подумать не мог, что вместо научных доводов ему будет брошено чеховское, бездоказательное «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Вся наша квартира была завалена графиками, вычерченными на миллиметровке, и фотоснимками. «Сходу я не понял, но на меня производит впечатление то, что я сейчас услышал», – громко басит Головин. «Мы не безоружны, – громко говорит ему мой отец, – спорить неграмотно недопустимо». Игорь Николаевич прощается: «Так как уже поздно, то я ухожу извинённый». Однако не уходит, и беседа продолжается.

Когда мы с Игорем Николаевичем в 1995 г. ехали в Казань на очередные Завойские чтения, где он согласился выступить с докладом «Е.К. Завойский в курчатовской среде», я задала ему вопрос о том вечернем визите. Он ответил, что не помнит об этом...

Целый день 10 июня отца не было дома. Час проходил за часом, мы с мамой волновались, как пройдет ответственный доклад и дискуссия. В подробности мы не были посвящены, но по косвенным признакам видели, что происходит что-то «из ряда вон».

Вечером, когда я шла к автобусной остановке, чтобы ехать в Большой театр на «Травиату», я встретила отца, довольного, в боевом настроении. «Всё в порядке», – только и сказал он и пошел к дому, окружённый своими учениками. Помню, что среди них был С.Д. Фанченко. С остальными я не была знакома.

Очевидцы рассказывали, что противоборствующие академики были в зале, даже Арцимович, который редко оставался до конца докладов. Он подходил то к М.В.Бабыкину, то к

В.А. Скорюпину. С кем-то беседовали и Кикоин, и Леонтович. Результатом этого семинара было создание комиссии по проверке работы Е.К.Завойского, в которую вошли К.А. Разумова, Д. П. Иванов и будущий академик Б.Б. Кадомцев. Их приход в сектор сотрудники Завойского восприняли как оскорбление. М.В.Бабыкин говорил, что проверяли даже тривиальности (например, планиметром – площадь). Комиссия подвоха не обнаружила. Б.Б.Кадомцев, по словам С.Л. Недосева, поддержал Завойского, сказав, что эффект турбулентного нагрева плазмы имеется⁵⁵.

Ситуацию, возникшую в связи с работами Завойского и его коллектива по турбулентному нагреву, затронул в своей статье «Лидер»⁵⁶, написанной для сборника воспоминаний об Арцимовиче, начальник отдела Государственного комитета по использованию атомной энергии кандидат физ.-мат. наук Э.И.Кузнецов. Среди прочего он писал: «В 1965 году разгорелась острая дискуссия между отдельными группами из-за расхождения в экспериментальных данных. Лев Андреевич внимательно следил за опытами, анализировал предложенные теоретиками вероятные механизмы нагрева электронов».

Напомню, что это были за «отдельные группы», между которыми возникла «острая дискуссия», столь острая, что она была отмечена министерским чиновником, приехавшим на институтский семинар «Т». Речь шла как раз о споре трёх названных выше академиков и их сотрудников, с одной стороны, и Завойского с сотрудниками, с другой. Причём, «сценарий» был заранее продуман, и каждый из участников должен был сыграть свою роль. Вечерний визит И.Н.Головина тоже не был случайностью или личной инициативой: кто-то из верхов, скорее всего, директор института, хотел таким образом приглушить дискуссию, сделать её незначительной, сведя к молодёжному уровню. Больше некому было желать, чтобы не на шутку размежевавшееся сообщество институтских академиков и их коллективы не «размежёвывались».

«И, подводя итоги дискуссии, – продолжал комитетский чиновник, – Лев Андреевич обращает внимание всех её участников на недостаточную убедительность имевшихся в то время экспериментальных данных. Он говорит о необходимости усовершенствования методики, чтобы стала возможной однозначная интерпретация данных измерений... Он не упрекает,

⁵⁵ Завойский В(ячеслав). Минувшее. Казань, 1996. С. 203.

⁵⁶ Воспоминания об академике Л.А. Арцимовиче... С. 62-68.

а убеждает более осторожно высказываться относительно существования либо несуществования того или иного эффекта, не делать категорических заявлений до той поры, пока накопленные сведения не позволят принять правильное решение». В той же статье, Э.И.Кузнецов добавил, не называя Завойского, но по сути именно к нему относившиеся слова: «Нельзя быть слишком обидчивым к критике, ибо только благодаря критике, “даже если она идёт иной раз с некоторым перехлёстом и волна, так сказать, заваливается”, совершенствуется постановка экспериментов. Если люди не любят критику или боятся её, то желательно, чтобы они были “настолько защищены броней фактов, чтобы любая критика отскакивала от них как стальной шарик от гранитной плиты”». Кузнецов не сослался на источник, откуда им были взяты слова Арцимовича. У меня же нет ни желания, ни времени искать его.

Доктор физ.-мат. наук, сотрудник ФИАНа Г.А.Аскарьян вспоминал о том же семинаре: «Второй урок недоброжелательности мы получили на семинаре «Т» в ИАЭ, когда сотрудник И.К.Кикоина Карчевский разоблачающе выступил против Завойского, утверждая, что эксперимент, поставленный им, Карчевским, в сходных условиях, не подтвердил результатов коллектива Завойского. Евгений Константинович отвечал сдержанно: «Сходные, да не те». В аудитории – интерес к драке, потасовке, кто кого уест, и никто не замечает, как тяжела и неприятна Евгению Константиновичу вся эта бесцеремонная атмосфера, он бледен и время от времени прижимает левую руку к груди и не замечает, что в аудитории выступили два физика и заявили, что их эксперименты подтвердили выводы Завойского. Он понимает, откуда взялась эта бесцеремонность выступления Карчевского, кто стоит за ним и дирижирует этим. Меня покорило поведение Карчевского: как может человек с весьма скромным вкладом в науку столь дерзко обращаться с учёным с мировым именем, внесшим выдающийся вклад в развитие науки... Тот семинар в ИАЭ был сводный, показательный, и на него съехались физики со всего Союза. И сходу понять различие экспериментальных условий не было никакой возможности. Однако большинство восприняло всё же это не как научную критику, а как экзекуционное мероприятие»⁵⁷.

Есть ещё одна свидетельница того же семинара. Это теперь старейшая сотрудница ИАЭ Л.В.Буланая. Вот что она вспоминает: «В июне 1965 г. в конференц-зале Института состоялся Всесоюзный семинар «Т», организованный ещё

⁵⁷ Чародей эксперимента... С. 93-94.

И.В.Курчатовым. Евгений Константинович выступил с обстоятельным докладом. Зал был полон и воспринимал доклад с энтузиазмом. И вдруг, совершенно неожиданно из зала поднимается молодой человек, подходит к стендам и утверждает, что в работе есть ошибка. Докладчик был шокирован таким выступлением. Зал также. Отвечая на слова молодого человека, он ещё раз подтвердил ценность этой работы, а затем обратился к выступившему с вопросом: «Мы с Вами работаем в одном институте, почему же Вы не пришли ко мне в лабораторию, чтобы выяснить возникший у Вас вопрос?»⁵⁸ На это ответа не последовало. Для всех было очевидно, что выступление было заранее запланировано тем, кто, прямо говоря, завидовал таланту Евгения Константиновича. Зал это воспринял как заранее запланированный выпад. Такое мнение высказывалось многими в частных беседах.

Что же произошло? Евгений Константинович, сделавший так много для процветания института и отечественной науки, лауреат Сталинской и Ленинской премий, ведущий научный сотрудник ИАЭ подвергся заведомо ложным обвинениям в ошибке. Молодого человека, не так давно начавшего свой путь в науке, не остановило то, что он нападает на заслуженного учёного, который отличался высокой принципиальностью и порядочностью»⁵⁹.

Ещё один эпизод, связанный с Л.А. Арцимовичем, отмечен у того же Г.А. Аскарьяна: «К нам в лабораторию (ФИАНа) для знакомства со стелларатором должен был прибыть академик Л.А. Арцимович. Я помню хлопоты и приготовления, как накануне большого праздника: приезжает академик-секретарь отделения, глава Управляемого Термоядерного Синтеза! Около 10 часов дорогой и почётный гость входит в нашу лабораторию, но... вместо подробного ознакомления с нашей программой он начинает ругать работы Е. К. Завойского по турбулентному

⁵⁸ В своей статье «Atmosphere of Scientific Discussion '58-'61» (// Peaceful Uses of Atomic Energy. Fifty years of Magnetic Confinement Fusion Research – Retrospective. 2008. P. 9) К.А. Разумова, одна из выступавших на этом семинаре, а также член комиссии по проверке результатов коллектива Е.К. Завойского, писала, что тогда их группа молодых исследователей искала «братьев по интеллекту». В соседнем секторе Завойского таких «братьев», видимо, и не искали.

⁵⁹ Буланая Л.В. Тень воспоминанья // Сборник воспоминаний об академике Е.К. Завойском». (В печати).

нагреву плазмы, потом переходит на его стиль работы. Все обескуражены. М.С. Рабинович пытается вернуть обсуждение к вопросам УТС, но «разгром» Завойского продолжается. Я вопросительно смотрю на М.С. Рабиновича. Позже он пытается мне объяснить, что Л. А. очень ревниво относится к тем, кто со стороны вторгается в его епархию»⁶⁰.

Когда в 1990 г. брат Евгения Константиновича, Вячеслав работал над книгой «Минувшее», Н.Ф. Перепёлкин, сотрудник Харьковского ФТИ, один из соавторов открытия турбулентного нагрева, сообщил ему в письме: «Мой текст я полностью переделал, так как он очень примитивен и никак не раскрывает причину конфликта. Конечно, всё это можно развить и докопаться. Но главное, это всё-таки Власть, которая, что с тобой хочет, то и делает. Лев Андреевич с помощью своей власти делал чудеса без всякой академической науки, а многим даже нравилось быть её исполнителем»⁶¹. В своём тексте (в книге автор приводил устные сообщения учеников и сотрудников Е.К. Завойского) Николай Федорович написал: «Казалось бы, чтобы приподнять завесу над «необъяснимыми эффектами», нужно изучать турбулентный нагрев плазмы. Однако произошло обратное: исследования коллективных взаимодействий и турбулентного нагрева плазмы стали кое-где прекращаться. Учёные, занимающиеся ими, подвергались давлению. Некоторые стали отвергать свои собственные вчерашние результаты. У нас в Харькове запрещалось произносить само слово «турбулентность», и мы определили это словом «токамафией».

За давностью лет я уже точно не помню, как произошло моё знакомство с одним из авторов сборника «Чародей эксперимента» С.В. Мирновым: по-моему, он сам разыскал меня, и наша первая встреча носила «взрывной» характер: Сергей Васильевич по-молодому, задиристо, не прочувствовав трагичности ситуации, связанной с уходом моего отца из института, излагал свою версию взаимоотношений двух академиков: Л.А. Арцимовича и Е.К. Завойского. Помню, что его слова вывели меня из, что со мной случается крайне редко, и я резко произнесла: «Сейчас мы закончим этот разговор». Мне была подарена запись его статьи, название которой «Противостояние» показалось мне самым подходящим. В ней автор говорит о том, что оба противостоявших представляются ему идущими рядом, как философы С.Н. Булгаков и П.А. Флоренский на картине М.В. Нестерова «Философы». Мне

⁶⁰ Чародей эксперимента... С. 93.

⁶¹ Личный архив В(ячеслава) К.Завойского.

нравится это сравнение, хотя если быть точным, то нестеровские философы всё же были **друзьями**. Они могли обсуждать их несовпадающие точки зрения. Да и философия – всё же не физика. Вот этого диалога у академиков Л.А. Арцимовича и Е.К. Завойского не получилось. Да, вероятно, и не могло получиться. Уж очень разные позиции по отношению к науке они имели.

О СЕМИНАРЕ КВП

Примерно в это же время был организован общесоюзный семинар по коллективным взаимодействиям в плазме (КВП). Инициатива принадлежала от ИАЭ Е.К. Завойскому, а от Харьковского ФТИ – Я.Б.Файнбергу. Семинар был организован с целью более детального изучения коллективных процессов в плазме (нелинейные процессы, неустойчивости, турбулентный нагрев плазмы, аномальное сопротивление, СВЧ излучение плазмы). Переговоры о семинаре велись сначала с институтским начальством, а затем с Министерством среднего машиностроения. Семинар был предназначен объединить работы по турбулентному нагреву, проводившиеся в Москве, Харькове (ХФТИ), Сухуми (СФТИ) и Новосибирске (Институт ядерной физики). Известно, что в 1967 г. в работе семинара принимали участие 30 научно-исследовательских институтов⁶². Семинар должен был собираться два раза в год поочередно в этих городах. Имелась договоренность соответственно с академиком УССР Я.Б. Файнбергом, доктором Р.А. Демирхановым, академиком АН СССР Г.И. Будкером и с членом-корреспондентом Р. З. Сагдеевым. Темами семинара были: нелинейные процессы в плазме, неустойчивости, коллективные процессы, турбулентный нагрев, аномальное сопротивление, СВЧ-излучение плазмы. На открытии семинара Е.К. Завойский среди прочего сказал: «Подобные семинары требуют выполнения определённых формальностей. Выполнение их возложено на меня и учёного секретаря С.Д. Фанченко. Однако при проведении заседаний в названных городах, председателям заседаний (мы предлагаем соответственно: Р.З. Сагдеев, Р.А. Демирханов, Я.Б. Файнберг) придётся выделить ответственных товарищей в помощь учёному секретарю. В заботы их будет входить организация быта приехавших и подготовка к посещению лабораторий и обмен научными материалами. Если участники семинара сочтут полезным издание материалов семинаров в виде ежегодного сборника работ (в виде ротапринта или книги), то

⁶² Личный архив Е.К. Завойского.

можно будет начать соответствующие переговоры)»⁶³. Семинар работал около десяти лет, пока тематика, по словам одного из его участников, Б. А. Демидова, не исчерпала себя. Труды семинара не издавались.

В конце июня 1966 г. семинар КВП происходил в Тбилиси⁶⁴. В оргкомитет входили Б.Б. Кадомцев, Н.Л. Цинцадзе, Л.И. Рудаков, А.И. Ахиезер, Р.З. Сагдеев, А.А. Рухадзе, В.Н. Карпман, В.В. Железняков и Д.Г. Ломинадзе. Заседания проводились в Институте физики АН Грузинской ССР. Е.К. Завойский прочитал доклад «К вопросу об эффективности турбулентного нагрева плазмы в прямом разряде» (в соавторстве с П.П. Гавриным и С.Л. Недосеевым). В ноябре следующего года семинар КВП проходил в Сухуми.

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ

Е.К. Завойский, непосредственно проработавший с И.В. Курчатовым в течение почти десяти лет, никогда не писал ему писем. В этом не было необходимости, так как вход в его кабинет был открыт: Игорь Васильевич знал, что по пустякам его никто из сотрудников беспокоить не станет. После июньского семинара Анатолий Петрович, видимо, избегал беседы с Евгением Константиновичем, что следует из текста письма.

Пятым марта 1966 г. помечен черновик записки Е.К. Завойского к А.П. Александрову: «Вы можете пошутить над тем, что я выбрал столь странный способ собеседования со своим директором – письмо. Однако другие способы мне не удалось, а

⁶³ В личном архиве Е.К. Завойского отложился документ, в котором говорится: «Поступило ... доклада, из них 8 заявлено нашим сектором. Подобная перегрузка семинара, по-видимому, возможна и в дальнейшем. Поэтому москвичи предлагают на этот раз и на будущее: институт, организующий семинар, свои экспериментальные работы не зачитывает на заседаниях, а ведёт рассказ только у установок и в дискуссиях во второй половине дня. Это предложение вытекает из самой сути организации нашего семинара: семинар проводится последовательно в городах: Москве, Харькове, Сухуми, Новосибирске с целью детального ознакомления всех его участников с работами указанных институтов. Поэтому исключение докладов хозяев семинара надо рассматривать не как дискриминацию, а наоборот, как особое уважение к ним. Оргкомитет принял это предложение и просит председателей семинара учесть его в будущем».

⁶⁴ Личный архив Е.К. Завойского.

завтра я уезжаю лечиться на месяц. Если за это время будет в какой-либо форме упоминаться вопрос о строительстве ТН-3, то меня беспокоят Ваши слова на Учёном совете о том, что Вам неясен, каков итог нашего спора с Карчевским.

Как Вы знаете, я не придаю этому спору никакого научного значения. Для меня было ясно с самого начала, что Карчевский не имел и тем более не имеет теперь за душой ни одного факта, противоречащего нашим экспериментам. Это я буду иметь удовольствие показать на первом семинаре «Т», который состоится после моего приезда»⁶⁵.

В другом документе Е.К. Завойский писал о вышеназванной установке: «Установка ТН-3, как известно, предназначена для изучения возможности получения плазмы с горячими ионами с помощью турбулентного метода нагрева плазмы. Нагрев ионов должен происходить за счёт возникновения ион-ионной неустойчивости в плазменных потоках, полученных от инжекторов, при нагреве электронов плазмы сильной магнитогидродинамической волной. Установка ТН-3 должна явиться прототипом установки для адиабатического сжатия нагретой таким образом плазмы и достижения $T_i \approx 20$ кэВ и $\approx 10^{13}$ см⁻³»⁶⁶.

По этому документу, установка ТН-3 должна была иметь полную сметную стоимость 2446 тысяч рублей, включая строительные и монтажные работы, покупку оборудования и прочие затраты, а стоимость собственно установки по узлам (куда входили магнитная система, высоковольтный контур с источником питания, инжекторы плазмы, вакуумное оборудование и вакуумная камера) – 937 тысяч рублей. Было решено плазменные инжекторы создать силами Института, что позволяло сократить расходы примерно на 200 тысяч рублей. На конец марта 1966 г. из сметной стоимости были израсходованы на проектные работы и приобретение оборудования 500 тысяч рублей. Были сделаны заказы на оборудование и приборы на следующий 1967 г. Однако, как следует из документа, составленного заместителем Е.К. Завойского Клавдием Ивановичем Таракановым, на март 1966

⁶⁵ Личный архив Е.К. Завойского. Как ни мало мой отец говорил дома о своей работе, всё же не удержался от высказывания о нерешительности директора ИАЭ и даже хотел подарить ему шуточную печать со словами императрицы Екатерины III: «Быть по сему». У меня так и остался набросок этой печати, который я сделала по просьбе отца.

⁶⁶ Личный архив Е.К. Завойского.

года уже были реальными перспективы прекращения финансирования ТН-3: «В связи с прекращением финансирования по ТН-3 объект лишается возможности продолжать вести исследования по этой теме, а институт должен будет платить неустойки, обусловленные договорными обязательствами. Ориентировочно размер этих затрат может выражаться в 50-60 тысяч рублей. Кроме того, в связи с прекращением финансирования ТН-3 потеряет смысл выполненный проект стоимостью около 300 тысяч рублей». Далее рукой Евгения Константиновича записано: «Стоимость ТН-3 можно сократить примерно на 400-500 тысяч рублей, а срок строительства растянуть до 1969 г.»⁶⁷.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УТС

В архиве Евгения Константиновича сохранился черновик 1967 г., где он предлагал периодизацию работ по управляемому термоядерному синтезу. «В истории термоядерных исследований, – писал он, – можно видеть три главных этапа: *I* этап – 1950-1955 гг. – «электротехнический» подход к проблеме, когда, казалось, что всё будет решено, если к газовому разряду подвести достаточно большую энергию. Известно, что эти надежды не оправдались. *II* этап – 1955-1960 гг. – интенсивный поиск магнитных систем, удерживающих хотя бы холодную (~ 100 эВ), но плотную плазму, или редкую ($\sim 10^{10}$ см⁻³), но горячую плазму. Предсказано много неустойчивостей. *III* этап – 1950-1965 гг. – характеризуется всё время возрастающим пониманием необходимости широкого изучения фундаментальных свойств плазмы. Показателем этого является, в частности, развитие теории турбулентного состояния плазмы. Успехи в этом направлении особенно велики в нашей стране. Достигнуты большие успехи в получении горячей и плотной плазмы методом циклотронного резонанса (электронного и ионного), турбулентного нагрева ударными волнами, инжекцией в ловушки пучков и плазменных сгустков, токовым нагревом за счёт коллективных взаимодействий. Адиабатическим сжатием (тета-пинч в Лос Аламосе) достигнуты $T_i \sim 2$ кэВ при плотности $3 \cdot 10^{16}$ см⁻³ ($nT \approx 0,6 \cdot 10^{20}$ эВ см⁻³). В этом случае на время в несколько микросекунд получены параметры плазмы, близкие к термоядерным. Достигнуто некоторое понимание поведения плазмы в ловушках открытого и замкнутого типа, однако, этот прогресс в знаниях

⁶⁷ Личный архив Е.К.Завойского.

уменьшил надежды на использование некоторого типа ловушек в будущем»⁶⁸.

ЕЩЁ О СЕМИНАРЕ

Но вернёмся к семинару 1965 года и завершим рассказ о Карчевском. Он был не только направлен с докладом на Международную конференцию в Калэм (Англия), но и через месяц после того семинара отправил в ЖЭТФ свою, единоличную, статью («идейные соавторы» остались в стороне) «Ускорение и захват электронов в магнитной ловушке при электрическом пробое»⁶⁹, в которой снова отвергал результаты экспериментов группы Е. К. Завойского. И она была опубликована. Понятно, что Карчевский получил благословение от «старших товарищей», как, не называя имён, записал в черновике Е. К. Завойский.

Эпизод 1965 г. имел продолжение, что сказалось не только на судьбе самого Е. К. Завойского и его сотрудников, но и на направлении развитых им работ. Он стал определяющим для дальнейшего хода событий. Так чем же именно была вызвано неприятие турбулентного нагрева, атака на него и на автора?

ПРОТИВ ТОКАМАКОВ



НИЦ «Курчатовский институт».

Здание, где в 1951-1971 гг. работал Е.К. Завойский

Разгоревшийся к середине 60-гг. в Институте атомной энергии спор между группой академиков, которые видели перспективу термоядерного реактора в токамаке, и Е.К. Завойским, который в этом сомневался и в связи с этим

⁶⁸ Личный архив Е.К. Завойского.

⁶⁹ Карчевский А. И. ЖЭТФ. 1966. Т. 50, вып. 3. С. 307-313.

призывал не рассматривать токамак как единственную возможность в достижении той же цели, был спором двух неравноправных сторон. У одного в руках были сосредоточены власть и финансы, у другого – только эксперимент и опыт работы. Ещё поэт Владислав Ходасевич писал: «Ничто не разделяет людей так глубоко, так непоправимо, как идея»...

«Оптимизм в отношении токамака оказался значительно более похожим на глубокий пессимизм, – писал Евгений Константинович. – К этому нужно добавить, что, по оценкам, технические трудности создания токамака с необходимыми параметрами могут быть преодолены не ранее, чем через несколько десятков лет. Если считать, что после первого осуществления регулируемой реакции до термоядерной электростанции ещё пройдёт не меньше десяти лет, как это было с ядерными реакторами, то общий срок составит не менее тридцати лет. В этой ситуации, мне кажется, тенденциозно звучат слова о признании токамаков единственными перспективными ловушками»⁷⁰.

Евгений Константинович призывал не замыкаться на одном направлении в развитии проблемы управляемого термоядерного реактора, а расширить возможности исследований, увеличить ассигнования на изучение фундаментальных вопросов физики плазмы и на поиски новых подходов к проблеме. «Увлечение узкой программой исследования, подобной токамаку, является психологическим остатком тех первых лет начала термоядерных опытов, когда доминировал «электротехнический» подход к задаче, и казалось, чем больше конденсаторов собрать вместе, тем быстрее можно достигнуть заветной цели. Эти мечты должны были давно перейти в убеждение, что всестороннее изучение плазмы нельзя оставлять на время после постройки термоядерной электростанции, а это надо делать теперь. Следует широко поощрять теоретические исследования плазмы, разработку всевозможных новых методов исследования и создания для этой цели высококачественной аппаратуры. Всё это приведёт не только к пониманию лучшего пути подхода к основной проблеме, но, по-видимому, принесёт немало практических применений плазмы. Может оказаться, что последнее окупит все затраты на науку ещё до постройки термоядерной электростанции»⁷¹.

Е.К. Завойский ссылался на то, что «идея токамака не нашла поддержки у мировой научной общественности. Приняв

⁷⁰ Личный архив Е.К.Завойского.

⁷¹ Личный архив Е.К.Завойского.

программу токамака за основу, наша страна изолирует себя от зарубежной науки, что приведёт к быстрому отставанию в важнейших областях исследования физики плазмы, методов удержания, нагрева и пр.» «Мы убеждены, – писал Евгений Константинович, – что предметом современной физики плазмы является турбулентность, а без знания физики плазмы не может быть построен УТР»⁷².

Именно в те годы Евгений Константинович выступил с предложением создать новый институт, Институт физики горячей плазмы. Он обосновывал его создание тем, что:

«1. Проблема получения внутриядерной энергии через регулируемый синтез более тяжёлых ядер из изотопов водорода представляет одну из грандиознейших задач науки.

2. Мировой опыт последнего десятилетия показал, с одной стороны, трудность практической реализации этих процессов синтеза, с другой стороны, не вызвал сомнений в возможности преодолеть эти трудности.

3. Важным фактом в настоящее время является то, что за последние годы даже страны с относительно малым экономическим потенциалом, не говоря уже о мировых державах, увеличили усилия по изучению проблемы. Так, в США намечено удвоить штаты и ассигнования на работу в течение ближайших 5 лет.

4. В нашей стране исследования проводятся главным образом на базе существования общефизических лабораторий, мало приспособленных для подобных работ, в то время как в ряде стран уже созданы или строятся объединённые термоядерные центры.

5. Создание в СССР Института физики горячей плазмы и регулируемого термоядерного синтеза, оборудованного современной техникой, позволило бы, прежде всего, поднять уровень теоретических и экспериментальных работ, объединить усилия физиков и, что является главным, создать в СССР потенциальные возможности быстрого развития термоядерных исследований – в том направлении, где появятся перспективы.

6. В современном виде физика плазмы представляет самостоятельную науку, питающую целые направления физики и техники. Поэтому организованный институт будет стимулировать развитие физики, что, несомненно, приведёт к разнообразным практическим применениям плазмы (плазма твёрдого тела,

⁷² Личный архив Е.К.Завойского.

ускорительные процессы, мощные источники СВЧ, рентгеновского и нейтронного излучения и пр.)»⁷³.

Основными задачами Института Е. К. Завойский считал:

«1. В широком плане искать новые подходы к проблеме синтеза.

2. Изучение физики высокотемпературной плазмы в связи с проблемой.

3. Изучение практических приложений плазмы».

Принципы организации виделись Евгению Константиновичу следующие:

«1. Институту должны быть постепенно переданы штаты и ассигнования на почти все работы, ведущиеся в существующих теперь институтах в области регулируемого синтеза. Поэтому его штат должен быть рассчитан на примерно 5 000-7 000 человек (в настоящее время работает над этой проблемой примерно 2. 500 человек).

2. Институт должен быть снабжён новейшими приборами и техникой при строительстве и обеспечен производственными возможностями в такой степени, чтобы за этот счёт поддерживать высокий уровень своих работ и в дальнейшем.

3. Институт должен иметь большие энергетические резервы.

4. В институте должна быть своя мощная производственная база, как общего характера, так и специальная, позволяющая выпускать оборудование малыми сериями.

5. Институт должен быть расположен вблизи Москвы (40-70 км), иначе возникнут трудности с кадрами»⁷⁴.

Главные задачи института физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза ученый видел в том, чтобы

«1. Искать новые подходы к проблеме в широком плане.

2. Физика высокотемпературной плазмы в связи с проблемой управляемого термоядерного синтеза.

3. Исследование практических приложений высокотемпературной плазмы.

Потенциально институт должен быть готов к мощному развитию этой проблемы, как только появятся соответствующие идеи. В институт могут быть переданы штатные единицы из других институтов, занимающихся термоядерными проблемами.

Исходя из этих задач, институт должен иметь:

1. Значительную группу инициативных теоретиков, математиков и группу машинного счёта.

⁷³ Личный архив Е.К.Завойского.

⁷⁴ Личный архив Е.К.Завойского.

2. Сильный состав молодых экспериментаторов, обеспеченный мощной современной техникой эксперимента.

3. Мощные производственные мастерские (общие и специализированные) с конструкторским бюро.

4. Инженерный и технический состав, в частности, отдел по получению магнитных полей до 200 килогаусс в больших объёмах и полей до 10^7 Гаусс методом взрыва.

5. Технический состав по обслуживанию экспериментальных установок и электротехнических устройств.

Строительная площадка под институт – около 1 кв. км»⁷⁵.

Когда я читаю записи своего отца, мне приходит на ум некая аналогия двухсотлетней давности: император Павел I и Александр Радищев, писатель, общественный деятель. Общее направление развития России было решено уже до того, как Радищеву было предложено написать проект этого развития. Последний по благородству своей души решил послужить отечеству, изложив свой взгляд на прогресс, столь необходимый, по его мнению, стране. Над его предложениями не только поглумились, но и пригрозили новой ссылкой. Памятуя, какие унижения ему пришлось пережить раньше, Радищев покончил с собой.

Тем временем пропаганда токамака велась как на заседаниях учёных мужей, так и в прессе. В качестве примера может послужить статья Н. Железнова (ТАСС) «Термоядерный синтез – когда и как?», посвящённая сессии Отделения общей и прикладной физики АН СССР, когда Б. Б. Кадомцев назвал «наиболее эффективными реакторные системы типа «токамак», выразив, таким образом, единодушие с мнением академика Арцимовича о бесперспективности «пробкотронов»⁷⁶.

В архиве Е.К.Завойского имеется черновик, подготовленный, видимо, для очередного заседания (без даты). В нём записано: «Современная физика плазмы – это физика турбулентной плазмы. В области теории турбулентности наша страна находится впереди»⁷⁷. В последнее время, однако, за границей это направление стало быстро развиваться. Надо

⁷⁵ Личный архив Е.К. Завойского.

⁷⁶ Учительская газета. 1966, 3 декабря.

⁷⁷ В плане работ сектора 74 (1967 г.) Завойский подчёркивал, что «тематика сектора касается новых областей физики плазмы и не повторяет исследований, проводимых за рубежом. В то же время сектор работает в тесной связи с рядом институтов страны» // Личный архив Е.К. Завойского.

заметить, что если у нас не будет поощряться развитие экспериментальных работ по физике плазмы, то информация по теории плазмы, которая быстро становится достоянием учёных всего мира, будет способствовать развитию термоядерных исследований за границей и приводить к нашему отставанию. Это отставание в области научных исследований непосредственно скажется на перспективах осуществления у нас главной цели термоядерных исследований.

Здесь я хочу привести пример того, насколько работы в области физики плазмы являются более важными, чем попытки построить на сомнительных соображениях сразу термоядерный реактор. Так, до настоящего времени ещё неизвестен закон диффузии плазмы в магнитном поле. Альтернативой классической диффузии по-прежнему остаётся полуэмпирическая формула Бома. Ещё менее ясно, какой будет диффузия в плазме с параметрами, необходимыми для термоядерного реактора. До решения этих вопросов нельзя быть уверенным в возможности длительного удержания плазмы магнитным полем. Поэтому следует поставить систематическую работу по изучению диффузии плазмы, используя для этой цели все известные методы создания плотной и горячей плазмы. Эти исследования сложны, и без серьёзной финансовой поддержки их выполнить невозможно»⁷⁸.

КАРЛОВЫ ВАРЫ

После войны родители проводили отпуск со мной в Хосте, где снимали комнату у местной хозяйки. В те годы домам отдыха папа предпочитал отдых «дикарём» и путешествие на автомашине, когда она появилась. С годами, когда здоровье уже требовало заботливого отношения, а папины возможности стали большими, они несколько раз ездили с мамой в Кисловодск, Железноводск и в Крым. Но ездить в одно и то же место для отца было выше сил. Однажды кто-то из друзей надоумил подать заявление на путёвки в подмосковную «Барвиху». Отец сразу сказал, что это пустое дело. Так и получилось: папе в путёвке отказали. Больше всех отказом возмущалась я. Отец же, предвидевший исход дела, остался к этому равнодушным. Тогда я решила взять реванш. Съездила в Медико-санаторный отдел Академии наук и с согласия родителей подала заявление на путёвки аж в Карловы Вары. Родители были уверены в провале и этой затее. Но, к нашему удивлению, путёвки им были выделены. Как они выяснили уже на месте, март месяц – это не сезон для советских чиновников из-за

⁷⁸ Личный архив Е.К. Завойского.

холода и дождей. Так как идея поездки была не родительская, то бегать с оформлением документов пришлось мне. До последней минуты не верилось, что поездка состоится. Мама ехала за границу в первый раз и, как оказалось, в последний.

Через много лет мама вспоминала: «В начале марта 1966 г. нам были предложены путёвки в Карловы Вары. Мы с радостью дали согласие на поездку. И вот мы на Киевском вокзале, в прекрасном двухместном купе. Едем через Брест. До прибытия в Брест к нам в купе пришли наши военные проверять, не везём ли мы водку, икру, золото и т. д. Увидев наши маленькие чемоданы, они ничего не стали смотреть. После границы нас посетили военные чехи. Они ничего не смотрели, задали те же вопросы, откозыряли и ушли. Утром следующего дня мы приехали в Прагу. Поезд на Карловы Вары отходил вечером, и у нас был целый день на Прагу. Мы были голодны и отправились в ресторан. Обслуживание отличное, но оказалось, что стоимость очень велика. Мы съели по бифштексу и полуголодные решили осмотреть город на такси, но и это оказалось дорогим удовольствием. Но кое-что удалось посмотреть. Мы сядили на разные виды городского транспорта и ездили от вокзала до конца маршрута и обратно. Очень хотелось есть, но мы боялись, что не справимся. Утром были в Карловых Варах. Нас повезли в санаторий «Империал», на самую гору. Погода была самая весенняя с дождями и даже со снежной метелью. Женя много фотографировал. Сезон в санаториях рассчитан на май-сентябрь, и потому там нет ни печек, ни батарей и окна не двойные. В номере было холодно. Мы с Женей немного болели. С нами отдыхал наш сосед по дому Б.Т. Гейликман, страстный любитель кино»⁷⁹.

ПРОЩАЙ, СТАЛИНСКИЙ ДИПЛОМ

Летом 1966 г. из Академии наук пришло письмо с требованием сдать диплом и знак лауреата Сталинской премии (в 1949 году отцу была присуждена премия третьей степени за создание атомной бомбы). За прошедшие 13 лет со дня смерти вождя всех времён и народов льготы, предоставленные сталинским лауреатам, уже давно канули в вечность (бесплатный проезд в любой пункт СССР, на любом, кроме такси, виде транспорта, бесплатное обучение детей и т. д.). Отец без всякого сожаления попросил маму организовать сдачу этих вещей. Через какое-то время ему были вручены новые диплом лауреата Государственной премии и знак, но уже без сталинской

⁷⁹ Личный архив Е.К. Завойского.

символики. Всё это сродни стесыванию имён египетских фараонов. Позже выяснилось, что не все лауреаты послушались, и теперь их потомки являются владельцами уникальных документов эпохи.

Отец мой впервые заговорил о Сарове в последнее утро своей жизни, видимо, предчувствуя скорую кончину. Он описал только одну чудовищную сцену, свидетелем которой он стал: как знакомый генерал отшвырнул ногой зэка, полного доходягу, осмелившегося о чём-то попросить «его величество». Я думаю, что отец, видя на территории монастыря заключённых, всегда мысленно представлял себе своего брата Бориса, расстрелянного в киевской тюрьме в 1937 г. О саровских годах отец мой оставил несколько скупых фраз в своих воспоминаниях. Надо сказать, что никто из известных физиков, находившихся в Сарове в те же годы, что и мой отец, не оставил о тех днях объективного рассказа: ни Ю.Б. Харитон (а уж он-то видел подобные сцены, наверняка, не раз, ни И.Е. Тамм, ни Я.Б. Зельдович (переживший неприятности в связи с высылкой О.К. Ширяевой, матью его дочери), ни А.Д. Сахаров, ни Л.В. Альтшулер... А могли бы.

ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО

В конце ноября 1966 г. мой отец получил письмо от дальней родственницы, которая писала: «Дорогой Евгений Константинович! Простите, что решаюсь на такой эпитет, но никакой другой – глубокоуважаемый, многоуважаемый – наверное, в данном случае, гораздо более приличествующий для моего обращения к Вам, не идёт у меня ни из сердца, ни из души моей. Лет десять назад из газет я узнала, что Е. Завойскому за его учёные труды была присуждена Ленинская премия. У меня сразу же почему-то создалась уверенность, что это сын чудесных знакомых моей молодости и даже дальних родственников – Константина Ивановича и Елизаветы Николаевны, о семье которых я уже много-много лет ничего не знала. Лет восемь тому назад, будучи в Москве, через справочное бюро я узнала Ваш адрес и собиралась побывать у Вас, но, в конце концов, так и не решилась, побоявшись встретить недоумевающий, вопросительный взгляд: «Зачем это?» Тем более что Вы такой занятый человек и что лично с Вами у меня было очень короткое по времени знакомство. Но после того как я случайно услышала по радио сообщение о том, что в 12.40 будет передаваться радиорассказ об академике Е. Завойском, я, припав к репродуктору, с огромным волнением прослушала всё до последнего слова, я уже почувствовала, что теперь я не буду молчать. Мне вдруг стало нестрашно заговорить с Вами. Я

поверила, что Вы поймёте меня и отнесётесь снисходительно к порыву старого, совсем одинокого человека, поймёте, что мне ничего не нужно, кроме того, чтоб пережить несколько светлых воспоминаний о лучшем периоде моей жизни, о прекрасных людях, с которыми у меня было столько чудесных встреч, не надо ничего, кроме того, чтоб теперь, через столько лет, что-нибудь узнать о них.

Теперь о себе. Я – Котелова (бывшая Жилина) Людмила Петровна. Мне уже 79 лет. Если жива Ваша мама Елизавета Николаевна, она, конечно, меня помнит. Дети же, даже, наверное, старшая Танечка, Ваш брат (я забыла, как его зовут), Верочка и Вы, конечно, меня не могут помнить. До 1912 г. я была студенткой Казанских Высших женских курсов, а после их окончания уехала с мужем в Вятку. В 1915 г. мы вернулись в Казань и жили там до 1921 г., а в трудные годы снова уехали в Вятку. Я часто бывала у Вас на Пороховом заводе. Каждый приезд к Вам был для меня праздником. Ваша семья была удивительно дружная, прелестьная.

Иногда у Вас я видела Вашего дядю Колю, который тогда уже был студентом. Рос он и учился в гимназии, живя в Вятке с сестрой Катей и мамой Екатериной Константиновной – Вашей бабушкой, которая была двоюродной сестрой моей мамы. В Вятке это были наши единственные родственники, и мы часто бывали друг у друга. Коля был удивительно мягкий и деликатный мальчик. Однажды, побывав у нас и узнав, что я болею брюшным тифом, он сообщил своей маме, что Мила заболела «животным тифом». Будущий врач, он не смог, очевидно, преодолеть смущения от необходимости назвать болезнь, производя от грубого слова «брюхо». К тому же, тогда в его глазах я была уже барышня. Это был мальчик, лишенный всякого эгоизма, готовый в игре с набедокурившими товарищами взять вину на себя, чтобы уберечь их от наказания. Коля знал, что его мама была очень строгой и озорства ему не прощала. Надо было видеть, какая трогательная дружба была у него со всеми вами. Ребятишки прямо-таки не отходили от него. Бывало, он уйдёт в залу и ляжет на полу, на ковёр, может быть, отдохнуть, так маленькие завойчата тормозят его, как им только вздумается, а он спокойно лежит, всё им позволяет и, видимо, очень доволен. Помню, удивительно радостно до зависти было наблюдать такую картину. Как грустно, что так рано ушёл из жизни такой чудесный человек.

Но я давно уж утомила своим письмом, своими так дорогими для меня воспоминаниями. А как остро во мне воспоминание о катастрофе на Пороховом заводе. Сама я не была в тот момент в Казани. Мы с мужем возвращались из Нижнего и,

подъезжая к Казани, видели издали, как взрывались керосиновые баки, вздымая к небу огромные столбы чёрного дыма. Город был почти пустым. Население в панике бежало, спасаясь от угрожающей опасности. Говорили, что опасность была действительно угрожающей, если бы генерал завода, пожертвовав своей жизнью, не открыл краны и не залил водой пороховые погреба. Рассказывали мне и о вашем спасении: Танечка с маленьким Славчиком на руках, Женья, держа за руку Верочку. Когда прогремел первый взрыв, Ваш папа по долгу службы быстро ушёл из дома, сказав, что скоро вернётся. Мама Ваша лежала тогда в больнице. Но взрывы усилились, распахнули у вас в квартире все окна, двери, и вы все в испуге устремились за бежавшими толпами людей. Надо думать, что пережили и испытали все вы. Ваш папа несколько дней метался в поисках вас по окрестностям города, пока, наконец, вы сами не добрались на платформе гружёного углем поезда до Казани и пока папа, не дав вам умыться, не притащил одного или двоих из вас в качестве доказательства к маме в больницу.

Всё это Вы знаете, конечно, лучше меня. Мне кажется, что после этого я с Вашей семьёй больше не виделась и только уже в Вятке встречалась с Вашей мамой, когда она с вами приехала из Казани после кончины Вашего папы. В те тяжёлые годы Вы приехали к родным – Катаевым в город Слободской. С тех пор я больше ничего не слышала ни о ком из вас.

Всех своих близких родных мне людей, кроме брата Николая Петровича, я потеряла и живу теперь в полном одиночестве. Внешне всё хорошо: я имею хорошую комнату, государство даёт мне пенсию, достаточную для того, чтобы быть сытой и иметь всё необходимое. У меня есть друзья. Ко мне хорошо относятся окружающие меня люди. Я это очень ценю. Но я никогда не перестаю быть одинокой, а это нелегко.

Если будет у Вас возможность, отзовитесь или пусть хотя бы кто-нибудь из Вашей семьи напишет мне о Вас, о маме, Ваших сёстрах. Я буду очень рада и очень-очень благодарна Вам. Будьте же здоровы, дорогой учёный и прекрасный человек! Горячо желаю Вам успеха во всех Ваших великих делах. Берегите себя! Живите дольше, дольше на счастье людям, на радость близким! Глубокоуважающая Вас Л. Котелова. 24 ноября 1966 г.».

Конечно, на письмо тут же последовал ответ, и через месяц Людмила Петровна приехала в Москву. Мы все вместе, папины сёстры и брат, отметили наступивший Новый год. Внезапное появление Людмилы Петровны в нашей жизни

послужило стимулом для работы над генеалогическим древом рода Завойских⁸⁰.

ПРЕПРИНТ Л.А. АРЦИМОВИЧА

В те славные годы, когда ещё господствовала уверенность в том, что термояд будет вот-вот осуществлён, в ИАЭ им. И. В. Курчатова была введена особая служба: выпуск препринтов. Собственно говоря, она существует и по сей день, но нас будет интересовать только то, что имеет отношение к нашей теме. И так, осенью 1966 г. тиражом в 150 экземпляров был выпущен препринт Л.А. Арцимовича «О перспективах исследований по проблеме управляемого ядерного синтеза»⁸¹. В нём он сравнивал восемь установок (ОГРА-I, ОГРА-II, ПР-5, ДСХ-II, Alice, Phoenix II, MISE и DECA II), а также анализировал достоинства и недостатки открытых и замкнутых ловушек. Он считал, что для физика-оптимиста более обнадеживающими, а для физика-пессимиста – менее безнадёжными «представляются попытки создать термоядерный реактор на основе систем типа Токамак и Стелларатор». В заключении Арцимович писал: «Исследования по проблеме управляемого ядерного синтеза ещё не вывели нас на широкую дорогу к термоядерной электростанции. Пока это только задел на будущее. Однако если стремиться приблизить это будущее, то нельзя сокращать те усилия, которые делаются сейчас, т. е. отказываться от выполнения достаточно широкой программы исследований по физике высокотемпературной плазмы. Необходимо, конечно, чтобы научная программа была ориентирована на разработку наиболее актуальных вопросов и не загромождалась обломками тематики, потерявшей значение и сохраняющейся по инерции. Распределение усилий по широкому фронту теоретических и экспериментальных разработок должно соответствовать их научной значимости, которая время от времени нуждается в переоценке. В частности, в настоящее время наибольшее внимание должно быть привлечено к разработке замкнутых магнитных ловушек».

⁸⁰ Завойская Н. Е. Завойские с реки Вои (в архивах СНГ) // История и культура Волго-Вятского края (К 90-летию Вятской учёной архивной комиссии). Тезисы докладов и сообщений к Межрегиональной научной конференции. Киров, 18-20 октября 1994. Киров, 1994. С. 518-520.

⁸¹ Арцимович Л. А. О перспективах исследований по проблеме управляемого ядерного синтеза. М., 1966. (ИАЭ – 1217. 24 с.).

СТАТЬЯ Л. А. АРЦИМОВИЧА В «НОВОМ МИРЕ»

В январском номере журнала «Новый мир» за 1967 г., который со времени публикации солженицынского «Ивана Денисовича» продолжал считаться самым вольным из советских периодических изданий, появилась статья Л. А. Арцимовича «Физик нашего времени», где он затронул интересную проблему, оценивая роль учёного-физика и, конечно, самой физики в советском обществе.

В одном из пассажей статьи говорилось: «Способный и энергичный физик уже через несколько лет после начала научной работы выталкивается наверх по ступеням организационной лестницы и становится руководителем отдельной группы при лаборатории... Так происходит самоотстранение физика-экспериментатора от эксперимента»⁸². Известно, что всякое обобщение страдает на какую-то долю некорректностью. Не было исключением и это утверждение Льва Андреевича. Представляя такой алгоритм продвижения учёного-физика по ступеням организационной лестницы, он не учитывал того, что хотя бы в его собственном отделе «выталкивались» далеко не все и не каждый. А самую верхнюю ступеньку на этой лестнице занимал безраздельно только он сам. То, о чём писал Лев Андреевич, называется карьерой. Однако далеко не все желали её делать. Он сам, видимо, стремился к этому. Если говорить о министерских деятелях, то сказанное им вполне справедливо. Если о научных работниках, то – нет. Примером тому может служить хотя бы тот же Е. К. Завойский: как после Сарова он был взят на должность начальника сектора, так им и остался вплоть до своего ухода из института. К тому же замечу, что и этим невысоким в институтской иерархии постом он тяготился, так как наваливалась масса бумажных дел, от которых он не испытывал радости. Его стихией был эксперимент. Свою работу он понимал не как карьеру, а служение науке. Так что существовала возможность и не «выталкиваться».

СНОВА ПОДНОЖКА

14-18 августа 1967 г. в Стокгольме (Швеция) должна была состояться Вторая Европейская конференция по управляемому термоядерному синтезу и физике плазмы (первая была за год перед этим в Мюнхене). Предполагалось, что в ней примут

⁸² Арцимович Л. А. Физик нашего времени Заметки о науке и её месте в обществе. // Новый мир. 1967, № 1. С. 190-203; The Modern Physicist and the Case for Science Politics // Bulletin of Atomic Scientist. 1968. November. P. 23, 41-48.

участие около 250 физиков более чем из двух десятков стран. До этого, весной в Институте на начальника сектора Е. К. Завойского была составлена характеристика, подтверждённая Краснопресненским районным комитетом КПСС для поездки на конференцию в Стокгольм. В то время характеристики включали всеобъемлющие сведения о выезжавшем за рубеж, тем более, если местом проведения конференции была, как тогда говорили, «капстрана». Характеристику от Института подписали заместитель директора ИАЭ А. Г. Зеленков, секретарь парткома Н.А. Черноплёков и председатель местного комитета В.С. Коротков⁸³.

Однако где-то на уровне, более высоком (то ли в самом Институте, то ли в ГКАЭ, то ли выше), в командировке Завойскому было отказано. А между тем группой физиков сектора, который возглавлял Евгений Константинович, на эту конференцию был подготовлен доклад «Изучение механизма турбулентного нагрева, вызванного током». Доклад в Стокгольме зачитывал В. Т. Толоч из Харьковского ФТИ, который и в соавторы-то не входил. Текст же самого доклада представлен на конференцию не был⁸⁴.

Для «одного из ведущих специалистов в области изучения физики плазмы» (так было записано в характеристике Завойского) быть невыпущенным на конференцию европейского масштаба было оскорблением его достоинства и «непризнанием пророка в своём отечестве». Путь на европейские конференции по физике плазмы и УТС, а также на зарубежные конференции МАГАТЭ отныне был для Е. К. Завойского заблокирован. Что (или кто) было тому причиной, может быть, когда-то и выяснится, а сейчас остаётся только гадать. Для доходчивости приведу пример с М. Л. Ростроповичем, когда кто-то совершенно «букашечный» бросил ему в лицо, что тот не умеет играть на виолончели. Помните, что когда этот эпизод всплыл в печати, то в душах наших эти слова вызвали бурное возмущение? Так почему же пример из области физики не вызвал и не вызывает хотя бы внутреннего протеста? Вместо него повисает молчание, порождающее, в конце концов, замалчивание.

⁸³ Архив РНЦ «Курчатовский институт». Ф. 1. Оп. 3 л/д. Д. 9362. Л.21.

⁸⁴ Plasma Physics. 1968. Vol. 10, № 4. P. 432. В соавторстве с М.В.Бабыкиным, П.П.Гавриным, Б.А.Демидовым, Н.И. Елагиным, Д.Н.Лиинном, С.Л.Недосеевым, Н.Ф.Перепёлкиным, Л.И.Рудаковым, Д.Д.Рютовым, В.А.Скорюпиным и С.Д.Фанченко.

Как следует из материалов конференции, среди присутствовавших особо был отмечен «отец магнетогидродинамики» Ханнес Альфвен. Кстати сказать, ученику отца Г.В.Шолину запомнилось, что Евгений Константинович однажды высказал мысль, что физика приняла бы другой облик, если бы Х. Альфвен появился раньше, поскольку опыты В. Кауфмана, на основании которых были сделаны первые выводы о зависимости массы от скорости, интерпретировались бы иначе, с учётом дрейфа ведущего центра в неоднородном магнитном поле. Этот эффект, пропорциональный квадрату скорости заряженной частицы, не учитывался Планком при анализе опытов Кауфмана.

СИМПОЗИУМ В ПРАГЕ

В мае того же 1967 г. как бы в утешение Е. К. Завойскому была подтверждена не пригодившаяся ему стокгольмская характеристика для поездки осенью в Прагу (тогда это была «соцстрана» Чехословакия, и в отличие от «капстраны» въезд в неё был более простым, так как бежать на Запад из соцстран было невозможно⁸⁵) на Международный симпозиум по плазменно-пучковым взаимодействиям, организованный Институтом физики плазмы Чехословацкой Академии наук. От США, например, присутствовали 16 человек, от Франции – 9, от обеих Германий – 14, от Италии – 7, от Голландии – 8, от Польши – 4 и от СССР были посланы Я.Б. Файнберг, В.А. Супруненко, А.Б. Киценко, В.Ф. Федорченко (Харьковский физтех), А.Г. Плахов, А.Н. Кархов и Е.К. Завойский (ИАЭ). Несколько человек были из Новосибирска. Всего на симпозиум собрались 125 специалистов из 16 стран⁸⁶. По существу это была первая международная встреча учёных, целиком посвящённая проблемам взаимодействия пучок-плазма. Организаторы полагали, что она будет иметь неформальный характер, то они и не планировали публикацию докладов. Однако участники Симпозиума проявили огромный интерес к обзору, представленному членом-корреспондентом Я.Б. Файнбергом (Харьковский ФТИ), поэтому позднее были напечатаны аннотации докладов. Е.К. Завойский делал доклад «Исследования турбулентного нагрева плазмы током» 4 сентября.

Организация симпозиума в единой в ту пору Чехословакии не была случайностью. Выбор места его проведения был связан с тем, что направление «взаимодействие пучок-плазма» интенсивно

⁸⁵ Восленский М.С. Номенклатура. М., 2005. С. 435-452.

⁸⁶ Interational Symposium on Beam-Plasma Interactions // Czech. Journal of Phys. 1968. № 5. P. 649.

развивалось в Институте физики плазмы (Прага)⁸⁷, имевшим в ту пору около пятисот сотрудников. В состав Института входила большая группа молодых физиков-теоретиков и экспериментаторов, и, как отметил в своём отчёте Евгений Константинович⁸⁸, уровень их работ был вполне современен и сравним с подобными работами в США. Он отметил также хороший уровень технической оснащённости пражского Института. Возглавлявший институт доктор Ян Ваня держал ориентацию на научные контакты с СССР, и Е. К. Завойский подчеркивал, что расширение таких контактов позволило бы интенсивнее работать над решением термоядерных задач. Он писал, что хотя теория пучковой неустойчивости была разработана в СССР, эксперименты поставлены не были.

В «Заключении о работе Симпозиума» Завойский писал: «Экспериментальные и теоретические исследования коллективных процессов и, в частности, плазменно-пучковых взаимодействий в настоящее время стали в ряд важнейших проблем ведущих лабораторий по физике плазмы в целом ряде стран... Интерес к изучению коллективных процессов в плазме объясняется, с одной стороны, существенными успехами в получении с их помощью. Высокотемпературной плазмы, возможностью управления неустойчивостями плазмы с помощью пучков, перспективами генерации мощных СВЧ колебаний и др. Детальное исследование процессов взаимодействия потоков заряженных частиц с плазмой имеет большое значение и для теории плазмы. С другой стороны, по мере развития экспериментальных работ с плазмой на многих установках за последнее время чётко выяснилась существенная роль коллективных процессов, связанных с неустойчивостями тока. Это показало, что путь к термоядерному реактору будет значительно более сложным, чем казалось вначале.

Таким образом, на данном этапе подхода к термоядерной проблеме основные усилия должны быть направлены на исследование коллективных процессов в плазме и выяснению той роли, которую они могут играть в решении основной задачи.

В Праге можно было услышать, что именно эти идеи привлекли внимание большого числа учёных разных стран и привели их на Симпозиум.

В итоге Симпозиума выяснилось, что наша страна занимает ведущее положение в исследовании коллективных процессов в

⁸⁷ Институт физики плазмы был основан 1 января 1959 г. Его первым директором был Ян Ваня (Jan Vana).

⁸⁸ Личный архив Е.К. Завойского.

плазме. Это, в частности, относится к процессам взаимодействия пучка с плазмой и турбулентному нагреву. Однако это преимущество может оказаться временным, так как в ряде стран (ФРГ, Италия) уже поставлены важные задачи по взаимодействию ионных пучков с плазмой, а в некоторых странах (Чехословакия, США) намечается проведение подобных работ. Эти исследования могут оказаться очень перспективными для целей получения достаточно плотной плазмы с высокой температурой не только электронов, но и ионов. К сожалению, в нашей стране до сих пор не поставлены эксперименты по ионной пучковой неустойчивости, хотя теория этих явлений разработана в СССР. Нам кажется необходимым предусмотреть эти работы в планах (1968 г.)»⁸⁹.

Евгений Константинович вместе с Я.Б. Файнбергом выдвинули проект организации некоторых совместных работ СССР и Чехословацкой ССР на 1968/69 гг. Предлагалось осуществить командировки академика УССР Я.Б. Файнберга в ЧССР для чтения лекций по коллективным взаимодействиям в плазме, а сотрудников ИАЭ и ХФТИ (Л.И. Рудакова, Д.Д. Рютова и харьковчанина В. Д. Шапиро) – для обсуждения теоретических работ. Они предлагали также направить на полгода двух экспериментаторов В.В. Шапкина (ИАЭ) и А.К. Березина (ХФТИ) для работы в Институте физики плазмы ЧССР, а двух сотрудников этого института, из лаборатории доктора Зайдела, принять в ИАЭ и ХФТИ. Они также предлагали провести совместные работы по изучению спектров высокочастотных колебаний при турбулентном нагреве плазмы, имея в виду, что в ИФП была к тому времени разработана система полосовых волноводных фильтров, позволявших проводить анализ спектров в диапазоне $\lambda = 0,8-3,5$ см. В то время СССР поставил для ИФП два электронно-оптических преобразователя типа ПИМ-3 и взамен получил стеклянные трубы (30 штук) диаметром 40 см и длиной по 2,5 м и стеклянные трубы (50 штук) диаметром 30 см и длиной 2,5 м. К сожалению, этим планам не суждено было осуществиться.

На какой стадии были остановлены переговоры, мне неизвестно, а в августе 1968 года СССР ввёл свои войска в Чехословакию. Милош Зайдел и Юржи Тайхманн, с которыми общался Евгений Константинович, вынуждены были покинуть Чехословакию. Первый нашёл прибежище в Технологическом институте Стивенса (США) и в 2007/08 гг. был уже на пенсии. Второй стал профессором Монреальского университета (Канада).

⁸⁹ Личный архив Е.К. Завойского.

Как часто случалось из-за надменного отношения министерского начальства к учёным, советская делегация опоздала на утреннее заседание Симпозиума (вероятно, были сэкономлены деньги на прибытие в Прагу на день раньше) и не смогла присутствовать на открытии симпозиума, а также на докладах физиков-экспериментаторов, занимавшихся пучками, Л. Д. Смуллина (Массачусеттский Технологический институт) и Ф. Боттильони (Франция, Фонтэнэ). Всё это Евгений Константинович изложил в своем отчёте, который отправил в Министерство. Его раздражала небрежность чиновников, которые часто ставили учёных, в том числе и его самого, в неловкое положение. Известно, что статьи советских учёных на конференции практически всегда приходили с запозданием⁹⁰ (статьи должны были вначале пройти «научную цензуру» в виде секретных отделов). Западные коллеги не могли понять, что непунктуальность советских коллег совершенно не зависит от них самих, а от министерских чиновников.

Когда я спросила одного из ближайших сотрудников моего отца, была ли плоха сама идея плазменно-пучковых взаимодействий, он ответил: «Конечно же, нет. Тут сыграли роль личностные отношения верхов Института к работам Евгения Константиновича и к нему самому. Я, знаете ли, был тогда рядовым сотрудником, и до меня доходили только слухи. А слухи – и есть только слухи. Документов-то нет».

ЮБИЛЕЙ

28 сентября 1967 г. моему отцу исполнилось 60 лет. Из Казани ему были присланы в подарок два фотоальбома: один от университета, другой от физтеха. Заполненные фотографиями коллег и их учеников, сейчас они являются бесценными документами по истории школы ЭПР, созданной трудами Е.К. Завойского, С.А. Альтшулера и Б.М. Козырева⁹¹. Был прислан также уникальный подарок – миниатюрная копия магнита Дю Буа, на котором в 40-е годы велись работы по наблюдению эффектов ЯМР и ЭПР⁹².

В октябре того же года Евгений Константинович писал С.А. Альтшулеру по этому поводу: «Я очень тронут Вашей заботой. Пожалуй, трудно было бы придумать лучший подарок к

⁹⁰ См., напр., Nucleonics. 1958. Vol. 16, no. 9: «Русские статьи пришли особенно поздно».

⁹¹ В настоящее время альбомы хранятся в НА РТ (Казань).

⁹² Эта модель хранится в Музее истории Казанского университета.

моему юбилею, чем это сделали Вы и физики КГУ, которым я хочу передать через Вас самые лучшие пожелания!

Всё то, что Вы прислали мне, живо напомидало время, когда мы (Вы, Борис Михайлович и я) «пропитывались» идеями резонансов. Я вспоминаю, насколько ясно нам представлялась сущность вопросов. Буду рад, если это письмо ещё раз напомнит Вам об этом времени. Восхищён моделью электромагнита (приходит на память суровое время, когда к его полюсам иногда примерзали руки, но на такой пустяк в то время не приходилось обращать особого внимания – ещё шла война. – зачёркнуто.– Н. З.), в которой чувствуется рука настоящего «механикуса» университета, человека, который часто определяет судьбу идей. Передайте ему, пожалуйста, мою благодарность за труд, выполненный с искусством и любовью. Ваш...»⁹³

От своих учеников и сотрудников по ИАЭ Евгений Константинович также получил поздравление: «Дорогой Евгений Константинович! В день Вашего шестидесятилетия разрешите нам, Вашим ученикам и сотрудникам, выразить искреннее восхищение Вашими блестящими научными открытиями, ярким талантом экспериментатора, удивительной глубиной мысли, позволяющей Вам легко переходить от одной исследуемой проблемы к другой.

Открытие электронного парамагнитного резонанса заложило основы радиоспектроскопии и квантовой электроники. А Вы тем временем занялись ядерной физикой и получили выдающиеся результаты, отмеченные высокими правительственными наградами. В неустанных поисках нового Вы затем вооружили науку предельно чувствительными электронно-оптическими преобразователями – и вот глазам физиков, астрономов, биологов открылся ранее недоступный наблюдению мир слабосветящихся явлений. Плазму Вы начали исследовать, когда иные академики уже считали, что единственный ключ к решению проблемы управляемого синтеза у них в кармане. Однако Вы и здесь нашли совершенно оригинальный подход к проблеме и открыли метод турбулентного нагрева, который теперь превратился в самостоятельное научное направление. Притом – не в пример другим «бессмертным» – основные экспериментальные результаты Вы добыли своими собственными руками.

Вы подаёте нам пример страстного увлечения наукой, зажигая окружающих своим неугасимым энтузиазмом. Ваше благожелательное отношение ко всем новым, подчас ещё сырым

⁹³ Личный архив Е.К. Завойского.

идеям и к инициативе молодых создаёт в коллективе радостную творческую атмосферу.

Лишь великим учёным присуща истинная скромность и способность восхищаться не только своими, но и чужими научными достижениями. Скромность не позволяет Вам уделять много внимания пропаганде своих работ и достижений всего коллектива. Это настолько необычно в наши дни, что порой интересные результаты остаются в тени, отчего страдаете не столько Вы, сколько Ваши сотрудники. Мы знаем, насколько Вы не любите тратить драгоценное время на административную деятельность, но разве не упростились бы некоторые организационные проблемы, если бы созданный Вами коллектив приобрёл большую самостоятельность?

Вся Ваша жизнь в науке убедительно доказывает, что первичным в познании является эксперимент, который всегда опережает теорию. От всего сердца желаем Вам долгих лет здоровья и плодотворной научной деятельности и надеемся поставить при Вашем участии и под Вашим руководством ещё много красивых экспериментов, для объяснения которых будут созданы не менее красивые теории» (всего 48 подписей)⁹⁴.

«РЕПОРТАЖ С ТЕРМОЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК»

В начале ноября в «Правде» появилась необычная для этой для этой газеты статья-зарисовка, в которой запечатлелись некоторые подробности, касающиеся работы Отдела плазменных исследований академика Л.А.Арцимовича⁹⁵. «Мы пришли, – писали авторы репортажа, – в кабинет руководителя ОПИ с одним вопросом: «Как идёт работа по осуществлению термоядерного синтеза?» – «Это вопрос я слышу не впервые, – сказал Лев Андреевич, – и отвечаю на него сравнением. Представьте себе, что группа учёных XVIII века неожиданно увидела одноколёсный велосипед. Нетрудно вообразить себе, что один из них предположил – эта машина предназначена для езды. Другой, видимо, немедленно заявил, что может математически доказать – ездить на нём нельзя. Ну, а третий, скорее всего, попробовал бы проверить это экспериментально. Он сел бы на велосипед и, конечно, сразу бы упал.

Однако мы-то сейчас знаем, что есть люди, которые на одноколёсном велосипеде не только ездят, но и выполняют

⁹⁴ Личный архив Е.К. Завойского.

⁹⁵ Покровский А., Смирнов Ю. Как зажигается солнце. Репортаж с термоядерных установок // Правда. 1967, 3 ноября.

различные трюки. Так вот, можно считать, что мы едем на одноколёсном велосипеде с завязанными глазами по канату. Такова примерно мера трудности работы с плазмой. Но, пожалуй, позволительно сказать, что в последнее время повязка с наших глаз снята. Нам ясно, что канат достаточно длинный, но размер его известен».

В статье названы ближайшие сотрудники Л.А. Арцимовича (Л.И. Артёменков, В.С. Стрелков и др.), а также отмечены установки, которые были показаны корреспондентам (ПР-5, ПР-6, АС, «Огрёнок» и несколько токамаков).

ОТЧЁТ РЕЖИМУ

20-23 ноября 1967 г. в Сухуми состоялся очередной семинар по коллективным взаимодействиям в плазме. В связи с тем, что в нём принимал участие французский учёный Теренцио Консоли, Е. К. Завойский должен был предоставить отчёт главному режимному лицу ИАЭ, С. А. Трофимову. Черновик отчёта он оставил у себя. В нём говорится: «Профессор Консоли сделал обзорный доклад о работе в Сакле по СВЧ удержанию и нагреву плазмы. В этом докладе впервые была подробно изложена идея удержания и нагрева плазмы в неоднородном поле зеркальной ловушки и сделаны осторожные оценки применения этого метода для удержания термоядерной плазмы. Этот доклад вызвал живой интерес. После окончания заседаний была проведена подробная дискуссия с Консоли в узком составе участников семинара. В итоге дискуссии выяснилось, что действительно во Франции найден новый метод СВЧ удержания плазмы в пробкотроне, который может оказаться более эффективным, чем было известно для СВЧ до сих пор. Пока трудно сказать, насколько этот метод пригоден для решения термоядерной задачи, но несомненно, что он может быть применён для получения и исследования высокотемпературной плазмы в ловушках. В связи с этим следует установить более тесные связи с группой Консоли как теоретикам, так и экспериментаторам. Следует заметить, что перед поездкой в Сухуми Консоли был на симпозиуме по открытым ловушкам в Ок Ридже (США), где его идея ВЧ удержания термоядерной плазмы встретила среди части физиков поддержку.

В частных беседах проф. Консоли сообщил, что ЕВРОАТОМ и Франция приняли решение построить в Гренобле левитрон («Суперстатор») с малым диаметром 1 м и большим 8 м. Магнитное поле до 15 кЭ должно создаваться ударными генераторами общей мощностью 10^3 МВт. Время левитирования витка предполагается сделать $\sim 0,1$ с. Плотность плазмы будет достигать 10^{14} см⁻³. Предварительная плазма будет создаваться

джоулевым нагревом, и дальнейший нагрев будет производиться высокочастотными методами.

По утверждению Консоли, плазма в «Суперстаторе» будет устойчива, если удастся поднять её температуру выше 300 эВ. Этот результат получен путём теоретических расчётов. Установка начнёт монтироваться, по-видимому, с 1969 г., когда будет осуществлён переезд в Гренобль.

Из разговоров с Консоли можно судить о намерении учёных Франции и стран, входящих в Евратом, ставить эксперименты в крупных масштабах, одновременно решая смежные технические вопросы. Так, по словам Консоли, французская промышленность не выпускала ещё генераторов такого масштаба. Такие генераторы будут разрабатываться на заводах, производящих оборудование для крупных гидростанций. Предполагается также разработка ВЧ генераторов нового типа (магнетроны метрового диапазона длин волн) мощностью 30 МВт для нагрева плазмы.

Консоли заявил, что учёные Франции хотели бы принимать участие во Всесоюзном семинаре по коллективным взаимодействиям и в дальнейшем, присылая на него делегацию в составе нескольких человек, и выступать с докладами. На вопрос о том, могли бы учёные нашей страны посещать подобные семинары во Франции, Консоли заявил, что во Франции происходят специальные съезды один раз в два года, на которые, по его мнению, могут быть приглашены учёные нашей страны. По его мнению, этот вопрос, как и вопросы обмена учёными, могут быть поставлены во время посещения советской делегацией Сакле. Консоли выразил желание поставить совместные исследования, в частности, по ионной потоковой неустойчивости с целью нагрева плазмы до термоядерных температур. Он считает желательным более тесные контакты по исследованиям плазмы между Францией и СССР.

Из сказанного можно сделать следующие выводы:

1. Участие проф. Консоли во Всесоюзном семинаре по коллективным взаимодействиям было весьма полезным для советских физиков, т. к. позволило получить ценную информацию об идеях и планах французских учёных.
2. Объём работ по термоядерной тематике во Франции в ближайшие годы достигнет такого уровня, при котором контакты с французскими учёными будут весьма полезны учёным нашей страны. Уже сейчас Франция достигла значительных успехов в постановке экспериментов по СВЧ и ВЧ нагреву и удержанию плазмы и методам измерений.

Ниже прилагается проект дополнительного обмена учёными и информацией между СССР и Францией на 1968-1969 гг.

1. Учёные Франции систематически участвуют в работах Всесоюзного семинара по коллективным взаимодействиям.

2. В 1968 г. ИАЭ имени И.В. Курчатова направляет во Францию (отдел плазменных и термоядерных исследований, Сакле) теоретика (Л.И. Рудакова) на три месяца и принимает у себя французского теоретика на срок три месяца.

3. В 1969 г. ИАЭ имени И.В. Курчатова направляет во Францию (отдел плазменных и термоядерных исследований, Гренобль) на три месяца экспериментатора (С.Д. Фанченко) и принимает у себя на три месяца экспериментатора из Франции.

4. Франция приглашает до трёх учёных СССР на национальные конференции по проблемам регулируемого термоядерного синтеза и физики плазмы, собираемые один раз в два года.

После утверждения настоящего проекта вводится соглашение о научном сотрудничестве между СССР и Францией»⁹⁶.

25-ЛЕТИЕ ИНСТИТУТА АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

12 апреля 1968 г. в ИАЭ им. И.В. Курчатова состоялась сессия Учёного совета, посвящённая 25-летию со дня образования института. Сессия продолжалась два дня (12 и 15 апреля), причём в первый день прошли два заседания: одно открытое и другое закрытое. В первом принимали участие академики Л.А. Арцимович, Е.К. Завойский, М.Д. Миллионщиков и доктор наук Л.В. Грошев. Вступительное слово и заключительное (15 апреля) произнёс академик А.П. Александров.

На сессии были зачитаны следующие доклады: «Работы по ядерной физике в ИАЭ» (Л.В. Грошев), «Исследования по физике плазмы в прикладной тематике» (Л.А. Арцимович), «Работы по коллективным взаимодействиям в плазме, ведущиеся в ОЯФ (Е.К. Завойский), «МГД-преобразователи» (М.Д. Миллионщиков).

Черновик доклада Евгения Константиновича сохранился. В нём подводились итоги десятилетней работы сектора, который он в то время возглавлял. Теперь, когда прошли 40 с лишним лет, этот черновик является своего рода архивным раритетом, приведу его полностью: «В этом году исполняется десять лет работы сектора 74 Отдела ядерной физики по проблеме регулируемого

⁹⁶ Личный архив Е.К. Завойского.

термоядерного синтеза. За это время сотрудниками сектора опубликовано более 150 научных статей по разным вопросам физики плазмы, защищено две докторских и восемь кандидатских диссертаций.

В секторе работает группа теоретиков во главе с Л.И. Рудаковым и группа экспериментаторов (по алфавиту): М.В. Бабыкин, П.П. Гаврин, А.Г.Плахов, В.Д.Русанов, В.А. Скорюпин, В.П. Смирнов, Г.Е. Смолкин и С.Д. Фанченко. В состав сектора входит лаборатория плазменных волн Д.А.Франк-Каменецкого.

В течение 10 лет сектор проводил работы по исследованию магнитно-звукового резонанса, прямыми и т. н. косыми ударными волнами, теории турбулентной плазмы, использованию коллективных движений в плазме для нагрева её, дрейфовым волнам, циклотронному резонансу, диагностическим методам и другим вопросам.

В кратком докладе невозможно сколько-нибудь подробно изложить все полученные результаты, поэтому я остановлюсь только на цикле работ по турбулентному нагреву плазмы. Сюда относится нагрев плазмы сильными магнитозвуковыми волнами и нагрев током, текущим вдоль магнитного поля.

Исследование методов получения плазмы с температурой до $200\,000\,000^{\circ}\text{C}$ представляет не менее важную и сложную задачу, чем изучение удержания горячей плазмы в ловушках.

Вместе с тем, деление проблемы термоядерного синтеза на задачу нагрева и удержания плазмы в известной степени условно, так как не найден ни один путь решения проблемы в целом.

С 1961 г. в секторе исследовался нагрев плазмы сильными магнитозвуковыми волнами. Основная идея этого метода состояла в том, что с помощью быстрого сжатия плазмы нарастающим магнитным полем в плазме возбуждалось сильное электрическое поле, направленное перпендикулярно магнитному. В этих скрещенных магнитном и электрическом полях возникал сильный дрейфовый ток электронов плазмы, который должен быть неустойчивым и должен приводить к раскачке в плазме интенсивных колебаний. Благодаря этой неустойчивости тока, как показали наши эксперименты, направленные токовые скорости электронов в волне быстро хаотизировались и плазма нагревалась, а магнитнозвуковая волна сильно затухала.

В нашем секторе впервые было обнаружено и доказано, что механизм затухания волны носит «бесстолкновительный» характер, а эффективность нагрева плазмы очень высока: плазма необратимо получает до 30% энергии магнитного поля волны.

Исследования показали, что волна нагревает не только электроны плазмы, но и ионы.

В связи с этим интересно отметить, что за время прохождения волны через плазму, которое составляло не более $3 \cdot 10^{-8}$ с, электроны успевали нагреться до 1 кэВ, а ионы до 100-200 эВ при плотности плазмы $n=10^{12}$ см⁻³. Эти цифры показывают, что нагрев плазмы магнитнозвуковой волной ни в коем случае не мог быть объяснён парными кулоновскими столкновениями, которые могли обеспечить эффект нагрева только в 10^2 - 10^3 раз меньший. Таким образом, было доказано, что в основе поглощения сильной магнитнозвуковой волны плазмой действительно лежат коллективные процессы, а не кулоновские столкновения. Новый механизм! Раскачка коллективных процессов в поле волны означала появление в плазме сильной турбулентности. Отсюда метод нагрева получил название турбулентного.

В настоящее время сильные магнитнозвуковые и ударные волны широко исследуются как в нашей стране (ИАЭ им. Курчатова, ИЯФ СО АН СССР), так и за границей. Эти исследования полностью подтвердили существование бесстолкновительного механизма нагрева электронов и ионов плазмы и позволили получить подробную картину строения фронта волны. Однако следует отметить, что разработанный в своё время в нашем секторе энергетический метод для доказательства аномальной диссипации волны в бесстолкновительной плазме до настоящего времени является наиболее безупречным.

Это связано с тем, что сам по себе очень важный метод исследования строения фронта магнитнозвуковых волн, которым пользуется большинство исследователей, не даёт прямого ответа на вопрос о нагреве плазмы, так как форма фронта связана с поглощением только посредством теории, справедливость которой должна быть сначала доказана.

Турбулентный нагрев плазмы магнитнозвуковой волной возможно использовать для получения термоядерной плазмы, но для этого необходимо сначала решить ряд сложных технических вопросов возбуждения быстро нарастающих сильных магнитных полей в больших объёмах. Этими вопросами интенсивно занимаются в ФРГ и США.

В 1964 г. в секторе было обнаружено фундаментальное явление аномально большого нагрева плазмы током, текущим вдоль магнитного поля. Природа этого эффекта связана с раскачкой токовыми электронами ионно-звуковой неустойчивости и поглощением энергии колебаний электронами и ионами плазмы.

Иными словами, электроны в неизотермической плазме ($T_e > T_i$), когда их токовая скорость становится равной скорости ионного звука, турбулизуют плазму, раскачивая в ней интенсивные колебания, энергия которых, в силу нелинейных процессов взаимодействия волн, передаётся частицам плазмы. Высокий уровень энергии колебаний есть следствие интенсивного торможения токовых электронов, раскачивающих эти колебания, поэтому плазма оказывает току аномально большое сопротивление.

Это сопротивление при высоких температурах во много раз превышает классическое сопротивление плазмы, рассчитанное по парным кулоновским столкновениям.

Так, например, при температуре 20 кэВ и плотности $n=10^{15}$ аномальное сопротивление в миллиард раз превосходит классическое сопротивление плазмы. Это открывает новую возможность получения высокотемпературной плазмы путём нагрева холодной плазмы током. Этот, так сказать, аномальный джоулев нагрев следует назвать турбулентным, так как плазма при нагреве проходит через турбулентное состояние.

Как было сказано ранее, электроны турбулизуют плазму, когда их токовая скорость достигает скорости ионного звука C_s , поэтому условие нагрева плазмы током можно представить так: j

$=enC_s$ (1), где $C_s = \sqrt{T_e / M}$, где j – плотность тока, e – заряд электрона, n – число электронов в 1 см^3 , T_e – температура электронов, M – масса иона. Для дейтериевой плазмы $= 1,6 \cdot 10^{-13} n \sqrt{T \cdot a^{-2}}$. При турбулентном нагреве плазмы током величина T_e увеличивается со временем, а, значит, при постоянном n плотность тока должна увеличиваться, иначе нагрев плазмы прекратится. Если же в процессе нагрева уменьшается n , то нагрев может увеличиваться даже в том случае, если плотность тока остаётся постоянной или даже падает. Из формулы (1) находим мощность, выделяющуюся в плазме $jE = en C_s E$, где E – напряжённость электрического поля в плазме может быть выбрана столь значительной ($E \gg E_{qr}$), чтобы плазма достигала необходимой температуры за время, меньшее времени ухода её из ловушки за счёт диффузии или раскочки низкочастотных неустойчивостей. Но это время должно быть больше $1/\gamma$, где γ – инкремент развития ионно-звуковой неустойчивости. Согласно теории, $\gamma \approx \sqrt[3]{m/M} \omega_{pe}$, поэтому $1/\gamma \sim 10^{-9} - 10^{-11}$ с, т. е. очень малое. Время нагрева необходимо также сделать больше времени нагрева ионов в турбулентной плазме, которое, согласно теории, порядка $1/\omega_{pi}$,

т. е. тоже очень мало. Таким образом, за счёт ионно-звуковой неустойчивости плазма может быть нагрета до высоких температур за очень короткое время и скорость нагрева практически определяется только мощностью существующих источников тока. В экспериментах на небольших установках мы достигали мощности нагрева до $5 \cdot 10^8$ Ватт, и эта мощность также определялась только внешним источником.

Возникает вопрос: в течение какого времени турбулентная плазма в процессе нагрева удерживается магнитным полем ловушки? Можно дать совершенно определённый ответ, если спектр колебаний турбулентной плазмы не будет содержать низкочастотных колебаний, длина волны которых соизмерима с размерами плазмы. Такие длинноволновые неустойчивости могут быть связаны, например, с невыполнением критерия Крускала-Шафранова и пр. Поэтому, если турбулентность мелкомасштабная, то время диффузии плазмы поперёк магнитного поля может быть вычислено по известным формулам $\tau_{\perp}^e = r^2 / (v_e^* \cdot \rho_e^2)$ и $\tau_{\perp}^i = r^2 / (v_i^* \cdot \rho_i^2)$, где i – длина, v_e^* и v_i^* – частота столкновения электронов и ионов в турбулентной плазме, ρ_e и ρ_i – ларморовские радиусы электрона и иона. Не приводя вычислений, можно сказать, что диффузия турбулентной плазмы в этом случае может быть подавлена магнитными полями порядка десяти килогаусс.

Рассмотрим энергетический КПД турбулентного нагрева плазмы током. В наших экспериментах с открытыми ловушками показано, что КПД нагрева может достигать 25 %, но он в высокой степени зависит от согласования источника тока с нагрузкой – плазмой. На КПД сказываются также свойства магнитной ловушки, как, например, величина напряжённости магнитного поля, сдерживающего диффузию турбулентной плазмы поперёк магнитного поля. Важное значение для повышения КПД имеет подавление спектра низкочастотных неустойчивостей, приводящих к выбросу горячей плазмы на стенку камеры и т. д. В замкнутых системах КПД, вероятно, может быть наиболее значителен, так как здесь нет потери энергии на электроды.

Таким образом, эффективность нагрева достаточно велика и, если она останется такой же для плотной плазмы ($n \approx 10^{15} \text{ см}^{-3}$ и $T \sim 20$ кэВ) в больших объёмах (десятки кубических метров), то турбулентный нагрев сможет служить основой для разогрева плазмы термоядерного реактора будущего.

Мы не видим никаких серьёзных оснований сомневаться в том, что КПД нагрева останется высоким, и поэтому считаем постановку экспериментов в открытых и замкнутых ловушках с

плотной и высокотемпературной термоядерной плазмой своевременной и обоснованной.

Теперь суммируем сказанное. В секторе теоретически и экспериментально исследован новый подход к проблеме нагрева плазмы. Он состоит в том, что внешний источник энергии, раскачивая в плазме мелкомасштабные по сравнению с размерами устройства неустойчивости, переводит плазму в турбулентное состояние. Механизм раскачки колебаний плазмы наиболее вероятно связан с ионно-звуковой неустойчивостью. В результате турбулизации резко возрастает частота столкновений частиц плазмы, и, следовательно, скорость перехода электромагнитной энергии, подводимой к плазме, в тепло. Благодаря этому турбулентный нагрев плазмы на много порядков величины эффективнее обычного джоулева нагрева и может рассматриваться как наиболее подходящий метод для получения термоядерной плазмы в открытых и замкнутых ловушках большого масштаба.

В заключение укажем, что в настоящее время турбулентный нагрев широко исследуется как в нашей стране, так и в лабораториях многих стран. В прошлом и в этом году в США, Чехословакии и Франции проведены симпозиумы по турбулентному нагреву. Однако наша страна пока по уровню теоретических, так и экспериментальных работ, находится значительно впереди⁹⁷, что признаётся всеми иностранными учёными».

ТРЕТЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАГАТЭ

1-7 августа 1968 г. в Новосибирске, в Доме учёных приступила к работе 3-я Международная конференция МАГАТЭ по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу, которую из-за сходности в периодичности проведения со спортивными мероприятиями окрестили «плазменной олимпиадой». В ней приняли участие свыше 400 учёных из 14

⁹⁷ В «AEC Policy and Action Paper on Controlled Thermonuclear Research». June, 1966 было записано, что Советский Союз является лидирующим в этой области как по численности работающих учёных, так и по успехам в теории и по числу и разнообразию экспериментальных установок. В качестве рекомендации для отечественной физики комиссия писала: «Эта страна (США.– Н. З.) продолжает играть главную роль в УТС. Непозволительно стать второй, уступив любой другой нации в области, имеющей такое жизненно важное значения».

стран мира. Одних докладов было опубликовано 125, в том числе 3 обзорных⁹⁸.

Среди участников были: с американской стороны: Р. Л. Хирш (который в скором времени возглавил Комиссию по атомной энергии США), М. Розенблют, Г. Фюрт, Р. Пост, М. Готтлиб, Д. Гроув, Г. Зелигман; с британской стороны – Р. С. Пиз, Р. Байкертон, А. Вза. С советской стороны: министерский деятель К. Н. Мещеряков, академики Л. А. Арцимович, М. А. Лаврентьев, Е. К. Завойский, член-корреспондент Р. З. Сагдеев и многие другие.

Вспоминая то время, Жан Жаккино, ставший позднее главой плазменных исследований Франции, писал: «С научной точки зрения, это был довольно неясный период. Несмотря на значительный прогресс, всё же установки, работавшие на пинчах, стеллараторы, левитроны оставались «дырявыми» или нестабильными, и поведение плазмы частично ускользало от нашего понимания»⁹⁹.

Более рельефно описывает это время сотрудник Института физики плазмы имени Планка К. Лакнер: «Казалось, что к концу 60-х годов исследования по ядерному синтезу шли к концу. Некоторые схемы удержания были реализованы в очень больших установках и принесли горькие разочарования. В истории ядерного синтеза можно увидеть аналогию теории Дарвина о возникновении видов, а конец 60-х был моментом вымирания динозавров. Это был бы также конец исследованиям в области ядерного синтеза, если бы в тогдашнем СССР пара маленьких млекопитающих не обнаружила сильные признаки живучести. Они назывались токамаками...»¹⁰⁰

Председателем советского подготовительного комитета Новосибирской конференции был Л. А. Арцимович. В интервью для газеты «Московская правда» он заявил: «Сегодня можно уверенно сказать: сомнений нет, что плазма с термоядерными параметрами будет получена и будет создан термоядерный реактор. Проблема и с научной, и с технической точки зрения

⁹⁸ Романовский М. К. Термоядерные исследования в ИАЭ им. И. В. Курчатова в 1965-1968 гг. // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Термоядерный синтез (далее: ВАНТ). 2008, вып. 4. С. 91; Давыдченко В., Рошин Б. Управлять энергией. Известия. 1968, 1 августа.

⁹⁹ ITER Newslines, 43.

¹⁰⁰ Lackner K. 1958-2008: 50 Jahre Fusionsforschung für Frieden // Festschrift «50 Jahre Plasmaphysik und Fusionsforschung in Innsbruck». 2008. S. 3-4.

имеет решение. Но здесь можно предполагать, что научная сторона проблемы будет решена в основных чертах довольно скоро, может быть, уже в ближайшее десятилетие. Однако техническое осуществление термоядерного реактора займет значительно больше времени»¹⁰¹.

В Новосибирске Л.А. Арцимович выступил с докладом о достижениях, полученных на токамаке. Хотя работа Льва Андреевича «формально не привлекла особого внимания – в дискуссии выступили всего три человека, – но в кулуарах о ней говорили много»¹⁰². Физики отнеслись к его словам со скепсисом¹⁰³. Ведь все уже были наслышаны о бразильском блефе, о «триумфе» английской «Зеты»¹⁰⁴. «Один из делегатов США – М.Готтлиб, – вспоминал позднее сотрудник Арцимовича М.К.Романовский, – в течение, по крайней мере, часа пытался доказать автору обзора, что данные по температуре (T_e и T_i) ошибочные, приводя возможные причины ошибок, и, хотя на все замечания получил, по-моему, убедительные ответы, я не уверен, что он изменил свою точку зрения». Не оправдывали возложенных на них надежд стеллараторы, ловушки и другие экспериментальные установки. В этой связи известны выступления Г. Фюрта и Р. Поста, которые советовали сообществу плазменщиков прекратить строить дорогостоящие реакторы и вернуться к непреложным истинам фундаментальной физики. Резко выразился Фюрт: «Никто до сих пор не понимает, как работают токамаки». Наиболее активными противниками токамаков оказались учёные Принстонской лаборатории: Г. Фюрт объединился с В.Стодиком из Западной Германии, который уже

¹⁰¹ Московская правда. 1968, 10 августа.

¹⁰² Романовский М. К. Термоядерные исследования в ИАЭ им. И. В. Курчатова в 1965-1968 гг. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 2008. Вып. 4. С. 92.

¹⁰³ Herman R. Fusion. The Search for Endless Energy. Cambridge University Press. 1990. P. 85.

¹⁰⁴ «Мой отец, Бас Пиз, – писал его сын, – входил в тот коллектив. Он часто говорил о взлётах и падениях экспериментальной фортуны. В 1992 г. по Би-Би-Си он сказал, что никоим образом не был смущён: «Чем больше я думаю о «Зете», тем больше я убеждаюсь в том, что это был большой пионерский эксперимент». (Pease Roland. The Story of 'Britain's Sputnik').

долгое время работал в Принстоне. Они предсказывали уход электронов¹⁰⁵. Но вскоре Фюрт изменил свою позицию.

Однако Л.А.Арцимович сдаваться не думал. Ещё до начала конференции её организаторами было принято официальное решение, что после закрытия конференции иностранные учёные смогут по их желанию побывать в шести советских институтах: в ИАЭ и ФИАНе (Москва), в ФТИ им. Иоффе и НИИ им. Ефремова (Ленинград), ХФТИ (Харьков) и СФТИ (Сухуми)¹⁰⁶. Арцимович смог пробить разрешение на приезд английских физиков в Курчатовский институт с их лазерным оборудованием¹⁰⁷ и фотоумножителями, которых в СССР в то время не было, для проведения проверки полученных им и его коллективом результатов. С английской стороны этому способствовал влиятельный глава Калэма Джон Б.Адамс¹⁰⁸. В феврале 1969 г. в Москву charterным рейсом прибыл самолёт с тремя физиками-англичанами М.Форрестом, П.Вилькоком и Н.Пикоком и их пятитонным оборудованием. Руководителем группы был Пикок¹⁰⁹. В Москве их встречал Д.Робинсон, прибывший ещё в 1968г. Работы по проверке данных проходили сложно и долго. Когда всё было закончено, исследователи вернулись в Англию, чтобы обработать полученные данные, и, как известно, они были подтверждены. Результаты по проверке данных Л. А. Арцимовича и его коллектива были опубликованы в журнале «Nature»¹¹⁰.

Академик Г.И.Будкер, выступая на Новосибирской конференции с заключительным словом, высказал мысль, что

¹⁰⁵ Herman R. Fusion: The Search for Endless Energy. Cambridge University Press, 1990. P 96.

¹⁰⁶ Информационное письмо № 1. To the Foreign Participants of the 3d Conference on Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion. Личный архив Е.К.Завойского.

¹⁰⁷ По воспоминаниям сотрудника ИАЭ Ю. С. Макарова, лазер был получен англичанами по разрешению Министерства обороны США от Р. С. Макнамары с условием, что все полученные данные будут дублированы для американцев. (Устное сообщение 3 мая 2009 г.).

¹⁰⁸ Stafford G. H. John Bertram Adams. // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. 1986. V. 32. P. 17; Pease R. S. John Adams and the Development of Nuclear Research // Plasma Physics and Controlled Fusion. 1986. Vol. 28, no. 2. P. 406.

¹⁰⁹ Скорее всего, мы никогда не узнаем, во что обошлась эта операция для советской стороны.

¹¹⁰ Nature. 1969. Vol. 224. P. 448.

»количество накопленных знаний о плазме достаточно, чтобы те, кто тесно связан с этой проблемой, переключили своё внимание на создание термоядерного реактора, оставив исследовательскую работу тем, кто любит исследовать физические проблемы. На это могут возразить: как же можно начать и выполнить эту работу, если нет новых идей? Но идеи появятся в процессе работы. Если же мы не изменим нашу философию, то будем напоминать софиста, который утверждал, что не залезет в воду, пока не научится плавать»¹¹¹.

По окончании конференции академик Г.И.Будкер дал интервью корреспонденту газеты «Труд», в котором, в частности, сказал: «Значение нынешней конференции лучше всего оценить, сравнив её с двумя предшествующими. Если на первой конференции многие физики проявляли скептицизм в отношении возможности осуществить управляемую термоядерную реакцию, а на второй конференции такие тенденции ещё были, то после нынешней – третьей, я думаю, скептиков останется совсем мало... Третья Международная конференция показала также, что наши знания о плазме, наше понимание законов её жизни углубились. И хотя, как выразился один из участников конференции, ключей от такого ящика, в котором природа хранит чертежи от термоядерной электростанции, мы ещё не имеем, я думаю, что мы уже твёрдо знаем дорогу, по которой надо идти, чтобы овладеть этими ключами»¹¹².

Таким образом, на Новосибирской конференции были чётко сформулированы два глобальных подхода к проблеме осуществления УТС: одни учёные считали, что уже пришла пора строить термоядерный реактор, а «понимание придёт потом» (Лагранж). Другие же, считая, что это преждевременно, призывали углубиться в изучение физики плазмы, чтобы накопить побольше знаний для осуществления очень сложной, но благородной в своей основе цели: дать человечеству бесконечный источник энергии.

Евгений Константинович был также участником Новосибирской конференции. Его направление – турбулентный нагрев плазмы – было выделено в отдельную секцию, и, как писали очевидцы, доклад его был принят слушателями с интересом.

Такова наша советско-российская специфика, что все дискуссии по поводу принятия глобальных решений – «строить

¹¹¹ Proc. Series. Plasma Physics and Controlled Nuclear Research. Vienna. 1969. Vol. 1. P. 41.

¹¹² Будкер А.М.Ключи от Солнца» // Труд. 1968, 8 августа.

или продолжать изучать» – проходили кулуарно. Здесь и впрямь ни одного документа не найти. Впрочем, и за рубежом таких статей не очень много¹¹³.

Некий след несогласия с позицией Л. А. Арцимовча остался запечатлённым в статье известнецов В. Давыдченкова и Б. Коновалова «Земное Солнце»: «Хотя черты термоядерного реактора будущего пока, мягко говоря, выглядят туманно, сейчас уже предпринимаются попытки некоторых экономических оценок»¹¹⁴.

ДАЛЬНЕЙШИЙ ХОД СОБЫТИЙ

Вскоре после Новосибирской конференции в СССР была создана комиссия по определению статуса и направления работ всех термоядерных институтов под председательством академика Е.П.Велихова.

Поездке Л.А.Арцимовича в США несколько строк посвящено в интервью советника при президенте Р. Никсоне Роя В. Гулда: «Был русский учёный по имени Лев Арцимович, который приехал в Штаты в 1968 г. и усиленно пропагандировал свои токамаки. Он был из Института Курчатова в Москве. Он посетил Массачузетский технологический институт: приближаться к лабораториям Комиссии по атомной энергии он не мог из-за секретности, поэтому посетил МТИ. Там он прочитал несколько лекций об экспериментах, проведённых на токамаках в Москве. И температура, и времена удержания становились довольно хорошими, значительно лучше, чем результаты у принстонского стелларатора, а также другие результаты в американской программе. Сначала физики действительно ему не поверили... Впоследствии я видел несколько их лабораторий и удивляюсь, как они смогли что-то сделать: условия, в которых они работали, оборудование, которое у них было, грязные лаборатории... Был долгий период недоверия... Американское сообщество моментально отреагировало, и, конечно, был создан комитет. Я забыл его название, но обычно его называли Комитет Керста, по Дональду Керсту... Целью Комитета Керста было изучение результатов, полученных на токамаке, и выработка рекомендаций, какой должна быть программа США... Мы пришли

¹¹³ Например, Lidsky L. The Trouble with Fusion // Technology Review. 1983, Oct. P. 1-12.

¹¹⁴ Известия. 1968, 6 августа.

к заключению, что программа должна быть переориентирована, что мы должны взяться за токамачные исследования в США»¹¹⁵.

Примерно к этому времени относится черновик Е.К. Завойского с предложением обратить внимание на другие подходы к проблеме УТС: «В последние годы всё больше растёт уверенность в том, что подход к термоядерной проблеме возможен только через всестороннее изучение физики плазмы. Основанием к этому явилось крушение надежд нагреть и удержать плазму практически во всех известных ловушках. Это заставляет теперь серьёзно пересмотреть основные направления термоядерных исследований, принятые ещё в середине 50-х годов, и вновь оценить возможность других подходов к проблеме с учётом развития техники за эти годы. Это означает также, что необходимо расширить поиски принципиально новых путей использования реакций синтеза. Работа такого масштаба не может быть успешно проведена существующими коллективами физиков-термоядерщиков без значительного пополнения их молодёжью и смены части состава. Обычно в периоды крупной ломки представлений в данной области науки необходимо изменение прежних организационных форм работы. Поэтому следует считать целесообразным и своевременным организацию при АН СССР открытого института физики высокотемпературной плазмы и перспективных термоядерных исследований. Как известно, организация подобного центра по плазменным исследованиям уже проведена в Англии (Калэм) и скоро будет закончена во Франции (Гренобль). О необходимости развития термоядерных исследований существуют разные, иногда противоречивые мнения.

Однако за последние годы во всех странах мира увеличивается число учёных, занимающихся данной проблемой, и расширяется предоставляемая им техническая база. Это является беспспорным и вызвано не только надеждами на конечный результат, но также всё более чётким пониманием значения физики плазмы как самостоятельной области физики. Поэтому наша страна не может свёртывать работу по термоядерному синтезу, не рискуя существенно отстать от общего уровня зарубежной науки.

Исследования физики плазмы пока должны иметь конечной целью термоядерный синтез, однако не исключено, что они не приведут к другим важным практическим приложениям. Как и во

¹¹⁵ Interview with Roy W. Gould by Shirley K. Cohen. Pasadena, California. Archives. 1999. P. 45-46.

всякой науке трудно предвидеть эти приложения, но всегда можно утверждать, что расширение знаний оправдывает все затраты на исследование.

Можно всё же попытаться наметить вероятные области приложения плазмы в ближайшее время, не претендуя на полноту: 1) моделирование процессов в космической и звездной плазме; 2) исследование процессов в околоземной плазме; 3) разработка сверхмощных генераторов в широком спектре частот; 4) мощные импульсные генераторы нейтронного и рентгеновского излучения; 5) ускорители частиц на большие токи и энергии с использованием плазмы.

Крупный успех даже только в некоторых из этих направлений стоил бы затрат на изучение плазмы»¹¹⁶.

1968 г. Е.К. Завойский высказал предложение о возможности нагрева плазмы с плотностью дейтериево-третиевой смеси до термоядерной температуры с помощью мощного пучка релятивистских электронов. Тогда он предложил использовать электронные пучки как более перспективный метод по сравнению с использованием лазера.

Возможность применения мощного пучка электронов для быстрого нагрева небольшого объема конденсированной ДТ-смеси возникла в связи с развитием техники получения мегаамперных пучков релятивистских электронов. Предложение об использовании сильноточного пучка электронов для турбулентного нагрева сверхплотной плазмы за счёт коллективного торможения пучка было сделано Е.К. Завойским и в том же году независимо от него в США Ф. Винтербергом.

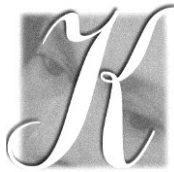
(продолжение следует)



¹¹⁶ Личный архив Е.К. Завойского.

Сергей Хазанов

Что мы Гекубе?



то нам они и кто для них мы? Мое поколение 970-х (прошлого, страшно признаться, тысячелетия) видело Запад в розовом до черноты цвете, путаясь между снисхождением и идолопоклонством (да, Скифы мы), чувствами не столь уж полярными. Мы искренне сочувствовали бедным западноевропейцам, имевшим несчастье родиться в мире потребительства, безработицы, всеобщего равнодушия, разврата, наркотиков, упадка культуры, в мире желтого дьявола одним словом. При все при том на каждого капиталистического сантехника, волею судеб оказавшегося на некоторое время в СССР, мы взирали по меньшей мере как на Дельфийскому Оракула, робко интересуясь у взмокшего от странных русских вопросов бедняги, любит ли он опус 116 Брамса и как оценивает «Пасху и Тотем» Джексона Поллока.

Переехав на Запад, мы полагали, что наш крест - осчастливить этих зажавшихся духовно нищих, оплодотворить их великой русской культурой, от Г.Державина до Е.Петросяна. В 80-х, уже в Швейцарии и во Франции, я тоже пролил кровь и пот за правое дело – пытался было цивилизовать своих новых европейских приятелей. Будучи приглашен в гости, вместо швейцарского шоколада или бутылки Бургундского, я тащил им Бабеля и Булгакова в переводе на французский. Хозяева, в большинстве своем «образованщички», крутили томики в руках, бурно благодарили, но на последующие мои вопросы об этих шедеврах мычали что-то невразумительное, и больше в гости не приглашали. Единственное что сходило с рук, это диски русской классической музыки в отечественном же исполнении.

«Тьмы низких истин нам дороже / Нас возвышающий обман». Чего там жеманиться - обжившись на Западе, мы быстро осознали, что:

а) насчет наших Пенат там бытуют оригинальные мнения типа «В России живут одни Новые Русские, которые разъезжают на Мерседесах, черпая из бочки черную икру и запивая шампанским Veuve Cliquot», и

б) что практически ни о ком из наших отечественных идиолов там не слышали – ни о Высоцком, ни о Жванецком, ни даже о Кобзоне. Исключение составляют танцовщики и музыканты. Мало кто даже среди лиц с университетским образованием читал Гоголя, Булгакова или Трифонова. Никого кроме Толстоевского да Чехова (причем исключительно драматурга) они не знают и знать не хотят. «Мастером и Маргаритой» восхищаются отказываются и под пыткой.

Набоков, это еще туда сюда – про Лолиту слышали многие: для мира он автор одной книжки, или скорее фильма, ну этого, про любовь с малолеткой. Пастернак? Ну как же, блокбастер с Омаром Шарифом...

Возьмем такую родную всем русским Францию. Из наших классиков здесь наиболее «распиарен» Тургенев, да и то чаще по ассоциации с Полиной Виардо. Были и есть, разумеется, «русские» французские авторы Анри Труайя, Андрей Макин с его «Русским завещанием», Джозеф Кессель и конечно Ромен Гари (Роман Кацев), единственный в истории дважды лауреат Гонкуровской премии, получивший ее в 1956 г. под своим именем, а в 1975 г. уже укрывшись за псевдонимом Эмиль Аджар (иначе просто не дали бы). Но ведь эти замечательные литераторы, пусть в чем-то и продукты русской культуры, жили во Франции, писали на французском и для французов. Если же затрагивали «русские темы», то чаще всего выдавали именно то, что западному читателю хотелось услышать, по принципу «Вам хочется песен? Их есть у меня». Эдуард Лимонов, тот всегда «писал против ветра». Но хотя он много издавался во Франции и был одно время баловнем Парижской богемы, влияние его текстов, будь они трижды замечательны, не шло ни в какое сравнение с интересом, вызванным его лубочно-авантюрной биографией Limonov, сделанной Эммануэлем Каррером (хорошим писателем и по случайности сыном знаменитого французского специалиста по истории России мадам Элен Каррер-д'Анкос, постоянным Секретарем знаменитой Académie Française), книги, стяжавшей во Франции заслуженно большой успех.

А вот чтобы русский чужак-медведь подтолкнул местных жителей глянуть по-новому на их житье-бытье, задуматься и может даже измениться, как это было с нами самими по прочтении записок Маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году»... Ильф и Петров пытались пробить на Западе сатирический сценарий о тамошней жизни - осечка. Эренбурга за «Падение Парижа» вытолкнули из Франции. Того же Лимонова за статью, критикующую отношение Америки к русским эмигрантам,

вышибли из Нью-йоркского «Нового Русского Слова». Даже Солженицыну это не удалось – после его публичных проповедей о морально гибнущем Западе ему вежливо, но твердо намекнули сменить тему и проповедовать лучше о России. Это удел не только России - Хемингуэевский «По ком звонит колокол» покорила весь мир, но не испанцев – для них это наивное мнение американца об IX гражданской войне.

Исключение, пожалуй, составляет Набоков, которому в «Лолите» удалось открыть миру иную Америку - Страну-Незнакомку в темной вуали, схваченной шелками и туманами дорог, мотелей, городков и бензозаправок.

Не так давно возник новый феномен «на заданную тему», достойный даже нашего просвещенного внимания: Gary Shteyngart (Игорь Штейнгатт), один из самых превозносимых критикой и в то же время продаваемых и читаемых (вещи несовместные?) современных американских авторов. Пишущий на английском, но с нарочитым постсоветским привкусом. Читая его «Super Sad True Love Story» (Granta Books 2010) чувствуешь, как джентельменски сухопарая англо-саксонская проза наполняется запахами и духом русской романтической и сатирической литературы, и в результате былая, современная и будущая Америка начинает видиться в слегка ином свете.

Мысль Штейнгатта не позволяет перескакивать абзацы, и в то же время задремать над текстом не дает его юмор. В общем, читая остаешься в постоянном напряжении (чего современный читатель, может, вовсе и не ищет).

«Сегодня я принял важное решение – я буду бессмертен» – так начинается это повествование. Автор не пугается смерти, не прячется от нее за шкафом, за родителями, за суетой сует наконец, а искренне ею интересуется и пытается вступить в диалог. Не пугается по личной причине - по собственному признанию, он с детства страдал сильной астмой, в Союзе тогда неизлечимой, и ждал смерти при каждом новом приступе, когда семья в панике выглядывала в окна машину Скорой.

39-летний старомодный тьюфик Ленни (Леонид) Абрамов, сын русских еврейских иммигрантов - может быть последний любитель книг в завтрашней Америке, погрязшей в долгах у Китая и стоящей на пороге мега бунта - служит в корпорации по продаже бессмертия сверхбогатым клиентам. Ленни влюбляется в красавицу дочь корейских иммигрантов Юнис Парк, значительно его моложе - жесткую, нежную, ультрасовременную и старомодно добросердечную – ту самую Половинку, которую ищут все, а

находят... «Я думаю, что Юнис позволит мне обрести бессмертие», – признается Ленни.

Иронически-сентиментальное описание любви между детьми иммигрантов, русским евреем Леонидом и кореянской Юнис, письма иммигрантов-родителей их детям, сознательно или нет, но свернувших с колеи, намеченной семейным кланом, столкновение и притирание двух миров (Запад есть Запад, Восток есть Восток) – все это вышибает слезу, уверенно, как в хорошем старом индийском фильме. Кстати, подобный феномен еврейско-азиатских семей уже довольно част в американских университетских городках.

Передать зрителям свою эмоцию – одна из самых трудных задач художника. И это Гари Штейнгарту удастся. Подобное испытываешь, читая Лимоновское «Укрощение тигра в Париже», где сорняк любви пробуривает асфальт провокационного цинизма, а в дальнейшем просто размывает грань между ними.

Сатирический план книги Штейнгарта впечатляет. Попробуйте расшифровать язык текстовых сообщений современной манхэттенской молодежи, выражения типа JBF, FAC и PhD! В мире людей, сросшихся с их ÄPPÄRÄTs, людей, раздутых как от водянки информацией, лишенных книг и идеалов и стоящих на пороге уничтожения, Ленни пытается убедить Юнис в том, что ценности есть, что жить стоит и жизнь прекрасна. Говоря об этой книге, критики проводят параллель с Орвелловским 1984, но может быть, Гари Штейнгарт видит дальше других и потому, что стоит на плечах таких отечественных гигантов, как Замятин и Стругацкие, опять же Западу, к сожалению, практически неизвестных.

Хочется верить, что «Super Sad True Love Story» вошьет в американскую литературу свежую русскую кровь, а повезет и изменит ее генетику. Что книга эта подтолкнет Запад взглянуть на Россию не со снисхождением и страхом, а с уважением и интересом, подтолкнет читать и других русских авторов кроме Толстоевского. Это настоящая Большая русско-американская Книга, грустная, смешная многослойная – ее можно начать с любого места и потом тянет перечитывать еще и еще. Чего Вам и советую.

Женева



Стив Левин

«Мария! Имя твое я боюсь забыть...»

Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
было в Одессе.
«Приду в четыре», – сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.



Как начинается рассказ об «украденной» любви поэта в поэме В.В. Маяковского «Облако в штанах» (1914-1915). После невыносимо длительного ожидания вошла *она*, «резкая, как «нател!», // муча перчатки замш, // сказала: «Знаете – // я выхожу замуж».

Кто же *она*, разбудившая «Везувий» страстей и вызвавшая «пожар сердца» «красивого, двадцатидвухлетнего» Владимира Маяковского? Считалось, что это собирательный образ, но конкретные указания на место и время действия и обращение поэта не к символу, а к реальной земной женщине («Тело твое // я буду беречь и любить, // как солдат, // обрубленный войною, // ненужный, //ничей, // бережет свою единственную ногу») свидетельствуют о наличии у героини жизненного прототипа.

Марию Александровну Денисову Маяковский встретил впервые в январе 1914 г. в Одессе, где вместе со своими друзьями-футуристами Давидом Бурлюком и Василием Каменским выступал с чтением стихов в Русском театре. Каменский обратил его внимание на «совершенно необыкновенную девушку: высокую, стройную, с замечательными сияющими глазами... настоящую красавицу». Маяковский увлекся ею мгновенно, и это чувство всего его преобразило: к концу дня он предстал перед друзьями «возбужденный, чему-то улыбающийся, рассеянный необычно, совсем на себя не похожий». Он был настойчив, страдал, не желая примириться ни с какими условностями.

Маяковский и Бурлюк нарисовали каждый по портрету Марии, вполне реалистические. Шведский исследователь Бенгт Янгфелдт, публикуя их в своей книге «Ставка – жизнь: Владимир Маяковский и его круг» (М., 2009), обращает внимание на надпись криптограммой, сделанную на обороте портрета Бурлюка: «Я вас люблю... дорогая милая обожаемая поцелуйте меня вы любите меня?», видя здесь «след ухаживания Маяковского» (с. 35). Мария же, бросившая гимназию и учившаяся на курсах живописи и скульптуры, независимая по характеру, не ответила Маяковскому взаимностью, хотя он ей и нравился. В дальнейшем она училась в художественном училище в Москве (во ВХУТЕМАСе). В ее жизни было и неудачное замужество с преуспевающим инженером (они жили в Швейцарии), и рождение ребенка...

Революционный водоворот заставил ее вернуться на родину и захватил, как и многих подобных ей волевых и идейно убежденных женщин. Как комиссар Вавилова из рассказа Вас. Гроссмана «В городе Бердичеве», Мария Денисова оставила дочку у знакомых, а сама ушла в Первую Конную армию. Руководила художественно-агитационным отделом сначала Первой Конной, а потом Второй. Рисовала агитплакаты, карикатуры, играла на сцене. Перенесла три тифа и была ранена. Во время Гражданской войны второй раз вышла замуж за члена Реввоенсовета Первой Конной Ефима Афанасьевича Щаденко (другими членами этого руководящего органа были Буденный и Ворошилов). Во время этой войны имя Щаденко гремело рядом с именами его соратников, но в мирное время, поднимаясь по служебной лестнице (с 1937 г. – зам. Наркома обороны СССР) этот малообразованный политработник (окончил только два курса Академии им. Фрунзе) ничем себя не проявил (но был причастен к репрессиям 30-х гг.), а во время ВОВ, будучи членом военного совета ряда фронтов, очевидно, показал полную бездарность, поэтому уже в военном 1944 г. был окончательно уволен в запас.

Мирная жизнь обнаружила полную несовместимость личности художницы (Денисова была скульптором-монументалистом, ее работы выставлялись на международных выставках) со вкусами мужа-солдафона. Им дали большую квартиру в Москве, в Доме на набережной, на последнем, десятом этаже, с огромным балконом. Мужа раздражало, что жена занимается своими скульптурами, и они были выброшены на балкон, под дождь, снег и ветер...

Единственной отдушиной для Марии Александровны был Маяковский, которому она писала письма и у которого иногда бывала. В 1926-1927 гг. она изваяла в гипсе голову «Поэта».

Портрет трагичен: Маяковский изображен с глубокими складками, идущими от губ к подбородку, голова поэта погружена в гипс, тонет в нем. В портрете как бы уже виден трагический финал его судьбы. В письме к Маяковскому Мария Александровна так объясняла свой замысел: «Работа "Поэт" построена на остром угле – да и по существу Вы остро-угольный».

Семейная жизнь превратилась для нее в муку. В письме Маяковскому от 21 декабря 1928 г. она сообщала: «С мужем разошлись ... и всё из-за скульптуры... Временно упрости все же вернуться – грозя, что застрелится – А уйти нужно – работать не дает. Домострой. Эгоизм. Тирания». Из этого письма мы узнаем, что, хотя Щаденко категорически запрещал ей брать деньги у Маяковского для оплаты скульптурных работ, она бывала у поэта и получала от него помощь, за которую была ему «бесконечно благодарна». «Если бы я когда-нибудь могла бы быть Вам полезной, то, ясно, сделала то же самое, что и Вы».

И вот такой случай представился. В ноябре 1929 г. отмечалась 10-я годовщина создания Первой Конной. Празднование наместили на февраль следующего года, была создана специальная комиссия, в Президиуме которой – Ворошилов, Буденный, Щаденко. Денисова пишет Маяковскому письмо, в котором сообщает: «от Вас и масса, и вожди, и политмысль ждет "своих" произведений – причем они ждут не дожидаясь и уже требуя в кратчайший срок отображения героической действительности» [Здесь и далее цитирую это письмо, хранящееся в РГАЛИ, по публикации В. Терехиной в журнале «Человек». 2000. №1]. Маяковский должен исполнить «социальный заказ» – написать «красноармейскую "драму"». «Я прошу и требую Вашего внимания и к положительным сторонам революции. Заметьте и отметьте и – и + в революции».

И дальше, со свойственным ей напором, рисует «отличительные черты того времени», знакомые, конечно, и Маяковскому: «Транспорт застыл. Мертвое кладбище паровозов (где там до локомотивов революции), бездорожье страны. Степи юга, их пустыни. Фронт прорван. Белые у Тулы.

Пехота с «вилами» вместо «техники» безоружна, беспомощна против Мамонтова и Шкуро. У нас имеется только корпус Буденного, **бывший Миронова** [ошибка: речь идет о сформировавшемся весной 1919 г. на основе Особой донской кавдивизии конном корпусе **Б.М. Думенко** (Буденный был у него в подчинении). 25 мая 1919 г. Думенко был тяжело ранен. А после выздоровления, командовал с сентября 1919 Сводным кавалерийским корпусом. Буденный же 26 апреля 1919 г. вступил

в командование 1-м Красным кавалерийским корпусом, на основе которого была сформирована Первая Конная армия. В феврале 1920 г. по ложному обвинению, к которому приложили руку Буденный, Ворошилов и Щаденко, Б.М. Думенко был отстранен от командования и 11 мая того же года расстрелян. – С.Л.]. Корпус бандитский, антисемитский, готовый пойти на провокацию белых. Партия в лице Сталина посылает прорваться Щаденко с ординарцами через белые степи, разыскать корпус Буденного, агитировать, двинуть на героизм к Воронежу. Это сделано. После доклада проекта Щаденко Сталину о возможности создать Армию Конную, взяв за основу корпус Буденного. Клич дал нам Ильич... Пролетарий на коня [На самом деле клич дал Л.Д. Троцкий. – С.Л.].».

Денисова пересказывает уже сложившуюся к тому времени легенду о Сталине как инициаторе создания Первой Конной. (Бен. Сарнов воспроизвел такую историю из интеллигентской фольклорной «сталинианы»). Вызвал однажды Сталин Буденного и предложил ему в знак любви к вождю подарить ему свою фотографию, надпись на которой сформулировал сам: «Дорогому Иосифу Виссарионовичу Сталину, создателю Первой Конной армии». «Буденный написал, расписался, вручил. Сталин: - А теперь я тебе свою фотографию подарю. Достал фотографию и надписал: «Дорогому Семену Михайловичу Буденному, подлинному создателю Первой Конной армии». – Бенедикт Сарнов. Сталин и Бабель // Октябрь. 2010. №9).

Излагая легендарную историю Первой Конной армии («ни одного недобровольца не было в 1-й Конной Армии», «элементы бакунизма, антисемитизма выкорчевывались политотделами, упрощением и ревтрибуналом самым беспощадным образом», красноармейцы «сумели не разложиться, сделав небывалый в истории переход... с Кавказа до Польши и оттуда до Перекопа»), Денисова, хорошо зная действительные факты (армия пополнялась за счет взятых в плен белоказаков и всякого сброда, комиссаров в ней убивали, политотделы порой оказывались на нелегальном положении, а при отступлении из Польши она «прославилась» еврейскими погромами), вдруг проговаривается и сообщает, что «при взятии Воронежа, Ростова РВС не покидал седла три дня... лоя пьющих (погребки были провокационно открыты белыми), разбивая шашками четверти и бочки. Приходилось, только что освободив от белых рук город, бить своих «героев», жадно безотрывно пьющих из бочки четвертями – бить револьверами в лицо, стреляя в то же время мимо виска, уже

в воздух, обливать с трансбоя [так. – С.Л.] водой и буквально расстреливать своих же коммунистов, командиров, если они попадались пьяными».

И все же для «революционной Валькирии» неприемлема та правда, которую поведал Бабель в своей «Конармии». Вслед Буденному, писавшему в статье «Бабизм Бабея...», что писатель охаял его славную армию, Денисова утверждает: «То, что пишет Бабель, это мелкий эпизод. Видно, что он сидел в тылу, в обозе, - трусливо выглядывая из мешков – барахла, а выглядывая так, он подглядел только под юбку революции и Конной Армии...» И все же не может удержаться и не сказать: «маленький человек, а пишет хорошо, молодец».

Бабель много размышлял в своем конармейском дневнике и в книге о роли женщин в Конармии. Он увидел там не только «дам всех эскадронов» и «обозных фей», но и по-настоящему героических женщин. Одну из них он описал в очерке «Её день» в армейской газете «Красный кавалерист»: «Под самым ужасным обстрелом сестра с презрительным хладнокровием перевязывала раненых, тащила их на своих плечах из боя <...> Вот они, наши героические сестры! Шапку долой перед сестрами!» (Лит. Наследство. Т. 74. С. 488).

Вероятно, одной из таких героических женщин и была Мария Александровна Денисова. Судьба ее сложилась трагично. В письме от 8 декабря 1929 г. она благодарил Маяковского за пьесы «Клоп» и «Баня» - «за защиту женщины от домашних “настроений” мужей-партийцев». В образе героини «Бани» Поли, жены «главначпуца» Победоносикова, и в ее драме угадываются какие-то черты Марии Денисовой. Ответ загадочной «Джоконды - Монны Лизы», Марии Денисовой, виден, как считает американский бабелевед Г. Фрейдин, и в образе главной героини пьесы И. Бабея «Мария» (1934) Марии Муковниной, все время остающейся за сценой, но являющейся по существу духовным центром произведения («...прототипом Марии Муковниной, заглавной героини пьесы, в какой-то мере была ее тезка Мария Денисова»). Другой персонаж, возникающий в ее письме близким, «Аким Иваныч», ассоциируется с Щаденко (Фрейдин Г. Два Бабея – две Афродиты).

Автобиография в «Марии» и бабелевский миф Петербурга. - В кн.: The Enigma of Isaac Babel. Biography, History, Context. Edited by Gregory Freidin. Stanford University Press. 2008).

После 1936 г. и «ежовщины» творческая активность Марии Денисовой-Щаденко угасает – нет новых работ. В письме к Маяковскому уже появлялось слово «психастения». Видимо, в

состоянии душевного надлома она совершила последний шаг – в декабре 1944 г. ринулась вниз с десятого этажа...

«Красноармейская "драма"» о Первой Конной так и не была написана Маяковским. 14 апреля 1930 г. он застрелился. «Век-волкодав» не щадил ярких, талантливых людей.

Последний приют все три наших персонажа нашли на Новодевичьем кладбище Москвы. К могилам В.В. Маяковского и М.А. Денисовой добавилась в 1951-м на участке военачальников та, в которой похоронен генерал-полковник Е.А. Щаденко.

На могиле М.А. Денисовой, послужившей основным прототипом «Джиоконды», героини поэмы Маяковского «Облако в штанах», установлен ее скульптурный автопортрет с дочкой «Материнство» - одна из лучших ее работ.



Борис Тененбаум

Чезаре Борджиа

Главы из книги

Чезаре Борджиа и его победы

I



огласно запискам Иоганна Бурхарда, месса в Сикстинской Капелле, которую там отслужили 6 января 1501 года, вышла скучной. Служить ее должен был сам святой Отец, но он прибыл слишком поздно, и его заменил прокуратор Ордена Сервитов, посвятивших себя Богородице. А отец-прокуратор был известен как человек, в присутствии которого от тоски только что мухи не дохли, так что недовольство церемониймейстера папского двора можно понять - как-никак, он привык к красочным зрелищам. В этот же день, поближе к вечеру, "золотая дверь", открытая для паломников по случаю Юбилейного Года, была закрыта и даже заложена кирпичами.

Праздники действительно были позади, начинались обычные будни.

С этим положением вряд ли согласились бы обитатели городка Реджио - 22 января через него прошли французские войска под командой Ива д'Алегре. Платить за хлеб, вино и прочие нужные им припасы они не стали, а попросту разграбили городок, забрав себе все, что нашли нужным, и кое-что сверх того - а тот факт, что французы шли на помощь Чезаре Борджиа, гонфалоньеру Церкви, жителей Реджио ничуть не утешил. Ива д'Алегре и его солдат король Людовик послал под Фаенцу как своего рода аванс. Где-то поближе к лету предполагалось, что французские войска начнут поход на Неаполь, и тогда им могла бы понадобиться помощь Чезаре. Как-никак, у него под командой было уже несколько тысяч солдат, под командой опытных людей, вроде Вителоццо Вителли или Паоло Орсини - все это могло бы очень пригодиться. Ну, французская подмога Чезаре, увы, не помогла - его внезапное нападение на Фаенцу в середине января провалилось - но к февралю военные действия как-то отошли на

второй план. Зимой все-таки воевать неудобно, хотя бы потому, что кормить коней становится затруднительно.

В отсутствии травы приходится переходить на сено, а сено надо заранее запастись и его трудно перевозить. Так что получается, что конницу зимой лучше держать поближе к конюшням.

Раз уж воевать было пока нельзя, Чезаре Борджиа занялся устройством своих новых владений. Он постарался сделать так, чтобы его новые подданные его полюбили. Например, учредил в Имоле благотворительное учреждение, названное в его честь Ла Валентина[1]. А в Форли он уплатил налоговую недоимку, которую город задолжал Святому Престолу.

Не следует думать, конечно, что меры по укреплению новой власти ограничивались благодеяниями - отнюдь нет. На местах распоряжались назначенные Чезаре губернаторы, как правило - каталонцы из его ближайшего окружения - и эти люди вознаграждений не терпели, и расправа у них была короткой.

В феврале 1501 года Чезаре Борджиа был совершенно уверен и в своих силах, и в своем могуществе, и в том, что он совершенно необходим своим союзникам, французам и венецианцам. Это видно хотя бы из того, что именно в это время в его владениях вдруг случилось чрезвычайное происшествие.

14 февраля 1501 года на дороге между Порто Чезанатико и Червией была похищена Доротея Караччиоло.

II

Обстоятельства дела были таковы: Доротея Караччиоло, придворная дама Элизабетты Гонзага, герцогини урбинской, отправилась на север, в Венецию. Там ее ожидал супруг, Джованни Баттиста Караччиоло, военный на службе Светлейшей Республики, и вообще человек почтенный и заслуженный. Но прекрасная Доротея до места своего назначения так и не добралась, потому что ее и ее спутников остановил на дороге конный отряд из пары дюжин лихих молодцов. Представляться они не стали, и даже никого не ограбили, а просто завернули придворную даму герцогини урбинской в плащ, и увезли ее в неизвестном направлении. Все было проделано так быстро и четко, что наводило скорее на мысль о заранее запланированной засаде, чем о случайном похищении разбойниками.

А поскольку случилось это на территории, подконтрольной Чезаре Борджиа, и было известно, что за порядком в своих новых владениях он следит строго, то к нему с протестом явилась целая делегация. В нее входил венецианский посланник, синьор Маненти, посол Франции, барон де Транс и

даже Ив д'Албер, командир французского вспомогательного отряда, в принципе подчиненный Чезаре.

Герцог встретил их очень любезно, и сказал, что по существу дела он ничего сказать не может, но обещает самое тщательное расследование. Он даже намекнул, что, как ему кажется, у похищенной дамы был любовник, капитан Диего Рамирес, офицер папских войск. Но дон Диего был направлен на службу в Урбино, и где он находится в данный момент, герцогу Валентино неизвестно.

Ну, ему не поверили.

Венецианский посол заявил формальный протест в Ватикан, на что папа Александр ответил ему следующее:

"...Акт похищения настолько гнусен и отвратителен, что я не могу даже измыслить кару, достаточную для того, чтобы наказать по заслугам того, кто это сделал. Если герцог [Валентино] действительно виновен, то он просто сошел с ума..."

Король Франции, Людовик XII, был не менее категоричен. Когда венецианцы пожаловались ему на похищение супруги гражданина Светлейшей Республики на территории, подконтрольной Чезаре Борджиа, он ответил, что будь у него два сына, и один из них оказался бы виновен в похищении, он повесил бы его без всяких колебаний. Что сказать? Было совершенно очевидно, что ни папа римский, ни король французский не хотели вглядываться в дело о похищении Доротей Караччиоло слишком пристально. Когда она, на ее большое счастье, в самом конце 1503 года, все-таки объявилась живой и здоровой и была возвращена ее супругу, оказалось, что похищение было проведено по приказу Чезаре Борджиа, и все это время, с февраля 1501 года по декабрь 1503, то есть без малого три года, она провела у него в качестве рабыни.

Но тогда, в феврале и в начале весны 1501-го, ни король Франции, ни, тем более, Святой Отец, и не собирались ни во что такое вникать, тем более, что за Чезаре появились грехи поважнее похищения знатной дамы.

В апреле он вторгся во владения союзной Франции Республики Флоренции.

III

Случилось это после очередного сражения под Фаенцей. В середине апреля город отбил было неожиданный наскок папских войск, но запасы иссякали, артиллерия врага делала свое дело - и в итоге было достигнуто соглашение о капитуляции. Фаенца сдавалась в обмен на обязательство, что ее не будут грабить.

Асторре Манфреди был волен уехать, куда он захочет, но Чезаре отнесся к нему так дружески, и так искренне поздравлял его с героической обороной, стяжавшей Асторре славу по всей Италии, что он решил остаться в лагере у своего бывшего противника. С Фаенцей как с военной проблемой было покончено - и войска Чезаре пошли дальше. Его называли теперь герцогом Романы. Собранные им воедино владения начинали напоминать уже некое государство, и он был совсем не прочь округлить его границы за счет Флоренции.

Республике пришлось туго, собственных сил для обороны она не имела. Беду на какое-то время удалось отвести, воззав к посредничеству короля Людовика. В результате был достигнут некий компромисс - Флоренция "нанимала" войска Чезаре на службу за 30 тысяч дукатов в год, и оплаченные таким образом солдаты должны были присоединиться к французскому походу на Неаполь. Правда, Флоренция вовсе не собиралась выполнять подписанное соглашение - во-всяком случае, не собиралась выполнять его прямо сразу. Проблема состояла в том, что у Республики не было готовых денег на выплату этой союзной контрибуции. К тому же, оплачиваемые ей отряды подчинялись злейшему врагу Флоренции, Вителоццо Вителли. Тут были свои счеты. Брат Вителоццо служил Республике в качестве кондотьера, был сочтен изменником - не без оснований - и в результате оказался захвачен и казнен. Та же судьба могла постигнуть и самого Вителоццо, он спасся только чудом. С тех пор не было у Флоренции врага хуже него. И оплачивать его солдат, только потому, что он в данный момент служит герцогу Валентину, флорентийцам не хотелось.

Чезаре Борджиа играл свою большую игру. У него была надежда получить предлог для нападения на Флоренцию - и он потребовал от Республики, чтобы ему заплатили немедленно, а сам двинул свое войско в поход, якобы на Пьембино. Проблема тут была только в том, что он тем самым пересекал владения Республики, при этом не только без ее разрешения, но еще и в опасной близости к самой Флоренции. И уже находясь на ее территории, он сообщил, что ему нужна *"...союзническая помощь..."* в виде половины артиллерии, защищавшей город. Совершенно неизвестно, как повернулось бы дело, если бы король Людовик не начал наконец свой неаполитанский поход. В середине июня его войско в 12000 пехотинцев и 2000 конных парадным строем прошло через Рим и получило папское благословение. Чезаре пришлось оставить все прочие дела и срочно выставить обещанные им 4000 солдат на помощь своему

могущественному союзнику. Свои дела с Флоренцией он пока отложил, Республике было так или иначе некуда деться. Ну, к сказанному можно прибавить еще одно интересное обстоятельство - король Людовик Двенадцатый, будучи в Риме, поговорил со Святым Отцом, и сообщил ему, что Ив д'Алегре считает, что держать в тюрьме знатную даму как-то негоже, и в силу этого ходатайствует об освобождении Катерины Сфорца из ее заключения в замке Святого Ангела. И король по зрелом размышлении считает нужным это ходатайство поддержать. Катерину Сфорца освободили почти немедленно, 30 июня 1501-го года.

Из Рима она уехала под французской охраной.

IV

Ну, с Ивом д'Алегре все более или менее ясно: графиню Катерину после падения Форли взял именно он, а когда отдал ее в руки Чезаре за очень приличный выкуп, он и в мыслях не держал, что тот так с ней обойдется. Так что то, что именно он ходатайствовал о ее освобождении - это более или менее понятно, и даже предсказуемо. А вот для того, чтобы понять, почему король решил дать этому ходатайству ход, да еще и с присоединением собственного веского слова, нужны некоторые объяснения.

Еще в самом начале итальянского похода был у Жоржа д'Амбуаза, кардинала Руанского, один памятный разговор с второстепенным флорентийским дипломатом. Он был даже и не посол, а так, технический сотрудник, заведовавший Второй Канцелярией Республики Флоренция. Так вот, этот клерк кардиналу надерзил: когда всемогущий Жорж д'Амбуаз, первый министр короля Франции, сказал ему, что "*...итальянцы ничего не понимают в военных делах...*", он получил в ответ замечание, что французы зато ничего не понимают в политике, а иначе они не усиливали бы всеми силами своего привилегированного союзника в ущерб прочим.

Мысль свою собеседник кардинала даже и усилил, пояснив, что чем сильнее Папство будет становится с французской помощью, тем независимее оно поведет себя в дальнейшем, и совсем не обязательно так, чтобы это оставалось в интересах Франции. Кардинал был умным человеком - он признал справедливость такого замечания, и не стал сердиться за такой вот как бы выговор, сделанный ему лицом столь незначительным. Он даже стал вежливее со своим собеседником. Надо полагать, поведение Чезаре Борджиа в начале и середине 1501 года напомнило его французским союзникам о сделанном им предупреждении - герцог Валентино начинал вести себя настолько

вольно, что его действия уже начинали создавать политические проблемы. Ограбление купеческой Флоренции не вызывало у советников короля Людовика никаких особенных эмоций - но они все-таки предпочитали, чтобы "...выкуп за защиту..." шел в казну Франции, а вовсе не в сундуки Чезаре Борджиа. Оставила свой след и история с похищением Доротеи Караччиоло - то, что это дело рук Чезаре, знали и в Венеции, и во французской ставке. Но что же было с ним делать, если Чезаре Борджиа располагал теперь уже собственным войском в несколько тысяч солдат, и оплачивал его с помощью папской казны? Даже если он нагло лез во владения Флоренции, и принуждал ее к платежам, которые могли бы в иных условиях пойти самому Людовику XII, то все же было куда лучше иметь его другом, а не врагом. По крайней мере - до тех пор, пока в нем не пройдет надобность. В общем, было принято компромиссное решение - поход на Неаполь пойдет так, как он и намечался, "...в тесном союзе с верным своему сюзерену герцогом Валентинуа...". Но чтобы герцог не слишком зарывался, ему будет дана некая символическая затрещина - и в качестве этой затрещины требование освобождения Катерины Сфорца пришлось очень кстати. Графиню Катерину освободили без всяких споров - семейство Борджиа знало, когда надо уступить. Но некие выводы из случившегося были все-таки сделаны - как только это оказалось возможным, в подвалы Замка Святого Ангела был брошен бывший властитель Фаенци, Асторре Манфреди. Его упрятали там так быстро, хорошо и надежно, что пожаловаться Людовику Двенадцатому он не успел. Чезаре уже познакомился с "...рыцарскими порывами..." короля Франции.

Столкнуться с ними еще разок он не захотел.

Примечания

1. В порядке напоминания: Чезаре называли в Италии герцог Валентино, по его французскому титулу, переделанному на итальянский лад.

Каштаны, рассыпанные на пиру, и иные забавы

I

В числе причин провала итальянского похода Карла VIII указывалось, например, на то, что он "...не хотел поделиться...". Советники его наследника, короля Людовика XII, не хотели наступать дважды на те же грабли. Они прекрасно помнили, что тогда, в кажущемся уже далеким 1494 году, королей Неаполя выручили их кузены, короли Арагона. Поэтому сейчас, в неаполитанском походе 1501 года, королю Фердинанду Арагонскому была предложена доля в добыче, и при этом весьма щедрая. Людовик XII был уже авансом провозглашен папой

королем Неаполя - но зато вся Апулия, то есть добрая половина тех земель, что составляли это королевство, отходила Арагону. Было сочтено, что честный дележ будет лучше войны, с ее риском и огромными расходами - и король Фердинанд согласился, что лучше получить половина королевства Неаполь в качестве подарка, чем драться за то, чтобы королевство осталось у его родни. Соглашение было скреплено папским благословением - Франция и вся Испания, то есть и Кастилия, и Арагон, вступали в новый Священный Союз, объявляли крестовый поход - ну, и давали прочие обещания, связанные с вящим преуспеванием дела Христова ... Термин PR (public realtions) еще не был изобретен, но пользу хорошей пропаганды все понимали и тогда, и в этом смысле союз с Папством был Людовику XII очень полезен. Одно время, собственно, казалось, что и Федерико Арагонский, король Неаполя, согласится с такой сделкой - положение его становилось безнадежным, а французы предложили ему что-то вроде отступного: в обмен на отречение он получал французский титул и поместья во Франции.

Но король был отважен, его покинули еще не все его бароны - и он решил защищаться. У него даже оставались некие союзники в Паской Области - семейство Колонна, не чая ничего хорошего ни от французов, ни от Чезаре Борджиа, решилось на сопротивление. Король Федерико думал также, что ему удастся зацепиться за укрепления Капуи - но 24 июля ворота города были открыты изменой, и в Капую ворвались папские войска. Последовала неслыханная резня. Утверждалось, что число убитых в городе превысило четыре тысячи человек, число изнасилований исчислению не поддается. Согласно "Истории Италии", написанной Франческо Гвиччардини, Чезаре велел, чтобы самых красивых женщин не терзали, а отводили к нему - он задумал создать себе нечто вроде импровизированного гарема. Трудно представить себе, что он мог насколько контролировать своих солдат - скорее всего, он просто забирал себе кого-то из тех пленниц, кто попался ему на глаза и понравился - но легенда Борджиа была уже в полном цветении. Франческо Гвиччардини, человек очень и очень скептический, не усомнился в излагаемой им версии, он полагал Чезаре способным на все, даже на то, чтобы отнять у насильника его добычу.

Взятием Капуи поход и закончился. Федерико Арагонский сдался королю Людовику - и что интересно, тот не стал забирать назад своего предложения об отступном платеже. Федерико получил что-то вроде пенсии - поместья во Франции, где он мог

доживать свой век в тишине и покое. Чезаре Борджиа был все-таки прав.

Королю Франции действительно были свойственны рыцарские порывы.

II

Семейство Колонна дорого заплатило за свою безумную отвагу - теперь их гнали из всех их замков и военных оплотов, и дело шло настолько успешно, что вскоре сам Святой Отец отправился из Рима в поездку с целью обозреть лично "...*владения Церкви, отнятые ею из рук неправых и неверных ее викариев...*". Сначала папа Александр двинулся в Сермонетту, потом - Кастелгондолфо, и там даже покатался на лодке по озеру Албано. Его, естественно, приветствовали кликами: "*Борджиа! Борджиа!*", но вряд ли Святой Отец придавал этому хоть малейшее значение. То, что перепуганные обитатели завоеванной области будут кричать что угодно, лишь бы их пощадили, он понимал с полной отчетливостью, да и вообще людское мнение о нем, будь оно хорошее, или плохое, занимало его очень мало.

Он с ним совершенно не считался - а иначе он вряд ли бы оставил свою дочь Лукрецию в качестве своего заместителя в Ватикане. Теперь она вела все каждодневные дела Церкви, вскрывала письма, направленные Святому Отцу, и даже отвечала на них - предварительно, впрочем, запрашивая мнение специалистов по каноническому праву. Бурхард в своих записках сообщает нам о следующем эпизоде: кардинал Лиссабонский, Хорхе да Коста, сказал Лукреции, что обычно при обсуждении какого бы то ни было вопроса вице-канцлер Священной Канцелярии делает заметки, которые потом ложатся в основу принятого решения - и решение это тоже записывается. Это значит, что кто-нибудь должен сделать запись и о состоявшейся между ними беседе.

Лукреция возразила, сказав, что она и сама может прекрасно записать содержание их разговора, на что Хорхе да Коста сказал:

"Ubi est penna vostra ?" - "Но где же ваше перо?"

Это была поистине соленая шутка, и соль ее состояла в том, что слово "*penna*" означало не только "*перо*", но и "*пенис*". Лукреция расхохоталась, но намек поняла, и передала свои обязанности по ведению папской корреспонденции по принадлежности, в его секретариат. Иоганн Бурхард, надо сказать, был глубоко возмущен тем, что ей не пришлось в голову посоветоваться с ним по этому вопросу - уж в чем, чем, а в соблюдении внешних приличий церемониймейстер Ватикана

понимал профессионально. У него, конечно, не хватало чувства юмора. Но вообще-то он был прав - зрелище женщины в возрасте 21-го года, живущую в папских апартаментах, открывающую его письма и ведущую административную работу, которую обычно поручали кардиналам самого высокого ранга - это поражало и римлян и людей, приезжавших в город, и пожалуй, еще сильнее, чем удивительные зрелища Юбилейного Года.

Слухи о "*...немыслимом развороте Борджиа...*" получали свежую подпитку. Уж сколько очевидцев могло засвидетельствовать тот факт, что Лукреция Борджиа, юная красавица с довольно скандальной репутацией, бывшая "*...дева, мужем нетронутая...*", представшая беременной перед комиссией, определившей ее в этом качестве, сейчас ведет дела Церкви, связанные даже с юридическими вопросами. Папа Александр тем временем занимался самой интенсивной деятельностью, связанной с пополнением его казны. Все, что принадлежало его бывшему старому другу, кардиналу Асканио Сфорца, было конфисковано. В случае с кардиналом венецианским, Зеном, Святой Отец даже прибег к такой экстраординарной мере, как отмена завещания и захват имущества покойного. Это вызвало трения в отношениях со Светлейшей Республикой Венеция, но Александр VI пренебрег даже этим. Ему были остро нужны деньги. Во-первых, войско Чезаре Борджиа стоило очень дорого, во-вторых, у папы появился новый проект.

Он решил выдать Лукрецию замуж.

III

Уж какие чувства испытал герцог Феррары, Эрколе д'Эсте, когда узнал, что в качестве жениха Лукреции Борджиа Святой Отец хотел бы видеть его старшего сына, Альфонсо д'Эсте, сказать трудно. Но, по-видимому, он встретил эту идею без восторга, и начал делать все возможное, чтобы такого брака избежать. Некий тактический союз с семейством Борджиа был вполне приемлем, несмотря на сделанную ими попытку отобрать у герцога Феррару. Но Альфонсо был не просто сыном Эрколе д'Эсте - он был его старшим сыном и наследником. Иметь в качестве невестки и матери своих будущих внуков даму, уже дважды побывавшую замужем, расставшуюся со своим первым мужем в результате скандального развода, а со вторым - в результате того, что его удушили в собственной постели по приказу его шурина - нет, все это не выглядело привлекательной перспективой.

В конце концов - кто они такие, эти Борджиа? Дочь Эрколе д'Эсте, Изабелла, была замужем за властителем Мантуи,

Франческо Гонзага - и она решительно возражала против того, что ее брат возьмет в жены Лукрецию Борджиа, и вся родня со стороны мужа была с ней вполне согласна. Елизавета да Монтефельтро, герцогиня Урбино (урожденная да Гонзага), была просто вне себя от негодования - как смели какие-то нувориши, Борджиа, посягать на родство со старинными княжескими родами д'Эсте, Гонзага, Монтефельтро? Положим, это был некоторый перегиб - сама Элизабетта да Гонзага не погнушалась породниться с Монтефельтро, которые еще относительно недавно были простыми кондотьерами - но ее мысли были недалеко от тех, которые имелись и у ее родственников из семейства д'Эсте.

Но папа Александр Шестой был человеком настойчивым, и он нашел способ сломить сопротивление своей будущей родни. Людовику XII было желательно провести некие преобразования в организации Церкви в пределах его государства - и папа назначил Жоржа д'Амбуаза, первого министра короля, легатом Святого Престола во Франции. В обмен на это король согласился "*...похлопотать насчет замужества Лукреции Борджиа...*" - и уже его сватовство семейству д'Эсте отвергнуть было трудновато. Эрколе I, герцог Модены, Феррары и Реджо-Эмилия был мудрым государем и человеком практичным - и он решил, что раз уж нельзя отказаться от предлагаемого ему союза, то надо извлечь из него максимальную пользу. И он заломил за свое согласие неслыханную цену - он потребовал, чтобы к предлагаемому ему приданому Лукреции размером в 100 тысяч дукатов было приложено еще и "*...одеяние невесты ...*", равное по стоимости ее приданому. В "одеяние" по обычаю входили всевозможные одежды, утварь и драгоценности - и цена всего этого зависела от состояния роднящихся семей, и оговаривалась в специальном соглашении - но стоимость его в 100 тысяч золотых как-то даже и прецедента не имела. Но папа Александр VI был широким человеком, и для любимой дочери ему было ничего не жалко.

Он согласился.

IV

О перемене своего статуса Лукреция Борджиа узнала из того, что на банкетах ей стали подавать еду на серебряной посуде - согласно обычаю, даже в высшем обществе такая честь подобала только замужним женщинам, а не девицам и не вдовам. Ее брак с Альфонсо д'Эсте был формально заключен в мае 1501 года, и в Риме его отмечали в высшей степени торжественно: папа Александр объявил о нем в консистории кардиналов, в городе звонили все колокола, и вообще повсюду - по крайней мере, в теории - царило всеобщее ликование. Расхождение между теорией

и практикой имело причины, и состояли они в том, что папа Александр даровал Ферраре право не платить налог в папскую казну, полагавшийся Святому престолу по статусу номинального "...сеньора Феррары...". Кардиналы возражали против такой уступки и говорили, что семейные интересы данного конкретного папы римского не должны ставиться выше интересов Папской Области как светского владения Церкви.

Но Александр VI не посчитался с их возражениями - дело было слажено. Брачный контракт был подписан 26 августа в Риме, а шесть дней спустя в Ферраре, в герцогском замке Белфиоре, брак был заключен, хотя пока что и заочно - Лукреция все еще оставалась в Риме. Она, правда, отправилась в церковь Святой Марии дель Пополо - возблагодарить Богородицу за дарованное ей счастье. Понятное дело, дочь папы Александра не могла пойти в церковь просто так - ее сопровождала целая процессия, в которой было три сотни всадников, включая послов Франции и Испании, и четырех епископов. В знак радости Лукреция по обычаю подарила свою накидку одному из своих шутов - странный обычай, но шуту так не показалось. Накидка была шита золотом и стоила по меньшей мере три сотни дукатов - и он помчался по улицам Рима с этой накидкой на плечах и с криком:

"Да здравствует мадонна Лукреция, великая герцогиня Феррары!".

В замке Святого Ангела со стен палили пушки, улицы Рима были украшены и иллюминированы - а 15 сентября в Ватикан прибыли послы из Феррары, Джерардо Сарацени и Этторе Белиннгхери, оба почтенные юристы и дипломаты с большим опытом. Они должны были приветствовать свою будущую герцогиню, но она оказалась утомленной, и вместо нее с ними беседовал кардинал Франческо Борджиа. Послам сообщили, что мадонна Лукреция пребывает в своих покоях, потому что нуждается в отдыхе, ибо пиры и церемонии, связанные с ее браком, непременно требуют ее присутствия, и частенько затягиваются до глубокой ночи. Вполне понятно - пиры задавал новый Чезаре Борджиа, герцог Романьи, брат мадонны Лукреции. И всем было известно, что уж кто, кто - а он истинный мастер повеселиться. Где-то в самом конце октября для отца и для любимой сестры он устроил в своих покоях в Ватикане целый праздник. Пир и правда вышел поистине замечательный.

Он, можно сказать, вошел в историю как *"...банкет рассыпаемых каштанов..."*

V

Согласно нашему бесценному источнику, запискам Иоганна Бурхарда, дело с банкетом было обставлено так: в число приглашенных гостей включили и 50 проституток. Их как раз примерно в это время стали называть куртизанками - а до того они были просто "грешницы" или "блудницы". Понятное дело, герцог Романьи не поскупился. Нанятая им "группа сопровождения" - если уж мы будем прибегать к современной терминологии - состояла из самых молодых и красивых женщин, каких только можно было найти в Риме, их услуги стоили существенных денег.

После ужина, когда гости уже изрядно набрались вина, а сумерки сгустились до того, что столы устали канделябрами с зажженными свечами, начались танцы. Куртизанки и в этом искусстве разбирались вполне профессионально, это им требовалось для успеха в их основном занятии, так что танцы пошли очень оживленными, особенно после того, как они разделись. Ну, а потом по знаку распорядителей пира канделябры переставили со столов на пол, а по полу рассыпали каштаны. Теперь куртизанки должны были собирать их, ползая на четвереньках между зажженными свечами - гостям же было предложено поохотиться не за каштанами, а за девушками. Пир плавно перешел в фазу свального греха, причем тех, кто показывал наиболее впечатляющие результаты, награждали чем-нибудь ценным.

Судейство было самым что ни на есть честным и объективным, поскольку состязания проходили на глазах у всех, да и жюри состояло не из каких-нибудь посторонних арбитров, а из самих участников оргии. То, что "*...пир с рассыпанием каштанов...*" состоялся и проходил примерно так, как это описано выше - это совершенно бесспорно. Бесспорно так же и то, что на пиру были и папа Александр, и его дочь, Лукреция Борджиа - банкет, в конце концов, давался в их честь. Но что интересно, так это то, что оспаривается факт их присутствия на банкете в то время, когда там началось самое интересное - "*...сбор каштанов...*". Доказательств нет - ни "за", ни "против". Выдвигается предположение, что будущая герцогиня феррарская не захотела бы порочить свое честное имя, оставаясь на таком пиру, в то время как в Риме присутствовали послы ее свекра, герцога Феррары. Честно говоря, аргумент этот кажется мне слабым, и не потому, что скандальная версия всегда интереснее.

Но на вещи все-таки есть смысл смотреть в контексте событий. И вот как раз для освещения контекста нам есть смысл взглянуть в записки Бурхарда еще разок. Вот что мы там находим:

“...какой-то крестьянин пришел в Рим через ворота Виридария (возле Ватикана), ведя в поводу двух кобыл, груженных дровами. Его перехватили папские слуги, которые отняли у него лошадей, срезали веревки, державшие груз, скинули его на землю, и отвели кобыл во внутренний двор дворца. Туда же выпустили четырех жеребцов из папских конюшен - и они немедленно начали драться и кусать друг друга, стараясь взгромоздиться на кобыл и покрыть их. Папа римский и его дочь, донна Лукреция, смотрели на это зрелище с балкона с видимым удовольствием, и звонко смеялись...”

То есть папа Александр вместе с дочерью решил посмотреть на конскую случку, нашел это зрелище забавным, и даже и не подумал как-то скрыть это свое развлечение от тысячи глаз, за ними наблюдавших. И мнение послов Феррары на этот счет его нимало не беспокоило. И даже более того - утверждалось, что сразу после представления Александр Шестой и его дочь удалились в его личные покои и оставались там вдвоем и наедине довольно длительное время. Утверждалось также, что они там занимались любовью, но проверить это утверждение никак нельзя.

В него, правда, верил весь Рим - но, конечно, злые языки чего только не наболтают...



Эдуард Бормашенко

Мертвая Истина

«...человек – дерево полевое».

Дварим, 20, 19.

«...пока мы обладаем телом, и душа наша неотделима от этого зла, нам не овладеть полностью предметом наших желаний. Предмет же этот... - истина».

Платон, «Федон».



«... уха, мой друг, теория, везде, но древо жизни пышно зеленеет», - говорит Мефистофель Фаусту. А. Воронель заметил, что люди уже двести лет привычно умиляются глубине этой сентенции, а между тем Мефистофель, говорит именно то, что черт мог бы сказать студенту выпускного курса. И все же Мефистофель сообщает Фаусту нечто существенное: прикосновение волшебной палочки знания может быть и мертвятием.

Чем бы занимался современный Фауст, закончив учение? Человек "с улицы" обычно плохо представляет себе род деятельности современного ученого (согласно Ю.Визбору ученые "в колбах, что-то темное варили"); сдернем с этой тайны завесу. Основой основ любой естественнонаучной деятельности служит *модельное* мышление. Перед нами некий невероятно сложный объект, настолько сложный, что неясно, как к нему и подступиться. Первым делам, чтобы сделать его понятным, я обрубая его связи с внешним миром, превращая, в по возможности, замкнутую систему. *Я изымаю объект из контекста его существования.* Затем, связи между его элементами представляю в наиболее простом виде, пренебрегая несущественным. Вот теперь объект разделан, выпотрошен и готов к перевариванию моим умом. Продуктивность такого подхода – невероятно, именно он подарил человечеству самолеты, Интернет и водородную бомбу.

Заменяв реальность моделью, мы делаем ее предсказуемой, а значит мертвой. Живое – непредсказуемо.

Пляшущее пламя свечи – живо, ибо в каждый момент – иное. Квантовая механика живее классической, ибо отказалась от тотальной предсказуемости.

Естественно, что модельному мышлению соответствует эстетика простоты. "Прекрасна простота, ...мы предпочтительнее ищем простые ...факты,... поиски прекрасного приводят нас к тому же выбору, что и поиски полезного; и совершенно таким же образом экономия мысли и экономия труда ... являются источниками как красоты, так и практической пользы. Мы больше всего удивляемся тем зданиям, в которых архитектор сумел соразмерить средства с целью, в которых колонны как бы без усилия свободно несут возложенную на них тяжесть, как грациозные кариатиды Эрехтейона" (А. Пуанкаре, "Наука и метод"). В том, что простота – печать научной истины сходятся, кажется, все: от Леонардо до Эйнштейна. Эйнштейн любил говорить: "we have to do things simple, but not simpler, than they are" (мы должны делать вещи простыми, но не проще чем они есть на самом деле). Эйнштейн, правда, забыл рассказать, как узнать, каковы вещи на самом деле, и где граница между великой простотой и той, что хуже воровства. Забыл рассказать и о том, что распознавание этой границы остается искусством, и, пока, рационализации не подлежит, а тайна простоты остается тайной.

Но, в самом деле, здание теории относительности, самой красивой из физических теорий, поражает именно величественной простотой. Вся предыдущая физика опиралась, как на строительные леса, на концепцию абсолютного пространства-времени. Эйнштейн убрал леса, и обнаружилось поразительно гармоничное строение. Однако, когда леса снесены, кажется, что здание было таким всегда, следующим поколениям ученых его красота видится тривиальной. Ландау так о себе и говорил: "я – великий тривиализатор".

Итак, наука изымает вещи из контекста, превращая непостижимое в простое, потихоньку перетекающее в тривиальное. Тут мы, кажется, начинаем понимать, что имел в виду Мефистофель, ведь тривиальное – безжизненно, мертво. Живое - нетривиально и принципиально неизываемо из контекста своего существования. Как говорил Э. Фромм, в человеке человеческое проявляется лишь только в его соучастии в бытии других существ. И еще: в науке ценен результат, в жизни – усилие, живое для того чтобы оставаться таковым требует постоянного усилия; тривиализация, омертвление происходят очень быстро, только заезвайся...

Ничто так не выделяет живое в человеке, как чувство юмора. Когда вы слышите настоящий, нетривиальный анекдот, вам смешно. Когда вы слышите тот же замечательный анекдот по второму разу, вы уже кисло улыбаетесь, ну а в третий раз уже откровенно не можете дождаться, когда сказитель закроет рот.

Наиболее радикально наука изымает действительность из контекста времени. Идеал научного знания – математика, грамматика, не содержащая времени. В классической физике время однородно, все моменты времени равноправны. Это изъятие вопиюще противоречит нашему опыту, моменты рождения и смерти имеют для нас определенно выделенное значение, они не такие, как все; на свидании с дантистом и любимой девушкой время течет по-разному. Но именно отказу от размышлений о сути времени мы обязаны появлению нашей цивилизации. Если бы ученые продолжали размышлять о природе времени, о парадоксах Зенона, геометрия Евклида, Декарт и компьютер не появились, к добру ли к худу ли.

Математика, изымая события из контекста времени, в сущности, сводит науку о природе к статике.

Знание остается живым пока и поскольку оно нам интересно. Тот, кто говорит об академическом спокойствии, понятия не имеет о страстях, кипящих в Академии. Я говорю не о густопсовых страстях, порождаемых дележкой сладких пряников, которых, не припомню, чтобы хватало на всех, я имею в виду страсти "по истине". От Пастера прятали свежую книжку научного журнала с только что опубликованной статьей Либиха. Прочитав ее, он приходил в неистовство, полагая концепцию Либиха вздорной.

Поглядите с какой страстью учат Талмуд в литовских ешивах; Рав Соловейчик говорил, что настоящие мудрецы никогда не получают из тех, кто добросовестно и прилежно учат Талмуд, потому что так Б-г велел, но только из тех, кто видит в Талмуде интеллектуальное приключение.

Мой учитель, светлой памяти, Яков Евсеевич Гегузин говаривал, что студент – не бочка, которую необходимо наполнить знаниями, но факел, который необходимо зажечь. Наука может умереть, не оттого, что все познает, этого не случится, но оттого что станет пресна, скучна и нам - безразлична.

Основы странного союза истины со смертью заложены в ключевом тексте Западной цивилизации, Платоновском диалоге

"Федон". Сократ там говорит следующее: "истинные философы много думают о смерти, и никто на свете не боится ее меньше чем эти люди... Как не испытывать радости, отходя туда, где надеешься найти то, что любил всю жизнь, - любил же ты разумение". Принято умиляться величием духа Сократа. Сократ же говорит, в сущности, ужасную вещь: главный враг разума тело, возрадуемся же смерти, избавляющей нас от этого несносного набора клеток, неизвестно для чего собравшихся вместе; тела, требующего еды, питья, женщины и явно затемняющего разум, а только он и ценен. Как же было не погибнуть греческой цивилизации, так возлюбившей смерть?

И как бесконечно далек Сократ от хасидского представления о том, что мыслим мы, в сущности, телом; о том, что и не додумаешься ни до чего путного, покуда не примешь стопку. Разум неотделим от осязания, обоняния, от всего того, с чем столь рад расстаться Сократ. Как любит повторить А. Воронель: "мы мыслим, только потому что существуем".

Один из важнейших запретов иудаизма – запрет на создание некоторых видов изображений. Полагаю, что один из доступных разуму смыслов запрета – отказ от создания и поклонения мертвой истине. Даже истине красоты.

Живое всегда открыто. Вселенная – жива, ибо распахнута навстречу Вс-вышнему. В этом смысле я понимаю изречение: Вс-вышний – место мира, но не мир – место Вс-вышнего. Б-г – живой в том смысле, что ему безразличен мир. Непостижимый бог, равнодушный к созданному им миру – мертв.

Нашему разуму не дана чистая истина. Я вижу синее небо, но знаю, что синий цвет это электромагнитные колебания определенной частоты. И небо синее оттого, что такова природа рассеяния света воздухом. Но ясно, что за этой реальностью скрывается иная более глубокая, а за ней еще, а там и такая, что недоступна разуму. Никакое суждение о мире невозможно без примеси тонконогой лжи, оживляющей мертвую истину. А, кстати, отчего, ложь – тонконога? Талмуд говорит: оттого, что буквы, составляющие ивритское слово לֶשֶׁת (ложь), покоятся на тонких ножках. Вот вам пример непостижимого для современного ума рассуждения, в котором слово, неотделимо от того, что оно означает.

Ну, хорошо, быть может, это - мы, естественники, расчленители живой истины. Но, вот, что я читаю о философии истории у весьма далекого от точных наук Поля Рикера: "зарождение смысла, является Пирровой победой; торжество системы, торжество связности, торжество рациональности приводит к колоссальным потерям: *эти потери как раз и есть история*. Почему? Прежде всего, у истории, прожитой людьми, имеется своя пульпа, которая, кажется, лишена смысла: таковы насилие, безумие, власть, желание; ничто из этого не может перейти в историю философии. Но это не пустой звук, поскольку перед лицом насилия, как говорит Эрик Вейль, я вынужден выбирать между смыслом и отсутствием смысла. Я – философ и выбираю смысл; но тем хуже для остающейся бессмыслицы". Но именно эта бессмыслица и делает жизнь жизнью. Что такое эта пульпа жизни, что она не пустой звук, мы знаем на своей шкуре. Израильские профессора-гуманитарии, общаясь с нами, недоуменно вздергивают брови: "ах, русские, отчего вы все такие правые?" Профессора, конечно, эксперты по социализму, но при развитом социализме никогда не жили, они не слышали вопля парторга: "20 человек на капусту", вот в чем штука.

Итак, философ, историк для наведения порядка в своем ремесле отсекает ненужное с той же жестокостью, что и физик; можно расслабиться, мы в неплохой компании. Поль Рикер озвучивает идею умертвления истины в процессе познания и совсем явно: "В самом своем первоначальном смысле истина предстает перед нами в качестве регулятивной идеи ... нацеленной на унификацию познания, то есть на устранение разнообразия... и в итоге история предстает как история ошибок и заблуждений, а истина - как временная приостановка хода истории" (Поль Рикер, "История и истина"). Вот и славно, вот и договорились, еще незабвенный герой "Доживем до понедельника" говорил, что в истории орудовала компания двоечников (с чем охотно соглашаюсь). Кроме того историки, вопреки самому смыслу своей профессии, тоже, оказывается, недолюбливают становление, и явно предпочитают ему статику.

Физик мечтает об идеальной модели, полностью отсеченной от мира, модели несущей в себе свои основания. Но, оказывается, писатели мечтают о том же. Флобер в одном из писем напишет: "Что мне кажется прекрасным и что хотел бы я создать – это книга ни о чем: книга без всякой внешней опоры,

которая держалась бы сама собой, внутренней силой своего стиля, как держится в воздухе земля, ничем не поддерживаемая".

Едва появившись на свет, истина расправляется со свободой, самой дорогой их свобод, свободой мысли. Какая уж там свобода мысли, если дважды два четыре, и только четыре, а никак не пять и не шесть. Так рождается деспотия истины.

Рав Адин Штейнзальц полагает страсть к беспримесной, *не оставляющей выбора* истине одним из проявлений исконного стремления человека ко злу (комментарий к недельной главе פֶּשַׁע, книга "חיי עולם"). Заметьте, у Гете обаятельный Мефистофель ближе зануды Фауста к истине. Сплошь и рядом он видит истину там, где Фауст сладко грезит. А когда Фауст обретает истину, он не знает, что с ней делать, привить ее к дереву жизни не удастся.



Александр Левиков

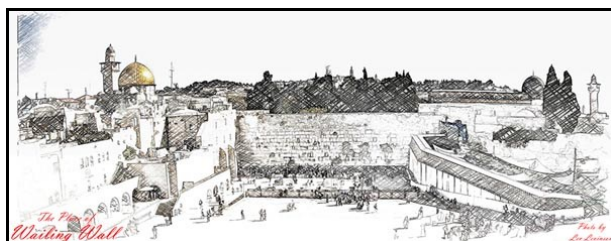
Просветление на фоне затмения

«Иерусалимские зарисовки» фотохудожника Льва Левинсона

*Во все века, в любой одежде,
Родной, святой Иерусалим
Пребудет тот же, что и прежде, –
Как твердь небесная над ним.*
(Самуил Маршак, 1911 год)



ото-рисунки к главам моей книги «Светотени» выполнены мастером современной профессии. Лев Левинсон – израильский фото-график. Графика у него получается в результате удивительной техники обработки снимков. Это компьютерная постобработка фотографий с целью передачи, как говорит сам Лев Левинсон, «неповторимой красоты золотого Иерусалима». В этом деле он один из первопроходцев.



Что такое притягательность фотографии? Что же это? Что побуждает выделять ту или иную фотографию? Предмет, пейзаж, тело? Одно фото «приключается», другое – нет. Вдруг какая-то фотография задевает. Она оживляет меня, и я оживляю ее. Именно так возникает притягательность Фотографии, которая дает ей право существовать – одушевление. Само фото ни в коей мере не

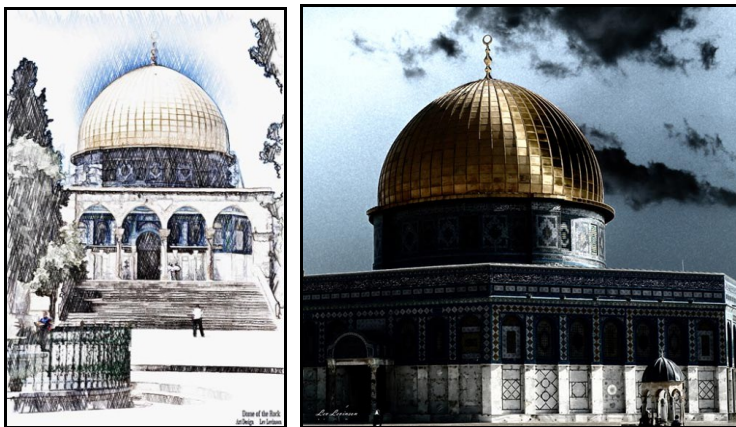
одушевлено, просто оно одушевляет меня и в этом и заключается притягательность той или иной Фотографии. 31 июля 1981 г московский инженер Лев Левинсон, тогда еще Лев Тиняков, «поймал» затмение. Снимок (в соавторстве с Александром Миловидовым) потребовал долгой подготовки и технических ухищрений. Кнопка была нажата за две секунды до того, как тень Луны полностью закрыла Солнце. Десятилетия спустя этот уникальный снимок помог незнакомой мечтательнице в Америке обрести давно потерянный образ.



Маленькая девочка через закопченное стеклышко увидела чудо. Черный кружок, запомнилось ей, перекрыл Солнце, оставив «растрепанные патлы золотой короны». Сохранилось ощущение страха: «Собаки перестали лаять и забились в будки», пишет журналистка Александра Свиридова. Достоверны ли смутные впечатления? Девочка, ставшая взрослой, «сто раз закрывала глаза, пытаясь вспомнить, как это выглядело, и описать словами». Искала ответ у Бунина в «Солнечном ударе» и в фильме «Полное затмение» Агнешки Холланд, но там речь шла о помрачении души. Мечта ее сбылась, когда нашла в Интернете «Портрет затмения» Льва Левинсона.

Первое страшное затмение в своей жизни трехлетний Лева не успел осознать. Внезапно исчез папа. Лет двадцать спустя в мрачном учреждении Лева показали «дело отца», расстрелянного зимой 1938 и «реабилитированного в связи с

отсутствием состава преступления». Непроглядная тьма открылась ему в полной мере.



Стиснув зубы, работать – выбора не было. «Дважды инженер» – выпускник строительного и энергетического институтов, ученый-сейсмоиспытатель, он стал участником проектов (под патронажем МАГАТЭ) по защите Атомных станций от возможных землетрясений.



В Израиль Лев репатрировался (1990) профессионалом высокого класса и сразу же вернул себе фамилию своего отца – Левинсон. Но через годы, как отдаленное эхо сейсмических экспериментов на взрывных работах, его снова настигла тень: катастрофическая глухота. Аппараты типа «за ухо и в ухо» в его случае оказались бессильны.

Другой мог бы впасть в отчаяние, но Лев Левинсон не из тех, кто не способен выйти на свет в конце туннеля. Верными остались глаза и жаждавшая красоты душа.



Талант и волю он развернул в новую для себя область: два ремесла, которыми владел отменно – фотографию и компьютер – соединил в одно.



В его иерусалимских работах меня поразили удивительные лица людей, углубленных в себя. То, что на фотографии как бы просится, то, что снято как будто исподтишка и в то же время похоже на старинные литографии.

Однако, не все снимки укладываются в «хрестоматийное» понимание Иерусалима. Меня потрясла фотография, посвященная теме Катастрофы – оказывается, художник соединил в ней элементы нескольких памятников и, пользуясь своей излюбленной

техникой, в центре картины «зажег» факелы рук – фото-картина удивительной силы и экспрессии...



Вот что говорит об этом сам Лев Левинсон: «Дело в том, что мне всё время не давала покоя мысль: как средствами

фотографии передать ощущение человека у каменных стен града Давидова. В свое время на меня сильное впечатление произвела книга Харольда Вудхеда «Творческие методы печати в фотографии», и я стал экспериментировать с компьютерной обработкой снимков, благо с компьютером и с методами цифровой обработки снимков я был хорошо знаком. В результате появились и фото-сопереживания о Холокосте, и графические зарисовки об Иерусалиме. Мне кажется, что мне это удалось, тому подтверждение, прошедшие в 2010-2012 гг. в Иерусалиме, Маале-Адумим и Ариэле моих персональных фотовыставок «Иерусалимские зарисовки – The Jerusalem Sketches» и многочисленные положительные отзывы на экспонированные на них работы в ивритской и русскоязычной прессе Израиля:

-«...это уже некий другой вид искусства, может быть еще не названный...»

-«Выставка работ Льва Левинсона производит неизгладимое впечатление работами в оригинальном исполнении. Автор видит Иерусалим живым, светлым и, в то же время монументальным могучим и сугубо ЕВРЕЙСКИМ, нашим городом»

-«Очень нравятся зарисовки Иерусалимских улиц – сделано, будто акварели художника. И вместе с тем точно передана перспектива, что у художника не получается, а часто им искажается намеренно. Ваша версия впечатляет».

- Как вы пришли в фотографию?

- Наверное, как у большинства мальчишек вначале было просто желание зафиксировать моменты и смотреть, как постепенно из ничего вырисовывается изображение. До 1990 занимался в основном прикладной фотографией, совмещая ее со своей производственной и научной деятельностью. В этот период мои работы публиковались в различных научно-технических журналах и в специальных ведомственных изданиях. Автор сценария и один из операторов научно-технического фильма «Сейсмоиспытательный комплекс», выполненный по заказу МАГАТЭ на студии документальных фильмов – 1985 г.

- Что означает для Вас фотография?

Для меня фотография это окно в МИР. Бог дает человеку 6 чувств. Со слухом у меня проблемы с детства. Для меня важно было найти компенсацию этой потери.

Фотография это строки из не услышанных песен, из не состоявшихся разговоров, не обсужденные книги.

Фотография до бесконечности повторяет то, что никогда не может повториться.

Фотография сводит совокупность, в которой я испытываю нужду к тому, что я вижу.

Фотография подарила мне возможность соприкосновения с большим количеством замечательных людей.

Среди них и государственные деятели, люди науки и искусства, барды и просто хорошие люди. Некоторые прошли и не оставили заметного следа, а с некоторыми я подружился.

Заметный след оставили два замечательных человека – это Ю.П. Любимов и А.Е. Бовин. С тем и другим я встречался и фотографировал их многократно.



Любимов весь в динамике. Его мимика ни на секунду не замирает. Вот он дает урок мастер-класса. Остановится на одной фотографии, чтобы показать суть мастера нет возможности. Я объединил три мгновения...



Об Александре Евгеньевиче Бовине говорить нечего. Его все знают и по его блестящим статьям и по его деяниям на различных этапах. Я познакомился с ним уже поздно, когда он был уже тяжело болен. Но и тогда его умный, пронзительный взгляд и его искрометные реплики заставляли забывать о его возрасте. Это одна из его последних фотографий. Скоро его не стало...

Поворотным пунктом в занятии фотографией, как уже было отмечено выше, стало прочтение двух книг: М.С. Наппельбаум: «От ремесла к искусству» и Г. Вудхед: «Творческие методы печати в фотографии».



Наппельбаум научил обращать внимание на ПОСТАНОВКУ и на то, что высшей точкой фотографии должна быть ее похожесть на карандашный рисунок, «допуская тонкие нюансы переходов от белого к черному, прозрачность в глубоких тенях». Вудхед же показал, что сделать снимок – это малая часть работы. Далее процесс для проявления собственной индивидуальности – безграничен. Просто технически что-то реализовать (более 30 лет назад) было не просто. Иногда это занимало дни, а порою и недели и месяцы. Многие идеи,

предложенные Вудхедом, нашли свое отражение в «Photoshop» и других графических программах и сегодня стали более доступны. Однако, обязательным условием использования любой графической программы – ПЕРВИЧНОЙ должна быть ИДЕЯ того, что в результате должно быть получено.



«Революция в фотографии состоит в том, чтобы снятый факт, благодаря качеству "как снято" действовал настолько сильно и неожиданно всей своей специфичной для фотографии ценностью, что можно было бы не только конкурировать с живописью, а показывать всякому новый совершенный способ раскрывать мир в науке и быту современного человечества» – Александр Родченко.



В плане техническом фотография находится на пересечении двух качественно различных процессов: первый из них – связан с воздействием света на некоторые вещества

(устройства); второй – образование изображения с помощью оптического (электронного) устройства. Образ вот-вот должен родиться: кто появится на свет? В общем, я бы хотел, чтобы внешний вид моего объекта совпадал бы с его «Я» и моим представлением о его «Я»

Самое интересное возникает на стыке фотографических понятий, на первый взгляд не всегда совместимых между собой, для этого активно используется метод монтажа. Монтаж – это не самоцель. Монтаж и творческая обработка снимка – это просто метод выражения, суть которого нарушить привычные фотографические связи с тем, чтобы создать новые визуальные структуры, которые более всего подходит образу мышления фотографа и его философии. – Вильгельм Михайловский – фотограф «ЭКСЕЛЕНЦ».



Меня волнует, на каком основании выбирается один объект, одно мгновение, а не другое. Фотографии отражают своего рода мою внутреннюю нестабильность. Фото, по моему наблюдению, может быть предметом трех действий. Оператор – это сам Фотограф. Spectator – это все мы, кто просматривает фотографии. А тот кого или что фотографируют – я бы назвал фотографическим Spectrum'ом – это нечто, содержащиеся в любой фотографии.

Фотография, подобно языку является «средой», в которой возникают произведения искусства, а также многое другое. Я не исключаю возникновение «Общества защиты фотографий», которое будет реставрировать фото-референты, где единственным средством ретуши была человеческая рука. А через какое-то время

будет создано «Общество защиты компьютерной фотографии» от какого-то нового, неведомого нам декодирующего монстра.



Это одна из моих удач. Борису Эйфману в своей интерпретации «Дон-Кихота» удалось дойти до самой сути неугомонного сердца великого идадьго, в его поисках пути, в его сердечной смуте, в беззаконьях, в грехах, бегах, погонях, что я и хотел передать этим снимком.



Заслуга мастера фото-графики весной 2009 была отмечена золотой медалью и дипломом ежегодных премий «Олива Иерусалима», в номинации «Линия и цвет». В полученном дипломе говорится, что медаль и диплом присуждены за вклад, который внес г-н Лев Левинсон в развитии фото-графики.

Этой же весной 2009 произошло еще одно, знаменательное, для Льва Левинсона событие. После двух

непростых операций израильская медицина совершила чудо и вернула Льву Левинсону слух.

Вообще интересный вопрос мне часто задают: кому принадлежит Фотография? Тому, кого сфотографировали? Фотографу? Что такое пейзаж как не то, что позаимствовано у собственника земельного участка? Фотография субъект в объект. Фотопортрет представляет собой закрытое силовое поле. На нем пересекаются и деформируют друг друга разные виды воображаемого. Фотография (та которая соответствует моей интенции) представляет довольно быстротечное мгновение. Вопрос философский...

Сегодня можно сказать совершенно определенно – фотокартины Льва Левинсона принадлежат и нам. Он дарит нам свое восприятие мира, Иерусалима, людей в этом удивительном городе и, конечно же – самого себя.

«Это моя страна, это мой народ – признается он в своей автобиографической справке, – и я – часть всего этого».



Люсьен Фикс

Уникальная коллекция Джозефа Хиршхорна

«Я считаю для себя большой честью оставить всю мою коллекцию произведений искусства народу Соединенных Штатов Америки как небольшую часть долга за то, что эта страна сделала для меня и других таких как я, которые прибыли сюда эмигрантами. То, чего я добился в Соединенных Штатах, я не мог бы достичь нигде в мире»

Джозеф Хиршхорн. 1 октября 1974 г.



В историческом районе американской столицы стоит круглое здание музея современного искусства с примыкающим к нему садом скульптур под открытым небом. Это Музей и Сад скульптур Хиршхорна (Hirshhorn Museum and Sculpture Garden).



Музей является частью Национальных музеев Соединенных Штатов, объединенных под общим названием Смитсоновский Институт (Smithsonian Institution). Назван музей именем филантропа Джозефа Хиршхорна, латвийского иммигранта, сделавшего миллионы на разработках урана и подарившего музею 4 тысячи картин и 42 тысячи скульптур. Среди них 17 скульптур всемирно-известного французского скульптора Огюста Родена, ключевое место среди которых, занимает прославленная многофигурная композиция "Граждане Кале".

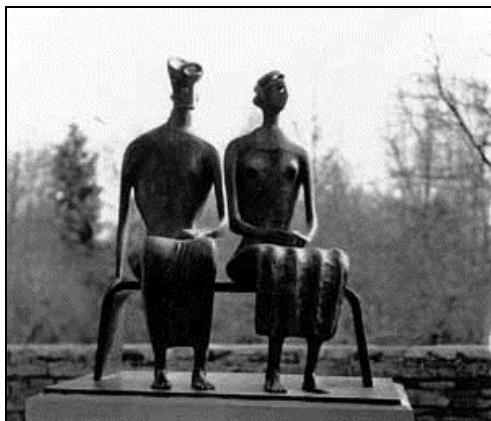
Она посвящена подвигу 6-ти простых жителей небольшого городка на севере Франции, которые в XIV веке,

пытаясь снять длившуюся год английскую блокаду и спасти сограждан от голодной смерти, предложили себя в качестве заложников.



Огюст Роден «Граждане Кале»

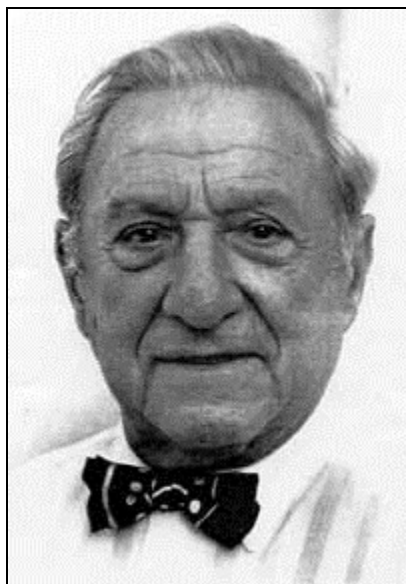
Украшением коллекции также являются 53 скульптуры сюрреалиста Генри Мура. Среди них известнейшая композиция "Король и королева", где босоногая "королевская чета" в простой одежде восседает на примитивной скамье вместо трона.



Генри Мур «Король и королева»

Кто же такой Джозеф Хиршхорн, и почему ему была оказана такая честь, ведь это был первый из всех 18 музеев Смитсоновского Института, который носит имя филантропа?

Джозеф (Иосиф) Хиршхорн родился 11 августа 1899 года в латвийском городке Джукст под Митавой в семье Лазаря и Амалии Хиршхорн. Он был двенадцатым ребенком в семье из тринадцати детей. Мальчику был всего один год, когда умер его отец. Через пять лет в их края докатились погромы, и мать с детьми эмигрировали в Америку. Они поселились в бедных кварталах Бруклина, где мать нашла работу в пошивочной мастерской. Тогда Джозефу было шесть лет. В тринадцать лет он бросил школу и стал работать, чтобы помогать семье. Он разносил газеты, служил посыльным, а в 16 лет поступил в одну из компаний на Уолл-стрит, где учился составлять схемы операций фондовой биржи. Сэкономив 225 долларов, он покупает пакет акций, становится биржевым маклером, и в первый год заработал 168 тысяч долларов.



Джозеф Хиршхорн

«Бедность оставляет горький привкус, - как-то сказал он, - и я дал себе клятву, что никогда не буду нуждаться». Талант финансиста позволил Джозефу Хиршхорну стать миллионером к тридцати годам. Он обладал особым чутьём, которое подсказывало ему правильные решения, и в скором времени он умножает свой капитал. Это особое чутьё не подвело Хиршхорна в критический момент. Буквально за два месяца до краха фондовой

биржи в 1929 году он продаёт все свои акции и почти за бесценок покупает большие участки земли в Канаде, где, по его предположениям, должны были быть богатые залежи золота. Разработки долгое время были безрезультатными, и Хиршхорн был на грани отчаяния. Но вскоре в одной из заброшенных шахт было обнаружено золото. Запасы оказались огромными, и Хиршхорн становится мультимиллионером. В 1940 годах, на заре атомной эры, Хиршхорн проявляет интерес к урану. По совету молодого канадского геолога он начинает пробные бурения, которые вскоре дают удивительные результаты. В середине 1950 годов, как писали газеты, одна из его шахт давала больше урана, чем все американские шахты вместе взятые. Сколотив огромное состояние, в конце 1950 годов Хиршхорн продает почти всю свою землю, а в 1960 году и урановые рудники и начинает постепенно сворачивать деловую активность.

Располагая большими средствами, Джозеф Хиршхорн все эти годы приобретает произведения искусства. Любовь к искусству пришла к нему с детства. Когда он был ребенком, страховая компания «Prudential», где мать застраховала всех своих детей, к Рождеству присылала настенный календарь с репродукциями работ американских художников. Этими репродукциями Джозеф украшал стены комнаты, которую он делил со своим младшим братом. Первые гравюры он купил буквально на улице, но со временем стал более разборчивым, а когда женился на художнице (это был его второй брак, первый раз он женился на подруге детства) по её совету он стал покупать работы американских художников. О европейских художниках Хиршхорн не знал почти ничего, пока в букинистическом магазине не наткнулся на каталог европейского искусства. Эта книга открыла ему глаза на таких мастеров как Пабло Пикассо, Генри Мур, Анри Матисс и других. Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Во время поездок в Европу Хиршхорн познакомился со многими из них и стал покупать их работы намного раньше других коллекционеров и сравнительно дешево. И хотя он собирал преимущественно современную американскую живопись и скульптуры XX века, собранная им коллекция носит, до большей степени, международный характер. Хиршхорн располагал внушительной коллекцией скульптур и многие поначалу думали, что он коллекционирует только скульптуры, но когда познакомились с его коллекцией, поняли, что он уделял равное внимание и скульптурам, и живописи.

В середине 1950 годов Хиршхорн предложил искусствоведу Александру Лернеру стать куратором его

коллекции. Лернер был большим знатоком современного искусства и благодаря ему Хиршхорн расширил и углубил свою коллекцию. В его коллекции помимо современного искусства были даже произведения африканского искусства, искусства эскимосов, произведения доколумбового периода, египетский антиквариат и многое другое.

В жизни Хиршхорн был индивидуалистом и полагался только на себя. Единственный раз он купил акции через маклера, и потерял на этом много денег, а на предложение советника по вкладам в произведения искусства ответил так: «Не вам советовать мне, как делать деньги. Я покупаю произведения искусства не для того, чтобы разбогатеть. Я люблю искусство». Сначала Хиршхорн покупал наугад, но в процессе коллекционирования стал все больше и больше разбираться. Один из критиков высказался так: «Хиршхорн воспринимает искусство каким-то особым чувством, и он считает для себя моральным долгом понимать то, что приобретает».

Часть собранной Хиршхорном коллекции представляет значительный интерес. Здесь есть работы таких американских мастеров как Джорджия О'Кифф, Виллем де Куннинг, Аршил Горки, Мэри Кассат, Рой Лихтенштейн, Джордж Беллоус, Мэн Рэй. Особое расположение и поддержку Хиршхорна испытывала группа живописцев-эмигрантов из России, среди них такие будущие знаменитости, как Марк Ротко, Бен Шанн, Макс Вебер, братья Рафаэль и Мозес Соьер. Хиршхорн скупал оптом, часто буквально опустошая мастерские художников. Его девиз был «Если кто-нибудь из них станет знаменитым, я тоже стану знаменитым». Часто художников представляли посредники, а скупая оптом, он не хотел платить настоящую цену. Так он упустил много замечательных произведений.

С Хиршхорном мне не довелось познакомиться, но я хорошо знаком с Ольгой, его четвертой и последней женой. Мы долго беседовали о её покойном супруге, которого она называла не иначе как Джо и о котором говорила с нескрываемой гордостью. Ольга Заторская родилась в Америке в семье эмигрантов из Украины. И хотя дома говорили по-украински, языка она не знала и время от времени просила меня перевести то одно, то другое письмо от родственников с Западной Украины. С Джозефом она познакомилась в 1961 году в Коннектикуте. В то время он жил в Гринвиче и искал помещение для своей коллекции. После знакомства с Хиршхорном Ольга настолько увлеклась его коллекцией и искусством вообще, что стала его неофициальным партнером.

«Он уже тогда подумывал о музее, настолько обширной была его коллекция, – говорит Ольга. – Правда, он сначала хотел устроить выставку и с этой целью часто встречался с кураторами и директорами музеев».

Первая выставка коллекции Хиршхорна была устроена в нью-йоркском музее Гугенхайма в 1962 году, что вывело его на широкую арену. О Хиршхорне заговорили искусствоведы. Но заветная мечта, музей его имени, осуществилась только через десять с лишним лет.

Но коллекционирование произведений искусства было только его хобби. Несмотря на то, что Хиршхорн во многом свернул свою деловую активность, природа бизнесмена не позволяла ему отказаться от неё полностью.

«Не следует забывать, что Джо в первую очередь был бизнесменом, – говорит Ольга Хиршхорн. – Почти до самой смерти он держал контору в Канаде и проводил там много времени, хотя мысль о создании музея не оставляла его ни на минуту. Он всё приобретал и приобретал картины и скульптуры. Он был словно одержим».

Деловая активность требовала поездок по разным странам, и где бы он ни бывал, Хиршхорн находил время, чтобы вести переговоры о своей коллекции.

«Джо никак не мог решить, что делать со своей коллекцией, – говорит Ольга. – Ему предлагали передать её Швейцарии. Израиль был очень заинтересован в том, чтобы получить его коллекцию. Там обещали создать музей. В Калифорнии состоятельная семья предлагала свой дом в качестве музея. Нельсон Рокфеллер неоднократно беседовал с Джо, предлагая всевозможные варианты. Он хотел основать колледж и открыть при нем музей».

Большую заинтересованность проявлял Балтиморский музей. Одно время Хиршхорн поговаривал о том, чтобы определить свою коллекцию в Италии и с этой целью несколько раз ездил во Флоренцию. В 1963 году англичане в очередной раз встретились с Хиршхорном и весьма обстоятельно беседовали о приобретении его коллекции. Предложения поступали и от американских представителей. Дилан Рипли, секретарь Смитсоновского Института, неоднократно встречался с Хиршхорном для бесед от имени правительства Соединенных Штатов. Вскоре чету Хиршхорн пригласили в Белый Дом.

«Нас приняла жена президента Джонсона, – вспоминает Ольга. – На встрече был член коллегии Верховного Суда Эмб Фортас. Нам предложили план, согласно которому Джо передаст

всю свою коллекцию в безвозмездный дар государству, а правительство, со своей стороны, построит музей, который будет частью Смитсоновского Института».

Церемония обмена обязательствами состоялась в саду роз Белого Дома в 1966 году. На ней присутствовал сам президент Джонсон. Церемония закладки фундамента состоялась в 1969 году.



Ольга и Джозеф Хиршхорн с президентом Джонсоном и Леди Бёрд Джонсон. 1966 г.

Строительство длилось пять с половиной лет. Когда круглый главный корпус с внутренним свободным пространством был освобожден от лесов, газеты тут же окрестили его самым большим в мире "бетонным бубликом". Началась перевозка 6000 экспонатов из Коннектикута в Вашингтон. В ней участвовали тяжёлые грузовики, подъёмные краны транспортные вертолеты. Особую трудность представляла скульптурная группа «Граждане Кале» весом тридцать тонн.

Открытие музея состоялось в 1974 году. Тогда в нём было шесть тысяч картин и скульптур. Впоследствии Хиршхорн передал в фонд музея ещё пять тысяч произведений искусства. Коллекция картин и скульптур, оставленная Джозефом Хиршхорном в безвозмездный дар Соединенным Штатам, оценивается более чем в 50 миллионов долларов. На содержание музея он оставил ещё пять миллионов долларов и все права на доходы с добычи нефти на принадлежавших ему нефтяных месторождений в Канаде.

В начале 1990 года музей приобрел сто новых работ, 60 из них были показаны на специально организованной выставке. Среди них произведения таких современных американских

мастеров как Джаспер Джонс, Стюарт Дэйвис, Адольф Готтлиб и Мэн Рэй; английского художника Люсиана Фрейда; немецкого художника Герхарда Рихтера; австрийца Вальтера Пихлера и других. Многие из этих имен мне давно знакомы и я присутствовал на ретроспективных выставках их работ. Но одна картина по-настоящему приковала моё внимание. Это картина «Capriccio Musicale» (Circus) Владимира Давидовича Баранова-Россине. Выполненная в ярких красках, эта кубофутуристическая работа является образцом европейского стиля модерн начала XX столетия. На картине изображены воздушные акробаты на трапециях, огни рампы и музыкальные ноты Венгерской рапсодии Листа.



Vladimir Baranoff-Rossine «Capriccio Musicale» (Circus) 1913

Интересна история этой картины. Директор Музея имени Хиршхорна Джеймс Диметрион рассказывал, что как-то, отдыхая в Калифорнии, он заглянул в гости к своему знакомому Ли Блоку. На стене гостиной он увидел интересную работу раннего кубофутуристического стиля. На вопрос, кто её автор Блок ответить не мог. Но от глаза искусствоведа не могла ускользнуть оригинальность стиля европейского художника, и он решил попытаться выяснить происхождение картины. Диметрион разослал фотографии картины своим коллегам в разные концы света. Вскоре один из них, копаясь в каталогах аукциона Кристи, увидел репродукцию этой картины, под которой стояла подпись Россини.

«Был только один венецианский художник с таким именем, но ведь он творил столетия назад», - говорит Диметрион. Дальнейшие поиски ни к чему не привели. И только после того, как работа была подарена музею, Джеймс Диметрион по наклейкам на её обратной стороне доподлинно установил имя

художника. Картина «Capriccio Musicale» (Circus), написанная в 1913 году, принадлежит кисти русского авангардиста Баранова-Россине. Сейчас эта работа заняла достойное место в коллекции музея Хиршхорна, как первая значительная картина русского живописца периода расцвета кубизма.

Я думаю, имя этого художника мало кому из читателей журнала «Семь искусств» известно, поэтому, как мне кажется, было бы уместно остановиться на нём более подробно.



Владимир Баранов-Россине «Автопортрет» 1907 г.

Владимир Давидович Баранов-Россине (настоящая фамилия и имя Баранов, Шулим-Вольф), живописец, график, скульптор и изобретатель, родился на Украине в еврейской семье. В 1903-1908 посещал Одесское художественное училище. В 1908 приехал в Петербург, где поступил в Академию Художеств, но на занятиях не присутствовал и через год был отчислен.

С 1907 начал участвовать в первых авангардистских выставках («Стефанос» в Москве, 1907; совместно с Давидом Бурлюком, Аристархом Лентуловым и Александрой Экстер в выставке «Звено» в Киеве, 1908; «Венок-Стефанос» в Петербурге, 1909; «Импрессионисты» в Петербурге, Вильно, Берлине, 1909-1910; выставка в Художественном бюро Н.Е. Добычиной в Петрограде, 1919).

В 1910 уехал в Париж, где поселился в колонии художников «Улей» по соседству с Марком Шагалом, Осипом

Цадкиным, Александром Архипенко, Хаимом Сутиным, Амадео Модильяни и другими. Под псевдонимом Россине (а потом и удвоив фамилию) выставлял в салонах свои футуристические и супрематические композиции, а также скульптуры – например, в Салоне Независимых представил «Симфонию № 2» из металлических труб, проволоки и пружин (1914 г. Работы Баранова особо отмечал Гийом Аполлинер.

В те же годы Баранов заинтересовался идеей музыкального и цветового синтеза посредством использования основных спектральных цветов и подружился с основоположником орфизма Робером Делоне. Под влиянием Делоне созданы такие картины, как «Война», «Голубой апокалипсис». Познакомился с Александром Скрябиным и написал его портрет, на котором композитор оставил автограф: «Музыканту красок – Скрябин».

С началом Первой мировой войны, в 1915 Баранов переехал в Скандинавию, жил в Норвегии. Здесь окончательно оформился стиль художника. Он спроектировал «оптофоническое» пианино и провел на нем первые концерты в Христиании (ныне – Осло) и Стокгольме. В норвежской столице состоялась и первая персональная выставка работ Баранова.

В 1917, вернувшись в Россию, Баранов обосновался в Москве, где в должности профессора преподавал в Высших художественно-технических мастерских (Вхутемас), служил при Наркомпросе в коллегии по делам искусств и художественной промышленности, стоял во главе мастерской в ПГСХУМ.

Одновременно работал и в Петрограде: исполнял революционные панно, участвовал в украшении города к первой годовщине Октября (в соавторстве с Борисом Кустодиевым и Кузьмой Петровым-Водкиным). В том же 1917 представил свыше 60 своих работ на выставке в Художественном бюро Добычиной (Петроград), а также на экспозиции картин и скульптур художников-евреев (Москва).

Развивая идеи орфизма, в начале 1920-х Баранов обратился к светомузыкальным замыслам Скрябина. Он сконструировал клавиру – усовершенствованный оптофон, за каждой клавишей которого были закреплены определенные звук и цвет. Свет через оптические фильтры проецировался на так называемый «хромотрон» (экран).

Первые «Оптофонические цвето-зрительные концерты» с использованием такого клавира его создатель провел в театре Всеволода Мейерхольда (1923) и в Большом театре (1924). Автор

инструмента сам исполнял «Партию света» в аранжировке симфонического оркестра под руководством В. Сука.

В области скульптуры и живописи Баранов-Россине в этот период создавал цикл абстрактных композиций, прочно связанных с музыкальными ассоциациями. В этих композициях использовались принцип «ленты Мёбиуса», полихромия и материалы разного рода и фактуры. Баранов интересовался любыми новейшими живописными течениями, в частности сюрреализмом. Регулярно экспонировался в Салоне Независимых.

С началом Второй мировой войны Баранов отказался покинуть Францию. В ноябре 1943, когда Париж был оккупирован, художник был арестован как еврей и переправлен в Германию, где погиб в нацистском концлагере Освенцим.

Мне доводилось бывать в вашингтонском доме и в летней резиденции супругов Хиршхорн во Флориде. Эти дома представляют собой музеи в миниатюре. Много произведений искусства были подарены Джозефу и Ольге художниками и скульпторами с мировыми именами. Здесь есть работы Генри Мура и Александра Колдера, Альберто Джакометти и Пабло Пикассо, Анри Матисса, Вильяма де Куннинга, Мэна Рэя, Кена Ноланда, Мориса Луиса, Ларри Риверса и многих других.

«Вот эту скульптуру подарил нам на свадьбу Генри Мур, – говорит Ольга Хиршхорн, указывая на одну из интереснейших работ выдающегося английского скульптора. – А это – свадебный подарок от Пабло Пикассо, а вот эту работу Билл де Куннинг подарил мне лично на Новый год».

Люстра, сделанная руками всемирно известного израильского мастера Яакова Агама, висит на просторной кухне, выходящей окнами на Мексиканский залив. В другом доме она бы нашла достойное место в гостиной, но в коллекции Хиршхорна так много работ, что каждой нужно было определить место в зависимости от формы и размера.

«Джо гордился своей коллекцией и его радости не было предела, когда в центре американской столицы был открыт музей, названный его именем», – говорит Ольга, и вспоминает слова, которые неоднократно повторял Джозеф Хиршхорн. «Only in America. Только в Америке эмигранту может быть оказана такая честь. – Только в Америке».



Дора Ромадинова

Шостакович: герой или антигерой*



9 августа 1975 года умер Дмитрий Шостакович. В этот исторический день навсегда отошли в прошлое его земные дела, порожденные странно-смятенным и будто безразличным ко всему, кроме его музыки, сознанием. В этот день человечеству навсегда осталась только музыка этого великого художника двадцатого столетия, творческое сознание которого, оказавшись много сильнее того страха, что более сорока лет сковывал его больное тело, вознесло творения его души на вершины человеческих свершений.

Дмитрий Шостакович в последние годы своей жизни тяжело, смертельно болел. Болел так мучительно, что, думаю, физическая смерть была для него избавлением. 9 августа 1975 года умер композитор, в последние годы своей жизни обращавшийся уже не к своим земным слушателям, а к кому-то очень высокому и далекому. К Богу? К тому, кто наградил его гениальным даром, этой гигантской ношей, что подчас непосильна была этому человеку? Может быть и к Богу, к своему создателю, которому говорил он в своей музыке о тех страданиях и боли, что видел вокруг себя, что в избытке испытывал он сам, которого молил о прощении за – как вероятно казалось ему – неоправданные надежды, перед судом которого так боялся предстать. В этом человек некогда, где-то в 30-х годах, поселился страх. Сначала

* Статья написана в 1980 году и опубликована в №78 журнала «Время и мы» (США) в 1984 году. В 1990 статья была включена в Альманах «Время и мы» опубликованным издательством «Искусство» в России. Альманах объединил в себе такие опубликованные в журнале в прежние годы материалы, как интервью Джона Глэда с Иосифом Бродским, прозу Александра Галича, Сергея Довлатова, Феликса Розинера, публицистику Аркадия Белинкова, Артура Кестлера, Виктора Перельмана и многое другое

перед людьми. Потом перед Богом – когда в долгих мучительных раздумьях понял, что не имеет он права на этот страх, потому что не может быть совместим этот страх с тем дерзанием, с тем высоким полетом вдохновения, который дан был ему от рождения, сладостную истому которого ощутил он еще в ранней молодости своей. И вот этот вот «высший страх» – что не свершит он того, что предписано ему, что не достоин он той прекрасной и мучительной ноши, что не оправдает он тех надежд, что возложил на него Творец – терзал его затем всю жизнь. Но именно вот этот вот «высший страх» и заставлял его всю жизнь нести груз опасного противостояния с властью предрержащими, бороться с ними. Но не только с ними, но прежде всего с самим собой, со своим страхом, который всю жизнь мешал ему выразить тот дар, который он ощущал в себе, который был доверен ему. Как соединялся этот страх с тем дерзанием, которое освещало большинство его опусов? Не знаю.

Я давно хотела написать о Шостаковиче, о его последних произведениях, в которых он был совсем иной, не тот, каким знали его. Что-то удерживало меня. Трудно писать о последних опусах Шостаковича вне связи с личностью этого человека. Писать же о его личности я пока не считаю себя в праве – слишком щепетильна эта тема. Ибо малейшая неосторожность или не деликатность, которой, увы, столь много вокруг нас, а тем более – случайный вымысел или сознательная ложь – и еще более исказится облик этого человека. И без того искаженный облик – искажавшийся и при его жизни и еще более искажаемый теперь, после его смерти.

У Шостаковича было очень мало друзей при жизни. Число их не превысит, пожалуй, и однозначной цифры. Я не входила в их число. Я только имела счастье неоднократно наблюдать его – на заседаниях секретариата Союза композиторов, на выездных сессиях и пленумах, на концертах, в домах творчества композиторов в Рузе, в Дилижане, в Комарово...

Мне всегда казалось, что он инстинктивно, а, может быть, и сознательно, устранился от общения. При этом – он всегда был внешне приветлив и предельно вежлив. Он умел «беседовать» как бы не общаясь, находясь рядом и одновременно где-то очень далеко от собеседника. Речь его полна была междометий, слова проговаривались стремительной скороговоркой и обычно неоднократно повторялись, словно утверждая мысль, словно для того, чтобы быть уверенным, что он понят правильно. Но в основном он обходился деликатно-стесненными поддакиваниями, которые вряд ли возможно классифицировать как общение. Эти неизменные поддакивания Шостаковича, весьма часто

сопровождали разговор на темы, которые явно мало интересовали его. Увы, это его деликатное поддакивание использовалось при его жизни, используется даже и после его смерти. С разными целями – политическими, идеологическими и даже лично-спекулятивными. Он знал об этом и как-то равнодушно не замечал. Не замечал потому, что вероятно ощущал себя чужаком в том мире, который окружал его, потому что по всей видимости нужны были ему какие-то особые усилия, чтобы задуматься, чтобы представить себе все возможные последствия этого его поспешного согласия...

Однако об этом разговор впереди, разговор, рассчитанный в основном на русского читателя, прошедшего «огонь, воды и медные трубы» жизни интеллигента, художника в Советском Союзе. Потому что западный читатель, даже самый чуткий, пока не способен разобраться в причинах и истоках столь сложного психологического компромисса, побудившего великого музыканта пожертвовать многим в своей внешней жизни ради возможности выразить – хотя бы отчасти – свой внутренний мир. И именно это коренное разночтение в российском и западном пути мышления и привело к «загадке» Шостаковича, гениального музыканта, о котором так много – и одновременно – так мало знает мир.

Шостаковичу суждено было прожить еще шесть лет и пятьдесят пять дней после того, как впервые была представлена публике его Четырнадцатая симфония, сочинение, в котором он впервые заговорил – громко и откровенно – о смерти. 16 июня 1969 года в полдень в Малом зале Московской консерватории собрались музыканты – композиторы, музыковеды, критики, исполнители. Необычное для Москвы жаркое солнце прогрело массивные стены старого консерваторского здания, и в переполненном зале стояла тяжелая духота. Расстегнутые воротнички рубашек у мужчин, оголенные плечи у женщин... Ничто не спасало от духоты. Зал лениво гудел вялыми разговорами, за которыми пряталось напряженное ожидание – того нового, что через несколько минут прозвучит здесь. Ждали новую музыку по-разному – с заведомым восторженным поклонением, со спокойно-рассудительной убежденностью в гении Шостаковича, но и с подозрительной настороженностью, которая сродни, пожалуй, рефлексу опытного охотничьего пса, встретившегося со зверем крупным и опасным. Именно это ощущение и возникло у меня, когда я случайно обернулась назад. Прямо за мной сидел Павел Апостолов, человек, имя которого тогда, в конце 60-х годов, олицетворяло для нас, нового поколения

советских музыкантов, те страшные 30-е и 40-е годы, что принесли в советскую культуру репрессии, разгромы, публичные надругания над лучшими артистами, художниками, писателями, музыкантами. Павел Апостолов – слабый композитор и не менее слабый музыковед – занимал тогда высшие руководящие посты. Сначала в партийном комитете Союза Композиторов СССР, а затем – в отделе культуры Центрального Комитета партии. С его участием создавались печально-знаменитые постановления 1948 года о литературе и искусстве. И особым объектом «внимания» Апостолова был Дмитрий Шостакович, музыкант, который, по мнению партийных руководителей, уже только в силу исключительности своего дарования был крайне неудобен в «стройных рядах» советских композиторов.

В 1932 году всех, кто способен был писать музыку, объединили в единый Союз, который, подобно правлению колхоза, призван был контролировать творчество «свободных» художников, определять их «производительность труда» и распределять земные блага равномерно между всеми на «трудодень», невзирая на уровень дарования. Вот из этого-то «колхозного хора» все время выделялось несколько голосов, и прежде всего – голос Шостаковича, что было в целом против правил, установленных партийными чиновниками от искусства. Шостаковича не раз наказывали за это и, по мнению Апостолова, правильно наказывали.

В тот день, 16 июня 1969 года, я, оглянувшись, увидела в подозрительно настороженных глазах Апостолова еще одно новое для меня выражение – тревоги и боли. И ошибочно объяснила их его тоской по утраченной власти и быломu могуществу. Власти явно было мало, имя Апостолова исчезло со страниц печати. Хотя он и был еще членом партийного комитета Союза композиторов. И сам этот факт наводил на мысли о далеко не исчерпанных силах и отнюдь не похороненных идеях, которым верно служили апостоловы.

Все уже знали, что новая симфония Шостаковича вновь написана на поэтические тексты. Как и предшествующая, Тринадцатая, как и поэма «Казнь Степана Разина». Но программok на репетиции не было, и мало кто был знаком с содержанием текстов. Мне случайно удалось получить отпечатанные на пишущей машинке странички со стихами, положенными в основу симфонии. Властно-суховатый голос сзади попросил разрешения познакомиться с текстами. Не без внутренней стесненности протянула я листки Апостолову.

Духота заливала зал. Музыканты, уже заполнившие сцену, позволили себе рубашки навыпуск и сандалии на босу ногу. И словно что-то чужеродное, внезапно возник среди пестроцветных фигур оркестрантов черно-белый Шостакович. В мешковатом, как будто всегда одном и том же черном, плохо отглаженном костюме, он словно и не ощущал духоты зала. Он был как бы не из плоти, которая может чувствовать что-то, получать удовольствие или страдать. Неопределенных очертаний фигура его и двигалась как-то боком, словно не доверяя пространству и опорам под ногами. Весь сжавшись в комок, Шостакович нервно, не контролируя себя, непрерывно потирал щеки, подбородок, лоб. Лицо явно мешало ему. Вероятно, потому, что выражало то, что он хотел спрятать. Как спрятал глаза за толстыми стеклами очков.

«Эта симфония написана на тексты, в которых очень часто упоминается слово смерть, – отрывисто и хрипловато заговорил Шостакович, и слова его четко прорезали духоту и тишину зала, – но эта симфония не о смерти, а о жизни. О смерти же следует помнить всегда для того, чтобы лучше прожить жизнь... Мы не бессмертны, но именно поэтому нам нужно стараться как можно больше сделать для людей и быть как можно чище в жизни... Ничего утешающего, успокаивающего в моей симфонии нет. Смерть придет к каждому из нас, и мы должны быть внутренне готовы к ней. В каждом своем поступке, в каждом деле мы должны помнить, что мы смертны. И эта мысль о смерти не должна позволять нам творить гнусные дела. Это симфония о жизни!»

Я позже вернусь к этим словам Шостаковича, они необычны для него – он никогда прежде не пытался публично толковать свои сочинения, никогда прежде не формулировал столь откровенно и точно их философской программы. Слово вообще было чуждо ему, он был неловок и невнятен в речи, был неспособен точно развить свою мысль, но, как известно, блестяще компенсировал в музыке этот свой недостаток.

И все же на сей раз великий музыкант решился – словно не до конца доверяя своей музыке – словесно объяснить мысль своего нового детища. И кому? Своим коллегам, музыкантам, которым музыка должна была сказать больше, чем слова. Но, может быть, Шостакович именно потому и предварил музыку словами? Может быть, он боялся именно музыкантов? Но и об этом я расскажу немного позже. А сейчас – о самой симфонии и о том, что случилось во время ее исполнения.

Четырнадцатая симфония – вокально-инструментальное сочинение для сопрана, баса и струнного оркестра с большой

группой ударных. Основой одиннадцатичастной симфонии стали одиннадцать стихотворений четырех очень разных поэтов, принадлежащих к очень разным эпохам, национальным школам и стилям. Это испанец Федерико Гарсия Лорка, француз Гийом Аполлинер, русский поэт-декабрист, друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер и австриец Райнер Мария Рильке.

Трагичны темы стихов. Это всегда смерть, а точнее – гибель, вызванная ужасами неестественной, преступно и насильственно исковерканной жизни. Жизни, против которой протестует даже смерть, «плачущая в нас» (финальный дуэт симфонии). Трагизм стихов усугубляется музыкальным решением. Образы зла, разрушения, насилия всегда особо удавались Шостаковичу; их композитор предпочитал радостной безмятежности, покою или светлой лирике. Но никогда прежде не отдавался Шостакович стихии зла столь полно, как в этой партитуре.

Однако зачем понадобилось композитору обращаться к столь разным поэтам, творчество которых, как кажется, стилистически «выровнять» невозможно? Но Шостакович и не стремится их «выравнивать» и вообще менее всего обращает внимания на разнообразие поэтической стилистики. Для выражения замысла его даже устраивает эта пестрота поэтического стиля. Потому что интересует его в данном случае прежде всего **полистилистическое** выражение одной и той же темы. Очень важной и многозначительной для него темы, которая столь глубока и широка, что требует истолкования многопланового.

В других своих произведениях последних лет – в Тринадцатом, Четырнадцатом и Пятнадцатом квартетах, в Пятнадцатой симфонии, вокальных циклах на слова Цветаевой и Микеланджело, Шостакович развивает ту же тему, но более монологически и вглубь. Здесь же, в Четырнадцатой симфонии, где он впервые откровенно заговорил о смерти, она интересует его пока как философская категория – многозначная в своем выражении. Поэтому композитор сознательно избирает в качестве стихотворной основы своего сочинения очень разные по своей стилистике и аспекту раскрытия темы тексты. Но тексты только на одну тему.

...Симфония эта не заканчивается, а, пожалуй, обрывается. Внезапно обрывается в момент высокого динамического напряжения, будто не дойдя до финальной точки, будто не найдя ее. Пожалуй, впервые Шостакович заканчивает свое сочинение такой откровенной и беспомощной неразрешенностью и

незавершенностью, словно символизирующей бессилие человека перед лицом роковой неизбежности небытия.

Но прежде чем оборвется этот последний экспрессивный аккорд симфонии, музыка пройдет долгий путь от тоскливо-зажатой, почти неподвижной и словно бесшумной первой части, через торжественную вакханалию смерти во второй части («Малагенья»), к первому лирическому центру симфонии – «Лорелее», где впервые сталкиваются, противостоят, борются два непримиримых постулата жизни: Любовь и Смерть. Это своеобразная романтическая поэма, баллада с отчетливо видимым театральным действием. Пламя страсти пожирает страдающую, покинутую возлюбленным Лорелею, обреченную на заточение в глухом монастыре. В смерти находит она избавление от мук.

Впервые Шостакович будто находит ответ на мучающий его вопрос – впервые смерть дана как избавление, как позитивное начало. Потом, в последующих частях симфонии, Шостакович вновь отвергнет это решение, вновь весь его гениальный дар будет протестовать против смерти, вновь он будет бояться, страшиться ее. И лишь потом, несколько лет спустя, в своих последних квартетах вновь истолкует он образ смерти как избавление, как просветленный и естественный финал жизни. Но это будет позже, когда сам Шостакович будет намного ближе к смерти и как-то внутренне примирится с ней. А пока, в 1969 году, за шесть лет до своей кончины, он еще полон жизненных сил и не признает смерти. Не понимает ее и страшится. И протестует против нее.

Я не берусь здесь подробно рассказывать о Четырнадцатой симфонии, о формах организации и развития ее материала. Это отдельная и пространная тема. Скажу лишь о той аккумуляции трагического, которая нужна Шостаковичу для выражения его идеи.

Еще один лирический центр симфонии – ее седьмая часть «В тюрьме Санте». Это трагический монолог узника, заживо погребенного в мрачном подземелье, навсегда распрощавшегося с солнцем, травой, лугами. Еще одну смерть живописует Шостакович – пожалуй, самую страшную – смерть при жизни. Стихотворение Аполлинера «В тюрьме Санте» автобиографично. К счастью, не познавший тюремных застенков, Шостакович, силой своей творческой фантазии воссоздает психологию жертвы тюремной камеры.

Музыкальный образ стихотворения русского поэта Кюхельбекера – своего рода катарсис в симфонии. Это второй – после темы любви в «Лорелее» – позитивный образ произведения. Для подлинных ценностей, созданных человеком, нет роковой

границы, – словно утешает Шостакович. Смертен человек, а не творения его души. Они бессмертны потому, что они безраздельно принадлежат жизни и неподвластны тлению.

Впервые гармонична и поэтически вдохновенна музыка. Впервые – широкая кантилена мелодии, опирающейся на русский романс. Впервые все просто, выразительно и возвышенно. Казалось бы, решение пришло, ответ найден: смерти противопоставит бессмертье «вдохновенных дел».

Но последние две части симфонии, «Смерть поэта» и «Заключенный», вновь ввергают в пучину трагедии, которая здесь – в неразрешимости проблемы бессмертия. Художник, безусловно осознающий неординарность своих творений, их особую судьбу, трагически обнажен и беспомощен перед необратимостью движения его собственной жизни к роковому финалу. В последних частях симфонии Шостакович вновь восстает против смерти. Здесь кричит, вопиет живой человек, жаждущий жизни, даже той мучительной и трудной жизни, которой живет сам Шостакович. Никакие, пусть самые гениальные озарения человеческого духа не могут отодвинуть мига смерти. Перед ней все равны – мудрец и глупец, праведник и грешник, гений и бездарь. Нет решения этой вечной проблемы. Потому столь внезапно обрывает Шостакович последнюю часть симфонии – на высоком напряжении звука, словно не найдя финального аккорда. Лучше оборвать, недосказать, чем согласиться здесь, в финале, с неизбежностью смерти. Он не может утешить или внушить надежду, но и не хочет примириться с трагической логикой завершения жизни.

Вот такую музыку услышали мы в тот душный июньский день 1969 года. Казалось, что июньская духота и есть дыхание того адского пекла, где празднует свою тризну, где торжествует смерть. Казалось, это она, смерть, простерла сейчас свои жуткие объятия над массой притихших людей в зале. Между последними звуками симфонии и первыми аплодисментами была долгая, «пустая» пауза, как провал в тот потусторонний мир трагедии, мрака, боли и отчаяния, о котором только что пела музыка Шостаковича. Впечатление было огромное и трудное. Профессиональная аудитория отчетливо понимала, что случилось нечто необычное, из ряда вон выходящее: только что прозвучавшее неотвратно изменило что-то в их музыкантском мире, где, казалось, в последние годы установилось, наконец, какое-то равновесие. Эти сорок минут музыки разделили, разрезали их мир на «до» и «после», и это «после» означало собой новую точку отсчета в истории советской музыки. Никто не взялся

бы предсказать, что принесет с собой это «после» – люди, сидевшие в зале, в большинстве своем прошли через мучительное и унижительное осознание своей полной и безусловной зависимости от монархически-всевластных и анархически-безликих и случайных партийных директив. К этому унижительно-рабскому творческому и человеческому послушанию привыкали трудно, но, привыкнув, – воспринимали как должное, само собой разумеющееся. И тот же Шостакович не раз и не два в присутствии нескольких сотен своих коллег горько каялся в своих «творческих грехах», обещал «исправиться», подчинить свой талант тем безликим и категоричным директивам, что исходили из каких-то недосягаемых партийных «верхов». Именно за это его и били, прикрывая истинные причины туманными формулировками типа «антинародное, формалистическое искусство».

И вот опять. Опять все тот же Шостакович написал музыку, в которой с небывалой доселе откровенностью заговорил о том, на что негласно было наложено идеологическое табу. Заговорил – пожалуй, впервые в советском искусстве – о самой высокой трагедии человека. О смерти. И как заговорил!

И еще одно обстоятельство смущало зал. После четвертой части – гневно-протестующей «Самоубийцы» – за моей спиной неожиданно громко и резко, как выстрел, стукнуло откидное сидение стула. Дирижировавший симфонией Рудольф Баршай гневно обернулся в зал и замер. По проходу четко, по-военному печатая шаг, шел в сторону выхода Павел Апостолов. Сухо хлопнула дверь зала. Рудольф Баршай выждал паузу, явно чуть большую, чем того требовала драматургия симфонии. И начал пятую часть произведения – «Начеку». А я поймала испуганные и недоумевающие взгляды вслед уходящему Апостолову сидевших в четвертом ряду Шостаковича и его жены Ирины.

Демарш Апостолова мог быть истолкован только как демонстративное неприятие нового опуса Шостаковича, как предвестник грядущего скандала, поругания, травли. Лет десять-пятнадцать тому назад подобный демарш обязательно заставил бы покинуть зал и других осмотровых коллег Шостаковича. Но в 1969 году никто не осмелился последовать за Апостоловым. Хотя, не сомневаюсь, что-то тревожно шевельнулось в иных душах.

...Аплодисменты были долгими. Они возвращали слушателей к жизни из тех темных и мрачных лабиринтов смерти, по которым только что провел их Шостакович. Но смерть, ее зловещий образ, не покинула зал с последними звуками симфонии. Гениальная музыка Шостаковича словно призвала и материализовала ее. Пока музыка рассказывала о смерти, она – эта

многоликая, вездесущая и безглазая судья – вновь опустила свою роковую косу. Музыка Шостаковича еще звучала, а у дверей Малого зала, в фойе уже лежал мертвый Апостолов. Больное сердце стареющего партийного босса не выдержало духоты зала. А может быть, он ощутил свое бессилие перед восторжествовавшим – невзирая на все его усилия – гением Шостаковича? И это горькое чувство побежденного человека, привыкшего диктовать и править, и доконало Павла Апостолова?

Но, может быть, смерть вовсе и не безглаза? Может быть, она точно выбирает свою жертву, и есть какая-то неизвестная нам сила в таинстве искусства? Может быть, действительно оно, рожденное редким и неведомым человеческим даром, воплотившее в себе страдающую и страждущую душу художника, способно все же сотворить чудо? Право же что-то символическое было в том, что человек, сделавший столько недоброго многим, и, прежде всего, Шостаковичу, в свой предсмертный час услышал нервно-сбивчивую и пророческую для него речь своей жертвы, призывавшей к душевному очищению перед лицом неизбежной смерти. Право же есть что-то символическое в том, что человек, всю свою жизнь преследовавший все яркое и талантливое в советской музыке, умер в момент торжества гения музыканта, который был главной мишенью в его многолетней борьбе. Сам факт создания и исполнения Четырнадцатой симфонии Шостаковича доказывал всю тщетность и бесплодность усилий советских апостоловых.

Я намеренно все время подчеркиваю необычный трагизм Четырнадцатой симфонии, которая принесла с собой в советскую музыку прежде всего новое качество эмоции и новую ее сферу – безысходность, беспросветность.

...Художник – это как бы врач своего времени, он устанавливает диагноз болезни своей эпохи. В этом его истинное призвание, особенно в такой стране, как Россия. В XX веке художнику в России запрещено было говорить о заболеваниях, его миссию видели в том, чтобы смертельно больному внушать мысль о цветущем здоровье. Однако истинный художник не может лгать в своем искусстве. Так же как не дело врача заниматься здоровыми людьми. Истинные художники всегда слышали ту боль и те страдания, что пытались забить, заглушить санкционированными восторгам и громом аплодисментов.

Я хочу напомнить о таких трагических шедеврах русского искусства, как «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского, как «Пиковая дама» и Шестая симфония Чайковского, как повести

Гоголя, романы Достоевского. Русская музыка, все русское искусство всегда несло в себе прежде всего трагедию, и эта трагедия намного точнее, нежели книги историков и речи политиков, выражала сущность этой великой страны. В России был свой закон в искусстве: каждый истинно талантливый художник неизменно в какой-то момент жизни приходил к трагедии.

Пытались выразить трагическое в своей музыке и советские композиторы. Окружающая их жизнь давала более чем достаточно импульсов для этого. Но именно с трагическим в искусстве наиболее активно боролась советская идеология, усматривая в этом трагическом ту эмоциональную правду о советской жизни, которую пытались скрыть. Цензуре подвергались не только литература, живопись, поэзия, но и музыка, которая, как известно, не выражает точной конкретной мысли, но эмоционально отражает мир. Почти в буквальном смысле слова руки цензоров беззастенчиво ворошили самое сокровенное в душах художников, выбирая те чувства, что были пригодны для советской власти и запрещая те, что не способствовали ее упрочению.

Три поколения художников в России прошли через это жестокое сито цензуры. Многие не могли представить себе иных путей в искусстве, нежели указуемые руководящими инстанциями. И гремели над стонущей Россией победные марши и гимны, воспевающие «светлую эпоху». Гремели, заглушая грохот тюремных засовов и плач обездоленных детей. Но наиболее талантливые художники всегда слышали трагедию России, она беззвучно пела о себе в их неисполненных партитурах. И каждый настоящий художник в России приходил в своем искусстве к трагедии.

Так же как еще на заре советского государства пришел к ней Дмитрий Шостакович. Пришел потому, что был русским художником, потому что кожей чувствовал боль и страдания, что разлиты были вокруг него. Он был совсем молод – ему было всего 24 года, когда задумал он свою трагическую оперу «Леди Макбет Мценского уезда». Откуда в 24 года мог он собрать в себе ту мощную экспрессию, что выразил в этой музыке?! Убеждена, он ощущал, именно ощущал, а не понимал ту трагедию, что совершалась в его стране. Но ощущал так глубоко и точно, как никто иной из его коллег. Не побоюсь быть понятой прямолинейно и напомню, что опера «Леди Макбет» была написана в 1930-32 годах, в один из трагичнейших периодов жизни советского государства, в период насильственной

коллективизации, когда миллионные массы гибнущих от голода крестьян заполнили города, где они безуспешно искали спасения. Нет, Шостакович не писал оперу о коллективизации, но он чувствовал висящую вокруг него боль и писал **трагедию**. Потому что не мог писать ничего иного, потому что был истинным художником. Он писал трагедию тогда, когда газеты и журналы пестрели оптимистическими лозунгами, когда в искусстве Советского Союза приветствовались только маршевые, победные темы и сюжеты.

Написанная Шостаковичем опера всерьез напугала официальные власти. Одна из позорнейших страниц советской музыки – редакционная статья в «Правде» от 28 января 1936 года «Сумбур вместо музыки», в которой опера эта была названа аполитичной. Обратите внимание: **аполитичной**. Но разве может быть музыка политической? В советском искусстве – могла. Политическая музыка – это музыка, воспевающая мифические успехи и победы страны, это музыка туповатых маршей и бодрых песен. А аполитичная музыка – это музыка глубокой и искренней боли за свою страну, за ее судьбу. Это музыка, несущая в себе разочарование, а иногда и безнадежность. Такой музыки не должно было быть в Советском Союзе. По мнению власть предержащих, советская действительность не давала никаких оснований для трагических эмоций. И их почти не было. Почти. Из примерно двух тысяч композиторов, включенных в списки Союза Композиторов СССР, может быть лишь десяток художников отваживался вкладывать в свою музыку то, что тревожило их, то, что никогда и никому, даже самым близким людям, не решились выразить бы они в словах. Среди них был Шостакович, проживший труднейшую, тяжелейшую жизнь затворника, сознательно отгородившегося от внешнего мира, подчас голодавшего, потому что в 30-е и 40-е годы его музыку не покупали.

Но как мог он допустить, чтобы его дети – сын и дочь – голодали? Случилось так, что Шостакович практически один растил своих детей, один отвечал за их жизнь, за их будущее. И эта тревога за них, это чувство единственно ответственного – однажды вселившись в него, так и не покинуло его до самой последней минуты его жизни. Шостаковичу выпала доля до конца осознать трудное чувство ответственности за своих детей, которым он дал жизнь и которыми закабалил, связал себя. Связал тем тягостным – нет, не радостным, но тягостным чувством родительского долга, за которым – страх за жизнь детей. Страх этот подчас сковывал его творческую волю, заставлял

равнодушно-любезно поддакивать тем, чьи лица старался он не видеть сквозь толстые стекла очков. Именно этот страх за своих детей, которых он не по отцовски, а как-то еще глубже и сильнее любил, вот это ощущение их заложниками, могущими невинно пострадать за один его неверный шаг, за одно опрометчиво сказанное слово – а он-то отлично знал, сколь тяжела рука у его матери-родины – навсегда сковал его уста, практически лишил его слова и оставил ему лишь его верную музу. Но верную ли? И ей вынужден он был изменять, когда пытался – и подчас искренне – извлечь из струн своей души те звуки, что, как он надеялся, избавят его от мучений страхом за судьбу детей. Он пытался писать бодрые песни и веселые оперетты. Но упрямо вновь и вновь возвращался к трагическому. Потому что дар, доставшийся ему, был подлинно трагическим.

В напряженной внутренней борьбе проводил он дни, недели, месяцы. Это была борьба между слабым, запуганным и болезненно-робким человеком и тем мощным талантом, что нес он в себе. И когда этот мощный дар побеждал слабого, больного страхом человека – Шостакович создавал лучшие свои произведения. Тогда он создавал музыку, в которой размышлял о том, что же случилось с его страной, почему злодейство и подлость торжествуют, почему безмолвствует забитый и задавленный народ. Не потому ли Шостакович неожиданно обратился к самой трагической русской опере, рассказывающей о драме запуганного и обманутого народа, – к «Борису Годунову» Мусоргского – и создал в 1940 году (посмотрите на дату!) новую великолепную инструментовку этой оперы?! Инструментовку, в которой еще более подчеркнул трагическое в произведении.

Именно в те страшные тридцатые годы, когда за каждое лишнее слово можно было заплатить жизнью, Шостакович приучился избегать слов и выражать себя только музыкальными образами. С тех страшных 30-х годов, когда в сталинских застенках погибли люди, близкие его душе, – маршал Тухачевский, режиссер Мейерхольд и многие другие, Шостакович стал бояться **своих слов** и предпочитал повторять слова других, написанные и подготовленные для него теми, кто и судил и казнил художников. С тех пор Шостакович, не читая, подписывал своим всемирно-известным именем всяческие воззвания, письма протеста и возмущения, подsunутые ему людьми типа Апостолова. Страх, прокравшийся в его душу страх, заставлял его делать это.

Может быть, именно благодаря этому соглашательству и этому страху перед словом Шостакович и не был арестован и не

погиб в сталинских тюрьмах в 30-х годах. Ведь всем своим творчеством он словно готовил себе эту страшную судьбу. Может быть, слово и было той «валютой», которой Шостакович платил за свою жизнь, за право хотя бы иногда прорываться в своем творчестве за те запреты, что подобно мощной плотине сдерживали поток его могучей фантазии. Практически ни одному заявлению, подписанному Шостаковичем, ни одной его статье доверять нельзя. Более того, нельзя ассоциировать его – большого музыканта – со всем тем, что было подписано его рукой для печати. Мне кажется, что вернее было бы считать все это принадлежащим однофамильцу великого композитора.

Кстати, любопытный факт: Шостакович писал свои нотные рукописи предельно четким и острым почерком, тогда как все остальное написано рукой невротика, буквы скачут в разные стороны, слова неразборчивы и недописаны, строки идут вкривь и вкось.

К сожалению, мало кто знает об этом абсолютном несовпадении Шостаковича-композитора и Шостаковича-гражданина и общественного деятеля. Даже в Советском Союзе. Мне было очень грустно читать в открытом письме Лидии Чуковской «Гнев народа» от 7 сентября 1973 года, посвященном травле в СССР академика Андрея Сахарова, следующие слова: «Подпись Шостаковича под протестом музыкантов против Сахарова доказывает неопровержимо, что пушкинский вопрос решен навсегда: гений и злодейство совместимы. Гений и предательство. Гений и ложь».

Да, действительно, имя Шостаковича стоит в ряду имен таких музыкантов, как А. Хачатурян, Г. Свиридов, Т. Хренников, Д. Кабалевский, Р. Щедрин, А. Эшпай, К. Караев и многих других, кто подписал статью «Позорит звание гражданина», опубликованную в газете «Правда» 3 сентября 1973 года. Статья эта, клеймящая академика Андрея Сахарова, полна выражений типа «антисоветские откровения», «несовместимо с высоким званием гражданина СССР и деятеля нашей науки», «позорит честь советской интеллигенции», «чувство возмущения и гневного осуждения»... Но я абсолютно убеждена, что Шостакович понятия не имел, за что осуждают и клеймят академика Сахарова. Просто в очередной – в который уже! – раз подписался он под очередным – которым уже! – документом, подложенным ему партийным начальством. Не уверена я лишь в одном: думал ли он о том, к каким практическим результатам может привести каждая его подпись. Вероятно все же думал. Потому что был человеком чувствительным, боязливым и наделенным гигантской

художнической фантазией. Думал и, вероятно, ужасно мучился и страдал от содеянного. А потом пел эти страдания в музыке.

И все же страх его был сильнее страданий. Чего он страшился? Быть убитым? Или заживо погребенным где-нибудь в сибирской тюрьме? Отрезанным от мира, от жизни, которую он слышал столь причудливо и столь ярко? Думаю, что, скорее, последнего. И доказательство тому – та же Четырнадцатая симфония, ее центральная часть «В тюрьме Санте». Эта седьмая часть симфонии – самая точная и глубокая в психологическом раскрытии образа заточенного в темницу героя. В гениальной фантазии Шостаковича, очевидно, неоднократно возникала эта страшная сцена терзаний заживо погребенного за многометровыми стенами человека. Человека, наделенного щедрым воображением и тонкими чувствами, человека, любящего жизнь, насильственного вырванного из нее и обреченного в течение долгих лет изо дня в день мучительно и медленно умирать.

Шостакович безусловно хорошо знал это ощущение отторгнутости, изолированности от мира, без которого жизнь теряет всякий смысл. Разве не могли дать ему подобные ощущения те ужасные дни, когда он, легкоранимый и чувствительный, подвергался всеобщему, да, да, всеобщему поруганию и надсмешанию? Разве не могло придти к нему это ощущение отторгнутости и изолированности от одного только факта невозможности для него, выдающегося музыканта двадцатого столетия, свободно выбирать себе друзей, общаться со своими зарубежными коллегами, знать их творчество, посещать интересные его музыкальные празднества в мире? Мотивы одиночества, пустоты, оторванности, эти жуткие стынущие мелодии все чаще и чаще появляются в его музыке. Они и в Десятой симфонии, и в последних квартетах, и в вокальных циклах на слова Блока, Цветаевой, Микеланджело... Но впервые наиболее ясно и точно формулирует это свое ощущение заживо погребенного Шостакович именно в Четырнадцатой симфонии. Впервые столь откровенно и прямо говорит он о трагедии **своей** жизни.

Вот почему он так боится исполнения этой симфонии – особенно перед коллегами, музыкантами, которые скорее поймут иносказательный язык его опуса. Вот почему предваряет он первое исполнение Четырнадцатой симфонии своим словом. Словом, конечно же, написанным не им самим, а скорее всего его женой Ириной – женщиной образованной, умной и тонкой, с холодным и точным рассудком.

И вновь повторю, что и этому устному слову Шостаковича верить нельзя. Уже ясно, что за этим словом он пытается скрыть правду, тот крик своей души, что, наконец, осмеливается выплеснуть. Да и слово-то это полно противоречий и никак не отвечает существу его музыки. Начать с того, что еще за полтора месяца до первого прослушивания симфонии Шостакович дал интервью корреспонденту газеты «Правда». В напечатанной 25 апреля 1969 года статье «Предисловие к премьер» Шостакович говорит: «Мне хотелось, чтобы слушатель, размышляя над моей новой симфонией, которую я посвятил английскому композитору Бенджамину Бриттону, подумал ...о том, что обязывает его жить честно, плодотворно, во славу своего народа, отечества, во славу самых лучших прогрессивных идей, которые двигают вперед наше социалистическое общество. Такая была у меня мысль, когда я работал над новым произведением». И Шостакович подкрепляет эту свою декларацию цитатой из популярного романа Николая Островского «Как закалялась сталь», которая завершается словами: «...чтобы умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества».

В «Правде» Шостакович выступает как партийный демагог, как тот самый «советский художник», каким его хотели видеть партийные идеологи. Но за этой демагогией и ложью – стремление во что бы то ни стало, любой ценой оберечь свое дитя. Стремление, аналогичное, вероятно, защитительной реакции по отношению к своим детям, которое и диктовало Шостаковичу эти трудные компромиссы. В 1969 году на страницах «Правды» Шостакович пытается защитить свое новое «дитя» от той страшной судьбы, что выпала на долю многих его произведений в 30-е и 40-е годы. И в речи на репетиции 16 июня 1969 года он стремится предложить музыкальным идеологам, будущим критикам, свое истолкование симфонии, надеясь, что оно будет им удобно, надеясь, что оно уберезит его творение от случайного высказывания излишне прозорливого и чуткого коллеги. И здесь рождается ассоциация с матерью-птицей, которая, поняв безуспешность открытой обороны своего полного птенцов гнезда, уводит за собой, подальше от своего домика, хищного зверя, предпочитая ценой собственной жизни спасти своих детей. Шостакович ценой своей гражданской репутации пытается оберечь свою музыку от поругания, от забвения. В Шостаковиче говорит уже вероятно не разум, не логика, но опыт, который сродни рефлексу, горький опыт всей его творческой жизни. Все средства сейчас для него хороши, чтобы как-то объяснить тот

безысходный трагизм, то ощущение вакханалии смерти, что живут в его музыке. Шостакович сам выдает себя в своей статье в «Правде», когда говорит, что идея Четырнадцатой симфонии возникла у него еще в 1962 году, когда он оркестровал вокальный цикл Мусоргского «Песни и пляски смерти». «Это великое произведение, – написал в "Правде" Шостакович, – я всегда перед ним преклонялся и преклоняюсь. И мне пришла мысль, что, пожалуй, некоторым "недостатком" его является краткость: во всем цикле всего четыре номера. А не набраться ли смелости и не попробовать ли продолжить – подумалось мне. Но тогда я просто не знал, как к этой идее подступиться».

«Песни и пляски смерти» Мусоргского одно из самых драматических произведений русской музыкальной классики. Мусоргский избрал темами своего цикла наиболее трагические эпизоды жизни человека: мать теряет свое дитя, умирает юная девушка, погруженная в мечты о своем возлюбленном, вьюжной ночью в грезах о тепле замерзает пьяный мужичонка, убивают друг друга – неизвестно во имя чего – солдаты двух враждующих армий... Герои Мусоргского жертвы не смерти, но жизни. Беспросветно-мучительной жизни.

Именно о нелогичности смерти, даже той, что обрывает мучительную жизнь, пишет свою симфонию и Шостакович. Еще одно доказательство того: Шостакович посвятил симфонию Бенджамину Бриттону, одному из очень немногих людей, с которым был он близок в последние годы жизни. Как известно, в творчестве Бриттена тема смерти, осознания, осмысления ее – не только как философской категории, но и как повседневной реальности – была очень важна. Не сомневаюсь, Шостакович не раз беседовал с Бриттеном на эту тему.

И еще раз платит Шостакович – и очень дорогой ценой – за право, за возможность выплеснуть в музыке свои сокровенные чувства, высказать то, что мучает его. Тотчас же после Четырнадцатой симфонии он сочиняет – словно подстраховывая себя откровенной лояльностью на случай возможных неприятностей – восемь баллад «Верность» для мужского хора без сопровождения на слова одного из наиболее официозных советских поэтов Евгения Долматовского. Симфония номер Четырнадцать обозначена опусом 135, а «Верность» – опусом 136. О чем этот цикл? О Ленине, о родине, о партии. В интервью, напечатанном в газете «Советская культура» 7 марта 1971 года, Шостакович сказал: «Я не впервые обращаюсь к этой теме. В частности, Двенадцатая симфония была посвящена образу вождя нашей партии, создателю нашего государства. Думаю, что это не

последняя моя работа о Владимире Ильиче. Я и в дальнейшем буду работать над образом этого великого человека».

Опять слова, безусловно написанные кем-то за него. Опять слова, которым, конечно, нельзя верить. Я убеждена, что кто-то «посоветовал» Шостаковичу написать этот хоровой цикл. Вновь и вновь великого музыканта заставляют низко, в пояс кланяться тем идеям, что исповедуются официальной идеологией. Для идеологов такое музыкальное покаяние Шостаковича чрезвычайно важно. Ведь уже сам авторитет его имени – во всем мире и в среде советских композиторов – является для них самой дорогостоящей «акцией» на бирже идеологических сражений. Именно Шостакович должен подавать пример своим коллегам и объяснять всему миру, сколь преданы коммунистическим идеалам советские композиторы. И Шостакович соглашается играть эту неловкую роль на сцене идеологического театра.

Критики не случайно проводили параллели между циклом «Верность» и «Десятью хоровыми поэмами» на слова революционных поэтов, написанных Шостаковичем в 1951 году. Действительно, и по теме, и по музыкальному решению эти два произведения очень близки. К сожалению, близки они и по целям, ради которых были написаны. Я обращаю внимание на дату создания «Десяти поэм» и на ее окружение: После постановления 1948 года, вновь «призвавшего» Шостаковича писать музыку «доступную для народа», он создает такие тенденциозные и во многом подорвавшие его гражданский, да и профессиональный авторитет опусы, как «Песнь о лесах» (1949), Четыре песни для голоса и фортепиано на слова того же Долматовского (1951), кантату «Над родиной нашей солнце сияет» вновь на слова Долматовского (1952)... То есть Шостакович подчиняется «мудрым указаниям партии».

Двадцать лет спустя он вновь подчиняется тем же «мудрым указаниям», создавая после Четырнадцатой симфонии цикл «Верность». Только теперь они, эти «мудрые указания», не публикуются в печати и не выносятся на всеобщее осуждение, а вколачиваются в головы художников в келейной обстановке, в «дружеской беседе», полной «добрых советов и наставлений». Времена изменились, а с ними и методы руководства искусством. Теперь все делается по принципу: меньше шума и жестче приказания.

И все же Шостакович пишет в последние годы своей жизни очень много яркого и интересного. Он пишет много потому, что его положение всемирно известного композитора позволяет ему более свободно говорить то, что он хочет. Цикл «Верность» –

последняя дань на идеологический алтарь. Оставшиеся ему годы жизни – это годы в целом свободного творчества. Но именно цикл «Верность» подтверждает, что Шостакович уже не в состоянии полностью осознать и поверить в творческую независимость и свободу. Уникальную в среде советских композиторов независимость и свободу.

Душевное состояние Шостаковича в последние годы жизни очень тяжелое. Он вновь и вновь обращается к мыслям о смерти, они – как навязчивая идея. Вновь страх... Но уже не страх уничтожения силами государственной машины, а страх приближающейся смерти, которую, как кажется, Шостакович – человек уникальной интуиции и нервной чувствительности – провидит, предчувствует. Он боится смерти, которая должна вот-вот оборвать его мучительную жизнь. Жизнь без просветов и радостей, без житейских утех, почти без близких друзей. И каждое последующее его сочинение, созданное в эти годы, мрачнее и трагичнее предыдущего. Поэтому он порой повторяется – не только в темах, но и в средствах, настроениях. Если послушать его музыку – его Девятый и Десятый квартеты (1964), его «Казнь Степана Разина», его Одиннадцатый квартет (1966), его романсы на слова Блока (1967), его Двенадцатый квартет (1968), потом его Четырнадцатую и Пятнадцатую симфонии, Четырнадцатый и Пятнадцатый квартеты, вокальные циклы на слова Цветаевой и Микеланджело, наконец, последнее его сочинение – Сонату для альта и фортепиано... Если порассуждать над его музыкой последних лет, нетрудно будет ощутить, понять, услышать эти его настроения.

О каждом из последних произведений Шостаковича можно писать и писать. Писать о поисках выхода из трагической безысходности. Об обращении к потустороннему как к единственному источнику света, о путях к новой духовности... О Шостаковиче можно и нужно писать много. Потому что он один, **единственный** в советском искусстве выразил в своей музыке эту трагическую, бесконечно духовно богатую и такую противоречивую страну – Россию, Советский Союз. Никакой самиздат не может помочь с такой ясностью понять эту страну, как его музыка, точно истолкованная музыка Шостаковича, легально издававшаяся и исполнявшаяся в СССР.

Мои бывшие коллеги – советские музыковеды и критики – пытались слепить иной образ Шостаковича-художника – светлого оптимиста, певца социалистической державы, мудрого провидца расцвета страны, руководимой коммунистической партией. Очень симптоматично, что даже в некрологе о

Шостаковиче, подписанном Брежневым и всеми членами советского правительства, ни разу не были употреблены слова «трагический» или хотя бы «драматический» в характеристике искусства Шостаковича. Наоборот: некролог пестрел выражениями типа «верный сын коммунистической партии», «художник-гражданин», воспевающий «тему расцвета человеческой личности в революции», «поведавший миру о негибаемой силе духа советских людей». В некрологе говорится о том, что Шостакович «утверждал и развивал искусство социалистического реализма» и «черпал свое вдохновение в нашей советской действительности».

Последовали официальной позиции некролога, напечатанного в «Правде», и многие признанные деятели советского искусства. «...Музыка Шостаковича производит на слушателя глубоко оптимистическое, укрепляющее и взбадривающее действие!» – написала в газете «Известия» известная советская писательница Мариетта Шагинян, сама достаточно пострадавшая от несовпадения ее творческой позиции с «линией партии».

А главный редактор профессионального музыковедческого журнала «Советская музыка» имел крупные неприятности в отделе культуры ЦК КПСС только за то, что в одной из напечатанных в журнале по случаю смерти Шостаковича статей было несколько раз использовано слово «трагический».

Все это – ужасающая фальсификация, не имеющая под собой никакой реальной почвы. Из-за этих фальсификаций, которыми, к сожалению, пронизаны иные многотомные исследования моих бывших коллег, мир знает так много о мифическом Шостаковиче – творце, гражданине и патриоте – и так мало о его подлинном человеческом и творческом существе. Этого величайшего композитора двадцатого века предстоит еще открывать.



Евгений Кисин

Воспоминания о Тихоне Хренникове



аверное, некоторые мои размышления и выводы покажутся иным читателям спорными. Что ж - как говорил в своё время Горбачёв, "никто не владеет монополией на истину". Буду только рад, если кто-то выразит аргументированное несогласие со мной, ибо убеждён, что это поможет всем нам приблизиться к более полному пониманию одного из непростых вопросов нашей сложной, многогранной и противоречивой жизни.

1.

Начну с воспоминаний, непосредственно связанных со мной лично. В 1984 году, когда мне было 12 лет и обо мне узнали в московских музыкальных кругах, директор Московской Средней Специальной Музыкальной Школы имени Гнесиных (или, как проще говорят, Гнесинской десятилетки), где я тогда учился, Зиновий Исаакович Финкельштейн решил, что хорошо было бы "показать" меня Тихону Николаевичу Хренникову. Договорились о встрече - и 1 мая того же года мы с моей учительницей Анной Павловной Кантор пришли к Хренникову домой. Хозяин очень тепло и радушно встретил нас и провёл в свой кабинет, где уже находилось много народу: супруга Тихона Николаевича Клара Арнольдовна, дочь Наталья с мужем, Зиновий Исаакович, композиторы Лев Солин и Александр Чайковский со своей тогдашней супругой Ириной Виноградовой и другие.

Играл я тогда Тихону Николаевичу и всем присутствовавшим много: и "чужие" сочинения, и свои собственные (в детстве я много писал музыку). Помню, когда в нашей семье зашёл разговор о перспективе встречи с Хренниковым, мой папа сказал: "Ну, это - или пан, или пропал!". Я это "осознал", подготовился как следует и играл хорошо. Тихон Николаевич был очень доволен (помню его слова: "Я готов слушать до утра! ") и пригласил меня принять участие в организовываемом им 2-м Международном фестивале

современной музыки, который должен был состояться в Москве всего несколькими неделями позже. 23 мая мы с Вадиком Репиным (которого Хренников в то время активно "протезировал") сыграли в рамках этого фестиваля сольный концерт в Малом Зале Московской консерватории: я - первое отделение, Вадик - второе.

Принял участие в фестивале в качестве солиста и сам Тихон Николаевич, сыграв в Большом Зале консерватории свой 3-й фортепианный концерт. Когда после того концерта я пришёл к Хренникову в артистическую, он подарил мне книгу Григорьева и Платека о себе "Его выбрало время", сделав на титульном листе дарственную надпись: "Женечке Кисину с восхищением. Тихон Хренников". Помню, читал я тогда эту книгу с интересом и, в частности, обратил внимание на рассказ о том, как в начале 1950 годов по "субъективным причинам в условиях культа личности" критиковали оперу Хренникова "Фрол Скобеев" за её "дореволюционный" сюжет, писали: "Не лучше ль, Тихон Хренников, заметить современников?" - и вскоре после премьеры перестали исполнять.

О "культе личности и его последствиях" я в то время кое-что уже знал - от моего незабвенного учителя истории, ныне зампреда Московского антифашистского центра, Виктора Юрьевича Дашевского. В те "замечательные" времена, когда в школьных учебниках истории всего лишь несколько строк были посвящены "культу" и ни единого слова не говорилось о сталинском терроре и миллионах его жертв, Виктор Юрьевич всем своим ученикам обстоятельно и недвусмысленно объяснял, что "Сталин был плохой". Поэтому вышеупомянутый фрагмент из книги о Хренникове меня не удивил - но, конечно, тогда мне и в голову не могло прийти, что всего через 4 года кое-кто будет пытаться в нашей прессе представить Тихона Николаевича как чуть ли не одного из сталинских палачей и немало людей этому поверят.

Однако вернёмся к нашей первой встрече с Хренниковым. Тогда, 1 мая 1984 года, Тихон Николаевич спросил у Анны Павловны, почему я такой бледный. Анна Павловна объяснила, что я очень утомляюсь, потому что живу в часе езды от школы. Тихон Николаевич тут же записал для себя: "Приблизить, " - и в июне следующего года благодаря его хлопотам мы получили ордер на новую квартиру, всего в получасе езды от гнесинской десятилетки (квартира эта принадлежит нам и по сей день). Перезжая туда, мои родители были вынуждены продать наш старый салонный "Бехштейн", так как он не влезал в лифт, а

поднять его по узкой лестнице на 14-й (а фактически на 17-й) этаж, где расположена наша квартира, разумеется, было невозможно. Таким образом, я остался практически без инструмента, так как пианино мне тогда уже никак не подходило, - и, опять-таки, благодаря Тихону Николаевичу Музфонд стал давать мне рояли напрокат (причём бесплатно). До самого своего отъезда из России в конце 1991 года я занимался на музфондовской "Эстонии" (в начале 1987-го Владимир Теодорович Спиваков подарил мне "Стейнвей", который купил у уезжавшего тогда за границу Бориса Бехтерева, но, к сожалению, заниматься на нём я не мог, так как был он очень старенький и хрупкий, а я к тому же в те годы, как часто бывает у молодых пианистов мужского пола в переходном возрасте, любил "поколачивать" на рояле и постоянно рвал струны; "стейнвейевских" же струн в Советском Союзе, понятное дело, достать не было никакой возможности, - во всяком случае, для нашей семьи - так что приходилось спиваковский подарок беречь).

Тогда же, во время первой нашей встречи, Тихон Николаевич посчитал, что "бледному Женечке Кисину" необходимо не только не тратить часы в троллейбусах и метро на поездки в школу, но и отдыхать в хороших условиях, - и с тех пор благодаря ему, хотя я не был членом Союза композиторов и пребывал ещё в подростковом возрасте, каждое лето и каждую зиму до самого нашего отъезда из страны мы проводили каникулы/отпуск в "Домах творчества композиторов" (в основном, в "Рузе"). Ах, что это было за время! что за атмосфера! что за общения в этих незабвенных "Домах творчества"! Как бы мне хотелось снова провести отпуск в той же "Рузе"! - да, говорят, там сейчас как минимум половина отдыхающих - мафиози. А ведь в русских дачках железных дверей с множеством замков нет.

Вот такой это был человек. Вот так он - в отличие от подавляющего большинства других людей во все времена! - "использовал своё служебное положение". Впоследствии я узнал, - и до сих пор продолжаю узнавать! - что был всего лишь одним из очень-очень многих, кому Тихон Николаевич помог, - об этом речь впереди. Больше того - опять же, в отличие от многих других, сам он отнюдь не склонен был распространяться (тем паче публично) о своих многочисленных добрых делах. Я рад, что успел рассказать об этом в одном из своих интервью, когда Тихон Николаевич был ещё жив.

В последующие годы мы немало общались. Летом 1986 года я выучил хренниковский 2-й концерт и потом играл его в разных городах и странах. Вместе с Тихоном Николаевичем,

Вадиком Репиным и Максимом Венгеровым мы давали на Шлезвиг-Гольштейнском фестивале (Германия), в Одессе и Москве "хренниковские творческие вечера": сначала Максим исполнял 2-й скрипичный концерт, потом сам Тихон Николаевич - 3-й фортепианный, затем - после антракта - я играл 2-й фортепианный концерт, и Вадик заканчивал программу 1-м скрипичным. Весёлые это были поездки!

Каждый год мы с Анной Павловной и моей мамой (разумеется, если были в это время в Москве) навещали Тихона Николаевича на День Рождения. Что сказать - дом Хренниковых был одним из самых гостеприимных домов, в каких мне довелось побывать за всю жизнь (а я бывал во многих - в разных странах, на разных континентах). В те дни огромная квартира Тихона Николаевича всегда была полна народу: приходили многочисленные друзья, коллеги, ученики. И неизменно - атмосфера безмерного тепла, радушия, добра и любви. Помню, как отмечалось 76-летие Тихона Николаевича, - "по свежим следам" 1-го съезда народных депутатов СССР (1989-й год), одним из которых был именинник. Мы сидели за праздничным столом, и зять Хренникова Игорь (увы, не помню его отчества; надеюсь, он меня простит) начал комментировать поведение своего тестя на съезде. "Ну, бóльшую часть времени Тихон Николаевич спал", - заявил Игорь под общий смех, - "Он не поддерживал экстремистов типа Оболенского, но встал после выступления Попова и, в общем, примыкал к левому крылу!" (напомню: в то время "левыми" называли тех, кого сейчас считают "правыми", - то есть, демократов). После этого Игорь спросил меня, что я думаю о съезде, и я сказал, как меня взбесило выступление генерала Родионова (который за несколько недель до съезда, 9 апреля, руководил резней участников мирной демонстрации за независимость Грузии в Тбилиси) и последовавшие за ним бурные аплодисменты депутатов-реакционеров. Игорь согласился со мной и рассказал о своей встрече где-то за рубежом с каким-то белоэмигрантом, которому он рассказывал о происходящих в Советском Союзе переменах и который задал тогда Игорю вопрос: "Но Великая Россия-то сохранится?!" - или что-то в этом духе. И сказал мне в тот вечер Игорь, что, конечно же, неправильно это; что величие России - не в "имперскости", не в угнетении других народов; что на эти вопросы надо смотреть так, как смотрел на них Лев Толстой. Сколько времени с тех пор минуло? двадцать с лишним лет уже? Да, в те далёкие годы моей юности я верил - хотел верить! - в прогресс, в то, что в России восторжествует разум.

Самое памятное празднование Дня Рождения Хренникова было для меня в 1988 году - по, я бы сказал, "субъективным причинам в условиях РАЗОБЛАЧЕНИЯ культа личности", о которых следует подробно вспомнить особо.

2.

Тогда, в 88-м, шли полным ходом "перестройка, гласность и демократизация"; то, о чём нам раньше вне школьной программы рассказывал Виктор Юрьевич, всё больше и больше становилось всеобщим достоянием: "Огонёк", "Московские новости", "Аргументы и факты", "Дружба народов", "Знамя", "Юность", "Новый мир" и другие прогрессивные газеты и журналы постоянно публиковали статьи и художественные произведения о сталинских преступлениях - и вот в мае месяце того памятного года в газете "Советская культура" появилась статья Веры Горностаевой о постановлении ЦК ВКП(б) "Об опере Мурадели 'Великая дружба'", январском пленуме Союза композиторов СССР 1948 года и последовавшей за этими событиями травле Шостаковича, Прокофьева и других выдающихся советских композиторов. Главным обвиняемым в той статье (к сожалению, за давностью лет не помню её названия) был, однако же, не Сталин и даже не Жданов, проводивший по приказу Сталина всю эту гнусную кампанию (о чём свидетельствуют не только многочисленные воспоминания непосредственных участников и жертв тех событий, но и дневники самого Жданова), а не кто иной, как Тихон Николаевич Хренников. В статье обильно цитировались фрагменты из доклада Хренникова на пленуме, и всё было представлено таким образом, как будто именно Тихон Николаевич был главным травителем Шостаковича и Прокофьева (а после того, как их "реабилитировали", он, оставаясь главой Союза композиторов, постоянно произносил речи "поражающие тупым однообразием чиновничьего языка", - здесь и далее цитирую по памяти).

Несколько дней спустя та же газета опубликовала интервью, которое Хренников и Карен Хачатурян дали иностранным корреспондентам по поводу статьи Горностаевой. Тихон Николаевич выразил свою обиду и возмущение этой статьёй; рассказал о том, что не сам он писал тот доклад, а ему велело зачитать его на пленуме высшее начальство, зато впоследствии, после смерти Сталина, именно он добился пересмотра того пресловутого постановления ЦК; заявил, что в годы, когда он возглавлял Союз композиторов, ни один из членов этого Союза не был репрессирован; наконец, сказал, что обвинять его в сталинизме - это абсурд, ибо его собственные отец и двое

братьев были репрессированы в сталинское лихолетье. К этим словам Хренникова газета сразу же дала свой комментарий, что "докладчик - не диктор, он обычно отвечает за свой доклад", и потому "обижаться на правду не следует". Ещё через некоторое время в "Советской культуре" были опубликованы письмо ведущих советских композиторов в защиту Хренникова и ряд откликов "простых читателей", несколько отрывков из которых я процитирую и прокомментирую ниже.

Реакция на все это со стороны подавляющего большинства людей моего круга, прогрессивно настроенных музыкантов, была отрицательной. Помню письмо, которое я получил тогда от одного моего приятеля-музыканта: "Статья, на мой взгляд, перехлёстывает за край. Явно перехлёстывает. При всём моём уважении к Горностаевой, я никак не могу с ней согласиться <...> Что же, Хренников все эти годы только и делал, что произносил "чиновничьи речи"? Бессмысленно, конечно, утверждать, что он не знает конъюнктуры, не пробивает себе всюду дорогу, что его музыка гениальна и что он вообще "ангел чистой воды". Но он сделал очень много хорошего, сумел организовать творческую атмосферу в Союзе композиторов, помог многим музыкантам (хотя некоторым и не помог). Кроме того, если бы он тогда не зачитал тот "спущенный сверху" доклад, то его бы сняли с поста председателя Союза, а то и просто расстреляли, а на его место поставили бы какого-нибудь Н. [фамилию не называю по личным причинам - Е.К.], и тогда мы бы могли вообще остаться без Прокофьева и Шостаковича - достаточно вспомнить статью Н. о Шостаковиче, где он "изничтожает" произведения Дмитрия Дмитриевича одно за другим <...>".

И тогда, и сейчас, по прошествии многих лет, не могу не согласиться с рассуждениями моего старого приятеля. Хочу только добавить, что человек, находившийся на таком посту, как председатель Союза композиторов, в таком государстве, каким был Советский Союз, просто объективно не мог "не знать конъюнктуры" (равно как и не произносить "чиновничьих речей"; кстати, несчастный Шостакович, которого сделали главой Союза композиторов РСФСР, тоже вынужден был это делать - несколько грампластинок существует с записями шостаковичевских речей такого же рода) - но не Хренников себя на этот пост назначил. Если же человек, бескорыстно помогающий многим, "пробивает" при этом и "себе всюду дорогу", то абсолютно ничего предсудительного в последнем я не вижу. Что же касается музыки Хренникова, не помню, чтобы кто-либо когда-либо - и в

первую очередь сам Хренников! - приписывал ей "гениальность", но думаю (и в этом далеко не одинок), что некоторые его произведения в полной мере заслуживают такое определение, как "замечательные".

И ещё помню, как всё это обсуждали Анна Павловна с Захаром Нухимовичем Броном. Их реакция была совершенно идентичной, и они говорили тогда: "Он плохо ответил. Надо было сказать: какой у меня был выход? или зачитать то, что мне дали, или рисковать свободой, а может быть, и жизнью - моей и моей семьи!".

...Мне самому, к счастью, не пришлось жить при Сталине, но думаю, что я имею неплохое представление о том времени, - и читал много, и застал немало людей, в те годы живших. Даже моим родителям, родившимся в 1930-х годах, довелось испытать кое-что на собственной шкуре, а уж более старшему поколению... Однажды мой дедушка проходил по Красной площади, о чём-то вдруг задумался и остановился - и его тут же арестовали! В отделении милиции, куда доставили дедушку, позвонили на завод, где он работал, - и, к счастью, трубку взял человек, знавший его (могло обернуться хуже, так как дедушка был всего лишь простым рабочим - одним из нескольких тысяч на том предприятии). Этот человек подтвердил, что Арон Кисин действительно работает у них на заводе, и дедушку отпустили. Натан Щаранский в своей несколько лет назад написанной книге "В защиту демократии" предлагает тест на наличие/отсутствие свободы в государстве: может ли человек выйти на центральную площадь и критиковать правительство, не рискуя быть арестованным? Как известно, если свобода, подобно свежести, бывает только одна, то несвобода несвободе рознь, и я думаю, что случай, произошедший в сталинском Советском Союзе с моим дедушкой, предлагает весьма неплохой критерий для выявления степени политической несвободы: может ли человек, проходя по центральной площади, просто остановиться и задуматься - не рискуя быть арестованным?

В свете всего этого, вспоминая сейчас ту "антихренниковскую кампанию" в "Советской культуре" и реакцию Анны Павловны с Захаром Нухимовичем, я думаю: ответ Тихона Николаевича был, в принципе, абсолютно нормальным - для непредвзятых людей, для тех, кто хотел понять и объективно разобраться. Вряд ли найдётся такой дурак, который бы не понимал, что мог означать в сталинское время отказ зачитать спущенный сверху (почти с самого верха!) доклад. А вот что касается подлейшего (другого определения не подберу!) комментария "Советской культуры" - полагаю, что адекватным

ответом на него был бы такой: "А ну-ка, товарищи, к ответу за все те ложь и клевету, подлости и глупости, лизоблюдство и пропаганду, которые вы постоянно публиковали - не при Сталине, нет, а в гораздо более мягкие брежневские времена! Редактор и журналист - не диктор! И чтоб никаких обид на правду!"! Раньше в газете другие люди работали? Что ж - посмотрим, кто был главным редактором "Советской культуры" в 1988 году: Альберт Андреевич Беляев, бывший заведующий сектором литературы ЦК КПСС. Анатолий Рыбаков в своём "Романе-воспоминании" рассказывает о том, как в 1983 году Беляев вызвал его в ЦК по поводу "Детей Арбата" и заявил ему следующее: "...о Сталине мы будем публиковать художественные произведения тогда, когда из жизни уйдёт всё наше поколение <...> Мы хотим сплочения нашего советского общества, не хотим разделять его на сталинистов и антисталинистов. А Ваш роман, как я догадываюсь, антисталинский <...> Такой роман вызовет антагонизм в нашем обществе. А мы этого не хотим. Вы, по-видимому, думаете, что народ против Сталина, Вы ошибаетесь, это не так. Мы получаем письма от фронтовиков: "Я сражался за Сталинград, а где он?". Это старики ... А молодые? Вы видели в кабинках молодых шофёров портреты Сталина? Как они воспримут Ваш роман?". Вот так. А по прошествии всего пяти лет, когда времена изменились, перестал бояться разделения советского общества, быстренько забыл и о стариках-фронтовиках и о "молодых-шофёрах" - и стал травить Хренникова за якобы сталинизм сорокалетней давности, да ещё приговаривая при этом: "Обижаться на правду не следует."! В декабре 1985 года, по свидетельству Рыбакова, Беляев назвал "Детей Арбата" "антисоветским романом", а когда на следующий день Рыбаков упомянул ему об этом, ответил: "Анатолий Наумович, не будем вспоминать, кто что говорил, давайте смотреть вперёд.". Вот ведь как: про себя любимого "не будем вспоминать" даже на следующий день, а про Хренникова сорок лет спустя - ещё с каким удовольствием вспомнил и целую газетную кампанию травли развернул! В январе 1986-го на Дне Рождения Рыбакова его друзья (Окуджава, Ахмадулина, Мессерер, Дудинцев, Апт, Евтушенко и другие), обсуждая последние новости, говорили: "Альберта Беляева перевели из ЦК в газету "Советская культура", вместо реакционеров придут, возможно, более либеральные люди.". В ЦК таковые действительно пришли - а сам реакционер наш на новой должности быстренько перекарасился в перестройщика-антисталиниста и ... В общем, по моему, комментарии излишни - особенно в связи с тем, что "обижаться на правду не следует".

Теперь, как обещал, процитирую и прокомментирую в меру своего разумения некоторые высказывания из писем "рядовых читателей" по поводу статьи Горностаевой и интервью Хренникова. Один музыкант из провинции (к сожалению, не могу вспомнить его фамилии) прислал в газету письмо, в котором мне понравилось далеко не всё: конечно же, мне никак не могли прийти по душе такие определения и сентенции, как "злопахатели", "решили, что в период гласности всё можно" и т. п.; но не могу не согласиться со следующими словами автора этого письма: "Почему Вы, уважаемая Вера Васильевна, с такой яростью набросились на Хренникова? Тогда давайте предъявим счёт Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу за его "Песнь о лесах" - ведь он воспел в ней деяния Сталина. Тогда давайте потревожим прах Арама Ильича Хачатуряна - ведь он написал "Оду о Сталине". Считаю нужным добавить: и Булгакову давайте предъявим счёт за "Батум", и Мандельштаму - за его два простиалинских стихотворения, написанных после знаменитого антисталинского "Мы живём, под собою не чуя страны..."! Кстати: в отличие от всех вышеперечисленных людей, Хренников, насколько мне известно, никогда никаких од Сталину не писал...

И ещё из письма одного прогрессивного читателя: "Хренников с гордостью заявляет, что ни один из композиторов не был арестован "в то тяжёлое время репрессий". Но ведь этого не произошло не потому, что Союз композиторов возглавлял такой борец за права человека, как Тихон Хренников, а просто потому, что Сталин недооценивал роль музыки: только поэтому Шостаковича не постигла судьба Мандельштама...". Вспоминаешь сейчас - и поражаешься: ну, как же можно с такой уверенностью, с такой безапелляционностью судить о том, чего не знаешь, на основании всего лишь одной прочитанной статьи! К сведению всех, кто думает так, как тот читатель: очень, очень многие музыканты были репрессированы при Сталине! И Генрих Нейгауз, и Николай Жигяев, и Болеслав Пшибышевский, и Виктор Дельсон, и Лидия Русланова, и Олег Лундстрем, и многие, многие другие. А вот что касается членов возглавляемого Хренниковым Союза композиторов ... По правде говоря, Тихон Николаевич в том интервью ошибся: двое членов Союза композиторов были-таки арестованы в начале 1950 годов - Александр Веприк и Моисей Вайнберг. Обоим был инкриминирован "еврейский национализм". Был ли в том виновен Хренников? Думаю, что для получения ответа на этот вопрос необходимо выслушать непосредственных свидетелей тех событий. Вот, что я узнал в своё время от некоторых из них.

Как я уже писал, благодаря Хренникову в течение нескольких лет каждое лето и каждую зиму наша семья отдыхала в Домах творчества композиторов. Со многими интересными людьми мне довелось там познакомиться и пообщаться; одним из них был Михаил Александрович Меерович - да-да, тот самый, автор музыки к "Доктору Айболиту", "Трём поросётам", "Ёжику в тумане"... Так вот, летом 1990 года (когда Тихона Николаевича уже можно было свободно ругать на чём свет стоит - и некоторые это делали), Михаил Александрович просто с благоговением говорил нам о Хренникове, как о своём спасителе, утверждая, что если бы не Тихон Николаевич, то в памятную эпоху травли "безродных космополитов" он, Меерович, погиб бы!

Такими же воспоминаниями о Хренникове делился с нами в то же лето в той же "Рузе" и Марк Владимирович Мильман: говорил, что у Хренникова, как и у всех людей, есть и достоинства и недостатки, но в те страшные антисемитские годы Тихон Николаевич и ему, Мильману, и многим другим композиторам-евреям помогал.

И ещё один человек - композитор более молодого поколения Рафаил Матвеевич Хозак. Мы познакомились с ним в ДТК "Иваново" летом 1986 года и много общались: гуляли с Рафаилом Матвеевичем и его женой Раисой Самойловой по ивановским тропинкам-аллейкам - и Рафаил Матвеевич занимался моим "политпросвещением". Объяснял мне (первый человек в моей жизни), что марксизм - великое учение, но существует ещё много других великих учений, и на Западе у каждого человека есть возможность ознакомиться с ними со всеми и сделать свой собственный свободный выбор, в то время как у нас: "Учение Маркса есть объективная истина!" - и весь разговор; что на Западе существует много различных политических партий, и каждый человек, опять же, имеет возможность свободного выбора между ними, а у нас "все дружно поднимают руки, как марионетки, и объявляют: 'Принято единогласно!'," - и т. д. и т. п. Рассказывал мне Рафаил Матвеевич много историй о самых разных людях, которых и о которых знал, и в том числе такую: как в те поганые черносотенные времена в конце 1940 годов выдающегося музыканта-теоретика Лео Абрамовича Мазеля выгнали из Московской консерватории, где он преподавал, - и Хренников помог ему устроиться на работу в Гнесинский институт. "Он не гений", - подытожил Рафаил Матвеевич о Хренникове, - "но хороший человек".

Полагаю, на основании всех этих свидетельств разных людей можно быть уверенным: не мог Хренников быть виновен в

арестах Веприка и Вайнберга за "еврейский национализм". Очевидно, тут у него уже просто не было возможности воспрепятствовать этому - тем более что Вайнберг, арестованный в феврале 1953 года (и выпущенный на свободу вскоре после смерти Сталина), был зятем Соломона Михоэлса, который к тому времени, в разгар "дела врачей", уже был официально объявлен "известным еврейским буржуазным националистом".

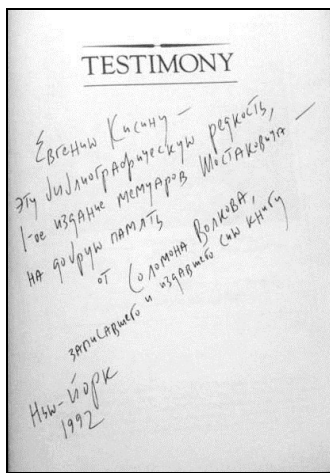
...Возвращаюсь к 12 июня 1988 года. Как я уже говорил, Хренникова на День рождения всегда навещало много людей - но в тот день, через несколько недель после всех тех статей в "Совкультуре", в громадной хренниковской квартире было буквально яблоку негде упасть! Кого только я там не увидел в тот вечер: Наталью Сац и Бориса Чайковского, Владимира Панченко и Юрия Корева, Михаила Мееровича и Евгения Малинина, Цецилию Коган и Льва Солина... И хозяин тогда растроганно сказал Анне Павловне: "Сегодня ко мне целый день с самого утра люди приходят!". И каждому из присутствовавших было очевидно: все эти люди пришли тогда к Тихону Николаевичу в знак дружбы, поддержки и солидарности в те нелёгкие для него дни.

3.

В конце 1991 года наша семья (которая к тому времени включала и Анну Павловну) перебралась в Нью-Йорк. Буквально через несколько недель после нашего переезда я случайно встретил на Бродвее Соломона Моисеевича Волкова - я его тогда не знал, но он уже знал меня по записям и фотографиям, узнал, остановил и представился (потом выяснилось, что мы живём всего в нескольких минутах ходьбы друг от друга). Мы немного поговорили, я дал Соломону Моисеевичу наш тогдашний адрес - и не то на следующий день, не то через день получил от него экземпляр первого издания записанных им воспоминаний Шостаковича с дарственной надписью. О существовании этой книги я впервые услышал ещё в середине 1980 годов - от Петра Кирилловича Кондрашина, во время отслушивания записи моего дебюта в Большом Зале Московской консерватории с двумя концертами Шопена (Пётр Кириллович был звукорежиссёром той записи). И вот, несколько лет спустя, вскоре после переезда в Америку я, наконец, прочитал эту книгу, которую, вспоминая и размышляя о Тихоне Николаевиче Хренникове, просто невозможно не только не упомянуть, но и не разобрать подробнейшим образом.

Немало людей на Западе не верят в подлинность шостаковичевского "Свидетельства", приписывая его авторство

самому Волкову, - но при этом, когда речь заходит о Хренникове, черпают материал для своих суждений именно из этой книги и с удовольствием на неё ссылаются. Я же не стану подвергать сомнению подлинность мемуаров Шостаковича и именно с этих позиций попытаюсь разобраться в том, что в них говорится о Хренникове.



Имя Тихона Николаевича в шостаковичевском "Свидетельстве" упоминается много раз - и в самом негативном свете. Но, если прочитать всё это внимательно, то замечаешь одну любопытную деталь: за исключением всего лишь двух (!) эпизодов, Шостакович не был непосредственным свидетелем ничего из того, что он рассказывает о Хренникове! Разумеется, абсолютно нормально и естественно, когда мемуарист сообщает не только о том, что сам видел, но и об услышанном от других. Но думаю, любой здравомыслящий человек, независимо от его политической позиции вообще и отношения к Хренникову в частности, согласится с тем, что в принципе всегда следует различать непосредственные свидетельства и информацию, полученную от третьих (а то и четвёртых, и пятых, и далее) лиц. Разберём же подробно, один за другим, все "хренниковские" эпизоды из шостаковичевских воспоминаний.

Прежде всего следует обратить должное внимание на слова, которыми Шостакович предваряет своё "Свидетельство": "...Мейерхольд любил рассказывать такую историю из своих университетских лет. Вы знаете, он изучал право в Московском университете. Один профессор читал лекцию о свидетельских показаниях, как вдруг какой-то хулиган вбежал в

класс и учинил беспорядок. Началась драка, позвали охранников, которые вывели хулигана. Профессор предложил студентам рассказать о том, что только что произошло. Получилось так, что все они рассказали разное. У каждого была своя версия драки и своё описание хулигана, и некоторые даже утверждали, что хулиганов было несколько. Наконец профессор признался, что весь этот инцидент был подстроен специально для того, чтобы будущие юристы знали, чего стоят свидетельства очевидцев. То были молодые люди с хорошим зрением, и их отчёты о только что происшедшем отличались один от другого. Но иногда свидетели бывают пожилыми. И описывают они то, что произошло давно. Как можно ожидать от них достоверности?" (здесь и далее обратный перевод с английского мой - Е.К.).

Какие мудрые слова для начала любых воспоминаний! Но, к величайшему сожалению, те, кто судят о Хренникове по воспоминаниям Шостаковича, очевидно, не обращают внимания на это "вступление" к ним.

Теперь перейдём к первому в книге упоминанию о Хренникове. Его сопровождает ссылка, с которой мы и начнём: "Тихон Николаевич Хренников (род. 1913), композитор, глава Союза композиторов СССР, начиная с его Первого Съезда (1948). Был назначен на этот пост Сталиным (как и руководители аналогичных союзов писателей, художников и т. д.). В сталинские годы обязанности главы [творческого союза - Е.К.] включали одобрение списков членов союза, подлежавших репрессиям. Хренников является единственным первым лидером "творческого" союза, сохранившим свой пост до сегодняшнего дня [книга опубликована в 1979 году - Е.К.]. В течение многих лет подвергал Шостаковича и Прокофьева яростным нападкам. Обладатель всех высочайших советских орденов и премий".

Малоприглядная картина вырисовывается, ничего не скажешь. Но давайте обратим внимание на третье предложение этой ссылки: как же в свете упоминаемых обязанностей глав творческих союзов следует расценивать тот факт, что никаких списков подобного рода Хренников не одобрял, что из всех членов возглавляемого им Союза композиторов были арестованы всего двое, один в 1950 году, другой в 1953 - и, как очевидно из приведенных в предыдущей главе свидетельств разных людей, эти аресты прямо противоречили тому, что делал в те годы Хренников?!

Теперь прочитаем то, что говорит сам Шостакович:

"Кто-нибудь может сказать мне: почему Вы жалуетесь на других? А Вы? Разве Вы сами не боялись? Я честно отвечаю, что

боялся. Страх был тогда обычным чувством у всех, и я не избегал своей доли. Тогда могут сказать: чего Вы боялись? Ведь музыкантов не трогали. Я отвечу: неправда, трогали - и ещё как. Сказку, что музыкантов не трогали, распространяют Хренников и его приспешники, и поскольку у людей искусства короткая память, они ему верят..." - и дальше Шостакович рассказывает о шестерых репрессированных музыкантах: Жилиеве, Попове, Выгодском, Пшибышевском, Гачеве и Дельсоне (не упоминая имени последнего - оно приводится в сноске).

Рассказ Шостаковича - хороший ответ тем, кто, подобно процитированному мной выше читателю "Советской культуры", полагает, что "Сталин недооценивал роль музыки". Но опять же: все упоминаемые Шостаковичем музыканты были репрессированы в 1930 годах, задолго до того, как Хренников возглавил Союз композиторов, поэтому абсолютно никакого отношения к этим преступлениям Тихон Николаевич не имел и иметь не мог.

Следующее упоминание о Хренникове:

"Сталин ненавидел союзников [во Второй мировой войне - Е.К.] и боялся их <...> И самые верные его волкодавы разделяли ненависть Сталина к союзникам. Они чуяли запах. Им ещё не разрешали нападать и впиваться в горло. Волкодавы просто рычали, но это было ясно. Хренников был одним из волкодавов, и его нос и мозги были начеку. Он знал, чего хочет Хозяин. Один московский музыковед рассказал мне такую историю: он давал лекцию о советских композиторах и походя похвалил мою 8-ю симфонию. После лекции Хренников подошёл к нему, вне себя от гнева. Он почти кричал. 'Вы знаете, кого Вы хвалили? Знаете? Как только мы избавимся от союзников, мы Вашего Шостаковича - к ногтю!'"

Прочитав сие, зададимся вопросом: мог ли так говорить Хренников во время войны, минимум за 3 года до того, как Сталин назначил его главой Союза композиторов? Когда у него не было не только никакой власти, но даже намек на таковую?

Если я неправ, пусть читатели меня поправят, но мне кажется, что этот вопрос - самый что ни на есть риторический.

А теперь зададим себе другой вопрос: разве в "интеллигентской" (и, в частности, музыкантской) среде когда-нибудь ощущался недостаток в сплетниках, завистниках и интриганах, обожавших ссорить людей друг с другом?

Продолжение шостаковичевского рассказа о Хренникове:

"Хренников очень старался. Он ненавидел меня. Сейчас смешно об этом говорить, но было время, пока я не услышал

хренниковскую оперу "В бурю", когда мой портрет стоял у Хренникова на столе. Плохая опера. Я считал Хренникова талантливым человеком, а тут было плохое подражание ужасной опере Держинского "Тихий Дон". Было очевидно, что Хренников спекулировал. Всё в этой опере было приспособлено к политической ситуации. Либретто было написано по роману, который очень нравился Сталину, а музыка основана на опере, которую Сталин одобрил. Это была бледная музыка, неинтересная, с примитивными гармониями и слабой оркестровкой. Было ясно, что Хренников хотел угодить отцу и учителю. Я написал Хренникову письмо об этом. Написал, что он встаёт на опасный путь. Я хотел его предостеречь. Я подробно разобрал его оперу, и письмо было длинным. Перед тем, как послать его, я показал его нескольким своим друзьям, думая, что лучше с кем-нибудь посоветоваться. Может быть, мне не следует посылать такое письмо, может быть, я напрасно вмешиваюсь. Но они все одобрили письмо, сказали, что это нужное, благотворное письмо, которое пошло им на пользу, так что подумайте, как хорошо оно было бы для Хренникова. Но Хренников не воспринял это так. Когда он прочитал моё письмо, он разорвал и растоптал его в припадке эмоций. Тогда же был растоптан мой портрет. Хренников был ужасно разгневан. Я думал, что поступаю в духе русской школы, - русские композиторы всегда советовались друг с другом и критиковали друг друга, и никто не обижался. Но Хренников не воспринял это так. Он думал, что я преграждаю ему путь к наградам и премиям и что я изо всех сил пытаюсь совратить его с пути истинного на тропки формализма. Дело было даже не в музыке, не в музыкальных идеях, так сказать. Для него главным было то, что Сталин не похвалит его за формализм, в то время как путь вниз по праведной дорожке примитивизма может дать ему возможность получить одобрение вождя и все сопутствующие блага".

Я не знаю оперы "В бурю" и потому не могу судить о ней, но и не вижу оснований не доверять суждению такого титана музыки, как Шостакович. Я вполне допускаю, что в страшные годы Большого террора, когда были репрессированы отец и двое братьев Хренникова, он действительно пошёл на музыкантский компромисс и написал оперу с целью "угодить отцу и учителю", надеясь обезопасить себя и свою семью (так же, как Шостакович после "исторического постановления" 1948 года написал "Песнь о лесах", "Над Родиной нашей солнце сияет" и другие произведения подобного рода). Сейчас мы говорим не о музыке Хренникова, а о его "политической роли" и в частности об отношениях с

Шостаковичем. Прочитав процитированный рассказ Шостаковича, я не могу не задаться вопросом: откуда к Шостаковичу попали сведения о том, что Хренников, прочитав его письмо, разорвал и растоптал его, вместе с его портретом? Кто мог быть свидетелем этого? Да, Шостакович в силу обстоятельств, когда Хренникова заставили "подвергать его яростным нападкам", поверил этому рассказу - но должны ли мы, читая шостаковичевские воспоминания, слепо считать эти сведения достоверными?

Продолжаю цитату:

"Успех 7-й и 8-й симфоний был как нож в горле для Хренникова и компании. Они считали, что я преграждаю им свет, заграбастываю себе всю славу и ничего не оставляю им. Это вылилось в грязную историю. Вождь и учитель хотел преподать мне урок, а мои братья-композиторы хотели меня уничтожить <...>

Отместка подготавливалась загодя, подготовка началась с 7-й симфонии. Они говорили, что только первая её часть эффективна, и это, объявили критики, та часть, которая изображает врага. Другие части должны были показать мощь и силу Советской Армии, но Шостаковичу не хватило красок для этого. Они требовали от меня чего-то типа увертюры Чайковского "1812 год", и позднее сравнение моей музыки с этой увертюрой стало популярным доводом, естественно, не в мою пользу. Когда была исполнена 8-я, её открыто объявили контрреволюционной и антисоветской. Почему, говорили они, Шостакович написал оптимистичную симфонию в начале войны, а сейчас трагичную? В начале войны мы отступали, а сейчас наступаем, громим фашистов. А Шостакович разводит трагедию - значит, он за фашистов".'

Спрашивается: КТО всё это говорил? Хренников? Где? когда? кому? Даже самые яростные обличители Хренникова не могут привести ни одной компрометирующей его цитаты ДО пресловутого доклада на пленуме 1948 года. Очевидно, весь этот бред всё-таки принадлежал не ему...

Двумя страницами ниже: "Волкодавы подросли и обнажали клыки. Наши волкодавы упустили свою долю мяса. Никто за рубежом не требовал хренниковских сочинений или сочинений Ковалёва или Михаила Чулаки. Поступали заказы на произведения других композиторов. Ужасная несправедливость. Они думали, что покончили с формализмом, - и вот он поднимает свою мерзкую голову. Разочарованная группа забросала Сталина петициями, подписанными лично и коллективно".

Задумаемся: вероятность того, что Шостакович сам видел такие петиции, адресованные Сталину, равна нулю, не так ли? С

другой стороны, сейчас сталинские архивы открыты, и на поверхность выплыло много всякого; но, опять же: до 1948 года - никаких компрометирующих свидетельств о Хренникове!

Теперь мы подошли, наконец, к первому в книге эпизоду, связанному с Тихоном Николаевичем, непосредственным свидетелем которого был Шостакович:

"Хренников, обрадованный историческим постановлением, решил, что моя песенка спета и мне конец. Мои оперы и балеты не ставились. Мои симфонии и камерная музыка были запрещены. Теперь единственное, что ему оставалось сделать, это выжать меня из кино, и тогда мой конец близок. И Хренников со своими приятелями активно приближали мой конец. Я не говорил бы этого с такой уверенностью, если бы не узнал об этом случайно. Я не люблю сплетен, и когда мне начинают рассказывать, кто про меня что сказал, я обычно стараюсь прекратить такой разговор. Мне рассказывали о шагах, которые Хренников предпринимал для того, чтобы меня ликвидировали. Я не верю этим историям".

Здесь я не могу не прервать на мгновение цитату, чтобы заметить: абсолютно правильно! но почему же Шостакович поверил тому московскому музыковеду и другим?!

"Но однажды я стал свидетелем весьма интересного разговора.

Вот что произошло. Хренников вызвал меня в Союз композиторов по какому-то делу. Я пришёл, и мы стали спокойно беседовать. Вдруг зазвонил телефон. Хренников по переговорному устройству сказал своей секретарше: "Я Вам сказал, чтобы Вы нам не мешали!". Но её ответ поверг нашего наследственного приказчика в дрожь. Он так разволновался, что вскочил и стал ждать звонившего, почтительно держа трубку. Наконец товарища Хренникова соединили. Это звонил Сталин. Такие совпадения действительно случаются в жизни. А именно: Сталин звонил по поводу меня, и Хренников был в таком замешательстве, что забыл выпроводить меня из своего кабинета, и я слышал весь разговор.

< > Ситуация была следующая. Когда Хренников узнал, что мне заказали написать музыку к нескольким важным фильмам, он написал жалобу в ЦК. Он не понял, что жалуется Сталину на Сталина. И теперь Сталин давал ему это понять. Хренников поперхнулся и попытался сказать что-то в своё оправдание. Но какое тут могло быть оправдание - понятное дело, он признал, что был неправ".

Обратим внимание на то, что Шостакович слышал не весь разговор, а только половину (то, что говорил Хренников), и

потому мог неправильно понять его общий смысл. Но даже если допустить, что Шостакович всё понял правильно и что Хренников действительно совершил нехороший поступок (а кто из нас никогда таковых не совершал?) и попытался лишить Шостаковича участия в работе над этими несчастными фильмами, надеясь получить эту работу сам... учитывая то, что зачитать на пленуме доклад, клеймящий Шостаковича и других, Хренников был вынужден, а всё, что рассказывал Шостакович о Хренникове до того, НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО, - должны ли читатели шостаковичевских воспоминаний истолковывать поступок Хренникова так же, как и автор: что Хренников хотел выжить его из "последнего прибежища" и погубить?

Переворачиваем страницу и читаем второй рассказ о Хренникове, не являющийся пересказом услышанного от других, - о действиях и публичных высказываниях Тихона Николаевича после резолюции ЦК 1958 года "Об исправлении ошибок в оценке опер 'Великая дружба', 'Богдан Хмельницкий' и 'От всего сердца'":

"Хренников сперва был ошарашен, но быстро приспособился. Ничего ужасного не произошло, но на всякий случай он уволил главного редактора "Советской музыки" за ревизионизм. Ревизионизм стал новым ругательством, пришедшим на смену формализму. Ревизионизм означал, что редактор пытался писать о моих и сочинениях в более вежливой манере. Хренников быстро перегруппировался и начал контрнаступление. Партия ещё раз безоговорочно утверждает, что историческая резолюция об опере "Великая дружба"... и т. д. и т. д.

<...> "Партия раз и навсегда выбила почву из-под ног ревизионистов", - радостно объявил Хренников".

Упоминание Шостаковича о главреде "Советской музыки" сопровождается сноской: "Имеется в виду музыковед Георгий Никитич Хубов (род. 1902)".

Как говорится, понятно... что ничего не понятно. Не изменяет ли здесь Шостаковичу память (что, как он сам оговорил в начале воспоминаний, более чем возможно)? Ведь даже до постановления "Об исправлении ошибок..." и о Шостаковиче, и о Прокофьеве в советской прессе уже писали не просто "более вежливо", а очень даже хорошо! С другой стороны, согласно воспоминаниям близкого друга Шостаковича Исаака Гликмана, Хубов был одним из тех, кого во второй половине 1950 годов направили к Шостаковичу домой прослушать его оперу "Катерина Измайлова" (новый вариант "заклеймённой" и запрещённой за два десятка лет до того "Леди Макбет Мценского уезда") и вынести вердикт, можно ли её ставить или нет (двумя другими

"направленными" были Кабалевский и Чулаки), и после того, как Шостакович сыграл им оперу, они стали поносить её на чём свет стоит, говорить, что напечатанную в "Правде" после премьеры "Леди Макбет" статью "Сумбур вместо музыки", в которой оперу и её автора обвиняли во всех смертных грехах, никто не отменял и т. д., - причём особенно усердствовали Хубов с Кабалевским! И наконец: какую контратаку мог повести на Шостаковича Хренников после постановления ЦК, в котором Шостаковича официально "реабилитировали"?! Против ЦК, против власти?!

Следующее упоминание о Хренникове в шостаковичевском "Свидетельстве" - это даже не воспоминание и не размышление Шостаковича, а просто предположение, причём Шостакович даже не счёл нужным назвать здесь имя Хренникова - оно упомянуто в сноске. Рассказывая о том, что при Сталине "незаменимых у нас не было", Шостакович говорит:

"Эти мысли преследовали меня довольно часто в связи с моей 4-й симфонией. Всё-таки в течение 25-ти лет её никто не слышал, и у меня была рукопись. Если бы я исчез, власти отдали бы её кому-нибудь за "усердие". Я даже знаю, кто бы это был, и вместо моей 4-й она стала бы 2-й симфонией другого композитора".

Сноска: "Имеется в виду Тихон Хренников".

Да, после всех рассказов многочисленных "музыковедов", спущенного сверху и зачитанного Тихоном Николаевичем доклада и инцидента с фильмами, такие мысли преследовали несчастного Шостаковича. Но нужно ли объяснять, что из этого нельзя делать выводов о личности Хренникова?! Кроме того, не забудем: Хренников начал писать свою собственную 2-ю симфонию ещё в 1940 году, и в самом начале 1943 года она была впервые исполнена. За какие же, собственно, заслуги перед властью Хренникову могли отдать 4-ю симфонию Шостаковича уже в начале 1940 годов?! Шостаковичу, как и любому мемуаристу, простительно ошибаться (тем более, когда он сам предвзвешивает свои воспоминания оговоркой о неизбежных в любом свидетельстве неточностях) - но разве позволительно читателям слепо принимать на веру всё подряд, даже не удосуживаясь проверить всем доступные факты?

(Кстати: не знаю, приходило ли когда-нибудь кому-либо на ум сравнить мелодические ходы начала первой темы Финала 4-ой симфонии Шостаковича и побочной партии 1-й части хренниковской 2-й симфонии... Совпадение? или, может быть, молодой Тихон Николаевич знал запрещенный шостаковичевский шедевр и был под его влиянием?)

И, наконец, последний рассказ Шостаковича в связи с Хренниковым. Дальше несколько абзацев цитирую по оригиналу, фрагменты из которого опубликованы на сайте <http://www.uic.unn.ru/~bis/d-mayak.html>

"Многих, многих тянуло поближе к великому садовнику и корифею наук. Ходят лакейские легенды о том, что, якобы, Сталин обладал какой-то особой магической силой, и будто бы эта сила проявлялась в личном общении. Я сам слышал несколько таких историй. Это постыдные истории. И самое постыдное, что человек рассказывал сам о себе. Один случай кинорежиссёр рассказал. Не буду здесь называть его фамилию, он человек неплохой. Много раз давал мне работу..." - и затем Шостакович рассказывает о том, как этого режиссёра пригласили на просмотр одного из его фильмов к Сталину и во время просмотра Сталин, сидевший позади режиссёра, вдруг громко сказал: "Что это за чушь?". У режиссёра потемнело в глазах, он наделал в штаны и потерял сознание. Потом ему объяснили, что слова Сталина относились не к фильму, а к депеше, которую как раз в тот момент ему поднёс Поскрёбышев (чего режиссёр, сидевший к Сталину спиной, не видел).

Далее Шостакович рассказывает другую историю: «...Назову героя по имени. Он ведь, случалось тоже мою фамилию называл. В различных докладах и статейках. Не говоря уж о многочисленных рапортах по начальству. В магазинах у нас висят вдохновенные плакаты: "Покупатель и продавец, будьте взаимно вежливы". Вдохновлённый этими замечательными плакатами, буду вежлив. Я буду как покупатель, а он будет как продавец. Речь идёт о Тихоне Хренникове, руководителе Союза композиторов. А значит, и моём руководителе. Почему же я покупатель, а он продавец? Ну, во-первых, продавец у нас всегда главнее покупателя. От продавца вечно слышишь: "Вас много, а я один". Так и с Хренниковым. Нас, композиторов много, а он - один. Конечно, таких поискать. А во-вторых, у Хренникова отец был приказчик. В лавке у какого-то богатого купчины подвизался. По этой причине наш бессменный руководитель себя в анкетах именовал "сыном работника прилавка". Думаю, именно это обстоятельство и сыграло роль, когда Сталин выбирал "челаэка", чтобы назначить этого "челаэка" руководителем Союза композиторов. Сначала Сталин, как мне известно, [опять же: ОТ КОГО?! - Е.К.] изучил анкеты кандидатов в руководители. Потом велел принести их фото. Разложил фото на столе. И, подумав, ткнул пальцем в изображение Хренникова: "этот". И не ошибся.

Удивительное чутьё было у Сталина на подобных людей. "Рыбак рыбака видит издалека"».

Не могу не остановиться и не напомнить, что упоминаемый Шостаковичем отец Хренникова (так же как и двое братьев) был в 1930 годах репрессирован. Наверняка, именно поэтому Хренников называл себя в анкетах "сыном работника прилавка" - чтобы показать, что происходит из семьи "социально близких". Может быть, это и явилось одной из причин сталинского выбора (вождь мог полагать, что, если у человека репрессированы ближайшие родственники, то тем больше он будет бояться и тем усерднее служить)?

Продолжаю цитату:

"Один раз мне на глаза попало замечательное высказывание вождя и учителя. Я его тогда же для памяти выписал. Оно точно характеризует Хренникова. У меня даже такое создалось впечатление, что Сталин это именно про Хренникова и писал. "В рядах одной части коммунистов всё ещё царит высокомерное, пренебрежительное отношение к торговле вообще, к советской торговле в частности. Эти, с позволения сказать, коммунисты рассматривают советскую торговлю, как второстепенное, нестоящее дело, а работников торговли - как конченных людей. Эти люди не понимают, советская торговля есть наше, родное, большевистское дело, а работники торговли, в том числе работники прилавка, если только они работают честно - являются проводниками нашего, революционного, большевистского дела". Вот таким проводником "нашего дела" (Сталин любил говорить о себе во множественном числе) и оказался "наш" потомственный работник прилавка. История с Хренниковым тоже весьма примечательная, такова. Хренников, как руководитель Союза композиторов, должен был представлять Сталину кандидатуры композиторов, отобранные для присуждения ежегодных Сталинских премий. За Сталиным оставалось последнее слово..."

Здесь фрагмент, опубликованный на вышеуказанном сайте, обрывается, и далее до конца обратный перевод с английского мой; но прежде чем продолжить, я хотел бы, в связи с только что процитированным, задать вопросом: если Хренников, с одной стороны, действительно так ненавидел Шостаковича и активно пытался "приблизить его конец", как казалось Дмитрию Дмитриевичу, а с другой - именно он должен был представлять Сталину кандидатуры композиторов на Сталинскую премию, то как же объяснить тот факт, что Шостакович получил вышеупомянутую премию в 1950 и 1952 годах (а Прокофьев,

кстати, в 1951 - это к сведению тех, кто считает Тихона Николаевича "гонителем Прокофьева")?!"

...и это он [Сталин - Е.К.] выбирал имена из списка. Это происходило в его кабинете. Сталин работал или делал вид, что работает. Во всяком случае, писал. Хренников оптимистичным тоном бормотал имена из списка. Сталин писал, не поднимая глаз. Хренников закончил читать. Молчание. Вдруг Сталин поднял голову и уставился на Хренникова. Как говорится, положил на него глаз. Говорят, Сталин этот приём очень хорошо отработал. Во всяком случае, наследственный работник прилавка почувствовал под собой тёплую массу, что его ещё больше испугало. Он вскочил и, бормоча что-то, попятился к двери. "Наш" администратор допятился до приёмной, где его подхватили два дюжих санитара, которые были специально обучены и знали, что нужно делать. Они унесли Хренникова в специальную комнату, где его раздели, почистили и посадили на кроватьку перевести дух. В это же время почистили его брюки. Всё-таки он администратор. Это была рутинная операция. Мнение Сталина относительно кандидатов на Сталинскую премию было ему передано позднее.

Как мы видим, герои обеих историй выглядят не очень хорошо. Оба наделали в штанишки, хотя оба, казалось бы, взрослые люди. И больше того, оба рассказывали о своём позоре с восторгом. Насрать в штаны на глазах у вождя и учителя - такое не каждому доступно; это своего рода честь, высшее наслаждение и высшая степень обожания. Какое низкое, отвратительное подхалимство. Из Сталина в этих историях делают какого-то сверхчеловека. И я уверен, что они оба очень постарались, чтобы эти рассказы до него дошли, для того чтобы он оценил их подхалимское усердие, их страх и верность.

Сталину нравилось слышать такое о себе. Ему нравилось знать, что он вызывает такой страх у своей интеллигенции, у своих артистов. Всё-таки это режиссёры, писатели, композиторы, строители нового мира, нового человека. Как их Сталин называл? Инженеры человеческих душ.

Вы, может быть, скажете: зачем Вы дискредитируете достойных людей своими недостойными мелочными жалобами? Хотели бы мы знать, как бы Вы, такой-сякой, повели себя со Сталиным? Вы бы, наверное, хорошо наделали в штаны.

Отвечаю: я видел Сталина и разговаривал с ним. Я не наделал в штаны и не видел в нём никакой магической силы".

И снова у меня сам собой возникает вопрос, риторичность которого, на мой взгляд, очевидна: при таких отношениях, какие были у Шостаковича с Хренниковым (как явствует из

обсуждаемой книги), - возможно ли, чтобы Тихон Николаевич рассказывал Дмитрию Дмитриевичу такое о себе, да ещё "с восторгом"?!)

А что касается шостаковичевской оценки... При всей моей безмерной любви к Шостаковичу, при всём моём преклонении перед ним - не согласен, по совести не могу с ним согласиться! Причина реакции человеческого организма, о которой он рассказывает, - это не "высшая степень обожания", а элементарный страх. Тот самый страх, который, по его собственным словам (см. выше), был в то время обычным чувством у всех, - и сам Шостакович не избежал своей доли. Тот самый страх, из-за которого Шостакович в ответ на подлые и идиотические обвинения в его адрес "признавался" и каялся; из-за которого он написал "Песнь о лесах", Десять поэм на слова революционных поэтов, "Над Родиной нашей солнце сияет" и пр.; из-за которого уже после смерти Сталина, когда американский критик Г. Таубман написал статью под названием "Шостакович заслужил право на небольшую свободу", он дал публичную отповедь "клеветнику-антисоветчику"; из-за которого до конца жизни он произносил все речи и подписывал все письма, которые от него требовали. Согласно опубликованной в 1994 году книге Э. Уилсон "Shostakovich: a life remembered", в марте 1956 года Шостакович сказал Марине Сабининой о своём выступлении на пресловутом 1-м пленуме (здесь и далее обратный перевод с английского мой - Е.К.): "Я встал на трибуну и начал зачитывать вслух эту идиотскую, отвратительную чушь, состряпанную каким-то ничтожеством. Да, я унизился, я прочитал то, что приняли за "мою собственную" речь. Я читал, как самый ничтожный негодяй, паразит, марионетка, бумажная кукла на верёвочке!". А в октябре 1957 года, согласно той же книге, больной Шостакович, попросивший своего ученика Эдисона Денисова остаться у него на ночь, всю ночь "вспоминал своё прошлое и всё время повторял одну и ту же фразу: 'Когда я думаю о своей жизни, то осознаю, что был трусом. К сожалению, я был трусом'. Потом он прибавил, что, если бы я видел то, что пришлось увидеть ему, то и я был бы трусом". И, наконец, та же Уилсон ссылается на Льва Лебединского, свидетельствующего, что Шостакович, когда его заставили вступить в КПСС (1960), сказал ему: "Я их боюсь до смерти. Вы не знаете всей правды. С детства я делал то, чего хотел НЕ делать. Я жалкий пьяница. Я был, есть и всегда буду шлюхой".

Да, так было. И НИКТО НЕ ВПРАВЕ ОСУЖДАТЬ ЗА ЭТО НИ ШОСТАКОВИЧА, НИ ХРЕННИКОВА, НИ КОГО БЫ ТО НИ БЫЛО.

...Закончить эту главу хочу коротким воспоминанием. Однажды Юрий Хатуевич Темирканов сказал мне, что очень хорошо относится к Хренникову и терпеть не может, когда его ругают. Поскольку Юрий Хатуевич в свое время немало общался с Шостаковичем (он мне рассказывал о нём), я спросил у него: "А как Вы считаете: книга, которую издал Волков, - это подлинные воспоминания Шостаковича или нет?". "Я думаю, что да," - ответил Темирканов, - "потому что как-то, ещё до того, как она была издана, мне на одном шведском острове дали почитать машинопись - и на каждой странице стояла подпись Шостаковича" (очевидно, Юрий Хатуевич немного перепутал: согласно Волкову, Шостакович поставил свою подпись не на каждой странице машинописи, а в конце каждой главы). "Скажите", - спросил я, - "а как Вы думаете... ведь Хренников в этих воспоминаниях выглядит очень плохо?" - "Да", - ответил мне Темирканов, - "Шостакович его воспринимал так, у них с Хренниковым не сложились отношения. Но объективно Хренников - замечательный человек. Ни один из членов Союза композиторов не был репрессирован - потому что их всех защищал Хренников. Он - замечательный человек", - повторил Юрий Хатуевич.

Обдумывая всё, что знаю, не могу с ним не согласиться.

4.

Как известно, ложь, повторяемая тысячу раз, не становится правдой, но чем больше повторяешь самую чудовищную ложь, тем больше людей начинают в нее верить. И входит эта ложь в подсознание, как индивидуальное, так и коллективное, и оседает там, и пускает корни ... и как же трудно потом ее оттуда выкорчевать!

Даю я интервью известному лондонскому музыкальному критику Норману Лебрехту. Рассказываю ему про то, что в своё время Хренников помог нашей семье получить новую - лучшую - квартиру. Смотрит Лебрехт на меня, как баран на новые ворота, и спрашивает: "А почему он это сделал?". Ну, объясняю, что понравилось Тихону Николаевичу, как я играю, и захотел человек мне помочь. Через несколько недель читаю в статье Лебрехта: "Сталинский аппаратчик помог семье Кисиных...". Ну, что ты будешь делать?!

Разговариваю с одним французом из музыкального бизнеса. Всплывает в разговоре имя Хренникова. "Да-да", - подхватывает мой собеседник, - "я как раз недавно смотрел по телеканалу ARTE фильм, где о нём много говорилось, рассказывалось про всё, что он сделал..." - и дальше выясняется, что говорилась всё та же набившая оскомину дребедень:

сталинист, травитель Прокофьева-Шостаковича и пр. "Я", - отвечаю ему, - "Хренникова лично хорошо знаю - и он замечательный человек! Он очень много добра сделал, очень многим людям помог!". Месье совершенно ошарашен: "Но ведь, кажется, его отношения с Шостаковичем были не такие хорошие?". "Возможно", - отвечаю, - "и что из того? Вы много знаете людей, у которых со всеми были бы хорошие отношения?". На сём разговор закончился.

Вскоре после того, как Тихона Николаевича не стало, представительница моего менеджмента в Нью-Йорке сообщила мне, что корреспондент газеты "Бостон Глоуб" пишет статью о Хренникове и хотел бы поговорить о нём со мной. С удовольствием, отвечаю, пускай завтра же позвонит. Позвонил на следующий день милый молодой человек, сказал, что хочет постараться объективно осветить личность Хренникова и потому берёт интервью у многих людей, знавших его. Поговорили мы с ним как минимум полчаса; правда, весь наш разговор отразился лишь в одном предложении в его статье: "Российский пианист Евгений Кисин твёрдо защищал репутацию Хренникова, рассказывая, как он благодарен ему не только за то, что тот помог карьере Кисина, но и за то, что помог его семье получить новую квартиру недалеко от центра Москвы - до того они жили на окраине. ". Рассказал я подробно о моём знакомстве с Тихоном Николаевичем, обо всём, что он для меня сделал. Начал меня журналист спрашивать, что я думаю по поводу прокофьевско-шостаковичевских дел. Я ответил: вроде бы, даже дети знают, что о людях надо судить не по словам, а по делам. Вот российские сталинисты - судят о своём кумире не по документам, свидетельствующим о его преступлениях, не по воспоминаниям приближённых к нему людей, а по тому, что он говорил в своих публичных речах и писал в статьях. Так же и с Хренниковым, только с обратным знаком: на основании его речей (которые он и не сам писал) утверждают, что он травил Прокофьева и Шостаковича. Но ведь в таком случае получается, что Прокофьев с Шостаковичем сами себя травил: они же "признавались" и каялись! А кроме речей - есть ли какие-нибудь факты, свидетельствующие, что Хренников "действием" и по собственной инициативе травил этих великих композиторов? Мне о таковых ничего не известно - зато знаю, что Хренников очень многим людям бескорыстно помог, даже рискуя при этом собственным благополучием, если не ещё большим (когда евреем помогал в последние годы жизни Сталина). Тут мне корреспондент не возражал, и потом написал в своей статье такую фразу: "Даже

самые суровые критики Хренникова признают, что вряд ли он мог отказаться от поста главы Союза композиторов, когда его назначил на этот пост сам Сталин, и что, наверное, он не сам писал свои ранние речи".. Мда-а-а... Как сказал один американский публицист, "если факты - вещь упрямая, то логика просто мстительна по отношению к тем, кто её игнорирует". Конечно, "самые суровые критики" вынуждены вставлять здесь такие словечки, как "вряд ли" и "наверное", - ведь если не мог отказаться от назначения и сам не писал своих речей, то логический вывод из этого следует только один: НЕ В ЧЕМ ХРЕННИКОВА ОБВИНЯТЬ! НЕ В ЧЕМ!

Тогда бостонский критик говорит мне: "Но Хренникова обвиняют также и в том, что он в 70-е - 80-е годы притеснял авангардистов: Шнитке и других. Вы об этом знали, когда жили в России?". Я сказал, что не знал; потом, уже после интервью, вспомнил, что кое-что уже знал в те годы, и послал своё воспоминание "вдогонку" по электронной почте - однако содержание моего письма не нашло отражение в статье, напечатанной в "Бостон Глоуб", поэтому расскажу здесь.

Но прежде - пояснение сути дела. Обвинение в адрес Тихона Николаевича звучит так: он публично критиковал авангардистов, поэтому у них были проблемы. Хренников отвечает: каждый человек имеет право на собственное мнение, я высказывал своё. Обвинители говорят: но ведь он был главой Союза композиторов, поэтому его мнения, высказываемые публично, не могли не отражаться на судьбе тех, кого он подвергал критике.

Тут я не могу не привести фрагмента из книги Войновича "Портрет на фоне мифа":

"Году в 67-м я познакомился с начинающим драматургом, который изредка меня навещал, приносил свои пьесы и хотел знать моё мнение. Моё мнение было отрицательное. Пьесы, как мне казалось, были подражательные (под Ионеско или Беккета), заумные и беспомощные. Через какое-то время молодой человек был арестован за опубликованную на Западе брошюру, в которой он предрекал скорый распад Советского Союза. Прошло ещё время, и вдруг меня вызывают в прокуратуру (а не в КГБ) к следователю Каратаеву <...> Пришёл. <...> Каратаев, играя в простоватого парнишку, спрашивает, знаю ли я такого человека? Знаю. А читал ли брошюру? Не читал. <...> А вы знакомы с его пьесами? - спрашивает "добряк" Каратаев. Знаком. И что вы о них думаете? И тут я стал в тупик. Сказать, что пьесы хорошие, у меня язык не поворачивается, тем более что я их даже не помню.

Сказать правду, что они плохие, я тоже не могу, потому что любое плохое мнение об "их" жертве будет "им" на руку. Я об этих пьесах ничего не думаю, потому что я их не понимаю. Как не понимаете? Ну так, не понимаю. Они написаны в чуждой мне манере. Что это значит? Ну, в манере, которая мне не понятна, не близка. Это что-то абстрактное, а я скорей всего реалист. Можете это записать? Могу. Я записал: приходил такой-то, давал читать пьесы, написанные в чуждой мне манере. И расписался. <...> А потом угрызался. Как же это я написал "в чуждой манере"? Это ведь негативная оценка. Но имею ли я право говорить то, что думаю? " (Далее поясняется, что речь идёт об Андрее Амальрике).

И в самом деле: имеет ли право человек говорить то, что думает?

(Кстати: в то время для того, чтобы критически относиться к музыке авангардистов, совершенно необязательно было быть таким уж "зубром". Уже после того, как эти воспоминания были вчера написаны, я стал перечитывать замечательную книжку афоризмов ныне покойного профессора Ленинградской консерватории Натана Перельмана "В классе рояля" (издание 4-е, дополненное, 1986 г.) - и увидел: "Фортепианную шепелявость, развивающуюся от чрезмерного увлечения орнитологическими опусами Мессиана и изощрёнными невнятистями авангардистов, хорошо излечивают гениальные ясности Прокофьева").

Конечно, можно сказать: не следовало Хренникову в его положении так отзываться публично о ком бы то ни было, потому что в то время это создавало для людей проблемы. Можно так сказать, безусловно. Но для более полной картины хотелось бы мне вспомнить вот что (именно об этом я и написал бостонскому журналисту после нашего интервью).

В 1990 году одна из бывших "хренниковских жертв" Эдисон Денисов стал руководителем Союза композиторов РСФСР. Вскоре после этого он дал интервью журналу "Огонёк", в котором, среди прочего, сказал следующее (здесь и далее цитирую по памяти):

"Алексей Рыбников - очень милый человек, но, да простит он мне, ничего не понимает в музыке. <...> Он - человек непрофессиональный в области композиции, и пишет не музыку, а провинциальные коммерческие подделки".

Очаровательно, правда?

Затем Денисов заявил, что "нет никакого 'третьего направления'", что его представители тоже непрофессионалы, и то, что они пишут, - не музыка...

Помню, Микаэл Таривердиев ответил тогда на всё это статьёй в малотиражной газете Союза композиторов. Он писал: "Говорят, что власть развращает человека. Но я всегда думал, что для этого требуются годы. Денисову понадобилось несколько месяцев. <...> Хренников в подобных случаях всегда выражался аккуратнее. <...> Может быть, стоит предпочесть старого [руководителя]?".

А вот как отреагировал на денисовские высказывания первый в Советском Союзе публичный критик Хренникова Владимир Дашкевич (если не ошибаюсь, всё в той же "Советской культуре"):

"Интервью Денисова журналу "Огонёк" было выдержано в "небольшевистском" духе. Оно было полно неуважения и нетерпимости к коллегам, а по отношению к прекрасному композитору Рыбникову - просто оскорбительным".

Не могу не согласиться - и думаю сейчас: интересно, а как бы кое-кто из "хренниковских жертв" себя проявил, оказавшись на его посту при Сталине-Хрущёве-Брежнев?

Да и вообще: много ли на свете людей, к которым ни один другой человек не имел бы никаких претензий? Вот, например, Уствольская всю жизнь была обижена на Шостаковича за то, что он, хоть и ценил её как композитора (об этом говорит тот факт, что он использовал цитату из её трио в своей Альтовой сонате), но ни разу ничем не помог ей, когда она нуждалась в помощи. Ах, как нехорошо! Ну, так что же, будем из-за этого считать Шостаковича плохим человеком?

А вот, что я ещё знаю о Хренникове.

Одна моя старая приятельница, проработавшая в своё время много лет в Школе имени Прокофьева, как-то рассказала мне о Тихоне Николаевиче: "Он нам [т. е., школе] кирпичка достал".

Старая подруга Анны Павловны, педагог фортепиано, покойная Людмила Николаевна Луковникова рассказывала, что школа, в которой она работала, тоже нуждалась в чём-то. Обратились за помощью к одному высокопоставленному и очень известному в Советском Союзе композитору (не стану называть его фамилии) - "это человек, который в своей жизни никому вот столько добра не сделал! он только вещает!". Обратились к Тихону Николаевичу: "Хрен всё сделал!".

Внучка Соломона Хромченко Надежда рассказывала мне, что её дед, в течение нескольких десятилетий бывший звездой Большого театра, всю жизнь был уверен: ему так и не дали звание Народного артиста из-за того, что в своё время, в самом начале

своей карьеры, он ответил отказом на предложение поменять своё имя на "Семён". И вот как-то, уже в 1970 годах, звонит ему Хренников: "Соломон! Я пишу Брежневу: пора уже тебе "Народного" дать!". Соломон Маркович совершенно обалдел: "Какому Брежневу?" - "Как какому? Один Брежнев у нас!". Но вот из этой затеи Тихона Николаевича, к сожалению, ничего не вышло: в данном случае зоологический антисемитизм советских вождей оказался сильнее хренниковских доброты и разума...

А вот что мне написала о Хренникове в личном письме пианистка Нина Лельчук:

"Мы с Хренниковым познакомились, когда я была студенткой Флиера в Московской консерватории. Яков Владимирович жил в кооперативе Союза композиторов, а в соседнем подъезде находился офис Тихона Николаевича. Мы встречались, когда я шла на урок или с урока. Т.Н. всегда был очень приветлив, улыбался, интересовался моими успехами. Он знал мою игру, т.к. слышал не раз на студенческих концертах и открытых, когда я исполняла свой репертуар, а также сочинения его учеников. Однажды он заметил, что я расстроена и спросил, в чём дело. Я ответила, что прошла на конкурс в Париже. Но программа вся новая, необыгранная, а главное - я никогда не играла 2-го концерта Рахманинова с оркестром. Гастрольбюро отказалось организовывать концерты, т.к. у меня нет права на сольный концерт, утверждённого Министерством Культуры. Для этого необходимо играть для худсовета министерства, который определит мою категорию. Их было 3: высшая, первая и обычная. На это нужно было потратить уйму времени, ходить по инстанциям, добиваться прослушивания, на которое стояла большая очередь. Т.Н. удивился: "Что за ерунда? Какие ещё прослушивания, когда человека само Министерство направляет на международный конкурс? Не огорчайся. Я попробую уладить". Буквально через неделю мне сообщили, что мне установлена концертная ставка высшей категории с правом на сольный концерт. А позже гастрольбюро включило меня в план, и я получила несколько сольных концертов и с оркестром. Я немедленно позвонила Т.Н. чтобы поблагодарить за всё от себя и моих родителей, а он ответил: "Ну, я ничего такого не сделал. Ты получила то, что тебе положено". Вот так. Сколько, я помню, он писал разных писем в "Собез", рекомендаций на работу, получение квартир, званий (в частности, для Льва Власенко, скрипачки Лили Бруштейн, композитора Тищенко). Когда скончался Флиер, Новодевичье кладбище было закрыто, т.к. переполнено. Кабалевский вместе с Хренниковым "пробили" это.

Тихон много звонил, хлопотал, и в итоге Якова Владимировича похоронили там".

Рассказывает Евгений Крылатов
(<http://mielofon.ru/film/music/>):

"Самое отчаянное время - после окончания Консерватории. У нас с женой не было прописки и жилья, мы обременяли знакомых, снимали углы. Когда родился сын, отдали его на 3 года моей маме. Потом мама нашла знакомую в Вешняках Московской области. При встрече эта женщина сказала: "Какой хорошенький мальчик! Такой не обманет". И прописала меня у себя за 10 рублей в месяц. А вскоре вышел указ о расширении города Москвы, и я стал москвичом, но без жилплощади. Снова - частные квартиры, печное отопление, удобства на улице. К тому же мы ждали второго ребёнка. И произошло чудо: Тихон Николаевич Хренников помог мне получить квартиру в столице. В 1965-м мы переехали в Тушино. Это был первый вздох облегчения: я перестал бояться милиции. А до этого чувствовал себя изгоем, всё думал, донесут в участок..."

А вот, что рассказывает о Хренникове супруга Крылатова Севиль Сабитовна в связи со своим братом Алемдаром Карамановым:

"Всего было восемь показов [карамановской драматории "В.И. Ленин" по поэме Маяковского - Е.К.] - и все были отвергнуты. При показе в Московской филармонии на предмет исполнения Алемдару было сказано: "Нам такой Ленин не нужен". При первом показе на радио комиссия заглянула в партитуру и возмутилась: "Как! Ленин и саксофоны!" При втором показе на радио режиссёры предложили выбросить 1-ю и 3-ю части, а из второй сделать радиопостановку, раздробив на кусочки, а на вопрос Алемдара о сроках исполнения ответили, что придётся подождать лет десять. Безуспешными оказались и показы драматории на предмет покупки в двух министерствах культуры - РСФСР и СССР <...> Через несколько лет, в 1963 году, драматорию услышал и сразу горячо одобрил Тихон Николаевич Хренников, класс которого Алемдар посещал, будучи аспирантом. Ещё через шесть лет, в 1969 году, партитуру приобрело министерство культуры РСФСР - только благодаря мощной протекции Т.Н. Хренникова.<...> Васильев [художественный руководитель и директор Государственного симфонического оркестра кинематографии - Е.К.] объявил, что нравственный облик Караманова аморален, он религиозен, посещает церковь, кроме того, он пьяница и хулиган, и по этим причинам исполнение его симфонии в Большом зале недопустимо. <...> я, чтобы спасти

положение, набравшись смелости, записалась на приём к Первому секретарю Союза композиторов СССР Тихону Николаевичу Хренникову. <...> Тихон Николаевич Хренников встретил меня очень любезно, очень дружелюбно, внимательно выслушал <...> В моей жизни это была первая, очень приятная и очень памятная встреча с государственным деятелем такого масштаба, и у меня осталось отчётливое ощущение именно государственного подхода Т.Н. Хренникова к разрешению проблемы с исполнением драматории. Т.Н. Хренников пообещал переговорить с Васильевым, и буквально через день было получено его согласие на включение драматории в тематический план".

..."Умру я. Положат люди на весы дела мои. На одну чашу - дела худые, на другую - добрые. И добро перетянет"? - сказал как-то Хрущёв. В отношении Хрущёва, на мой взгляд, вопрос непростой; наверное, только в России может возникнуть такая дилемма: что "перетягивает" - освобождение из лагерей и реабилитация миллионов людей или убийства тысяч (расстрелы демонстраций в Тбилиси и Новочеркасске, придание новому закону обратной силы и расстрел "валютчиков")? Но что касается Тихона Николаевича Хренникова... какими бы ни были его отношения с Шостаковичем, Шнитке и другими - он ведь не просто бескорыстно помогал десяткам людей, но некоторым из них (вспомним свидетельства Мееровича и Мильмана!) СПАС ЖИЗНЬ! Не будучи приверженцем ортодоксального иудаизма, я, однако, не могу не соглашаться всеми фибрами души с иудейской мудростью: "Спасающий человеческую жизнь спасает весь мир".

В этой статье я рассказал о том, что знаю. Мои знания и возможности, разумеется, ограничены. Найдутся ли люди, которые по крупицам соберут все доступные сведения о Хренникове и не в форме газетной статьи, как это прекрасно сделал Лев Гинзбург ("Российская газета", 24 августа 2007 года), а в форме обстоятельной книги напишут о Тихоне Николаевиче "портрет на фоне мифа" (только с противоположным знаком, нежели войновичевский портрет Солженицына)?..

...В свободное время мы с друзьями любим собираться вместе и петь песни нашего прошлого, нашего детства и юности (я при этом, как правило, выступаю в роли аккомпаниатора). Среди прочих незабвенных песен, в нашем репертуаре - любимые миллионами людей нескольких поколений "Московские окна". Думаю, что если бы даже Хренников не написал ничего, кроме этой дивной песни, его имя вошло бы в историю. Вспомним же - и

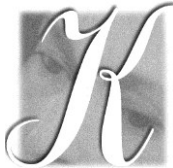
споём про себя или вслух тихонько: "Он мне дорог с давних лет, и
его яснее нет, московских окон негасимый свет..."

...Светлая память Вам, дорогой Тихон Николаевич!



Борис Юдин

Наброски



Когда нас по свету носило,
Была страшна и велика
Центростремительная сила
И центробежная тоска.

Вскипали на шоссе гудроны,
Ломались мачты каравелл,
По швам трещали все законы
Перемещенья твёрдых тел.

Обескуражен и запутан,
В пространстве инобытия
Чесал потылицу сэра Ньютон,
Гнилое яблоко жуя.

Лёгкость рук и откровенность взглядов,
Рюмок запотевшее стекло,
Сладость губ и горечь шоколада
Да ликёра липкое тепло,

Облаков свинцовые белила,
Воробьиный щебет по утрам...
Господи! Когда всё это было?
Кажется, ещё позавчера.

Старинный город. Лето. Тень от клёнов.
А в нише дома, как шахтёр в клетки,
Раскрашенная статуя Мадонны
Стоит, бессильно руки опустив.

Туристы. Гид. Старуха нянчит внука.
Душа бессмертной будет. А пока

Скулит тихонько в подворотне сука
О том, что дворник утопил щенка.

Вот и лето под горку катится,
И деревья многоузорны.
Если лиственные, то в платьицах,
Если хвойные – в униформе.

На припёке уже не согреться.
Слякоть. Ветра глухие аккорды.
Неизбежность лежит под сердцем,
Как у школьницы перед абортom.

Что б ни говорили, но на деле, -
Стоит бросить пристальнее взгляд, -
Экстраверт – сверло в патроне дрели.
Рад бы не крутиться, но зажат.

Интроверт - совсем другое дело.
Спрятал, как убийца в ножны ножик,
Эту дрель в своё живое тело.
И страдает, и сказать не может.

ОСЕННИЙ ЭТЮДИК

На лугах стога спокойно дремлют,
Даль лежит прохладна и чиста,
И, алея, падает на землю
Звёздочка кленового листа.

Утреник прихватывает лужи,
Хрустка грязь просёлочных дорог,
И упорно в сером небе кружит
Очень одинокий соколom.

Замело наполовину
Город снежной пеной.
Озверевшие машины,
Словно тромбы в венах.

В лисий мех упрятав ушки,
И в сапожках замшевых
Чей- то ангел, поскользнувшись,

Превратился в падшего.

Вянут георгины в палисадах,
Реки, как литое серебро.
Ночи в сентябре полны прохлады
И нежны, как девичье бедро.

Ляжет вечер тишиной на плечи.
Перед тем как отойти ко сну
Покурю немного на крылечке,
Вслушиваясь в эту тишину.

Грустно прокричит ночная птица,
Хлопнет по воде хвостом сазан.
А под утро женщина приснится
И уйдёт через окно в туман.

Зимне-депрессивное

Ничего, мой друг уже не станется,
Ничего не сбудется, пока
Замерзают на платформах станций
Очень кучевые облака.

Дни идут не шатко и не валко.
Не поймёшь – вперёд или назад.
И рыдает за столом гадалка,
Посмотрев на карточный расклад.

Штиль. Волны аквамарин.
Кислый запах хлеба.
Ангелов нестройный клин
Потянулся в небо.

Для чего они летят,
Распахнувши руци,
В окровавленный закат,
В ответ революций?

Волны гладят плоть песка:
Им нельзя иначе.
Перьевые облака.
Вечных часек плачи.

Из далёкого далека -
В коммуналку, как в реку с разбегу.
Там трепещет гитара в руках
Оттянувшего срок политзэка.

Воздух спёрт. На столе натюрморт:
Самогон, чёрный хлеб, солонина.
Но загадочный Ванинский порт
Покидает в ночи бригантина.

Чтоб вращалась небесная твердь,
Чтобы скалился “Роджер” над нами,
Чтобы песню, как лёгкую смерть,
Прикусить золотыми зубами.

Гаснет ночь. Выпадает роса
И, гитарному стону не внемля,
Убирает звезда паруса,
Опускаясь на стылую землю.

Пили водку в теплушках солдаты
И Победу везли на восток.
Только мать всё боялась Блокады,
Недоеденный пряча кусок.

Этот страх и во мне шевелится.
Открывая окно в белый свет
Хлеб крошу я прожорливым птицам,
Чтобы выжил в Блокаду мой дед.

Предновогоднее

Облаков посеревших лохмотья.
Терпко пахнет машинная гарь.
Половодие предновогодья
Захлестнуло озябший декабрь.

Тротуары блестят сахаринно,
Гололёд зазевавшихся ждёт,
Крыши зыбкими пальцами дыма
Небосводу щекочут живот.

У термометров съёжилась ртуть и

С визгом катятся санки с горы.
Запасаются выпивкой люди,
Вызревают на ёлках шары.

Чтоб бокалы дрожали от страсти
И курантов державная медь
Звонко пела про новое счастье.
Будто счастье смогло постареть.

ВЕСЕННЕЕ

Чист небосвод, сочнее светотени,
Стройнее угловатых яблонь стать,
И на ветвях такое белопенье,
Что хочется скворцом защебетать.

Как хорошо болтать о всяком вздоре,
Смеяться, петь, смотреть девицам вслед.
И кажется, что нет ни бед, ни хворей,
И верится, что смерти больше нет.



Михаил Воловик

Блокпост

Стихи

Смерть началась. Теперь они вдвоем
пойдут по свету
в ту сторону, куда мы все несем
себя к ответу.

Казалось, будет страшно, но когда
оно случилось,
жизнь просто отвернулась, - как вода
остановилась.

В запруде, в этом круге без чудес,
как две подруги,
две тени, жизнь и смерть, сейчас и здесь
сомкнули руки,

и первая прильнула ко второй
и, слившись с нею,
прозрачнела и делалась водой,
живой живее.

Раздергана, распорота, разъята,
подточена привычкой к воровству –
дышать, желать и брать, не зная платы, –
вот жизнь моя. Я все еще живу.

Вранье и похоть, зависть и злодейство –
чего в себе за свой не сыщешь век!
Состаришься – и вновь впадаешь в детство.
Вот – человек. И все ж я – человек.

Могу жалеть, любить и восхищаться –

Блокпост

Хроническая острая тоска,
нескромные несбыточные планы;
нет чувства, будто истина близка;
газета безнадежно иностранна,
инопланетна; все разобщены,
лишь страх любви чуть-чуть объединяет,
когда с чужой, враждебной стороны
внезапно к сердцу пуля прилетает.

Он все расставил по своим местам:
тебя, меня, и всех, и даже то,
что вне всего и недоступно нам:
для времени и смысла решето.

Сопротивляться, видя ход вещей,
и бесполезно, и всего верней,
поскольку, руки опустив в поток,
мы устье замыкаем на исток.

И ток бежит, и нам цветет сирень,
и тщится разум что-нибудь объять,
и начинают камни собирать
те, что имели сердце как кремень.

Все разминутись, поскольку никто
никого не узнал.
Каждый в нужде и обиде на то,
что себя не отдал.

Многие так озверели, что страх
им отъел по лицу:
шутка ли – шарить сознанием впотьмах
с пустотой на весу.

Если и вышло кого-то найти, –
принимая гостей,
помни всегда, что сиротство – в пути.
Жди и бойся потерь.

Еще неплохо все, что делает погоду
и дорого душе:
здоровье близких, сон, досуг после работы,
замки на гараже.

Нам то и хорошо, что не напоминает
о бренности своей,
публично правит бал, но скрытно угасает,
как тень среди теней.

А близится закат. Ненужные длинноты
фальшивят звукоряд,
проплешины едят лазурь и позолоту, –
то авангард утрат.

Бросать курить, худеть, тревожить призрак
детства –
ничто теперь не впрок.
Неси свой крест, смиришь и раздели наследство,
чтоб не ушло в песок.

Еще неплохо все, но нам с тобой понятно:
по правилам игры
мы движемся туда, откуда нет обратно.
На свет – из мглы.

Действительность коварна и смутна.
Попытки разгадать ее не дали
нам результата. Выйдя из окна
и слившись с ней, мы различим детали.

В подобном приближении весь мир
сужается до камешка, травинки,
к которым вся приبلудия – гарнир,
свалившийся с хрустальной Божьей вилки.

Только то и было, что с тобою,
факелом в горсти.

Ставлю на кон брыли с бороною –
было б, чем трясти.

Если это – страсть, ее порочность
явлена ль, когда
ты меня проверила на прочность,
как сосуд – вода?

То ль греховно, что считают люди,
вычислив корысть,
или нет греха воде в сосуде
путь себе прогрызть?

Все, что не случилось, – не случилось:
величавость и велеречивость,
полный список бонусных услуг.
То, что приключилось, – улучилось,
миновав, как праздник, как испуг.

А у нас часы бегут резвее:
краденое время голоднее,
ибо рассыпается пылью.
Как не-пчелы, власти мы над нею
не имеем, но зато умеем
время опылять своей судьбой.

Эти женские движенья:
кисти в сумочке возня,
тонких пальцев копошенье,
непохожих на меня,
головы как бы случайный
вопросительный наклон...

Если б то и было тайной,
я бы тотчас вышел вон.

Но порой... минуя зренья,
мимо логики – войдет
внутри меня, как настроенье,

где необратимость – не частный каприз:
погибели семя заразно.

Всё черной гангреною поражено, –
прогресс ампутации просит давно.

<2. Памяти человека>

Вот-вот: человек, и всего боится,
но лезет упрямо и хочет, хочет,
да так ненасытен, как в засушь поле:
то с зеркалом спорит, потом хлопочет,
потом набивает желудок, после
детей поучает, семейной ссорой
пугает соседей, но тихнет возле
жены до утра, чтоб ей быть опорой.

С утра повторенье всего по списку:
кому насолить и кого взять в долю.
И всякий, косясь на чужую миску,
все ту же баланду из страха, боли
и жадности видит. Да, жизнь достала,
но так, как у всех, и ему не хило!
Он сам спровоцирует все начала
и сам себе выкопает могилу.

Мое маленькое смертное земное дитя!
Взрослый, опытный, хитрый, жестокий, –
я безутешен, думая о тебе.
Если ничего нельзя сделать,
я буду молиться хотя бы о том,
чтобы Милосердный Бог
забрал меня на небо прежде тебя.

Завьет себя, подкрасит, приоденет –
и вот уже с ней рядом ты – пигмей:
и ростом-то обидно коротенок,
и куц умом, и неуклюж, как пень.

И как прибился к этому причалу, –

не князь, и не купец, и не герой...
А час назад она взахлеб мечтала
построить жизнь – представь себе! – с тобой.

Семью их съела бедность. Поначалу
еще казалось, можно потерпеть,
но вскоре это слово прозвучало,
и стало крепнуть и звенеть, как медь,
и потрясло их дом до основания:
надежды, идеалы и мечты –
все смел набат, все выпили страданья,
во всем явились тления черты.

Был век – любой, страна – любая, слово
могло звучать на языке любом.
«Но доброе всегда беднее злого,
и смерть всегда сильнее, чем любовь...» –

так думал – тот, а кто другой – иначе,
но мы об этом скромно промолчим.
Слова разят, но неизбежность сдачи –
вот что мешает говориться им.

Просто, забыв о смысле, заботиться о тебе.
Просто не быть в погоне, в страхе, в тоске, в
борьбе.
Просто сидеть у моря или гулять в лесу...
Но ты меня уронила. И я тебя не несу.

Серый декабрьский вечер в длинном ряду других
серых, пустых, ненужных – станет зачином их
шестивия друг за другом над суетой людской,
где никому не удастся нас вместе найти с тобой.



Анатолий Николин

Маленький хасид

Рассказ



монастырь открывался сразу. За широкой, густо поросшей невысокими развесистыми дубами и спутанными кустами ивняка и орешника поймой Донца, золотыми подвесками сияли его купола и белели старинные, высокие стены.

Я сворачивал с широкого моста, - по нему торопливо и робко прошмыгивали к монастырю автомобили и степенно шествовали немногочисленные – был обычный будний день - паломники. Дальше нам было не по пути. Им нужно было попасть к Богу, а мне – на пляж. В одной руке я нес прихваченный из номера полиэтиленовый пакет с двумя бутылками только что купленного в допотопной будочке с надписью «Пиво. Сигареты. Холодные закуски» ледяного пивка «Старопрарен» и увесистым хот-догом. Молодой торгаш-армянин с черными усиками и отсутствующим взглядом черных, круглых глаз пренебрежительно отсчитал сдачу: «Захады, дарагой...

В другой руке, пытая от напряжения, я тащил резиновый надувной матрац. Матрац я надул предварительно в номере санатория, чтобы не мучиться с ним на пляже.

Не могу сказать, что идти с надутым матрацем было удобно. От санатория до реки было километра три. Матрац, хоть и легкий, почти невесомый, был мне не по руке и некрасиво и неудобно волочился по земле. К концу пути он уже раздражал неуклюжестью формы, чрезмерно оптимистичным оранжевым цветом и слишком округлыми, так что его не удержишь в руке, тугими бортами.

С облегчением я бросал матрац на траву под старой, корявой акацией и пристраивал кулек к дереву. Тихая река тусклыми кругами ходила вдоль тенистых берегов. Солнце пряталось в утренней белесоватой дымке, и на той стороне реки, возле монастыря, кипел все прибывавший народ. Наблюдавшие за порядком донские казаки, молодцеватые чубатые хлопцы в синих шароварах и с нагайками в руках, то и дело от скуки спускались по

широкой лестнице к самой воде и неодобрительно поглядывали в нашу сторону...

Я быстро разделся и вошел в холодную, вязкую воду. Берег у реки был илистый, от ног отскакивали бледные юркие лягушата и, вытянув длинные худосочные лапки, испуганно и стремительно бросались в зеленоватую воду.

На стремнине слегка относило в сторону. Заросший камышом и ивами противоположный берег с казаками и белой, праздничной лестницей незаметно приближался и вырастал. Чтобы избежать соблазна появиться на монастырской площади подобно вышедшему из хлябей морских дядьке Черномору, да притом еще и в полуголом виде, я виновато поворачивал назад и подгребал к своему берегу.

Соседями моими на пляже были: одинокая молодая мамаша, похожая на девочку короткой стрижкой и худосочной фигуркой, терпеливо возившаяся с толстым белобрысым мальчонкой лет пяти. И рыхлая матрона, развалившаяся на толстой подстилке в окружении термосов и кастрюлек. В воду купаться толстуха не ходила, место облюбовала в густом кустарнике и все время что-то жевала, позвякивая бесчисленной кухонной утварью. Насытившись, она переворачивалась на спину и, выставив огромный, ходуном ходивший живот, принималась громко и сладко храпеть.

Молодая мамаша, напротив, никак не могла уговориться. Она то силой тащила своего хныкавшего и вяло сопротивлявшегося отпрыска в воду – «не хочу-у, - обреченно и тупо повторял он, - там змеи живут...» - то заставляла его принимать (в кустах!) солнечные ванны. Занятие, на мой несерьезный взгляд, взрослое, даже пенсионное, а вовсе не мальчишеское. Замученный мамашей мальчуган должен был послушно лежать плашмя на расписанном багровыми цветами махровом полотence и, зажмурив глаза, отдаваться проникновению летнего «полезного» солнца. То есть, по детской, и справедливой, логике – неизвестно чего...

Это упражнение маленькому Николеньке – толстого малыша звали именно так, и он приехал с мамой из Петербурга, - доставляло, по-видимому, невыносимые страдания. Он болезненно кряхтел, сопел, норовил перевернуться на живот, а потом и вовсе сбежать из-под материнской опеки. В прибрежных кустах можно было поискать маленьких прыгучих речных жучков, а если пройти по берегу немного дальше, то и нарвать бледной пахучей травы, какой у них на севере не бывает.

«Мне мама сказала», - хвастливо уверял маленький соломённоволосяый непоседа, когда я поинтересовался, откуда он знает про траву – судя по всему, имелся в виду наш степной чабрец...

«Давай я тебя на матрасе покатаю», - предложил я, чтобы окончательно завоевать его расположение. И поспешил успокоить миглом взволновашуюся мамашу: - «далеко от берега мы не уйдем. Не волнуйтесь, все будет в полном порядке», - уверил ее я.

Николенька быстро и весело согласился, я покатаю его на матрасе, насколько позволяли прибрежные заросли и заводи. Он весело и немного испуганно повизгивал, старательно изображая руками весла, и поднимал при этом тучи брызг.

Вдоль берега, на всем его протяжении, большими и маленькими группками «отдыхали» приезжие. В кустах обычно пряталась покрытая дорожной пылью старенькая усталая малолитражка, поодаль белела скатерть-самобранка, и вокруг толпились подвыпившие отдыхающие в купальных костюмах, - обрюзгшие, с выпяченными животами мужчины и их визгливо похохатывавшие, грудастые и дряблотельные подружки. На скатерти была разложена бесконечно повторяющаяся во множестве вариантов дорожная закуска – розовое слоистое сало, сухая колбаса, свежие помидоры и огурцы, лук, чеснок и – обязательная принадлежность коллективного выезда на природу, на воскресный загородный отдых – внушительных размеров бутылка водки. А то и две...

А дальше, ближе к мосту, всю кипела организованная мелочная торговля. Синеватым дымком курились многочисленные мангалы, весело стучали сдвигаемые стаканы в сельских хатах-ресторанчиках, и повсюду хрипела, скрежетала и повизгивала развеселая магнитофонная музыка...

Я все это уныло обозревал, таская, как бурлак, Николеньку Белакуна на моем надувном матрасе вдоль берега реки.

«Белакуном» он стал так. «Николенька, - спрашиваю, - ты где проживаешь в Петербурге?» - «На Белакуна», - не моргнув глазом, отвечает он.

Я, не понимая, снова задаю этот же вопрос. И получаю тот же невразумительный ответ: «на Белакуна»... Пока до меня, наконец, доходит, что живет Николенька с матерью в Петербурге на улице имени известного революционера Белы Куна...

Мамаша, у которой стало вызывать подозрение мое чрезмерное внимание к ее сыну, внезапно засуетилась и

заторопилась. «Пойдем, Николенька, домой, тебе обедать пора. А надо еще папе позвонить...»

Они быстренько свернулись и поспешно скрылись в дубовой роще поймы...

Я опять остался один и вдруг ясно осознал, что мне – скучно...

«Вам женщина нужна», - выслушав мои жалобы на скуку, сочувственно обронила немолодая медсестра, помогавшая мне на ваннах.

Я сидел, погруженный по самое горло в овальную хромированную емкость, в которой бурлила и пенилась холодная целебная вода. «Сходите вечером на танцы, познакомьтесь с какой-нибудь холостячкой ваших лет. Их здесь хоть пруд пруди, - усмехнулась Варя. - Специально приезжают, чтобы мужика подцепить. И куда только ваша скука денется», - многообещающе засмеялась она, закатав по толстые локти рукава белого халата и обмывая соседнюю пустую ванну. «А где у вас по вечерам танцуют»? – поинтересовался я, чтобы так вот сразу не отказываться; я плохо верил в способность женщин исцелять мужчину от меланхолии. Напротив, своей неумной жизненной энергией они способны ее лишь усугубить. «В диагностическом корпусе, - кивнула Варя, сосредоточенно орудуя сухой тряпкой, словно соскребала со стенок ванны застывший на них мед. - На первом этаже. Каждую пятницу. Перед началом обычно бывает лекция, но это ненадолго», - словно извиняясь за досадное неудобство, заверила Варя.

Сегодня как раз была пятница. После ужина я пошел к диагностическому корпусу на разведку.

Это было новое двухэтажное здание, весьма посещаемое днем, и сиротливо-пустынное к вечеру. Красивым укромным полукругом оно расположилось в редком сосновом бору. В воздухе стоял сухой и приятный запах нагретой за день хвои. Земля кругом была усеяна желтыми выгоревшими иголками и павшими сосновыми шишками. Их черные, похожие на мелкие груши, тельца всюду валялись, заставляя оступаться, как на льду.

Я часто уходил утром в лес на прогулку, пока было еще не жарко. Воздух в сосняке был звонок и прозрачен, и в нем отчетливо слышался каждый звук. Вот совсем рядом заурчал и заскрежетал коробкой передач мясной фургон – это только что привезли в столовую свежемороженое мясо... Весело и гортанно заговорили, затарахтели, жизнерадостно перебивая друг друга, молодые женские голоса – поварихи и кухонные работницы вывалили дружной стайкой на крыльцо покурить...

От столовой вела узкая аллея, становившаяся все глуше и таинственней. Как не были редки и прозрачны сосны, они умело прятали за своими курчавыми верхушками и тонкими, голыми стволами - напоминая при этом остриженных пуделей - все живое и обитаемое. Глубокая тишина обволакивала вас мгновенно. Словно проваливаешься в теплую, мягкую воду. Только резкий, пропитанный древесной смолой воздух удушливым морозцем щекотал ноздри...

Каково же было мое изумление, мгновенно переросшее в испуг, когда я свернул на боковую аллею! Мягким полукругом она уходила в густые дебри. И там, в светлом сумраке леса, тихо, воздушно и зловеще скользила меж деревьев высокая черная тень.

Я отпрянул и замер, как вкопанный. Тень поколебалась и двинулась в мою сторону. Я перебежал в овраг, где в мелкой сосновой и вересковой поросли прятался спортивный городок – ржавые, с облупившейся синей краской брусья, перекладина с прогнувшейся и отполированной множеством рук до свинцового блеска поперечиной и вкопанные в землю старые автомобильные покрышки. На них надо долго, до изнеможения вспрыгивать, тренируя мышцы голеностопного сустава... Нудное и утомительное упражнение для профессиональных боксеров и прыгунов в высоту.

В овраге я затаился, шаря глазами по густой, бледно-зеленой стене сосняка.

Черная тень вынырнула незаметно. Она словно отделилась от множества шершавых, пивного красновато-желтого цвета сосновых стволов и уверенно направилась прямо на меня.

Мне ничего не оставалось, как смело и решительно пойти ей навстречу.

Тень оказалась живым существом. Это был рослый молодой монах в черной рясе, черной же скуфеечке, с желтым и бледным худым лицом. Редкой щетинкой сиротливо топорщились три-четыре волоска, и вид у монаха был усталый и болезненный.

«Не скажете, как пройти в поликлинику?» - остановившись, буднично спросил он.

«Нет, не скажу», - пожал плечами я; вообще-то к врачам здесь я не обращался и от медицинского обследования, как предписывалось настоящему курортнику, отказался наотрез. Для здоровья мне было достаточно чистой реки, лесного воздуха и одиночества...

«Нет, не скажу, - снова повторил я. – Кажется, в той стороне, - подумав, кивнул я. - Там находится диагностический центр... Это недалеко. Здесь вообще все рядом, - усмехнулся я, с

любопытством оглядывая монаха: заблудившись, он выглядел растерянным и не знал, как себя вести. – Держите курс вон на ту беседку, – там, где белье развешено, – махнул я, – и сразу увидите...»

Перед корпусом, где должна была состояться лекция, рос большой цветник. Ромашки поражали воображение крупными, желто-зернистыми головками, розы и фиалки благоухали, и – кругом не было ни души...

В прохладном вестибюле висело написанное синей гуашью от руки объявление: в восемнадцать часов в фойе состоится лекция о жизни и творчестве русской поэтессы Марины Цветаевой. Читает... Фамилия и инициалы были написаны большими печатными буквами: Т.М. Славутинская...

...У входа на территорию санатория, если следовать к нему от автовокзала по главной улице поселка, задирается к небу металлический полосатый шлагбаум. Поодаль желтела крашеная будочка охранника и тянулась длинная цветочная клумба. Перед клумбой, как раз напротив будочки – на ее пороге в жаркое время дня скучно попыхивал сигаретой немолодой, чернявый служащий в расстегнутой рубашке – высился большой гранитный валун. А на нем серебристо мерцала металлическая табличка с выбитыми на ней буквами: «Здесь, на бывшей даче Лазуренко, – читаю я, – проживала – далее следовала дата: начало прошлого века – известная русская поэтесса Марина Цветаева».

«Где тут могла быть дача этого самого Лазуренко, – мысленно высчитывал я, обозревая тенистые склоны Донца и редкие, сухие пустоши на его берегах. Все здесь давно заселено, благоустроено и не оставляло места для территориальной импровизации. – Может быть, там, где санаторный парк постепенно переходит в сосновый лес?..»

В этом месте я особенно любил слоняться поутру. Тут стоял напоминавший немецкую кирху скромный флигелек, и к нему вели две-три заасфальтированные дорожки. Кто в нем жил и жил ли вообще – было неизвестно. Из дома никто никогда не выходил и никто туда ни разу не входил. Здание, скорее всего, находилось на балансе санатория «Святые Горы» и использовалось в качестве складского помещения. Что в принципе не умаляло его гипотетически великого прошлого. Именно здесь и могла быть та самая дача безвестного Лазуренко, о которой упоминала надпись на гранитном валуне.

Если честно, мне очень хотелось, чтобы готический домик принадлежал именно Лазуренко. А в нем обитала в некие годы начала прошлого века поэтесса, представляющая Серебряный век

русской литературы. Потому что я люблю все старое и старинное больше, чем настоящее.

Скромный старинный флигелек прятался в окружении редких в этой местности туй, сухих и колючих, как и произрастающие здесь сосны. И мне казалось, что в этом доме проживала если не сама Марина Цветаева, то не менее известная и легендарная личность. Вечером, усевшись как ребенок, в первом ряду случайно составленных стульев, я принялся с интересом разглядывать всеведущую Т.М. Славутинскую

Народ на лекцию собирался медленно и неохотно. Пришла аккуратная, ухоженная старушка в очках, вероятно – бывшая учительница. За нею две высокие моложавые женщины, явно из интеллигенток. Скучный юноша в квадратных очках, с рыхлым и бледным рассеянным лицом. Скорее всего – поэт. Из настоящих, то есть – угрюмый, никчемный и необщительный. Типа Джон Китс...

Впорхнули две застенчивые молодые девушки-подружки. Они угловато уселись на стульях, сконфуженно краснея, фыркая и о чем-то тихо перешептываясь. Наконец с веселым удивлением и любопытством они уставились на «Джона Китса», пренебрежительно хихикая...

А под конец пришла низенькая полная брюнетка с забавным мопсом на длинном поводке. Она величаво уселась в первом ряду, заботливо усадив на колени молчаливого пса. Он угрюмо на меня уставился черно-желтой, слегка прибитой мордой, недовольно посапывая.

«Леон, нехорошо разглядывать незнакомых людей, – дернув его за поводок, нахмурилась женщина. И виновато улыбнувшись, запросто обратилась ко мне: – Извините, он еще маленький»... – «Ничего, бывает», – охотно простил я, заговорщицки подмигивая туповато-серьезному Леону...

Сама Славутинская была женщина скорее уродливая, чем красивая. Бесформенно – полная жгучая брюнетка с густыми, словно грубо и на скорую руку мелированными седыми прядями на гладко зачесанной голове. На подбородке два-три таких же седых волоска, а в уголках рта темнело подобие усов. Темные и мрачные семитские глаза смотрели отстраненно и равнодушно, словно ее силком затащили на литературный вечер.

Она не спешила начать лекцию, спокойно восседавая за небольшим журнальным столиком. Первым делом водрузила на него, домовито протерев его платочком, старенький мобильный телефон и потрепанную записную книжку. В книжку была

воткнута – корпусом внутрь – недорогая пастовая ручка для срочных записей и пометок...

Никаких книг или чего-либо напоминающего конспект я на журнальном столике не углядел.

Лет Славутинской было... Да, думаю, за пятьдесят точно... Глядя на ее мелкую невозмутимую возню, я удивился. «А любит ли она вообще стихи и Цветаеву – женщину на мой приблизительный (но думаю, что верный) взгляд, бурную и непоследовательную? Страстно ненавидевшую порядок в жизни, любви и поэзии. Или этой Славутинской ничто не мешает жить своей, разумной, целесообразной жизнью, а любить совсем иное? То невразумительное и беспорядочное, что сопровождает жизнь и творчество каждого поэта»...

Пока я предавался безутешным мыслям, к лекторше подошла работница санатория в белом халате и шепотом что-то у нее спросила.

«Ну, а шо мне ваш завхоз, - раздраженно и громко заговорила она резким, противным голосом. Так разговаривают старые еврейки на базарах, когда продавец предлагает им купить помидоры по невысказанно высокой цене. «Та за такие деньги я весь ваш огород могу купить, не то шо ваш никому не годный помидор!» - «Дама, - сердито отвечает рассерженная торговка. – Не нравыться – не берить! И шо вы на него давите, - истерично взвизгивает она, отмахиваясь от привередливой покупательницы, как от надоевшей мухи. - Шо вы с того помидора хотите выдать?!»

«Передайте вашему дурню завхозу, - сердито и внятно заговорила Славутинская, - шо я здесь почетный гражданин. И проживаю с ведома городского мэра. Не верит – пускай спросит у главврача»...

- Кажется, у нее неприятности? – спросил я у соседки с мопсом.

- Ерунда, - отмахнулась она. – Каждый год одно и то же. Тамара Моисеевна живет в Израиле, и сюда приезжает каждый год. На свою родину, - пояснила полная женщина. – Она поселяется в санатории. Ей действительно разрешено, - улынулась она, заметив мелькнувшее в моем взгляде недоверие.

- За какие заслуги? – не поверил я.

- Леон, тихо! – принялась успокаивать разволновавшегося мопса соседка.

Тот слушал-слушал разгневанную Славутинскую и потихоньку тоже воспламенился. Заерзал, зарычал и рванулся на свои, собачьи подвиги.

- Вы видели каменную стелу у входа? – спросила наконец соседка, укорачивая псу поводок.

- Ну да, - кивнул я. – В честь Цветаевой.

- Его установки добилась Тамара Моисеевна, - уважительно сообщила соседка. – Это она все раскопала про поездку Цветаевой в Святые Горы...

- Вы-то откуда знаете? – не поверил я. – Вы что – тоже местная?

- Да нет, - снисходительно улыбнулась хозяйка маленького, но оказавшегося на удивление свирепым и непослушным Леона; он все время глухо рычал и норовил соскочить с колен крепко державшей его хозяйки. – Я из Харькова. Отдыхаю здесь каждый год, - доверительно поведала она. – И все время прихожу на лекции Тамары Моисеевны.

- Любите Цветаеву?

- Вообще-то да, - смущенно призналась она. И добавила: - И Тамару Моисеевну тоже...

- Ее-то за что? – недоверчиво хмыкнул я.

- За любовь к Марине Ивановне... Тихо, - улыбнувшись, по-детски приложила она пальчик к губам. - Тамара Моисеевна начинает...

Начала, впрочем, Славутинская свой рассказ уже довольно давно. Пока мы с моей соседкой выясняли, кто в этих краях есть кто, Тамара Моисеевна вошла в исследовательский раж. Она брызгала слюной, бурно выражая негодование по поводу «фальсификации истории»:

- И шо та Тиночка Меликянц может знать про Малороссию, шо она берется описывать про все в деталях? – прихлопывая ладонью по пухлой записной книжке, кричала Тамара Моисеевна. - Я приехала в Москву и говорю: Тиночка, говорю, милая, так нельзя. Я ж родом с этих мест и знаю, шо со станции иначе нельзя добраться до поселка, как на волах. Какая почтовая линейка, какие полчаса езды! Тиночка, говорю, вы ж ни разу в этих краях не были! А в меня был сосед, дед Степан Бугрий. Он ишо десять лет назад был живой! Тот Степан до революции всю почту до поселка возил со станции на волах. И пассажиров тоже. Поезд тогда ходил только один – с Москвы до Киева и обратно, не то шо сейчас, аж противно! И приходил тот поезд до станции поздно вечером. Так шо ехали они с Софочкой Парнок на волах до Святых Гор почти что всю ночь. И к утру были уже у Лазуреньков. К утру, а не в полдень, как пишет у себя в книжке Тина Меликянц! Она взяла теперешнее расписание и посадила туда Марину с Софой! А она ж даже не представляет, как тогда

люди жили! И вообще, – взволнованно заерзала Тамара Моисеевна, словно собиралась поведать что-то особенно волнующее и значительное. – Тот Лазуренко тут не при чем. Он сам арендовал дачу у графа Кантемира, это были его владения. Вся отэта земля с Донцом, камышами, лесами и лягушками... Был он, конечно, мужик справный – я теперь говорю про Лазуренко, – быстренько объяснила Тамара Моисеевна, – не то, что старый граф. Тот сидел себе в Петербурге и ни до чего не касался. Я так детям своим и объясняю: трутень был наш граф наподобие Нехлюдова у Льва Толстого... Дед Степан в молодости служил у Лазуренко конюхом. Лазуренко тут навел порядок и сам сдавал дом всем желающим. Народу приезжало много, особенно на богомолье. Даже, бывало, флигель ихний немецкий, построенный графом для своей любовницы, княгини Воробьевой, и тот сдавал приезжим. Такая, значит, пропасть народу в старину сюда приезжала... Сейчас тоже много бывает, но до тех времен не дотягивает...

И вот, значит, – удовлетворенно вытирая толстыми заскорузлыми пальцами в серебряных перстнях уголки морщинистого, чуть тронутого лиловой помадой рта (отчего ее губы казались губами престарелой русалки), произнесла Тамара Моисеевна. – Приехали они ночным поездом из Крыма, где гостили у Волошиных. Тут им и парное молоко, и речка с лягушками, как любила Мариночка... Она ведь море недолго любила, Марина Ивановна, – как бы между прочим, добавила Тамара Моисеевна. При этом, как мне показалось, имея в виду какие-то свои собственные ощущения. – Хотя имя носила морское и на море бывала довольно часто...

Две загорелые молодые женщины, сгорбившись, старательно исписывали школьные тетради. Вероятно, тоже учительницы, конспектируют для памяти...

Молодой поэт, развалившись на стуле и пренебрежительно выпятив нижнюю губу, слушал с подчеркнутым равнодушием. Девушки-подружки продолжали хихикать, шепотом толкуя о чем-то своем. Они умолкли и восторженно раскрыли рты, когда Тамара Моисеевна заговорила о лесбийском характере путешествия Цветаевой и Софии Парнок.

Подробно и со вкусом, как и подобает подлинной женщине Востока, она описала предысторию, начало и расцвет любовных отношений Цветаевой и Парнок. Процитировала единственное, написанное Цветаевой за три недели пребывания в Святых Горах стихотворение про «псов соседовых»:

«Запах розы и запах локона

Шелест шелка вокруг колен»...

Добавив, что «это» - «про Софочку». И умолчав, что адресатом стихотворения является мужчина, - муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон:

«О, возлюбленный, не выведывай,
Для чего развожу засов».

Она как будто не только оправдывала любовную связь Марины с женщиной, но и дорожила ею, как собственным и единственным благом.

Снова процитировала своего кумира, - из ее «Письма к Амазонке» (английской поэтессе Натали Клиффорд-Барни по прозвищу «Ларошфуко в юбке»):

«Она – это я, вынесенная за пределы меня»

И, наконец, еще одно слабое оправдание страсти, приключившейся с ее кумиром, - из послания к тому же адресату:

«...для подавления силы нужно бесконечно большее усилие, чем для ее проявления...»

Все это частично приносилось вслух лишенной комплексов докладчицей, частью же вихрем проносилось у меня в голове – мне было страшно любопытно, что же так привлекало Тамару Моисеевну в стихах и личности Марины Цветаевой?

Но догадок было больше, чем объяснений.

- Как вы думаете, - спросил я мою новую знакомую с мопсом, когда наконец мы вышли на воздух после лекции, продолжавшейся час с небольшим и состоявшей из одних междометий. – Как вы думаете, - повторил я, - что такого ищет в Цветаевой Тамара Моисеевна. Что она у нее нашла?

Мою новую знакомую звали Зоя Павловна.

- Можно просто – Зоя, - смущенно добавила она, и мне тоже стало неловко, потому что при знакомстве учитывался мой возраст, а вовсе не стремление сблизиться.

- Я кое-что думаю об этом, но не хотела бы говорить, - помолчав, простодушно выговорила она. – Это, знаете, деликатная тема...

Она смущенно дернула и без того сильно напрягшийся поводок: Леон забрался в очередные кусты и надолго там застрял.

Было сумеречно, но свет в корпусах не зажигали. Повсюду, шараясь в потемках друг от друга, прогуливались перед сном отдыхающие. Где-то далеко играла музыка – в соседнем санатории начались танцы на свежем воздухе...

- Знаю, - засмеялся я. – Потому и допытываюсь.

- Она очень увлеченный человек, - принялась рассказывать Зоя. – Перетормошила всех чиновников, пока

установили этот валун... Вы же знаете, как у нас относятся к памяти поэтов, - осуждающе заметила она. – Тут до нее даже не знали, кто такая Марина Цветаева, - воскликнула Зоя, наблюдая, как из сухих кустов с шумом и хрустом выбрался, сопя и похрюкивая от удовольствия, распугавший бродячих кошек и грязных санаторных жучек маленький, мужественный Леон.

- Она до пенсии работала учительницей русской литературы в местной школе, - продолжала рассказ моя спутница, когда мы тронулись дальше – Зоя жила в корпусе напротив, и нам было по пути. – Каждую осень, в день рождения Марины Ивановны, она выводила детей на берег Донца. На свободный урок... И рассказывала им о Цветаевой, о той эпохе... Не знаю, как вам, а мне нравятся такие люди, - одобрительно улыбнулась в полутьме Зоя, и я подумал, что любовь к подвижничеству и подвижникам, наверное, у нас в крови.

- Теперь никто не прививает детям любовь к прекрасному, - с осуждением снова заговорила Зоя. – Вот и воспитывается молодежь на американских боевиках и дешевых сериалах...

- Ну да, - понуро согласился я.

- Она уже восьмой год живет в Израиле, - задумчиво заговорила снова Зоя. Благо неутомимый Леон меланхолическому состоянию ее духа сильно способствовал: бежал мелкой и ровной иноходью, никуда не сворачивая и ни на что постороннее не отвлекаясь. Очевидно, близость дома и желанного ночлега делала его покладистым и уравновешенным.

- Но не проходит года, чтобы она не приехала в Святые Горы. Как паломница на богомолье... И живет здесь целое лето.

- А как же семья - дети, внуки?

- Да вот так, - неопределенно пожала плечами, улыбаясь в темноте, Зоя. – Она внука очень любит, Элика. Рассказывает о нем почти на каждой лекции. Приходите через неделю, - грустно предложила она, повернув ко мне крупную, мужскую голову с волнистой стрижкой волос, - и услышите сами.

- Опять о Цветаевой? – удивился я. - Ну да, - кивнула Зоя. – У нее договор с администрацией: в месяц она проводит две-три лекции... Ну вот, мы и пришли, - словно с сожалением, вздохнула она; у небольшой, корявой сосны светился вход в санаторный корпус. – До встречи, - она протянула руку каким-то чересчур мужским жестом и так же по-мужски крепко пожала мою:

- Спокойной ночи...

Ночью мне не спалось. Я встал, заварил с помощью кипятильника чай и долго потягивал бурную крепкую жидкость, обдумывая события этого вечера.

А в полночь разыгралась гроза. В окне то и дело вспыхивала молния, и далеко на горизонте метались, словно испуганные птицы, холодные летние зарницы. Сосны глухо и протяжно гудели, раскачиваемые ветром. Треск старых стволов и вой ветра сопровождали мою неожиданно взявшуюся бессонницу и странные, сумбурные мысли. Мне казалось, что жизнь сложна и непонятна, и что мы сами делаем ее такой. Скрываем, что хотели бы сделать всеобщим достоянием, и кричим на всех перекрестках о том, что сами же считаем ложью.

Подлинные причины поведения Тамары Моисеевны – да и Зои тоже – были странны и нелогичны. Они не вписывались в канву общепринятой житейской морали, и вытекали из чего-то внутреннего и глубоко скрытого. Казалось, стоит сказать об этом прямо, и жизнь изменится, станет другой. Лучше или хуже – я не знаю. Но, очевидно, в ней не будет места традиционной иерархии.

Мне отчего-то было жаль Тамару Моисеевну и Зою, и я холодел от странных, безнадежных предчувствий. Короче говоря, жизнь представлялась мне тупиком, из которого не было выхода. Неприятное, сосущее чувство безнадежности словно крепким обручем обхватывало голову. «Наверное, – решил я, – выпил слишком много крепкого чая, вот и кажется все таким бессмысленным»...

На этих словах я закрыл глаза, пытаюсь уснуть. Но и во сне мне привиделись эти две странные женщины, и я вел с ними нескончаемый, невразумительный диалог, как это всегда бывает в сновидениях...

А утром ничто не напоминало о ночном дожде и тяжелых, непривычных мыслях. Кроме, пожалуй, нескольких сухих сосновых веток, павших за ночь и обнаруженных мной на обычно хорошо расчищенном терренкуре. Да необычно пушистого и мягкого ковра из сосновых иголок на мгновенно впитавшей в себя ночную дождевую влагу песчаной святогорской земле...

В столовой я сидел на обычном месте у распахнутого в тихо мерцавший на утреннем солнце пушистый сосняк окна. Очередной посетитель распахивал дверь, гардина удовлетворенно надувалась и панически опадала, как сдутый футбольный мяч, едва дверь с треском захлопывалась.

Вооружившись ножом и вилкой, я привычно огляделся. Все те же, знакомые с первого дня, давно примелькавшиеся лица: худая жеманная женщина в старомодном платье с оборками, любительница творога и шиповника. Каждое утро она капризно донимает официантку, немолодую неповоротливую тетку, выряженную для «красоты» в кружевной передник и несвежий

кокошник: «где же мой отвар, милая? Немедленно принесите...» Немолодой, угрюмый горный мастер из маленького городка Снежное с черным угреватым лицом и шишковатым носом. С видом преступника, приговоренного к пожизненной каторге, он поглощает овсянку и что-то бурчит себе в нос. Его зовут Василий Павлович. Он болеет всеми известными и неизвестными болезнями и приезжает в Святые Горы каждый год. И каждый раз с новым диагнозом. На этот раз у него не то силикоз, не то туберкулез то ли в поздней, то ли в ранней стадии... Василий Павлович старательно перед каждым приемом пищи проходит только ему ведомые медицинские процедуры, и вид у него после этого бывает истомленный, как после чтения Камасутры.

Слева и наискось, у колонны, на которой время от времени появляются написанные санаторным художником объявления о вечерах танцев или о коллективном посещении святогорских пещер, обычно восседает в одиночестве Зоя Павловна. Она деликатно откусывает ломтик чего-либо и прикармливает Леона. Он под столом жрет много и жадно. Я тихо завидую его мерзкому аппетиту, близости к обильно дающей и ничего за это не требующей руке Зои, и настроение у меня потихоньку портится. Очевидно, и я, и мое вечно переменчивое настроение относятся к тому же смутному кругу таинственных, невнятно формулируемых проблем, какими я успел наделить Тамару Моисеевну и Зою. На поверхности видишь одно, а в глубине совершается нечто совсем иное...

Но сегодня я с моими то и дело меняющимися желаниями был страшно разочарован: утром Зои на привычном месте у колонны не оказалось. Не пришла она и на следующий день. И на третий тоже. Я уж, было, подумал, что она съехала со своим жутким мопсом. Истек срок санаторной путевки, вот она и исчезла. Уехала... А я так ничего не успел о ней узнать, - ни кто она, ни что она... Как дух земной, неожиданно возникший и так же непредсказуемо и стремительно исчезающий, она появилась на моем горизонте и растаяла...

Но сожаление по поводу толком еще не приобретенного, но уже утраченного знакомства тут же и прошло. В глубине души мы сами не желаем ничего явного и откровенного. А неясным и вымышленным я-то уж Зою-то Павловну наделил вполне...

Не успел я как следует позабыть о моей новой знакомой с короткой стрижкой и твердым мужским рукопожатием, как она внезапно появилась вновь. Забрехала на горизонте, как тихое утреннее сияние. Спокойно и бесстрастно, как будто не было пустых дней без нее. С чувством собственного достоинства она

восседала в столовой у колонны с объявлением о вечерних танцах и рассеяно подкармливала Леона; он развалился в длинном кожаном поводеке под столом и самозабвенно грыз свежую куриную косточку.

Мы кивнули друг другу, как старые знакомые...

Спустя час у меня были «иголки». Санаторный врач, Галина Афанасьевна Александрова, дородная, немного рассеянная и застенчивая женщина – крашеная блондинка с обручальным кольцом на толстом пальце левой руки, - ежедневно приходила ко мне в номер. Полчаса я ничком лежал в полном безмолвии, утыканный длинными металлическими иглами, как дикобраз своими колючками.

Пока Галина Афанасьевна раскладывала свое хозяйство, мы успеваем обменяться последними новостями. Она хорошо знала Зою Павловну.

- Мой постоянный пациент. Приезжает сюда каждый год, - склоняясь над моей спиной, сообщила Галина Афанасьевна. И, вонзая под лопатку очередную китайскую иглу, буднично добавила:

- Хорошая женщина. Холостячка.

- Она как-то странно себя ведет, - сказал я. – То исчезает, то появляется...

- А-а, вы об этом, - одобрительно улыбулась Галина Афанасьевна. - Она к любовнику бежит. У нее сожитель живет через дорогу. Возле рынка. Торгаш – владеет небольшим магазинчиком...

Я знал эту дешевую торговую точку, почти лавочку. В тесном помещении толстая продавщица с брезгливо оттопыренной нижней губой продавала водку, жвачку и сомнительного качества мелкую снедь. Мороженое, цветные прохладительные напитки – страшно холодные, из огромного, во всю стену, холодильника...

Эта грязная забегаловка – здесь постоянно дрожали стекла от проезжавших по улице автомобилей – и ее гипотетически тупой и жадный хозяин не вязались с обликом аккуратной, ухоженной и утонченной Зои Павловны. В их союзе – даже если это была обычная плотская привязанность – не было ничего логичного и закономерного. Было что-то, чего я не понимал, но что требовало полного и беспрекословного признания.

Все, оказывается, так просто, - мысленно усмехнулся я, задремывая на кушетке по рекомендации Галины Афанасьевны: «чтобы от иглоукалывания была польза, нужно расслабиться и постараться уснуть...»

Я старался как-то увязать мысли и слова Зои с ее поступками, а заодно слова и поступки Тамары Моисеевны, но у меня ничего не получалось. Вместо логически обоснованного представления в голове складывалось что-то тусклое и неопределенное, словно скучная серая масса. То ли бетон, то ли цемент, то ли еще какая-то малоизвестная, неизученная субстанция...

На второй лекции Тамары Моисеевны мы сидели с Зоей уже порознь. Я, как обычно в первом ряду хаотично и неровно расставленных стульев. А Зоя примостилась сзади и наискось, - приблизительно в том месте, где в прошлый раз хихикали и перешептывались молоденькие подружки.

Она сделала вид, что меня не узнает...

Мопса на этот раз с ней не было. Меня это обстоятельство сильно удивило: как же так, - назойливо лезло в голову, - он же один остался в комнате. Будет от страха скулить и носиться по номеру, пока что-нибудь не разобьет или не испортит...

И почему-то несчастный Леон не выходил у меня из головы, пока шла лекция...

Тамара Моисеевна, как и две недели назад, пришла вовремя. Она появилась в фойе диагностического центра ровно в шесть часов вечера. И утиной походочкой прошествовала к журнальному столику. Деловито и обстоятельно разложила свои принадлежности. Первым делом вытащила знакомый старенький мобильный телефон, привычно обмахнув его скомканным носовым платочком. Затем похожую на грессбух, толстую записную книжку, маленькие женские наручные часы и белую китайскую ручку с красной защелкой-зажимом.

Тамара Моисеевна была в темном атласном платье, расшитом крупными светлыми лилиями.

Лекция началась непринужденно и незаметно, словно вытекала из обычной дружеской беседы. Все было точно так же как в прошлый раз. С той лишь разницей, что сегодня Тамара Моисеевна выглядела раздраженной и озабоченной.

- Сижу и жду, когда позвонят из Хайфы, - воинственно и сердито заявила Тамара Моисеевна, нервно теребя очки и злобно кивая на угрюмо помалкивавший мобильный телефон. - С плохими известиями... И сообщает на мою голову, шо в наш дом попала арабская ракета, - удивленно и возмущенно пожалала она плечами. - Это ж надо такое лихо! И шо там делает бедный Элик с теми арабами и их ракетами?!

Шло лето 2006 года. Обосновавшиеся в Ливане боевики мусульманской радикальной организации «Хезболла» который

месяц терроризировали Израиль ракетными обстрелами. В Хайфе у Тамары Моисеевны остались дочь с зятем и маленьким Эликом. Там жила и она сама, – в двухэтажном белом просторном доме в районе Ахузы.

- Сначала мы жили в Кармеле, - о-очень хороший район, - одобрительно кивнула Тамара Моисеевна, – там живут самые уважаемые люди Хайфы. Но зять получил назначение в новую синагогу в Ахузе, и нам пришлось переехать. И конечно, как всегда, заботы по переезду и обустройству легли на бедную Лорочку! Потому шо зять у меня не мужчина, а чистое дитё. Знает Тору, Талмуд и Каббалу, но не помнит, сколько стоит масло в соседней лавочке. О чем, спрашивается, с таким мужем можно разговаривать? – возмущенно вскинула черные, с проседью, кустистые брови Тамара Моисеевна. – Когда Лора выходила за этого идьёта замуж, я ее предупреждала: Лора, эти люди ничего не знают про жизнь, они думают, шо жить – это молиться Богу. Так ты, говору, выбирай, на каком свете тебе лучше – на этом или на том! Потому шо жить одними молитвами вредно не только для тебе, но и самому Яхве...

Тамара Моисеевна с достоинством помолчала, утерла кончиками сосисок-пальцев углы твердо и непримиримо сжатого рта и нахмурилась.

- Эти хасиды ненавидят жизнь, - изрекла наконец она тоном судьи, выносящего подсудимому неоспоримый приговор. – Так ненавидят, шо я не знаю, шо с этим делать! Мой зять Борух и Элика сделал хасидом, хотя мальчику только семь лет. Ну скажите пожалуста, шо можно знать про Бога в семь лет?! Я ему говору: господин Борух, пожалейте своё дите, если вы не хотите пожалеть свою бедную жену и мою дочь Лору. Но он только презрительно кривит рот, увесь в бороде, как будто он не Борух, а праотец Авраам, и все знает лучше мне! Потом надевает на голова красочный марля и начинает раскачиваться, как будто ему сильно хочется в туалет. Ну просто невозможно! Элика он одевает по-хасидски, и несчастное дитё совсем забыло, шо такое обыкновенные детские штаники, куда можно запросто пописать. Носит маленький черный «*шляпке*», - не хватало, шоб он надел на него еще и «*штраймл*»! А потом еще двубортный «*драй фертл*» и белые чулки, как у Моисей Наумовича у Чехова... Бедный Чехов! Он так долго болел, шо в конце концов умер от туберкулеза! Потому шо, видите ли, - презрительно и без всякого перехода снова съехала на хасидскую тему Тамара Моисеевна, - штаны у настоящего хасида не должны касаться грешной земли... И «*штитблет*» Элику надевают без шнурков и застежек, шоб

избежать земной скверны. А также шелковый шнурок, «*гартл*», вокруг пояса, - это шоб отделить высокое от низкого... Как зачал этот идьёт Борух Элика, так теперь можно и нос воротить от всего скверного... А на шо, спрашивается, ребенку все эти причиндалы? – кипя от возмущения, брызгала слюной Тамара Моисеевна. Она уже забыла и про Цветаеву, и про «Софочку» Парнок, и про терпеливо ждущих окончания ее монолога и перехода к заявленной теме лекции – «Творческий путь Марины Цветаевой» - немногочисленных слушателей – перезрелых незамужних девиц, тайно мучающихся лесбийскими пристрастиями, подпольных, никому не признающихся в блуде стихосложения молодых поэтов и тронувшихся умом и изнывающих от санаторной скуки моложавых и свежих, вполне уже бессмертных старушек - ровесниц прошлого века - в страстном желании поквитаться, наконец, с тупым, набожным зятем хотя бы словесно, хотя бы мысленно, если ничего с ним нельзя поделывать...

В разгар горького и страстного монолога Тамары Моисеевны, в самой яркой его части, когда лекторша, подобно библейской провидице Деборе, перешла к прогнозам относительно личной судьбы злополучного «господина Боруха», - «я тебе заклинаю остановиться, если ты не хочешь, как Саул, пасть под карающим мечом арабских ракет», - в фойе с невозмутимым видом вкатился плотный здоровячок Леон и мелкой, хозяйственной трусцой засеменил к хозяйке. Он был без поводка, - то есть, «свободен, наконец-то свободен». Как он сумел выбраться из запертого номера – одному ему, да, пожалуй, еще и богу господина Боруха было известно...

Зоя Павловна тихо охнула и в отчаянии всплеснула руками.

«Нет, вы посмотрите на него, – воскликнула она, не обращая внимания на продолжавшую говорить Тамару Моисеевну. – Что за непоседливый пес!»

«К ноге! - с видом ужаса на трагически-красивом лице, словно она узрела в образе Леона нечто неповторимо-гадкое, - некий лик, похожий на дьявольский, - проговорила Зоя отчаянным шепотом. – Лежать и не шевелиться»!..

Леон покорно растянулся у ног хозяйки, удовлетворенно пофыркивая, как будто в нос ему попала травинка или мелкая лесная мошка. А потом внезапно вскочил и сообразно одному ему ведомому побуждению озабоченно забегал, заметался по пустому фойе. В той его части, где не было ни Тамары Моисеевны с ее движимым и недвижимым имуществом, ни нас, покорных свидетелей ее горьких откровений и случайных прозрений...

Зоя Павловна на всякий случай пересела в первый ряд, не сводя настороженного взгляда с купавшегося в свободе передвижения мопса.

- Я посижу, не возражаете? – смущенно взглянула она, и я не отвернулся, - напротив, выразил полное расположение и удовлетворение. «Я вас очень хорошо понимаю», - улыбаясь, мысленно успокаивал я Зою, а сам с возрастающим интересом наблюдал, как усиливается ее беспокойство. Она протяжно вздыхала, словно не могла дождаться окончания лекции, и бросала на Леона беспокойно-внимательные взгляды.

Тамара Моисеевна на происходящее не обращала ровным счетом никакого внимания. Она вела себя, как ей заблагорассудится, - могла сделать длительную паузу, неторопливо достать из сумочки уже упоминавшийся носовой платок и долго, со вкусом сморкаться, несмотря на вечернюю духоту, как будто внезапно наступила осень с холодными дождями и бесконечными простудами. Точно так же она не обращала внимания на стиль поведения собравшейся в фойе небольшой компании ценителей и, главным образом, ценительниц творчества Марины Цветаевой. Поскучневшим голосом – все потроха у Боруха были перевероршены, Лоре и Элику возданы родительские почести, и дальше рассказывать было не о чем, - Тамара Моисеевна сухо и равнодушно поведала все ту же приевшуюся, как бабушкино варенье, историю поездки Марины и «Софы» в Святые Горы летом 1915 года. Помянула недобрым словом некоторых «бестолковых» исследователей, с коими она не согласна в трактовке этой поездки, и коротко, без нажима на трагическую сторону дела, рассказала о прошлогоднем паломничестве в злополучную Елабугу.

Я поймал себя на том, что перестаю что-либо понимать. С одной стороны, - размышлял я, - странная женщина Тамара Моисеевна, безусловно, любит Марину Цветаеву. Но невольно возникает вопрос: любит ли она ее самое или же только ее творчество? Любить несуществующего – точнее, живущего исключительно в виде нескольких томов стихотворений (и ничего больше) человека, женщину мне представлялось практически невозможным. Но как же, - тут же возразил я сам себе. – Существует же в католических странах культ девы Марии. Наиболее ревностные приверженцы испытывают едва ли не физическое наслаждение при мысли о своем кумире, такова сила их мистического совокупления. Предположим, Тамара Моисеевна принадлежит к когорте трансцендентальных возлюбленных Марины, - поколебавшись, предположил я, - что, в таком случае,

должна означать ее любовь? Удовлетворение некоего тайного (и подавляемого) инстинкта или полутелесная-полудуховная близость, выражающая неизвестно что?

В том, что стихи Цветаевой в этой истории играли роль незначительную, а, может быть, и вовсе никакой, я уже почти не сомневался. За две лекции о Цветаевой я не услышал от Тамары Моисеевны ни одной цитаты, ни одного, выдаваемого ею за самое любимое, стихотворения. Ее разглагольствования сводились к мелким житейским подробностям знаменитой поездки в Малороссию, касались трудностей (и прелестей) здешнего быта или имели отношение к половому сожителю двух поэтесс. Эта немолодая, в седоватых усиках в углах морщинистостью своей напоминавшего затягивающуюся ранку рта некрасивая женщина, несмотря ни на что, упорно и настойчиво совершала обряд поклонения. И я снова и снова терялся в догадках, в чем же его причина и каковы последствия этой странной любви?

Не лучшим образом обстояли дела и с Зоей Павловной.

Домой после лекции мы возвращались опять вместе. Дорогой молчали, пробираясь в темноте по сухим тропинкам опустевшего лесопарка. В воздухе стоял тонкий запах сосновой смолы, и когда мы свернули в боковую аллею, впереди замигали, замелькали огоньки санаторных корпусов. Они радостно и с надеждой на благословенную ночь и счастливое утро вспыхивали в темноте между сосен, как мелкие лесные светляки, рассыпанные там и сям.

- Как в краю друидов, - пошутила Зоя Павловна, смотревшая, как и я, перед собой, словно она боялась повернуть голову и обратиться ко мне с вопросом. От смущения (или безразличия?) она не знала, о чем говорить и что ей делать. Я тоже был хорош: шел рядом с ней и молчал, как будто молчание - наиболее ценимая женщинами черта мужского характера. Я так был переполнен наблюдениями и размышлениями, что мне не хотелось ничего объяснять. Только сопутствовать и молчать. Все, что можно было рассказать, не укладывалось в привычную словесную форму, а изобретать не было ни сил, ни желания. Я и впрямь чувствовал себя древним друидом, подменяющим внятное толкование жизни бессмысленным косноязычием или же глубокомысленным молчанием.

- Расскажите лучше о себе, - засмеялся я, вдыхая всей грудью ночной воздух. - Вечер, сумерки, лес, тишина... Все способствует тайне или, по крайней мере, ее раскрытию.

- Никакой тайны нет, - улыбнулась Зоя Павловна; она бережно прижимала к груди сопящего в темноте молса; дабы он

не заплутал в ночном лесу, она взяла его на руки, и только там, кажется, Леон успокоился и присмирел.

- Обычная жизнь обычного периферийного врача, - пожалла в темноте плечами Зоя, и я понял, что ошибался, приняв ее за школьную учительницу. Такова цена всех моих пророчеств. Воображаешь Бог знает что, а на самом деле все гораздо проще и милосерднее...

- В таком случае, расскажите об обычной, - все с теми же шутливыми интонациями предложил я. Хотя, признаться, я не ждал от нее особых откровений. Просто нужно было занять время, пока мы придем каждый в свой корпус. А идти оставалось недолго. Там все и позабудется, - с привычной беззаботностью подумал я. Навалилась вечерняя усталость, и мне уже не хотелось ненужных признаний. Что они могли изменить в моей жизни? Ничего. Я чувствовал, что в Зое кроется та же огромная сила любви, что и в каждом из нас. И что здесь, в Святых Горах, эта сила была направлена на Тамару Моисеевну с ее рассказами. А заодно и на Марину Цветаеву с Софьей Парнок, какой бы странной и удивительной не была их любовь. Чувство это безгрешно и беспредметно и, в сущности, не имеет отношения ни к одной из этих женщин. Да и к мужчинам тоже, - продолжал размышлять я. - И вообще - ни к кому и ни к чему. Но только к самому себе, - сделал я парадоксальное открытие... Одним словом, в тот вечер я был полная и абсолютная пассивность. И попросил Зою Павловну рассказать о себе, чтобы тут же от нее отречься. Она клюнула на наживку, хотя и испытывала некоторые неудобства...

Из рассказа Зои Павловны выяснилось, что Харьков - «очень большой и слишком шумный город» (на лице мелькнула и растаяла так не шедшая ей гримаска мимолетного отвращения). Работает она главным врачом физкультурно-восстановительного диспансера. Получившие травму спортсмены, преимущественно борцы и боксеры, их сразу узнаешь по бычьему наклону головы и сумрачно-пристальному взгляду исподлобья, обычные граждане, волей непогоды или дорожно-транспортного происшествия получившие переломы конечностей и проходившие курс реабилитации, дети с недостатками физического развития - вот ее ежедневные капризные пациенты, заполнявшие все ее рабочее время.

Диспансер, как следовало из рассказа Зои Павловны, располагался в старом купеческом особняке, где протекала крыша и трескались от времени потолки и стены; оборудование было старое, инвентарь и реквизит - советского незатейливого

производства, и требовались кардинальные перемены и невероятные усилия, чтобы вдохнуть жизнь в умирающее лечебное учреждение.

Зоя Павловна самоотверженно боролась за возрождение своего диспансера. Воевала с начальством за каждую мелочь: за новые стулья и медицинболы – огромные такие неподъемные мячи, которые нужно бросать зачем-то из-за спины. За добавку к зарплате персоналу, улучшение материальной базы – все слова были из лексикона вошедшей в раж моей трудолюбивой и ответственной собеседницы. Я чувствовал себя виноватым, что злополучный диспансер никому в Харькове не нужен, и его вот-вот за ненадобностью или отсутствием необходимых средств закроют. Хотя, по мнению Зои Павловны, к учреждениям образования и здравоохранения нельзя подходить с мерками рентабельности и сиюминутной выгоды. Я удивлялся мужской твердости Зои, увлеченно и азартно противостоящей сонму многочисленных чиновников и недоброжелателей. Ее несокрушимой уверенности в своей победе: «все равно я заставлю их работать», - твердо сжав и без того узкие, словно они были стиснуты в невероятном физическом напряжении губы, упрямо повторяла Зоя. И в такие минуты она напоминала Тамару Моисеевну, ругавшую своего нерадивого зятя-раввина. Мне казалось, что чем выше уровень духовного наполнения, тем человек беспощаднее и злее. Я не понимал, для чего слушать музыку и читать стихи. Наслаждаться произведениями живописи и балетом, если рано или поздно становишься мизантропом. Я полагал, что искусство помогает понимать и любить жизнь. Но мне ни разу не приходило в голову, что причина любви к нему кроется в чем-то другом. И только Тамара Моисеевна и Зоя открыли мне глаза на разницу между жизнью и ее художественным воплощением, на связь между наслаждением одним и нелюбовью к другому...

Зоя Павловна рассказывала и рассуждала очень долго. Мы несколько раз останавливались под фонарем, росшим у входа в санаторный корпус, как диковинное светящееся ночное дерево. И со смехом и словами «ну еще пять минут!» снова возвращались на аллею, уводившую в сумерки, в темноту опустевшего и ставшего безжизненно-ненужным диагностического центра.

- Нет ли там случайно Тамары Моисеевны? – шутливо поинтересовался я.

- С ее толстым блокнотом и допотопным мобильником, - засмеялась Зоя.

- И вечными разговорами о господине Борухе и маленьком Элике, - смеясь, подхватил я.

Но никакой Тамары Моисеевны в безлюдном и темном помещении мы, конечно, не искали, да и не могли найти.

- Как вы думаете, что так привлекает ее в Святых Горах? Только ли Марина Цветаева? Или что-то еще, такое глубокое и интимное, что не сразу поймешь? – спросил я у Зои Павловны, когда мы в очередной раз повернули обратно.

- Это сложный вопрос, - почти дословно задумчиво повторила Зоя свой ответ двухнедельной давности. И я понял, что его сложность и уклончивость ответа заключаются в том, что и сама Зоя, какой бы простой она не казалась, разделяет с Тамарой Моисеевной те самые таинственные причины, что руководят человеческими поступками. Не бывает, чтобы человек ничего от людей не скрывал. Обычно это и есть самое сокровенное. Оно определяет мотивы и отношение человека к жизни. Но всякий раз *это* ускользает, как только ты стремишься придать ему черты видимости. Оно похоже на Время, о котором все знают, но никто его не видел и не может представить воочию.

По сути, - слушая Зою, меланхолично размышлял я, - между злосчастным никчемным раввином Борухом и Тамарой Моисеевной много общего. Оба предпочитают жить фантазиями, не замечая или же презирая реальную, повседневную жизнь. И то, что она его ругает на чем свет стоит обидными словами, является защитной реакцией. Попыткой обвинить в ничтожестве другого и обелить себя. Тут, мне кажется, и кроется ключ к разгадке характера самой Зои Павловны со всеми вытекающими последствиями...

«Как бы мы не упражнялись в догадках, - вздохнул я, - все равно правду никогда не узнаешь. Она, правда, есть тайна за семью печатями. Как лик финикийской богини Астарты, скрытый за ее покрывалом. Есть в человеке что-то такое, что не подлежит общественному жертвоприношению. Это, собственно, и есть Человек – существо, задуманное в тишине одиночества и исполненное самим Богом... Бог и есть гипербола одиночества», - с некоторым испугом по поводу внезапно пробудившегося дара прозрения, подумал я.

Невнятные идеи и смутные предположения мало походили на достоверность. С легкой душой я расстался с тяготившими меня мыслями, едва мы распрощались с Зоей до утра. Она по-дружески протянула руку, испытывая такое же облегчение. Люди не созданы для великих и глубоких истин, они их тяготят, как мысли о покойниках и загробном мире. Но в

глубине души мне казалось, что наша совместная история в будущем обязательно будет иметь продолжение. Потому что непредсказуемость и любовь к неожиданным и странным поступкам – свойства не только великих натур, но и самых обычных представителей рода человеческого.

Мои предположения получили самое неожиданное и яркое подтверждение.

Галина Афанасьевна, мой святогорский мануальный терапевт, приторговывала разного рода биологическими добавками и редкими восточными снадобьями. Она предложила мне испытать настойку на базе змеиного яда и каких-то целебных индийских трав. «Очень помогает при запущенном общем состоянии. Когда ничего конкретно не болит, но вы чувствуете себя из рук вон плохо», - объяснила она.

«Из рук вон плохо» я себя не чувствовал. Однако настроение было благодушное, и я охотно согласился на эксперимент. Месяц я пил жуткую коричневую дрянь, отдающую некачественным спиртом пополам с коноплей. Ничего плохого, однако, за этот месяц со мной не приключилось. И когда Галина Афанасьевна предложила повторить процедуру зимой – «нужно пропить два раза в год» - я согласно кивнул головой: «гулять, так гулять»... Она оставила номера своего служебного и домашнего телефонов, и в январе с сентиментально-ностальгическими чувствами я позвонил ей в Святые Горы.

«Да-да, как же, помню, - заулыбалась она в трубку, когда я назвал себя. – Разумеется, завтра же вышлю вам лекарство, какие проблемы...» На ее вопрос, как я себя чувствую, я ответил: «великолепно». Что, надо думать, несколько нарушало логику телефонного звонка и наших переговоров по поводу лекарства. Но мы же договорились, что человек – существо алогичное, и мне доставляло большое удовольствие прикидываться больным, как ей – едва ли не вторым Авиценной.

Обговорив за две минуты процедуру доставки и оплаты таинственной панацеи, мы с Галиной Афанасьевной перешли на личности. «А помните?..», «А вы были знакомы?..», - то и дело, прерывая друг друга, по очереди восклицали мы.

Разумеется, не могли обойти вниманием и такую известнейшую в Святых Горах личность, как Тамара Моисеевна Славутинская.

«У нее несчастье, - сокрушенно сообщила Галина Афанасьевна. – Да, едва только вы уехали из санатория. Это просто ужас!» – воскликнула она с неподдельным сочувствием и

нескрываемым страхом перед странными и страшными проделками судьбы.

«Что такое ужасное могло случиться? – удивился я. – Раввин Борух или Элик что-нибудь натворили?».

«Ну что вы! Она его хоть и ругала, но в глубине души сильно любила. Как и всю свою семью, которой, увы, уже нет...»

«Что значит – нет?» – не понял я, с трудом осознавая смысл сказанного.

«Очень просто, - с тихой печалью и траурными нотками в голосе произнесла Галина Афанасьевна. – В их дом в Хайфе попала арабская ракета. Знаете, они запускали еще такие самодельные ракеты с разными арабскими названиями типа «Хасан» или «Ассам», - пояснила Галина Афанасьевна. - Я не очень хорошо в этом разбираюсь, - извиняющимся тоном посетовала она и тяжело вздохнула в телефонную трубку. – Дом сложился от прямого попадания ракеты моментально, словно карточный домик. Как назло, вся семья была в сборе, - совсем тихо сказала она. – Погибли все... Не уцелел никто, даже маленький Элик. Он в это время играл у себя в комнате с трансформерами... Соседи позвонили Тамаре по мобильному. Она в это время вела лекцию...»

Минуту от этого известия я находился в полном шоке. С трудом верилось, что благополучная размеренная жизнь семьи могла вот так запросто, в одну минуту пресечься, словно вырванный с корнем внезапно налетевшим ураганом огромный цветущий дуб.

«Как она это перенесла? Вы что-нибудь знаете, жива ли она сама?» - взволнованно и сумбурно бормотал я в телефонную трубку, как будто это я потерял семью и всех своих родственников. Оказывается, я искренно и горячо полюбил эту неугомонную, брюзгливую старушку, и душа у меня разрывалась от горя.

«Жива ли она? - почти кричал я в трубку. – Скажите же что-нибудь!»

«Жива, жива, - успокоительно прошелестел в телефонной трубке смягчившийся голос Галины Афанасьевны. – Она сразу уехала в Израиль. А через месяц опять объявилась в Святых Горах... Так что не переживайте, - с медицинскими успокаивающими интонациями заговорила Галина Афанасьевна. – Снова читает лекции о Цветаевой и Парнок. Как будто ничего не случилось... Очень мужественная женщина», - одобрительно

произнесла она, очевидно, заранее приготовленную и часто повторяемую, когда дело касалось Тамары Моисеевны, фразу.

Я остолбенел. В ситуации, когда рушится человеческая жизнь, лекции об искусстве явно неуместны.

Галина Афанасьевна продолжала ахать и охать в телефонную трубку – женщинам только дай поговорить о чужом горе, – и, казалось, совсем забыла обо мне.

«А Зоя... Что слышно о Зое Павловне? – перебил я, слушая, как поток сознания уводит мою собеседницу все дальше. – О Зое вы что-нибудь знаете?»

На том конце провода запнулись, как будто перекрыли кран с неистово и шумно выливавшейся из него водой.

«Вообще-то да, - подумав, неуверенно ответил голос Галины Афанасьевны. – Боюсь, что вам будет неприятно. Неприятно услышать, - робко уточнила она и тяжело вздохнула. – Дело в том... Короче, - набравшись духу, быстро и смело закончила она, - Зоя Павловна... У Зои Павловны... Ее сбила машина, когда она перебежала дорогу возле санатория, - вы же знаете, какое там интенсивное движение. Водители просто не обращают внимания на пешеходов, - тараторила Галина Афанасьевна, словно это она была виновата, что в Святых Горах невозможно пересечь дорогу без риска для жизни. Или что жизнь человека брэнна и подвержена разным напастям, каким бы тихим и скромным нравом они не обладали. И что вообще все в мире не случайно и имеет свою логику – но это уже я додумывал потом, когда мы с Галиной Афанасьевной попрощались и пожелали друг другу здоровья и предсказуемости...»

От Галины Афанасьевны я узнал, что травмы, полученные Зоей в результате наезда автомобиля, были хоть и тяжелые, но совместимые с жизнью. Она возвращалась в санаторий от любовника-торгаша, и мчавшаяся в сторону моста через Донец темно-вишневая «Мазда» только зацепила ее краем бампера. Сломаны были два ребра, нанесены тяжелые ушибы, сотрясение мозга...

Выслушав успокоившие меня подробности, я с облегчением вздохнул, а вскоре и вовсе позабыл в повседневных делах и Зою, и Тамару Моисеевну. Лишь изредка невзначай припомнится мне давнее святогорское лето, неугомонный пес Леон, затяжные цветаевские лекции Славутинской и Зоя Павловна с ее смутной, все понимающей улыбкой. Но я сразу же меняю тему воспоминаний, чтобы не испытывать ненужных сожалений...

Вот, собственно, и все. Как хорошо, что эта история уже в прошлом. И о событиях тех лет можно рассказывать спокойно, с легкой усмешкой, как старый, но все еще свежий анекдот...

17 января 2010 г.



Борис Сусливич

Три рассказа

Разговор



Мальчик закрыл дверь и побежал вниз по лестнице. Можно было не спешить: до первого урока оставалось почти полчаса, а он доходил до школы за двадцать минут. Но сегодня был последний день перед каникулами, и ноги сами несли вперёд. Он слетел с третьего этажа, пересёк двор и зашагал по улице. Утро было свежее, весёлое. Радость так и рвалась наружу. Глядя вокруг, хотелось петь. Или хотя бы идти вприпрыжку.

Впереди ещё кто-то шёл, медленно и грузно. Лишь поравнявшись, мальчик сообразил, что это сосед из квартиры напротив. Он поздоровался и чуть ускорил шаг, надеясь проскочить вперёд.

– Доброе утро, – неожиданно заговорил тот. – В школу опаздываешь?

– Нет, успеваю, – пришлось идти медленней, в такт походке взрослого. – Будет мало уроков. Завтра каникулы.

– Это же не настоящие каникулы. Так, перекус на неделю. Любишь учиться?

– Люблю... И уроки, и перемены. А больше всего – каникулы.

– Ты в каком классе? В шестом?

– В пятом. Летом в шестой перейду

– Всё равно, полдороги уже прошёл. Осталось всего ничего. Пять годиков прошмыгнут – и не заметишь.

– Как это: пять лет не замечу? Это же ужас как много времени.

– Ничего ужасного. По-твоему, год – это много?

– Конечно. И месяц – много. А за год столько всего бывает...

– Зачем всё помнить? Мало ли всяких глупостей... Ну, давай прощаться. Вон твоя школа.

– Так я побежал?

– Беги. Учись, как следует. Может, пригодится, - взрослый едва сдерживал улыбку. Повернув налево, к заводу, на мгновение оглянулся: мальчишка уже зашёл в школьный двор. Он с усилием вернулся к своим пятидесяти трём, одышке и болячкам. Привычная дорога на работу показалась дорогой в никуда. Или так оно и есть? Просто думать «о всяких глупостях» некогда. Да и незачем. Жизнь и так пройдёт. Пробежит.

Соседи продолжали жить на одной лестничной площадке. Младший вырос, отучился, начал работать. Старший совсем состарился – и умер. Больше они не беседовали. Не хватило времени.

Январь 2012

Встреча

– Алина Аркадьевна, за что единица?

– Честно заработал, Петенька. Синус с косинусом перепутал? Перепутал. Когда я новый материал объясняла, ворон за окнами считал? Считал. Так что до двойки недотянул. Там в дневнике всё написано, можешь почитать. Пусть мать приходит. Так и передай: жду не дождусь. Всё, свободен.

Ученик вышел, грустный и подавленный. Конечно, он привык к выволочкам. Но математичка так с ним ещё не разговаривала. Самая молодая училка в школе. Было обидно: никаких ворон он не считал. Просто смотрел на неё. Смотрел, а не слушал.

Алина была недовольна собой. Вдруг захотелось курить. Странно: она бросила ещё на последнем курсе, почти два года назад. Ну вот, наехала на мальчика. Туповат, конечно, но ведь можно было иначе объяснить. Ласковой. А всё потому, что дурацкий токсикоз замучил. Уже восьмая неделя, нужно немедленно что-то решать.

«Что-то» означало аборт. Сегодня утром, перед уроками, опять встретила Олега: их классы были рядом. «Алинка, когда увидимся? – быстро спросил он. – Соскучился, честное слово». Она молча прошла мимо. Папаша. Спать с ним было, пожалуй, приятно. Но рожать от этого племенного бугая? К тому же перед их первой встречей, которую девушка про себя именовала «случкой», он зачем-то уточнил, что она ему «дико нравится как дополнение к семейной жизни». «Вот сучок», – Алину передёрнуло. Впрочем, в постели примерный семьянин оказался «на уровне» – и его болтовню захотелось забыть. Встречи продолжались. И всего-то один раз она не взяла с собой пилюли. Когда Олежек на большой перемене сказал, что сегодня квартира

друга свободна, машинально кивнула. Понадеялась, что пронесёт, кретинка. Вот и получила.

Положение было однозначно-безвыходное. И всё равно казалось, что этого незадачливого человечка, затесавшегося внутрь, можно как-то спасти. До позавчерашнего разговора с матерью.

– На меня не надейся, – мама говорила почти враждебно.

– Ты что, не хочешь внука?

– Ещё как хочу! Но не байстрюка. Вот телефон хорошего врача. Позвони и договорись.

Она послушно взяла бумажку. Потом, проверяя тетрадки, всё время повторяла про себя обычный, ничем не примечательный номер. Как приговор.

На следующее утро позвонила. Врач был немногословен:

«Да, я в курсе. Какой срок?» Она ответила. «Так тянуть нечего. Вы окончательно решили?» Алина проямлила что-то утвердительное. «Приезжайте завтра днём. Спросите меня». Оставалось только положить трубку.

Она ехала в троллейбусе и старалась не думать. Так проще. Уставиться в окно – и не видеть ничего, кроме своего дрожащего отражения. «Привет! Ты что, не узнаёшь меня?» Алина не сразу поняла, что к ней обращаются. «Ой, Рома, извини. Просто задумалась». Они пару раз встречались у её школьной подруги. Роман, как и Рита, был пианистом. Алина даже где-то читала о нём, как о подающем надежды. Впрочем, музыка – при отсутствии музыкального слуха – её никогда не интересовала.

– Как дела, Алинка? – почему-то показалось, что вопрос был не только данью вежливости.

– Да ничего, живу себе. А ты?

– Женился вот. Третья неделя пошла.

– Да, Ритка говорила. Жена музыкантша?

– Что ты? Нет, конечно. У кого-то в семье должна быть серьёзная профессия.

– Неужели учительница?

– Ну, не настолько серьёзная, – Роман засмеялся. – Клара строитель.

– И какие успехи в семейном строительстве? – Алина поймала себя на том, что настроение изменилось: даже пошутить захотелось.

– Сплошной медовый месяц: дуэт для скрипки и альта. Есть такое классное стихотворение. Бывай, Алинка. Ритуле привет, – он махнул рукой и вышел.

«А моя остановка – через одну», – Алина провожала Рому глазами, пока его лёгкая, вёрткая фигура не скрылась за углом. Троллейбус тронулся, быстро набирая скорость. «От него бы я родила, – подумалось почему-то. – Что бы там мама ни говорила. Ладно, проехали».

Январь 2012

Только один день

Эстакада казалась бесконечной. Как будто её длина увеличивалась с каждым порывом ветра, продувавшим идущих по ней людей насквозь. Утром этот десятиминутный переход заряжал энергией, а вечером, после изнурительной смены, забирал все силы. Ещё один, последний поворот. За проходной тот же тридцатиградусный мороз, но хоть без ветра. По винтовой лестнице они взобрались на третий этаж, открыли дверь вычислительного центра – и наконец-то оказались в тепле.

Система работала круглосуточно. Из окон был отлично виден стальной поток, разделяющийся на несколько ручейков. Каждый ручей несколько раз в минуту разрезался на аккуратные слитки. Красиво, чёрт возьми! Прямо Япония посреди грязного среднесибирского города. Или, на худой конец, Европа, откуда они прилетели почти месяц назад – и куда завтра возвращаются. Если не будет никаких ЧП, вроде небольшой аварии, которая неделю назад стоила цеху нескольких тонн стали, а им – бессонной ночи. В результате выяснилось, что система защиты была отключена: оператор дважды подряд нажал не ту кнопку. Он был трезв: просто перепутал. Теперь, после введения драконовских мер предосторожности, отключить систему можно было, только вырубив в цеху напряжение. Впрочем, на этот случай имелся генератор. «На моих ребят не надейтесь, – повторял мастер почти на каждой утренней планёрке, – они же не ангелы». Хотя пьяных в цеху они не видели. Ни разу.

Программистов было четверо, и трудились они двумя связками: мужик с мужиком, баба с бабой. Как шутил Илья, чтоб не было ни матриархата, ни патриархата. Хотя и с Ирой, и с Галочкой он работал больше десяти лет – и понимал их с полуслова, а чаще без слов. Семён присоединился позже, всего-то три года назад, когда их отделы слили в один.

Вскоре пришёл мастер. «Ну, ребята, молодцы, – он был доволен, что бывало редко. – Ночью проблем не было. Сегодня отпущу вас пораньше, отдохнёте перед самолётом».

Они разошлись по своим местам и занялись спокойной, рутинной проверкой работающей системы. Никуда не надо было

спешить, никто не стоял над душой – они от этого сонного ритма почти отвыкли.

До обеда оставалось всего несколько минут, когда мастер появился вновь. Он пришёл с Костей – заводским программистом, который должен был вести систему после их отъезда. И выглядел как обычно – озабоченным. «Отвлекитесь на минутку», – в голосе была предупредительная интонация, не сулившая ничего хорошего. Когда вся четвёрка стояла рядом, он сообщил, что при подготовке к новой плавке – с особой, редко используемой маркой стали – их тестовая система дала сбой: температура осталась выше максимально допустимой. Плавка ожидалась через неделю, поэтому кто-то должен сдать билет и остаться. Либо попытаться всё наладить сегодня. Все смотрели на Семёна: за систему охлаждения отвечал он. А Семён, не скрывая удивления, усталился на Костю: тот ещё на прошлой неделе должен был сделать все тесты. «Костя в твоём распоряжении, Семён. Он сожалеет, что отложил проверку на сегодня». «Сергей Николаевич, я сразу приступлю, – Семён выглядел пришибленным. – Костя, через полчаса будь здесь. Без опозданий». «Будет, как штык. Приятного аппетита!» – мастер вышел из зала. Костя чуть замешкался – и побежал за ним.

«Сеня, может, кому-то из нас тоже стоит задержаться?» – Ира никогда не разделяла проблемы на «свои» и «чужие». «Спасибо, Ириша, – Семён уже успокоился. – Если что, сразу дам знать. Пошли: жрать хочется».

В столовой было привычное, достаточно разнообразное меню: кормили здесь вкусно. Завод в последние годы зарабатывал, продавая сталь и чугун, немалые денежки – и мог позволить себе многое помимо нескольких мясных блюд на обед. Семён ел в меру прожаренный шницель и думал, что заходить в столовую ещё хотя бы раз нет ни малейшего желания. «Сеня, ты не расстраивайся так, – Илья тоже чувствовал себя не в своей тарелке. – Костик, конечно, козёл: так подставить в последний момент. Ну, так придётся ещё несколько дней поторчать здесь. Инне я сразу позвоню, когда прилетим». «И скажешь, что её муж шлимазл*, который поленился проверить одного сибирского валенка? Так, что ли?» – Семен уже улыбался. Разговаривать с Ильёй вне работы и оставаться серьёзным было трудно. – «Ну, примерно. Без шлимазла, конечно. Сама добавит, если захочет».

Когда они вернулись, Костя уже ждал: видимо, мастер ещё раз намылил ему шею. Они спустились на второй этаж и оказались в Костиной каморке. После просторного вычислительного центра она выглядела особенно тесной. Хотя для

одного места вполне хватало. Семён пристроился на узком стуле, стоявшем в углу. «Тесты у тебя где? Давай сюда!» Костя достал из ящика свёрнутую в трубку распечатку, которую Семён тут же начал изучать. Сомнений не было: ошибка, явная ошибка – он уже догадывался, где она может сидеть.

– А остальные тесты? Их же пять...

– Да я думал, что продолжать нет смысла.

– Сделаешь сейчас же. Двух часов хватит?

– Вряд ли...

– Так ты постарайся... Чтоб нам всю ночь в цеху не торчать. Который час? Без четверти два. В четыре я у тебя. Или нет: всё принесёшь мне. Как раз у тебя будут лишние десять минут, чтоб к печаталке прогуляться.

Костя кивнул, а Семён побежал к себе.

– Ну что, Сенечка? – первой вопрос задала Галя.

– Большой скорее мёртв, чем жив.

– Что советует медицина? – подключилась Ира.

– Непрямой массаж кода.

Они посмеялись.

– Этот охламон хоть все тесты сделал? – Ира привыкла сразу брать быка за рога.

– Нет, конечно. Я его уже запряг. Через два часа в клювике принесёт.

– Правильно. Уже что-то наклёвывается?

– Вроде да. Сейчас проверю подозрительные места.

– Сеня, когда что-то найдёшь, пройди по цепочке вверх.

Для всех вариантов.

– Да, Ира, ты права. Как всегда.

«Ирка – гений, – говорил Илья. – С такой головой могла бы отделом руководить. Не будь душой». Ирина «глупость» была в том, что она ни в какую не желала «выбиваться» в начальство. Предпочитала командовать своей семьёй: в 43 уже была бабушкой.

Вот и сейчас в двух предложениях была описана вся прелесть его ситуации: нужно перелопатить хороший кусок программы в нескольких направлениях. И на всё – восемь часов. Или отложить возвращение домой.

Семён вновь прочитал Костину распечатку. Медленно и внимательно. Ещё одно место выглядело подозрительно, сгоряча он не обратил внимания. Оба участка пересекались только в одной функции. Неужели проблема в ней?

Он вошёл в систему. Функция выглядела безукоризненно. Пошёл «по цепочке вверх». «Второй этаж» тоже не вызывал

подозрений. Поднялся ещё выше. Здесь уже шли сами формулы. Он весь ушёл в эти сухие, короткие строки, плыл по ним, как рыба по быстрой реке. И тут его вытолкнуло на берег, он затылком почувствовал удар и острую нехватку воздуха. Что это? Семён уже минуту смотрел на одну и ту же строку. Конечно: этот коэффициент мог вычисляться неверно для экспериментальных марок стали. Глаза сами побежали вперёд. Та же ошибка встречалась ещё дважды. Начал исправлять – и остановился. «Прежде, чем что-либо писать, лучше выйти в туалет, – говорил в таких случаях Илья. – Процесс помогает сосредоточиться». Выходить не стал, а недостающую функцию написал минут за десять. Вскоре программа была готова. Где же Костя? Он схватил телефон. На десятом, что ли, гудке услышал: «Был сбой, сейчас только напечаталось. Уже бегу». «Заливает, мать его», – Семён положил трубку.

«Вот результаты», – Костя улыбался, был опять доволен собой и жизнью. Естественно, ему же не грозит торчать лишние дни в чужом городе. Так, посмотрим. Для трёх тестов всё было именно так, как он предполагал. Только последний результат выглядел странно. Семён посмотрел на входные данные. Что за бред?

– Костя, какая здесь марка стали?

– Ох ты, ёксель-моксель, – Костя даже покраснел, – прости, Сеня, забыл изменить. Я сейчас переделаю. Пять минут.

– Нет смысла. Сделаем для новой версии.

– Да это же часа два для каждого теста. Как минимум. Умножь на пять.

– А нас двое. Шести часов должно хватить. Иди, я тебя сейчас догоню.

Илья и девочки уже собрались уходить.

– Сеня, какие новости? Летим вместе? Или тебе тут нравится?

– Вместе, Илюша. Если я вам до сих пор не надоел.

– А мы потерпим. Ты только приходи поскорее, – казалось, Ира покидает рабочее место с сожалением: будто месячной вахты не было.

– Слушаюсь, товарищ генерал, – Семён говорил уже на ходу. – Пока.

Костя был не один: на стуле в углу сидел мастер. Семён остановился в дверях: для троих места никак не хватало. «Ну, билет сдал? Или всё никак не решишься?» «Решился, Сергей Николаевич. Лечу завтра. Со всеми». «Ты шутишь? Костя сказал мне о новой версии. Так её же проверить надо». «Вот мы сейчас

этим и займётся. Если хоть один тест свалится, остаюсь». «Не возражаю. Сколько времени тебе надо? Я же ночевать в цеху не собираюсь». «А мы переночуем. Каждому по три стула: чем не кровать?» Мастер засмеялся: «Ну, что ж, мне твой оптимизм нравится. Трудитесь». Он вышел, и Семён тут же занял освободившийся стульчик. «Делаем так: нечётные тесты – ты, чётные – я. И проверяем друг друга на каждом шаге. Поехали».

К десяти часам четыре теста были пройдены. Подготовку последнего разделили примерно пополам. Работы оставалось на несколько минут, когда в цеху погас свет. Семён успел сохранить свой кусок на диске. А Костя потерял всё, что внёс за последний час. «Твою мать, – орал он по телефону, – везёт, как утопленнику». Семён промолчал. Как только заработал генератор, добились и последнюю проверку. Больше неожиданностей не было.

Они почти бегом шли по эстакаде. Ночью мороз ещё усилился, было, наверное, под сорок.

– А ты молодец, Сенька. Дал копоты, – Костя был серьёзен и даже грустен.

– Домой захочешь – дашь. В автобусе поговорим, Костя. На этом ветрюгане не тянет.

Вокруг была кромешная темень, фонари не работали. «Ну и славно», – подумал Семён. Он вспомнил, как пару дней назад утром на этом же месте повернулся спиной, переживая зверский порыв ветра – и увидел четыре трубы, стоящие примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. «Дети разных заводов» активно выбрасывали в воздух густой разноцветный дым. Захотелось нацепить респиратор, которого не было. Или просто не дышать. Он тогда сплюнул – и зашагал быстрее.

До остановки оставалось метров двенадцать: нужно было только перейти дорогу, освещённую первым горящим фонарём. Внезапно из-за угла вылетел ярко-красный фургон и, не снижая скорости, понёсся прямо на них. Они отскочили в сторону. Семён успел разглядеть лицо водителя: тот смотрел прямо перед собой, не реагируя ни на что вокруг. Похоже, он их просто не видел.

– Ах ты, падла, – Костя тряс кулаком вслед уже скрывшемуся автомобилю. – Чуть не наехал.

– Пьяный, что ли? – Семён почувствовал дрожь в пальцах. Что-то чудовищно-нелепое просвистело рядом.

– А как же... Давил бы таких тварей.

– Пока что они нас давят. Костя, ты женат? – Семён поймал себя на мысли, что они ещё ни разу не говорили. Только о работе.

– Естественно... Дочке год.

– А моей полтора.
– Так вот к кому ты спешишь. Понятно.
Подошёл автобус. Последний. Следующий был уже
утром.

Январь – май 2012



Владимир Крastoшевский

Два этюда

Диалектик и барышня Фантазия на темы Марка Шагала



ний отдыхал. Он сегодня потрудился, впрочем, как и во все предыдущие дни. Вела ли его в трудах фантазия, или существовал какой-то план – никто не может этого знать. Да это и неважно. Все, что случилось, могло быть легко отнесено к естественным событиям. Оживший внезапно вулкан на острове Борнео; пятикилограммовый гриб, найденный в прошлую субботу жительницей деревни Выхово, что под Могилевом; слегка озадаченный каирский мусорщик, жена которого родила ему одновременно двух чудных девочек и такого же чудного мальчика, - кому пришло бы в голову связать эти события с чьей-то мрачной или веселой фантазией? Никому. Тем более, что самому Гению понятия славы и авторского права были совершенно незнакомы.

Был он сегодня с утра занят вопросами воздухоплавания, и кое-что в этом направлении совершил. Возможно, он даже гордился бы этим актом, как одним из самых изяшных своих творений, если бы знал, что такое «гордиться». Он не гордился, он просто отдыхал.

В этом месте автор намерен слегка изменить направление рассказа, и просит принять, как данность, утверждение, что настоящий диалектик, даже если он парит над землей, всегда обнаружит связь между явлениями.

Взявшись за руки, двое летели не быстро и не высоко, где-то на уровне пятого этажа. Они догадывались, что с земли их не было видно, и это, как ни странно, не казалось им удивительным или чем-то необычным. Диалектик подумал: человек - приспособленец по натуре своей, до чего же легко он привыкает к новым жизненным обстоятельствам! Вот ходили по земле, смотрели себе под ноги, лишь изредка поднимая глаза к небу, чтобы проверить, не собирается ли дождь. И вот, пожалуйста! Свободно оторвавшись от земли и почувствовав в первый момент

легкое головокружение, они затем почти обыденно продолжали этот полет.

Он вспомнил какую-то старую историю о том, как один человек, приглашенный в дом богатого и просвещенного вельможи, встретил там женщину, которая поразила его своей красотой, умом и замечательной музыкальностью. Разговаривать о пустом с ней было стыдно, но пустых разговоров и не было. Ее речь выдавала в ней человека образованного, тонкого, и, пожалуй, остроумного. Она прекрасно играла на клавикордах, ее необыкновенного тембра голос проникал в самую душу и будил в нем давно забытые и смешные чувства.

Прошло время. Дела и личные обстоятельства заставили его уехать из города в деревню - и он забыл эту женщину.

Очередной поворот судьбы вернул его в город, где он раньше жил. Однажды он ехал в карете по улице и догнал двух простолудинок-прачек. Они несли тяжелые корзины с бельем. Обогнав их, он почему-то обернулся, и лицо одной из них показалось ему знакомым. Это была ОНА, он узнал ее по родинке на левой щеке. Часто потом эта картина возникала у него в памяти, и он никак не мог объяснить метаморфозу, случившуюся с этой женщиной.

Время шло, он опять забыл о ней. Через три или четыре года в город, где он продолжал жить, приехал театр. После первых представлений разнеслись слухи о талантливой актрисе, прима этого театра. Народ повалил на спектакли. Пошел и он. Читатель, конечно, уже догадался, что замечательной актрисой оказалась ОНА.

Диалектик не помнил точно, каким образом открылась история жизни этой необыкновенной женщины из легенды – познакомился ли тот человек с актрисой, или кто-то рассказал ему подробности, - но все оказалось и обыденно, и драматично. Она была фавориткой того самого вельможи, в доме которого блистала. Потом связь почему-то расстроилась, а может быть, вельможа разорился, и она, не имея средств к существованию, опустилась на несколько ступеней по жизненной лестнице. Следующий поворот судьбы, как уже понятно, был связан с театром, где оценили ее незаурядные таланты.

Диалектик, как человек, имеющий склонность к незамысловатому философствованию, тут же приспособил всплывшую в памяти историю к своему полету и к тому чувству, что никаких особых чувств полет у него уже не вызывал. И тут же мысленно закруглил эту философскую конструкцию, как любят делать люди благоразумные и положительные, повторив про себя

сентенцию о том, как быстро, почти мгновенно, человек приспособляется к сюрпризам, которые подбрасывает жизнь. И еще он подумал о том, как правильно и гибко устроено наше сознание, ибо, если бы было иначе, человек терял бы себя на любой жизненной ухабе, или, просто говоря, сходил с ума.

Впрочем, полет продолжался, и его спутница, женщина молодая и чувствительная, сумела обнаружить в пикантном приключении свежие впечатления для своей художественной натуры. Теперь она думала о том, как сохранить их в душе, не расплескать. Так часто бывало раньше, в ранней молодости: хороший фильм или удачные страницы романа снимали какую-то корочку, нарастающую внутри, освежались чувства, и обострялось зрение. Так случалось, что закрыв книгу или выйдя из кинотеатра по окончании сеанса, она вдруг остро и немного отстраненно впускала в себя как будто умытый и освеженный окружающий мир. Хотелось любить, хотелось жить как-то искреннее, полезнее что ли. И очень, ну, очень хотелось запечатлеть это чудное мгновение в картине или в стихах. Бывало именно мгновение, такая вспышка просветления, и если не удавалось сразу же излить впечатления на бумаге или изобразить на полотне, они остывали, блекли и уходили, как сон, который забывается через минуты после пробуждения.

Город кончился, и теперь они летели над какими-то оврагами, над редкими и жалкими рошицами. Кое-где под ними проплывали зеркальные чаши водоемов. По берегам, у кромки воды иногда попадались какие-то строения, но в густеющем вечернем воздухе трудно было разобрать, дома это или сараи. Живого света из окон нигде не было видно, Впрочем, это почему-то не удивляло их, как не удивляло и то, что не попадались больше ни поселки, ни деревни. Они парили, держась за руки, и каждый думал о своем. В какой-то момент искра тревоги пробила их одновременно, они вздрогнули и взглянули друг на друга. Что это было? Догадка пронзила ли их, предчувствие ли были им спущено – на мгновение стало зябко и страшно. Это не длилось долго, тревога ушла, и путешествие, если его можно так назвать, продолжалось.

В воздухе был разлит какой-то легкий, но необычный запах. Диалектик, увлеченный в последнее время модным поветрием – эфирными маслами, вызывал в памяти знакомые ему ароматы и пытался сопоставить с нынешним. Не сопоставлялось. Откуда-то – Бог весть! - выплыло слово «первобытный». Первобытный запах. Он понимал, что нашел странное определение тому, что чувствовали рецепторы носа, но слово

почему-то легко вписалось в ощущения. Возможно, так пах папоротниковый лес, в котором водились птеродактили.

И звук! Иногда до их слуха доносился звук, напоминающий нежное позвякивание полотна ручной пилы, если его сгибать и разгибать. Что ж, нужно признать, что оформление этого полета, как если бы это был спектакль, было сделано с большим вкусом.

Спектакль без зрителей – что может быть печальней.

Вошла луна. На невысоком холме стоял Гений и наблюдал полет двух людей. Бывших людей. Он не вернет их на землю. Почему он выбрал этих двоих, зачем снабдил их способностью к парению? Я, рассказчик, не знаю, и спросить не у кого. Может быть, это был каприз Гения, а быть может, холодно задуманный и безжалостно исполненный эксперимент.

Впрочем, это наша человеческая смешная привычка - наделять Гения человеческими же свойствами: любовью, состраданием, желанием наказать или поощрить. Мы, люди, верим и не верим одновременно, что наш видимый и осязаемый мир – это единственная реальность.

Мы верим во всемогущество науки и одновременно верим в сказки, даже если убеждаем себя и других, что не верим в них.

Автор в детстве летал во сне и сожалеет, что больше эти сны к нему не приходят.

Этюд номер пять

Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса. То, что я увидел, мне не понравилось. Тучи, набухшие влагой, смотрели грозно. Темные вертикальные полосы на горизонте, воронье, молча носившееся кругами, не оставляли надежды на то, что ненастье пройдет стороной.

Я едва успел распрячь своего верного Нисана - он еще пофыркивал добродушно, остывая - как грянул ливень с молниями. Нет никакой возможности адекватно описать грозу после того, как это сделал Петр Ильич с помощью двух литавр и трех мрачных подсурдиненных тромбонов. Кстати, на той знаменитой премьере в Дворянском Собрании я сидел третьим во вторых скрипках. Музыка сводит меня с ума. Звучание большого мажорного септаккорда мне милее стрекота кузнечиков и свиста иволги. Я знаю, мой вкус могут назвать пошлым, но рукотворная гармония пьянит меня, как пунш на дружеской пирушке. Соловей вызывает во мне лишь приступ ипохондрии.

Сейчас или никогда, - запирая ставни, подумал я. Темны речи, странны лица, нотный стан, как стан девицы, - подумал я. "Тьмою здесь все занавешено, и тишина, как на дне..."

Бумага разложена, карандаши заточены, но нет, включу-ка я лучше алгебраическую машину. 1,0,1,1,0,1 – это же песня, вернее, ее припев, - подумал я. Программа Finale-2002 – в действии. Хвостики, крючочки, палочки и точки. Лес хвостиков, модная лавка крючочков, точки и кружочки. Это красиво, как полет Уточкина.

Никогда еще мне не работалось так легко. Сначала из тьмы выплыла идея. Она не имела четких контуров, но форма угадывалась. Хотелось чего-то нежного, отчасти неуловимого, слегка щемящего. Си минор представился мне. Восходящие секвенции, как бесы окружали меня со всех сторон. Лавируя между ними со сноровкой, приобретенной многолетней практикой, я вырулил на хорошенькую фразу, которая показалась мне свежей. Только бы не замучить ее, тогда утром я пойму, верно ли было первое впечатление. Гармония пришла сама и поначалу радовала меня, пока я не выловил отклонение в ля минор. Бесы, бесы, - огорчился я. Всегда толкают на наторенную дорожку, соблазняют якобы красивым ходом. Сколько раз я уже оказывался слаб? Два, три? Это становится неприличным. Прочь от заколдованного места.

Основная тема набросана, с кодой – вот еще один камень преткновения – повоюю в следующий раз, а пока – два-три варианта про запас. Замес для подголоска в сексту, квинту и октаву, разберемся. Три, два, один, ноль, запускаю player, цифровое чудо, - Александру Николаевичу очень бы понравился для его цепных гармоний. Так, третий такт подправить, кода нехороша, но потом, потом. Можно приглашать Ипполита Михайловича, Сереньку и, пожалуй, Дуняшу позову. Она хоть и из дворовых, но востра, чертовка.

Гроза, между тем, закончилась. Я распахнул окно. Воздух пах фиалками и еще какой-то дрянью. В душе пели виолончели: виа – ля –ля – ре – до. Какая странная и дивная картина, пылинка я, приставшая ко дну. Земля, в лучах Вселенной утонув, то бирюзой зальется, то кармином.

Живем, господа.



Владимир Савич

«Табуретка Мира»

Роман в рассказах
Предисловие Ирины Бузько

Предисловие

Прогулки по оси времен

*(занудно-философское эссе о В.Савиче
и его "Бульваре Ностальгия")*



...можно, конечно, разобрать все рассказы по очереди, благо я обещала написать нудно, и обещание свое сдержу. Но стоит ли? Не лучше ли наоборот, попробовать распределить эти рассказы на какие-то категории?

Например, по содержанию (оно же - сюжет, оно же фабула) рассказы распадаются на такие нечеткие подмножества: воспоминания юности, рассказы о "случае из жизни", рассказы о какой-то интересной персоне, истории из эмигрантского быта, и просто выдуманные сюжетики.

Почему нечеткие? Потому что один и тот же рассказ может входить более чем в одно подмножество, плавно переползая из категории лирических воспоминаний в категорию сатиры из жизни эмигрантов ("Мои маршруты", "Как я в кино снимался", "Недоразумение", и др.) и обратно.

Рассказы населены пестрым и разнообразным народом: тут и совковые делеги ("Бригада", "Завхоз"), и потерянные личности ("Моралисты", "Тулупчик Самсонова"), и колоритные бабули ("Нерпа", "Иголка"), и гротескные совслужащие, и забеганные озабоченные эмигранты ("Охотник за гонорарами", "Перестраховщик", "Мост", "Пора, пора, порадуемся..."), и томные педерасты ("Персик", "Сауна"), и патлатые неприкаянные лабухи 70-х годов ("Факино", "Невоплощенная мечта", "Я приглашу на танец память", "Барабанщик Усикум"), и фарцовщики ("Черная суббота", "Аббатская дорога") и собратья по

перу ("Конкурсная трагедия", "Автор и Муза", "Перестраховщик") и низколобые унтеры-милиционеры (Длинный петляющий путь), и вполне добропорядочные отцы семейства, и странные личности не от мира сего (Милочка, Андрюша, Голубков из "Не милости прошу") и кого только нет - настоящая энциклопедия советской и эмигрантской жизни...

Есть еще одна интересная категория - рассказы, где в центре повествования - некий предмет. Неодушевленный, но как бы и не совсем неодушевленный. Таковы, к примеру, "Фиолетовый глаз", "Табуретка", "Колеса судьбы", "Встреча", "Старик и дерево", "Осенняя история". А в "Тулупчике Самсонова" обтерханная душегрейка жутковато-уморительного не то Плюшкина, не то диккенсовского Феджина среди захламленной квартиры, с его треснутыми чашками - просто пародийная реинкарнация гоголевской "Шинели" навыворот: не у Акакия Акакиевича украли заветную его шинель, а он сам спер мечту своей жизни у кого-то...

Есть в этом что-то андерсеновское - читатель проникается грустной жалостью то к влюбленному листику, то к заброшенному цветку, то к старому пианино - и даже гоголевское, когда музыкальная колонка ("Колеса судьбы") вырастает до размеров карающих мельниц Божьих и берedit совесть человека, поддавшегося зависти, и не дает забыться.

Читая это собрание недлинных и пестрых рассказиков, сначала воспринимаешь их как череду отдельных историй, случаев и ситуаций, иногда грустных, чаще - смешных и нелепых.

Но от рассказа к рассказу перед читателем встает портрет поколения, горизонтальный срез общества, возникают зримые картины тех лет, типы и персонажи, гримасы советских перекосов и перегибов, судороги "дефицита", уловки маленького человека перед бездушной машиной бюрократии, томления молодости, приметы и детали времени. В последнем на сей момент рассказе - "Андрюша-регулировщик" - картина жизни уездного города близка к "Истории одного города" с ее чередой безумных градоначальников, несчастных и ничтожных жителей и разных городских сумасшедших...

За стоящими на первом плане историями существуют и второй, и третий планы - атмосфера и настроение, а еще глубже - размышления о Судьбе и о месте в жизни. Каковы размышления, впрочем, лишены всякой риторики и патетики - ярким примером тут служит заглавный рассказ "Бульвар Ностальгия".

Еще одна немаловажная (а то и определяющая) характеристика Литературы - язык. *Без своеобразного стиля нет*

автора как писателя, придумай он хоть сотню остросюжетных историй про глубокие колодцы в темно-кудрявых лесах (чистейший фрейдизм, между прочим). Но если они изложены шершавым газетным языком - анекдоты останутся анекдотами, а сюжет сведется к перечню событий и примитивной навязанной морали.

Савича тайн и кладов нет, как нет и мутной воды для психоаналитика, а вот такой неповторимый стиль *есть*, хотя это становится опять-таки понятно только после прочтения не одного рассказа, а нескольких (в идеале, конечно, всех).

Охарактеризовать стиль Савича сложно - поначалу язык даже кажется каким-то не совсем правильным, и уж точно не гладким. Предложения вывернуты, как фигуры на гравюрах Оноре Домье, но в обоих случаях эта вывернутость-то и придает движение и динамику, и создает настроение. Ясно, что это не просто перечень событий, и не безликое повествование некоего "автора вообще": мы слышим голос Рассказчика, который существует отдельно от автора, и сам является мишенью для авторской иронии. Иногда довольно жесткой, иногда - веселой и шутовской.

Большое место в палитре художественных средств занимают междометия: тык-мык, гм-гм, дыр-дыр и тому подобное - иной раз обрисовывают сановитого начальника, полупьяного работягу или расхристанного лабуха гораздо выпуклее, чем длинные словесные портреты а-ля милицейская ориентировка (помните описание Дубровского?). Тем интереснее, что прямая речь очень часто приписывается опять-таки предметам неодушевленным:

- Дыр-дыр-дыр - припадая на Ы, гудела прямая линия Безнадеженского райкома.

- Степан Фомич? - обращаясь к помощнику, спрашивал ПЕРВЫЙ.

- Так точно Иван Игнатьевич, - клялась трубка.

Тут удивительно точно поставлен в соответствие характерный звук "Ы" - и невидимая, но хорошо знакомая фигура Первого райкомовского друга местных пионеров.

Речь персонажей вообще на редкость разнообразна и удивительно адекватна: типично высказывается Берта Соломоновна ("Нерпа"), узнаваемо мычат работяги, юлит и елозит прохиндей редактор, не желающий платить гонорар, отрывисто порывкивает начальник по телефону, и подчиненный отвечает ему суетливо, как и положено, но уж речь лабухов - самодельных музыкантов 70-х годов - это отдельная поэма! Автор проник в

самую суть и сохранил для нас массу специфики их "выражанса", жаргонных словечек, пижонской манеры говорить и все такое. Тут нужен Белинский с его неистовым слогом и мощным анализом того, что в те далекие и бурно-литературные времена называлось "колорит". Богатство речевых характеристик - одна из главных радостей для Внимательного читателя, который способен отловить кайф от момента узнавания сих разнообразных и пестрых типов...

В порядочной статье не обойтись и без ругани. Не приводя конкретных примеров, могу сказать, что некоторые рассказы (особенно более ранние) можно было бы слегка сократить, прошерстить, так сказать, рукой взыскательного встроенного (в голову автора) редактора...

Но чем позже вещь написана, тем реже посещает читателя эта мысль: автор от простого повествования стремительно ушел, а пришел к той степени мастерства, когда все описания, детали, антураж и обстановка - все играет на сюжет и на образ. В более поздних вещах практически нет незначущих деталей и событий, все композиционно оправдано и стилистически верно.

В этом, безусловно, большой прогресс, который может быть и не сразу осознается читателем, но сказывается на впечатлении и вселяет приятные надежды на новые самобытные и неповторимые тексты.

Ирина Бузько

Встреча

Чем дальше я удаляюсь от дней упорхнувшего детства, тем чаще снится мне мой старый, окруженный стеной покосившихся сараев, двор - место, где прошли лучшие дни жизни. Чем отдаленнее от меня улица, где я когда-то жил, тем явственней видится мне в ночных эмигрантских сновидениях скособочившаяся фанерная будочка киоска "Союзпечать" на её углу, из которой с завидной регулярностью в дни родительской полочки приходили ко мне книжки на лощеной бумаге.

Крутится дочь у навороченного "лазера" и ломается под новомодные хиты, а я смотрю на нее и вспоминаю, как стоял, раскрыв рот, дрыгаясь под звуки босанов и шейков, что неслись из окон канувшего в лету ресторана "Плакучая ива".

Но странное дело: чем отчетливее вижу я старость, угрюмо глядящую на меня из мути зеркальных глубин, тем трудней мне разобраться, где заканчивается реальность детских воспоминаний и начинается придуманная мной же история о событиях минувших дней. Может, вовсе и не существовал тот двор, который, исчезнув с лица земли, по-прежнему хранит мои

следы? Может, я никогда и не стоял у того ресторана и не слушал музыку давно уже не существующего оркестра?

Как безумно далеки те годы! Только сны, пожелтевшая фотография лопухого мальчугана в коротких штанишках да стопка виниловых пластинок и связка выгоревших тетрадных листков - вот, пожалуй, и все, что осталось от детства. Но разве может размытый временем лист или чудом сохраненная обложка школьного дневника служить веским аргументом в пользу реальности минувшего, если такая могущественная штука, как память, сомневается в его достоверности?

2

Мои музыкальные способности проявились рано и своеобразно. Так, например, разорвав очередную футболку, я, вместо того чтобы изображать горе, нес её домой, горланя приятным дискантом модную в те времена песню (безбожно перевирая ее при этом): "Чья майка, чья майка...", - и сам же себе отвечал: "Моя!" Во дворе меня называли "наш Робертино Лоретти" и угощали пенкой от сливового варенья. Местная шпана звала меня "Магомаевым" и заставляла танцевать твист, собирая за это деньги с прохожих. Слава моя росла. Дошла она и до родителей.

- Наш мальчик обладает музыкальными способностями, - сказала как-то бабушка

Почему это сказала бабушка, а не дедушка, или, например, родители? Ну, во-первых, у меня не было дедушки. Во-вторых, родителям всегда немножко не до детей, когда в доме есть бабушка. И в-третьих - и это, пожалуй, главное - женская душа, а тем более душа бабушки, обожающей своего внука, устроена таким образом, что может рассмотреть талант там, где другие видят только детское дурачество.

- И в чем же они заключаются, эти самые таланты? - недоуменно вскинули брови родители.

- Ну здравствуйте, приехали! Наш Боря уже давно имеет стабильный успех, а родители ни ухом, ни рылом.

- Правда? И что же это за успех? По математике?

Мои родители, занятые диссертациями, так редко бывали дома, что без конца чему-то удивлялись. "Как, у Бори выпал зуб?" "Как, Боря носит уже 33 размер?" "Как, у Бори скарлатина?" Теперь вот оказались еще и способности...

- И по математике тоже. Мальчик за деньги поет в подворотне, - ответила бабушка.

- Мама, как же вы допустили?

- Что мама, что мама, - защищалась бабушка. - В конце концов, вы же - родители. Взяли бы, да и поговорили с сыном, да направили его способности в нужное русло.

- А что, и поговорим! - закричал папа.

- А что, и направим! - поддержала его мама.

Весь это разговор долетает за перегородку, отделяющую "салон", от маленькой комнатки, где за письменным столом сижу я, вислоухий мальчуган, и старательно насвистываю новомодный мотив песни "Королева красоты". Вечером "Королева" сулит мне сигарету "Памир".

- Иди сюда, лоботряс! - кричит мне из-за перегородки отец.

- Гарик, поласковой, поласковой, это же твой сын, - просит бабушка.

Я прекращаю свистеть и с ангельским смирением вхожу в салон.

- Слушай, лоботряс, - обращается ко мне папа. - Скажи, это правда, что ты поешь в подворотнях за деньги?

Я провожу рукой по вспотевшему лбу. Лоб у меня крепкий, высокий и совсем не трясется. "Отчего же тогда отец упорно называет меня лоботрясом?", - думаю я, и, переминаясь с ноги ногу, отвечаю: "Ну, если это можно назвать деньгами, то да, хотя...".

- Ну вот и прекрасно, - не дает мне развить мысль отец, - за заработанные в подворотнях деньги ты с завтрашнего дня начинаешь развивать свои способности.

- Какие способности? - спрашиваю я, надеясь, что мне купят велосипед и отдадут в секцию велоспорта. А может быть, лук? Ведь лук - это так романтично, от него веет историями Шервудского леса.

- Музыкальные, - прерывает мои мечты отец.

- А что это значит? - удивленно спрашиваю я.

- Это значит, - говорит бабушка, - что мы купим тебе музыкальный инструмент, рояль, например, и ты будешь на нем учиться играть.

- Зачем мне музыкальный инструмент, тем более рояль? У нас его и поставить-то негде, - отвечаю я.

- Это не твое дело, где мы его поставим. Ты лучше скажи, когда ты станешь человеком, а не лоботрясом? - спрашивает отец.

Я провожу рукой по вспотевшему лбу и продолжаю мямлить:

- Я бы хотел развивать свои способности в секции стрельбы из лука или самбо.

- Выбрось это из своей головы. Пока я жива, никаких самбов и луков в доме не будет, - заявляет мама, косясь при этом на электрический провод от утюга.

Но в это время огромные настенные часы начинают клочкотать, как проснувшийся вулкан, и громко бьют семь раз... Меня уже ждут слушатели...

3

Из пестрых лоскутков прошлого воскресают первые музыкальные инструменты, предложенные мне в освоение: отечественный баян "Тула" и германский трофейный аккордеон "Хофнер". Но "Хофнер" и "Тула" были отвергнуты мною с порога - во-первых, из-за громоздкости, во-вторых, из-за массовой распространенности.

- Нет, - решительно заявляю я, когда мы приходим в музыкальный магазин.

- Как нет? - восклицает отец. - Мы специально приехали сюда, с трудом вырвавшись из лаборатории. А ты, дубовая твоя голова, говоришь "нет"!

- Но почему нет, горе ты луковое? - спрашивает мама.

- Дети, ради Бога, потише, - умоляюще просит бабушка. - Вы же не в своей лаборатории.

- Это плебейские инструменты, - отвечаю я.

- Где ты нахватался таких слов, лоботряс? - говорит папа.

- Плебейские! А знаешь ли ты, аристократ обалдуевский, что инструменты эти стоят две моих кандидатских зарплаты?

Разъяснения не действуют. Будущее "музыкальное светило" пугает родителей тем, что не придет ночевать домой.

- Ну что я говорил - обалдуй. Чистый обалдуй, одним словом, форменный лоботряс! - кричит папа.

- Гарик, что ты говоришь, побойся Бога, ты же член партии, - умоляет папу бабушка. - Ребенок в поиске. Он ищет, а вы как интеллигентные люди должны ему помочь разобраться. Боря, ведь ты ищешь, правда? - допытывается бабушка.

- Конечно, Боря ищет! Ваш Боря только и делает, что ищет, как довести нас всех до инфаркта, - перебивает её мама и пытается отыскать среди магазинного инвентаря любимое орудие воспитания - электрический шнур от утюга.

- Глаша, как же так можно, это же и ваш сын, - кипятится бабушка. - Ну не нравится мальчику баян, по правде сказать, мне он тоже не очень нравится. Баян - инструмент пьяных ассенизаторов. Другое дело - скрипка. Скрипка - инструмент интеллигентных людей. Правда, Боря? - обращается она ко мне. Я молча киваю своим вспотевшим лбом, и мы выходим из магазина.

Так в мою жизнь вошел некто Семен Ильич Беленкин, скрипач-виртуоз, первая скрипка местного музыкального театра. Он рассказывает мне о струнах, грифах, деках и тембрах, от него я узнаю, что Страдивари и Паганини - это не уголовные авторитеты нашего района, а некие загадочные итальянские мастера. С Беленкиным мы разучиваем Баховский менуэт и Рахманиновскую польку. Семен Ильич доволен. Вскоре передо мной лежит партитура скрипичного концерта... У меня страшно болят пальцы, а на улице на меня подозрительно косится местная шпана.

- Слышь, Бориска, - останавливает меня местный хулиган Чалый, - ты, может, и не Бориска вовсе?

- А кто? - недоуменно спрашиваю я.

- Может, ты того, Барух?

- Почему? - живо интересуюсь я.

- Потому - очкарик и со скрипкой шляешься, - отвечает Чалый и, угрожающее поднеся свой огромный кулак к моим очкам, добавляет: - Гляди у меня, малый.

От этих диких подозрений у меня перехватывает дыхание, и я чувствую, как бурый мартовский снег начинает проваливаться под моими ногами.

- Хватит, довольно с меня того, что вы меня назвали Борей и надели на меня очки, - говорю я и кладу скрипку на стол.

Бабушка плакала, мама не выдержала и огрела меня разок электрическим шнуром от утюга, папа как никогда громко кричал "лоботряс", а Семен Ильич глядел на грязные мальчишеские пальцы и горестно шептал: "Мальчонка, побойтесь Бога, вы же хороните талант".

Но что в те счастливые годы какой-то там талант? Гораздо важнее было не загреметь в "Барухи". Родительские вздохи еще какое-то время подрожали подобно скрипичной струне и стихли.

4

Школа, в которой я учился, была престижной (спецшколой, как их в ту пору называли). В ней изучали французский язык, французскую литературу, "французскую математику", "французские" физику и геометрию, оставив родному языку лишь общественные науки. Я предпочел общественные дисциплины и, как следствие, часто выигрывал многочисленные олимпиады и конкурсы. Как-то за победу в очередной олимпиаде я был награжден билетом на заключительный концерт мастеров искусств в местном Доме пионеров. Гремели ансамбли балалаечников. Торжественно звучала медь духовых оркестров, и звонкое детское сопрано благодарило родную Партию "за счастливое детство". Было

скучно... От балалаечного треска разболелась голова, и я стал подумывать о бегстве...

- Шопен. Ноктюрн, - объявил конференсье. - Исполняет Эстер, - он на мгновение запнулся, - Шма, - конференсье заглянул в листок, - Мац... Шмуц...

Шмуцхер... В общем, Шопен, - и, обречено махнув рукой, ведущий стремительно скрылся за кулисами. За ним, гремя домрами и попитрами, со сцены исчез квартет домристов. Освободившееся место занял огромный черный рояль. К нему подошла девочка. Была она так себе: серенькая юбочонка, потупленный взгляд, стекляшки кругленьких очков: ни дать, ни взять - "гадкий утенок". Ну а какой еще может быть девочка с плохо выговариваемой фамилией? Но вот она поправляет свою юбочонку, садится к роялю и... "гадкий утенок" превращается в таинственную незнакомку, играющую на струнах вашей души. Сказать, что я обомлел, что жизнь мою перевернула эта невзрачная девчушка, нет, этого не было, но какие-то смутные желания научиться так же ловко возмущать черно-белую фортепьянную гладь эта угловатая пианистка во мне пробудила.

Поделившись своими ощущениями, вызванными игрой "дурнушки", с родственниками, я, кажется, изъявил желание выучиться игре на фортепьяно. Не берусь с протокольной достоверностью описать все развернувшиеся в доме события, связанные с этим заявлением. Но хорошо помню, как сотрясали дом в те дни телефонные трели. Как кипели финансовые споры, а на кухне убегало молоко для моей младшей сестры. Вскоре дебаты стихли, и в нашу небольшую гостиную въехало светло-песочное, под цвет выгоревшего канапе, пианино "Красный Октябрь". Вместе с ним в мою жизнь вошла пышная и ярко одетая учительница музыки Калерия Францевна Музаславская.

Мы учили гаммы и триоли. К шестому занятию Калерия Францевна стала утверждать, что из меня вырастет Святослав Рихтер. После этих слов отец перестал называть меня "лоботрясом", мать - поглядывать на электрический шнур от утюга, а бабушка стала разговаривать со своими знакомыми так, как будто я уже выиграл фортепьянный конкурс им. П.И.Чайковского. Очень может статься, что так бы оно и было.

Но в то самое время, когда мы уже принялись за сонатины Черни, на город рухнул Рок (этот самый Рок и виноват в том, что вы сейчас читаете мой рассказ, а не слушаете фортепьянный концерт в моем исполнении). На улицах появились хиппи. О, что это были за люди - синтез независимости и галантной нахальности! Джинсы, бусы, ленточки на голове. Время любви,

цветов и, главное, громкой и независимой, как и её исполнители, музыки. При моей природной склонности к новизне и жизненному поиску, нетрудно предположить, что мне захотелось походить на этих людей. Поддавшись этому зову, я тайком от родственников искромсал свои новые дачные техасы, присвоил мамины бусы и изрезал на головную повязку лучший папин галстук.

- Я оставляю фортепьяно и посвящаю себя Хард-Року, - заявил я, стоя перед родителями в новом экзотическом наряде.

Вот это был удар, скажу я вам. Увидев, что осталось от галстука, папа схватился за сердце и молча рухнул на стул. Мама стала походить на аквалангиста, у которого прекратилась подача кислорода. Бабушка же, как ни странно, выглядела невозмутимой.

- Не надо кипятиться, - успокаивала она родителей. Ребенок ищет, в конце концов, в альтернативной музыке есть свой шарм. Ив Монтан, например. Гарик, ведь ты же любишь Ива Монтана? Папа молча кивнул головой.

Через несколько дней у меня появилась электрогитара ленинградского производства и подержанный усилитель "Электрон". Пианино же оттащили в угол и накрыли шерстяным полосатым пледом. Изредка спотыкаясь о корпус "Красного Октября", отец недовольно бурчал: "Лоботряс". Но к тому времени я уже был "здоровым лбом", не боявшимся даже электрического шнура от утюга.

Вскоре скучную жизнь плящегося в комнатной тиши пианино "Красный Октябрь" нарушила ворвавшаяся в нашу квартиру компания моих новых друзей.

Пока хлебосольный хозяин возился на кухне, смылившая в салоне московский "Дукат" компания подвергла жестокой экзекуции бедный "Красный Октябрь". Ужасающая картина открылась мне, когда я вошел в комнату. Содранный с инструмента зеленый полосатый плед шотландского производства тяжелым комком валялся в пыльном углу. Бесстыдно задранные пианинные крышки стыдливо смотрели на враждебный им мир, и на одной из них красовалась надпись: "Боня и Тоня были здесь".

Девственную белизну клавиш украшала смоляная дыра, а известный городской пластовик Зис уже норовил помочиться на металлические внутренности "Красного Октября".

Я отчаянно запротестовал.

- Да ты что, Боб, может ты, брат, того, и не рок-ин-ролльщик вовсе? - ехидно спрашивал меня Зис, застегивая брючную молнию.

- Можешь думать, как хочешь, - решительно заявил я. Но писать ты будешь в унитаз!

- People, линяем отсюда! - закричал Зис. Но народ предпочел бегству "Солнцедар".

После их ухода я долго пытался убрать следы рок-инроллольного нашествия. Но вечером позорная тайна была открыта - на ноте "до" малой октавы бесстыдно зияла никотиновая дыра. Никто не стал выяснять, кто были таинственные "Боня и Тоня", оставившие столь эпохальную надпись. Всем и без того было ясно, что сын связался с далекой от фортепянной музыки и хороших манер компанией. Через несколько дней "Красный Октябрь" с помощью подъездных алкашей, братьев Синельниковых, перекочевал в соседскую квартиру Славика Лившица, а в первой половине 70-х, вместе с новыми хозяевами, и вовсе канул в неизвестность.

5

Подобно замысловатой импровизации минули годы. Они были разными, как клавиши на клавиатуре. Черными и белыми. Скандально мажорными и уныло минорными. Но неизменным было одно - мое стремление к новизне. Рок я поменял на джаз, джаз - на джаз-рок. Кроме этого я менял адреса, места учебы и работы, длину волос и ширину брюк. В конце концов, я поменял континенты!

Сегодня, вдалеке от тех мест, где я был юн, независим и свеж, меня уже никто, Боже мой, никто не называет лоботрясом и не нанимает мне музыкальных репетиторов. Как жаль!

Теперь я, старый, нудный и помятый жизнью человек, кричу малолетним детям "лоботряс, обормот, обалдуй" и кое-что из французской ненормативной лексики.

Несмотря на это дети растут. И растут стремительно. Кажется, только вчера дочь училась называть меня "папой", а вот уже лежит передо мной её письмо к Санта-Клаусу: "Милый Санта-Клаус, подари мне, пожалуйста, на Рождество настоящее пианино".

"Это же в какие деньги выльется мне эта просьба?", - думаю я, засовывая письмо в карман.

Я уныло хожу с этим посланием по музыкальным магазинам. Любуюсь грациозными "Ямахами", важными "Болдуинами" и задерживаю дыхание у непревзойденных "Стейнвейев". Большие и важные, с поднятыми крышками, они напоминают огромных диковинных птиц, взмахнувших крыльями. Но с той жалкой мелочью, что звенит в моем кармане, все это черно-белое изящество дерева, кости и металла, увы, не про меня. Чужой на этом празднике музыкального совершенства, я разворачиваю свои башмаки и спешу в спасительные магазины

вторых рук, на кладбища отслуживших свой век вещей. Долго и безуспешно брожу я среди неуклюжих комодов и "модных мебели" минувших эпох и стилей, пока не натыкаюсь на то, что ищу.

Пианино стояло в дальнем углу магазина. Солнечный пыльный луч, пробившийся из маленького зарешеченного окна, безмятежно покоился на его матовой поверхности. Пробравшись сквозь баррикады буфетов, столов, диванов, я оказался у инструмента и, пораженный, замер. Боже праведный, передо мной стояло мое пианино! Осторожно и ласково провел я пальцем по прожженному "до" малой октавы и, ни минуты не колеблясь, отдал задаток. На следующее утро светло-песочный "Красный Октябрь" перекочевал в мой дом.

Три дня "пианинный доктор" возился у расстроенного нелегкой жизнью инструмента. Три дня вытаскивал он какие-то диковинные ключи, болты и деревяшки из своего смешного ридикюля. Три дня что-то натягивал и подтягивал, стучал молоточком и прислушивался к гудящим большим внутренностям старого пианино. Вволю намучив меня и "Красный Октябрь", "доктор" присел на велюровую банкетку и Шопеновским ноктюрном, который когда-то давным-давно играла девочка с труднопроизносимой фамилией, вернул инструмент к жизни.

Мастер ушел, а я вместе с дочерью, более покладистой, чем её отец (сумевший избежать штормов мажорных гамм и штилей минорных трезвучий), пустился учить азы нотной грамоты, пытаюсь хоть так сгладить вину перед инструментом и собственной судьбой. Но, увы, разбей я сегодня и вдрызг свои пальцы, мне уже вовек не добраться до несметных сокровищ музыкальной гармонии, которую я когда-то с такой непростительной легкостью отверг.

Но играть я все же выучился. И в тоскливые вечера, когда все кажется бессмысленной суетой, а мир уродливым и безобразным, я подхожу к своей черно-белой "несостоявшейся судьбе", чуть трогаю её клавиши, и со звуками вызванных к жизни мелодий оживают далекие дни моего детства, которые, несмотря на сомневающуюся в их реальности память, все-таки были.

Табуретка мира

Когда я появился на свет, отец мой уже окончил юридический курс местного университета и работал инспектором в областном отделе ОБХСС. И по сегодняшний день я не знаю расшифровки этой аббревиатуры. Что-то связанное со спекуляцией и хищениями.

Не знаю, был ли отец рад моему появлению на свет, но доподлинно известно, что на мою выписку из роддома он не явился. Спустя три десятилетия я так же не явился в роддом за своей дочкой (по всей видимости, это у нас наследственное), но это вовсе не значит, что я не был рад её рождению. Напротив, рад, и люблю свою дочь! Храни её Господь!

Ну да оставим это! Рассказ ведь не о любви, он о музыке, точнее о гитаре, нет о табурете, а может быть о жизни!?? Решать тебе читатель, а мне время рассказывать.

Итак, отец. Ну что отец! Отец постоянно был занят на службе: ловил, сажал, расследовал. Проводил облавы, выставлял пикеты, устраивал засады, называя это оперативной работой (оперативкой). Этой самой оперативкой он был занят с утра до вечера, прихватывая иногда и ночи. Все свое детство я думал, что отец у меня какой-то очень засекреченный разведчик, где-то между Рихардом Зорге и Николаем Кузнецовым!

Наши жизни пересекались крайне редко. Временами мне казалось, что я люблю своего отца, а иногда я его, страшно сказать, ненавидел. Наши отношения напоминали мартовские колебания термометра.

- Не грызи ногти. Не ковыряй в носу. Зафиксируй этот момент. Закрой рот. Я дам тебе слово - командным громким голосом требовал отец. Ртутный столбик падал за отметку ниже нуля.

- Опять со шкурами валялся, - кричала мать, страхивая с его пальто сухую траву и хвойные иголки.

- Что ты мелешь! Я всю ночь провел в засаде! - тихим усталым голосом отвечал отец.

Слово засада грозное и опасное само по себе, да еще произнесенное таким утомленным голосом становилось просто героическим.

Я живо представлял себе, как отец лежит в мокром овраге в ожидании шкуры. Шкура - небритый угрюмый дядька - бродит по ночному лесу трещит валежником, грязно ругается и замышляет, что-то гадкое, подлое, низкое, но тут выходит мой отец и с криком: "Попалась, шкура!" валит детину на землю, крутит ему руки и везет в отдел.

В такие моменты ртутная стрелка резко шла вверх.

Высшую отметку моего отношения к отцу термометр показал, когда он попал в автомобильную катастрофу. Ходили слухи, что в день аварии отец был со шкурой, но я верил в засаду. Врач дал ему всего одну ночь жизни. Но отец выжил и вскоре уже снова требовал, чтобы я не грыз ногти и не ковырял нос. Отметки

абсолютного нуля и сожалений по поводу по поводу врачебной ошибки они достигли, когда я стал битником. Я даже помню фразу, сказанную отцом на мой жизненный выбор.

- Лучше бы ты стал бандитом!

- Почему? - удивился я.

- Потому, что в хипаках нет ничего человеческого!

- Поясни!

- А что тут пояснять. В человеке все должно быть прекрасным. А у хипаков что? Патлы, буги-вуги и эпилептические припадки.

- Почему эпилептические?! - воскликнул я.

- Потому что видел ваши танцы, - ответил отец.

- Пусть в них нет ничего прекрасного. Зато у них интересная и насыщенная жизнь! - патетически воскликнул я.

- Жить нужно, как Павка Корчагин, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы!

- Корчагин - анахронизм. Слушай Ричи Блэкмора!

- Пройдет пару десятков лет, и твой Блекмордов станет для твоих детей таким же анахронизмом!

Отец оказался прав. Для моей дочери Павкой Корчагиным служит Nick Carter из "Backstreet Boys".

- "Ты напоминаешь мне изи дей херд найт (easy day hard night, тяжелый вечер легкого дня) ", - ответил я, отцу перефразировав на свой лад название битловской песни.

- Не выражайся! - воскликнул отец. Принимая, очевидно, английское hard за русское нецензурное слово.

Как всякий интеллигент во втором поколении, отец презирал жаргонизмы и крутые словечки.

- Пока не поздно, возьми за голову. Иначе тебя посадят, - сказал отец в заключение.

Но я не послушал (в моем кругу слушать предков выглядело таким же анахронизмом, как и читать Н. Островского) и по-прежнему слушал "Deer purple", и всякую свободную минуту проводил с гитарой, пытаясь сдирать импровизации с Р. Блэкмора.

- И на такой доске, - сказал ведущий городской гитарист Обводов, - ты хочешь взлабнуть Блэкмора!?

Я промолчал.

- Хочешь Блэкмора лабать, стратакастер должен мать!- и Обод вытащил из шкафа кремового цвета "Фендер стратакастер".

- Можно? - попросил я.

- Уно моменто, - ответил Обод и врубил гитару в усилоч. Пальцы у меня задрожали, лоб покрылся испариной. Чуть успокоившись, я выдал гитарный импровиз композиции "Highway

star". Клянусь, мне показалось, что она прозвучала лучше оригинала.

- Не хило! - присвистнул Обод.

- Сколько тянет такой агрегат, - поинтересовался я, обводя взглядом музыкальное хозяйство Ободова. Сумма названная им равнялась цене последней модели "Жигулей".

Тогда я стал мастерить гитару самолично. Кое-что я выпрашивал, кое-что воровал, кое-что покупал, а кое-что выменивал. Кроме того, стал ходить на разгрузку вагонов на местный силикатный (клеевой) комбинат. Комбинат "сыриловка", как называли его в городе, представлял собой вороха гниющих костей, армады наглых крыс и мириады жирных шитиков...

Лучше всего у меня получалась гитара. Корпус я смастерил из цельного куска мореного дуба, выменянного на деревообрабатывающем комбинате за пузырь "Лучистого". Гриф от списанной школьной гитары. Фирменные звукосниматели я выменял на фарфоровую статуэтку. Статуэтка с моей фамилией всплыла на допросе фарцовщика Алика Кузькина.

- Покажи дневник, - попросил как-то удивительно рано вернувшийся со службы отец.

- Зачем? - спросил я.

- Я хочу знать, что у тебя по физике.

- Нормально у меня по физике!

- Почему по физике? - удивилась мать.

- Потому что он мастерит свои гитары из раскромсанных телефонов автоматов! "Вот змей, а говорил, что фирменные" - ругнул я Алика Кузькина. - Понятно?

- Негодяй! - закричала мать, - как ты мог! - Было не совсем понятно, чем возмущена мать: воровством домашней статуэтки или распотрошением общественных телефонных автоматов.

- Сию же минуту вынеси весь этот битлизм из дома, - приказал отец.

- Я имею законную жилплощадь и право на собственность!

- Ну, тогда на основании ответственного квартиросъемщика вынесу я, - заявил отец и тронулся к моему муз хозяйству.

- Не тронь или я тебя урою, - мрачно пообещал я.

- Ах ты, Махно! Японский городской, ах ты власовец! Хобот крученый! Советская власть с Гитлером справилась, а с тобой, битлаком, в два счета разберусь! - кричал отец, топчя ногой записи "Дипперполцев".

В книжном шкафу задрожали стекла, с полки упал и сломал себе голову пластилиновый Ричи Блэкмор.

- Что ты делаешь, - закричала мать, - я, между прочим, деньги на эти кассеты давала.

- Делают в штаны, а я перевоспитываю твоё воспитание! Вырастила Махно!

Разобравшись с записями, отец приступил к гитаре. Я выпятил грудь и засучил рукава.

- Ты что на меня, советского офицера, руку вздумал поднимать? Да, да, да я, я тебя... Да я з-з-з - знаешь ... Да я так их, их, их. Су, у, уб, бчиков крутил!

- Надорвешься! - сопел я под тяжестью отцовского тела.

- Посмотрим, посмотрим, - заваливая меня в кресло. Послышался хруст ломающейся гитары.

Казалось - это хрустит не гитара, а весь мир, да что там мир хрустела и ломалась вселенная.

- Я тебе этого никогда не прощу, - плачущим голосом пообещал я отцу и сгреб под кровать гитарные ошметки.

- Ничего, ничего, - хорохорился победивший отец, - еще будешь благодарить!

- Пусть тебя начальство благодарит, а я уйду из твоего дома. Квартиросъемствуй без меня! - и, громко хлопнув дверью, я выбежал на двор.

Неделю я не ночевал дома. Дни проводил на берегу лесного озера, примыкающего к нашему микрорайону: здесь пахло молодой листвой и озерной тиной. Ночь коротал на чердаке: под ногами хрустел шлак, по ноздрям шибало птичьим пометом. Я осунулся, почернел, пропах костром, тиной и голубиным дерьмом. На восьмой день на меня был объявлен розыск. На девятый, как отца Федора с горы, меня сняли с крыши и привели домой.

- На кого ты похож! - воскликнула мать.

- Je me ne suis pas vu pendant 7 jours - ответил я. (я не видел себя 7 дней)

- Ты шутишь, а я все эти дни не сомкнула глаз.

На деле все выглядело несколько иначе. Все эти дни между родителями возникал приблизительно такой диалог.

отец - Как ты можешь спать, когда твой ребенок неизвестно где.

мать - Нечего лезть в воспитание с такими нервами. Походит и вернется!

отец - Что значит походит! Где походит? Это же твой ребенок!

мать - Хорошенькое дело. Может, я поломала его гитару!?
Может, я истоптала его записи!?

отец - Я поломал! Я и почию!

мать - Он починит! Не смешите меня, у тебя ж руки не с того места растут!

отец - У кого руки! У меня руки! Я, между прочим, слесарь 4 разряда!

мать,- Какой ты слесарь! Сколько ты им был? Ты же кроме как орать, сажать, да валяться в засадах, ничего не умеешь!

отец - Ты напоминаешь хер дей найт.

мать - Сам ты хер, а еще член партии!

Но вернемся в день моего возвращения.

- Отец все эти дни места себе не находил! - сообщила мать.

- Где, в засаде? - съязвил я.

- Зачем ты так, - мать грустно покачала головой. - Отец переживал, что так получилось. И гитару твою, между прочим, чинил.

В квартире и правда стоял тяжелый запах столярного клея, живо напомнивший мне заваленный костями двор силикатного комбината. К нему примешивался хвойный канифольный дух.

- Сын, я был не прав, - сказал мне вечером отец.

- А с этим мне что делать? - я указал на гитарные ошметки.

- Я почию, слово коммуниста почию! - твердо заявил отец. Я уже, между прочим, столярный клей заварил и канифоли достал. Склейм! У нас руки не с того места, что ли, растут! Спаяем!

В доме закипела работа. Возвращаясь с работы, отец быстро ужинал и говорил:

- Пошли делать нашу гитару.

Месяц мы кропотливо выпиливали, выстругивали, долбили и паяли. Пропахли стружкой, канифолью и столярным клеем. В наш с отцом лексикон вошли слова: долото, рашпиль, колок, порожек, мензура и струнодержатель. Консультантом выступал скрипичных дел мастер Смычков! Отец пошел даже на служебное преступление, изъяв из вещественных доказательств, хранившихся в его рабочем сейфе, звукосниматель от болгарской гитары "Орфей". От этого звук нашего изделия получился мягкий, плавный, гладкий примиряющий звук, совсем не рóковый, но, добавляя фуза и, пропуская гитару сквозь ревербератор, я

добивался нужного звучания. Остатки фанерного шпона, шедшего на гитарный корпус, мы пустили на кухонный табурет.

- Табурет мира! - объявил отец.

Единожды взошедший на скользкую тропу русского рока (самобытного как собственно все русское) рискует сломать на ней свои конечности. Но таков уж наш русский путь: скользкий и опасный. Возможно, на этой тропе у него пробился родительский ген. Все может быть, потому что отец пошел на новое преступление и затребовал якобы для расследования, из обхэсовских загоашников все наличные записи "Диперполцев". Таким образом, был восстановлен и даже расширен мой музыкальный архив. Вскоре настала очередь изготовления усилителя и звуковой колонки, ну и соответственно нового служебного преступленья. Отец притащил из ведомственных подвалов: лампы, транзисторы и 50-ваттный динамик. Добром этим, как утверждал отец, был забит весь ведомственный склад!

Через год отец мог запросто отличить Битлов от Роллингов. Гитару Р.Блэкмора от гитары Д. Пейджа. Через два ездил со мной в качестве оператора на многочисленные халтуры, а еще через год явился на партийное собрание в джинсах и заявил, что рок есть прогрессивное течение, и потребовал реформации социалистической законности!

После такого заявления отец был срочно переведен из органов во вневедомственную охрану. Будучи начальником охраны мяскокомбината, отец по следовательской привычке разоблачил группу злостных расхитителей колбас и был вынужден выйти по выслуге лет на пенсию. Последние два года своей жизни он не работал, хранил у себя мой халтурный аппарат, и, сидя на "табурете мира", с надеждой глядел в окно в ожидании моего возвращения.

Завидев машину, отец оживал. Оперативно расставлял аппарат, доставал квашенную по особому рецепту капусту, маринованные огурцы, полученную по пенсионному пайку работника МВД, тонко струганную китайскую ветчину и хрустальные тонконогие рюмки.

- Не мешай, - ворчал он на протестующую мать.

- Но тебе нельзя! У тебя же два инфаркта.

- Отойди, ты напоминаешь мне хер дэй найт.

- Сам ты хер, хоть уже и не член партии.

На одной из халтур у меня украли "нашу" гитару. В последнее старой гитарой я почти не пользовался, ибо имел уже приличную японскую доску, но в тот злополучный день с "японкой" что- то случилось, пришлось взять с собой старую

самопальную гитару. Вечером, грузя аппарат в машину, я нигде её не нашел. Как я не увещевал работников общепита, чего только не обещал за возвращения инструмента, все было тещино: общепитовцы непонимающе пожимали плечами и виновато улыбались.

Тогда на ноги был поднят весь городской музыкальный рынок, но это ничего не принесло. "Наша" гитара исчезла бесследно. А вскоре умер отец. Вышел, зачем-то на кухню, а вернулся на моих руках, уже мертвым.

На дворе как раз свирепствовали ветры экономических реформ. Было пусто не только в магазинах, но и в бюро похоронных услуг. В канареечного цвета доме, где расположилась скорбная организация, кроме директора и нескольких не совсем трезвых личностей не было решительно ничего: ни кистей, ни венков, ни лент, ни даже гробов.

- Надо позвонить в органы, - посоветовал я матери.

- О чем ты говоришь! - воскликнула она. Ведь его по существу уволили оттуда.

- Но заметь, с ветеранским пайком, - привел я весомый аргумент.

- Ты думаешь, может что-то получится?

- Уверен! Тех, кого вчера увольняли, сегодня числят героями!

Я оказался прав! Органы выделили на изготовления гроба: доски, красный обшивочный материал и даже ярко-малиновые кисти. Вновь в мой лексикон вошли слова: долото, ножовка, рашпиль и стамеска...

Все что осталось у меня от отца - несколько его черно-белых снимков да обшитый шпоном табурет. Однажды встретившиеся на хитро сплетенных дорогах человеческих судеб свидимся ли мы вновь? Глядя на "табуретку мира" уверен, что встретимся.

Шпилька

Тимура Благодрава - студента консерватории по классу скрипки - вызвали в комитет государственной безопасности.

Следователь, к которому темным узким коридором направился Тимур, носил спокойную и миролюбивую фамилию - Иванов. Хотя у постоянных посетителей кряжистого здания КГБ, из окон которого (как шутили остряки) "хорошо был виден Магадан" - Иванов шел под прозвищем "Зверь". Не следователь, а сущий дьявол. Даже номер его кабинета состоял из трех шестерок.

В отличие от своих товарищей по ремеслу, придерживавшихся (хотя бы на предварительных допросах)

интеллигентных методов, Иванов с ходу, как он говаривал, ломал подследственным рога.

- Без срока, как ты поминаешь, Благодрагов, ты от меня не выйдешь. Даже и не надейся! - пообещал Иванов еще не успевшему переступить кабинетный порог Тимуру.

За следовательским окном млеет теплый сентябрьский день. Попасть в такой день в острог представлялось плевком в лицо мирозданию.

- За что срок, товарищ... Я... что... Я... ничего... - Тимур принялся возводить защитную линию.

- Пиночет тебе товарищ, а я - гражданин следователь. Понял-нет, смычок!? - смял оборонительный рубеж подследственного тертый опер Иванов. - А за что срок, так тебе, лишенец, должно быть понятней моего. Компрометируешь звание советского гражданина. Раз.

- Якшаешься с представителями вражеских голосов и их подпевалами. Два.

- Я... Да... вы... Какие голоса... Какие подпевалы... Вы меня с кем-то пугаете... - Благодрагов попытался удержаться на пошатнувшихся рубежах.

- Молчать, отщепенец! Тунеядствуешь - три.

- Я учусь. Выступаю с концертами в подшефных колхозах...

- Закрой рот, Моцарт хуев, четыре! Сегодня выступаешь, а завтра глядь уже светит тебе статья, но не политическая, как ты здесь наивно полагаешь, а капитальнейшая УК 201 часть вторая - "злостное тунеядство". Я лично. Слышь ты? Лично! Охарактеризую тебя перед судом лет на пять не меньше. И пойдете вы, мосье Дали, в такие дали, что вы и не ожидали, - удачно скаламбурил Иванов. - Смякител? У меня твои буги-вуги роги-ноги... - Иванов бросил на стол фрагменты чьих-то художественных работ, - во где сидят! - Следователь постучал ладонью в области печени.

- Но это не мои! Я музыкант, а не художник... Вы меня явно с кем-то путаете...

- А мне до жопы. Твои, не твои. Тут, брат, важен результат! - Иванов окончательно смял защитные линии противника.

Но в эту минуту в кабинете зазвонил телефон.

- Как... Почему... Это не входит в разработку... - требования голоса на другом конце провода явно вызвали у следователя сложнопостановочную реакцию, - кто... откуда... так точно... разрешите выполнять...

Закончив телефонный разговор, Иванов отвратительно хрустнул пальцами, закурил и неожиданно сменил градус допроса.

- Закуривай, Тимур - Иванов протянул подследственному сигарету - поговорим по-мужски. По-доброму, так сказать...

Благонравову показалось, что это был не просто звонок, а какой-то удачный поворот молекул, атомов и всяких там протонов-позитронов в мироздании, в его пользу.

- Да, да, да... конечно... поговорим... по-мужски... почему нет... я готов... хорошему... - прикуривая сигарету, пообещал Тимур. - Я вас-с-с вни...мате... льно слу...у...шаю.

- Ну, вот и отлично. Вот и ладненько. Ты успокойся, соберись. Не надо бояться черта раньше времени. Вы ж меня все за зверя держите... Ведь так? А я никакой не зверь. И зла тебе, парень, не желаю. Его, знаешь ли, Тимур, сам себе человек на свой зад находит. Он ведь как, человек, думает. Вот он думает, борюсь я с властью. Как вы ее там называете? О! Софьей Власьевной! Фиги ей в кармане кручу. Письма на вражеские голоса пишу. Иду, одним словом, праведным путем... Оно, конечно, может и так. Только ты же должен знать, куда пути эти праведные ведут. На Колыму они ведут, Тимур, на Колыму. А она... Колыма эта, Тимурка, пострашней самого ада будет. Честное партийное слово даю. Я там два года сержантом в ВВ оттрубил. Так что сужу не понаслышке... И задача нашей организации и меня как ее представителя указать человеку, в данном случае тебе, куда может привести выбранная тобой скользкая дорожка. Пойми, Тимур, ты не прав. Хотя в принципе ты парень хороший. Я характеристики твои просмотрел. Комсомольскую анкету. Наш парень. Голову даю на отсечение - наш! Фамилия у тебя правильная. И имя наше - звонкое. Родители, поди, в честь Тимура назвали? Только вот незадача - не ту ты команду себе подобрал, парень. Прямо скажем, шушера, а не команда - спекулянты, отщепенцы и шизофреники. Один этот, как его, Ште... - следовательно запнулся и посмотрел в листок. - Шпильман чего стоит. Только я тебя прошу ради твоего же здоровья, не говори мне, что слышишь это имя впервые.

- Нет, не впервые. Я его хорошо знаю. Мы с ним вместе в консерватории учимся. Только он на фортепьянном отделении. Отлично знаю. Да что говорить, мы с ним с самого детства дружны! Его отец моим первым музыкальным учителем был...

- Ну, вот и молодец! - остановил перечисления Иванов. - Я ведь говорил, что ты наш парень. Советский! Все понимаешь. Всех знаешь. Если и дальше будешь так соображать, выйдешь отсюда переродившимся человеком. Новым, стало быть,

человеком! Жизнь станет, Тимурка, лучше - жизнь станет веселей. Уж ты поверь, парень, слову бывалого чекиста.

- Ну, выйти от вас просто так невозможно, тем более, новым человеком. Вы же от меня чего-то потребуете взамен. Ведь так?

- Потребуем, но немного. Для начала я хочу, чтобы ты пересмотрел свое отношение к жизни. Вышел, так сказать, на магистральное направление. В этом кабинете не только судят, но и блюдут, так сказать, права человека и дают надежду. Понял-нет!? Надежду. Вот понюхай - Иванов сильно потянул ноздрями воздух. - Чуешь - нет, как ею тут пахнет.

На самом деле в Ивановском кабинете никакой надеждой не пахло, а несло такой тоской, бедой и безнадегой, перед которой даже запахи смерти казались просто верхом парфюмерной промышленности. Долго еще этот запах носила на себе одежда Т.Благонравова - вытертый джинсовый костюм "Wrangler", полосатый свитерок и помнившие времена "большого скачка" китайские кеды.

- И это все? - нервно кусая ноготь на указательном пальце правой руки, поинтересовался Тимур. - Если да, то даю вам слово, что с завтрашнего дня начну новую жизнь!

- Очень хорошо. Для первой, так сказать, официальной части нашей с тобой беседы просто прекрасно, ибо твое обещание дает мне право надеяться на твое согласие во второй конфин..., короче, анальной части нашего с тобой разговора. Дело вот в чем, Тимур. Ты парень свой и я ходить вокруг да около не буду. Есть у нас материал на этого твоего... как его? - Следователь заглянул в бумаги. - Шпильмана. Так вот на квартире у этого Шпильмана собирается всякий там народец. Такой, знаешь, кучерявый, без роду и без племени. Тот, что хлебом не корми, дай только покуролесить, да воду помутить. Потом сами в сторону, а нам эту воду с тобой, Тимур, пить. Короче, есть у меня к тебе просьба, но ты ее рассматривай как поручение. В том смысле, что партия сказала - надо, комсомол ответил - есть. Ты ведь комсомолец?

- Ну да, - подтвердил Благонравов.

- Так вот, будет у меня к тебе, комсомолец Тимур Благонравов, такая просьба-поручение. Надо тебе, Тимур, за этими шпи.. жги... льманами понаблюдать. Кто к ним ходит. О чем говорят. Чего замышляют. И обо всем услышанном и увиденном докладывать мне. Они ж, черти, дай им волю, атомную станцию подорвать могут. Известный народ воду в ступе мутить...

- В смысле, если в кране...

- А ты не смейся, Тимур. Ой, не смейся. У меня про этот народец интересные книжечки имеются. Вот возьми, почитай на досуге. - Иванов придвинул к Т.Благодарову стопку тоненьких брошюр.

- Ну как, согласен? Пойми, это важно не лично мне, следовательно Иванову - это важно твоей Родине. Родина, Тимур, как и мать, у человека одна. Так разве ж мы позволим обижать всяким там космополитам нашу мать? Лично я не позволю. Ну, а ты решаешь сам. Сегодня ты Родине - завтра она тебе. Тут ведь скоро осенний набор, а в нем, может так случится, недобор. Значит, консерваторию надо будет на два года отложить ради святого конституционного долга! И не где-нибудь, а скажем, на магистральных направлениях. А там мороз, братец ты мой, ого-го-ого-го. Шинелька слабенькая. Перчаток не подвезли. А что ты думал?! Солдат обязан стойко переносить все тяготы и лишения военной службы. И надо будет окоченелыми ручонками твоими крутить, гусеницы менять... Короче, через месяц кирдык твоим скрипичным пальчикам. Ну, да ничего... переквалифицируешься на балалайку. А что - тоже народный инструмент! Ну как, согласен? Вижу, что согласен! Тогда вот тебе, брат, ручка, бумага - пиши. Я такой-сякой немазанный, домашний адрес. Ну, а дальше я продиктую...

- Как!? Вот так сразу и писать!? Но мне надо поговорить с матерью... самому все обдумать... может я не смогу... дайте хоть несколько дней.

- Ни, ни, ни... Говорить ни с кем не надо. Ни под каким предлогом. Это дело сугубо конфиденциальное. На думы, так и быть, даю день. Хотя, что тут думать! От дум, Тимур, голова пухнет, а у чекиста она должна быть светлой. Короче, завтра в девять жду тебя у себя. В десять тридцать - в случае неявки - выписываю постановление на твой арест. Вот ордер. Осталось только вписать твои инициалы. И здравствуй, Колыма... Давай свою повестку - отмечу, а не то тебя уже сегодня отсюда не выпустят. - И следователь Иванов хлопнул печатью, точно копытом ударил, по Тимуровой повестке.

- Что делать? Как быть? - С этими вопросами Тимур присел на скамейку в городском парке.

Сентябрьское солнце скрылось уже за верхушками деревьев. От небольшого пруда тянуло сыростью и плесенью. Где-то в глубине парка зловеще кричала неведомая птица. "Это конец! Это конец" - пробормотал, проходя мимо скамейки, неказистый гражданин и скрылся в парковых сумерках.

- Так что же все-таки делать? Написать нельзя - "прогрессивная общественность" осудит, и не писать нельзя - Иванов засудит. Укатает сивку за бугры годиков на восемь. Кранты музкарьере. Да что-там карьере. Жизни капут. Что я буду через восемь лет!/? Сторбленный, чахоточный старик. Вот что я буду! Ну, а если соглашусь. Тогда кто я буду в глазах того же Шпильмана? Ведь я, считай, вырос в его семье. Его отец меня на инструменте учил играть. Ойстрах, говорил. Чистый Ойстрах растет! Это ведь он обо мне говорил. Да он же мне не только учителем, он же мне вместо отца и был. Мой же папик черт его знает где... собакам сено косит. - - Потом сестра мне Шпильмановская нравится. Все мне ее в жены прочат. А что - приличная партия. И кто я буду, узнай они, что я на них доносы писал. Сукой последней я буду. Стукачом! А дети, что скажут дети о таком папаше. Это ведь все равно как шило в мешке - не утаишь. Ой, не утаишь! Узнают всему конец. Карьере кирдык! Ни один приличный человек со мной не то, что не сыграет... он с таким "шестериллой" на одном поле ... не сядет.

- Вариантов не густо. Прямо гамлетовский "Быть или не быть". И где же тут быть и где не быть? Черт его знает, попробуй, разбери. Но ведь всегда же есть третий путь. Должна же ведь быть щель между подлостью и совестью. Что же делать? Думай, думай, думай... - Тимур сильно, словно хотел разжечь творческий огонь в охладевшем от страха мозгу, тер пальцем висок. Взгляд его прилип к указательному пальцу. Что-то смутное, неясное рождалось в его мозгу...

- Вот оно, решение! - Тимур широко раздвинул пальцы правой руки. - Вот он, третий путь. Вот она, щель. Топором по пальцам, и чем прикажете писать, гражданин начальник? Нечем! Так-то, товарищ "зверь"!

- А с музыкой что? А ничего! Рубить надо так, чтобы пальцы могли держать смычок. Скрипачом, безусловно, не стану, но на кусок хлеба заработаю...

- А боль... Какая это будет боль. Боже мой! Может, поговорить со Шпильманами? А вдруг этот разговор до Иванова дойдет. Шпильманам неприятности, а меня Иванов точняк в острог закатает. - Тимур поднялся со скамейки и направился в ближайший гастроном...

- Мама, а где это у нас кухонный топорик? - поинтересовался Тимур у матери.

- Зачем он тебе!/? - удивилась мать.

- Да я ребра в универсаме купил. Хочу с картошечкой потушить.

- В шкафчике на верхней полке лежит. Только давай-ка я сама сделаю.

- Нет, мама, - отстранил ее Тимур. - Мясо дело мужское.

Топор вошел в "мясо" легко, но оказался, видимо, тупым и мало пригодным для подобных процедур, а может быть тренированные, сильные пальцы оказались ему не по острию. Они еще долго висели на посиневшей коже.

- Случись это сегодня, то мы бы тебе их в два счета пришили. И бегали бы они - лучше прежнего, - утверждал спустя несколько лет знакомый микрохирург.

Но в тот день дежурный доктор травматологического отделения первой городской больницы отщипнул безымянный и указательный пальцы, и они с противным грохотом упали на дно металлической коробки...

Одним из первых в палату к Тимуре Благодравову явился следователь Иванов.

- Ну, что, Тимурка!? - сказал он, противно ухмыльнувшись. - Ты думаешь, ты герой? Нет, брат, ты не герой! Ты беспальный мудака - вот ты кто! Я тебе сейчас кое-что скажу, а ты заруби эти слова у себя на носу. Если тебе, беспальный, захочется бравировать своим геройством - мол, вот я какой такой-сякой весь из себя, пальцы отрубил, чтобы гэбэшным стукачом не стать, то я тебя сразу предупреждаю... Я тебя самолично упеку за компрометирующие государственную службу речи, плюс членовредительство. Запомни - хоть одно слово. Хоть - один намек... - Иванов закрыл за собой дверь. От нее к кровати потянуло сибирским холодом...

- Тимур Александрович, вы как-то просили подобрать вам надежного начальника охраны театра, не так ли? - спросил у директора театра оперы и балета Тимура Александровича Благодравова высокий чин из МВД.

- Да, да, да... конечно, конечно... - обрадовался директор.

- Ну и прекрасно... у меня как раз появилась достойная кандидатура. Специалист высшей категории. Театр будет на замке! Я представлю его вам после обеда. Часика в два... годится?

В три часа пополудни в директорский кабинет вошли двое.

- Разрешите представить вам претендента на роль нового начальника охраны, - высокий чин из МВД дружески хлопнул пришедшего с ним человека по плечу.

- Как!? Вот этого гражданина вы собираетесь назначить на должность... - директор Благодравов ткнул в человека обручками правой кисти.

- Да, именно его... а вы что ж, знакомы!? - поинтересовался чин.

- Кажется да... ваша фамилия, кажется, Зверев? - обратился к претенденту Благодраков.

- Иванов. Бывший полковник комитета госбезопасности, - представился претендент.

- А ну да, да, да... Иванов, Иванов. Послушайте, господин Иванов...

- Можно товарищ, - бывший полковник дружески улыбнулся.

- Хорошо, товарищ Иванов, я бы попросил вас выйти на несколько минут в приемную. У меня к (Т. Благодраков назвал фамилию высокого чина из МВД) есть несколько слов сугубо тет-а-тет.

Иванов удивленно взглянул на чиновника, а тот в свою очередь на директора. В директорских глазах прочитывалась активная решимость вытолкать "претендента" в случае неповиновения за дверь.

- Хорошо, - согласился чин. - Товарищ Иванов, пройдите пока в приемную.

- Я вас слушаю, - поинтересовался чин, раскуривая сигарету.

- Дело в том, что я хотел бы видеть на этом месте другого человека, - Тимур Александрович был сама решимость.

- Не понимаю, - чин выпустил в потолок причудливое дымное кольцо, - чем вас не устраивает Иванов? Это один из лучших специалистов в области организации охраны и предотвращения терактов. Да это и обсуждать невозможно, ибо он утверджен не мной, а городским советом.

- Но вы же говорите, что он только претендент, - возразил ему директор Благодраков. - Значит, имеются и другие кандидатуры. Я бы хотел взглянуть и на них.

- Ну, претендент - это я так, для полноты назвал. На самом же деле он никакой не претендент, а самый что ни на есть начальник охраны. Уже и все соответствующие бумаги подписаны. А в чем, собственно, дело, уважаемый Тимур Александрович, чем он вас не устраивает? Стаж? Звание? Возраст?

- Нет - тут сугубо личный аспект, - директор достал сигарету. - Я не хочу с ним работать по нравственным, так сказать, мотивам.

- Извините, любезный Тимур Александрович, мне не интересны ваши личные дела и нравственные пристрастия. Я знаю только одно, и оно заключается в следующем. Общественное вы

должны ставить выше личного. Вы посмотрите вокруг. Терроризм поднимает голову! В такие дни каждый специалист по борьбе с ним на вес золота, а вы - личное. Простите, но вас, уважаемый Тимур Александрович, там не поймут! - чин указал в направлении правительственного здания. - Там ведь вопрос встанет - Вы или Он. И боюсь, что он решится не в вашу пользу.

- Почему это вы думаете, что не в мою... я опытный работник культуры... многое сделал для театра, города и, кажется, имею право...

- Право имеете, но не в такой обстановке, ибо она диктует суровые меры. И только такие, как Иванов, смогут вернуть нашу жизнь в нормальное русло.

- Ну знаете, если такие, как он, то я не понимаю, для чего было весь этот демократический огород городить, - возразил Т.Благодрамов. - Все эти стройки-перестройки.

- Простите, Тимур Александрович, - это тема для ток-шоу, а не для государственного учреждения. Решение принято и обсуждению не подлежит. Ничего. Сработается, стерпится... Товарищ Иванов, прошу вас. - И чин открыл начальнику охраны театра Иванову дверь.

Посидев в кабинете еще минут десять, чин вышел и оставил Благодрамова с бывшим следователем КГБ Ивановым наедине.

- А ты почти не изменился, Тимур. Все такой же боевитый, принципиальный. Нет, не зря говорил я когда-то, что ты наш парень. Ох, не зря!

- Вы, кажется, забываетесь, милейший. Сегодня вы находитесь у меня в кабине, а не я в вашем. Поэтому, во-первых, попрошу вас впредь называть меня на "вы" и только по имени-отчеству. Во-вторых, реже попадаться мне на глаза.

- Ну, что вы, Тимур Александрович. Зачем же так! Сколько лет прошло! Сколько зим! Кто, как говорится, старое помянет, тому глаз вон. Я ведь против вас ничего не имел... работа у меня, видите-ли, такая была. Как в той песне - "Работа у нас такая... Жила бы страна родная и не ту других забот" - пропел Иванов. Так что вы не сердчайте, Тимур Александрович... и камень из-за пазухи выкиньте. Нам ведь теперь вместе работать... одно, так сказать, дело творить. Эх, как жизнь поворачивается... я ведь вам когда-то предлагал работать вместе... вы не согласились... и видите, как все нехорошо получилось. Иванов указал на правую директорскую руку. Так что давайте хоть сейчас не дергать судьбу за усы...

- Послушай, ты! Мразь! Я тебя сейчас самого лишу пальцев, усов и головы... Понял, нет!? А теперь встал и пошел вон из кабинета.

- Тихо, тихо, Тимур Александрович. Вы же работник культуры. Держите себя в должных границах. В чем же я виноват? Неужто в том, что у вас беда с... - Иванов указал на изуродованную руку Благодрава, - приключилась. Да не поступи вы тогда так опрометчиво, имели бы совсем другую судьбу. Знаменитым на весь мир были бы, как ваш приятель Шпильман. Помните такого? Ну, как же не знать! Пианист. Живет за границей. Лауреат. Профессор. Туры. Европа. Америка. А как же иначе. Ведь он, в отличие от вас, Тимур Александрович, пальчиков-то не рубил. Ой не рубил, а исправно на вас и на прочих ваших "товарищей" доносы писал. Да если бы только он один! Вся ваша так называемая творческая интеллигенция друг на дружку строчила ого-го-го! В прикуп не заглядывай! Кубометры леса извела ваша творческая интеллигенция... А вы говорите - за дверь.

- Врешь, негодяй! Врешь! - стукнул по столу кулаком Т. Благодрав. - Не верю ни одному твоему кбышному слову. Не верю.

- Дело ваше, любезный Тимур Александрович. Только я ведь с вами не в детскую игру "верю - не верю", собрался играть. У меня, родной вы мой, и документики имеются. Знал ведь, с кем на встречу иду. Знал, о чем разговор наш с вами пойдет.

Вот смотрите, - Иванов достал из папки стопку бумаг. - Читайте, вспоминайте, размышляйте. Это самые что ни на есть подлинники. Не все, правда, но и этого, я полагаю, будет достаточно.

Дрожащими култями переворачивал страницы Благодрав.

- "Источник сообщает... Антисоветские мысли, высказывают Тимур Благодрав... Шпилька".

- "Источник сообщает... на квартире у студента Благодрава... Шпилька".

- Кто это - "Шпилька"? - поинтересовался, закончив читать, Благодрав.

- Как кто? Шпильман, конечно. Это у него такой оперативный псевдоним был - "Шпилька". Обычно мы их давали, а этот сам себе придумал, что говорится, вставлял "шпильки в колеса", - Иванов развязно хохотнул.

- Заткнись, идиот! - одернул его директор. - И пошел вон отсюда.

Как только за Ивановым закрылась дверь, Тимур Александрович в ту же минуту бросился к книжному шкафу. Там за административными книгами, театральными брошюрами, рабочими инструкциями и прочей дребеденью стояла у него бутылочка ямайского рома - подарок некой культурно-обменной международной организации. Тимур Александрович почти не пил, даже можно сказать, совсем не пил, за что (в дни борьбы с пьянством и алкоголизмом) и получил директорское место, но сегодня не выпить было нельзя. Уж слишком тяжела была новость.

- Лучше бы я диагноз о своей неизлечимой болезни получил, чем такие известия, - подумал Тимур Александрович, закусывая ром шоколадной конфетой. - Боже мой! Боже мой! Неужели правда? Неужели он мог так поступить? Вот так взять и написать? "Источник - Шпилька". Не верю! Не верю!

- А с другой стороны, почему бы и нет. Ведь не только он писал. Вон "зверь" говорит, что писали массово. И поди не поверь, когда у него на руках доказательства есть. Вообще-то, не случись со мной такое, - Тимур Александрович посмотрел на свои обрубки, - я посмеялся, плюнул, да и забыл бы всю эту хренотень. Ну что сделаешь, слаб человек - непрочен. Но тут ведь совсем другое дело! Боже мой, тут совсем другой расклад. Ведь это я, чтобы на него не писать, сделал! Сохранив ему жизнь, карьеру, я свою поломал. Ведь кто бы я был сейчас. Разве бы здесь сидел. Рядом с этой падалью Ивановым. Я бы сегодня остров имел. Торчал бы там, как Робинзон, со скрипкой, без всех этих мудаков, что крутятся вокруг. Служил бы музыке. Что может быть лучше служения истинному, вечному!? А тут... Тимур Александрович - то! Тимур Александрович - это! Тимур Александрович - туда! Тимур Александрович - оттуда...

- Вот же сука! Вот Иуда! Встреть, кажется, я его сейчас, зарубил бы собственными руками. Или лучше всего - пальцы бы ему отсек. Поиграй-ка, господин Шпилька, обрубками, а мы послушаем. Не получается? А-а-а... И у меня не получилось.

Тимур Александрович надел шляпу, пальто и вышел на улицу.

- Куда идти? - размышлял он, стоя на четырех углах шумного проспекта. - Домой? Неохота. К друзьям? К стукачам! В храм? А там не лучшие служат. У каждого дьякона под рясой ментовской погон. В пивбар? К народу! Но там грязь и запустение. Лучше уж в одиночку. Одиноким пришел ты в этот мир, Тимур Александрович, одиноким и уйдешь из него! - Благоденствие зашел в магазин и купил бутылку водки...

- Что с тобой, Тимур?! - всплеснула руками жена. - Что с тобой? Пьяный! Боже мой, какой ты пьяный. А воняешь! Чем ты воняешь? - жена принохалась.

Пальто!? Боже мой - это же бельгийское пальто. Посмотри, на что оно похоже. Галстук!? Галстук на спине! А шляпа, где твоя шляпа? Боже, видел бы ты, на что ты похож. Возмущенно - испуганно восклицала супруга.

- Не...прав...да...а! Я пр... екра...а...а... сно вижу... на кого... я похо...ож! - возразил заплетающимся языком Тимур Александрович. - Я... похож... на мудака с обрубками! - Тимур Александрович потряс культиками. - На мудилу с Нижнего Тагила - вот на кого я похож! Хотел быть героем, а вышел инвалид. На инструменте вам, Тимур Александрович, ясно как Божий день, не играть. Ступайте-ка вы в культурные функционеры. А ведь кем бы я мог стать. О! О! О! Если бы не это, - Тимур Александрович тряхнул правой рукой. - суки кругом! Иуды!

- И я! - обиженно воскликнула жена.

- Нет... Ты-ы-ы дру-г-ое дело... Ты... т... да прилепится-ся жена-а-а к мужу своему. Ты свя-а-то-е... - Тимур Александрович забормотал и минуту спустя уже храпел.

В другой бы день можно было бы сказать - сном праведника, но каков был сон у Благодрава в ту ночь, то никому неизвестно...

Утром не успел еще Тимур Александрович снять вычищенные женой пальто и шляпу, как в кабинете зазвонил телефон.

- Из министерства. Характерный звук. А у меня голова совсем не варит.

- Тимур Александрович, ну как поживаешь, родной? - поинтересовался зам. министра и, не дав ответить, продолжил. - Тут видишь, какое дело. Решил, знаешь ли, на Родину, в город детства с благотворительным концертом маэстро Шпильман зарулить. Шпильман, брат ты мой, это не ворона на проводах, а культурное событие! Ну, не тебе объяснять.

- Так вы не объясняйте, а говорите конкретно, - раздраженно буркнул Благодрав.

- А конкретно... Короче, концерт, мы думаем, лучше всего провести в твоём заведении. Во-первых, охрана у тебя в театре надежная. Во-вторых, вы, кажется, учились вместе.

- Да, - подтвердил Т. А. Благодрав. - Учились - не доучились...

- Ну, вот и отлично. Такая получится встреча старых друзей. Почти как у тети Вали в передаче "От всей души". Короче, готовься. Концерт намечен, - чиновник назвал дату.

- Кино! Плохая пьеса! Нет, нет, нет - так не бывает. Это мне все снится. Это похмельный синдром, - Благодрава потерял виски. - Нет, это не синдром, - на столе лежала записка с его почерком. - Такого-то числа. Такого-то месяца. Неужели реальность? Сцепились шестеренки справедливости!? Сцепились. Ну что ж... Бывает, брат Шпилька, на свете такое, чего и не снилось нашим мудрецам! - Благодрава зябко потерял ладони. - Как говорится, на ловца и зверь бежит, или как там еще - на воре шапка горит! Welcome to родной город, мистер Шпилька. Уж не обессудьте за будущую встречу. Как говорится - глаз за глаз... Не я решил. Судьба вас ко мне привела...

Концерт удался на славу. С него шумной толпой отправились в охотничий домик. Баня. Водка. Малая Родина.

- Господа, друзья, товарищи, сегодня я играл как никогда. Ей-Богу, как никогда. Да что говорить, я уж, поверьте мне, не сыграю так больше, - вскинув бокал, признался Шпильман. - Вот что значит - играть в родных стенах. Вот что значит - играть для настоящих друзей. Виват, господа, виват!

- Тимур, друг, на брудершафт и дай я тебя облобызаю! - Шпильман нежно обнял старого приятеля. - Родной ты мой. Я так часто тебя вспоминал. Так часто. Эх, Тимур, Тимур, минули годы. Минули. Кажется, все есть! Всего достиг, а вот на тебе - чего-то не хватает. Ни родных, ни друзей. Живу на шумной Пятой авеню, а поговорить не с кем. Верить-нет? А помнишь, как мы болтали. Сколько планов строили. Ах, Боже ты мой, Боже! Ну, ты-то как? - поинтересовался Шпильман у Тимура Александровича.

- Да, слава Богу! Слава Богу - ничего. Скрипача не вышло. Ну, да с такими пальцами какой скрипач, - Благодрава тряхнул травмированной кистью.

- Да, да, да... - сочувственно закачал головой Шпильман.

- Не вышло - так и не вышло. Немножко преподавал. Немножко выступал. Знаешь, этакий музыкальный Павка Корчагин. Приходили смотреть как на дрессированную макаку. Мысли стали нехорошие посещать. Черт его знает, чем бы это все закончилось, но тут на счастье ли, на горе ли реформы подоспели. Старого директора за пьянку из театра выбросили, взялись нового искать, а из всех кандидатур один я непьющий. Утвердили. Работаю. Зарплату получаю регулярно. Можно сказать, счастлив, но живу, поверь, одними воспоминаниями. Ведь как все должно

было быть, но не сложилось, не вышло. Кто виноват? Никто не виноват. Так фишки упали.

- Да, да, да... - закачал головой Шпильман. - Не буду тебе ничего говорить. Не буду утешать. Ибо не знаю я слов утешения. И все, что ни скажу - патетика и пафос, а я их терпеть не могу. Встречаю в газетах о себе: великий пианист современности! Повелитель клавиш! Господи, какой я повелитель. Какой я великий Великий?! Посмотри на меня - метр с шапкой. Я просто хорошо выполняю свою работу. Вот и все. Что ж тут великого, скажите мне, друзья? - обратился Шпильман к гостям вечера.

- Ну, ну, ну... - загалдели присутствующие. - Таких, как вы, пианистов в мире единицы, а может даже и один. Первый среди многих - разве не величие?

- Ну уж, первый! Я вам с десятков имен могу назвать, - возразил Шпильман.

- Не скромничайте, маэстро. Не скромничайте, - встряла в разговор ведущая солистка театра. - Я где-то читала, что ваши пальцы застрахованы на миллионы долларов. А вы говорите, как все. Всем, милый мой, пальцы на "лимоны" не страхуют...

Вечер подошел к концу. Многие разехались, некоторые, в том числе Благодравов и Шпильман, остались ночевать в домике.

- Тимур Александрович, я вам постелила на втором этаже. Пойдемте, я вас провожу, - горничная поднялась на ступеньки.

- Нет, нет и нет! - возразил Шпильман. - Мы будем спать в одной комнате. Горничная криво ухмыльнулась.

- Попрошу без намеков, - шутливо погрозил ей пальцем Шпильман. - Мы будем спать по-дружески, по-мужски. Правда, Тимур. Пойдем. Я вот и бутылочку прихватил. Посидим еще, посудачим.

Но ни посидеть, ни посудачить не удалось. После первой же рюмки Шпильман закивал носом и вскоре вдохновенно захрапел.

- Что значит музыкант, - усмехнулся Благодравов. - У него даже храп похож на сонату...

Вскоре соната сошла на менуэт и вовсе стихла. В домике стало тихо. Только за окном скрипели деревья, да изредка вскрикивала ночная птица.

Благодравов погасил сигарету и вышел в прихожую. Из своего рюкзака он вытащил старый кухонный топорик.

- Привет, дружище! - Тимур Александрович подбросил топор. Потолочная лампочка прыгнула е его тусклого лезвия. - Тряхнем стариной? Не забыл еще, как это делается? Щелк и нет

пальчиков. Говорят, что они у него в миллионы оценены. Ну, тем и лучше. Ты станешь великим топором! Не всякому, брат, выпадает такая честь. Тебя, еще станется, в музей упекут. А хозяина твоего новым Сальери объявят! Как говорится - не мытьем, так катаньем в историю попадем.

Тимур Александрович вернулся в комнату. Зажег настольную лампу и положил безвольную, спящую правую руку "клавишного укротителя" Шпильмана на прикроватную тумбочку.

- Ну вот, друг Шпилька, пришла расплата, - глядя на длинные, точно выточенные прекрасным мастером пальцы, качал головой Благодравов. - Думал ли ты, когда писал доносы, что у тебя может отсохнуть рука, или что ее могут отрубить? Нет, уверен, что не думал. Ты думал - пусть отсохнет чья-нибудь, но не моя. Мои, мол, руки принадлежат вечности и ради этого можно пожертвовать сотнями чужих рук! Ты скажешь, что это пафос, патетика, что ты этого не любишь! И я не люблю, друг ты мой ситный. Не люблю. Поэтому ближе, что называется, к конечностям.

Благодравов провел пальцем по лезвию топора. Затем по Шпильмановской тыльной стороне ладони. Морщинистая кожа с едва проступающими желтоватыми пятнами - знаками надвигающейся старости.

- У меня точно такие же, - Благодравов вздохнул. - Жена все говорит, чтобы я их мазал какой-то импортной мазью. А! Мажь, не мажь - все одно на сухой лес выглядишь...

- Пятна пятнами, а пальцы у него что надо. Прекрасные пальцы... А что он сегодня ими вытворял... ну нет слов, что вытворял. Смотришь на них и думаешь. Ну не может быть, чтобы вот эти прекрасные пальцы могли доносы писать. Стаккато извлекать пожалуйста, но доносы... Ну не верю! Хоть убей, не верю.

- Да брось ты, - толкнул в руку Благодравова чей-то голос. - Он писал. Он, и бумажки ты эти видел. Его почерк? Его. Так что тут думать! Секи и делу конец!

- Не могу. Не могу. Не верю. Не могли такие пальцы доносы писать. Не могли. Это все "зверь" подстроил. Себя выгораживал. Не верю! - возразил Благодравов и положил топор к себе на колени.

- А я говорю, руби! Руби, дурак. Секи, олух! Зуб за зуб! Палец за палец! Руби!

- Нет! - крикнул в ответ Т.А.Благодравов.

Шпильман зашевелился.

- А я говорю, руби суку! - гаркнул голос.

- Нет! - затопал ногами Благодравов и со всей отмаши рубанул топором себя по пальцам. - Нет!

Топор с грохотом упал на паркет. Благодравову показалось, что и от его крика и от топорного грохота закачался, грозя обрушиться, крепкий охотничий домик. Но дом выстоял. Вскоре в нем захлопали двери, затопали ноги, запричитали женские голоса...

Карета скорой помощи увезла Тимура Александровича Благодравова в травматологическое отделение первой городской больницы.

Дежурный хирург щелкнул ножницами, и Благодравовские пальцы с противным грохотом упали в металлическую коробку...

ДЛИННЫЙ ПЕТЛЯЮЩИЙ ПУТЬ

Дом N 56, мирно маячивший на перекрестке Первого коммунистического тупика и Второго национального спуска, ничем существенным не отличался от таких же бетонных мастодонтов, коих было без меры наткано в одном крупном индустриальном центре. Бетон, стекло, подвал, а в нем котельная (в которой и развернутся основные события этого повествования). Котельная дома N56 была небольшой, подслеповатой, с множеством всевозможных задвижек, вентилях, краников комнатенкой. Сколоченный из винных ящиков обеденный стол и пара наспех сбитых табуретов. По утрам в подвальный полумрак спускалась бригада слесарей, хмурых с помятыми лицами ребят неопределенного возраста. Часов до одиннадцати они еще чего-то крутили, чинили, гремели ключами и кувалдами, после пили плодово-ягодную "бормотуху", сквернословили и дрались. Когда величина пролитой пролетарской крови достигала количества выпитых стаканов, у оцинкованной подвальной двери с жутким воем тормозил милицейский газик. Из него на цементные плиты двора выскакивал молодой, слегка одутловатый районный участковый Макарыч. И, угрожающе размахивая табельным пистолетом, по-свойски приводил распоясавшуюся слесарню к порядку.

- Что, синюшники, давно в "хате" не были? - кричал участковый, грузя нестойких к плодово-ягодным суррогатам пролетариев в тесный ментовский воронок...

- Ксиву составляй, начальник, у нас еще три пузыря "Агдама" на столе осталось, - требовали хозяева незаконно изымаемых бутылок.

- Я вам щас сделаю ксиву! - шипел уполномоченный и снимал с "Макарова" предохранитель. Слесаря тревожно замолкали.

- Товарищ сержант, - отдавал участковый команду помощнику, - собирайте вещдоки.

- Есть, - отвечал сержант, - и сбрасывал остатки спиртных возлияний во внушительных размеров сумку. Машина трогалась. Котельная погружалась во мрак и тишину.

Вечерело, и из сантехнического сооружения котельная превращалась в шумную обитель местной рок-элиты. В эти вечерние часы вентиля, заслонки, и манометры котельной дома 56 уже слушали уже не слесарскую брань, а музыку Пола МакКартни. Почему МакКартни? Да потому, что в то время как верхний мир существовал общностью выбора, нижний предпочитал делать этот выбор сам. Так, одна котельная слушала Цеппелинов, другая "сдирала" импровизации с Джимми Хендрикса, третья балдела под роллинговский "Satisfaction". Котельная дома номер 56 тоже имела свой маленький бзик, здесь рвали сердца яростные поклонники Пола МакКартни. О чем и свидетельствовал висевший в красном углу котельной, нарисованный (художником Михеем) портрет Пола МакКартни с приклеенным к нему кредо подвальщиков. - " Коль не знаешь "Yesterday" не суйся в двери к нам злодей".

Но, несмотря на такое предостерегающее заявление, злодей являлся. И вновь как в утренние часы его олицетворял собой оперуполномоченный Макарыч.

- Что, битлаки, давно в хате не были, - истошно орал участковый, грузя меломанов в тесный ментовский газик.

- Составляй протокол, начальник, у нас еще три пузыря "Кызыл - Шербета" осталось, - гудел воронок.

- Я вам щас сделаю протокол, - шипел на заявление Макарыч и тянулся к кобуре. Неодобрительный гул стихал.

- Товарищ сержант, собирайте, вещдоки, - отдавал приказание Макарыч, и снова, как и утром, во вместительную сумку летели остатки дармовой бормотухи. Машина трогалась. До утра в котельной оставались только стол, стулья, ключ на 48 и изорванный в клочья портрет Пола МакКартни (вот тебе, Пол, и "Back in USSR").

А слесарно-хипповые вещдоки доблестные рыцари общественного порядка "уничтожали" в павильоне "Мутный глаз". Обычно между третьим и пятым стаканом "Кызыл-агдамовского" коктейля старший лейтенант Макарыч начинал безбожно икать,

чихать, сморкаться и угрожающе тянуться к табельному пистолету "Макаров".

- Грузи, - командовал сержант и верные по нелегкому ремеслу соратники заталкивали старлея в воронок.

Как правило, за этим лихими набегамы шли собрания общественности и правоохранительных органов. Доска объявлений местного ЖЭКА пестрела указами, а стенд районного опорного пункта милиции - постановлениями.

"Укрепить!" - гласил указ. "Расширить!" - требовал стенд.

- Заменить замки и завалы, - вторила стендам и доскам замученная кражами солений из подвальных боксов общественность.

Но проходило время. Постановления понемногу забывались. Общественное мнение успокаивалось. МакКартневыми вызывался известный в округе "специалист по завалам" со звучной фамилией Жора Мощный. И снова дым болгарских сигарет солнышко и впережку с вино-водочными парами стелился в "lonely hearts club band" Пролетарского района.

Как-то в один из зимних вечеров, когда никто не ожидал набега антимзыкальных "опричников", оцинкованную дверь сотряс удар кованого сапога. Щеклда треснула, и на пороге возник бравый участковый, старший лейтенант Макарыч. Странно, но в тот вечер он был один. То ли вверенный ему боевой отряд дружинников был брошен на другой фронт идеологической битвы, то ли Макарыч решил сам, в одиночку покончить с музыкальным "МакКартнизмом"? Только начал он, как обычно, с крика:

- Ну что, битлаки, мать вашу в душу. Опять засели! Ах, вы пейсатики мохнорылые! Курвы империалистические. Всех пересажу. Я вас, б..дей, научу Родину любить!

Монолог разошедшегося старлея перебил 18 летний "балбес" Стас (выпертый накануне за протаскивание вредных мыслишек в студенческую среду культпросветучилища):

- Макарыч, ну что ты орешь как чумовой, - оборвал он участкового. - Давай забудем на время, "старшой", всю политическую туфту, которую тебе рассказывают в красных уголках! Оставим политические бури и идеологические штормы, а бухнем-ка за нерушимую дружбу власти и народа добрую кружку чернильца, - и для убедительности сказанного, Стас извлек на свет дурно пахнущим фугас "Кызыл-шербета".

- Я тебе бухну, махновец. Я вас, оппортунистов косматых, собственнично в "стольпин" доставлю, будешь знать кому "бакшиш" предлагать, - опер цепким взглядом скользнул по

зеленому бутылочному стеклу. Дрогнуло горячее сердце, кругом пошла холодная голова, и чистые ментовские руки жадно потянулись к вожделенному продукту. - Ладно, - подобревшим голосом произнес опер, так и быть, плесни, кудлатый, "власти" стакашку. С самого утра маковой росинки во рту не было. Извелся с вами, битлаками, слесарями, времени нет, "понишь", ни выпить, ни закусить. Да, что говорить, посидеть и то некогда. А ну, дай место старшому, - и он бесцеремонно столкнул кого-то с колченогого табурета. - Насыпай, - Макарыч указал на пустой стакан. Ну, Песнярики, давай рассказывай, как до жизни такой докатились? - закусывая беломориной, спросил Макарыч. Люди, "понишь", БАМ "подымають", корабли, "понишь", в космос "закидывают", а вы волосатиков на стены вешаете. Нехорошо! Вот это что за педрило висит? - и Макарыч указал на портрет МакКартни.

- Ты, Макарыч, свою вульгарщину, "понишь", здесь брось, - обиженным тоном произнес Стас...

- А чё, ты обижаешься? Педрило, они все педики, волосатики эти ваши! Нам, "понишь", на лекции рассказывали, - ответил Макарыч.

-Этот не педрило, это МакКартни, - понял Стас.

- А, - протянул участковый и добавил. А мне один хрен, кто. Ты лучше налей-ка, Стасец, еще стаканец.

Макарыч выпил, пожевал соленый помидор и, сытно икнув, сказал:

- Не, пацаны, надо это заканчивать.

- Чего заканчивать? - не поняли битники.

- Шляться сюда, "понишь". Во чего!

- Надо бы, Макарыч, да больше как сюда и податься нам, выходит некуда, - возразил ему Стас.

- Как некуда, а школа, а Дом культуры. Все для вас понастроили.

- "Лом" это культуры, Макарыч, а не Дом - хором заявили подвальщики. Там же только "хор ветеранов", да кружки "умелые руки", а нам аппаратура, гитары нужны.

- Гитары говоришь, - Макарыч скопился на лес гитарных грифов стоявших вдоль подвальной стены.

- Зачем вам гитары? Вон их у вас сколько, что "Першингов" у Чемберленов. Где вы их только берете? В магазинах-то их днем с огнем не найдешь, "понишь"?

Разговор невольно стал перетекать в музыкальное русло.

- А это у вас что, семиструнка?- старлей косанул на стоявшую поблизости "доску" производства "Апрелевской" муз. артели.

- Да нет, Макарыч, ты что! - невольно перейдя на ты, дружно загалдела подвальная братия. Мы на семи струнках давно уже не лабаем.

- Чего, чего? Это что за феня такая, почему не знаю? - спросил Макарыч.

- Лабаем, ну значит, играем по-нашему.

- А! Ну, тогда понятно, а я это, "понишь", на семиструнке Высоцкого лабать могу. "Если друг казался ..." и это "На братских могилах...", и еще эту. Как её? Ну, эту... помните "Сколько раз тебя из пропасти вытаскивал"

- "Скалолазка" что ли? - подхватили "андеграундовские" музыковеды.

- Во-во, "Скалолазка". Ох, знал я одну, язви её в душу... - многозначительно вздохнул старлей и смачно затынулся беломориной...

- Да ты что, Макарыч. Seriously, что ли, умеешь лабать? - изумилась подвальная ватага. - А ну-ка изобрази!!

- А че, и изображу. Вы че, "понишь", думаете, что если я мент, так мне все человеческое чуждо? Нет, шалишь, братва, Макарыч и жнец и на игре дудец! Ну-ка дай сюда вашу балалайку.

Через мгновение гитара была перестроена и Макарыч - живое воплощение "гуманной власти", запел.

Хотя какой "властью" являлся этот вечно задерганный начальством и общественностью опер, ненавидимый блатными и проститутками "мусор", презираемый битниками и свободными художниками "ментяра".

- Ну как? - закончив песню, скромно спросил нас старлей.

- Да, здорово, Макарыч, - заоплодировали участковому "МакКартневцы" Тебе бы на шестиструнке выучиться, да "Yesterday" с "LET it BE" славать.

- Так покажите, я смысленый, - и Макарыч охотно усталился на новые, незнакомые ему аккорды. За разговорами, музыкой и "бухаловом", незаметно пробежало время. Когда обнявшаяся шинельно-мохнатая кодла с громкими песнопениями и безумными планами на близкое вооруженное восстание вынырнула из подвальных глубин, на дворе уже свирепствовала холодная ночь: светом далеких созвездий дарившая нам веру в скорые перемены. Но новый день не принес перемен, до них еще было далеко...

Жизнь распорядилась так, что вскоре я уехал в другой район города. И теперь лишь изредка навещаясь в свой старый дом. Я знал, что Макарыч по-прежнему на боевом посту вверенного ему Пролетарского района. Имел сведения, что Стас научил-таки его шестиструнным аккордам и потихоньку приобщил старлея к искусству "великого Ливерпульца". Потом вдруг пошли слухи, что то ли Макарыч кого-то застрелил, то ли Макарыча...

Цветными лепестками облетела моя юность и молодость, а на пороге зрелости судьба привела меня, под крышу районного ОБИРА. Народу у дверей по утрам набивалась прорва.

- Чё, кучерявые, в теплые хаты захотели?- обращался к отъезжающим молодцеватый старший лейтенант.

- Открывай, старлей, время! - требовал народ.

- Я "те щас" открою, шипел лейтенант и тянулся к кобуре с "Макаровым" Иммигрантская публика покорно стихала.

Наконец, все бумаги были в кармане, и я отправился прощаться с городом, где прошла моя первая половина жизни. За день обошел я все близкие мне некогда уголки. Пришел и к подвальной двери.

Короткий декабрьский день затухал в свете зажегшихся фонарей. Падал снег и грустно смотрел на меня старый дом. Такая заветная некогда дверь сегодня была широко распахнута и сиротливо смотрела на мир заржавевшим завалом. Те же, кто когда-то ломал её в поисках обманчивой свободы: выросли и, забыв о своих мечтах - кто спился, кто обзавелся семьей, а кто иномаркой. Ну, а новое поколение выбрало "Пепси". Было тихо, пахло сыростью, мышами и кошачьей вольницей. Долго стоял я, у двери, вспоминая слова из "Yesterday."

"Я вчера огорчений и тревог не знал. Я вчера еще не понимал, что жизнь нелегкая игра"

Через несколько дней сверкающий авиалайнер увез меня из заснеженных полей моей милой Родины туда, где нет ни метелей, ни снежных бурь.

Минуло несколько лет. Как-то душным хамсиновым вечером брел я, грохоча своей продовольственной тачкой по булыжной мостовой Тель-Авивского Арбата. Раскаленный солнечный диск бросал свои прощальные лучи на задыхающийся город. В жарком вечернем мареве дома деревья, машины и люди казались какими-то размытыми, нечеткими, призрачными. Из всей этой химерической картины реальными были только долетевшие до меня аккорды "Yesterday". Позабыв о жаре, о нелегкой ноше поспешил я на любимый мотив и вскоре увидел сидевшего на

тротуарном бордюре гитариста. Пел он плохо, но выглядел весьма колоритно. Длинные волосы были схвачены брезентовой ленточкой, на шее болтались чьи-то хищные зубы, худые икры обтягивали истертые до белизны джинсы фирмы LEE, на боку болталась пистолетная кобура. "Боже мой, - пронеслось в воспаленном хамсином мозгу, - да ведь это - же Макарыч!"

Сердце мое упало куда-то далеко вниз. В висках заухали молотки. Макарыч? Неужто он??! Напряженно глядявался я в черты, знакомого и вместе с тем незнакомого мне лица, как будто от решения этого вопроса, зависело что-то важное в моей жизни. Живописный музыкант меж тем закончил "Yesterday" и, достав из карманных глубин наполовину опорожненный "Кеглевич" (популярный сорт Израильской водки) спросил: - "Плеснуть" Но, не дав мне ответить, выпил и "выразительно" затанул "Long And Winding Road"

"Длинная петляющая дорога, ведущая к твоему дому, Не исчезнет никогда. Я видел эту дорогу и прежде..."

В душе моей закопошились ностальгические обрывки прошлого: оцинкованные двери котельной, портвейн "Кызыл-Шербет", ментовский газик и пистолет системы Макарова. Глаза мои предательски повлажнили. Я бросил в соломенную шляпу музыканта серебряную монету и, не дослушав песню, побрел по узким лабиринтам к шумевшему неподалеку городскому проспекту.

"Колеса судьбы"

...белесо-молочными атомами зарождается он за окном. Это еще не свет, а тот грунт, на котором великий художник разольет свои краски. Сегодня серые, завтра оранжевые, а послезавтра и вовсе электрик. У кровати тусклым пятном чернеет пара синтетических тапочек китайского производства. Я просовываю в них свои худошавые ноги и иду на кухню. Под ногами как живой стонет разошедший паркет.

Кря, кря. Жик, жик, - жалуется он вещам, встречающимся у меня на пути. Путь же мой пролегает по длинному и прямому, как пожарная кишка, коридору. Опасен этот коридор незнакомцу. Здесь, спрятанная в небольшом углублении, стоит старая музыкальная колонка. Сколько прелестных ножек поранилось об её коварно торчащий угол! Да и я, всякий раз ударясь об её угол, кричу "Шит!" И клятвенно заверяю, что вынесу её в подвал. Вот и сегодня, больно ударившись лодыжкой, громко ругаюсь, и, бережно поглядыв ушибленное место, следую дальше.

Кря, кря, вжи, вжи, - вновь оживает в своей жалобной "песне" паркет.

Мне, в отличие от него, жаловаться некому, хотя жизнь моя не слаще его. Да и кто жалуется по утрам - это лучше делать в обеденный перекур, или, скажем, вечером за кружкой пива. Утром варят кофе и спешат на службу. Я тоже варю кофе, хотя никуда и не спешу. Нет, я не пенсионер, наоборот, мужчина в расцвете сил: у меня здоровое сердце и нормальный сахар. Вот только если чуть повышенная кислотность, но это от кофе. "С этим надо бороться. Кофе - камни!" - предупреждает меня знакомый доктор. Но я не хочу ни с чем бороться, тем более с кофе. Мне нравится хруст ломающихся под жерновами кофемолки овальных, крепких, черных, как антрацит кофейных зерен. Нравится тонкий, дразнящий запах, вырвавшийся на волю кофейной души. Я с трепетным волнением жду трех пузырьков, свидетельствующих о кофейной готовности. В своем нетерпении я похож на добродетельного еврея, ожидающего трех первых звездочек, свидетельствующих ему о приходе субботы.

Почему я столь много уделяю внимание кофе - да потому, что один глоток этого горячего, терпкого, горьковатого напитка, плюс глубокая сигаретная затяжка, и вас уже тянет поговорить. Кофе - не водочная болтливость. Кофе - душевный разговор. С чего же его начать? Может быть сначала?

Изначально мы были разные. Я высокий, он маленький. Я блондин, он шатен. Он собирал марки, я, кажется, значки. Он был мягким, я ершистым. У него было непривлекательное имя Павел и безобразная фамилия Оладьев.

Я же имел оригинальное имя Ромуальд и звучную фамилию Воскресенский. У меня были способные постоять за меня братья, а Павел был единственный сын у родителей. Я учился в старой с колоннами и английским уклоном школе. Он - в новой: приземистой, безликой и вечно отстающей. Он любил изучать жизнь по книгам, я же предпочитал "учить её не по учебникам". Павел обитал в желтом облупившемся доме, я - из крепких, белых силикатных кирпичей добротном коттедже. Между домами возвышался импровизированный, из досок и кроватных сеток, забор. Но тем не менее мы дружили. Нас пытались изолировать друг от друга, но как было это сделать, если нас тянуло друг к другу, как разнозарядные частицы!

- Он тебе не друг, - говорили мне родители. У него дурная наследственность!

- Что ты прилип к нему как банный лист к анусу. Он же душный, как парилка! - поддерживали их братья.

Что я мог на это ответить! Что только с ним я ощущал гармонию?! Что он часть не достающей во мне душевной детали?! Да я и слов таких в те времена не знал...

Перемахнув через забор, я убежал к нему домой. Там можно было делать то, что было строжайше запрещено дома: ходить в ботинках, лазить по холодильнику и курить. Там я был в недостижимости от воспитательного процесса. Никто не воспитывал и не жужжал на ухо: не трогай это, поставь на место то. Мать Павла вечно работала во вторую смену, отец приходил поздно и часто в таком состоянии, что не мог не только требовать, но и попросту связно говорить.

- Родя, быстро домой, - требовательно кричала через забор моя мать.

Пока, - быстро прощался я. И, давя каблуками скрипучую лестницу, возвращался домой. Темнело, и вскоре наши дворы погружались в изредка нарушаемую протяжным гудком далекого поезда вязкую тишину ночи...

Общее проявилось в нас неожиданно и стойко: лет в 16 - 17, когда мы увлеклись роком. Мы обожали одних и тех же рок-музыкантов: гитаристов Д. Пейджа и Д. Хендрикса. Павел стал учиться на соло- гитаре, я также предпочел её другим инструментам. Вопрос собственной группы парил в воздухе. И здесь впервые в жизни у нас возник спор принципиального характера.

Он мягко - Стань на бас.

Я возмущенно - Почему я. Кто из нас Пол?

Он удивленно, - При чем тут Пол?

Я язвительно - Притом, что Пол Макартни чешет на басу!

Создай мы собственную группу - я думаю, из неё, ей-Богу, мог бы выйти толк. Впрочем, может, и нет, но жизнь наша сложилась бы по-другому - точно.

Однако мы продолжали упираться и спорить.

Павел спокойно - Ты играешь слишком прямолинейно. Как если - бы художник рисовал одной краской. Нет оттенков! Послушай Хендрикса. Гитара Джимми разговаривает, плачет, ласкается, а твоя кричит...

Я раздраженно - Рок гитара - не скрипка Страдивари!

Павел негромко - Звук рождается из тишины...

Я разъяренно - Ты не музыкант, а апостол Павел, рассуждающий как композитор Бабаджанян...

Не создав своей команды, мы играли в чужих. Я поменял их массу, но найти себе подходящую из-за своего скверного характера и "неудобного" репертуара долго не мог.

- Играешь ты хорошо, - говорили мне участники. - Но не то, что надо.

- А что надо? - язвительно спрашивал я.

- То, что любит народ и приносит бабки!

Мне бы прислушаться, подчиниться, да и играть то, что хотел народ и, что приносило рубли. Но нет же, я вставал на дыбы и возмущенно кричал.

- Васьки! Я думал у вас рок - группа, а у вас оказывается оркестр А. Мещерякова! Для вас принцип - деньги, а для меня - чистота жанра! "Червону руту" играйте без меня!

Вскоре в городе не осталось ни одной команды, которая бы после упоминания моего имени не говорила: - "С его характером, надо работать в террариуме!" Я стал подумывать о смене увлечения, как неожиданно лучшая в городе рок группа "Колеса судьбы" объявила конкурс на вакантное место лидера-гитариста.

Попасть в "Колеса" - означало раскрыть ворота в невообразимый мир "superstars"! Ради этого можно было и поступиться принципами!

Прослушивание осуществлялось в маленькой, плотно заставленной барабанами, колонками, микрофонными стойками комнате. По полу бесчисленными "гадами" ползли иссиня-черные провода. Весь день витиеватые гитарные импровизации беспрепятственно носились по коридорам и лестницам ДК общества глухих (там репетировали "Колеса"). Шум стоял невообразимый, думаю, от этого грохота местное общество пополнилось новыми членами! К 6 часам вечера из претендентов осталось двое: я и мой друг Павел Оладьев. Бесспорно, я играл лучше, ярче, напористей и техничней, а взяли его. Он играл хуже, но имел решившую в его пользу 100-ватную, с вмонтированным усилителем, гитарную колонку! Он вообще в отличие от меня здорово разбирался во всех этих катодах, анодах, транзисторах и динамиках. Сказывалась наследственность потомственного электрика! От Павла вечно пахло канифолью, тогда как от меня одеколоном "Саша". Его часто видели в компании сомнительных личностей с местного радиозавода, меня же всякую минуту можно было найти среди хорошеньких шатенок.

- Я играл лучше и ты как друг должен был это признать и честно уступить мне это место, - сказал я ему по пути к дому.

- У картишек нет братишек, - вульгарно ответил он.

- Отлично! - усмехнулся я. Только запомни, что следующий кон сдавать мне!

И я растасовал колоду нашей судьбы и раздал общий прикуп. Не доходя до дома, я втиснулся в заржавевшие двери телефонной будки, крепко сжал пластмассовой бельевой прищепкой ноздри. Набрал простой двузачный телефон дежурного по ГУВД и голосом А. Макаревича сделал заявление.

"В субботу в 11 утра по адресу подворотня дома Щорса 12 состоится продажа дефицитных деталей похищенных с городского радиозавода..."

"Думай, прежде чем говорить! Вор должен сидеть в тюрьме!" - успокоил я себя, засыпая. Да я вообще-то и не волновался, между нами говоря, мало верилось в ментовскую оперативность.

Но, как в дурном водевиле, его взяли чисто и с поличным. Цена похищенного составила порядочную сумму. При "хорошем" прокуроре тюремный срок мог бы легко вытянуть на двухзначную цифру! В последний момент судебный приговор заменили военкоматовской повесткой. Все это произошло так стремительно, что Павел даже не успел вынести из ДК "глухих" свою колонку...

Прошло пару месяцев, я уже играл на его месте и на его колонке в "Колесах судьбы", как город потрясло известие. Погиб Павел Оладьев. Тело привезут через неделю. Я был в шоке, а тут еще на следующий день после этого известия пришло письмо. Видимо оно слишком долго шло, а может - это было письмо из другого мира? "Ты знаешь, - писал он мне. Я тут подумал и решил, вернусь, стану на бас. Мы с тобой такую команду сделаем!". Честное слово я даже пытался вскрыть себе вены!

На похоронах собрались все рок музыканты города. Я, же сославшись на срочную поездку, на них не присутствовал, и никогда позже не был на его могиле...

Вскоре после смерти Павла распались "Колеса судьбы", и его колонка перешла в мои руки. Я таскал её за собой то в группу "Мираж", то "Призраки", то в "Романтики", то "Оптимисты". С квартиры на квартиру, из города в город. Наконец устал и женился. Я искал взаимопонимания, а встретился с вопросом:

- Что это?

- Колонка, - объяснил я супруге.

- Кухонная?!!!

- За папу. За маму. Чтоб вырос большой и вынес эту гору из дома, - толкая очередную ложку манной каши, приговаривала жена. Не будешь слушаться маму, поставлю тебя за колонку!

Весомый аргумент: дети выросли упитанными и послушными. Но я давно уже не живу с семьей. Я вообще ни с кем не живу, правда, мои многочисленные знакомые говорят, что я

"сожительствую" с колонкой. В известном смысле они правы, ибо для меня она давно стала - "именем одушевленным". За долгие годы скитаний по квартирам и углам она выгорела, обшарпалась, металлические уголки заржавели, дерматин облупился и стал похож на псориазную кожу. Несколько ножек отвалилось, что придает ей вид инвалида. Жизненная ирония - она постарела вместо своего хозяина!

Прошло 20 лет с его смерти. За эти годы я растерял почти все его фотографии, а те, что сохранились, выгорели и приобрели незнакомые черты. Я стал почти забывать, каким он был, мой друг, и вот в последнее время он стал являться в мои сны. Придет и молча стоит у своей колонки: молодой, совсем не изменившийся друг моей далекой, беспутной юности - Павел Оладьев! Мне так хочется с ним поговорить, объясниться, но он всячески избегает этого разговора. Я догадываюсь, почему, и просыпаюсь. За окном рождается новый день моей жизни...

Я приглашу на танец память

"Иосиф Беленький, можно просто дядя Ося", - представился маклер. Дядя Ося оказался вертлявым и разговорчивым. Он умело плел паутину разговора своей живой речью и, играя словами интернациональной страны, пытался доказать, что все вокруг жулики. И только он, Иосиф Беленький, спит и видит, как помочь бедным репатриантам.

- Генацвале, - горячился Ося, - тебе просто катастрофически повезло. Поверь, дарагой, я тебе сделаю такую квартиру, клянусь здоровьем тети Песи, у Ротшильда такой не найдешь. Век будете вспоминать дядю Осю!

Под Осины шутки и прибаутки закончился первый день иммиграции в маленьком захолустном городке, затерянном где-то в самом сердце Ближнего Востока. Что оставалось делать, как не верить оборотистому маклеру?

Ночь прошла в третьесортной гостинице, своим длинным коридором напоминавшей московскую коммуналку. Какой-то сладко-приторный запах не давал уснуть Тимофею Дудикову, прозванному когда-то в андеграундских кругах города Запыльевска Тимохой. Он ворочался, вставал, мешал жене и сыну, курил у окна, вслушиваясь в темноту южной ночи. Где-то у освещенных желтым светом луны сопот дремотно бурчало Галилейское море... В небе уже тухли звезды, эти немые спутники вечности, когда Тимоха заснул.

Тишину солнечного декабрьского утра со щебетом ласточек за окном (вот оказывается та теплая страна, где зимуют ласточки, о которой рассказывал когда-то учитель зоологии),

нарушил возникший, как черт из табакерки, юркий маклер. Под окном пыхла и стреляла мотором пластмассовая машина неизвестной марки, и шофер, в шапке "горный обвал", кричал что-то гортанным иностранным языком вдогонку дяде Осе. На все крики маклер отвечал короткими фразами, сразу засевшими в Тимохиной голове, "Каха-каха" (так-так) и "игие беседер". По выражению лица и визгливому голосу маклера Тимоха пытался понять, что означают эти слова, но, так и не осилив смысловой нагрузки, стал распахивать нехитрый эмигрантский багаж по пластмассовому кузову автомобиля. Дядя Ося дал сигнал к отправке и, стрельнув бензиновым облачком и машина, грохоча довоенной сковородой, бесстыдно вылезшей из матерчатого баула, медленно поползла в гору, на вершине которой находилась обещанная дядей Осей обитель. Минут через двадцать олимовская процессия остановилась у лишенного архитектурных излишеств трехэтажного строения.

Маленькие зарешеченные окна и горький серый цвет стен делали его похожим на "Дом скорби".

У входных покосившихся массивных дверей висел облупившийся херувим (наверное, дом знал и лучшие времена). Привычный к людским переездам, равнодушно наблюдал он, как летят на розовеющий утренний асфальт Тимохины пожитки. Вскоре "Горный обвал" хлопнул пластмассовой дверью своей колымаги и исчез в тесных лабиринтах нижнего города.

Дядя Ося игриво поддел тупоносым башмаком антикварную сковородку, и, подхватив фибровый чемодан с карандашной пометкой "Рабочая обувь", скомандовал: - "За мной!"

Так Тимоха оказался у двери, выкрашенной в ядовито-зеленый цвет.

Прочитав на лице клиента явное недоумение, посредник объяснил, - "Раньше здесь жил натуралист-ботаник, оттого и цвет такой", но, заметив, что такое объяснение малоубедительно, Ося саркастически добавил - "Э, биджук, ты что, не мужчина, "кистачка" возьмешь и сделаешь под "арэх".

В прихожей оборотистый посредник, косясь на золотые часы, спрятанные в густой шерсти здоровой руки, потребовал свой маклерский процент, и под "Зай гезунд" бесшумно испарился. Тимоха втащил свои баулы и фибровый чемодан в салон. Открывшаяся семейству картина была весьма печальной.

Ядовито-зеленый цвет (цвет жизни) свирепствовал повсюду: двери комнат, кухонный холодильник, газовая плита, платяной шкаф и даже тряпка, служившая входной дверью в

душевую - все носило этот жизнеутверждающий цвет. Из обещанной мебели - колченогий стол, два стула викторианской эпохи и чудо электроники 30 годов - выкрашенный в вызывающие желтый цвет немецкий радиоприемник "Грюндик".

Выгоревшие стены со множеством дырок разных диаметров свидетельствовали не то о террористическом акте, не то о бывшем избытии произведений изобразительного искусства. То тут, то там висели картинки из "Плейбоя" с надписью по-русски "Их нравы". Завершала композицию огромная надпись цвета ультрамарин Тайм Нью Роман - Richard Avedon. За окном "тихой обители" открывался захватывающий вид с видом на общественный туалет, силуэт которого размывал набросившийся на город дождь.

В заботах первых дней пробежала неделя. Как-то сырым промозглым вечером Тимоха вспомнил, что не хлебом единым жив человек и принялся налаживать "Грюндик" для приема эфира. Наторенный практикой бдений у радиоприемников и спидол, он вскоре вышел на местные радиостанции, певшие на языке, из которого Тимофей улавливал только знакомое от дяди Оси "Каха-каха и Йегие беседер. Их в свою очередь перебивал голос муллы, заунывно тянувший "Аллах акбар". Освоившись с местным эфиром, Тимоха перешел к коротковолновому. Где-то между городами Варшава и Москва сквозь треск и шум эфирных помех прорвалась песня:

"Когда зажигаются звезды в небе ночном,
Память непрошеным гостем входит в мой дом"

Трудно передать сюрреалистичность этой картины. Дождливый вечер. Чуждое уху "Йегие беседер"... Завывание муллы. И Т. Дудиков, вчерашний ловец вражьих станций, а сегодня человек лихорадочно пытающийся задержать русские слова на германском "Грюндике".

"В эти минуты твои оживают глаза,
В них, как и прежде, невольно тает слеза".
И снова треск помех заглушали слова певца.
"Я приглашу на танец Память,
И мы закружимся вдвоем,
И вместе с нами, вместе с нами
Помолодеет старый дом".

- Мой уже не помолодеет, - грустно сказал Т. Дудиков ускользящему в треске помех певцу. Старый дом, да и не дом

вовсе, а так крохотная малосемейка, была сдана Тимохой по описи жилкоммунальной конторе N5. К вечеру в ней уже жил какой-то угрюмый субъект. И дороги, туда где, -

"Кружатся даты, свечи горят

В рамке багетной опять оживает твой взгляд", - мне уже нет.

- пел Игорь Тальков. А сейчас на волнах Маяка прозвучит репортаж о готовности канализационной системы Москвы к зимнему периоду...", голос диктора стал трещать, щелкать, тускнеть и вскоре вовсе потонул, в ночной молитве муллы. Тимофей еще немного покрутил настроечный барашек в районе городов Минск-Киев, но эфиром безнадежно завладел мулла. Тогда Тимофей Дудиков рванул болтавшийся у ног электрический шнур. Стало тихо. Тимоха еще немного посидел, глядя как гаснет зеленый огонек "Грундика", затем затушил сигарету и забрался под одеяло.

- Йгие Беседер, - сказал он заворочавшейся жене.

- Савланут (терпение), - сонно протянула она...

Приближалось 7 ноября. В одном из профтехучилищ города Запыльевска готовились к праздничному концерту. Как водится, был собран большой хор и духовой оркестр. Для участников были отменны практические занятия по кручению бобин и выпиливанию лобзиком. С утра до ночи будущие станочники, металлисты, бобинажницы, с "подсадными утками" из подшефного дома культуры и музучилища пели песни о мире и танцевали зажигательные плясовухи народов огромной страны. Руководил всем этим театрално-художественным действием режиссер подшефного Дома Культуры - Леонид Аркадьевич Кролик. Дым в училище и храме искусств стоял коромыслом. Леонид Аркадьевич ругался с осветителем, работниками сцены и костюмером, (бывшим бухгалтером ДК, снятым с должности за растрату, которую "замяли" общими усилиями коллектива) и хищным взглядом провожал мясистые бока завуча по воспитательной работе Сирены Чеславовны Мясоедовой. В короткие творческие паузы Леонид Аркадьевич засылал в ближайший пивной ларек шустрого баяниста Гена по кличке Крокодил... В общем, все было, как обычно.

Правда, в этот раз, все были настолько заняты творческим процессом, что совершенно выпустили из вида училищный ВИА "Бригантина" с её молодым руководителем - учителем истории Тимофеем Николаевичем Дудиковым. В свете тогдашних, перемен никто из руководства так и не зашел на второй этаж

примыкающего к основному зданию училища общежития, где в маленькой комнатке разучивался репертуар ансамбля.

Надо отметить, что вся эта театральнo-поэтическая кутерьма (композиция) была связана не столько с праздником, сколько с тем, что при удачной её раскрутке она могла запросто обернуться чинами и наградами.

Директору училища Иван Антонович Зарубайко в случае успеха - портфелем в областном комитете просвещения. Сирене Чеславовне - стабильным директорским креслом. Леониду Аркадьевичу улыбался солидный денежный куш, плюс халявный ужин. Бобинажницам - дополнительный выходной. Металлистам возможность неучастия в праздничной демонстрации...

За предпраздничными хлопотами пришел праздник.

Начался он, как обычно, "коротенькой" - минут на 20 с небольшим -речью инженера человеческих душ директора ПТУ И. А. Зарубайко. Затем, за достижения в учебно-воспитательной работе, училищу вручили переходящее знамя ВЦСПС, ВЛКСМ, горкома, исполкома представители, которых уже почетно восседали в первых рядах.

Представление открыл сводный хор училища в составе учащихся и преподавательского состава. Солировал Степан Фомич, из хора ветеранов дома культуры, представленный комиссией, как бывший выпускник ПТУ. Хор стройно пропел гимн "пэтэушников". На мажорной коде Фомич вытянул в зал свои старческие руки и, срываясь с драматического тенора на "козлетон" пропел коду - " Вот эти руки, руки молодые. Руками золотыми назовут". Зал взорвался аплодисментами и криками - "Браво" с балкона.

Хор сменила литературно - танцевальная композиция. Под звуки баяниста Гены (Крокодила) латышка ловко плясала с монголом, гуцул водил хоровод в компании с каракалпачкой. Чтецы сменяли плясунов, те в свою очередь певцов. Все шло как по нотам. Руководство области было в восторге, а режиссер Л. А. Кролик, с гармонистом Геней частенько исчезали из зала. С чувством выполненного долга подымались они в будку к осветителю, где в вырванных недрах кино аппарата "Украина", были припрятаны конечные продукты сложной системы - самогонного аппарата... Раз от раза поступь их становилась все менее уверенной...

И.А. Зарубайко цвел, и, блестя многочисленными значками, ерзал на своем кресле. Сирена Чеславовна приятно перемигивалась с председателем комиссии....

Сгущающиеся за окнами Дома Культуры сумерки сулили всем удовольствия.

Наконец очередь дошла до ВИА "Бригантина". Молодежная аудитория заметно оживилась. Тимофей Николаевич со своими питомцами начал выступление с песни "Старый корабль" - группы "Машина времени". Затем ударил по залу Цоевской "Перемен" - подростки взревели. Трудовая смена ходила ходуном. Станочники требовали Цоя, металлисты "Машину времени", бобинажницы - "Яблоки на снегу". Ворвавшаяся на сцену Сирена Мясоедова потребовала от ВИА что - то о Родине. Тимоха подошел к микрофону и произнес:

- Игорь Тальков, патриотическая песня "Россия". Ансамбль взял первые аккорды песни, но вместо привычных слов о житницах, соколах, закромах и трудовых буднях, зазвучало:

Листая старую тетрадь
Расстрелянного генерала
Я тщетно силился понять,
Как ты могла себя отдать
На растерзание вандалам.

Зал притих. Уши-локаторы Ивана Андреевича Зарубайко наострились, как у гончей собаки.

А золотые купола
Кому-то черный глаз слепили:
Ты раздражала силы зла
И, видно так их доняла
Что ослепить тебя решили.
Россия...

Комиссия заерзала на своих стульях и неодобрительно посмотрела на директора. Иван Андреевич зыркнул на Мясоедову. Сирена Чеславовна страдальчески заломила руки и умоляюще взглянула на плохо сообразившего режиссера. Леонид Аркадьевич в свою очередь не замедлил что-то жарко шепнуть на ухо баянисту. Гена встал и неуверенной поступью проследовал за кулисы. На ключевом слове "Россия" динамики музыкальных колонок хрюкнули... Зал погрузился в кромешную темноту. Истошный визг бобинажниц заглушали свист и улюлюканье станочников. Со сцены в темноту кричал что-то антисоветское Тимоха. По залу, грязно ругаясь, шел осветитель. Наконец включился свет. На сцене среди поверженных микрофонов и усилителей ансамбля возвышался зав. учебной частью

Ф.А. Обрыдлов. Героически пробравшийся на сцену бывший чемпион области по троеборью угрожающе тряс кулаками-кувалдами, перед лицом побледневшего руководителя ВИА "Бригантина". Через полчаса зал опустел. Мероприятие было безнадежно испорчено. Ни комиссия, ни дирекция, не остались на приготовленный в кабинете у режиссера стол. Только баянист Гена, Леонид Аркадьевич Кролик, да старый солист Степан Фомич с осветителем, крепко выпив первача, допоздна пели песню "Одинокая бродит гармонь"...

Утром на доске объявлений чернел приказ об увольнении учителя истории Тимофея Николаевича Дудикова в связи с несоответствием с занимаемой должностью.

- Иван Андреевич, я же хотел, как лучше. Так сказать в "свете перемен - объяснял Тимоха директору.

- Так и я ведь вас, милейший Тимофей Николаевич, - с кислецей сказал директор, - чай не по 58-й отпускаю. А жаль, - добавил он, и щелкнул резиновым штемпелем в трудовой книжке Т.Н. Дудикова.

Тимоха был в отчаянии, с таким штемпелем найти работу на nive просвещения было невозможно. Тимофей Николаевич Дудиков хотел было в свете тех, так и не состоявшихся, перемен всколыхнуть общественное мнение. Но люди были заняты куда более насущными делами. Часть из них, сжимая в руках продовольственный талон, стояла в очередях за сахаром. Вторая, прижав к груди заветный вызов, в очередь в ОВИР. Лишенный статьей КЗОТ права на талоны, бывший учитель истории Тимофей Николаевич Дудиков занял очередь в ОВИР. И вскоре оказался в теплой стране, где зимуют ласточки.

Эпилог

Спустя несколько лет, в октябре 1991 года новый стерео приемник "Sony" любезно преподнесенный в качестве "матаны" (подарка) Тимохиной семье за покупку холодильника Амкор голосом диктора, вещавшего на русском языке, сообщил печальную новость, - "Убит Игорь Тальков".

Какое-то время Т.Н. Дудиков переживал эту смерть. И ему даже снились сны, в которых он, как и Игорь Тальков, возвращался в свою страну: - "Страну не дураков, а гениев!". Но их вскоре вытеснили привычные сны о "подрастающем" банковском проценте.

(продолжение следует)



Моисей Борода

Сын Буратино



ень уже клонился к вечеру, а папа, который уже давно-давно должен был быть дома, всё не приходил и не приходил.

В комнате, и солнечным днём-то не светлой, было полутемно, и в этой полутьме металась какие-то тени – должно быть, от колеблющегося на ветру уличного фонаря, свет которого, хоть и с трудом, но всё же проникал в комнату через подвальное оконце.

Буратино стало страшно. И как всегда в таких случаях, когда он оставался один и его окутывал страх, он побежал к топчану, на котором они с папой спали, лёг, укрылся с головой их залатанным-перелатанным одеялом, подоткнул его изнутри со всех сторон под себя, так чтобы никто не мог к нему проникнуть незамеченным – и мгновенно заснул.

Удивительные сны приснились ему.

1.1.

В первый раз ему приснилось, что он, поссорившись с папой, убежал из дому, а перед тем, как захлопнуть за собой дверь, закричал ему, что он никогда-никогда-никогда не вернётся домой, потому что папа злой и жестокий, и заставляет его, Буратино, учиться в школе, а после учёбы ещё помогать ему чинить какие-то дурацкие стулья, которые не чинить, а давно уже выбрасывать пора. Потом он изо всех сил хлопнул дверью и выбежал на улицу.

Сперва он бежал по их улице, да так быстро, что и думать нельзя было его догнать, потом по каким-то другим улицам – куда глаза глядят! – и наконец, очутился на опушке леса.

Недолго думая, он пошёл по лесной дорожке дальше и вошёл в лес. Как вдруг в их городе оказался лес, когда его там отроду не было, и как он найдёт потом дорогу домой – об этом он не задумывался. Да и чего задумываться – лес так лес. А потом: в лесу было так красиво!

В небе ярко светило солнце, лучи его пробивались сквозь кроны деревьев, оставляя на дороге светлые полосы. Верхушки

деревьев чуть колыхались от лёгкого ветерка, а с ними трепетали и полосы на дороге – то они вдруг темнели, то становились ярко-светлыми. Весь лес был наполнен удивительными звуками, которые сливались в какой-то единый гул – совсем для него, Буратино, новый, но не страшный, а наоборот – приятный.

Кругом пели и перекрикивались птички – их весёлый гомон заполнял весь лес – прыгали с ветки на ветку невесть откуда выскакивающие длиннохвостые белки. Дятел сидел на стволе дерева и деловито долбил его своим клювом, время от времени останавливаясь, поворачивая голову и как бы прислушиваясь к чему-то, а потом опять возвращался к своему делу.

Вдруг дорожку, по которой он, Буратино, шёл, перебежало целое семейство зайцев! Впереди бежал заяц-папа, за ним – зайчиха-мама, а за ними – маленькие зайчишки, и самый крохотный из них старался не отстать от своих братьев. А зайчиха-мама несколько раз оглядывалась на бегу на своих зайчат, все ли бегут – и потом всё семейство исчезло за ближайшим придорожным кустом.

Всё это было страшно весело!

Вдоль дорожки на кустах росли на кустах крупные ягоды ежевики! С голодухи он срывал их вначале со всех сторон без разбору и совал в рот, но некоторые были горькие, а некоторые – ужасно кислые, так что сперва он только сплёвывал то, что положил в рот и раскусил. Но потом он набрёл на густой малинник – и вот тут-то уж он настроился поесть как следует.

Ягоды были зрелые, совсем не кислые, а многие так уж и вовсе сладкие! Но, как назло, самые красные, самые сладкие, самые спелые были в самой гуще малинника, и он порядком исколол себе и руки, и ноги, и даже нос, пока до них добрался. Но он всё-таки добрался до них и стал есть, забыв про всё вокруг.

Вдруг он услышал странное шипение, и почти в тот же миг увидел почти у самого своего лица страшную змеиную голову. Он мгновенно отпрянул, и продравшись сквозь кусты, прыгнул обратно на дорогу, и уже оттуда услышал, как змея прошипела ему: С-с-с-кверный мальчиш-ш-ш-ш-ка! Ты помеш-ш-ш-шал мне принимать с-с-с-солнеч-ч-чную ванну! Ух-х-ходи с-с-с-корей, а то я укуш-ш-ш-шу тебя с-с-своими ос-с-с-трыми з-з-з-зубами и ты умрёш-ш-ш!

Он стремглав бросился бежать от страшного куста, а вслед ему, подталкивая его спину, несло: "Укуш-ш-ш-у! Умрёш-ш-ш!"

Думая, что змея пустилась за ним, он бежал всё быстрее и быстрее, не замечая, что давно уже не бежит по главной дорожке,

по которой он вошёл в лес и шёл до сих пор. В конце концов, не в силах больше бежать, он остановился и, тяжело дыша, оглянулся.

Дорога вообще куда-то пропала, и вокруг, сколько видел глаз, никого и ничего не было, кроме высоченных деревьев и травы. Это ему очень не понравилось, но он решил пока не унывать и прежде всего поискать ту тропинку, по которой он шёл, пока не дошёл до малинника.

Он пошёл по дорожке, по которой только что бежал, назад, она вывела его на другую дорожку, та – на третью... – и в конце концов он понял, что заблудился. Тогда он решил, что бы там ни было, идти дальше – уж куда-нибудь он точно придёт. А чтобы себя подбодрить, он стал насвистывать весёлую песенку, которую сам же и сочинил.

Он всё шёл и шёл, а лес и не думал кончаться. Наоборот, он становился всё гуще, солнце всё хуже проникало сквозь густую листву деревьев, а потом его и вовсе не стало видно. День постепенно клонился к вечеру. И вот наступил вечер.

Лесной гул постепенно затихал. Умолк оглушавший днём птичий гомон, дятел прекратил свой стук и устраивался в своём дупле на ночлег. Изредка перекликались друг с другом дрозды и, перекликнувшись, опять смолкали. Дневному шуму уступили место шорохи, пугавшие его, Буратино, тем сильнее, чем темней становилось вокруг.

Он ещё мог видеть тропинку, по которой шёл, видел двух зайцев, внезапно выскочивших из-за придорожного куста на дорожку почти у самых его ног и, видимо, испугавшихся не меньше его самого.

Заметил он и серого ежа с насаженным на иголки большущим грибом, деловито, не очень спеша, переходившего дорожку. Но постепенно даже очертания дорожки перестали быть видными, а кусты, ещё так недавно нежно-зелёные, были теперь тёмными-тёмными, почти чёрными.

Его охватил страх.

Казалось, деревья сгрудились вокруг него обступив его со всех сторон – вот-вот задушат. А тут ещё прокричал своё "Ух-ху!" филин, медленно пролетела над головой Буратино сова, едва не задев его крылом. Вдруг перед самым его носом зависла на трепещущих серых крыльях летучая мышь, и он от испуга не мог двинуться, пока она не полетела дальше.

Ему стало вдруг очень-очень жалко себя. Он попытался снова просвистеть свою песенку, но губы не хотели его слушаться, и вместо того, чтобы свистеть, он захныкал, а потом громко, во весь голос заплакал. Но видя, что на этот плач никто не

откликается, он вытер слёзы и решил идти – будь что будет! – дальше.

Ах, это было правильное, очень правильное решение! Потому что не успел он пройти и двадцати шагов, как заметил впереди крохотный, еле видный огонёк. Это сразу придало ему сил, и теперь он шёл быстрее, стараясь только не упустить огонёк из виду, а тот, как назло, то прятался за деревьями, то опять появлялся, то опять прятался.

Он уже не шёл, а бежал к огоньку.

Вскоре послышались человеческие голоса, потом раздался смех. Теперь он бежал так быстро, как только мог, задыхаясь на бегу, глядя не на дорожку, по которой бежал, не себе под ноги, а только прямо перед собой.

Вдруг он споткнулся обо что-то и со всего маха шмякнулся на землю. В ту же секунду он почувствовал, как чья-то рука схватила его железной хваткой за плечо, подняла в воздух – и тут же он услышал грубый голос: Ты что тут делаешь, щенок? А?

Он изо всех сил старался освободиться, отчаянно болтал в воздухе ногами, вертел головой – ничего не помогало.

– Ах ты вот как! – сказал он про себя. – Ну, погоди же!

И изловчившись, изо всех сил ущипнул руку, которая держала его как в тисках. В тот же момент ему отвесили оплеуху – да такую, что у него зазвенело в обоих ушах. От страха, что ему отвесят ещё одну, он зажмурился и открыл глаза только тогда, когда та же рука, которая его схватила, поставила его на землю.

1.2.

Первое, что он увидел, был большой костёр, на котором жарился на вертеле огромный кабан. Вокруг костра сидело человек десять, а может и больше – все с бородами, а у одного были ещё вдобавок большущие чёрные, закрученные кверху усы.

Одеты они были кто во что горазд – кто был в шёлковом жилете и матерчатых штанах, кто в короткой кожаной куртке и длинных кожаных же штанах, заправленных в сапоги, кто в длинном плаще – но всё это было не какое-то там тряпье, а новенькое-новенькое! На ногах у всех были длинные кожаные сапоги – у кого чёрные, у кого коричневые, а у кого и вовсе красные, и были эти сапоги такие красивые, так ярко блестели они в свете костра, что просто нельзя было на них не заглядеться.

А главное – рядом с каждым лежало ружьё – да, да, самое настоящее ружьё, точь-в-точь такое, какое он, Буратино, как-то раз видел у проходившего по их улице солдата! – а за поясом ещё и пистолет. А у того, который был с усами, этих пистолетов было целых два! И ещё у каждого на поясе висел большущий кривой

нож. Ну тут он, Буратино, конечно, сразу понял, что это разбойники. Кто же ещё будет сидеть ночью у костра и жарить на вертеле целого кабана? У кого ещё будут за поясом пистолеты и такие большущие ножи? Разбойники, конечно разбойники!

Но он ни капельки, ну даже вот ни на столечко не испугался! Наоборот, ему стало весело: вот это приключение так приключение!

Рядом с костром стоял большой чан с горячей похлёбкой, от которой шёл такой дивный запах, что у него потекли слюнки. Ещё бы им не потечь: целый день ничего не ел – не малину же считать за еду, да и малины поест он как следует не успел, помешала эта страшная змея! Ах, если бы у него было тогда такое ружьё или такой пистолет! Уж тут-то бы он не испугался – выпалил бы ей прямо в голову, так ей и надо было бы!

Он уже хотел попросить, чтобы ему дали немножко похлёбки, как вдруг усатый разбойник – по всему видно, главный – сказал кому-то: Ладно, Джованнино, иди на свой пост и гляди в оба! В полночь тебя сменят. А ты, мальчишка, подожди-ка сюда! Да поживее! Что – ноги отнялись? Ну-ка, Микеле, согрей-ка его оплеухой!

Но он не стал дожидаться пока тот, кого звали Микеле, встанет со своего места и согреет его оплеухой, подошёл к усатому разбойнику и уставился ему в лицо.

Тот посмотрел на него долгим страшным взглядом и сказал: Ну, рассказывай, кто тебя послал. И говори правду, не то я прикажу изжарить тебя на костре, как вон того кабана!

Вспомнив, как он канючил перед директором кукольного театра и как тот в конце концов не только не сунул его в очаг вместо полена, а наоборот – подарил ему целых четыре золотых монеты! – он, Буратино, упал перед главным разбойником на колени и, плача и всхлипывая, начал рассказывать... – но тут получил такую оплеуху, по сравнению с которой первая, доставшаяся ему от Джованнино, была просто ничем, детской игрой.

Он свалился на землю совершенно оглушённый, а когда опомнился, увидел, что он снова стоит перед главным разбойником, и тот, уперев в него свой страшный взгляд – даже усы у него затопорщились от гнева! – говорит ему громовым голосом: Послушай, щенок, если ты думаешь разжалобить меня твоим враньём, то не трать понапрасну время, а лучше сам полезай в огонь. Или нет: сперва я тебя разрежу на куски вот этим ножом – видишь? – а потом изжарю на огне! Ну: или ты сейчас же расскажешь как ты здесь оказался, или...

Тогда он, уже не хныча, рассказал, как он убежал из дому, как добежал до леса, как потом набрёл на малинник, как оттуда вдруг вылезла во-о-о-т такая большая страшная змея и как он от неё убегал, как заблудился и как обрадовался огоньку, и как потом шёл, а потом уже бежал на этот огонёк, все время боясь потерять его из виду. – Вот теперь ты, маленький негодяй, кажется, и вправду рассказал всё как было, – сказал главный разбойник совсем другим голосом. – Ты заслуживаешь хор-рошенькой порки, ну да ладно, мы люди добрые, зла никому не делаем.

При этих словах разбойники загоготали и, наверное, долго бы ещё смеялись, если бы не главный разбойник, который только посмотрел на них – и они сразу смолкли.

– Ты, сорванец, конечно, умеешь лазать по деревьям? А? – спросил он.

– А чего там спрашивать: все сорванцы умеют, а уж этот маленький негодяй и подавно должен уметь! – сказал кто-то из разбойников – и разбойники вновь загоготали.

– Ну, умеешь или нет? – повторил главный разбойник.

Он, Буратино, что-нибудь не умеет!? Он – и не умеет?! И хотя ему прежде никогда не приходилось влезать на дерево – да и где было их найти в их квартале, где не то что деревья, а и кустика никто не видал – он ответил звонким голосом, да ещё задрал нос: „Умею, а как же! Я всё умею! Я вообще самый...” – он уже хотел сказать "самый-самый умный!" – но главный разбойник не стал больше слушать.

– С мальчишкой разберёмся завтра, – сказал он обращаясь ко всем. – Сдаётся мне, что он не так глуп, как кажется, и может ещё нам пригодиться.

– А может, мальчишка хочет отправиться домой? – спросил один из разбойников.

– Да, – подхватил главный разбойник, – может быть, ты в самом деле хочешь отправиться домой?

– Домой?! – пронеслось у него в голове. – Домой?! Да ни за что на свете! Тут такое приключение, а он вернётся домой к папе, который опять будет заставлять его ходить в эту чёртову школу, где так скучно, что и минуты высидеть невозможно. А потом, после школы, он ещё должен помогать папе чинить эти дурацкие стулья и столы. Домой! – как же: держи карман шире!

Тут он заметил, что уже думает вслух, потому что разбойники вновь загоготали, и сказал решительным тоном – да так, чтобы все сразу поняли: нечего тут гоготать: Ни в какой "домой" я не пойду! Ещё чего! Я останусь у вас – и всё!

– У нас! С нами хочешь быть – вон оно как! А знаешь ты, кто мы такие? – спросил главный разбойник, уже улыбаясь.

– Знаю, – ответил он и даже слегка поднял кверху нос.

– Ага, значит, знаешь. Ну, и кто же мы по-твоему?

– Разбойники! А Вы – самый главный разбойник! – и не успел он это произнести, как получил увесистую оплеуху – видно, сегодня был как раз его день для оплеух.

На этот раз он устоял – а может быть, оплеуха была не такая увесистая, кто его знает? – и не только устоял, но и успел спросить дерзким голосом: Чего Вы дерётесь?

Спросил – и сразу зажмурил глаза, ожидая очередной оплеухи. Но её на сей раз не последовало. Вместо этого главный разбойник взял его за руку и сказал: Вот что, малыш. Если хочешь быть с нами, запомни: никакие мы не разбойники. Мы – лесные люди. Запомнил?

– Ну а сейчас, – обратился он ко всем, – пора ужинать. Время уже позднее, да и кабанчик наш того и гляди пережарится на огне, и похлёбка остынет. И ты, сорванец, садись с нами, а то ты, кажется, от голода не только этого кабана, а и нас съесть готов. А? Правильно я говорю?

Тут все разбойники снова захохотали, но не зло, а добродушно.

Сели ужинать. Ему, Буратино, налили целую миску – целую большую миску – похлёбки! Ну и вкусная же она была! Он мгновенно съел похлёбку, и тогда ему налили вторую миску, и никто-никто не сказал ему "хватит!"

Потом ему дали большущий кусок кабаньего мяса и он долго ел его, стараясь растянуть удовольствие.

А потом все пили ром, и ему тоже дали немножко, и был этот ром хоть и сладкий, но такой ужасно жгучий, что у него аж дыхание свело, когда он его выпил – и он потом долго-долго не мог отдышаться, и все вокруг хохотали, да и ему было весело.

А потом он вдруг как-то сразу захотел спать. Но разбойники, видно, этого не знали и спросили его, чего он ещё хочет, и тогда он, уже борясь со сном, начал думать, чего же ему такого ещё захотеть.

И вдруг он вспомнил, как год тому назад они с папой были в доме у одной синьоры, у которой стоял в комнате высокий-высокий, до самого потолка достающий шкаф, в котором ни одна дверь не открывалась – такие там были старые, давным-давно заржавевшие замки – и как папа, повозившись, все их открыл, и синьора не только дала ему тогда денег, которых им хватило на целых две недели, но и угостила их кашей, в которую – он,

Буратино, сам это видел! – положила во-о-от такой большой кусок масла, а потом, подождав, когда масло растает в горячей каше, полила её вишнёвым вареньем.

Боже мой, как это было вкусно!

Он съел тогда целую тарелку каши, и синьора положила ему ещё, и потом ещё, и он ел, забыв всё – и комнату, и шкаф, и то, как долго они с папой добирались до дома этой синьоры, и как он, Буратино, хныкал по дороге и злился на папу за то, что папа заставляет его, бедного Буратино, идти и идти, и идти, и совсем его не жалеет, и когда же они придут к этой самой синьоре...

Наконец, он не мог уже больше есть и сидел, глядя на стоящие на столе котелок с кашей и банку с вареньем, и думал, как это было бы замечательно, если бы у этой синьоры ещё что-нибудь испортилось, и тогда она снова позвала бы его папу и снова угостила бы их кашей. А синьора сидела напротив него и, вздыхала и всё говорила “Бедный, бедный мальчик!”, а он, Буратино, думал, что чего это она так вздыхает, когда ему так хорошо.

А потом они с папой ушли, и папа по дороге долго выговаривал ему, Буратино, за то, что он съел целых три тарелки каши, и всё говорил, что же подумает о них синьора, а он, Буратино, думал, что папа просто не понимает, как это вкусно – каша с маслом и с вишнёвым вареньем.

Потом он всё спрашивал папу, когда же они снова пойдут к этой синьоре, а папа всё говорил “не знаю”, “не знаю”, и под конец он, Буратино, уже больше не спрашивал.

Но он всё равно не мог забыть, как синьора поливала кашу вареньем из большой- большой ложки и как варенье разливалось по горячей каше, и потом ему даже несколько раз снилось, что они с папой снова пришли к этой доброй синьоре и папа снова починил её высоченный шкаф, а она на радостях, что её старый шкаф опять открывается, не только снова угостила их кашей, но и позволила ему, Буратино, самому поливать себе кашу вареньем, и как он осторожно окунал ложку в высокую банку и бережно, так что и капля по дороге не упала, доносил ложку до тарелки и потом уже медленно, наслаждаясь тем, как густой красный сок сползает с ложки в тарелку с кашей, поливал и поливал свою кашу вареньем, и всё никак не мог остановиться...

И вот сейчас, когда разбойники спросили его, чего же ему ещё хочется, он сразу вспомнил всё – и про синьору, и про шкаф, и про варенье – и сказал почти твёрдым голосом: “Хочу каши с ...” – тут он немного запнулся, почувствовав, что разбойники, кажется,

опять готовы заготовить – но потом всё же продолжил “с маслом и... с вишнёвым вареньем”

Тут разбойники вновь захохотали. Они долго гоготали, держась за животы и повторяя: "Кашу – ха-ха-ха! С... ха-ха-ха... вареньем! С вишнёвым! Вот это отмочил!" – но ему было это уже всё равно, потому что ему ужасно хотелось спать.

Наконец, и разбойники это заметили, уложили его на овчину, прикрыли сверху другой – и он заснул.

Проснулся он среди ночи от какого-то знакомого голоса и, осторожно высунув из-под овчины голову, прислушался, а потом и огляделся. Все разбойники спали, и кроме их мерного храпа да время от времени потрескивания догорающих в костре угольев ничего не было слышно.

Он лёг снова, закрылся с головой овчиной, зажмурил глаза, до боли напряг уши – и услышал дребезжащий голос своего старого знакомого, говорящего сверчка Грилло, жившего у них в комнате и время от времени надоедавшего ему, Буратино, своими дурацкими поучениями.

Он уже не задумывался над тем, как же Грилло вдруг оказался здесь – он просто слушал.

– Эх Буратино, Буратино, – сказал говорящий сверчок, – с кем же ты связался? – с разбойниками! Да они тебе чуть что – враз голову оторвут! Вроде и не деревянный ты уже человек, и сердце у тебя доброе, а мозги – эх, мозги у тебя как были деревянные, так и остались. Не доведёт тебя до добра это приключение! Ходил бы ты лучше в школу, помогал бы папе, а то ведь...

Сказать ему, Буратино, такое!! При словах про деревянные мозги и про школу у него аж дух от возмущения захватило.

– Ах ты жалкий, ничтожный старикашка-сверчишка, – крикнул он в темноту. – Это я тебе голову оторву! Ты ещё поучать меня вздумал! А ну, проваливай, а не то хуже будет! – и тут же кто-то схватил его больно за ухо и спросил: Это ты с кем, сорванец, сейчас разговаривал? – и услышав в ответ про говорящего сверчка, сказал грубым голосом: Какой ещё к чертям собачьим сверчок? Спи и не мешай мне спать, а не то так вздую, что не обрадуешься!

Он лёг и прислушался снова – было тихо. Он вслушался ещё, потом ещё – и не заметил как заснул.

1.3.

Так он остался у разбойников. Ух и смелые же они были, эти разбойники! Никого не боялись – ни полицейских, ни солдат,

ни даже самого короля! У него аж дыхание перехватывало, когда они вечером собирались у костра и начинали рассказывать про свои дела.

Например, как они захватили королевскую казну, которую везли в золотой карете.

Карету охраняли целых двести конников – и спереди, и сзади, и по бокам, и все были с саблями наголо, так что и подступиться к ним было нельзя. А они, разбойники, не побоялись ни солдат, ни их сабель – и захватили и карету, и казну, а солдат всех взяли в плен, а потом отпустили, да ещё каждому дали по золотой монете – знай, мол, наших! А золотую карету распилили на маленькие кусочки и раздали их бедным людям. И казну тоже почти всю раздали, себе оставили только немножко. И как потом король страшно разозлился и объявил награду в целых сто тысяч за голову каждого из разбойников. Но ничего у короля не получилось – никто их не выдал. Так вот!

Или как в другой раз они похитили королевскую дочку – ни больше ни меньше! – и держали её целый месяц в своём лагере, и как она влюбилась в одного из них, да так сильно, что не хотела возвращаться домой... – и много, много других увлекательных историй услышал он – историй, из которых разбойники всегда выходили победителями. Он слушал эти истории, раскрыв рот, а потом, когда засыпал, они снились ему со всеми подробностями.

1.4.

День шёл за днём – и каждый день был полон удовольствий. На второй день ему подарили чудную кожаную курточку, на третий – короткие чёрные атласные штаны и высоченные коричневые кожаные сапоги – хоть по болоту в них шагай!

Правда, курточка была ему немного велика, да и штаны пришлось подшивать – ну, да какое это всё имело значение, когда он выглядел как самый заправский разбойник. Не хватало только ножа и пистолета за поясом!

Но и за этим дело не стало: на четвёртый день он получил в подарок от главного разбойника маленький кривой нож и такой же маленький пистолет, которые он, недолго думая, сунул за пояс – слева и справа.

– Вот было бы здорово, – подумал он, – появиться в таком наряде на их улице, а уж тем более в школе. Тогда уж никто из мальчишек не посмел бы сказать ему "Буратино-Дуратино-деревянные мозги"! Он бы им всем показал! Да и учителям тоже: никто бы не посмел поставить его, Буратино, в угол!

У него аж слюнки потекли от мысли, как он возвращается домой в своём разбойничьем одеянии и как все мальчишки со страшной завистью смотрят на его кожаную курточку, на его атласные штаны, на его высокие кожаные сапоги, которым никакой дождь не страшен. А уж про нож и пистолет говорить не приходится – все просто лопнут от зависти!

Ах, как же он хорошо сделал, что убежал из дому и попал к таким хорошим людям!

Но в конце недели он заскучал.

Что и говорить – у разбойников было, конечно, хорошо! Весело было смотреть, как они каждый вечер разжигают костёр, ставят вертел, нанизывают на него кабана – и откуда они только этих кабанов достают! – и как этот кабан жарится на костре, забавно потрескивая. Весело было думать, что это он, Буратино, собрал в лесу для этого самого костра хворост. Весело было есть со всеми вкусно пахнущую свежую похлёбку, а потом пить ром – пусть ему и давали только немножко, ну и что, подумаешь, зато это был самый настоящий ром! Весело было слушать разные истории, которые разбойники рассказывали.

Так-то оно так, но приключение – приключение, которого он так ждал, ради которого он у разбойников остался – это самое приключение всё не приходило и не приходило.

Уже с самого утра он томился, не знал, куда себя деть, болтался у всех под ногами. Послали его собрать хворост для костра – принёс мокрые сучья, послали принести воды из протекавшего неподалёку ручья – набрал воды с песком пополам.

Разбойники только диву давались – что с мальчишкой случилось? Но и сами они вели себя как-то странно: собирались в группки по двое, по трое, о чём-то тихо говорили, время от времени посматривая по сторонам. Несколько раз главный разбойник подзывал кого-то из них к себе и о чём-то с ним вполголоса совещался.

У него, Буратино, уши горели от любопытства! Но как он ни вслушивался, о чём же таком разбойники говорят, он не мог ничего толком понять. Из обрывков разговоров он уловил только, что речь идёт о каком-то деле, на которое они собираются идти, но что это за дело, как можно на какое-то дело идти и как они собираются это делать – этого он совершенно не понимал.

Он напрягался всем своим существом, стараясь хоть что-нибудь ещё услышать – но то ли разбойники говорили слишком тихо, то ли то, что он слышал, было ему совсем непонятно, но так или иначе, он не узнал больше ничего.

Постепенно любопытство стало распирает его так, что он задыхался: а вдруг... вдруг это будет какое-то приключение? И его не возьмут! А вдруг разбойники снова захватят золотую карету – а он ничего этого не увидит!

Под вечер, когда сели ужинать – в этот раз на вертеле жарился большущий баран с во-о-от такими здоровенными закрученными рогами! – он не выдержал и громко спросил: А когда мы пойдём на дело?

Тут разбойники захохотали, да так громко, что и кусты вокруг закачались, и главный разбойник тоже от них не отстал.

– Ишь ты, маленький шельмец, на дело ему захотелось!.. Ладно. О деле поговорим потом. А сейчас: ты, Микеле, иди-ка на пост, а остальным – спать.

И хотя время было совсем не позднее, никто не возразил, и скоро в лагере разбойников ничего не было слышно, кроме обычного храпа.

Он тоже отправился спать, но заснуть он не мог. Что-то ему говорило, что вот сегодня и начнётся то самое приключение, которого он так ждал с самого первого дня у разбойников. Под конец он уже так устал от этого ожидания, что стал засыпать. Но в этот момент чья-то рука взяла его за шиворот, слегка потрясла, поставила на ноги, и он услышал: А ну живей, пошевеливайся!

Едва продрав глаза, он увидел, что все разбойники уже проснулись и готовятся куда-то идти – ну, конечно же на это самое дело! Сон вытряхнулся из него мгновенно.

1.5.

И вот они пошли.

Было далеко за полночь. Полная луна освещала сонный, почти беззвучный в эту пору лес. Лесные прогалины и дорожки, куда попадал лунный свет, были освещены как днём, но на стоящие далеко в стороне кусты и деревья лунный свет не попадал, и они были тёмными-претёмными – так и казалось, что за ними кто-то стоит.

Но ему, Буратино, было ни чуточки не страшно: все его мысли были о предстоящем деле, да и потом рядом были Джованнино и Микеле, с которыми он успел за эти дни подружиться – уж они-то его в обиду не дадут!

Они всё шли и шли, и шли, и постепенно ему опять стало скучно – да что же это такое, в самом деле, когда же они, наконец, придут? Но спрашивать он не решался: и Микеле, и Джованнино шли молча, за всю дорогу ни звука не издали, а с другими – ну, тут уж он знал, как быстро разбойники переходят на оплеухи, если к ним пристаёшь.

Наконец, они подошли к опушке леса и остановились недалеко от неё перед высоченным деревом – таким высоким, что сколько он, Буратино, ни задирает голову, а верхушки не было видно.

Главный разбойник подозвал его к себе и сказал: Полезешь сейчас на дерево, да повыше, устроишься на крепкую ветку и будешь оттуда смотреть во все стороны, не появились ли откуда солдаты. Как увидишь что – засвистишь, уж это-то ты, сдаётся мне, умеешь! Когда вернёмся на это место, свистнем тебе, и ты спустишься. А до тех пор – сиди и смотри по сторонам, да внимательно. И гляди у меня: заснёшь – голову оторву!

– Заснуть – да как они могут такое подумать?! Он, Буратино, заснёт на посту?! – Но вслух он не сказал ничего.

Микеле поставил его к себе на плечи, он ухватился за ближайшую ветку, подтянулся и полез вверх.

Ух, и страшно же ему было, особенно вначале! Но он всё равно лез и лез, а разбойники делались всё меньше и меньше. Наконец, он нашёл толстую ветку, уселся на неё и огляделся.

Вот уж чего он не думал так не думал – что он по деревьям лазать умеет! Молодец, Буратино!

Он ещё раз огляделся по сторонам, посмотрел вниз – нет, никого не было. Разбойники за это время ушли – ну и быстрые же они! Подождали бы хоть, пока он устроится – так нет тебе! Он ещё раз огляделся по сторонам, потом ещё и ещё раз. Никаких солдат ни вблизи, ни вдали, но и разбойников тоже не было видно.

Когда же они появятся? Сами же сказали, что скоро придут, так чего же не идут? И сколько же ему ещё тут сидеть? Скорее бы уж пришли, свистнули бы ему, он бы мигом слез с дерева, а потом они пошли бы вместе обратно к их костру – он ещё не остыл, наверное! – где ещё осталась со вчера баранья похлёбка, да и целый бараний бок – он сам видел! – и он, Буратино, поел бы похлёбки и немножко от бараньего бока и послушал бы, как разбойники рассказывают про дело, на которое они сегодня ходили!

А потом бы все пили ром и ему бы дали немножко – чего там ни говори, а эти разбойники совсем-совсем не жадные! А потом бы его уложили спать – и он бы спал и спал, и ещё спал. А вместо этого: сиди тут и сиди, да ещё во все стороны поворачивайся!

Его так захватили эти мысли, что он и не заметил, как засыпает.

Вдруг он услышал тихий свист.

Свист повторился, потом раздался ещё раз – на этот раз погромче.

Он вздрогнул, открыл глаза, посмотрел вниз – и онемел от страха: внизу, недалеко от дерева, на котором он сидел, стояло трое солдат с ружьями, и один из них – это он, Буратино, видел со своей ветки так хорошо, как если бы стоял на земле – громко свистнул и сделал жест кому-то невдалеке.

Тотчас же из-за кустов, росших неподалёку, отделилось ещё несколько солдат – все они были с ружьями – и все сгрудились около дерева. Было видно, как один солдат – наверное, главный – что-то сказал другим, и они отошли кто куда к соседним кустам и, видимо, спрятались там. Потом и сам главный солдат куда-то исчез – тоже, наверное, спрятался, так что под деревом вскоре никого не осталось. Во всяком случае, как он, Буратино, ни вертел головой, никого он под деревом не увидел.

Теперь, когда солдаты ушли, страх его не только не ушёл вместе с ними, но наоборот – охватил его целиком с головы до пят. А тут ещё он издалека заметил возвращающихся разбойников.

Он хотел было что есть силы засвистеть – уж это-то он умел, никто в их школе – да чего там в школе, на всей улице! – не мог так здорово свистеть в три пальца! Но сейчас из его рта вылетало одно шипение.

А разбойники между тем приближались – вот сейчас они пройдут мимо кустов, где спрятались солдаты. Он попытался ещё раз свистнуть, и на этот раз свист получился как следует, потому что разбойники остановились вдалеке и стали совещаться. Но потом они, видимо, всё же решили идти к дереву – ему, Буратино, было видно с его ветки, как они идут.

Шли разбойники медленно, осторожно, осматриваясь по сторонам.

Всё вокруг молчало, и он вдруг подумал, что, может, солдаты просто ушли – кто их там знает? Ну, а если и не ушли, а только спрятались – ну и пусть себе прячутся! Разбойники их не побоятся! Всех до одного победят! А потом отнимут у них ружья и отправят по домам, да ещё каждому по золотой монетке дадут, как тогда было, когда разбойники карету с королевской казной захватили!

И от этой мысли ему, Буратино, вдруг стало ужасно весело. Он так и видел, как солдаты бросают свои ружья и уходят домой. А тогда ему, может быть, достанется ружьё – настоящее! – и он будет из него стрелять, как самый заправский разбойник! Именно! Разбойники ему ничего не пожалеют – подарили же они

ему и нож, и пистолет, и курточку, и кожаные штаны, и сапоги! Ах, шли бы они скорее, что ли, а то ему уже надоело тут сидеть!

И вдруг весь лес огласился криками и странными звуками, доходившими до него как "Тр-р-рах-пах-х-х-па-х-х...", и он увидел как из-за кустов выбегают солдаты и гонятся за разбойниками, а те убегают и отстреливаются.

И, не думая уже о том, что он делает, он прыгнул с ветки, на которой сидел, на нижнюю ветку, с неё – ещё на нижнюю, оттуда – ещё ниже, потом ещё и ещё – и наконец, обняв, сколько мог захватить, ствол дерева, сполз с него, спрыгнул на землю – и что было силы побежал туда, где, как ему казалось, не было никаких солдат.

На бегу он увидел, как Джованнино, Микеле и ещё кто-то из разбойников бегут вглубь леса. – Джованнино! Микеле! Куда же Вы? – закричал он, видя, как разбойники, забыв про него, улепётывают от солдат. – Что же вы бросаете своего маленького братишку Буратино?

Но куда там! Разбойники разбегались как зайцы во все стороны, солдаты бежали за ними и стреляли.

Вот уже Джованнино, словно наткнувшись на что-то, со всего размаху шлёпнулся на землю, да так и остался лежать. Вот солдаты поймали Микеле и связывают ему руки, вот откуда-то издали раздался голос: Гляди, ещё один!

Сейчас наступит его, Буратино, очередь!

Он подбежал к ближайшему кусту, залез в него как можно глубже и сидел теперь в нём тихо, какмышь. Он уже не думал о том, что в кусте может быть змея – он вообще ни о чём не думал и только слышал, как время от времени в воздухе раздаётся "Тр-р-рах-пах-х-х-па-х-х... Тр-р-рах-пах-х-х-па-х-х..." – и чьи-то крики – то ли солдат, то ли разбойников.

Потом он услышал, как кто-то совсем рядом сказал: А ну-ка, поищите в кустах, да как следует! Сдаётся мне, что кое-кто из бандитов мог там спрятаться – гляди, какие они густые, эти кусты! Сейчас, его увидят! Он вжался в куст как только мог, затаил дыхание и сидел, не двигаясь, видя сквозь листву, как солдаты обыскивают куст за кустом.

Они обыскали уже несколько кустов, никого не нашли и, видимо, собиравшись уходить.

Вдруг какой-то голос у него за спиной громко сказал: А-а-а-х, вот ты где, маленький негодяй! Ловко же ты спрятался! Ты погляди только, куда он залез! – и чья-то рука схватила его за шиворот и потянула к себе.

Он извивался как угорь, пытался уцепиться за землю ногами, когда его тащили, в конце концов изо всех ухватился обеими руками за ветки куста, дико закричал – и проснулся.

Сердце его билось где-то у самого горла. Он прислушался: в комнате было тихо.

Потом он осторожно высунул из-под одеяла голову и медленно осмотрел комнату. В ней стало ещё темнее чем было, когда он заснул. Фонарь с улицы уже не светил – видно, погас на ветру.

Медленно, осторожно встал он с топчана, ещё раз оглядел комнату, потом так же медленно, стараясь как можно тише ступать, подошёл к столу, на котором стоял котелок с водой, и отпил из его немного, оглядываясь после каждого глотка.

Потом он подошёл к двери, подёргал её – нет, дверь изнутри не открывалась, недаром папа, когда уходил, запирает дверь на крепкий-крепкий замок.

Он отошёл от двери, поглядел в окно, за которым, кроме качавшегося фонаря да время от времени мелькавших силуэтов прохожих, ничего не было видно. Потом он медленно обвёл глазами комнату, проверил, не спрятались ли кто под топчаном, заглянул под стол и за печку.

Страх его понемногу утих, и тогда он, всё ещё стараясь как можно тише ступать, подошёл к топчану, забрался под одеяло, подоткнул его под себя, и долго лежал, не двигаясь, ожидая, когда наконец раздастся знакомый скрип открываемой двери, в комнату войдёт папа – и всё будет опять хорошо.

Папа принесёт чего-нибудь поесть и они вместе сядут ужинать, а он, Буратино, расскажет ему свою историю про разбойников, и папа будет всё время вздыхать, а в конце концов скажет: Вот видишь малыш: озорство да проделки до добра не доводят! Долго же должен жить ещё папа, чтобы увидеть тебя хорошим работающим мальчиком. Эх, малыш, малыш!

А он, Буратино, всё равно будет улыбаться и всё равно будет любить папу.

Но папа всё не приходил, и Буратино постепенно устал от думания и от лежания. Мысли его стали затуманиваться и он заснул.

II.1

Он увидел себя стоящим на просёлочной дороге, по обе стороны которой, сколько хватал глаз, тянулись поля, кончавшиеся с каждой стороны лесом.

Как он, Буратино, тут очутился – это было ему непонятно, но задумываться времени не было: из-за леса и с той, и с другой

стороны выбегали люди и бежали по полю, размахивая руками и что-то выкрикивая – бежали туда, где он стоял.

Он уже хотел было задать стрекача, но куда там: и с обеих сторон дороги тоже бежали люди, и тоже к нему. И они тоже размахивали руками и чего-то такое выкрикивали. Тут уж не побежишь!

А бегущие были всё ближе и ближе, и теперь он уже смог разглядеть, что у одних были в руках охапки цветов, у других какие-то флажки, и что они махали кто цветами, кто флажками во все стороны, а ещё – что лица у всех бежавших были совсем не угрожающие, а совсем даже наоборот – радостные и весёлые.

– Ну и историйка! – подумал он. – И чего это им всем от меня надо?

Наконец, передние из бегущих приблизились настолько, что он уже мог разобрать, что они такое кричат. А кричали они вот что: "Да здравствует наш король Буратино Первый!"

Тут уж он совсем удивился.

– Буратино Первый, Буратино Первый. Так ведь... так ведь Буратино – это я и есть! А причём тут какой-то король, да ещё и первый? А если есть Буратино Первый, то тогда есть и Второй, а может быть, и третий и... – а какой же тогда я? Чепуха какая-то получается! Нет, тут что-то не так!

Между тем люди, продолжая кричать про Буратино Первого, окружили его плотным кольцом. И вдруг, стоящие близко к нему, подхватили его на руки и принялись подбрасывать вверх, крича: "Ура Буратино Первому! Ура нашему королю! У-ра! У-ра!"

Сперва это ему очень нравилось. Ну и здорово же было лететь вверх, а потом ухать вниз под крики "У-ра!" и самому при этом кричать "у-у-ухх!", и чуть-чуть бояться, что тебя не успеют подхватить и ты ка-а-ак шмякнешься о землю! – но конечно, бояться только чуть-чуть, а на самом деле он, Буратино, ни вот столечко не боялся – и чего там бояться!

Да-а-а, и подбрасывали и ловили его они-таки здорово – ничего не скажешь!

Но потом эти подбрасывания и уханье вниз ему как-то надоели. Вдобавок у него ещё начала кружиться голова и засосало под ложечкой. А его подбрасывали и подбрасывали, и засыпали цветами, так что он под конец только и делал, что головой вертел, отряхивая цветы, которые не то что видеть – и дышать мешали.

Он уже крикнул им несколько раз: Да хватит вам! Довольно! Не хочу больше! – а они всё никак не могли угомониться.

Наконец полёты вверх и вниз кончились. Теперь его плавно несли куда-то на руках – и вот тут-то до него вдруг дошло, что все эти самые "Ура!" – это ведь не для кого-нибудь, а именно для него, и что король Буратино Первый – это он-то самый и есть! Он!

– Ух ты, – подумал он, – вот это да! Это приключение так приключение! Не какие-то тебе там разбойники!.. Что – разбойники? Хвастали-перехвастали: никого, мол, не боимся, всех победим! Сам, мол, король нас боится!.. Боится, как же – держи карман шире! Пришли вон королевские солдаты и – раз-раз – похватили всех разбойников. А те улелётывали от солдат как зайцы, и его, Буратино, бросили! И никто-никто из разбойников ему не помог, когда солдаты его за шиворот из куста тащили.

Да и солдаты эти самые тоже хороши! Тоже, небось, хвастают: мол, мы да мы, да сами с усами – а на деле? Куда им скажут, туда они и идут, что им король прикажет, то и сделают. А не сделают, так зададут им хор-рошенькую трёпку!

Зато вот теперь он – король. И уж теперь-то его точно никто тащить за шиворот не будет – не посмеют, небось! И солдаты эти самые будут его слушаться, а он им что захочет, то и прикажет! Так-то вот! Ах, и хорошо же это – быть королём!

Между тем люди, нёсшие его на руках, внезапно остановились, а когда он приподнялся, чтобы посмотреть, что же там такое случилось, то увидел стоявшую на дороге карету – да, да, самую настоящую карету – и какую! Вся она была из золота и блестела на солнце так, что глазам больно.

Но это ещё что! В карету были впряжены целых шесть лошадей – одна другой красивее, и уздечки у лошадей были, наверное, тоже из золота, а когда лошади переминались с ноги на ногу – скучно, что ли, им было стоять на одном месте? – было видно, что подковы у них тоже золотые – ну, или какие-нибудь ещё – но блестели они на солнце как золотые, не хуже чем карета.

Но и это было ещё не всё! По бокам кареты было по четыре конных солдата в красивой форме из красного сукна. На шапке у каждого было длинное разноцветное перо, а в руке – сабля, и не какая-нибудь там деревянная, какую как-то раз папа ему из старого полена сделал, а самая что ни на есть настоящая! И сабля эта самая тоже блестела на солнце – и как!

Всё было точь в точь как на картинке из книжки про то, как король приезжает в их город. Там была такая же красивая золотая карета и такие же солдаты на конях, и даже сабли блестели так же. Но то было на картинке и для какого-то другого

короля, которого он, Буратино, кроме как на картинке, никогда и не видел. А тут – нате вам! – наяву, и для него, Буратино!

И всё-таки он решил это дело проверить – а может, ему это просто снится? Он зажмурил глаза, потом медленно открыл их – ни карета, ни солдаты на конях не исчезли. Тогда он ещё крепче зажмурился, потом быстро открыл глаза – нет, всё было на месте.

Ну, теперь всё было ясно: это не сон, а самое что ни на есть настоящее приключение. Настоящее!

От этой мысли ему стало так весело, что ему ну просто ужасно захотелось просвистеть какой-нибудь весёлый мотивчик – а лучше всего песенку, которую он сам про себя сочинил. Но потом он подумал, что, может быть, королю этого делать не полагается, и решил пока помолчать и посмотреть, как оно будет дальше.

Долго ждать ему, впрочем, не пришлось. Дверца кареты приоткрылась, из неё выглянул кто-то, чьего лица он не успел рассмотреть, и, видимо, что-то сказал, потому что люди, державшие его, Буратино, до сих пор на руках, поднесли его к карете и медленно, бережно – ну и ну! больной я, что ли?! – поставили на землю как раз перед каретой.

Теперь дверца кареты открылась уже настежь, и из кареты вышел одетый в зелёный плащ с какими-то замысловатыми узорами маленький, сухонький человечек, похожий на сморщенный гороховый стручок – даже лицо его и руки были какими-то зелёными – ну, надо же!

Сходство было таким сильным что он, Буратино, еле сдержался, чтобы не расхохотаться или не сказать этому стручку чего-нибудь этакое! Ну, например "Старичок-сморчок – гороховый стручок!"

Между тем человечек, склонившись, сказал, что он – королевский камергер, счастлив видеть своего короля и что он просит Его Величество Буратино Первого подняться в карету, которая и отвезёт Его Величество во дворец.

Ну что ж – во дворец так во дворец!

И они поехали.

Уже в пути этот самый камергер, предварительно несколько раз откашлявшись в свой маленький зелёный кулачок, сказал – нет, ну вылитый гороховый стручок, даже и слова, кажется, шуршат у него во рту как зёрнышки в сухом стручке гороха, а потом он их выплёвывает – ну и забавно же! – что ему, Буратино, хорошо бы уже в карете переодеться в королевскую одежду. Что он, Буратино, и сделал.

Теперь на нём были замечательные красные, бархатные, чуть-чуть раздутые штаны до колен, подпоясанные поясом с золотой пряжкой, и расшитая золотыми узорами курточка, и башмаки с золотыми пряжками, на каждой из которых была видна большая буква "Б" – ну, тут он сразу догадался, что эта самая буква означает: "Буратино".

И курточка, и штаны были ну точь в точь на его размер, ни маленькие ни большие – не то, что тогда у разбойников: хоть и были штаны, которые они ему подарили, тоже красивые, да и курточка была хороша, ничего не скажешь – а всё-таки не впору! А тут – всё как раз, ну надо же! И пряжки на башмаках – как же они здорово блестят – хоть так ногу поверни, хоть эдак!

Ах, если бы видели его сейчас мальчишки с их улицы – или учитель в школе, который вечно к нему, Буратино, придирался: и это ему не так, и то не нравится. Небось, сейчас бы всё понравилось.

А ещё – а ещё хорошо бы, если бы его увидел папа! Теперь-то уж он бы не говорил своё обычное: "Эх малыш, малыш! Всё-то тебя к развлечениям тянет! Не доведут они тебя до добра, ох, не доведут!" Уж папа бы удивился – ух!

Да-а-а... а где же сейчас папа? Чинит, наверное, как всегда, чьи-то старые столы и стулья. Ничего: он, Буратино, сейчас король, и как только он приедет во дворец, сразу же прикажет, чтобы отыскиали папу. И папу, конечно, отыщут, и он, Буратино, подарит папе много-много денег, и папа станет самый богатый и не будет больше чинить старые стулья, а будет сидеть в своём деревянном кресле – пусть оно и старое, но страшно удобное! – курить свою трубку и думать про то, какой у него умный сын Буратино.

А ещё он подарит папе красивую курточку и новые штаны и... – и башмаки с золотыми пряжками. И ещё папа не будет никогда-никогда больше ложиться спать голодным и не будет говорить: "Ничего, завтра вот заработаю немного денег, купим хлеба, поедим всласть. Ну а сегодня – сегодня уж придётся лечь спать голодным. И то не беда, пока руки-ноги на месте".

Между тем карета подъехала к большущему дому – такому огромному, какой он, Буратино, ещё ни разу жизни не видел. Он уже хотел спросить, что это за дом такой, но его спутник опередил его:

– Мы у дворца Вашего Величества – проскрипел он. ...Да именно так. Ваше Величество изволили правильно сказать – у Вашего дворца...

Перед домом стояло множество празднично одетых людей с цветами в руках, а перед ними на лестнице стояли три человека в длинных, красных с жёлтыми кантами, плащах нараспашку. За поясом у каждого висел нож – длиннющий и тонкий- претонкий. Такого и у разбойников не было.

По всему было видно, что эти трое – ух, и толстые же! эти уж точно не ложатся спать голодными! – в чём-то главнее тех, кто стоял подальше.

Он уже хотел спросить своего спутника, что кто эти трое, как карета, подъехав к ним почти вплотную, остановилась, его спутник открыл дверцу, спустился, помог ему выйти из кареты, взойти на лестницу, и сразу отошёл в сторону.

Теперь он, Буратино, смог лучше разглядеть эту троицу – и от него не укрылось, что они хоть и сладко улыбались, а глаза у всех троих были хитрющие-хитрющие. Что -то тут было не так.

– Мы счастливы видеть Ваше Величество, – сказал тот, что стоял слева. – Мы – это я, первый министр королевства, это господин главный королевский судья – да, да, Ваше Величество, Вы верно угадали, именно он – и господин гофмейстер. Первые люди королевства и Вашего Величества верные слуги – при этих словах он как-то особенно переглянулся с двумя остальными, и во взгляде его мелькнуло что-то кошачье – ну, а может быть, это ему, Буратино, так показалось.

Но раздумывать было некогда, и он, сопровождаемый своими спутниками, сошёл с лестницы и подошёл к толпе.

Ну, здесь повторилось то, что уже было. Люди кричали "Ура Буратино Первому!" забрасывали его цветами – хорошо ещё, что не подхватили на руки и не принялись подбрасывать – ну, да его спутники никого к нему уж особенно близко и не подпускали.

Так они дошли до первых ступенек лестницы поднялись по ним и наконец! – уф-ф-ф! – зашли внутрь.

И устал же он сегодня от всех этих криков, от подбрасываний, и от всех этих "Ваше Величество... Ваше Величество" – а кроме того, ему ужасно захотелось есть. Ну хоть чёрствой корочки бы дали – и то ничего.

Но какое там!

Прежде всего его спутники повели его по дворцу. И в каждой комнате им надо было обязательно задерживаться и чего-то пусть коротко, но оттого не менее нудно рассказывать, так что под конец он уже плохо помнил, для чего служит предыдущая комната – а уж о тех, что видел перед ней, и говорить нечего.

Названия "малый кабинет Вашего Величества", "большой кабинет Вашего Величества", "малый зал для приёмов", "средний

зал для приёмов", "музыкальный кабинет" мелькали в его голове, и в конце концов смешались в одну кучу.

Но две комнаты ему всё же запомнились: "тронный зал" и "столовая".

Тронный зал был огромный. В нём стоял красивый стул – точно такой, какой был на картинке в его школьном букваре. Только вместо какого-то другого, ему, Буратино, неизвестного короля, над тронном была надпись "Буратино Первый". А у стен были зеркала, и от многочисленных отражений этот самый тронный зал казался ещё больше, чем был на самом деле – а уж большим-то он был и без этого.

А в столовой стояли тарелки, и около них лежали ложки, ножи и вилки – интересно, дадут ему тоже такую тарелку и что в ней будет: может быть, каша, а может, даже и суп? Скорей бы дали что-нибудь поесть!

Он уже почти не выдержал и вот-вот хотел попросить, чтобы ему, наконец, дали поесть, но вдруг подумал, что короли, кажется, никогда ничего не просят, а только говорят – м-м-м... что же они такое говорят, когда чего-то очень хотят? Но, как он ни старался, никак не мог это вспомнить, и потому решил подождать.

Наконец они обошли, кажется, все комнаты, вернулись к столовой, и кто-то из его спутников – кажется, гофмейстер – сказал: А теперь, если Ваше Величество не возражает, будет подан праздничный обед. Может быть, у Вашего Величества будет какое-нибудь особенное желание?

– Особенное желание, особенное желание! Да всё, что угодно, лишь бы поскорее! – хотел было сказать он, но вместо этого быстро произнёс: Особенное желание? Да. Я хочу... полную большую тарелку каши... каши... – медленно, неуверенно добавил он, заметив, как трое его спутников переглянулись, – с... маслом... и с... с вишнёвым вареньем.

Тут уж трое его спутников обменялись друг с другом такой откровенно ядовитой улыбкой, что ему так и захотелось дать каждому по хор-рошенькой оплеухе – этому он у разбойников быстро выучился. Знали бы тогда, как на ним, Буратино, смеяться! Задавали несчастные!

– Но, Ваше Величество – произнёс гофмейстер сладким голосом – короли не кушают кашу. ...Да, именно так – не кушают. Даже с вареньем. ...Что же они тогда кушают? О, я уже позаботился о самых лучших кушаньях для Вашего праздничного обеда, так что... ..Нет, нет, мы и не думаем с этим медить: праздничный обед начнётся сейчас же, немедленно.

Обед и в самом деле был отличный! Чего только на столе не было – и жареные цыплята, и варёная курица под соусом, и куриный бульон с яйцом – как оно ни увёртывалось от его ложки, в конце концов он всё-таки его поймал и отправил в рот – ну и вкусное же оно было! И ещё на столе был хлеб, и брать его можно было сколько угодно. И был он мягкий-мягкий, белый-белый и ужасно вкусный.

Ах, и хорошо же это было – стать королём!

...Интересно, а завтра, когда будет простой обед, а не этот самый праздничный – завтра тоже будет так же много всего – ну, пусть не всего, а вот... суп с яйцом – хорошо бы, если бы его и завтра дали. И хлеб к нему, и соус, чтобы в него хлеб макать...

А потом его повели в спальню, раздели и уложили на кровать. Ну, и огромная же она была, а главное: совсем-совсем не скрипела. Не то, что их с папой старая развалюха- топчан, в котором, когда на него ложились, всё скрипело и каждая досочка, казалось, говорила: “О-х-х! О-х-х! Отжила я свой век, а меня всё не оставляют и не оставляют в покое. Будет ли этому конец?”

А когда все вышли, он даже немного попрыгал на кровати, чтобы попробовать, что будет. Но, как бы высоко он не подпрыгивал, ничего особенного не случилось. А потом он улёгся, закрылся одеялом и заснул.

На следующий день после завтрака главный королевский казначей – маленький, худой как жердь, одетый во всё чёрное человек – показал ему королевскую казну.

...Да, на это стоило посмотреть! Вдоль каждой стены невысокого, но у-у-ух! какого длинного подвала – конца его в свете факела даже не было видно! – стояли сундуки и сундуки, и сундуки, и опять сундуки – и каждый-каждый был доверху полон золотыми монетами! И как же они чудесно блестели!

Тут он сразу вспомнил про папу и подумал, что когда никто не будет знать, он один придёт сюда и набьёт карманы золотыми монетками – подумаешь, что мало их что ли? никто и не заметит! А потом он пошлёт за папой карету, и когда папа приедет, он, Буратино, подарит ему все эти монетки.

...Или нет: лучше он прикажет отвезти его в карете к папе: пусть все эти задавалы - мальчишки с их улицы, которые ещё смеялись на его рваными штанами и залатаной- перелатаной курточкой – как будто у самих было что-то получше! – пусть они все видят, что он теперь не кто-нибудь, а король – вот так! Небось, и они сейчас будут кричать: “Ура Буратино Первому”. А захотят, как прежде, дразниться, так им солдаты та-ак зададут!..

А потом он пойдёт в их старый подвал, а там будет сидеть папа и вздыхать, куда же это его сынишка Буратино запропастился, а он войдёт и скажет: Папа, я теперь король, и принёс тебе много золотых монеток, – а папа очень обрадуется. А потом они поедут в карете во дворец, и он устроит для папы праздничный обед, и папа будет есть за обедом суп с яйцом и жареного цыплёнка, и будет не такой грустный, как обычно, а наоборот – очень весёлый.

– Ну и здорово же это я придумал! – сказал он себе. – Молодец, Буратино!

А когда они поднялись наверх – ох и глубокий же был подвал, где эта самая казна находилась, вниз-то ещё было ничего, а наверх – ох-х-х! – лестница за лестницей, лестница за лестницей – то сразу был подан королевский обед.

И пусть он уже не назывался „праздничный“, а был не хуже вчерашнего, и вкусных вещей было на столе, кажется, не меньше, и он все-все перепробовал, так что в конце обеда ему вдруг захотелось спать. Но он, конечно и виду не подал: нехватало ещё чтобы эти задавалы – гофмейстер и королевский судья, да и первый министр этот тоже хорош! – над ним посмеялись.

Нет, всё-таки хорошо быть королём: каждый день можно обедать, и никто тебе не скажет “того нельзя, этого нельзя, а этого только немножко: и завтрашний день тоже есть!”

...Интересно, а откуда эти самые короли берут деньги? И что они делают, когда их казна кончается? Ну, ему-то это не грозит – а всё же интересно...

II.2.

Следующий день, однако, начался не очень хорошо: после завтрака первый министр сказал, что теперь надо заняться делами королевства и что надо много чего сделать...

Сделать? То есть... работать? Ему, Буратино, предстоит работать? Это ещё почему? Разве... разве короли работают? Что, у них денег не хватает, что ли? Ну, может, у кого-то и не хватает, но у него!!

Но он всё это только подумал про себя, а вслух сказал: “Работать так работать!” – а потом подумал, что, может быть, королевская работа окажется интересной – кто его там знает? Уж во всяком случае это не то, что старые стулья чинить!

Ну и ошибся же он! Оно конечно – помогать папе чинить старые стулья или какие-то там ещё развалюхи было тоже не очень-то приятно – не развеселишься! Знай подавай ему то ножку от стула, то ещё какую-нибудь деревяшку, то банку с клеем, а то вообще стружки в мешок собирай.

Но всё равно эта работа была лучше королевской! Да и интереснее тоже! Не нашли ничего лучше, как заставлять его, Буратино, читать всякие дурацкие бумажки!

Но не тут-то было!

Он быстро сообразил, что этот самый первый министр – большая задавала и хитрюга, и хочет над ним просто посмеяться, показать что, он, Буратино, и читать-то как следует не умеет, а ещё король называется.

– Надо мной посмеяться? Фигушки тебе! – подумал он про себя и приказал первому министру, чтобы тот ему сам бумажки читал, и тот послушался как миленький! Ещё бы не послушался!

И всё равно это было скучно-скучно, нудно-нудно, а ещё хуже было то, что о каждой бумажке он должен был сказать первому министру, что он, Буратино, по этой самой бумажке решил! А у него уже после первых двух бумажек – ну и длинные же они были! – голова распухла!

Но он и тут придумал хитрость – сказал первому министру, чтобы тот сам всё решал, а ему, Буратино, только бы бумажки читал. И тот сразу согласился и даже в улыбке расплылся – кто его там знает, может быть, он и не такой уж и задавала?

Но под конец и это ему, Буратино, смертельно надоело, и он только и думал о том, когда же это кончится, когда же начнётся обед, и что сегодня на этот самый обед дадут – ну, не то, чтобы ему уж так хотелось есть, но всё-таки это было бы хоть какое-то развлечение.

Назавтра повторилось то же самое – завтрак, потом эта чёртова работа с бесконечными бумажками, в которых кто-то чего-то просил, кто-то на кого-то жаловался, кто-то чего-то такое сообщал – уф-ф-ф! и когда же это мучение кончится? – и только потом обед. А после обеда – опять работа. Стоило ради такой жизни становиться королём!

Но зато в конце недели его терпение было вознаграждено. Уже накануне первый министр сказал ему, что завтра предстоит поездка нового короля – то есть его, Буратино! – по стране!

Поездка по стране – это кажется, будет действительно интересно! И уж в поездке-то ему наверняка не нужно будет работать!

...А интересно – в какой карете они поедут – в той золотой, в которой он во дворец приехал, или в какой-нибудь другой? Та была очень красивая – хорошо бы, если в той! А кто с ним поедет? Лучше бы, если бы он ехал не один... Можно поехать, например, с первым министром или с гофмейстером или с

королевским судьёй. Они, конечно, воображали и хитрюги – ну, может, первый министр и не так, а те другие наверняка – но всё же в компании как-то интересней...

...А ещё... да, а где же он будет обедать? Ведь в карете такой большой стол, какой стоит в столовой во дворце, не поместишь, а если нет, то где же все эти блюда с супом и с жареными куропатками и со всеми другими вкусными вещами поместятся? Или везде, куда они приедут, будет такой же дворец, как у него здесь, и такая же большая столовая?

Хорошо бы спросить этого самого первого министра – или нет, лучше подождать, пока он сам скажет, а то ещё подумает: король, а таких простых вещей не знает...

Он так волновался, как же всё это будет, что всю ночь не мог сомкнуть глаз, и только под утро, незаметно для себя, уснул. Напрасно волновался – поездка удалась на славу!

Он ехал в золотой карете – та ли это была, в которой он в первый раз приехал в свой дворец, или нет, он так и не понял, да и какое это имело значение, когда стоял такой ясный солнечный день, когда всё вокруг так и сверкало – даже сабли у солдат блестели так, что казались золотыми!

А вдоль всей дороги, по которой он ехал, стояло много-много людей, и они размахивали флажками, на которых был нарисован, он, Буратино, и кричали “Ур-ра Буратино Первому! Да здравствует наш король!” – а он бросал в толпу золотые монетки. Ну, не здорово это было, а?

Нет, всё-таки замечательно быть королём – пусть он и должен читать все эти нудные бумажки. Подумаешь – почитал день, почитал два – ну, пусть даже три! – а зато потом можно отправиться вот в такую поездку! Даже и первый министр с гофмейстером и королевским судьёй – они – ну как же, как же! – ехали вместе с ним – не показались ему в этот раз такими уж хитрюгами и воображалами. И, что бы он ни спросил, они не переглядывались больше друг с другом, как тогда, и не улыбались так противно. А может, тогда ему всё только показалось?

II.3.

...Постепенно он полюбил эти поездки. Ему нравилась уже самая подготовка к ним, нравилось, как все вокруг уже задолго до поездки начинали суетиться, заботиться о том, чтобы ему было в дороге удобно, чтобы ни в чём не было недостатка.

Ему нравилось, как его спрашивали – и почтительно, всегда прибавляя при этом “Ваше Величество!” – о том, что ему в дороге было бы особенно приятно, нравилось видеть новые места, нравилось то, как его подданные с весёлыми лицами махали ему

руками и кричали "Ура Буратино Первому!", как забавно они подпрыгивали, пытаясь уже в воздухе поймать монетки, которые он целыми пригоршнями бросал в толпу из окна кареты – это было и в самом деле очень, очень забавно!

Ему нравились их подарки – они всегда подносили их так приятно, так почтительно! А некоторые даже падали перед ним на колени – да, да! – и просили его, чтобы он милостиво принял их дар. Эти-то уж точно любили своего короля – то есть его, Буратино!

Но и он не оставался перед ними в долгу, и всегда давал каждому золотую монетку, что бы ни говорили ему при этом его первый министр или гофмейстер или главный королевский судья – а они всегда сопровождали его в дороге и говорили всегда одно и то же: Ваше Величество так добры, так добры! Но казна Вашего величества – эта казна может опустеть!

Но он их не слушал. Подумаешь – первый министр! Подумаешь – королевский судья! Воображалы! Как будто бы не он был здесь главный! И назло им он давал некоторым, кто ему особенно нравился, целых две золотых монетки, а если золотые в дороге и кончались, то две медных – они блестели на солнце не хуже золотых!

II.4.

Как-то он отправился со своими обычными спутниками – королевским судьёй, первым министром и гофмейстером – в одну из таких поездок.

Стоял пасмурный день, и из унылого серого сплошь покрытого тучами неба сыпался мелкий дождь. Карета медленно, то и дело останавливаясь, ехала по дороге – если это грязное месиво, в котором постоянно увязали колёса, можно было назвать дорогой.

Картина за окном была скучной-прескучной: куда хватал взгляд, были только поля и поля. Хоть бы один появился – но нет, ни одного в виду не было. Как назло! Попрятались они что ли? Да как они смели! Подумаешь – дождь! Целое дело! Вот если бы первый министр ехал или королевский судья или этот гофмейстер – ишь, как вырядился! тут ему казны не жалко! – если бы они ехали и все бы попрятались – это было бы оч-чень хорошо: знали бы в следующий раз как воображать! А то он – Буратино! – едет – и люди хоть бы хны!

Ладно, он вот приедет во дворец, узнает, кто это его встречать не вышел – они ещё поплачут! Уж им-то он и железной монетки не даст, не то что золотой. Так вот!

Но он всё равно то и дело выглядывал из окна кареты, надеясь всё же увидеть хоть что-нибудь интересное. Постепенно ему стало скучно, потом очень скучно, потом – ужасно скучно. Он уже хотел крикнуть: "Надоело! Возвращаемся обратно!", когда, в очередной раз выглянув из окна, увидел странное зрелище.

По просёлочной дороге ехало в отдалении, позади кареты, несколько повозок, на которых, насколько он мог разглядеть сквозь густую сетку дождя, сидели люди разного возраста; среди них было несколько детей. По бокам медленно ехавших повозок шли солдаты с ружьями наперевес.

Он приказал остановить карету и теперь, когда повозки приблизились, мог лучше разглядеть сидящих в них людей. Некоторые из них плакали, другие сидели, безучастно смотря перед собой; какой-то старик грозил небу кулаком и что-то кричал, но на него никто не обращал внимания. Дети тесно прижимались друг к другу, ища защиты от холода и дождя. Солдаты в насквозь промокших от дождя мундирах шли медленно, опустив голову, глядя себе под ноги; их сапоги с хлопьями опускались в раскисшую от дождя дорогу.

Он уже хотел спросить, куда эти люди едут, с чего это они такие невесёлые и почему они его не приветствуют. Не знают они, что ли, что он, Буратино, уж-ж-жасно не любит, когда кто-то нюнится?

Но первый министр опередил его. – Ваше Величество, Вы, возможно, хотите спросить, куда эти люди едут? Они едут... они едут на казнь, Ваше Величество. ...На какую казнь?

Первый министр уже хотел ответить, но его опередил королевский судья: Ваше Величество, они едут на... свою собственную казнь. Им сегодня – да, Ваше Величество, как это ни грустно, но сегодня каждому из них... отрубят голову. Я по долгу службы должен был бы при этом присутствовать, но счастье ехать вместе с Вашим...

...Что сделали эти бедные, несчастные люди? Ах, Ваше Величество... – Ах, Ваше Величество, – перебил первый министр королевского судью, – это вовсе не бедные, несчастные люди! Это... это ужасные преступники. У меня... – ах, у меня не поворачивается язык, чтобы назвать те преступления, которые совершили эти негодяи.

Он долго терпел эти речи, но под конец стал уже задыхаться от возмущения. Людям собираются рубить головы, а он, Буратино – он, который здесь не кто-нибудь, а король! – он и знать ничего не знает!

– А ну ка, выкладывайте, – произнёс он решительно и для острастки топнул ногой – да, да, Вы! – он ткнул пальцем в грудь первого министра – и Вы, господин королевский судья, да и Вы господин гофмейстер – нечего Вам тут сидеть и в молчанку играть. Выкладывайте всё: что эти люди сделали, за что им отрубят голову! А ну, быстрее и без церемоний, нечего тут рассусоливать, не то я прикажу – и вам отрубят голову! Да, да, всем троим. Вот так!

– Ваше Величество, – сказал королевский судья со слезами в голосе – и двое других повторили как эхо: Ваше Величество, как же мало Вы цените Ваших преданных слуг, что по такому пустяковому поводу... – тут он сделал паузу, но увидев, что первый министр порывается что-то сказать, быстро произнёс: Эти негодяи собирались... свергнуть Ваше Величество! – и двое других повторили как эхо: Да. Именно так. Свергнуть – и потупили глаза.

– Свергнуть? Его, Буратино? Его, которому так весело кричали "Да здравствует наш король Буратино Первый!" Его, который бросал в толпу золотые монетки! Его, Буратино – свергнуть?! Он им покажет "свергнуть!" – и тут он услышал свой голос и понял что, кажется, всё это время думал вслух. – Свергнуть? Меня, Буратино, свергнуть? Я им покажу: "свергнуть"! Это я их всех свергну! Ах, они негодяи!

Именно, именно, Ваше Величество, именно так, как Вы изволили сказать, – произнесли одновременно королевский судья и молчавший до этого гофмейстер – и первый министр поспешил добавить печальным голосом: Именно так, Ваше Величество: негодяи.

Но эти ответы уже не могли его успокоить – наоборот, новый вопрос сверлил его, и он уже опять не заметил, что думает вслух: ...Как, и дети... они... это... тоже? Тоже хотели меня... свергнуть?

– Ах Ваше Величество, – произнёс со вздохом первый министр – это совсем, совсем не дети. Это преступники, и не менее ужасные, чем те, постарше. Эти маленькие негодяи... но – ах, мой язык отказывается это произнести. Но если Ваше Величество настаивает. ...Они называли... эти маленькие негодяи называли Ваше Величество "Буратино-Дуратино-деревянные мозги". И даже сочинили про Вас песенку с такими словами. Но...

– ...Вашему Величеству не надо так расстраиваться! – перебил первого министра королевский судья. – Моими усилиями, – и он обвёл гордым взглядом первого министра и гофмейстера, – моими усилиями преступники схвачены, и сегодня им, как я уже осмелился Вам доложить, отрубят...

Но тут Буратино снова услышал свой голос: Врёте вы всё! Да, вы, кто же ещё! Врёте! Это вас свергнут! Это про вас сочиняют песенки! Это у вас деревянные мозги! И сегодня – сегодня никто никому не отрубит голову! И завтра! И послезавтра! Слышали?

– Но это... это невозможно, Ваше Величество, – в сильнейшем волнении перебил его королевский судья. – Совершенно невозможно, – сказал первый министр и опустил глаза. – Да, Ваше Величество. Совершенно, – вздохнул из своего угла гофмейстер.

Эти задавалы, эти выскочки ещё будут его учить, что можно, а что нет! Забыли они, что ли, что это он здесь хозяин! Да, он! а не королевский судья и не первый министр и не это самый гофмейстер! – Эт-то почему ещё невозможно? – спросил он возмущённым голосом – Я что, не король здесь, что ли?

– Ах, что Вы, что Вы, Ваше Величество! Конечно, Вы король! Конечно – произнёс первый министр сладким голосом. – Но... если Вашему Величеству будет угодно дослушать до конца: Указ о казни этих преступников был подписан Вами ещё неделю тому назад, и...

– Увы! – это соответствует истине, – произнёс медоточивым голосом – сахара они все, что ли, в рот набрали? – гофмейстер. – Правда, Ваше Величество торопились к обеду и не имели поэтому времени вникнуть в суть дела, но... – но тут уж он, Буратино, больше не мог вытерпеть: – Ну и что! – произнёс он запальчиво. – Подумаешь: подписал! Вчера подписал, а сегодня – а сегодня отменил! Целое дело!

– Ах, Ваше Величество, – произнесли почти одновременно первый министр, королевский судья и гофмейстер печальным шёпотом и переглянулись друг с другом. Во взгляде каждого сверкнул на момент жёлтый кошачий огонь – впрочем, столь же мгновенно потухший и уступивший место грустно-медоточивому взгляду.

Но он, Буратино, всё равно всё заметил и ещё подумал про себя: Ну, погодите! Приедем обратно во дворец, я вам всем ещё покажу!

– Ах, Ваше Величество, – продолжил гофмейстер печальным голосом, – это невозможно, совершенно невозможно. Ведь после этого некоторые Ваши подданные – конечно не все, но всё же! – они не смогут верить Вашему королевскому слову.

– И кто же знает, – перебил его королевский судья, – что ещё придумают эти преступники, если Вы их сейчас вдруг помилуете, если их сейчас... если им сейчас не... не отделят голову

от тела. Уверяю Вас, Ваше Величество, королевский палач сделает это самым... самым гуманным образом, эти несчастные негодяи даже не почувствуют ничего! Поверьте мне, я знаю, о чём говорю, я не раз присутствовал при этих... процедурах, и всё бывало так мирно, так тихо и спокойно, что... – но тут он осёкся, потому что Буратино изо всех сил хлопнул кулаком по стенке кареты.

– Я повелеваю, – произнёс он торжественно в полной тишине – кучер принял стук за приказ остановиться и остановил лошадей, так что на мгновение не стало слышно ни скрипа колёс, ни цокота лошадиных копыт, а слышался только шелест дождя за окном да шлёпанье капель о лужи – я повелеваю всех, кто едет в тех повозках – да, всех! слышали вы: всех! – помиловать! Пусть они отправляются по домам. Ну, пошевеливайтесь! И...

– Ах Ваше Величество, – произнёс вкрадчивым голосом королевский судья. Вы так добры к Вашим подданным, так доверчивы... И если бы не моя преданность Вашему Величеству, – тут в глаза ему попал ненавидящий взгляд первого министра, – и не преданность Ваших верных слуг господина первого министра и господина гофмейстера – если бы не это, Ваше Величество было бы не избавлено от многих бед.

– Да, – отозвались эхом первый министр и гофмейстер, – от многих, многих бед.

Но он, Буратино, теперь уж точно знал какие-такие преданные слуги этот самый королевский судья и гофмейстер, да и первый министр тоже. Он их всех на чистую воду выведет! Как только приедут во дворец, сразу прикажет их свергнуть, а ещё лучше – посадить в тюрьму. Пусть посидят, будут тогда знать как людям головы рубить.

...Рубить голову! – бр-р-р – но он уже засыпал, и последнее, что он, засыпая, услышал сквозь шелестение дождя за окном и скрип каретных колёс, был чей-то шёпот – то ли первого министра то ли гофмейстера. "Вы думаете – пора?" "Мне кажется, да. А как Вы считаете, господин королевский судья?" "Что ж, если вы берёте на себя главное, я был бы готов закрыть глаза".

Он было хотел спросить, кто на что собирается закрывать глаза, но уже почти заснувшие губы размыкались плохо, и он только пошевелил во рту языком – и заснул окончательно.

II.5.

Проснулся он среди ночи в своей спальне во дворце от сильного шума и от ощущения, что рядом с его постелью стоят люди.

Он протёр глаза и попытался вскочить с постели, но чья-то рука сжала со страшной силой его плечо, и он услышал

свистящий шёпот: Ещё одно движение, негодяй, и ты умрёшь! Одно только движение или один звук!

В спальне было темно, но глаза его уловили в темноте стоящие по обеим сторонам постели серые тени. Рука, схватившая его за плечо, держала его по-прежнему так крепко, что ни освободиться, ни привстать он не мог.

За дверью послышался шум. Он всё усиливался, потом раздались какие-то отрывистые команды, но слов их разобрать через дверь было нельзя.

Внезапно дверь распахнулась, в спальню вбежало множество людей, в глаза ему ударила резкая полоса света, но тут же раздалась команда "Убрать огонь!"

Комната вновь погрузилась в темноту, и в этой крошечной темноте он услышал голос, показавшийся ему очень знакомым... – да, конечно, это был голос первого министра. – Возьмите этого негодяя и бросьте его в тюрьму, в подземелье! Завтра он предстанет перед судом! – и другой, тихий, вкрадчивый голос – гофмейстера, конечно, гофмейстера, уж этот-то голос он, Буратино, не узнать не мог! – Ах стоит ли доставлять себе столько хлопот? Этот негодяй Буратино – кто знает, как отнесутся к его казни в народе? А так – так он просто тихо исчезнет, мы, как и все порядочные люди королевства, пожалеем об исчезнувшем, и... Но первый из говоривших перебил его: Как это подать народу – это уже Ваше дело. А пока... "Заковать негодяя в кандалы, – сказал он вдруг громовым голосом, – и бросить в тюрьму".

И солдаты повели его в тюрьму.

Он пытался вырваться из их рук – но куда там! – его держали так крепко, что он и пошевелинуться не мог, а когда он попытался ткнуть одного из них носом в шею, то получил такую затрещину, что потом долго шёл, не чувствуя ни рук, ни ног, и очнулся только, когда его повели по лестницам в подвал.

За одной лестницей начиналась другая, за другой – третья, за третьей – четвёртая, и с каждой следующей вокруг становилось всё темней и темней. Солдаты всё вели его и вели, подталкивая сзади тычками.

Он шёл, стеснённый с двух сторон солдатами, и никак не мог понять, что же такое случилось. Только-только он был королём и мог, кому хотел что хотел, приказать – и вот вдруг он уже не король. Он не думал ни о тюрьме, куда его ведут, ни о том, как его будут завтра судить, а только о том, как же это всё вдруг так получилось, и как он мог бы освободиться, убежать. Но убежать было как раз невозможно.

Наконец, солдаты остановились перед железной дверью. Один из них зажёл стоящий на полу рядом с дверью светильник, снял со своего пояса огромный чёрный ключ, вставил его в замочную скважину, повернул, дверь, скрежеща на петлях, открылась, солдаты втолкнули его в камеру, закрыли дверь – и ушли.

Он остался один – и прежде всего попытался оглядеться. Ну и темно же было в этой самой тюрьме! С трудом разглядел он лежащее у стены бревно, покрытое рваной циновкой.

Прямо напротив того места где он стоял, было крохотное окошко, но оно было высоко- высоко, и с такой частой решёткой, что сквозь него если и пробивался свет, то его почти не было видно.

Ему стало вдруг... – нет не страшно, а как-то очень-очень грустно. Он попытался, чтобы подбодрить себя, спеть какую-нибудь весёлую песенку или хотя бы насвистать чего-нибудь такое приятное, но слова песенки куда-то вдруг пропали из головы, да и мотивчик не вспоминался тоже.

Мысль о том, как же, почему же он, Буратино, попал в такой переплёт, не давала ему покоя – но думать об этом было всё равно лучше, чем о тёмной тюрьме или об окошке, которое так высоко, что и не допрыгнешь, а если и допрыгнешь – ничего не увидишь.

Внезапно послышался скрежет отпираемого замка, дверь открылась, и на пороге появился пожилой стражник. В одной руке он держал фонарь, в другой – поднос, на котором лежал большой кусок хлеба и кусок сыра.

Кусок хлеба и кусок сыра – это ему, что ли? Ему, Буратино, который уже и кашу-то с маслом и вареньем ни во что не ставил! Ему, который так по-королевски завтракал, а уж про обед и говорить не приходится. Ему, Буратино – хлеб и сыр!

Стражник посмотрел на него долгим взглядом и вздохнул. – Эх малыш, малыш, – сказал он голосом папы, – и куда же тебя занесло! Куда же ты полез – на королевский трон! Королём быть захотелось! А того не понял, что королём не всякий быть может, королём, может, и вовсе родиться надо. Вот и очутился здесь.

...Что будет завтра? Эх малыш, малыш, что же я тебе буду заранее говорить? – сам увидишь! Да что ты всё: скажи, скажи. Сказками дела не изменишь. На вот, поешь пока. А как поешь, отправляйся спать. Оно конечно: не королевская кровать, да если уж спать захочешь... Эх ты, малыш! Одно слово: Буратино!

С этими словами стражник, забрав фонарь, вышел, закрыл за собой дверь, ключ со скрежетом повернулся в замке – и он вновь остался один в полной темноте и тишине.

Поднос с хлебом и сыром стоял перед ним. Он отломил кусок хлеба, попробовал есть, но это получалось плохо: от чёрствого хлеба першило в горле, да и есть, хотя он и чувствовал голод, ему как-то не хотелось.

Мысль о том, как его будут завтра судить, а потом, наверное, казнить, как его поведут в цепях на помост, а около помоста будут толпиться люди – те самые люди, которые ему кричали "Ура!" и говорили, что он самый-самый лучший король на свете – эта мысль не давала ему покоя. Он верил этому – и не верил. Но думать об этом было всё равно очень тяжело, и он вновь попытался подбодрить себя, просвистев свою песенку – но свист получился какой-то невесёлый.

Незаметно для себя он погружался в дрему.

Он уже почти засыпал, как вдруг в двери заскрежетал ключ, и на пороге появился стражник с фонарём в одной руке и с каким-то тряпьем в другой.

Он зашёл в камеру и закрыл за собой дверь. – На вот малыш, – сказал он, – переоденься, да поживее!... ..Зачем переодеваться? Ну да, как же! Королевская-то одежда, конечно, лучше! Так-то так, да не во всякое время и она хороша. А ну-ка не мешкай, а то гляди – как бы не пожалел потом!

"Ему Буратино менять свою королевскую одежду на какое-то тряпье – ему!" – пронеслось у него в голове. Но он не сказал ничего, одел принесённые стражником штаны и рубаху – не таким уж они были тряпьем: у папы приходилось ему носить штаны и рубаху и похуже – и посмотрел на стражника, как бы спрашивая, что ему дальше делать.

Стражник показал ему пальцем на губы, чтобы он молчал, и на ноги, чтобы ступал как можно тише, взял его за руку, вывел из камеры и повёл по длинному-длинному коридору, по обеим сторонам которого тянулись камеры – был ли там кто-нибудь или нет, понять было нельзя, но не это сейчас занимало его, Буратино, мысли.

Он покорно шёл за стражником, не спрашивая себя, куда тот его ведёт, не думая ни о чём, кроме того, чтобы идти как можно тише. Наконец они подошли к стене, в которой виднелась маленькая дверца.

Стражник ещё раз показал пальцем на губы, потом открыл дверцу каким-то особо замысловатым маленьким ключом. За ней оказался люк, выходящий в длинную- предлинную трубу – конца

её не было видно, да и внутри было темно. Только откуда-то сверху – наверное, с другого конца трубы – пробивался крохотный лучик света.

Стражник поднял его на руки, поднёс к люку, тихо сказал: Полезай, малыш, и лезь вверх, там поручни, есть за что цепляться. А как вылезешь – беги! Слышишь – беги, малыш! Рано ещё тебе умирать! Беги!

Он, было, хотел чмокнуть стражника в щёку, но стражник уже втолкнул его в люк и закрыл за ним – так же тихо, как и открыл – дверцу.

Он принялся ползти по трубе, хватаясь за поручни – их было действительно много. Позади себя он слышал какой-то скрежет, шум, и как будто крики – а может быть, это был шум от его собственных движений и его собственного голоса – время от времени он подбадривал себя.

Наконец, труба кончилась. Он подтянулся, вылез из люка – и очутился на освещённой лунной просёлочной дороге. Вокруг не было ни души. Он набрал в грудь, сколько смог, воздуха и побежал по дороге.

Недавний дождь размыл дорогу, превратив её в месиво, в котором увязали ноги. Бежать было трудно, но он не думал в этот момент ни о чём – и это помогло ему.

Внезапно он услышал за собой конский топот, лай собак – и побежал ещё быстрее. Он бежал, едва касаясь земли, и оттого ноги его увязали меньше. Конский топот и лай собак, однако, слышались всё ближе – видимо, преследователи настигали его. Теперь он уже не бежал даже – летел, не чувствуя ног.

Вдруг он увидел свою улицу, побежал по ней, свернул к дому, в подвале которого они с папой жили, и уже брался за ручку двери, когда вдруг чья-то рука схватила его за шиворот и кто-то сзади его закричал грубым голосом: "Поймал! Поймал! Врешь, теперь не уйдёшь, маленький негодяй!"

Он рванулся от своего преследователя, оставив у него в руках ворот рубашки, изо всех сил дёрнул ручку двери, вбежал в комнату, но не успел закрыть дверь на засов, и теперь держал изо всех сил дверь, которая начала мало-помалу под натиском извне открываться. Собрав последние силы, он надавил на дверь всем своим телом, закричал – и проснулся.

Он сидел на постели, рядом лежало скомканное одеяло, а у постели стоял папа.

– Что с тобой малыш? Кто тебя так напугал? – спросил он.

– Папа, папа, скорее закрой дверь, а то они меня уведут, – произнёс он быстрым шёпотом.

– Кто – они, малыш? – спросил папа. – Да успокойся ты: здесь только ты да я, другого никого здесь нет.

Он посмотрел на папу долгим взглядом, как бы постепенно его узнавая – и вдруг заплакал навзрыд.

– Они... Я был... я у них был король, – сказал он всхлипывая, – и они кричали “Ура!” А потом... потом они меня хотели свергнуть... и ещё потом солдаты отвели меня в тюрьму, а потом я лез по трубе и вылез, и побежал, а они за мной погнались и меня почти поймали, но я вырвался и успел забежать к нам домой. А они... они всё равно хотели меня поймать. И сейчас они... – добавил он шёпотом и оглянулся на дверь, – сейчас они, наверно, стоят за дверью.

– Никто ни за какой дверью не стоит, малыш. А сюда – сюда никто не придёт, кого не звали, – сказал папа и улыбнулся. – А придёт без спросу – отведаёт моей палки. Вот этой самой, – и он показал на стоящую у стены суковатую палку.

– А тюрьма... а тюрьмы, значит, не было?, – спросил Буратино, всё ещё всхлипывая. – И солдат этих – тоже? И первого министра? А дворец... – его... его тоже не было? Это всё мне что – приснилось?

– Эх, малыш, малыш, – конечно же, приснилось! Да и то сказать: на голодный-то желудок и не такое присниться может! На вот, сынок, поешь хлеба с сыром, я то уж на сегодня подкрепился. И папа протянул Буратино ломоть хлеба и кусок сыра.

– Ты самый сильный, самый хороший папа на свете! И я никогда-никогда от тебя больше не убегу! И я буду хорошо учиться в школе и буду тебе помогать, а потом я вырасту большой, заработаю много-много денег, и у нас каждый день будет на обед жареный цыплёнок, и бульон с яйцом, и соус с орехами, и... и каша с вареньем! – произнёс Буратино полушёпотом и чмокнул папу в щёку.

Потом он поел хлеб с сыром и запил водой. А потом папа уложил его к себе на колени, сказал: “Спи, малыш” – и он, обняв папу и прижавшись к его груди, уснул.

Он спал – и ему снилось, как они сидят с папой в их комнате за большим столом, устланном красивой жёлтой скатертью с узорами. За окном вечер, валит снег и, наверно, ужасно холодно. В комнате жарко натоплено и замечательно пахнет свежими, принесёнными с мороза, дровами и еловыми шишками. Папа только что положил их в печку, запах от них ещё стоит в воздухе, а они уже разгорелись и теперь весело потрескивают.

На столе горит большая лампа с высоким стеклом, и от неё в комнате необыкновенно светло и уютно.

Они с папой сидят за столом, и перед каждым стоит тарелка, полная каши, политой вареньем, а посередине стола стоит большой котелок с кашей, и от него поднимается к потолку густой вкусный пар. Они едят кашу и хитро улыбаются друг другу.



Алекс Тарн

Еврейская смерть



от уже год, как ушла от нас Майя Каганская...

Поставив запятую в конце предыдущего предложения, я написал очевидное «выдающаяся» и остановился в затруднении. Писательница? Но Майя не писала традиционной прозы, хотя литературная наполненность ее текстов сделала бы честь любому мастеру. Публицист? Но публицистика предполагает определенную регулярность, в то время как статьи Каганской появлялись в печати эпизодически, с большими перерывами. Эссеист? Но ей явно претила наукообразная выпренность, неизбежно сопровождающая этот жанр. Культуролог?.. Литературный критик?..

К Майе Каганская применимы все вышеупомянутые титулы, и, тем не менее, просто перечислив их через запятую, я бы погрешил против истины. Потому что перед нами тот случай, когда результат оказывается намного большим, чем простая сумма составляющих. Майя была образцом, во многом определившим интеллектуальный облик русскоговорящей части израильского культурного пространства. Она была **личностью** – в том понимании, которое сама вкладывала в это понятие:

«Для меня парадокс личности заключается в том, что она начинается там, где кончается личный опыт. Что и сколько из внеличного захватывает человек, такая ему и цена. Никакой «сипур иши» (персональная история - АТ) не объяснит «Войну и мир», перевоплощение Флобера в мадам Бовари или зацикленность Эйнштейна на тайне пространства-времени».

Каганская представляла собой **эли**ту культуры – опять же, в своем собственном понимании, сформулированном ею с характерной исчерпывающей точностью:

«Культурная элита – это сословие личностей. Только личность творит культуру, и только через культуру личность... способна опознать, застолбить и утвердить себя».

Именно в «опознании и утверждении» собственной самости посредством человеческой культуры она видела смысл своего существования. Именно так она и жила, прекрасно сознавая свой масштаб и не испытывая никакой необходимости извиняться перед пигмеями за свой немалый рост. Аристократка духа, она демонстративно презирала *«урчащую и орущую чернь»*. Королева слова и логики, она имела полное право на свое великолепное высокомерие.

И вот теперь ее нет, и можно произнести вслух еще одно слово, так или иначе сопутствующее подобным личностям – Трагедия. В данном случае трагедия заключалась в том, что Каганской так и не суждено было «опознать и утвердить» себя в рамках общеизраильской культуры, хотя она наверняка стремилась к этому.

«Еврейская смерть – полиглотка, сегодня она продирается сквозь горловую сушь арабской речи, вчера изъяснялась на сыром наречии Гете и Гейне», – писала Майя в очерке о высоко ценимом ею поэте Михаиле Генделеве. Ее собственная смерть играла в пристенок звонкими алтынами и пятаками русского языка. Играла – и проиграла: «застолбить» себя на иврите столь же высокого уровня Майя, приехавшая в Израиль в возрасте 38 лет, не смогла бы, даже если бы очень захотела. А другой уровень ее просто не устраивал. Не Майя Каганская владела русским – русский владел ею. И в этой неизбывной кабале заключалась ее главная трагедия.

Но не только (и не столько) языковой перфекционизм Каганской сделал невозможной ее интеграцию в систему культурного израильского истеблишмента. Едва приехав сюда, она первым делом стала искать «своих», то есть, пользуясь ее же словами, *«представителей слоя, которых в России именуют интеллигентами, а здесь – интеллектуалами. Но, как их не назови, они – та природная среда естественного для меня социального обитания, та «малая родина», вне которой родина большая, историческая, превращается в пустой знак фантомного пространства»*.

Но именно здесь Майю ждало глубочайшее разочарование, даже потрясение:

«Отказ от истины в угоду идеологической вере, таков был главный урок и первый удар, который я получила при первых же контактах со своими ивритскими однословниками. Урок я усвоила, от удара не оправлюсь никогда».

...Именно здесь, в этой самой горячей точке миропонимания («Что есть личность?», «Что есть культура?»)

между израильтянами и выходцами из России обнаружилась пропасть такой глубины и ширины, что перекинуть через нее мост – не дано».

*«От удара не оправлюсь никогда» – она и не оправилась, до самого конца. Здесь нужно еще раз вспомнить, что для Майи главное проявление человеческой сути заключалось в выходе за собственные пределы («Что и сколько из внеличного захватывает человек, такая ему и цена»). Поэтому «отказ от истины» со стороны лживой политкорректной левотни, которая, увы, занимает господствующие (а заодно и подавляющие, вытаптывающие, зубодробительные) позиции в израильской культуре, автоматически воспринимался Каганской как нечто не просто неправильное, но глубоко **аморальное**, античеловеческое, низкое. Приверженность к левым убеждениям трактовалась ею прежде всего с моральной точки зрения – не как мыслительная (а потому прощительная) ошибка, но как **нравственный** ущерб, низость души, подлость характера.*

«Я решительно отвожу все возможные источники – научные, художественные, политические - и оставляю только одно понятие морального ряда: низость».

На стержень низости свободно нанизывается связка ее семантических двойников: подлость, мерзость, гнусность и т.п. Все правильно, все в точку. Низость- это воздух, которым мы дышим, слова, которые мы слышим, новости, которыми нас отвлекают, эстрадные телепрограммы, которыми нас развлекают, - их бездарность столь оглушающе демонстративна, что ее невозможно объяснить одним лишь отсутствием талантов или культуры, - только органический моральный вывих так парализует творческие возможности, все равно - большие или малые.

Поэтому даже национальная катастрофа, которая ото дня ко дню, от часа к часу все необратимей переходит из сослагательного наклонения в действительное, никак, ну никак не выписывается у нас в трагедию, не тянет на нее: трагедия, как известно, высокий жанр, а низость - она и есть низость».

Ясно, что подобная постановка вопроса нравилась далеко не всем – особенно носителям подлости, никак не ощущающим себя таковыми. Но это мало заботило Каганскую, никогда не делавшую уступок политкорректности в ущерб истине. Советский опыт выработал в ней принципиальное отвращение к политике. Но ощущение надвигающейся катастрофы жило в Майе так сильно, что она не позволяла себе оставаться в стороне от здешнего судьбоносного политического дискурса.

«"Мирный процесс" все поставил на жизнь - и получил смерть», – писала она.

И продолжала: *«Меня часто спрашивали раньше (теперь, правда, все реже и реже), как я смею подозревать в сознательном загублении страны людей, которые ее создавали, их прямых наследников и восприемников? Отвечаю: они строили свою страну, а сдают чужую».*

Чужую – потому что Страна не принадлежит левой низости, которая оккупировала ее и топчет сообразно своим заскокам, фобиям и капризам. Эта Земля – Израиля, а не оседлавшей ее компании Гроссмана, Оза, Бейлина, Тумаркина, Авнери и прочих моральных уродов.

И здесь нельзя не сказать о второй составляющей трагедии Майи Каганской – ее мировосприятии, принципиально советском в своем антисоветском пафосе. Ушибленная довлевшими над ее жизнью марксистскими бреднями, с детства принужденная если не верить, то хотя бы молча терпеть насаждаемую вокруг веру в неизбежность светлого коммунистического будущего, Каганская вывезла из России инстинктивное отвращение к **любой** вере, любой детерминистской модели.

«...я не вижу в истории экзамен, который Высшая Сила устроила человеку и человечеству, дабы испытать их на предмет искупления грехов и возвращения к первоначальному единению с Создателем. Более того, я отвергаю – как интеллектуально подозрительную – любую детерминистскую концепцию истории, будь то эволюционистская доктрина (саморазвивающийся прогресс) или марксистское учение.

Иными словами: история есть действие, поддерживаемое нашим желанием его продолжать, то есть увязывать со всеми предыдущими действиями и навязывать последующим».

Человеку, написавшему такое, неимоверно трудно было выжить именно в Израиле – государстве, созданном и существующем вопреки и назло человеческой логике, человеческому желанию *«его продолжать, то есть увязывать со всеми предыдущими действиями и навязывать последующим».* Эта Страна жива лишь неистребимой **верой** в лучшее; невероятная по природе своей, она плевать хотела на теорию вероятностей. В ответ на вопрос «как же так?» здесь лишь улыбаются, разводят руками и указывают вверх, на источник того самого детерминизма, который Каганская принципиально отказывалась признать существующим.

Она ушла от нас в канун праздника Песах, знаменующего свободу и избавление от рабства. От рабства чужой страны, чужих идеалов, чужого языка. Ушла, не дожив до него нескольких часов. Да будет благословенна память о ней. Как и память о других - вышедших, но не дошедших.

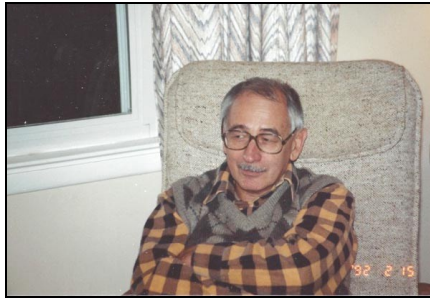


Ася Лapidус

По памяти: Валя Турчин и всякое разное по поводу и без повода



Мы только-только эмигрировали, приехали в Нью-Йорк, жили еще у Роды – нашей американской родственницы, как я, с некоторым опасением следуя настойчивому совету Нозика, позвонила не знакомому мне Вале Турчину. Он тут же позвал зайти, причем заехал за нами на длинной, на вид изношенной машине, и забрал нас всех – маму, меня и даже Роду – и мы всей компанией покатали к ним, из Бруклина в Квинс. Тогда я не знала, что и Ира Валитова-Орлова и Валера Нозик писали Вале и просили за меня, но даже если и просили – все равно это было чудом доброго гостеприимства и особой сердечной родственности.



В.Ф. Турчин. Дома. 1992 г. Оакленд

Помню первую встречу – Валя – легкий, как перо, улыбчивый и ироничный, с быстрыми движениями и скороговоркой, жена Таня – с чуть косо поставленными светлыми глазами, и сын – младший – высокий подросток Митя. Принимают по-московски хлебосольно – кормят-угощают солянкой, не забывая вкусно, Таня объясняет маме – как делать покупки в

супермаркете, а потом загнала меня на кухню мыть посуду, все очень по-свойски. Валя свободно разговаривает с Родой – с акцентом, конечно – но совершенно свободно. Все так, будто сто лет знакомы и, наконец, встретились. Мы с Вале́й тут же договариваемся – он мне поможет написать resume – не знаю, как точно перевести, по-русски наверно – послужной список, хотя звучит старомодно. Прямо сейчас нам трудно для этого сосредоточиться, так что мне надо будет подъехать в другой раз. Я приезжаю через несколько дней, и мы втроем – Валя, Митька и я – быстро описываем мою коротенькую трудовую биографию – оба они подбадривают меня – а я трушу, конечно, но бодрюсь. У них легкая рука – через месяц после приезда я уже работаю.

С этого началось наше знакомство, я бы даже сказала – дружба. Мы у них встречаем праздники – отчетливо помню первый Новый год. С момента иммиграции прошло полгода. Я работаю программистом в Sloan-Kettering в отделении Radiation Therapy, зарабатываю 21 000 в год – это немного – но Валя велел соглашаться – если положут меньше 20 000, спроси – why, но все равно соглашайся. Мне положили 20, а дали 21 – видимо, у них не было ниже ставок, но я чувствую себя немислимо богатой. Живем мы вдвоем с мамой угол King's Highway и East 5-th Street в Бруклине.



В гостях у Турчиных

Квартира по любым меркам – очень хорошая – просторная с высокими потолками, большой кухней, огромной гостиной, прихожей-холлом, ванной с окном и двумя отдельными спальнями, но это у черта на куличках – по крайней мере, мне так казалось. Турчины от нас очень далеко – в другой стороне у того же черта только на других куличках. Они, как и мы, снимают квартиру – но не в многоквартирном, а в частном доме – у них множество комнат и настоящий московский уют – книжные

шкафы и книжные полки, кушетки и кресла, застеленные чем-то красивым, лампы с абажурами, пианино – все в стиле и вместе с тем по-житейски небрежно – красота, да и только.

Новый год. За нами заезжает на машине приятель и коллега Вали – Тужилин – Август – Августочек, он доктор физ-мат наук, в Москве преподавал в физтехе, а здесь, как и Валя, профессорствует в City University

У него приятное лицо, светлые волосы, он чуть приземист. Мы влезает в машину – я рядом с Августочком, а тающая от счастья мама позади – еще бы – холостой-неженатый – профессор физики – дай-то бог – но не тут-то было – Августочек совсем даже моей персоной не интересуется, даром, что коллеги, и пока едем – односложно отвечает, а по приезде и вовсе подсаживается – к кудрявой Неле, и тут же с места в карьер начинает заметно и обидно для меня – с ней флиртовать, а мне нуль – даже минус внимания – бывает же такое.

Неля преподает французский. Ее сын – будущий пианист Дмитрий Рахманов, пока он подает надежды, и среди гостей его нет. Зато есть Арик Аронов – его учитель. Арик из Ленинграда, в золотой оправе очков черноглазо-черноволосяый с коротенькими руками-ногами, но с известной импозантностью-значительностью в облике. Он концертирующий пианист, еще и профессорствует в Mannes college. Его засаживают за инструмент – о котором отдельная история.

Пианино это Турчины нашли просто выброшенным на помойку – собственными усилиями, как могли, починили-настроили – и вот пианист с именем играет – звук иногда дрожит, кое-какие клавиши подводят, но все это так неважно. Удивительно другое – пианист не чинясь с заметным удовольствием извлекает из инвалида настоящую музыку. Играет он прекрасно – пройдет время, и мы будем ходить на концерты Аркадия Аронова в известные концертные залы. А пока вслед за Ароновым и Валя тоже садится за пианино и не стесняясь Арика – играет совсем даже неплохо – разве это не волшебство – ну, конечно же, волшебство – самое настоящее. Незаметно как-то, потихонечку рассасывается мамино разочарование и исчезает моя неловкость от неожиданного небрежения – все-таки самолюбие – никуда не денешься. Но как рукой сняло в этой необыкновенной - витаминной атмосфере милой дружественности.

Гостей немного – Сережа Тужилин, старший брат Августа – врач, он пока еще в резидентуре - крошечного роста с наивными голубыми глазами. Его сажают на высокую табуретку, он не смущается, по-детски болтает ногами и ругательски ругает

американскую систему здравоохранения. Люся – его жена, медлительная рыжеватая блондинка – холеная-ухоженная, как полагается американской докторше. Они с Ниной Ароновой помогают Тане. Нина приятная – худенькая и сероглазая, почти что моя сверстница, остальные куда старше. И все из Квинса – соседи, кроме нас и Нели – она живет в верхней части Манхэттена в Washington Heights.

Все последующие праздники-события мы встречаем вместе – Турчины-Тужилины-Ароновы и мы с мамой, через пару лет к нам присоединится будущий мой муж Джон. А в первую встречу с ним Турчин провозглашает – цитирую прямой текст – Ася-то наша обойфрендилась! Валя веселый и серьезный одновременно, это он придумал звать маму – мама Роза – так ее все и звали. Надо сказать, они с Валею сошлись особенно сердечно. Когда еще в самом первом нашем разговоре он сказал, что свободы никогда не бывает слишком много, мама тогда и скажи мне потихоньку – подумать только – такой худенький и такой независимый, а он услышал и рассмеялся. Так в момент они и подружились.



У нас дома. Сентябрь 86-го. Маме 75 лет. Слева Валя, Мама, Таня и я. Справа весь большой съезд гостей

Смеяться он умел, как никто. Однажды три девицы – Таня Турчина, Нина Аронова и я пошли на гараж-сейл тут же в Квинсе – есть такое развлечение в Америке – кому надо – избавляется от ненужного хлама – продает, кому надо – ненужный хлам покупает – грошовый товарообмен. Я в первый раз, и мне скучно – даже денег не потратишь, и тут я замечаю пару настенных подсвечников, да не за 25 центов, а за 25 долларов, которые сразу гордо покупаю. Приходим домой – Валя безошибочен – что купила? – обращается ко мне, разворачивает пакет и с размаху раздражается неистовым, но совершенно необидным хохотом – канделябры – и мы все вчетвером рыдаем от смеха.

Из всех наших русских знакомых он единственный – либерал – называет себя социалистом, и я грешным делом подозреваю, что все-таки не столько Джон научил меня толерантности и либерализму (конечно, первородно-изначально это еще и папина школа, атавизм XIX века), сколько Валя Турчин – и не поучениями-разговорами, а настоящей умной и глубокой убежденностью. Думаю, он был самым блистательным человеком из всех кого я встречала, встречала же я столько – что сама себе не верю, и сама себе завидую – от Колмогорова до Бродского. А скромный – почти не слышный – Турчин был самым необыкновенным.

Сколько живу на божьем свете – столько слышу разговоров об интеллигентности – бывалоча, папа мой в таких случаях замечал – как неинтеллигентно вести подобные разговоры. А вот все равно скажу – Турчин был именно высоко интеллигентным – владение культурой – необыкновенное, интерес к наукам-искусствам самый живой и любознательный – можно сказать, подростковый, и при всем этом – благородство, абсолютно естественное, и скромность – отнюдь не паче гордости – а просто талантливому уму и сердцу не до глупостей. Разговоры с ним замечательны – по воспитанности-воспитанию ума и чувств – причем собеседник всегда ровня и имеет право на мнение. В жизни своей не видела-не встречала менее сановного человека. Честное слово – он у нас такой один – милый Валечка Турчин – умный, добрый, красивый – очаровательный. А как он умел одарить книжкой, так только книжники умеют делиться, как разговаривал про книжки (именно про книжки – никаких литературных красноречий) без малейшей помпезности, с ним было просто увлекательно не только слушать – разговаривать. Он и собственную книжку умел подарить как читатель читателю. И еще – какой лексикон – русский, конечно, само собой – но я говорю об английском – такой на редкость богатый лексикон вообще случается не часто, а у эмигрантов я подобного не встречала ни разу.

14 февраля – день св. Валентина – день рождения Вали – он утверждает – случайное совпадение. Мы, конечно же – тут, как тут. Запомнилось – Валя не то, чтобы в задумчивости, но в удивлении – Можешь себе представить – человеку пятьдесят лет – теперь очень даже могу.

Еще один Новый год – у Турчиных Юра Гастев – очень худой, просто очень – мы с ним в одном такси едем домой – почти не разговариваем, я стесняюсь – он ведь знаменитость по Чейну-Стоксу, а ему не до меня...

Событие – всем событиям событие – Юра Орлов с Ирой прилетают. Мы с Джоном скромненько своим ходом пересекаем дорогу в аэропорту Кеннеди – где международные линии (теперь это в другом месте) – и прямо на нас машина, из которой истошный-счастливый Валя голос как закричит – Ася, Джон! Да, было время. Нас всех запустили в какую-то там комнату – ждать. Валя с Таней, Люда Алексеева, Юра Ярым-Агаев и мы с Джоном и фотоаппаратом. Совершенно неожиданно появились – Юра Орлов совсем седой-дымчатый, и Ира все та же, хотя слегка обалдела. Джон, знай, фотографирует. Но ни одной фотографии не получилось, а журнал Лайф был готов опубликовать – Джон чуть не плакал – второй раз с Лайфом неувязка – первый раз большая подборка про его отца, которую вытеснили события в Эфиопии, и вот опять – и все потому, что тактичный да и на нервной почве – все-таки не каждый день такое случается. Тут и потекли мои ежедневные встречи с Ирой Орловой – до самого ее отъезда обратно в Москву. Это было странное время – мне до сих пор непонятное...



Год 1986-й. В аэропорту Кеннеди. Ждем Орловых – нервничаем

А потом Турчины купили дом в Нью-Джерси, добираться стало труднее, но идущий осилит дорогу. Зимний снежный пейзаж и теплый уютный дом. Очередное новогодие. Весело и празднично. Бородатый Игорь Ефимов с Мариной отплясывают за мое почтение – пол трясется, у Тани тоже неплохо получается, и Валя пляшет-улыбается – немного отсутствующе. Мы пока никто совершенно не стареем, хотя у младшего Турчина – Митьки уже родился сын Николка. Нас кто-то отвозит домой в притихший утренний час.

Время бежит, у нас теперь машина и дача недалеко от Тужилиных – прямо на озере – Турчины приезжали на дни рождения и просто так – купаться. Помню – конец сентября – в мамин день рождения устроили ей сюрприз – позвали гостей к завтраку на даче – все те же – Ароновы-Турчины-Тужилины поздравляют маму Розу – прозрачное прохладное утро на веранде – милые добрые друзья – это называется счастьем. В мой летний июльский день рождения – народу понаехало – туча – общий заплыв, а озеро копейное, курице по колено – Валя с Таней – похудевшие диетники – по утрам пьют соевое молоко – моложавые, нет молодые – прямо подростки – выскочили из воды – группа дрожащих. А к Джону на день рождения – в декабре перед рождеством – в Нью-Йоркской квартире дым коромыслом – неужели все это было?



В мой день рождения у нас на даче

Встречаемся на концертах – как сейчас помню – в Hunter college Окуджава – Uncle Jabba – так называет его Джон. В антракте Валя – ностальгирую с удовольствием. В другой раз знаменитый мальчик – ученик Арика Игнат Солженицын выступает в концерте. Билеты нам дает Арик – мама сидит рядом с русской пожилой женщиной – перед началом они разговорились – А вы где живете? – В Вермонте – Рядом с Солженицыным? Тут я толкаю маму – ногой под стулом, догадавшись-вспомнив, что это Екатерина Фердинандовна – мама Наташи Светловой. – Ты что толкаешься? – невинно спрашивает мама. В знак протеста я отхожу, а потом возвратившись – передаю Наташе привет, разумеется, оставшийся без ответа.

– Они не сомневаются, что вернутся на белом коне – моя мама не верит в конец советской власти – прожила длинную жизнь, и хотя Солженицын все-таки вернулся на белом коне – мама, похоже, была права.

Я не буду излагать взгляды Турчина – они в его книгах и в его жизни, да и задача эта – прямо скажем – не по мне. Позволю

себе сказать, что ему не нравился «Боролся теленок с дубом», и авторская позиция и стиль изложения, и – пожалуй, само изложение – впрочем, может, я много на себя беру. Зато никогда не забуду вечер памяти Сахарова - все говорили длинно, а Турчин сказал коротко – мы на протяжении многих лет присутствовали при необыкновенном явлении – человек далекий от любой религиозности – был, по сути, святым – он был первым, кто сказал это – причем просто, без малейшей тени аффектации.



На вечере памяти Сахарова

Валя был щедр на разговоры обо всем на свете, и это всегда было интригующе интересно. Он умел сказать по-научному точно и вместе с тем благородно-тактично, по любому счету и на любом уровне, хотя нет, не на любом – при всей доброжелательной толерантности разговор с ним всегда был самой высокой пробы и по тексту и по контексту, и по форме и по содержанию. Тема бессмертия чрезвычайно интересовала его – со всевозможных позиций – причем он совершенно не стеснялся банальности собственного страха перед смертью. И умел вести разговор об этом и по-житейски и по-философски – никогда не опускаясь до псевдонаучности. Незабываема его чисто московская и вместе с тем совершенно особенная скороговорка, когда блеск мысли умеет прятаться в скромной незначительности тона, и смысл самодостаточен.

А какой он был понимающий книжник – увидев у нас дома книжки Лимонова – взял в руки томик, и перелистав страницы, как только настоящий читатель умеет, сказал про «Подростка Савенко» – как талантливо, а? Честно говоря, я просто стесняюсь передавать разговоры с Валею – боюсь эффекта испорченного телефона, да и неловко – стыдно собственной везучести, и еще – пожалуй, основное – неудобно примазываться – конечно – неудобно. Ведь абсолютно убеждена, что Турчин принадлежит истории мысли на самом высоком уровне. Удивительно – совершенно без котурнов, без претензий, со всею своею скромностью в чистом виде. А какой красивый – светящийся.

Нозик приезжает из Москвы в гости к Турчиным, заезжаем туда и мы. Пройдет много лет. И я узнав о смерти Вали – позвоню Нозик в Москву, чтобы поплакать. И еще Косте Борезкову – они ведь знали друг друга с незапамятных времен Долгопрудной, с костиного малышевого, а валиного подросткового возраста.



В последний наш приезд на Валин день рождения

Всегда ведь знала – что значит Валя Турчин, я всегда называла его русским Бертраном Расселом в качестве объяснения – для незнающих, хотя какое там – Турчин куда более серьезный и математик и философ, чем Бертран Рассел. А в истории диссидентского движения он не был одним из первых, он был первым, хотя по характеру не был ни знаменосцем, ни главнокомандующим – это уж точно. Он вообще умел быть сам по себе – редкостная редкость, а уж в той действительности, из которой мы вышли, такого вообще не бывало. Не могу себе простить собственной обыденности, непонимания безвозвратности

редкостного момента, драгоценности неповторимого счастья общения. Никто и ничто ведь не вернется никогда.



Вильям Баткин

Молодой Булат¹



го нет с нами уже несколько лет, но в сердцах российской интеллигенции – и материковой, и в дальнем Зарубежье, и у нас, на Земле Обетованной, – помнят его светлый лик, неповторимый, неподражаемый: мудрые и печальные глаза, узкая щетинка усов, седая разворошенная пролысина над огромным лбом, твидовый пиджачок, негромкий московский говорок, баритон, подхваченный и усиленный аккордами гитары, растревоженной тонкими пальцами барда. Но главное – для меня, по крайней мере, – непостижимая тайнопись слов, надиктованная Свыше, услышанная и сотканная великим лириком, – он был им по складу души, по самой строчечной сути. Растиражированный в миллионах кассет и компакт-дисков, озвученный лазерными лучами, он входит в наши обители, привычно присаживается на краешек эстрадного стола, настраивает гитару... Как в прежние годы, когда его можно было запросто встретить и в извечной московской тусовке, и на зарубежных гастролях. Но нынче я – об иной встрече, сбереженной в тайниках моей души и выплеснутой исподволь из памяти, неожиданно, не к печальной дате...

Нас познакомил Борис Абрамович Слуцкий...

Именно так, по имени-отчеству, к нему обращались и маститые – Константин Симонов, Михаил Луконин, патриарх русской поэзии древнерусский еврей Павел Антокольский, и младшие собратья по перу. Я не ходил в его учениках, возникал нечасто, переминался вежливо в дверях, едва ли был его надеждой... Он пытался из меня сделать поэта – безжалостной рукой, извечно жесткий, без намека на улыбку, без сантиментов, израненный поэт и политрук зачастую отвергал мои, сколоченные рифмами, политизированные строки. По мне, нынешнему, – либеральничал со мной. Авось бы состоялся... Он сам заваривал

¹Из книги В. Баткин «Талисман души», Творческое объединение «Иерусалимская антология». Издательство «Скопус». 2007 г.

байховый чай, поил меня густым наваром, угощал магазинными пирожками, непременно с творогом, усаживал на продавленный диван, по слухам – Маяковского, подаренный Слуцкому Лилей Брик. Однажды он, к слову, поведал притчу: спросили у Маяковского – сколько он пишет хороших стихов, сколько плохих? «Я пишу пять хороших и пять плохих», – ответил поэт. «А Блок?» – «Блок восемь плохих и два хороших, но мне таких никогда не написать». – И виновато улынулся.

Как-то, отобрав несколько моих рукописных листиков, Слуцкий поднял телефонную трубку:

– Булат? Здравствуй! У меня в гостях земляк, харьковчанин. Да, стихи. Разберешься, дурного не насоветую. Здоров будь. Перезвоню.

Словно клинок из стали

Плутая по коридорным лабиринтам редакции «Литературной газеты», не вдруг отыскал нужную дверь – отдел поэзии, крохотный, словно келья, кабинет, по обоям обклеенный газетными вырезками. На одной из стен, на гвоздике вколотом, одиноко, неприкаянно – старенькая семиструнная гитара. На краешек стола присел молодой человек небольшого роста, хрупкие плечи стянуты светлым свитером крупной вязки под горло, тонкая щетинка усов, непокорный вихор – пышные и густые черные волосы пытается утихомирить левой пятерней, правую протягивает мне:

– Булат.

– Булат? – спрашиваю растерянно, ищу другого, вымышленного – ожидал увидеть гиганта широкоплечего, крепкого, негибачего, словно клинок из стали одноименной... А наяву – какой-то... дробненький. Пробежал глазами мои рукописные листочки, приволок из дальнего угла пишущую машинку «Ундервуд» с широкой кареткой, усадил на свое место.

– Печатай, я – к шефу!..

Прибежал – легкий, стремительный, прислонился к дверному косяку, перечитал мой текст.

Телефонный звонок:

– Да, Борис Абрамович, у меня. Ты прав, буду засылать. Ждем и твои стихи новые. Не скромничай!..

Высочил из редакции обнадеженный – не каждый день в московской «Литературной газете» печатают, по Цветному бульвару летел, словно катер на подводных крыльях... Впрочем, в те дни, начало шестидесятых, такая конструкция лишь на ватманах вырисовывалась.

– Вильям, отобедаем? – догнал меня Булат на углу Цветного бульвара и Садового Кольца.

Глянул я на часы – в Министерство угольной промышленности, куда был командирован, опоздал... Все равно с земли не сгонят, дальше шахты не пошлют! (Такая тогда у меня присказка была.)

– Почту за честь! – ответил я и за весь день улыбнулся впервые...

– Да брось ты приbedняться! – Булат крепко взял меня за локоть и повел ко входу в ресторан. – Вот напечатаем раз – другой – третий в «Литературке», утвердишься, есть в строках твоих какая-то живинка. На том и порешим...

Знать бы – с кем сижу...

Словно на давней фотографии, память сберегла двух молодых мужчин: отраженные в глубине ресторанный вестибюльного зеркала, они даже в чем-то схожи: и дерзостью непокорной, и копнами густых черных волос – без единой сединки, и улыбками открытыми, белозубыми, им даже одинаково тесно. Булат большим пальцем оттягивает ворот свитера, я пытаюсь распахнуть пиджачок узкий, от «Московшвея». Долговязый я, на голову выше Булата, но стою позади него, и в зеркале – эффект оптический – он возвышается... По сей день непросто схожусь с людьми, полагаю – страшусь ошибиться, но Булат еще в редакционной келье притянул к себе интеллигентностью, духовностью или аурой, хотя ныне мне по душе иное слово – биополе... В том булатовском биополе и пребывал тогда, точнее, блаженствовал, да и сегодня, когда его давно нет с нами, – во власти его излучений, печалью наполненных... Официант проводил нас к двухместному столику у окна, ловко сменил скатерть и сервировку, протянул мне меню, но я передал Булату:

– Банкуй!

Разные закуски, густая мясная окрошка на остром московском квасе, отбивная с косточкой, водка ледяная в хрустальном графинчике запотелом... То ли графинчик малорослый, то ли раз-говор сокровенный, но я еще раза три заказывал... Знать бы – с кем сижу, лишь пригубил бы, диктофон бы под пиджачком приладил, весь разговор написал для будущего, а пока хорошо сидим – беседуем... Ныне память терзаю безжалостно: не упустить бы, не солгать, не вымыслить... Осознаю – говорок московский его, слог удивительный, словно ручеек родниковый, не передать...

Изумился я: полагал, мы – ровесники, но Булат из фронтового поколения, ему с боями пробиваться к совершеннолетию пришлось, а я – из детей войны, день Победы запомнил четырнадцатилетним, слезы родных по невернувшимся, в том числе из нашего рода – баткинского. Но именно фронтовую лирику – симоновскую, гудзенковскую, уткинскую, луконинскую – впитал подростком, в госпиталях декламировал, уже позднее к великой поэзии русской приобщался. Не страшусь выявить себя человеком обскурантских взглядов, зубром, ретроградом, но и спорить ни с кем не намерен. Утверждаю: советская поэзия в самых высоких своих образцах останется навсегда – в достойных и честных именах; имею в виду поэтов фронтового поколения, предвоенных «лобастых мальчиков невиданной революции», по образному речению Павла Когана, тех, кто погиб, и тех, кто выжил в окопах Великой Отечественной, тех, кто остался верен идеалам этой революции, и тех, кто с годами разуверился в них, – все они продолжили традиции русской лирики.

Знакомства ради, читаем с Булатом стихи – не свои. Мы с ним из разных поколений, но страсть одна – проговариваем любимые строки, он начинает строфу, я продолжаю, словно одновременно впрыгиваем на ходу в летящий на передовую поэтический эшелон.

«Если я не вернусь, дорогая, / Нежным письмам моим не
внемля, / Не подумай, что это – другая. / Это значит... сырая
земля».

«Я не помню, сутки или десять / Мы не спим, теряя счет
ночам. / Вы в похожей на Мадрид Одессе / Пожелайте счастья
москвичам».

«Бой был коротким. А потом / Глушили водку ледяную, /
И выковыривал ножом / Из под ногтей я кровь чужую».

«В этом зареве ветровом / Выбор был небольшой, / Но
лучше прийти с пустым рукавом, / Чем с пустой душой».

(Никому не в упрек, не в обиду, – но отчего сегодня у нас,
в Израиле, когда идет война – и Отечественная, и Священная, –
нет таких строк обжигающих? Или не расслышал?)

– Ну, мужики, вы даете! – Внезапно, словно из-под земли,
около нас вырастает Костя-официант, затянутый, как лорд
английский, в темный костюм-тройку, явно импортный.

– Чего тебе, Костик? – нехотя откликается Булат...

– Я на своем ресторанном веку пьющих мужиков
навидался – не хочу, но те больше о бабах и футболе гомонят, а вы
их слогом неужто брезгуете, все стихами перебрасываетесь?

– Так мы ж поэты, Костик. – Булат добродушно

улыбнулся.

– Ну ты, старик, поэт, это каждый знает, а они – официант склонил голову в мою сторону, – какой поэт?.. Профессор или технар, но не поэт, ясно.

Булат рассмеялся:

– Не обижайся, Вильямчик.

А я и не обижался – так устами Костика ресторанным русским народом мне было отказано в праве быть русским поэтом. И поделом: не в свои сани не садись.

Оба мы – в норме, хорошо закусываем, но, слышится мне, – Булат чуток захмелел, а меня, должно быть, взволнован, не берет...

Булат словно отгадывает мои мысли:

– Молодец, крепко стоишь, или привычный?..

– Я, милый мой Булат, из той горстки русской интеллигенции, которую в застолье лишним стаканом водки не свалить под стол! – то ли бравирую, то ли вспомнил где-то читанное.

– Если б знать, когда лишний, – смеется Булат. – И тут же, словно давно обдуманное: – Как тебе, интеллигентному мальчику, в народной среде – шахтерской, суровой, грубой, – живется-можетя?

– Хорошо живется, весело, – отвечаю, – да трудно можетя... Русский народ, толпа – не так проста, как мы по простоте считаем. Те, кто от сохи, от молотка отбойного, от ключа гаечного – крепкий народ, добрый, работающий – могу положиться – не подведут, выручат. Однажды меня завалило в лаве... Как от бригады отстал – не помню, сутки меня откапывали, да я и сам полз – по дуновению струи воздушной. Когда откопали – обрадовались, облапили, хотя и обложили матом многоэтажным. А на этажах министерских закопать норвят – тоже ведь народ русский.

– Это ты точно подметил, – откликнулся Булат. – У меня старшины да комбаты крови попили ведрами, а солдатики, крестьяне русские, берегли, как сына, табаком и хлебом делились последним... А я их к поэзии русской приобщал. Жадно проглатывали.

Спросил я:

– Булат, не обессудь, отчего голос твой во фронтовой лирике не слышен, ни в какой «обойме» не упомянут? Только без обиды.

– Ты вспомнил притчу о Маяковском и Блоке... Разумеется, и я пишу – война, как рана сквозная, но так, как у

Гудзенко и Слуцкого, не складывается. А напечататься, в «обойму» втиснуться, – проще простого. Особенно сегодня, когда в «Литературке» очутился. Как-нибудь заглянешь – покажу: стихи мешками поступают, именитые приходят на полусогнутых, все норовят напечататься. А я погожу. Пока... Да и уйду я вскоре из газеты, тебе первому поверяю.

– Отчего так?

– Понятно, заработок постоянный – не помеха, но литература, по большому счету, напрочь не терпит соперниц. Это даже не двух женщин любить одновременно. Теперь я и о тебе задумался: единственное твое дело любимое – инженерное, а стихи сбоку. Между прочим. Лучше бы мне ошибиться, но победит в тебе технарь. Если не отречешься. А готов ли? Семейно к хлебу с маслом приохотил...

– А ты, Булат, долго будешь оставаться безвестным?

– Еще погожу. Словно у перевала – вот-вот второе дыхание открывается. Слышится уже, да не пишется. Слово свое о войне скажу.

– Не взглянуть бы! – постучал я по краешку стола. – Милый мой Булат, как себя оценить? Чужие стихи чувствую, а свои, словно пелена глаза застит, особенно, когда пишу. Надо бы к сердцу прислушаться – оно никогда не ошибается. Так ведь и Александр Сергеевич лишь единожды воскликнул: «Ай да Пушкин, ай да молодец!»

Долго молчал Булат, верно, о своем задумался.

– Рецепта готового нет, мне он неведом... Сердца безошибочное мнение умножь на дар природный и дважды на опыт, годами наработанный в поте лица своего.

...Добрим словом вспомнили мы и о харьковской поэзии, русской, – много интересных имен дал мой город. Не помышляя никого обидеть, назову трех Борисов – Слуцкого, Чичибабина, Сухорукова (по разному сложились их поэтические судьбы), Михаила Кульчицкого, Арона Копштейна. Рассказал я Булату и об украинских поэтах – Игоре Муратове и Василе Мысыке. Дружил с ними, переводил. Вдруг Булат начал чичибабинскую строчку: «В Игоревом Путивле...» «Выгорела трава, – продолжил я, – ...Красные помидоры кушайте без меня».

– Борису низкий поклон от меня, пусть приезжает... Однажды мы с ним, как с тобой, хорошо за этим столиком сидели.

(Я добросовестно выполнил поручение, долгие годы встречались, беседовали, случалось, вместе и выступали на вечерах в харьковском Центральном лектории. Особенно меня восхищали его сонеты. И плечо свое под гроб его подставил в

полдень горестный, декабрьский... Но «Беседы с Чичибабиным» – не пишу).

– Булат, помянем Семена Гудзенко!.. – Расплескал я поровну остаток из графинчика. Сказал и пожалел: Булат мгновенно преобразился, поник, грусть непостижимая в глазах, скулы обострились. Молча помянули...

– Когда весной 43-го солдатиком восемнадцатилетним слушал я Семена Гудзенко на его первом творческом вечере в ЦДЛ, слушал, как замороженный, вытянув голову в ушанке из плотной толпы в конце зала, едва ли мог подумать, что через несколько лет станем друзьями – до его смерти в пятьдесят третьем... Хоронил я товарищей на фронте, ничего тогда не знал о репрессированных маме и папе, но его смерть меня потрясла. Только ему я приносил на суд свои стихи. Его легендарные строки: «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели» и «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем», – пророческие. Семен умер тридцатилетним... Как мог, помогал его семье – жене, дочери. Никому не рассказывал: в прошлом году, в том же ЦДЛ, в ресторанной толпе издала Ларису, его жену, – хохочущая, красивая, молодая, она шла под руку с Константином Симоновым – он стал ее вторым мужем. Не вправе осуждать... Тогда я юркнул в толпу – не представлял себе, как посмотрю ей в глаза.

Принес Костик счет, Булат рассчитался, я выложил свою долю половинную, мой визави глянул вопрошающе, опустил в карман брючный, молча и равнодушно.

«Много нас, нерусских, у России...»

Неспешно и в разговорах отшагав по Москве, затемно оказались мы с Булатом у памятника Пушкину, где слева от Александра Сергеевича, в гранитном полукруге, на вытертых до мутного блеска рейках деревянной скамьи едва отыскивали для себя место. Только расположились – подбегает к нам мужчина высоченный: распахнутый габардиновый плащ, темная шляпа велюровая, пенсне на шнурке, – в общем, интеллигентного обличья. Огорчился я: верно, знакомец Булата – отвлечет от беседы.

– У, расселись, все места в Москве позахватывали, русскому человеку и присесть негде! Жиды проклятые! – выкрикнул интеллигент.

Вскочил я, кулаком шляпу его сбросил, но Булат перехватил мою руку. Обидчик как сквозь землю провалился. Я коротко и сочно выругался ему вслед.

– Тебя-то за что, Булат?

– А тебя за что? – уныло откликнулся Булат и дружески обнял.

– Меня – по носу и по паспорту, но ты-то русский!

– «Много нас, нерусских, у России», – грустно улыбнулся Булат, вспомнил строчку Михаила Львова, хорошего русского поэта-фронтовика, татарина по национальности...

Лет десять спустя рассказал я Львову об этой встрече. Возгордился Михаил: «Булат меня помнит».

– Сука антисемитская! Всю песню испортил. На шахтах не слышал я такого!

– Отчего – испортил? – пожал плечами Булат. – Мы ведь все вокруг да около... И ты меня посчитал русским, а во мне две крови смешались: грузинская – отцовская, армянская – мамина. Интернационал! Отца, первого секретаря горкома на Урале, в тридцать седьмом расстреляли, мама недавно из лагерей вернулась, двадцать лет мытарилась.

Настал мой черед обнимать Булата.

– По папе – боль тупая, но мама – сегодня по ней душа разрывается. Помню ее молодой красавицей, в глазах черных молнии веселые полыхают, вернулась из лагерей старухой, хворой и хрупкой, но глаза – не поблекли, те же огни бушуют. Вера коммунистическая – непоколебима, на партсобрания со своими подругами лагерными бегаёт восторженно. Как втолковать ей – подельщики ее – преступники!

– Не втолкуешь, – говорю, – вера для них священна, смысл всей жизни, согласиться – признать: зряшные их годы. Я и сам таким был, непоколебимым, если и гнулся, то вслед за генеральной линией.

– Ты?! – выкрикнул Булат, но, спасибо ему, больше к этой теме не возвращался. – Наслышался и я в армии: «армяшка!», но не озлобился, в Москве меня литературная братия своим, русским, держит. Но ненависть к инородцам, более всего – к евреям, неистребима, дика. Счастье твое – ты с ними не общаешься. Борис Абрамович любит повторять: «Стас Куняев – мой ученик!» А этот, уже не недоросль, по пьянке в своем юдофобстве и Анатолия Софронова перещеголял. И еще себя покажет.

Страшно мне было все это слушать. Ведь цвет русской интеллигенции! Тянусь я к ним из своего шахтерского далека. А следует ли? Об Израиле, о своих еврейских корнях не задумывался я тогда. В Шестидневную войну, когда в боях жестоких гибли братья, пиво пил в баре на Арбате. Пелена, как забрало, застилала глаза мои библейские. Не оправдываюсь.

– Ты Семена Гудзенко помянул оттого, что он – Сарик,

еврей? – спросил Булат.

– Нет, – не хитрил я, – непостижима для меня его поэзия: честная, исповедальная, смысл какой-то глубинный в его окровавленных строчках.

– А мне Миша Луконин рассказывал, – вдруг вспомнил Булат, – однажды в Ленинграде, в полночь белую, после творческого вечера, набросились на них с Семеном пьяные подростки. «Нечего, – орут, – жидам к русской поэзии примазываться!» Явно науськаны. Год – пятидесятый. Миша с Семеном – спина к спине, кулаками отбиваются, а пьянь – металлическими прутьями наваливается. Убили бы – хорошо подоспел Михаил Дудин. Собрал бывших фронтовиков, тогда между нами братство кровное не было утрачено. Прогнали подростков... «Не дадут мне умереть спокойно», – шутил Семен.

– «Я б хотел быть сыном матери-еврейки» – как ты к этой строчке Бориса Чичибабина относишься? – спросил меня тогда Булат.

– Никак! – ответил. – Хотя многих и восхищает. Мать себе не выбирают.

– А я в ней услышал боль великую русского интеллигента! – выкрикнул Булат уже под грохот электрички на станции «Маяковская» – метро закрывалось.

Мы обнялись, обменялись телефонами. И м о л д о й Булат исчез, словно растворился в проблесках вагонных огней. Возродится – в огнях рамповых, но другим ли?..

«Моим стихам, как драгоценным винам...»

Недавно ушла из жизни жена. Вдруг обездоленный дом, пустота, заполонившая, точнее – разорившая душу... Слова, слова, на великом и могучем, ничего не говорящие, не объясняющие, даже если строки окантованы созвучьями, и метафоры торопливо растолковать боль напрашиваются.

– Отпустит! – посулили участливые друзья.

А хочу ли?

...И вспыхнули – ярко, ясно, отчетливо – воспоминания. И лишь светлые, хотя за долгую жизнь насмотрелись с женой разного.

Однажды – более года прошло после той встречи с Булатом – вернулся домой из длительной командировки, из далей сибирских. Летел – на крыльях, любви и Аэрофлота.

За полночь дверь входную своим ключом открываю – у порога жена: сияющая, молодая, желанная, руки на плечи мне положила, прижалась.

– Больше не отпущу надолго!

Привозил я ей из Западной Сибири дурмящие запахи тайги, цветы – заранки, как огоньки, из хабаровского Севера – голубику... Перво-наперво о детях говорит:

– Здоровенькие. А тебе привет! – И хитро улыбается. – От Булата.

– Булата? Ты что, в Москву ездила?

– Да нет, у нас в институте был его творческий вечер, он пел под гитару.

И вспомнил я гитару семиструнную в его редакционной келье, на гвоздике вколоченном...

– Словно давнего знакомого повстречала, – говорит жена, – из твоих рассказов о нем. Узкие плечи свитером стянуты, шевелюра черная, пышная, непокорная, говорок московский, интеллигент истинный... Очаровал с первых аккордов. И лоб – мыслителя, это ты не приметил.

– Да не влюбилась ли ты? – на полуслове жену прерываю. – А не начать ли и мне петь под гитару?

– Тебе не поможет! – отрезала жена и убежала ужин готовить.

Не обиделся я, привык: строга жена к моим стихотворным опытам. Но отчего Булат не рассказал, что поет под гитару?

– Каждому – свое! – решительно завершила тему жена. – Главного я тебе не сказала: по мне, гитара – блажь, но стихи – я т а к о й поэзии ни у кого не встречала.

– Какой – такой?

На миг задумалась жена, не приучена судить поверхностно – ни в своем инженерном деле, ни в жизни.

– Высокой! – выдохнула. – Вязь строк непостижимая, аура густая, неисчерпаемая, словно сердцебиение свое, кардиограмму, вдохнул в строки. Кстати, есть и глагольные рифмы, ты их напрочь отвергаешь, но у Булата они – работают естественно, как балки, в конструкцию стиха вплетены.

– О чем стихи?

– Какая разница? О войне, о любви к женщине, снова о войне. Не в этом суть. Помнишь, у Марины: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Черед твоему Булату пришел – и надолго. Хотя сегодня его никто не знает.

...Любовь моя, я всегда догадывался о твоём непогрешимом вкусе, об интеллекте возвышенном, увя, лишь в малых дозах востребованном в нашей повседневности будничной. Никогда я тебе об этом не говорил, только признаниями в любви пытался украсить твою жизнь. Ты была строга и к другим, но к

себе – в первую очередь. Как ты умела радоваться всему подлинному, прекрасному – и в наших детях и внуках, и в друзьях, и в Бетховене, в Андрее Вознесенском, раннем... Как ты преображалась – и в Эрмитаже, и в парижском Лувре... Страшно подумать, еще тяжелее вымолвить, но ты ушла от нас, так и не растратив весь дар, щедро отпущенный тебе Свыше. Не моя ли в этом вина? И вспомнил о твоём пророчестве – о Булате, когда еще его никто не слышал и не знал, – о непостижимой тайнописи слов великого лирика. И рассказал я о **молодом** Булате, и посвятил свой рассказ тебе...



Игорь Ефимов
Джером Сэлинджер
(1919-2010)



з книги «Бермудский треугольник любви»

БАС: Начиная разговор об авторе романа «Над пропастью во ржи», мы оказываемся сразу перед двумя загадками. Одна – всемирная неувядающая слава подростка по имени Холден Колфилд. Другая – уход знаменитого писателя на вершине успеха в добровольное отшельничество. О чём молчал сорок лет Джерри Сэлинджер?



Джерри Сэлинджер

ТЕНОР: Приподнять завесу над первой загадкой мы можем только одним способом: вспомнив наши собственные переживания от прочтения романа. Сколько было вам, когда он попал вам в руки?

БАС: Что-то около шестнадцати – самый подходящий или, наоборот, самый опасный возраст для чтения этой книги. Как

и всякий подросток, я рос окружённый частоколом из тысячи «ты должен». Ты должен учиться, должен трудиться, должен уважать и слушаться старших, должен помогать товарищам, должен быть правдивым, ответственным, отзывчивым на чужую беду, должен воздерживаться от сквернословия, нечестных поступков, греховных помыслов. И вдруг передо мной возникает очаровательный персонаж, который опрокидывает все эти «должен», вырывается на волю. Он мой ровесник, но при этом плюёт на учёбу, ни в грош не ставит старших, напивается, ругается, врёт по нужде и без нужды, подводит товарищей, издевается над ними, «прелюбодействует в сердце своём» с каждой встреченной девицей, но при этом зачаровывает и обезоруживает тебя своей бесстрашной и неизменной искренностью своих чувств и порывов.

ТЕНОР: Я тоже прочёл роман ещё в школьные годы. Вспоминаю, что моё счастливое волнение могло бы выразиться возгласом: «Какой чудесный друг появился у меня!». Да, слово «ненавижу» мелькает чуть ли не на каждой странице, убийственные стрелы сарказма и презрения Холдена летят во все стороны – но только не в меня. Ведь пока он делился своим гневом и раздражением *со мной*, оказывал доверие *мне*, я оказывался как бы его пощаждённым избранником, тем единственным, в кого стрелы не летели. Нет, никогда ещё не было у меня такого чувствительного, такого яркого, такого смелого, такого искреннего, такого измученного, такого небанального друга.

БАС: Непослушание предшественников Холдена, например Тома Сойера или Гека Финна, – совсем другого рода. Те пускались на свои шалости, зная, что их осудят и накажут, но у них и мысли не было восстать против самих правил, по которым их подвергнут осуждению. Любой подросток устаёт выступать в роли обвиняемого с утра до вечера. И вдруг появляется Холден и как бы предлагает – или демонстрирует своим примером – возможность упоительной смены ролей: можно повернуть доску и *стать обвинителем!* Мир взрослых переполнен фальшью, притворством и лицемерием. Они давят на нас заповедями добра и порядочности и не хотят видеть, как низко сами они стоят на другой, более важной шкале. Вершина этой шкалы устремлена ко всему талантливому и неподдельному, а низ тонет в болоте бездарного и фальшивого. Оказаться в этом болоте, сделаться «фони» – вот самое страшное, что только может случиться с человеком. И только ты будешь судьёй того, кто «фони», а кто – нет.

ТЕНОР: Путей в это болото – миллион. В нём оказывается не только ханжа-оратор, призывающий школьников молиться день напролёт и мысленно взывать к Христу каждую минуту, даже за рулём автомобиля; и не только интеллектуал, объясняющий Холдену, что он взял в качестве новой любовницы китайку лишь потому, что ему близка восточная философия; и не только три провинциалки, приехавшие в Нью-Йорк с мечтой увидеть вживе какую-нибудь кинозвезду. Нет – и замечательный пианист Эрни, который не может скрыть того, что *он знает, как хорошо он играет*; и превосходные актёры Ланты и Лоуренс Оливье, повинные в том же грехе; и талантливый писатель Хемингуэй, находящий что-то доблестное в поведении солдата, когда на самом деле война – это просто кровавая мясорубка, в которой исчезает всё достойное и человеческое, в которой нечем восхищаться.

БАС: Философ Кьеркегор в своей книге «Или – или» описал два способа отношения к жизни: можно выбрать либо этическую шкалу суждений о поступках – своих и чужих, либо эстетическую. И Холден, и его создатель явно выбрали эстетическую. Её главное преимущество и привлекательность для миллионов: она избавляет от мук раскаяния. Ни Сэлинджер, ни Холден ни разу не выражают сожалений о содеянном ими. Потерял в метро всё снаряжение своей фехтовальной команды – плевать, ничего другого эти типы не заслуживают; провёл с сестрёнкой час в обувном магазине, заставляя для потехи взрослого продавца без конца примерять ей ботинки с длинной шнуровкой, – отлично развлеклись; разбудил всё общежитие, завопив ночью в коридоре «кретины!» – так им и надо.

ТЕНОР: Роман «Над пропастью во ржи» был опубликован в 1951 году. Но работал над ним Сэлинджер больше десяти лет. Листки с первыми набросками были в его ранце, когда он в июне 1944 года, вместе с 12-ым пехотным полком штурмовал немецкие позиции в Нормандии. Имя Холден Колфилд встречается уже в раннем рассказе «Последний день последней увольнительной». В нём в уста главного героя, Джона Глэдуоллера по кличке Бэйб, вложена настоящая декларация, отражающая отношение Сэлинджера к войне: «В эту войну я верю... Верю, что надо убивать фашистов и японцев, потому что другого способа остановить их я не знаю... Но моральный долг всех мужчин, кто сражался или будет сражаться в этой войне, – потом не раскрывать рта, никогда ни одним словом не обмолвиться о ней... Если все мы примемся разглагольствовать о героизме и об окопных вшах,

плавающих в лужах крови, тогда будущие поколения снова будут обречены на новых гитлеров».

БАС: И Сэлинджер выполнил этот завет. Кажется, только в одном его рассказе – «Солдат во Франции» – действие происходит в окопах, да и то – в момент затишья. Во всех других мы сталкиваемся либо с военными на отдыхе, либо с их воспоминаниями о каких-то малозначительных эпизодах, связанных с военной службой. В произведениях Сэлинджера нет стрельбы, нет бомбёжек, нет артобстрелов. Но, видимо, ему довелось хлебнуть и того, и другого, и третьего. К концу лета 1944 года потери его полка составили 70%. Сам он отделался травмами, сломанным носом, частичной глухотой, измочаленными нервами. Летом 1945 года ему пришлось лечь в военный госпиталь в Германии с диагнозом: психический срыв в результате боевого переутомления.

ТЕНОР: Многое указывает на то, что увиденное Сэлинджером на войне и в освобождённых концлагерях произвело в нём настоящий душевный переворот. Его переписка с друзьями и родственниками в Америке, до тех пор весьма активная, почти прекратилась осенью 1945 года. Он не воспользовался демобилизацией для того, чтобы вернуться домой, а остался работать в контрразведке в качестве штатского сотрудника. В его обязанности входило разыскивать бывших нацистских чиновников и офицеров, арестовывать их и вести допросы. Только на территории Германии его 970-й отдел задержал 120 тысяч подозреваемых, из которых 1700 были признаны военными преступниками, ответственными за уничтожение узников концлагерей.

БАС: Этой же осенью случилось что-то невероятное и необъяснимое: Сэлинджер женился на арестованной нацистке, с которой познакомился во время допроса. Впоследствии он сумел набросить на этот эпизод такой плотный покров тайны, какому могли бы позавидовать сталинские историки, вычёркивавшие имена казнённых из памяти людей. Биографам удалось по крохам собрать обрывочную информацию об этой женщине. Её звали Сильвия Велтер, она была ровесницей Сэлинджера. По профессии – врач-офтальмолог. Образованная, страстная, знала четыре языка. Разделяла взгляды Гитлера на евреев. Американским военнослужащим не разрешалось жениться на немках, но Сэлинджер каким-то образом устроил Сильвии французский паспорт. Молодожёны поселились в доме в окрестностях Нюрнберга, завели автомобиль и собаку. В апреле 1946 года срок контракта Сэлинджера кончился, и он вернулся в Америку с

женой. Они попытались жить в квартире родителей, но отношения между еврейской свекровью и немецкой невесткой сразу обострились. Через полтора месяца Сильвия вернулась в Европу и подала на развод. С тех пор имя первой жены в семье не упоминалось.

ТЕНОР: В предвоенные годы у Сэлинджера был серьёзный роман с дочерью знаменитого драматурга Юджина О'Нила. В свои шестнадцать лет Уна О'Нил была ослепительно хороша, полна живости и очарования. После призыва в армию, находясь на военной базе в Джорджии, Сэлинджер писал ей пламенные письма, длиной в десять-пятнадцать страниц. Но для юной красавицы бумажных нежностей было мало. Про неё говорили: «Уна без памяти влюблена в Уну». Вскоре она уехала в Голливуд, где у неё запыхал роман с Чарли Чаплином, который был на 36 лет старше неё. Вопреки протестам отца, невзирая на горе Сэлинджера, она вышла замуж за знаменитого артиста и прожила с ним до самой его смерти, родив ему восьмерых детей.

БАС: Возможно, это любовное разочарование оставило сердце Сэлинджера опустошённым и жаждущим новой любви. Возможно, этот душевный настрой способствовал тому, что он так неосмотрительно женился на женщине, ненавидевшей евреев. Но мне мерещится и другая причина этого странного выбора. Все последующие связи Сэлинджера с женщинами – брачные и внебрачные – имели одну и ту же черту: он требовал от них полного подчинения своим правилам и полного обрыва всех связей с прежней жизнью. Волею судьбы, Сильвия Велтер была брошена именно в такую ситуацию: вырвана из прежней жизни и отдана в полную власть американского офицера, допрашивавшего её. Не эти ли обстоятельства сделали пленницу привлекательной для него и подтолкнули на столь необъяснимый шаг?

ТЕНОР: Её образ промелькнёт потом в рассказе «Посвящается Эсме». Там сержант Икс, находясь в оккупированной Германии, рассматривает лежащую перед ним книгу Геббельса. Сказано, что книга принадлежала женщине, которую Икс арестовал, следуя предписаниям оккупационных властей задерживать всех бывших нацистов. На титульном листе он читает короткую надпись: «Жизнь есть ад». Эта надпись отзывается жалостью в его сердце, потому что она была сделана «безнадёжно искренним почерком». Безнадёжная искренность – это именно то, что больше всего ценили Сэлинджер и его герои.

БАС: В контрразведчики Сэлинджер попал благодаря знанию немецкого языка. Он никогда не овладел бы им, если бы его учёба ограничилась двумя семестрами, которые он провел в

университетах – сначала в Нью-Йоркском, потом в Колумбийском. Но отец, пытаясь приобщить его к работе своей импортной фирмы (сыры и колбасы из Польши), незадолго до начала войны послал его на год в Европу. Там он оказался в Вене, в семье австрийских евреев, о которых у него остались самые тёплые воспоминания. Он пытался разыскать их после войны, но узнал, что вся семья погибла в концлагере.

ТЕНОР: Опыт войны должен был оставить свой разрушительный след не только на психике писателя, но и на его даре любить. Недаром один из его героев выписывает из Достоевского: «Что есть ад? Ад есть невозможность более любить». Как можно любить кого-нибудь в мире взрослых? Ведь это они запустили всемирную резню на земле. Это они строили газовые камеры и заполняли небо дымом сжигаемых трупов. И вся жажда любить начинает изливаться из сердца Сэлинджера только на детей и подростков. Сам Холден, его сестрёнка Фиби, девочка Эсме и её братишка Чарльз, девочка Сибил из рассказа «Хорошо ловится рыбка-бананка», мальчик Лайонел в рассказе «В лодке», странный мальчик Тэдди в одноимённом рассказе и его шестилетняя сестра, сестрёнка солдата Мэтти в рассказе «Последний день последней увольнительной» – только на них обращена любовь писателя, которой он безотказно заражает своих читателей. Литературоведы подсчитали, что 75% произведений Сэлинджера написаны о совсем молодых людях. Фиби с укором говорит Холдену: «Ты никого не любишь». Холден теряет, может назвать только покойного брата Али. Но на самом деле он мог бы сказать: «Я люблю тебя, и всех твоих одноклассников, и ребяташек в Музее естественной истории, и тех, что кружатся на карусели в Центральном парке, и тех, которых я хотел бы ловить во ржи на краю обрыва». Миллионы читателей подтвердили бы его слова.

БАС: Начало литературного пути Сэлинджера было нелёгким. В течение трёх послевоенных лет он написал множество рассказов, которые были отвергнуты журналами и потом пропали. Издательство «Липинкот-Пресс» планировало издать его сборник, но потом передумало. Он уехал из квартиры родителей, снял комнату над гаражом в городке Тэрритаун – на что-нибудь получше денег не хватало. Даже «Ньюйоркер», благоволивший к нему, возвращал одну рукопись за другой.

ТЕНОР: В эти годы Сэлинджер искал свой стиль и оттачивал его. Впоследствии он признавал, что среди писателей предыдущего поколения трое оказали на него наибольшее влияние: Шервуд Андерсон, Хемингуэй и Фитцджеральд.

Действительно, интонации Холдена полностью копируют интонации подростка в рассказе Андерсона «Хотел бы я знать – почему». Обращаясь к читателю, подросток объясняет, почему он завидует одному негру, работающему в конюшне со скаковыми лошадьми: «...Я бы даже сам хотел стать ниггером. Глупо так говорить, но уж таков я, когда дело доходит до лошадей, чтобы всегда крутиться вокруг них. Я просто сумасшедший и ничего не могу с собой поделатать».

БАС: Переломным моментом в судьбе писателя явилась публикация рассказа «Хорошо ловится рыбка-бананка». Его заметили и критики, и читатели. К моменту выхода романа «Над пропастью во ржи» Сэлинджер был уже хорошо известен в литературных кругах. Журнал «Ньюйоркер» не только печатал его рассказы, но и начал платить ему тридцать тысяч долларов в год за право первого прочтения всех его новых произведений. Его имя постоянно появлялось в сборниках «Лучшие рассказы года», «Проза сороковых», «Рассказы, награждённые призами». О нём положительно отзывались такие требовательные стилисты, как Хемингуэй и Набоков. Девять его рассказов, соединённые в сборник, опубликованный в 1953 году, имели огромный успех. Женщины, встречавшиеся с ним в эти годы, рассказывали потом, что очарование его имело почти магическую силу. Чёрные волосы, тёмные глаза, высокий, одетый во всё чёрное, он будто нёс вокруг себя какую-то тёмную ауру. Даже в его квартире в Нью-Йорке доминировали чёрные тона: стены, мебель, простыни – всё было чёрным.

ТЕНОР: И однажды, на какой-то литературной вечеринке, его тёмные глаза встретились со светлыми глазами шестнадцатилетней школьницы, одетой в синее платье. Клэр Дуглас прибыла в Америку девятилетней девочкой в 1942 году, на корабле, увёзшем сотни английский детей от лондонских бомбёжек. По дороге ей довелось стать свидетельницей ужасного события: второй корабль, вёзший детей, был потоплен немецкой торпедой на её глазах. Клэр была покорена вниманием, которое начал оказывать ей известный писатель. Летом 1951 года они уже встречались регулярно, обменивались письмами и телефонными звонками. Богатые родители Клэр тоже переехали в Америку из Англии, но детьми они интересовались мало, предоставляли им жить в приютах или в школах при монастырях. В одной такой школе монахини заставляли Клэр мыться под простынёй, чтобы не оскорблять Господа видом своей наготы. (Как будто Творец мог оскорбиться видом Своего творения!) Понятно, что девочке с

таким воспитанием нелегко было входить в светский и богемный мир литературного Нью-Йорка.

БАС: Видимо, служба в контрразведке оставила сильный отпечаток на характере Сэлинджера, усугубила две самые заметные черты: скрытность и подозрительность. К моменту знакомства с Клэр он научился превращать в тайну все обстоятельства своей личной жизни. Никому не рассказывал о себе, отказывался давать интервью, фотографироваться, участвовать в собраниях. Купил себе дом в лесной глуши в штате Нью-Хэмпшир и пропадал там неделями и месяцами, не имея даже телефона.

ТЕНОР: Клэр приезжала к нему туда на длинные уикенды из университета. Чтобы соблюсти приличия, они с Сэлинджером сочинили воображаемую семью Тробриджей, которая якобы приглашала её в гости, и от имени миссис Тробридж посылали матери Клэр и в администрацию университета письма, где с восторгом описывали чудесные дни, проведённые юной студенткой в семейной атмосфере.

БАС: Впоследствии Клэр рассказывала своей подросшей дочери, что к тому времени она была без памяти влюблена в Сэлинджера. Смотрела на мир его глазами, читала те же книги по дзен-буддизму и Веданте, которые читал он, осваивала йогу и медитацию. В какой-то момент Сэлинджер предложил девушке оставить университет, порвать с родными и друзьями и переселиться к нему насовсем. На такой резкий поворот жизни Клэр не смогла решиться. Она отказалась. И тогда её возлюбленный просто взял и исчез. Он не отвечал на её звонки и письма, не появлялся у общих знакомых. Она была вычеркнута из его жизни так же решительно, как он вычёркивал из своей прозы персонажей, не сумевших подняться до требуемого им уровня.

ТЕНОР: Клэр была в отчаянии. У неё начались какие-то загадочные болезни, она неделями лежала в больнице. Там за ней ухаживал старинный поклонник, выпускник Гарварда, умолял выйти за него замуж. Удручённая, растерянная, она согласилась. Но их брак продержался всего несколько месяцев. Клэр оставила мужа. Сэлинджер тем временем работал над рассказом «Фрэнни». Читатели, знавшие Клэр, потом говорили, что именно она явилась прототипом главной героини. Через какое-то время отношения возобновились, и Клэр согласилась выполнить пожелание Сэлинджера: оставила университет и переселилась к нему. Рассказ «Фрэнни» был опубликован в январе 1955 года, а в феврале состоялось бракосочетание. И жених, и невеста заявили муниципальному чиновнику, что вступают в брак впервые. Хотя,

как это ни парадоксально, первый муж Клэр стоял тут же среди приглашённых.

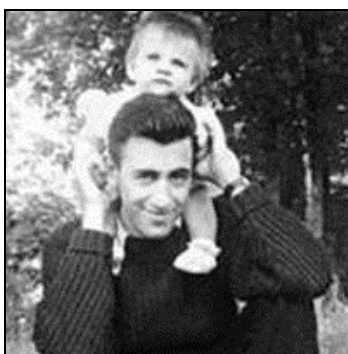
БАС: Если бы Клэр более внимательно читала «Над пропастью во ржи», она могла бы заранее узнать, что ей предстоит в уединённом лесном доме неподалёку от городка Корниш. Сэлинджер-Холден честно описал свою мечту: «Я решил сделать вот что: притвориться глухонемым. Тогда не надо будет ни с кем заводить всякие ненужные глупые разговоры. Все будут считать, что я несчастный глухонемой дурачок и оставят меня в покое... Построю себе на скопленные деньги хижину и буду жить там до конца жизни... Готовить еду я буду сам, а позже, когда мне захочется жениться, я, может быть, встречу какую-нибудь красивую глухонемую девушку, и мы поженимся... Если пойдут дети, мы их от всех спрячем. Купим много книжек и сами выучим их читать и писать».

ТЕНОР: Клэр не была глухонемой, но для близких и друзей она бесповоротно исчезла за бревенчатыми стенами Сэлинджеровского коттеджа. По его требованию, она не привезла с собой никаких вещей из её прошлого, сожгла рукописи студенческих работ и пьес, не отвечала на письма родных. Тотальное недоверие Сэлинджера к миру взрослых распространялось и на медицину, поэтому родившуюся дочку Маргарет (Пегги) долго не показывали врачам, лечили её детские хвори гомеопатическими лекарствами по книгам, стоявшим на почётном месте в домашней библиотеке. Сэлинджер проводил часы за письменным столом или с увлечением занимался огородом, а на Клэр лежала обязанность готовить завтрак, обед и ужин, ухаживать за ребёнком и два раза в неделю стирать и гладить все простыни, хотя водопровода в доме не было.

БАС: Каждое отступление от заведенного порядка навлекало на голову Клэр бурю упрёков и сарказмов. Так как, по учению дзен-будизма, плотские влечения считались нечистыми, мешающими духовному просветлению, интимные отношения между супругами почти прекратились с началом беременности. Всё это, плюс полная изоляция от окружающего мира, привело Клэр на грань умопомешательства. Впоследствии она сознавалась взрослой дочери, что планировала убить её – годовалую – и покончить с собой. Это должно было произойти во время короткой семейной поездки в Нью-Йорк в 1957 году, когда Сэлинджеру нужно было присутствовать на собрании в редакции «НьюЙоркера».

ТЕНОР: Видимо, какие-то высшие силы вмешались и удержали Клэр от выполнения задуманного. Она дождалась, когда

муж ушёл из отеля, завернула дочь в одеяло и сбежала к своему отчиму, у которого была квартира в городе. Он отнёсся к ней с теплотой и пониманием, снял жильё для неё, нанял прислугу и даже оплачивал сеансы у психиатра, на которые Клэр являлась дважды в неделю. Видимо, сердце Сэлинджера уже было заморожено годовалой дочерью – через четыре месяца он приехал из Корниша и просил жену вернуться к нему. Она выдвинула свои условия: чтобы к дому была пристроена отдельная детская, а перед крыльцом устроена лужайка; чтобы ей и дочери разрешено было иметь друзей и встречаться с ними; чтобы были разрешены регулярные визиты к доктору. Муж согласился на всё.



Сэлинджер с дочерью Пегги

БАС: Чтобы иметь возможность работать без помех, Сэлинджер выстроил на своём участке отдельный домик в сотне метров от главного. Поклонники писателя с жадностью набрасывались на новые произведения, посвящённые семейству Глассов: «Выше стропила, плотники!» (1955), «Симур: вступление» (1959), «Фрэнни и Зуи» (1961). Но критики демонстрировали раздражение и усталость от повторяющихся тем и приёмов. «Кого же представляют все эти чудесные дети на страницах его книг, столь живые, одарённые, привлекательные? Семь членов семьи, семь лиц и в каждом мы видим лицо Сэлинджера, любующегося самим собой. Мир Сэлинджера содержит лишь его самого». Джон Апдайк тоже упрекал автора в нарциссизме. «Дети Глассов слишком красивы, слишком интеллигентны, слишком образованы, и любовь автора к ним оттесняет чувство меры столь необходимое художнику. Слишком длинно, слишком много выкуренных сигарет, слишком много будь-я-проклят, слишком много религиозно-мистического пустословия».

ТЕНОР: Шум вокруг Сэлинджера нарастал, и его отшельничество только разжигало всеобщее любопытство. Журнал «Тайм», готовя номер, посвящённый загадочному писателю, разослал корреспондентов отыскивать его одноклассников, учителей, товарищей по военному училищу, однополчан, соседей, чтобы наскрести что-то похожее на биографический очерк. Верный себе Сэлинджер прятался от журналистов и непрощенных визитёров, менял время и маршруты своих поездок в почтовое отделение и в магазины, отказывался вступать в разговоры с незнакомцами. Он даже отказался появиться на большом собрании деятелей культуры, устроенном в Белом доме в 1962 году, несмотря на то что сама Жаклин Кеннеди позвонила ему и просила приехать.

БАС: Среди его поклонников было немало душевно неуравновешенных. В письмах начали мелькать угрозы ему самому и семье. В 1960 году на свет появился сын Мэтью, и тревога родителей за детей нарастала. В собственном доме они чувствовали себя в осаде и со страхом ждали, когда над изгородью появится голова очередного любопытного. При том, что слава Сэлинджера среди юных читателей только росла, одновременно нарастал глухой протест со стороны учителей, родителей, религиозных групп. Делались упорные попытки выбросить «Над пропастью во ржи» из школьных библиотек и из списков книг, рекомендуемых старшеклассникам для чтения. Разве можно считать положительным героем, примером для подражания подростка, который только ругается, выпивает, курит, пропускает уроки, поносит взрослых, врёт, знает с проститутками?

ТЕНОР: Главной отрадой для Сэлинджера в начале 1960-х сделалась его подрастающая дочь Маргарет, которую все называли Пегги. На фотографиях с нею он выглядит абсолютно счастливым. Он возил её в школу, угощал мороженым и сэндвичами в кафе, учил играть в шашки и шахматы, брал с собой в библиотеку Дартмутского университета, где они получали очередную порцию фильмов, чтобы смотреть их вместе на домашнем проекторе. При всех нападках на Голливуд, вложенных в уста Холдена, при том, что Сэлинджер упорно отказывался давать разрешение на экранизацию своих произведений, даже когда его просили об этом такие режиссёры, как Элия Казан или Лоуренс Оливье, кино он обожал и многие чёрно-белые фильмы тридцатых годов мог смотреть по десять раз.

БАС: Чувствительная Пегги каждый раз убегала и прятала голову под подушку, когда в фильме «Иностраный корреспондент» начиналась сцена пыток. Отец сердился и

говорил: «Вам с матерью только бы смотреть фильмы про Рождество и домашних щенков». Десятилетней девочке часто приходилось скрывать собственные чувства и пристрастия, чтобы сохранить расположение отца. Она уже знала, какие книги могут ему не понравиться, и читала их украдкой, стараясь, чтобы они не попадались ему на глаза. Однажды в автомобиле у них случилась размолвка. Через некоторое время он позвонил ей по телефону из своего «бункера» и сказал: «Знаешь, хорошо бы нам найти путь к примирению. Я всегда буду любить тебя, но если я порываю с человеком, я порываю *навсегда*. Для меня невозможно поддерживать отношения с тем, кого я не могу уважать».

ТЕНОР: В другой раз он стал упрекать дочь за то, что для неё друзья дороже членов родной семьи. На это она дерзко заявила: «А у тебя друзей уже почти не осталось. Ты вообще способен выносить людей только в гомеопатических дозах». «У меня нет такой нужды в друзьях, как у тебя», – ответил отец с презрением, будто желание иметь друзей выглядело в его глазах постыдной слабостью. Похоже, что сдерживать себя в выражении своих чувств в отношениях с близкими ему казалось ненужным, неискренним. Его герой в повести «Зуи» говорит: «Я срываюсь, потому что я до чёртиков устал просыпаться каждое утро в гневе и в таком же гневе отправляться вечером в постель... Я знаю, как людям бывает тяжело со мной, каким я могу быть занудой, но я ничего не могу поделать с собой. Я просто не могу перестать язвить их и подкалывать».

БАС: В повести «Зуи» и в других произведениях, посвящённых семейству Глассов, Сэлинджер сочиняет таких людей, каких он мог бы полюбить. В годы его молодости была популярна песенка, в которой певец, разочаровавшись в непостоянстве женщин, мечтает приобрести бумажную куклу в качестве жены. «Она всегда будет ждать меня дома с работы, никуда не убежит, будет верна и нежна», – неслось из репродукторов на танцплощадках. Сочинённые люди, как и бумажные куклы, хороши тем, что не могут огорчить нас своей непредсказуемостью – лучше удалиться с ними от всех живых в лесную хижину и доживать там без тревог и огорчений. Они будут послушно интересоваться тем же, чем интересуешься ты, – христианством, буддизмом, ведантой, гомеопатией, сайентологией, реинкарнацией – и так же послушно отбрасывать прежние увлечения ради чего-то нового.

ТЕНОР: Все, кого способны любить Холден и его создатель, так или иначе, – люди, не принадлежащие грешному миру. Это либо две монахини, собирающие на бедных,

встреченные Холденом, либо старый учитель истории, стоящий одной ногой в могиле, либо монахиня Ирма, занявшаяся живописью, в рассказе «Голубой период Де Домье-Смита». Либо дети, ещё не вступившие в мир взрослых, не заражённые его тлетворным влиянием, как мальчик Тэдди из одноименного рассказа. Либо это умерший брат Али, или покончивший с собой одноклассник Холдена, Джеймс Касл, либо приближающиеся к самоубийству Симур Гласс. В конце повести «Зуи» герой с большой помпой объявляет сестре – как невероятную новость, – что Бог живёт в душе каждого, даже самого заурядного, человека. Но это не может сгладить главного впечатления: мы, Глассы, тонкие и возвышенные, достойны любви автора и друг друга, а все остальные достойны только гнева и презрения.

БАС: В рассказе «Тэдди» всплывает тема реинкарнации. Её развивает мальчик-вундеркинд, объясняющий своему собеседнику: «Вы помните яблоко из Библии, которое Адам съел в раю?.. А знаете, что было в этом яблоке? Логика. Логика и всякое Познание... Больше там ничего не было. И вот что я вам скажу: главное – это чтобы человека стошнило этим яблоком... Большинство людей не хочет видеть вещи, как они есть. Они даже не хотят перестать без конца рождаться и умирать. Им лишь бы переходить всё время из одного тела в другое, вместо того чтобы прекратить это и остаться с Богом – там, где действительно хорошо».

ТЕНОР: Боюсь, Тэдди невнимательно читал Библию. Никакая логика не могла заставить Адама и Еву совершить такой нелогичный поступок: сшить смоковые листья и сделать себе опоясания. Съев яблоко с Древа познания *добра и зла*, они испытали нечто абсолютно новое, неведомое другим тварям – *стыд*. Они осознали, что есть разница между высоким и низким в их теле и что высокое это добро, а низкое – зло, и попытались прикрыть низкое. Именно по проявлению стыда, а не по созданию таблицы умножения, Бог узнал, что Его приказ был нарушен, что его создания вкусили яблока, приобщились Божественной прерогативе – знать разницу между добром и злом.

БАС: Действительно, там ведь дальше есть фраза: «Они станут, *как один из нас*». Значит – прочь их из рая, пока не поздно! Сэлинджер и его герои ко всему происходящему прилагают шкалу высоко-низко, но при этом упорно пытаются свести высокое к прекрасному – в творчестве, в поведении человека, во внешнем облике. Они отчаянно отказывают человеку в праве подняться на духовную высоту путём обыденного неталантливости добра. Каждому доброму поступку эстетическая контрразведка

немедленно предъявляет подозрение – обвинение – в показухе, фальши, самовыпячивании. «Если я стану адвокатом, – говорит Холден, – как я могу быть уверен, что защищаю несправедливо обвинённых ради них самих, а не ради того, чтобы коллеги хвалили меня и хлопали по плечу?»

ТЕНОР: Мы уже обращали внимание на то, что в произведениях Сэлинджера нет стрельбы и бомбёжек. Потом согласились с тем, что героям его несвойственно чувство стыда и раскаяния за содеянное. Но есть и третья примечательная лакуна: совершенно нет природы. Сигарет выкурено до чёрта, опрокинутые или переполненные пепельницы – чуть ли не в каждом рассказе. Но нет ни одного зелёного кустика, распустившегося цветка, шумящего дерева, пролетевшей птицы, если не считать конечно умозрительных (и отсутствующих!) уток Холдена в пруду Центрального парка. Дочь Пегги потом вспоминала, что однажды они с отцом стояли на террасе его дома, смотрели на летний пейзаж, и он вдруг обвёл его рукой и сказал поучительно: «Ты ведь понимаешь, что всё это – пелена Майи?». В другой раз жена предложила Сэлинджеру присоединиться к ней и детям в задуманной ими поездке на озеро с ночёвкой у костра. «Клэр, ты сошла с ума! – воскликнул он. – Я провёл целый год, замерзая в окопах. Никто не заманит меня добровольно ночевать под открытым небом».

БАС: Несмотря на отшельнический образ жизни, Сэлинджер не был равнодушен к политическим страстям, бушевавшим в стране в конце 1960-х. Волна демонстраций и митингов против войны во Вьетнаме докатилась и до Ньюхемпширской глуши. Двенадцатилетняя Пегги однажды вернулась домой из школы с нарисованным на щиколотке голубком мира. Сэлинджер пришёл в ярость. «Господь всемогущий! – кричал он. – Ты хоть представляешь, что случится, если мы уйдём из Вьетнама? Придут коммунисты и устроят кровавую бойню. Ты их не знаешь, не знаешь, на что они способны».

ТЕНОР: В 1966 году над приютом литературного отшельника нависла серьёзная угроза. По соседству с его участком была заброшенная ферма, за долгие годы почти исчезнувшая за разросшимися деревьями и кустами. Строительная фирма задумала расчистить территорию и выстроить на ней городок из недорогих передвижных домов. Прослышав про это, Сэлинджер поспешил купить участок и выстроил на нём для себя отдельный новый дом, в километре от старого. С этого момента жители городка Корниш стали смотреть на него с благоговением. Ведь он

избавил их от такого нежелательного соседства! Они стали его верными союзниками в войне за спокойное уединение. На вопросы приезжавших журналистов и поклонников, расспрашивавших о дороге к дому знаменитого писателя, они либо заявляли, что никогда не слышали о таком, либо посылали в противоположную сторону.

БАС: Супруги Сэлинджер и раньше проводили мало времени друг с другом. Теперь, с постройкой отдельного дома, их встречи стали ещё более редкими. И если это происходило, общение, как правило, сводилось к спорам и ссорам. Причём в эти моменты они не считали нужным хотя бы выслать детей из комнаты. Каждое обвинение, каждый упрёк, каждое подозрение вылетали из их уст со страстной убеждёностью и врзалось в детскую память. Среди поучений, которые детям доводилось слышать от отца чаще других, было одно: «Ни в коем случае не повторите мою ошибку и не вступайте в супружеские отношения с кем-то, кто окажется таким же патологическим лжецом, как ваша мать».

ТЕНОР: Летом 1966 года, устав от напряжённой домашней обстановки, Клэр возобновила визиты к психиатру. Она жаловалась на бессонницу, отсутствие аппетита, нервное истощение. Доктор пришёл к заключению, что болезненное состояние вызвано супружескими раздорами. Вооружённая этим диагнозом Клэр наняла адвоката и подала заявление о разводе. В нём были перечислены причины: «отказ супруга общаться с нею, грубость и оскорбления с его стороны в течение многих лет, прямые заявления о том, что он не любит её и не имеет желания сохранять их брак». Дело о разводе тянулось целый год. В сентябре 1967 суд вынес своё решение: дети остаются с матерью, но отцу разрешено навещать их; Клэр будет получать от бывшего мужа восемь тысяч долларов в год, плюс он обязуется оплатить обучение детей в колледже; старый дом остаётся за женой, но, в случае продажи его, Сэлинджеру должна быть предоставлена возможность купить его первым.

БАС: Сэлинджер смирился с этими тяжёлыми условиями, потому что понимал: если Клэр не получит старый дом и те 90 акров земли, которые были приписаны к нему, она предпочтёт забрать детей и уехать в Нью-Йорк или Калифорнию. А жизни без детей он себе представить не мог. Бывшие супруги превратились в соседей. Дети ночевали то в одном доме, то в другом. Клэр оживилась, стала чаще посещать парикмахерскую, спортивный зал, всевозможные собрания. Изголодавшись за десять лет по любви, тридцатичетырёхлетняя женщина кинулась навёрстывать

упущенное. Среди её новых возлюбленных были самые разные мужчины – от известного голливудского сценариста до местного садовника. Нередко они оставались ночевать в её доме, даже пытались заниматься воспитанием детей. «Они напиваются там на мои деньги!», – возмутился бывший муж. Но что он мог поделать?

ТЕНОР: Когда дети гостили у отца, два-три первых часа он радовался им. Но наутро, после завтрака, неизбежно повторялась одна и та же сцена. Сэлинджер начинал расхаживать по гостиной, как тигр в клетке, взывая к потолку: «Я не могу написать ни страницы, когда дом полон народу!». Он усаживал детей перед телевизором, давал им какую-то еду, и удалялся в кабинет, где пытался хотя бы оплачивать счета и отвечать на деловые письма.

БАС: В зимние месяцы детям было нечего делать в доме отца, кроме как смотреть много раз виденные фильмы и есть. Приглашать друзей не разрешалось. Читать? Не дай Бог, отец увидит, что ты держишь в руках книгу презираемого им автора. Болтать по телефону? Это раздражало его безмерно. Когда визит кончался, он с облегчением увозил детей к матери, переехавшей к тому времени в ГанOVER. Машину он водил всегда с превышением скорости, будто всё ещё мчался на джипе по полям Нормандии, шёл на обгон в запрещённых местах. То, что у дочери при этом белели костяшки судорожно сжимавшихся пальцев, считал просто странной детской причудой.

ТЕНОР: Сэлинджер продолжал писать, однако отказывался публиковать новые произведения. Последняя повесть, напечатанная им в 1965 году, называлась «Шестнадцатый день Хэпворта 1924 года». Она написана от лица семилетнего вундеркинда по имени Симур Гласс (да-да, того самого, про которого нам уже известно, что двадцать четыре года спустя он застрелится в финале рассказа «Хорошо ловится рыбка-бананка»), описывающего в письме родителям летний скаутский лагерь, в котором он оказался. Витиеватость стиля, парадоксальные суждения, смакование эротической привлекательности лагерной воспитательницы должны сразу дать понять читателю, что автор махнул рукой на требования правдоподобия. Да, мальчик Симур в свои семь лет, как и мальчик Тэдди в свои десять лет, превосходил своих родителей и прочих взрослых развитием умственных способностей. Не верите? Можете не читать – меня это не волнует.

БАС: И не читали. Редколлегия журнала «Ньюйоркер» привыкла беспрекословно подчиняться решениям главного редактора, Уильяма Шона, если речь шла о произведениях высоко

ценимого им Сэлинджера. Ведь он оказался прав, когда единолично, вопреки мнению остальных, приказал печатать повесть «Фрэнни и Зуи» – она таки имела успех у читателей. Однако публикация «Хэпворта» обернулась полной катастрофой. Даже горячие поклонники Сэлинджера оставляли чтение, не дойдя до середины. Критика обошла повесть неловким молчанием, но в частных разговорах все сходились на мнении, что писатель достиг творческого тупика. Если бы я был редактором-издателем, я бы предложил Сэлинджеру спасти повесть изменением всего одной цифры: вместо 1924 вписать в название 1934. Тогда Симуру было бы семнадцать лет, и шокирующая несообразность текста и возраста пишущего исчезла бы. Но не думаю, чтобы ньюхемпширский отшельник согласился «опуститься до такой банальщины».

ТЕНОР: После отказа печататься и встречаться с редакторами и издателями у Сэлинджера исчез последний стимул покидать своё гнездо. Год за годом он проводил зиму и лето дома, встречаясь только со своими детьми, выезжая только на почту, в магазин, в библиотеку. И однажды, весной 1972 года, получив очередной выпуск журнала «Нью-Йорк Таймс Мэгазин», он заинтересовался опубликованной там статьёй, которая называлась «Взгляд на прожитое в восемнадцать лет».



Джойс Мэйнард

БАС: Думаю, в первую очередь его должна была привлечь фотография автора, вынесенная на обложку. Первокурсница

Йельского университета, Джойс Мэйнард, выглядит на ней тринадцатилетней. Миниатюрная, худенькая, она смотрит на нас с чуть печальной улыбкой, в которой доверие к миру взрослых окрашено опытом первых разочарований в нём. Её рассказ о созревании девочки-подростка в провинциальной Америке 1960-х помечен всеми знаменитыми именами и главными событиями тех лет: Кеннеди и Кастро, Битлы и Джоан Баэз, полёт на Луну и борьба за равноправие негров, вторжение телевиденья и марихуаны, первые баталии феминисток и лекции о противозачаточных средствах. Сэлинджеру должен был особенно понравиться финал очерка. Джойс писала, что её детские мечты стать знаменитой и богатой истаяли. «Теперь у меня более простая цель. Я хочу быть счастливой... У меня появилось внезапное желание – купить участок земли... Как некоторые готовятся к старости, я готовлюсь к моему двадцатилетию. Небольшой дом, удобное кресло, мир и спокойствие – звучит так заманчиво».

ТЕНОР: Очерк вызвал поток читательских писем. Однажды, перебирая очередную корзину с конвертами, Джойс дошла до того, на котором был обратный адрес: Д.Д. Сэлинджер, Корниш, штат Нью-Хэмпшир. Она, конечно, слышала это имя, но книг его ещё не читала. Сэлинджер писал, что текст очерка свидетельствует о настоящем литературном таланте и призывал Джойс бережно обращаться со своим даром, дать ему возможность созреть вдали от шума и суеты журнально-издательского бизнеса. Ей следует с недоверием и осторожностью относиться к тем людям, которые сейчас ринутся к ней с всевозможными предложениями, имея на самом деле одну цель: урвать свою выгоду.

БАС: Предсказание Сэлинджера сбылось. В недели, последовавшие за публикацией очерка, Джойс получила приглашения сотрудничать от журналов «Мадмазель», «Маккол» и других, встречалась с редактором издательства «Рэндом Хауз», а с издательством «Даблдэй» заключила договор на книжку своих воспоминаний. Предложенный ей гонорар превосходил годовую зарплату её отца – университетского профессора. При этом чтобы покрыть плату за обучение, она продолжала подрабатывать посудомойкой в университетском кафетерии. Примечательно, что в том же 1972 году, среди студентов, возвращавших ей грязную посуду, она могла увидеть никому тогда неизвестных Билла Клинтона, Хилари Родэм, Мэрил Стрип.

ТЕНОР: Джойс Мэйнард ответила Сэлинджеру – благодарила за советы и обещала запомнить их на всю жизнь. Он тут же откликнулся новым посланием, и письма начали летать

между Корнишем и Нью-Хэвенем чуть ли не ежедневно. Теперь Джойс, принося почту домой, прежде всего кидалась искать заветный конверт, вскрывала его с волнением, вчитывалась в каждое слово. Сэлинджер писал о том, что его увлекало в последнее время, – религия, восточная философия, гомеопатия, жаловался, что это надолго отвлекало его от собственного творчества. Но он утешал себя тем, что так или иначе духовые искания будут потом питать его прозу и найдут в ней своё место.

БАС: При первом взгляде, главной темой переписки оставалась она, Джойс Мэйнард – её судьба, её талант, опасности, подстерегающие её на жизненном пути. Лишь перечитывая эти письма двадцать лет спустя, Джойс поняла, что Сэлинджер больше писал о себе: его ранний успех, связанное с этим болезненное погружение в интриги издательского мира, тщетные попытки оградить свою личную жизнь от бестактных вторжений, а своё творчество – от коммерческой эксплуатации. Он предостерегал её от возможных опасностей, подкарауливающих каждого пишущего, и тут же сам делал то, от чего он её предостерегал: осыпал похвалами, давал советы, подталкивал писать дальше, призывал никому не верить.

ТЕНОР: В одном из писем Сэлинджер прислал свой номер телефона и предложил звонить ему за его счёт. Их беседы порой длились за полночь. Конечно, Сэлинджер, как и Холден Колфилд, очень многое презирал в окружающем мире. Но если речь заходила о чём-то, что он искренне любил, – о его детях, или о каких-то проявлениях человеческой искренности и простоты, – он делался нежным, весёлым, даже сентиментальным. «У меня никогда не было такой дружбы, малыш, – писал он. – Бог знает, что из этого выйдет. Но я просто счастлив, что ты есть на свете, ходишь среди этих инопланетян. А может быть, это мы с тобой – инопланетяне?» Желание нравиться такому человеку, завоёвывать его признание и любовь сделалось сильнейшим душевным устремлением Джойс Мэйнард.

БАС: При этом оба они старались не замечать глубинную несовместимость, непересекаемость их жизненных дорог и целей. Сэлинджер хотел только покоя и одиночества, чтобы иметь возможность медитировать, читать, творить. Джойс не могла стать той глухонемой спутницей жизни, о которой мечтал Холден. Она так же мечтала об успехе и литературной славе, как сам Сэлинджер в свои восемнадцать лет. Для неё издательский и театральный мир, от которого Сэлинджер отшатнулся с презрением, оставался сверкающим и манящим. Но, как и дочь Пегги, Джойс не решалась признаваться в своих подлинных

предпочтениях, боясь утратить расположение такого яркого, талантливого, необычного человека. Она мечтала, чтобы он относился к ней так, как Холден относился к Фиби. Владея искусством слова, Сэлинджер покорила миллионы читательских сердец. Нужно ли удивляться тому, что восемнадцатилетняя неопытная девушка не могла устоять перед ним?

ТЕНОР: Через два месяца после начала переписки Джойс приняла приглашение Джерри провести викенд в его доме. Друзья подвезли её на машине в Гановер, где Джерри ждал её у входа в гостиницу. Для неё было совершенно естественно побежать к нему и обнять как дорогого друга. Потом он вёз её в автомобиле в Корниш, показывал дом, угощал ланчем. Она с готовностью подчинилась строгим диетическим правилам, установленным в его доме: хлеб, немного сыра, орехи, семечки, ломтики яблока. При этом беседа не прерывалась ни на минуту. Среди прочего, они выяснили, что в каждом из них – только половинка еврейской крови. Джерри рассказал, как долго от него и от его сестры скрывали тот факт, что мать их родилась в ирландской семье в Айове и только при выходе замуж перешла в иудаизм, превратилась из Мэри в Мириам. Потом они гуляли по заросшему участку в сопровождении таксы Джои. Когда поднимались по тропинке к вершине холма, Джерри впервые взял её за руку.

БАС: Видимо, пора оповестить наших зрителей и читателей, что детальный рассказ об этой любви содержится в воспоминаниях Джойс Мэйнард под названием «В мире – как дома», опубликованных в 1998 году, то есть четверть века спустя. Факт публикации вызвал бурю возмущения среди поклонников Сэлинджера. «Как можно было выставить на всеобщее обозрение человека, умолявшего только об одном: чтобы его оставили в покое?» Позже мы вернёмся к этическим и юридическим проблемам прижизненных публикаций писем, дневников, документов, связанных с биографией знаменитого человека. Пока же хочу сказать только одно: тот, кто считает подобные вторжения абсолютно недопустимыми, может в любой момент перейти с нашей программы на другой канал или захлопнуть книгу.

ТЕНОР: Во время первой встречи влюблённые не пошли дальше касания рук. Джойс уехала на лето в Нью-Йорк, где её засыпали предложениями журналистской работы. Роман продолжал расцветать в своём эпистолярно-телефонном варианте, но ничуть не ослабевая. «Все эти годы, пока тебя не было в моей жизни, – писал Сэлинджер, – я легко справлялся с твоим отсутствием. Но теперь, когда мы встретились, и ты снова исчезла, равновесие нарушилось. Сегодня утром я смотрел на кресло, в

котором ты сидела, и мне было невыносимо грустно, что тебя в нём нет.» В другом послании он описывал, как случайно столкнулся в городе с Пегги и Мэтью и как они все трое обрадовались встрече и как это славно иметь в жизни хоть несколько близких людей – включая её, Джойс, – которых можно любить по-настоящему.

БАС: Накануне праздника Дня независимости Сэлинджер вскочил в автомобиль и помчался в Нью-Йорк. После пяти часов быстрой езды он остановился около дома рядом с Центральным парком и поймал в объятия Джойс, выбежавшую ему навстречу. Они купили в магазине деликатесов пакет бубликов с копчёным лососем и тут же поехали обратно на север. По дороге он говорил ей, что любит в жизни всё настоящее, и именно поэтому полюбил её писания, её речь, её жизнь. Приехав в дом, они направились в спальню и начали раздевать друг друга, У него за плечами – два брака и множество связей. Весь опыт Джойс сводился к одному поцелую с мальчиком в выпускном классе школы. Но она верила, что такой сильный и нежный к ней человек знает, как сделать их обоих счастливыми.

ТЕНОР: Они говорят друг другу слова любви. Джойс пытается вспомнить инструкции и брошюры, которыми Йельский университет снабжал первокурсниц. Там было всё о противозачаточных средствах, об опасности венерических заболеваний, о первых признаках беременности. Но не было ни слова о том, что *это может не получиться*. Её тело не подчиняется её воле, отказывается впустить в себя возлюбленного. Она плачет от боли и унижения. Мучительный обруч стягивает ей виски. Джерри утешает её, укутывает одеялом. Потом берёт её руку и начинает ритмично надавливать на ладонь между указательным пальцем и большим. Головная боль постепенно проходит. «Я приготовлю тебе чего-нибудь поесть», – говорит Джерри.

БАС: Вместо двух намеченных дней Джойс провела в лесном убежище целых пять. И каждую ночь повторялось то же самое: попытка, неудача, головная боль, лечебный массаж ладони. Правда, опытный возлюбленный объяснил Джойс, что возможны альтернативы. Она была рада научиться им, рада возможности сделать счастливым хотя бы его одного. «Пока я это делаю, он будет любить меня», – говорила она себе. Он обещал погрузиться в медицинские книги, найти имя её недуга, найти способ лечения. Теперь в её жизни появилась тёмная тайна, ещё более постыдная, чем её анорексия, чем пьянство её отца. И она делила её с Джерри. Станным образом, это делало его ещё более близким.

ТЕНОР: Джойс вернулась в Нью-Йорк и возобновила свою работу в газете. Но теперь влюблённые уже не могли довольствоваться почтой и телефоном. Несколько раз она летала к нему в Нью-Хэмпшир, он, в свою очередь, приезжал в Нью-Йорк и проводил ночь в её квартире. Им обоим верилось, что, вопреки всем трудностям, они будут неразлучны. Двадцать лет прошло с той поры, когда Сэлинджер ухаживал за восемнадцатилетней Клэр, уговаривая её бросить университет, порвать все связи с прошлым, переселиться к нему. Теперь он просил Джойс о том же. И она тоже колебалась. В сентябре занятия в Йейле возобновились. Джойс записалась на несколько курсов, купила новое кресло для своей квартирки, цветы в горшках, ковёр, плакаты на стены. Но вместо того, чтобы наслаждаться уютом и ходить на лекции, она садилась на велосипед и часами колесила по окрестностям Нью-Хэвена, вспоминая дни, проведённые в Корнише. И однажды, вернувшись с прогулки, подняла телефонную трубку, набрала знакомый номер и сказала только три слова: «Забери меня отсюда». В ответ услышала: «Наконец-то! Господи, как я скучал по тебе».

БАС: Много лет спустя, когда Джойс Мэйнард опубликовала свои воспоминания, поклонники Сэлинджера возмущались тем, что она включила в них так много интимных подробностей. Но не сам ли Сэлинджер учил её быть предельно честной в писаниях? На мой взгляд, книга её представляет замечательную историю любви – страстной, драматичной, обречённой, как история Ромео и Джульетты. Образ Сэлинджера не был принижен в моих глазах после прочтения, наоборот – поднялся. Передо мной предстал человек, по-настоящему одарённый любовью, способный отдаваться своему чувству безоглядно и упоённо. В книгах Сэлинджера нет персонажей, способных так любить, как любит герой книги Джойс Мэйнард.

ТЕНОР: Совместная жизнь в Корнише не могла быть безоблачно счастливой. Джерри весь поглощён попытками осуществить призыв философии дзен-буддизма – избавиться от желаний, задавить ненасытное «я», приблизиться к нирване. Строгая диета, долгие часы медитации, чтение Рамана Махарашри и других подобных трудов – всё направлено на эту главную цель. Джойс старается следовать за ним, но её желания слишком сильны. Она пытается выбросить из головы тщеславные мысли о том, что ей надеть для фотографии, предназначенной на обложку её книги, и какую сделать причёску. О том, что хотела бы участвовать в мюзикле, который ставит её друг. О том, как ей завоевать расположение Пегги. И ещё она думает о еде.

Испечённый ею банановый хлеб лежит на столе. Она не выдерживает – отрезает кусок, съедает. Потом ещё. И ещё. Потом, полная чувства вины, прокрадывается в ванную и пальцем умело вызывает рвоту. Иногда она придумывает предлог для поездки в городок, покупает там банку йогурта или коробку мороженого и тайком съедает их в отпаркованном автомобиле.

БАС: Как его герой Зуи, Сэлинджер не считает нужным – или не может – сдерживать своё недовольство. К приезду Пегги Джойс решила надеть мини-юбку. «Ты выглядишь смехотворно», – говорит Джерри. Джойс написала статью о своих родителях, дала ему прочесть. Получает комментарий: «Умело. Бойко. Годится для публикации. Но при этом нет ни одной честной фразы. Ни слова о том, что твой отец алкоголик». Надвигается публикация книги Джойс и неизменно связанные с этим выступления в эфире, интервью газетам, рекламные поездки в книжные магазины. То есть, всё то, что Сэлинджер отверг с презрением. А она до сих пор не в силах поставить крест на своей литературной судьбе. «Наверное, ты такая же, как все они», – вздыхает Джерри.

ТЕНОР: Тем не менее, у них бывают просветы нежности и веселья. В автомобиле они расппевают любимые песенки из старых кинофильмов. Джойс кладёт ему голову на плечо. Она всё ещё девственница, но они часто говорят о будущем ребёнке. Джерри рассказывает, что видел сон, в котором их ребёнок – девочка со странным именем «Бинт». Лезут в словарь – оказывается, на староанглийском это слово означает «девочка». Их единственное отступление от строгой диеты, единственная слабость – копчёный лосось. «Зачем нам ездить за ним в нью-йоркский магазин деликатесов?» – говорит Джерри. Он покупает сырое лососёвое филе, посолив, кладёт в проволочную корзинку, лезет на крышу дома, подвешивает корзинку в каминной трубе. Камин разожжён, но, увы, через пять минут весь дом наполняется дымом. Обуглившиеся куски лосося достались птицам.

БАС: Джойс чувствовала, что раздражение Сэлинджера против неё нарастает. Валяющаяся на полу юбка, забытая в раковине посуда, зубная щётка, поставленная в стакан ручкой вверх, а не вниз, – всё могло вызвать ядовитый упрёк. «Каждый раз после встреч с матерью ты начинаешь говорить таким же фальшивым театральным голосом, как у неё». В январе раздался телефонный звонок из журнала «Тайм», и звонивший сказал Сэлинджеру, что номер дала ему редактор, ведущая книгу Джойс. «Как ты могла! – стенал Джерри. – Столько лет я делал всё возможное, чтобы оградить себя от вторжений. А теперь “Тайм”

знает мой телефонный номер!» Но хочется спросить его: чем возмущаться, не проще ли было завести в доме отдельный телефон, только для подружки?

ТЕНОР: В те же месяцы другие беды и тревоги обрушились на Джойс. Её отец влюбился в молодую женщину и собрался уехать с ней в Англию. Сестра рассталась с мужем и вернулась в дом родителей с годовалым ребёнком на руках. Значит, и рождение ребёнка не может гарантировать верность возлюбленного? А она так мечтала, что девочка Бинт станет прочным связующим звеном между ними. В медицинских книгах Джерри отыскал описание её редкого недуга. Он называется «вагинизмус» – ненормальное сжатие вагинальных мышц. Вот если бы найти мудрого врача, который излечил бы её, помог бы её лону раскрыться!

БАС: Джойс и мысли не допускает, что проблема может быть не в ней, а в нём. Да, он в своё время зачал двух детей, которые успешно появились на свет и растут здоровыми и энергичными. Но с тех пор прошло двенадцать лет, заполненных постом, подавлением плотских порывов, раздуванием отвращения ко всему, что может отвлечь от духовного роста. На шестом десятке у многих мужчин детородный орган утрачивает былую крепость. Впоследствии Джойс выйдет замуж за своего ровесника, и «вагинизмус» каким-то образом испарится – они без труда родят ребёнка. Не могло ли оказаться, что две-три таблетки вайагры, покончили бы с тягостной ситуацией?

ТЕНОР: Врачам Сэлинджер не доверял. Но давнишний знакомый по гомеопатическим изысканиям порекомендовал ему одну жительницу Флориды, занимавшуюся альтернативными методами лечения и иглоукалыванием. Весной 1973 года Джерри, взяв с собой Джойс и обоих детей, отправился в Дайтона Бич. Джойс была удивлена, что её поместили в один номер с Пегги, а Джерри и Мэтью расположились в соседнем. Ведь дети, гостя в доме отца, много раз видели, что она ночует с ним в одной спальне. Но ей не хотелось расстраиваться из-за мелочей. Она мечтала, что загадочная докторша достанет волшебную гомеопатическую таблетку, даст ей проглотить её, воткнёт несколько иголок в нужные места и её тело раскроется для возлюбленного, как цветок.

БАС: Увы, ничего этого не произошло. Были расспросы, были долгие обсуждения, был медосмотр и иголки, но ничего утешительного сказано не было. Джерри и Джойс вернулись в отель печальные, печально расположились в складных креслах на пляже. Городские власти Дайтона-Бич почему-то разрешают

туристам развезать вдоль кромки океана на автомобилях. Из-за шума проехавшей «тойоты» Джойс не слышала того, что сказал Джерри, и переспросила. «Я не хочу больше иметь детей, – повторил он. – С этим покончено. Я хочу, чтобы ты вернулась в Корниш, забрала свои вещи и уехала из моего дома. Не нужно, чтобы Пегги и Мэтью были свидетелями твоего отъезда. Я скажу им, что ты улетела, потому что получила известие о болезни отца».

ТЕНОР: Если эту любовную драму когда-нибудь перенесут на экран, сценаристу не будет нужды сочинять сцену расставания и отъезда Джойс Мэйнард – в её книге она воссоздана с душераздирающей скрупулёзностью. Ночью она не может сдержать слёз. Чтобы не разбудить Пегги, прокрадывается в ванную. Сэлинджер, разбуженный её плачем, присоединяется к ней. Садится на стульчак, она пристраивается на его коленях. Его пижама мокра от её слёз. «Я не могу жить без тебя... Не прогоняй меня...» Но нет – лучше мы пропустим, перескочим через потянувшиеся месяцы тоски, одиночества, безнадёжных звонков в пустоту, безответных писем, мучительного ощущения утраты смысла жизни. Джойс выживет. Очнётся от потрясения. Выйдет замуж. И не один раз. Родит и вырастит троих детей. Напишет и опубликует множество превосходных статей, несколько книг. А главное, сохранит то состояние души, которое позволит ей назвать свои воспоминания – «В мире – как дома».

БАС: Именно это Сэлинджер поставит ей в упрёк, когда они встретятся ненадолго четверть века спустя. «Ты слишком любишь мир – в этом твоя проблема». – «Да, – ответит она спокойно. – И вырастила троих детей, которые тоже любят мир». В нашей программе мы стараемся не осуждать и не восхвалять, только рассказывать, как всё было. А было так: писатель Сэлинджер сочинил Холдена Колфилда, который мечтал заниматься благородным делом – ловить заигравшихся детей на краю обрыва. Однако двадцать лет спустя этот писатель так заигрался, что сам заманил девочку-ребёнка на край обрыва и сам столкнулся в пропасть отчаяния. Один из героев Сент-Экзюпери говорит: «Мы в ответе за тех, кого мы приручили». Видимо, для Сэлинджера эта фраза была бы пустым звуком. Ведь он гордился тем, что «если порывал с человеком, то порывал навсегда».

ТЕНОР: После разрыва с Джойс Сэлинджер возобновил жизнь отшельника в ньюхемпширском лесу. Дети выросли, видеться с ними удавалось редко. Зато участились попытки незваных гостей встретиться со знаменитым писателем, вырвать у него интервью, сфотографировать тайком. Он решительно

отказывал всем, бросал телефонную трубку, когда слышал незнакомый голос. Каково же было изумление корреспондентки «Нью-Йорк Таймс» Лэйси Фосбург, когда в её кабинете заверещал телефон и звонивший представился Джеромом Сэлинджером. Он хотел сделать короткое заявление для газеты. «Меня ограбили, – сказал он. – Было совершено противозаконное деяние. Это несправедливо. Представьте, что у вас в шкафу висит пальто, которое вам нравится. А кто-то придёт и заберёт его, потому что оно ему тоже понравилось. Полиция станет искать даже какой-нибудь старый украденный матрас и найдёт его. А этих воров никто даже не ищет!»

БАС: Возмущение Сэлинджера было вызвано полученным им известием о том, что кто-то осуществил пиратское издание его ранних рассказов, писавшихся в 1940-48 годах. На обложке: «Полное собрание рассказов, не включавшихся в прежние сборники», в двух томах. Неизвестные молодые люди являлись в книжные магазины Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорка, представлялись сотрудниками издательства «Гринберг из Беркли» и предлагали купить у них пачки свежотпечатанных книжек. Книготорговцы охотно принимали их на комиссию, платили по полтора доллара за том, а продавали за три или четыре доллара. По приблизительным подсчётам разошлось около 25 тысяч экземпляров. Сэлинджер подал в суд на неизвестного издателя и на 16 книжных магазинов, требуя 250 тысяч долларов в качестве компенсации за нанесённый ущерб и немедленного запрещения продаж. «Я написал эти рассказы давно, – говорил он, – и хотел бы, чтобы им дали тихо умереть естественной смертью». Его разговор с корреспонденткой «Нью-Йорк Таймс» был первым публичным выступлением за двадцать лет, и его перепечатали сотни газет, так же, как сообщение о судебном иске.

ТЕНОР: Было ещё несколько эпизодов, когда кому-то удавалось прорваться сквозь круговую оборону, выстроенную Сэлинджером вокруг своей жизни. Двадцативосьмилетняя журналистка из Луизианы, по имени Бетти Эппис решила попытать своего счастья. Она не стала посылать письмо по почте, а прилетела в Нью-Хэмпшир, добралась до Виндзора и уговорила почтового клерка положить её послание прямо в ящик, арендованный Сэлинджером. Она извещала его о том, что хотела бы встретиться, и будет ждать его на следующий день, на таком-то углу, в 9:30, в арендованном «пинто». Её приметы: ярко-рыжие волосы и зелёные глаза. (Прямо как в рассказе – «И эти губы, и глаза зелёные».)

БАС: Видимо, приметы подействовали – в назначенное время Сэлинджер явился на свидание. Не веря своей удаче, Бетти поначалу даже всплакнула от волнения. Потом начала расспрашивать его о нынешних планах, о Холдене Колфилде, о том, насколько книга автобиографична. Похоже ни внешний облик гостя, ни её речь не оправдали ожиданий Сэлинджера. К тому же, двадцать восемь лет – это вам не восемнадцать. Он отвечал только одно: «Читайте книгу, там всё написано». Потом извинился и ушёл в почтовое отделение. Но на обратном пути был перехвачен прохожим, который узнал его и попросил осчастливить рукопожатием. Это привело Сэлинджера в ярость. Может быть, он решил, что Бетти подстроила встречу. Он стал кричать на неё: «Этот незнакомый человек прикоснулся к моей руке! Уезжайте! Не звоните мне, не звоните моим друзьям. Уезжайте из Виндзора, из Корниша. Оставьте меня в покое!». Глаза Бетти, которые явно оказались недостаточно зелёными, снова наполнились слезами.



Маргарет Сэлинджер

ТЕНОР: В середине 1970-х отношения с дочерью тоже перестали быть источником радости для Сэлинджера. В девятнадцать лет она с рыданиями порвала с очередным возлюбленным, оставила колледж и от отчаяния вышла замуж своего учителя карате, который к тому же был чёрным. Ради заработка устроилась автомехаником в гараже электростанции. Накопив денег, решила пойти учиться в Университет Брандайса. Сэлинджер был этим крайне недоволен. «Чему она может научиться в сегодняшнем университете?!» Поначалу он отказался

оплачивать обучение, хотя этот пункт был включён в постановление суда о разводе. Только когда Клэр пригрозила сообщить об этом газетам, он смирился. В начале первого семестра Пегги однажды вернулась домой с занятий и обнаружила, что муж сбежал, украв автомобиль и оставив кучу неоплаченных счетов, которые съели все её скромные сбережения. Пришлось вернуться на работу в гараж.

БАС: В конце 1980 года произошло трагическое событие, которое неожиданным образом снова вынесло имя Сэлинджера на страницы газет и журналов. 8 декабря певец Джон Леннон с женой вышли из лимузина и направились к своему дому вблизи Центрального парка в Нью-Йорке. К ним подошёл неизвестный молодой человек, по виду – провинциал, и попросил автограф. Леннон выполнил его просьбу и пошёл дальше. Молодой человек достал пистолет и пять раз выстрелил певцу в спину. Тот упал, обливаясь кровью. Ошеломлённая жена опустилась рядом с ним на колени, пыталась приподнять голову, потом забилась в истерику. Убийца спокойно отошёл в сторону, уселся на край тротуара, достал книжку и принялся читать её в ожидании полиции. Книжка называлась «Над пропастью во ржи».

ТЕНОР: Во время следствия обвиняемый, Марк Чэпмен, на вопросы о мотивах своего преступления отвечал только одно: «Читайте книгу Сэлинджера, там всё написано». Выяснилось, что он настолько идентифицировал себя с героем романа, что даже пытался легально изменить своё имя на Холден Колфилд. Изначально он был поклонником Джона Леннона, но потом тот, по мнению Чэпмена, изменил себе, погнался за успехом и деньгами, то есть стал «фони». А задача Холдена – очищать мир от таких людей. После суда и приговора, находясь в тюрьме, Чэпмен дал интервью Барбаре Уолтерс, в котором объяснял, что прошёл специальный сатанинский обряд, который превратил его в Холдена Колфилда.

БАС: Увы, название знаменитого романа всплывало, по крайней мере, ещё дважды в связи с кровавыми злодеяниями. 30 марта 1981 года полиция арестовала Джона Хинкли, стрелявшего в президента Рейгана. В карманах его пиджака, среди прочих вещей, был найден зачитанный экземпляр «Над пропастью во ржи». Как известно, Хинкли своим поступком хотел привлечь внимание актрисы Джоди Фостер. Другая актриса, Ребекка Шейфард, имела несчастье заполонить с экрана сердце другого психопата по имени Роберт Бардо. Он писал ей письма, умолял о встрече, однажды прокрался на съёмочную площадку. Актриса упорно игнорировала его. Однажды она открыла дверь своей

квартиры на звонок и увидела перед собой непрошеного поклонника. Не говоря ни слова, он извлёк пистолет и застрелил её. Полиция, идя по следу убийцы, нашла выброшенный пистолет, окровавленную рубашку и томик романа Сэлинджера. Конечно, у меня язык не повернётся назвать этот роман «индальгенцией на убийство». Но «индальгенцией на нелюбовь к миру взрослых» – назову.

ТЕНОР: Влюбляться издали – по переписке, по экранному образу, по фотографии – было свойственно и Сэлинджеру, и его героям. В начале 1980-х актриса Элейн Джойс была ошеломлена, получив от него письмо. Он писал, что смотрел несколько недель телешоу под названием «Мистер Мерлин» и был заморожен её игрой. Как и в случае с Джойс Мэйнард, всё началось с похвал и советов. Между ними завязалась оживлённая переписка. При встрече они не разочаровались друг в друге, и загорелся штрихпунктирный роман, тянувшийся несколько лет. Свидания искусно скрывались, в отелях Сэлинджер регистрировался под именем мистер Болетус (*boletus* – гриб, лат.). Однажды его опознали, когда он приехал на спектакль с участием Элейн в Джексонвиле (Флорида), но оба сделали вид, что незнакомы друг с другом.

БАС: Нельзя не заметить сходные черты приёмов, применявшихся Сэлинджером в ухаживании за Клэр Дуглас, Джойс Мэйнард, Элейн Джойс. Первый этап – поток комплиментов. Психологи, изучавшие тактику вербовки людей в различные культы, называют этот начальный период «бомбардировка любовью». Объект вербовки, как правило, очень неуверенный в себе, нуждающийся в моральной поддержке, хватается за протянутую ему соломинку, воображая её надёжным спасательным кругом. Второй этап: обрыв всяких связей и контактов с остальным миром. С Клэр и Джойс это удалось, с Элейн, видимо, нет.

ТЕНОР: Но Сэлинджер не вербовал в культ. Добившись полной власти над Клэр, а потом и над Джойс, он утратил интерес к ним. Похоже, его увлекал сам процесс покорения. Примечательно, что после начала совместной жизни его увлечение этими двумя женщинами длилось ровно столько, сколько увлечение первой женой, Сильвией, – меньше года. Однажды Пегги ездила вместе с отцом на почту. Он извлёк из пачки конвертов один, показал ей. «Это от моей первой жены». И разорвал, не вскрывая. А Пегги подумала: «Вдруг у меня где-то есть сводный брат или сестра?».

БАС: В 1985 году Сэлинджер получил письмо из Лондона от известного поэта, Яна Гамильтона, автора нескольких сборников стихов и биографии Роберта Лоуэлла. В письме содержалась просьба о встрече или хотя бы о подробном письменном ответе на несколько важных вопросов. Гамильтон начал работу над биографией Сэлинджера и надеялся на его помощь. Ответа на это письмо не последовало. Тогда Гамильтон взял телефонную книгу Нью-Йорка и разослал письма-запросы всем имевшимся там Сэлинджерам. Одно из них достигло сына Мэтью, и он известил об этом отца. Тот отправил Гамильтону гневное послание, требуя прекратить вторгаться в его жизнь и тревожить членов его семьи. Настойчивый автор, который уже подписал договор с «Рэндом Хауз» на 100 тысяч долларов, продолжал своё исследование. Работая в американских архивах, он имел возможность ознакомиться с множеством писем Сэлинджера, переданных туда на хранение различными людьми. Цитаты из этих писем были включены в текст рукописи, сданной в издательство в мае 1985 года. Она называлась: «Д.Д. Сэлинджер: жизнь писателя».

ТЕНОР: Адвокаты «Рэндом Хауз» ознакомились с книгой на предмет отсутствия в ней клеветы, сделали ряд замечаний. Гамильтон внёс необходимые исправления, после чего переплетённые гранки были отправлены в несколько журналов, чтобы критики имели возможность заранее написать рецензии. Видимо, один из этих экземпляров попал на глаза Сэлинджеру, и он нанял адвокатскую контору в Нью-Йорке, чтобы остановить издание. Повод: использование неопубликованных писем Сэлинджера было объявлено нарушением законов о копирайте. Зная отшельнический образ жизни своего героя, Гамильтон надеялся, что тот просто не захочет ввязываться в юридическую волокиту и не явится в судебное заседание. Не тут-то было. Сэлинджер приехал из Корниша в костюме и галстук и предоставил себя для подробного допроса со стороны адвокатов «Рэндом Хауза».

БАС: А это далось ему нелегко. Приятельница редактора Шона потом рассказывала, что она ходила с ним на заседания и иногда должна была брать его руки в свои – так они дрожали. Потом уводила к себе домой и отпаивала куриным бульоном. Нечего и говорить, что корреспонденты толпились в зале, и вся пресса в Америке и Англии освещала процесс. Судья решил дело в пользу Гамильтона, заявив, что цитирование писем осуществлено в рамках правил и что знаменитый писатель является фигурой общественной, поэтому публика имеет право получать

информацию о нём, если она добыта законными способами. Адвокаты Сэлинджера немедленно подали апелляцию, и апелляционный суд отменил решение нижней инстанции. В общей сложности тяжба длилась почти три года. В конце концов, книга вышла в 1988 году, без цитат из писем и с изменённым названием: «В поисках Д.Д. Сэлинджера».

ТЕНОР: В октябре 1992 года, в час ночи, диспетчер пожарной службы городка Корниш услышал в телефонной трубке призыв о помощи. «Наш дом горит! Скорее!» – «Кто говорит?» – «Колин Сэлинджер. На помощь!» Так мир узнал, что Сэлинджер в какой-то момент, тайно от всех, женился в третий раз. Четыре пожарных машины примчались к уединённому жилищу. Пламя удалось потушить довольно быстро, дом сгорел только наполовину. На следующий день появились корреспонденты, но Сэлинджер и его новая жена категорически отказались разговаривать с ними. Впоследствии выяснилось, что Колин на сорок лет моложе мужа. Что она жительница Нью-Хэмпшира и их иногда видели вместе в магазинах и ресторанах. Что по профессии она медсестра, а также занимается изготовлением традиционных одеял из цветных лоскутков – квилтов. Есть также сведения, что женьтебе предшествовала долгая переписка. Примечательная деталь: девичья фамилия Колин – О'Нил.

БАС: Круговую оборону секретности, выстроенную Сэлинджером вокруг своей частной жизни, некоторые комментаторы называли «китайской стеной молчания». В книге Гамильтона мы находим интересную формулировку: «Он стал знаменит своим нежеланием быть знаменитым». Мне же представляется такая модель: так должен был бы вести себя человек, который искренне уверовал бы в неизбежность Страшного суда и вообразил, что ему по силам повлиять на исход своего процесса. Каким образом? Точно так, как это делают обычные обвиняемые в человеческих судах: отказываются давать показания следователям, запугивают и дискредитируют свидетелей, придумывают контробвинения, не являются на заседания суда, уничтожают улики и документы. Литагент Сэлинджера, Дороти Олдинг, по его требованию, сожгла сотни его писем, которые он отправлял ей в течение многих лет, точно так же поступили и многие другие его корреспонденты.

ТЕНОР: Другое возможное объяснение: по учению дзен-буддизма, главная цель человека на земле – подавлять свои желания, выжигать каждый порыв, отвлекающий от духовного роста. Если допустить, что сильнейшим желанием Сэлинджера было писать хорошие книги и иметь успех у читателя, не может ли

оказаться, что его отказ печататься и был направлен на подавление этого главного проявления изначального эгоизма его внутреннего «я»? Вспомним, с какой страстью Фрэнни восстаёт против всеобщего стремления к успеху: «Я просто схожу с ума. Меня тошнит от того, что всюду – Я, Я, Я... Что каждый хочет куда-то прорваться, сделать что-то выдающееся, стать интересным для других... Это отвратительно – да, да, да!».

БАС: В романе Камю «Падение» герой говорит: «Суд над другими людьми постоянно шёл в моём сердце... Для меня вопрос в том, чтобы как-нибудь ускользнуть, да, главное – вернуться от суда. Я не говорю – вернуться от наказания. Наказание без суда можно перенести. У него есть название, гарантирующее нашу невиновность, – несчастье. Нет, речь идёт о том, чтобы избежать суда, избежать придирчивого судебного разбирательства, сразу его прервать, чтобы приговор никогда не был вынесен».

ТЕНОР: Это совпадает с рассказом сестры Сэлинджера, Дорис. Она сообщает, что с детства Джерри не переносил никакой критики в свой адрес. И обожавшая его мать поддерживала в нём этот настрой. «Джерри не может быть неправ» – и дело с концом. Отказы редакций, нападки рецензентов Сэлинджер переживал крайне болезненно. В разговорах с Джойс Мэйнард он обрушивался на издательский бизнес: «Люди, неспособные написать ни одной оригинальной строчки, будут подсовывать тебе свои блестящие идеи: добавьте здесь романтики, уберите раздражающую двусмысленность... Когда книга опубликована, она больше не принадлежит тебе. Являются критики, стремящиеся создать себе имя на разрушении твоего... Публиковаться – такое постыдное дело. Влезать в него – это всё равно что гулять по Мэдисон-авеню без штанов».

БАС: И вот, в последние годы уходящего XX века в «Великой китайской стене тишины и секретности», один за другим, были проделаны три мощных пролома. Первый – книга Джойс Мэйнард. Незадолго до её опубликования в 1998 году Джойс без предупреждения приехала к дому Сэлинджера и постучала в дверь. Когда он увидел её, лицо его исказилось горечью и гневом. «Что ты здесь делаешь? Почему ты не написала письмо?» – «Я писала много раз – ты не отвечал. А приехала, чтобы задать тебе один вопрос: какова была роль, отведённая мне тобой в твоей жизни?» Он стал говорить, что она не заслуживает ответа на такой вопрос. Стоя на крыльце, не приглашая её в дом, он поносил её писания, её жизнь, её характер. Он обвинял её в том, что в своих мемуарах она вознамерилась эксплуатировать своё знакомство с ним. «Из нас двоих кто кого эксплуатировал четверть

века назад?», – спросила она. «Я не эксплуатировал тебя, – сказал разъярённый писатель. – Я тебя вообще не знаю».

ТЕНОР: Издатели Джойс были научены горьким опытом Гамильтона и попросили её не цитировать имевшиеся у неё письма Сэлинджера. Она пересказала их своими словами, и дело обошлось без судебного иска. По американским законам, копирайт на текст писем принадлежит отправителю или его наследникам, но сами письма являются собственностью получателя. Дети Джойс подросли, ей нужны были деньги на их образование, и она выставила оригиналы четырнадцати писем на продажу. Аукцион проводился фирмой Сотбис. Победил богатый предприниматель Питер Нортон, купивший их за 200 тысяч долларов. Оказалось, он сделал это из любви к Сэлинджеру и сочувствия к его борьбе за сохранение уединённого образа жизни. «Я могу прислать их вам или уничтожить – что вы предпочитаете?» Ответ Сэлинджера – если он последовал – неизвестен.

БАС: Вторая брешь была проделана новой биографией писателя, выпущенной Полем Александром в 1999 году. За двенадцать лет, прошедших с опубликования книги Гамильтона, всплыло много документов и сведений, которые были ранее недоступны, включая книгу Мэйнард. Загадку молчания Сэлинджера Александр истолковывал просто: ему было не о чем больше писать. Он приводил примеры других успешных писателей, переставших писать в середине жизни: Гоголь, Рембо, Маргарет Митчелл, Харпер Ли, Трумэн Кэпот. Однако Пегги утверждает, что отец показывал ей папки с рукописями и объяснял значение разноцветных ярлычков, наклеенных на них: красный означал «печатать после моей смерти как есть», синий – «печатать после редактуры», и так далее.

ТЕНОР: Думаю, третья брешь, проделанная мемуарами дочери, была для Сэлинджера самым тяжёлым ударом. Они были опубликованы в 2000 году под названием «Ловец сновидений». Пегги имела возможность близко наблюдать жизнь своего отца в течение сорока лет. Она рисует портрет человека, который непомерными требованиями к себе и другим, требованиями некоего недостижимого совершенства, загнал себя в тюрьму одиночества и тоски. Вот мелкий, но показательный, эпизод из её воспоминаний: будучи уже взрослой женщиной она навещает его, и они вместе поднимаются по деревянной лесенке на веранду дома. Перила пошатнулись под её рукой. Отец заметил это, и лицо его помрачнело. Как объясняет Пегги, он, конечно, знал об этой неполадке, но пока ничьи глаза не видели её, она как бы не существовала, и он мог не заботиться о ремонте. Каждый человек,

приближавшийся к нему, входивший в его дом, открывавший его рукопись, нес угрозу обнаружения несовершенства – поэтому-то Сэлинджер и бежал в полную изоляцию.

БАС: В книге Маргарет Сэлинджер описана школа-пансион в горах Адирондак, в которую родители поместили её, когда ей было двенадцать лет. Её бабушка, мать Клэр, согласилась оплачивать обучение, потому что в её кругу Кросс Маунтэйн Скул считалась престижным и образцовым учебным заведением. На самом деле, она оказалась страшнее тех приютов, в которых воспитывались Оливер Твист и Джейн Эйр. У меня сердце сжималось от жалости, когда я читал описание методов, применявшихся садисткой-директрисой, нацеленных на «исправление характеров непослушных школьников». Их комнаты подвергались обыскам, почта вскрывалась, телефонные разговоры прослушивались. Доступ к еде был настолько затруднён, что после каникул Пегги тайком привезла пластиковый контейнер с булочками и зарыла его в лесу. За найденную под подушкой шоколадку директриса устроила ей в своём кабинете двухчасовой разнос-допрос, называла «гадюкой в траве» и обещала «исправить».

ТЕНОР: Она заставила её написать матери покаянное письмо с «признаниями» в паранойе и лесбиянстве. Невзирая на болезнь лёгких, её вынудили принять участие в лыжном походе в горы, во время которого она чуть не умерла. Все просьбы к отцу забрать её из страшной школы наткнулись на отказ. Шестеро одноклассников Пегги впоследствии либо попали в психлечебницу, либо покончили с собой. Ей самой тоже досталась нелёгкая судьба, она тоже не раз оказывалась на грани отчаяния, пыталась отравиться. В какой-то момент загадочная болезнь крови выбила её из нормальной жизни на полтора года. Слабость была такая, что она порой не могла поднести чашку к губам, одолеть несколько ступеней на лестнице. Страховая компания прислала своего доктора и, по данным его медосмотра, прекратила оплачивать ей инвалидность. Когда Сэлинджер узнал об этом, он прислал ей пачку брошюр по гомеопатии и подписку на журнал, посвящённый чудесным излечениям, осуществлённым Церковью Христианской Науки.

БАС: В конце книги Пегги не без сарказма перечисляет заповеди поведения, которые Сэлинджер внушал своим детям: ты не должна заниматься никаким видом искусства, если ты не гений; ты не должна изучать религию, иначе как во власянице у ног какого-нибудь иностранного гуру; нога твоя не должна ступать в университеты Лиги Плюща; делать в жизни ты можешь только то,

что приближается к совершенству. Свой бунт против этих заповедей она сформулировала так: «Самобичевание, умерщвление плоти, накачивание нелюбви к себе представляется мне вариацией нарциссизма, ибо связано с таким же пристальным взглядыванием в своё отражение... Но мой отец никогда не согласится с тем, что доброе может храниться в несовершенном сосуде, что Бог может найти применение нам – таким, какие мы есть». Ей казалось, что, отказавшись подчиняться заповедям отца, она готова примириться с ним – таким, каков он есть. Но главный шок ждал её впереди. Когда она, наконец, забеременела в свои тридцать восемь лет, он обрушился на неё с пощёлками, говорил, что это безответственно – приносить ещё одного ребёнка в этот тонущий мир, да ещё не зная, на какие средства она будет растить его. Он выразил надежду, что разумное начало в ней возобладает, и она сделает аборт.

ТЕНОР: Нет, Пегги не оправдала ожиданий отца. Она родила здорового мальчика, и они с мужем сумели обеспечить его всем необходимым. Книгу она кончает пожеланиями отцу: «Мне бы хотелось, чтобы он узнал о том, что есть плодородное пространство между совершенством и разрушением, между небом и адом. Чтобы научился прощать. Чтобы мог сказать себе: может быть, не всё содеянное мною приближается к идеалу, но я всё равно достоин любви. Чтобы мог сказать другу, партнёру, ребёнку: может быть, мне не всё нравится из творимого тобою, но всё равно я люблю тебя, и ты можешь положиться на мою любовь».

БАС: К моменту смерти Сэлинджера в 2010 году Интернет разрушил все попытки контролировать жизнь Холдена Колфилда. Биографии писателя продолжают выходить, и этот процесс остановить невозможно. Автор последней, Кеннет Славенски, заканчивает свой труд таким пассажем: «В течение какого-то времени Сэлинджер мог считать себя Американским пророком, гласом, зывающим в городской пустыне... В какой-то момент мы можем обнаружить, что он исполнил свой долг как автор и даже своё призвание пророка много лет назад. Теперь на нас ложится обязанность продолжить его историю, переданную от автора читателю для завершения. Изучение жизни Сэлинджера, со всеми её печальными особенностями и несовершенствами, а также с посланиями, содержащимися в его писаниях, возлагает на нас долг переоценить наши собственные жизни, взглянуться в наши глубинные связи с миром, взвесить меру нашей цельности».

ТЕНОР: Это переключается со словами, которые говорит Холдену его бывший учитель, мистер Антонини: «В какой-то

момент ты обнаружишь, что ты не первый, в ком люди и их поведение вызывали растерянность, страх и даже отвращение. Ты поймёшь, что ты не один так чувствуешь, и это тебя обрадует, поддержит. Многие, очень многие люди пережили ту же растерянность в вопросах нравственных, душевных, какую ты переживаешь сейчас. К счастью, некоторые из них записали свои переживания. От них ты многому научишься – если, конечно, захочешь. Так же, как другие научатся от тебя, если у тебя будет что им сказать. Взаимная помощь – это прекрасно. И она не только в знаниях. Она в поэзии. Она в истории». Сэлинджеру было что сказать нам – и он выполнил этот свой долг не только своими книгами, но и своим сорокалетним молчанием, которое нам предстоит расшифровывать ещё очень долго.



Мина Полянская

Владимир Набоков в Берлине

*Я вижу сны. Скитаюсь и гадаю.
В чужих краях жду поздних поездов.
Склоняюсь в гул зеркальных городов,
по улицам волнующим блуждаю:
дома, дома, проулок, поворот,
и вот опять стою я перед домом
пронзительно, пронзительно знакомым,
и что-то мысль мою темнит и рвёт.*

Владимир Набоков.



оистину неисповедимы пути литературные, и время от времени возникает всё тот же риторический вопрос: почему чиновничьи государства, а также надменные их столицы выбрасывают на поверхность таких гигантов литературы, как Гоголь, Достоевский, Кафка и Набоков, почему беспощадные тоталитарные режимы столь богаты талантами, такими, как Булгаков, Платонов и Борхес? Что это – сила сопротивления могучего духа даёт авторам-избранникам такую невероятную энергию?

В сложный и даже трагический период своей жизни, в столице набирающего силу национал-социализма, Владимир Набоков, проживший в Берлине пятнадцать лет (1922 – 1937 гг.), писал много, разнообразно и интенсивно. Вот далеко не полный перечень берлинских произведений, опубликованных под псевдонимом Сириин (у Набокова был ещё один «берлинский» псевдоним – Василий Шишков): «Машенька» (1926), «Король, дама, валет» (1928), «Защита Лужина» (1930), «Отчаяние» (1930), «Соглядатай» (1930), «Camera obscura» (1932), «Приглашение на казнь» (1935), «Дар» (1937), а также первые пьесы «Человек из СССР», «Событие» и «Изобретение вальса».

Писатель не испытывал благодарности к Берлину, вспоминал о нём, как о кошмарном сне. Себя в городе он называл «бесплотным пленником», европейцев – «призрачными нациями», а своё «физическое существование» в Берлине уподоблял

«беспечному скольжению». Берлин представлен в творчестве Набокова, как правило, негативно – это почти аксиома, это, как говорится, то, что уже всем известно.



И лишь в романе «Другие берега», написанном четырнадцать лет после Берлина, присутствуют берлинские мечтания.

Будучи профессором всемирной литературы в Корнеллском университете (Итака, штат Нью-Йорк), Набоков написал в 1951 году на английском языке книгу воспоминаний с названием «Conclusive Evidence» («Убедительное доказательство»), а затем в 1953 году совершил собственный её перевод на русский язык, назвав «Другие берега», а спустя четырнадцать лет – поздний вариант книги (1967) – «Speak, Memoгу» («Память, говори».)

«Ужасная вещь – переводить самого себя, перебирая собственные внутренности и примеривая их, как перчатку», – признавался он. Смена языка была драматична, отказ от русского языка, «от индивидуального кровного наречия» воспринимался Набоковым чуть ли не как отречение от корней. В процессе перевода «Conclusive Evidence» с английского на русский Набоков продолжал творить свою биографию и заявил, что новый текст относится к первоначальному «как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо», но заверил нас, что сумел удержать «общий узор» романа

Однако Марк Алданов, прочитав русский вариант автобиографии, то есть «Другие берега», совершенно потрясён

был происшедшей с ним метаморфозой: «Другие берега» мне очень хорошо известны по американскому изданию, – писал он Набокову 7 марта 1955 года. – Всё же, разумеется, я тотчас приступил к чтению русского издания, которое «переводом» назвать нельзя. Читал медленно, с увеличивающимся восторгом и даже изумлением... Что я мог бы к этим словам добавить? Да Вы и сами знаете цену этой книги... Принято говорить: – Желая большого успеха книге. Я это, конечно, и говорю. Но какой может быть в настоящее время у русской книги успех? Ценителей в эмиграции мало, а читателей лишь немногим больше». В какой-то степени и до какого-то времени сбывались предсказания Алданова. Вплоть до 1986 года – почти семьдесят лет – ни одной строчки Набокова не появилось на страницах советской печати. Молчали и энциклопедии, а роман «Другие берега» ждал своего читателя в России более двадцати лет.

Владимир Владимирович Набоков – первенец в семье Владимира Дмитриевича и его жены Елены Ивановны, урождённой Рукавишниковой – родился 10 апреля (по старому стилю) 1899 года в доме №47 по Большой Морской в Санкт-Петербурге. «...У нас был на Морской 47 трёхэтажный розового гранита особняк с цветистой полоской мозаики над верхними окнами... Я там родился в последней (если считать по направлению к площади, против нумерного течения) комнате на втором этаже, там, где был тайник с материнскими драгоценностями». На третьем этаже располагались детские комнаты, в одной из них жил будущий писатель. Прадед по материнской линии Василий Рукавишников был сибирским золотопромышленником и «миллионщиком», а дед по линии отца Дмитрий Николаевич Набоков был министром юстиции в пору царствования Александра III, а также членом Государственного совета. Отец писателя – Владимир Дмитриевич – один из основателей конституционно-демократической партии, депутат Первой Государственной Думы.

Рождество было подарено пятнадцатилетнему Набокову дядей Василием Ивановичем Рукавишниковым в день именин вместе с миллионным состоянием. Писатель помнил имяние с «белой усадьбой на зелёном холму» до последнего мгновенья и ощущал его, «как собственное кровообращение». И посвятил ему лучшие страницы романа. Деревянный дом с колоннадой, построенный в Рождество 1870-х годах, простоял в относительной сохранности – на удивление – весь период Советской власти, запретившей произносить даже имя Набокова,

однако был сожжён 10 апреля 1995 года неизвестными злоумышленниками.

Набоков считал, что дома имеют обыкновение поражаться молнией и сгорать дотла и не раз предрекал, что родовые гнезда предков будут сожжены: «Дом сожжён и вырублены рощи, где моя туманилась весна...». Примечательно, что реставраторы при восстановлении рождественского дома использовали описания усадьбы, сделанные Набоковым в «Других берегах». Яркие впечатления детства, скрупулёзно реставрируемые в памяти, он раздарил впоследствии своим героям, чтобы, как он говорил, «отделаться от бремени этого богатства». Ответ «дедовских парковых аллей», «рождественских каникул» падает на Берлин десятых годов, и в этом, кажется, разгадка внутренней соразмерности и гармонии этой пронзительной до боли книги воспоминаний.

Отправимся вслед за Набоковым «просмотреть старые снимочки» десятых годов – по берлинским страницам его автобиографического романа.

В особенности колоритна и живописна немецкая столица десятых годов начала века, не ведающая, не предчувствующая не то чтобы будущих войн, но даже не выказывающая каких бы то ни было признаков тревоги. Это воистину – детский праздник, фейерверк, незабываемые берлинские каникулы. В «Других берегах» (и, соответственно, в «Память, говори») наблюдается некая преднамеренная несоразмерность: эмиграции (другим берегам) в Германии, Набоков уделил всего две главы и почти одиннадцать – покинутой России. Россия – его Дом, от него исходит особенное сияние: «берега» (немецкие) подсвечены «иллюминатором», как сказал бы Манделштам.

Будущий писатель находится здесь с родителями в роскошной гостинице «Адлон» в пору своего «совершеннейшего детства» – ему одиннадцать лет – беззаботный, капризный, избалованный и даже влюблённый.

И если в «берлинских» романах Набокова, как правило, редко появляется солнце, отсутствуют краски и мрачно, как в Петербурге Достоевского, то в «Других берегах» зарождается яркая световая гамма – результат действия «иллюминатора». Краски не перемешаны, а, наоборот, даны в чистом виде, с профессиональной резкостью: красный, синий, зелёный, белый. И даже чёрный цвет подан как цвет особой галантности.

Вот на Курфюрстендамме, центральной улице города, играет духовой оркестр! Спортивные инструкторы в «бранденбургах» одеты в красное, американка, в которую мальчик

влюбился, – в синем и, кроме того, она «в большой чёрной шляпе, насквозь пронзённой сверкающей булавкой, в белых лайковых перчатках и лакированных башмаках», губернёр пьёт кофе за «бархатным барьером», певица в Винтергартене – вся «в переменных лучах зелёного и красного цвета прожекторов».

В десятых годах люди с достатком отправлялись из Петербурга в Европу «величественным» поездом «Норд-Экспресс». Русская железная дорога всегда отличалась от европейской шириной колеи. В начале века при пересечении границы колёс не меняли, как это делают сейчас, – господа пересаживались в другой поезд. Вот как это происходило:

«Тогдашний величественный Норд-Экспресс (после Первой мировой войны он уже был не тот), состоявший исключительно из таких же международных вагонов, ходил только два раза в неделю и доставлял пассажиров из Петербурга в Париж; я сказал бы, прямо в Париж, если бы не нужно было, не пересаживаться, а быть переводимыми – в совершенно такой же коричневый состав на русско-немецкой границе (Вержболово-Эйдкунен), где бокастую русскую колею заменял узкий европейский путь, а берёзовые дрова уголь».



Городская железная дорога в довоенном Берлине

Громыхавшие мимо дома поезда станут впоследствии символом неприкаянности, бездомности героя. Если герой «Машеньки» на первых порах остаётся в Берлине, а поезд проходит мимо, то в главах «Других берегов», посвящённых детству, этого беспокойного эмигрантского рефрена движущегося поезда мы не находим. Большой немецкий город становится для мальчика как бы аттракционом, очередным колесом обозрения или каруселью.

«Когда на таких поездках Норд-Экспрессу случалось замедлить ход, чтобы величаво влачиться через большой немецкий

город, где он чуть не задевал фронтонов домов, я испытывал... наслаждение... Я видел, как целый город, со своими игрушечными трамваями, зелёными липами на круглых земляных подставках и кирпичными стенами, лупящимися старыми рекламами мебельщиков и перевозчиков, wpłyвает к нам в купе, поднимается в простеночных зеркалах и до краёв наполняет коридорные окна».

Осенью 1910 года семья Набоковых отправилась в Берлин к знаменитому американскому дантисту с определённой целью – выправлять зубы Владимиру и его брату.

Набоков рассказывает о том, как они с братом в течение трёх месяцев развлекались в Берлине:

«Сначала мы много играли в теннис, а когда наступили холода, стали почти ежедневно посещать скейтин-ринг на Курфюрстендамме. Военный оркестр (Германия в те годы была страной музыки) не мог заглушить механической воркотни неумолкаемых роликов... Было человек десять инструкторов в красной форме с бранденбургами, большинство из них говорило по-английски. Самый ловкий из них, мрачный молодой бандит из Чикаго, научил меня танцевать на роликах. Мой брат, мирный и неловкий, в очках тихо ковылял в сторонке, никому не мешая, а гувернёр пил кофе и ел торт мокко в кафе за бархатным барьером».

Гувернёра Набоков условно назвал Ленским. Этот лютеранин еврейского происхождения чувствовал себя в доме Набоковых, по его же собственному выражению, «в нравственной безопасности». Ленский жаловался матери Набокова на то, что дети растут иностранцами и снобами, равнодушны к Григоровичу, Мамину-Сибиряку и Гончарову. Он добился от родителей разрешения показать мальчикам, что представляет из себя на самом деле «демократическая» жизнь и перевёл их из Адлона «в мрачный буржуазный пансион на унылой Приватштрассе (приток Потсдамской улицы), а изящные, устланные бобриком, лаково-зеркальные, полные воспоминаний детства, страстно любимые мной Норд-Экспресс и Ориент-Экспресс были заменены гнусно-грязными полами и сигарной вонью укачливых и громких шнельцугов...». Набоков назвал своего преподавателя Ленским, поскольку тот был склонен к романтическим (и демократическим) порывам: «в этом педанте жил мечтатель». Так, однажды в Берлине этот «старомодный идеалист», не имеющий ничего, кроме жалования, «заметив на Фридрихштрассе какую-то потаскуху, пожирающую глазами шляпу с пунцовым плерезом в окне модного магазина... эту шляпу ей купил – и долго не мог отделаться от потращённой немки».

В Берлине Набоковы узнали о смерти Льва Толстого. Случайно листая какую-то немецкую газету, отец увидел траурное сообщение и ошеломлённо сообщил об этом матери. «Да что ты», – удручённо и тихо воскликнула она, соединив руки, а затем прибавила: «Пора домой», – точно смерть Толстого была предвестником каких-то апокалипсических бед».

До ноября «пулемётного» года оставалось ещё семь лет.

После захвата власти большевиками Набоковы, как и многие будущие эмигранты, оказались в Крыму, и там Владимир Дмитриевич в 1919 году ещё успел побывать на посту министра юстиции Крымского Краевого правительства. Набоковы покинули Крым, когда большевики были уже в опасной близости. Когда они отплывали на греческом пароходе «Надежда», уже был захвачен порт. Слышны были выстрелы, которые стали для Набокова последними звуками России. Семья добралась через Грецию в Турцию, где на улицах повсеместная русская речь сливалась с таким же неизбежным заунывным пением муллы, а из ресторана доносилось: «Маруська, брось свои замашки, скорей тангу со мной спляши!» (Аверченко). Тысячи эмигрантов так никогда и не выбрались из этого кошмара. Однако семья сумела добраться до Лондона, а затем в Берлин.

Поселились в Груневальде по адресу Эгерштрассе 1. Квартира была снята Набоковыми у вдовы Рафаила Левенфельда, переводчика Толстого и Тургенева. Здесь семья прожила до 5 сентября 1921 года.

Ухоженный белоснежный двухэтажный дом с лепным карнизом над массивной дубовой резной дверью и ещё с полуциркульным окном над ним, по обеим сторонам - фигурки двух кудрявых обнаженных младенцев с кувшинами, и с двумя же, тоже по обеим сторонам, на первом этаже, узорными чугунными балконами. Единственный дом из многочисленных берлинских адресов Набокова (их шестнадцать!) сохранившийся до наших дней, несмотря на течение времени и его катаклизмы. Калитка во двор всегда незаперта, и можно попытаться окунуться в незримый мир прошлого: пройти к нему по вымощенной камнем дорожке и заглянуть сквозь застекленную дверь в вестибюль, увидеть деревянную крутую лестницу с нарядной ковровой дорожкой, с резными перилами.

Именно сюда, к родителям, из Лондона приезжал студент Набоков на каникулы. Семья умудрилась вывезти с собой небольшое количество фамильных драгоценностей, так что поначалу хватило даже средств для того, чтобы определить Владимира и Сергея в привилегированные учебные заведения. 1

октября 1919 года Владимир Набоков стал студентом Trinity College, колледжа Святой Троицы в Кембридже, где выбрал своей специальностью русскую и французскую литературу.

В Берлине уже к тому времени обосновался близкий друг Владимира Дмитриевича Набокова и соратник по партии кадетов Иосиф Владимирович Гессен, открывший издательство «Слово» и газету «Руль», редакция которой располагалась по адресу Циммерштрассе 7-8, и отец Набокова включился в работу как соредактор Гессена. Набоковы затем переехали в квартиру на Зексштрассе 67 (дом не сохранился). С этим домом и связаны трагические события – убийство отца Набокова в Берлинской филармонии.

Отец писателя Владимир Дмитриевич Набоков шестнадцати лет окончил гимназию с золотой медалью, обучался юриспруденции в Петербургском и Галльском университетах, двадцати шести лет получил звание профессора, преподавал в императорском училище правоведения, и, казалось, ничто не омрачало его будущего. Происхождение обзывало: отец его, Дмитрий Николаевич Набоков, в пору царствования Александра III состоял министром юстиции и членом Государственного совета. Владимир Дмитриевич напечатал в журнале «Право» свою знаменитую статью «Кровавая кишинёвская баня», в которой осудил роль, сыгранную полицией в подстрекательстве к кишинёвскому погрому 1903 года. В январе 1905 года Набоков указом царя был лишён придворного чина, после всего прервал всякую связь с царским правительством». В 1911 году Владимир Дмитриевич вызвал на дуэль редактора влиятельной правой газеты за публикацию оскорбительной антиеврейской статьи. Дуэль, по счастью, не состоялась, поскольку редактор принёс свои извинения.

Владимир Дмитриевич присутствовал на процессе по делу Бейлиса, совершавшемся с жутким средневековым колоритом, с книгами из Италии, «документально» подтверждавшими факты ритуальных убийств. Он неоднократно разоблачал антиеврейские фальсификации, в том числе и «Протоколы сионских мудрецов». Знаменитый полицейский апокриф был вновь напечатан в Берлине в 1920 году в альманахе с многообещающим названием «Луч света», который издавали будущие убийцы Владимира Дмитриевича. Три таинственных сочинителя, подписывались инициалами: Ф. В., П. Б. и С. Т., под которыми скрывались Фёдор Винберг, Пётр Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий. В «Луче» печатались и произведения издателей. По странному (жуткому) совпадению сокурсник будущего писателя Набокова Калашников,

живший с ним в Кембридже в одной комнате, показал ему три альманаха. Юноша от бездарных стихов будущих убийц отца катался по дивану, всхлипывая от смеха, а впоследствии с ужасом вспоминал об этом. Ему казалось, что в тот вечер был подан некий высший знак, который он не заметил, что прозвучало предостережение, которого по легкомыслию не услышал. Между тем, именно тогда шовинистическая агитация приняла такие чудовищные масштабы, которых ранее не знала Западная Европа.



Германия, выплачивавшая огромные репарации союзникам после поражения в Первой мировой войне и переживавшая значительные экономические трудности, тем не менее, стала мостом, соединяющим эмигрантский мир с Россией. В Берлине образовалось 40 русских книгоиздательств, готовых поставлять продукцию на советский и эмигрантский рынок. Среди издателей – Иосиф Гессен, который еще состоял председателем берлинского Союза русских писателей и журналистов, основал издательство «Слово», а затем, вместе с Владимиром Дмитриевичем Набоковым, ежедневную газету «Руль» при финансовой поддержке издательства «Ullsteinbuch». 7 января 1921 года в газете «Руль» был опубликован первый рассказ Набокова–сына, подписанный псевдонимом «Владимир Сирин», чтобы читатели «Руля» не перепутали с его с отцом, публиковавшим публицистику в этой же газете.

Газета придерживалась либерально-консервативной линии и пропагандировала парламентскую демократию западного образца. Таким образом, она неизбежно оказывалась между двух огней: большевиками и правыми экстремистами. Трагические события в марте 1922 года развивались следующим образом. Из

Берлина в Париж после поездки в США прибыл основатель партии кадетов Павел Николаевич Милюков. 28 марта в зале Берлинской филармонии на Бернбюргерштрассе 22/23 должен был состояться его доклад «Америка и восстановление России». На встречу с бывшим министром иностранных дел Временного правительства пришли тысячи эмигрантов. По странному стечению обстоятельств в это же время на Ноллендорфплац в ресторане «Красный дом» состоялся съезд русских монархистов, в котором принимали участие немецкие монархисты. Подобные совпадения не всегда случайны. «Странные сближения» такого рода на самом деле и становятся свидетельствами зарождения в Германии нацизма, грозные тени будущей диктатуры уже бродили по Берлину в памятные дни русской эмиграции.



Милюков прочитал доклад до конца и направился к своему месту в президиуме, Шабельский-Борк поднялся со своего места в третьем ряду и стал стрелять в Милюкова. Сидевший в президиуме кадет Асперс, раненый в грудь, успел толкнуть Милюкова на пол, а Шабельский, вскочив на трибуну и расстреливая толпу в зале, кричал: «Я мщу за царскую семью». На него кинулся Владимир Дмитриевич Набоков, выкручивая руку с браунингом. Таборицкий трижды выстрелил ему в спину и убежал, но был пойман в гардеробе толпой, кричащей «Убийца!». Набоков «Других берегах» вспоминал: «В 1922 году, когда в берлинском лекционном зале мой отец заслонил Милюкова от

пули двух тёмных негодяев, и, пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них, был другим смертельно ранен в спину».

Три месяца спустя произошло убийство, получившее оглушительный резонанс во всей Европе. 24 июня 1922 года группа молодых фанатиков, члены террористической организации «Консул», застрелила германского министра иностранных дел Вальтера Ратенау. Убийцы были абсолютно уверены не только в том, что Ратенау действовал от имени «сионских мудрецов», но что и сам он являлся одним из них. Припев «Пристрелите Вальтера Ратенау, проклятую Богом еврейскую свинью» представляет собой типичный образец того, что распевали распоясавшиеся «молодчики» на улицах.

Коллективный экстаз пения – характерный признак немецкого шовинизма. В романе Фридриха Горенштейна «Летит себе аэроплан» пассажиры, кондуктор и вагоновожатый, вышвырнув иностранцев из трамвая (среди них Марка Шагала), хором запели: «Ин дер хаймат, ин дер хаймат, да гибтс айн видерзейн...». «Поющий трамвай» превратился в символ монолитного коллектива, фундамента, на котором будет стоять грядущая диктатура. Вариант коллективного пения в таком же значении присутствует и в рассказе Набокова (Сирина) «Облако, озеро, башня». Русский эмигрант Василий Иванович выиграл в Берлине увеселительную поездку. Однако уже в поезде выяснилось, что любоваться красотами природы ему не придётся, поскольку участникам мероприятия были выданы нотные листки со стихами, и было необходимо петь хором:

Распростись с пустой тревогой,
Палку толстую возьми
И шагай большой дорогой
Вместе с добрыми людьми.

По холмам страны родимой
Вместе с добрыми людьми,
Без тревоги нелюдимой,
Без сомнений, чёрт возьми.

Километр за километром
Ми-ре-до и до-ре-ми
Вместе с солнцем, вместе с ветром,
Вместе с добрыми людьми.

История путешествия Василия Ивановича завершилась печально. За недостаточно проявленную активность в

коллективном отдыхе он был жестоко избит. «Как только сели в вагон, и поезд двинулся, его начали избивать, – били долго и изощрённо».

Впрочем, мало ли признаков так называемого «роста национального самосознания» в отдельно взятой стране?

Кажется, что два политических убийства в Берлине в одном только 1922 году, бывшего русского министра Набокова и немецкого министра Ратенау совершились в параллельных мирах. В объёмных исследованиях на русском языке о Набокове я не заметила явно напрашивающихся сопоставлений этих двух убийств с временным расстоянием всего лишь три месяца. (Кроме книги Карла Шлегеля «Берлин, Восточный вокзал», переведённой на русский язык в 2004 году).



Во время убийства Набокова в зале филармонии находился и сам руководитель акции: полковник Теодор Винберг, третий создатель альманаха, он же – член «Братства Михаила Архангела». Полковник был арестован, но затем отпущен за недостаточностью улик. Между тем, именно благодаря полковнику «Протоколы сионских мудрецов» выпущены были из недр России, подобно злему джину из бутылки, в Европу, а затем – в остальной мир. Винберг был инициатором легендарного перевода «Протоколов» на немецкий язык. Автором перевода стал его немецкий приятель армейский капитан в отставке, издатель шовинистического ежемесячника «Ауф форпостен» Людвиг Мюллер.

Пётр Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий, служившие на Кавказе русские офицеры, во время Гражданской войны

отправились с немцами в Германию. Мать Борка, член «Союза русского народа» и «братства Михаила Архангела» - автор книги «Сатанисты XX века». На суде террористы обрадовались, узнав, что вместо Милюкова убили Набокова. Павел Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий были приговорены соответственно к двенадцати и четырнадцати годам заключения, однако спустя пять лет, в 1927 году были помилованы. При нацистах эти два русских «патриота» занимали важное положение в контролируемой гестапо русской эмигрантской иерархии. Таборицкий стал правой рукой генерала Бискупского, скрывавшего у себя молодого Гитлера после провала Мюнхенского путча, ведавшего при Гитлере делами эмигрантов; Шабельский-Борк получил пенсию героя вместе с заданием организовать русское фашистское движение.

Когда сестре Набокова Елене в Праге понадобился документ, подтверждающий её расовую полноценность, она получила его из Берлина из учреждения с названием «Служба доверия» (Vertrauensstelle für russische Flüchtlinge), располагавшегося по адресу Бляйбтройштрассе 27, за подписью убийц отца. В переводе с немецкого «бляйбтрой» означает буквально: оставайся верным. Одна из центральных улиц Берлина с тем же трогательным названием – невинная свидетельница преступлений против человечества – существует и в наши дни.

Затерялись следы Сергея Таборицкого – убийцы Владимира Дмитриевича Набокова. Быть может, принял другое имя и другую веру? Мусульманскую, например. И с ней, с этой верой, просидел неподвижно, скрестив ноги, до конца своих дней, устремив неподвижный взор в дрожащее от солнечного потока пространство под жарким небом какой-нибудь пустыни, тщательно укутанный в белое полотно и платок. А может (страшно подумать), благодаря свободному доступу к документам евреев, прихватил еврейскую метрику и паспорт одного из жертв Холокоста, вынырнул где-нибудь в качестве этой жертвы и сделал новую карьеру, благо мир иной раз на удивление доверчив?

Шабельский-Борк, следуя примеру многих нацистов, скрылся в джунглях солнечной Аргентины. Впрочем, не совсем скрылся: в пятидесятых годах он вдруг объявился с опубликованной книгой о либералах и евреях, предавших Россию. Разумеется, он ни в чём не раскаивался, а наоборот, заявил, что убийство Набокова было не случайным – такова была воля провидения.

После смерти Владимира Дмитриевича мать Набокова с детьми переехали в Прагу, а Владимир, будущий писатель,

закончил учёбу в Кембридже и переехал в Берлин – столицу русской эмиграции. Постоянной оплачиваемой работы у него не было, он часто менял место жительства – как правило, это были меблированные комнаты в пансионатах. В январе 1924 года он снял комнату на третьем этаже в пансионе Елены Андерсон по адресу Лютерштрассе 21, а спустя восемь месяцев переселился в пансион Элизабет Шмидт по адресу Траутенауштрассе 9, известный в среде эмигрантов как «Русский дом в Вильмерсдорфе» – здесь, как правило, селились эмигранты из России. В 1921 году одну из комнат (квартир) пансионата занимал Илья Эренбург, а в 1922 году он передал её Марине Цветаевой, которая в течение двух месяцев жила здесь со своей девятилетней дочерью Алей. Сюда же приезжал и муж Цветаевой Сергей Эфрон. Квартиру Набокову нашла будущая жена Вера Слоним, которая жила неподалёку, по адресу Ландхауштрассе 41.

Здание знаменитого бывшего пансиона Элизабет Шмидт, где селились русские эмигранты, пожалуй, одно из редких зданий, связанных с русской эмиграцией, которое сохранилось почти без изменений. Сохранились и заштукатуренные балконы, характерная (и неизбежная) деталь берлинского городского пейзажа – это они напоминали Набокову выдвинутые ящики стола, которые забыли задвинуть. Дом отмечен был в ноябре 1996 года мемориальной доской (латунной дощечкой), посвящённой Марине Цветаевой, которая претерпела всевозможные приключения, о чём я рассказала во втором издании книги о Цветаевой «Флорентийские ночи в Берлине. Цветаева, лето 1922». Один из многочисленных балконов летом 1922 года принадлежал Цветаевой, и она его в письмах называла «своим» и посвятила ему знаменитое стихотворение «Балкон», где страстно желала сброситься с него: «Ах, с откровенного отвеса – Вниз – чтобы в прах и смоль!»

Пожоже, что Владимир Набоков и Вера Слоним в 1924 году переживали в одной из комнат пансиона Элизабет Шмидт более счастливые дни и, разумеется, не помышляли о самоубийстве.

Впоследствии о Владимире Набокове и его жене Вере говорили, что они были неразлучны, как сиамские близнецы, утверждали даже, что Вера была лучшей из писательских жён. Утверждали, что без неё Набоков не написал бы своих романов. «Я встретил мою жену Веру Слоним, – вспоминал Набоков, – на одном из благотворительных эмигрантских балов в Берлине, на которых у русских барышень считалось модным продать пунш, книги, цветы, игрушки». Подобные балы часто устраивались в

«эмигрантском» Берлине, и Вера явилась на бал 9 мая 1923 года в чёрной маске. Это была худенькая, очень стройная девушка с прозрачной кожей, пышными непокорными волосами и большими голубыми глазами. И сам Набоков был в молодые годы невероятно красив: стройный аристократичный юноша.



Вера, Стен-Балман, 1926.

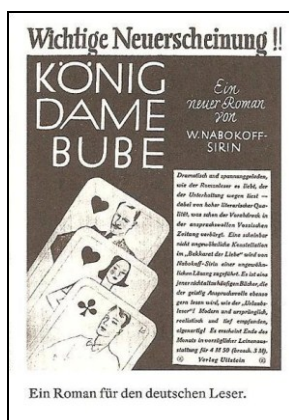
Таинственная девушка в маске не сняла её в тот вечер, однако проявила величайший такт, дипломатию по отношению к начинающему автору. Она наизусть стала читать Владимиру его стихи (что может быть лучше этого?) и поразила его в самое сердце. А он сразу же ощутил с ней родственную связь, почувствовал: эта женщина – его судьба.

Вера и в самом деле угадала в молодом человеке, ещё не написавшем ни одного романа, будущего большого писателя, и этой истине служила все последующие шестьдесят восемь лет своей жизни. Между тем, маска, в которой девушка предстала на благотворительном балу, оказалась символом. Вера впоследствии жила только успехами мужа, предпочитая оставаться в тени, хотя тщеславие было ей присуще. Однако ей привычнее было находиться при муже как бы в маске. И таким вот образом отражать свет.

Вера Евсеевна Слоним, Берлин-Шёнеберг, и Владимир Владимирович Набоков, Берлин-Вильмерсдорф, сочетались браком в Вильмерсдорфской ратуше 15 апреля 1925 года.

Женитьба на Вере явилась переломным этапом в творчестве Набокова. Он вскоре написал свой первый роман «Машенька» с посвящением Вере. Роман был опубликован в 1926 году в издательстве «Слово». Набокова называли новым Тургеневым, предсказывали роль бытописателя эмигрантской жизни, но пророчества такого рода настолько не нравились молодому писателю, что в следующем его романе «Король, дама,

валет» (1928) не оказалось ни одного русского персонажа. Роман был переведён на немецкий язык и оказался даже самым коммерческим за всё пребывание писателя в предвоенной Европе. Гонорар позволил Набокову с женой отправиться в Пиренеи, где он и приступил к созданию нового романа «Защита Лужина», который вскоре был опубликован в парижских «Современных записках». Успех «Защиты Лужина» превратил «многообещающего» автора в одного из самых известных русских писателей, так что даже литературный лидер Иван Бунин объявил: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня».



Последний берлинский адрес Набоковых – Несторштрассе 22. Отсюда семья отправится 1937 году во Францию, а затем в Америку. Впереди – ещё долгие годы совместной жизни в Итаке, в большой нужде и безвестности.

Ещё впереди гениальный «семейный проект» с «Лолитой», рассчитанный на скандал, связанный с «оскорблением нравов», подобный скандалу вокруг «Мадам Бовари. Цель «проекта» – задеть нужный нерв читающего мира, после чего, как в сказке, явятся продюсер Гаррис и режиссёр Кубрик. И сон станет явью. Однажды Набоков увидел во сне своего дядю Василия Ивановича Рукавишникова, того самого, что завещал ему Рождествоно, пообещавшего когда-нибудь появиться в образе двух клоунов – Гарри и Кувыркина и вернуть наследство, утраченное племянником в 1917 году. Вера чуть ли не заставляла Владимира писать с трудом дающийся ему роман, как будто чувствовала, что этот роман – двенадцатый по счёту – принесёт желанную победу, повернёт читающую публику к предыдущим. Она спасла «Лолиту»

от огня: вытащила из печки, когда Набоков предал её сожжению. «Лолиту» Набоков посвятил Вере.

Вернёмся в Берлин 20-х годов, когда семья жила в крайней нужде. Набоков давал уроки тенниса юношам и девушкам из богатых семей, снимался в немом кинематографе, был тренером по боксу, занимался переводами. Вполне естественно было бы предположить, что юноша был потрясён своим внезапным превращением в нищего. (По иронии судьбы дядя, оставивший ему в наследство недвижимость в России, свою заграничную недвижимость подарил случайным людям.) Однако в «Других берегах» автор в этом читателю не признаётся. Более того, он утверждает, что имущественных претензий к большевикам не имеет.

Набоков откровенно и подчёркнуто негативно относился к Германии. «Германский» период он в «Других берегах» называет «антитезисом». «Позвольте мне заняться антитезисом», – говорит он. Правда, впоследствии, уже в Швейцарии, тон писателя к Германии (и к другим странам, приютившим эмигрантов, заметно смягчился: «Отношение Фёдора (герой романа «Дар». – М. П.) к Германии отражает быть может слишком примитивное и безрассудное презрение, которое русские эмигранты питали к «туземцам» Берлина, Парижа или Праги»).

Начавшийся в 1923 году экономический кризис разрушил буквально культурную жизнь города: русские издательства и книжные магазины, возникшие с невероятной быстротой, словно из воздуха, закрывались одно за другим. Дух разрушения ощущался во всём, и невозможно его было остановить. И литераторы поспешно покидали Берлин, как правило, отправляясь в Париж.

Последнюю, четырнадцатую главу романа «Другие берега» Набоков предварил цитатой из четырнадцатой оды к «Постуму» Квинта Горация Флакка: «О, как гаснут – по степи, по степи, удаляясь, годы!»

А затем он предложил Вере вместе вспомнить трудные берлинские годы, где в кошмаре стремительно нарастающего нацистского безумия оказалось и много хорошего, поскольку они были тогда очень молоды. 10 мая 1934 года в Берлине родился их единственный сын Дмитрий.

«Годы гаснут, мой друг, и, когда удалятся совсем, никто не будет знать, что знаем ты да я. Наш сын растёт! Розы Постума отцвели... А потому, пожалуй, пора, мой друг, просмотреть древние снимочки, пещерные рисунки поездов и аэропланов, залежи игрушек в чулане. Заглянем ещё дальше, а именно

вернёмся к майскому утру в 1934-м году в Берлине. Мы ожидали ребёнка. Я отвёз тебя в больницу около Байришер Плац и в пять часов утра шёл домой, в Грюневальд. Весенние цветы украшали крашенные фотографии Гинденбурга и Гитлера в витринах рамочных и цветочных магазинов».

Один из последних берлинских адресов Набокова удалось установить по опубликованным нескольким письмам Набокова, написанным в 1936 году Глебу Струве (журнал «Звезда», 4, 1999). Это – Несторштрассе 22. Набоковы переселились сюда из квартиры на Вестфалишештрассе 29 в просторную квартиру на третьем этаже двоюродной сестры Веры Анны Фейгиной. В романе «Дар» описана «Агамемнонштрассе» – такой улицы в Берлине не существует. По всей видимости, здесь и подразумевается Несторштрассе.



Дом на Несторштрассе был почти полностью разрушен во время воздушных налётов в 1944 году и в 70-х годах перестроен. К столетнему юбилею Набокова по инициативе хозяина находящегося в доме ресторана-галереи господина Фидлера (Kunstkabinett) была установлена мемориальная доска из латуни, на которой выгравированы надписи – на немецком и русском языках. Русский текст звучит так: «В этом доме жил в 1932-1937 гг. писатель Владимир Набоков». Таким образом, Набоков прожил в квартире на третьем этаже, последние пять лет, здесь были написаны романы «Самара obskura», «Приглашение на казнь» – большая часть романа «Дар». В этом доме прошло раннее детство сына Набокова Дмитрия.

До 1936 года постоянный заработок был только у Веры Набоковой, которая в совершенстве владела немецким языком и

работала в немецких фирмах. В связи с выходом закона о евреях, запрещавшего работать в каких бы то ни было учреждениях, семья оказалась без средств к существованию. В 1933 году Гитлер был провозглашён рейхсканцлером. И тотчас же завопили громкоговорители, уже через месяц нацисты гнали босых евреев строем по улицам. Вновь стали распространяться вывезенные в 20-х годах из России «Протоколы сионских мудрецов». Книжные прилавки завалены были томками «Майн кампф». Весной были обнародованы первые законы о положении евреев.



Набоков уделял Дмитрию всё свободное время, старался гулять с ним в любую погоду. Однако становилось тревожной совершать прогулки по улицам и паркам Берлина – угрожающие знаки нацизма давали повсюду о себе знать.

«В два года, на рождение он получил серебряной краской выкрашенную, алюминиевую модель гоночного «Мерседеса» в два аршина длины, которая подвигалась при помощи двух органных педалей под ногами, и в этой сверкающей машине, чудным летом, полуголый, загорелый, золотоволосый, он мчался по тротуару Курфюрстендамма, с наносными и гремящими звуками, работая ножками, виртуозно орудуя рулём, а я бежал сзади, из всех открытых окон доносился хриплый рёв диктатора, бывшего себя в грудь, нечленораздельно ораторствующего в Неандертальской долине...»

На Несторштрассе семья испытала настоящий страх ожидания «приглашения на казнь». В квартире на третьем этаже был слышен с улицы «голос Гитлера из репродуктора на крыше». Внутри стрекотала пишущая машинка, выстукивая пребывание

Цинцината в тюрьме, тему, насыщенную интеллектуальными изысканиями, как скажет впоследствии Вера, единственными стоящими из всех изысканий. Гитлер кричал, а Набоков выстукивал на машинке «Приглашение на казнь». Рёв репродуктора подстёгивал, и Набоков написал потрясающую книгу за две недели.

Впоследствии писатель и сам не смог объяснить, почему не уехали вовремя, допустим, в 33-м году, когда можно ещё было выбраться из Германии. Рождение ребёнка сыграло немалую роль в скитальческой жизни Набокова. Если раньше он, подобно князю Мышкину, с узелком в руке, переезжал (переходил) из одного пансиона в другой, о чём сам писал, «а теперь в бесприютном краю, уж давно не снимаю котомки», то захотелось покоя, и не хотелось верить, что история обернётся таким кошмаром. Однажды избежав диктатуры большевизма, он опять оказался лицом к лицу с диктатурой, не менее зловещей по своему размаху и масштабу. В любую минуту можно было ожидать, что зловещий город ворвётся в сокровенное бытие. В 1937 году Набоковы уехали во Францию, а в 1940-м они вторично спасались от фашизма. За несколько дней до оккупации Парижа им удалось купить билеты на пароход, отправляющийся в США.



Эпилог

В 1961 году Набоковы вернулись в Европу и поселились в Швейцарии, в Монтрё, в старой гостинице (Montreux Palace Hotel, основанной в 1906 году), которую писатель назвал «лебединой». По некоторым сведениям, здесь останавливались Лев Толстой и Чайковский. Пятнадцать лет семья прожила в полном уединении и изоляции, занимаясь исключительно литературной деятельностью. В апартаментах 065 на шестом этаже были написаны романы

«Ада» и «Бледное пламя», здесь Набоков начал писать свой новый роман «Original of Laura», завещав после его смерти сжечь неоконченное произведение. Вера и Дмитрий не решились сжечь наброски романа и оставшиеся 138 карточек.

Дмитрий переводил на английский произведения своего отца, первые переводы делал под его руководством. Он создал Фонд американских друзей музея Набокова, а в 2009 году, посчитав, что роман «Лаура и её оригинал» - вершина творчества отца, нарушил завещание (рукопись с рабочим названием «Подлинник Лауры. Умирать смешно» более 30 лет хранился в одном из швейцарских банков) и опубликовал его на русском и английском языках. Дмитрий умер недавно, 22 февраля 2012 года в госпитале в Монтрё на берегу Женевского озера и похоронен рядом с родителями.

Когда Набоковы жили в Швейцарии, деревянный «рождественский» дом – «почтенный замок» ещё не сгорел, ещё стоял на возвышении над рекой Оредеж. Набоков всё надеялся, что когда-нибудь «на заграничных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя привидением», по знакомой дороге подойдёт к своему дому. Часто думаю, вот съезжу туда с подложным паспортом под фамилией Никербокер». Дидерих Никербокер – так звали героя романа Вашингтона Ирвинга «История Нью-Йорка». Этот Никербокер поселился в одной из гостиниц Нью-Йорка, в ней жил и ушёл из неё, исчез бесследно, оставив вместо оплаты свой труд «История Нью-Йорка». Известно, что Набоков в эмиграции предпочитал жить в гостиницах. «Отчего вы не обзаведётесь... «своим углом»? – спрашивал его с тревогой Алданов.

И последним прибежищем писателя оказалась опять же – гостиница «Монтрёпалас», которую писатель назвал «лебединой». Его же самого, уже тогда всемирно известного писателя, прожившего пятнадцать лет в Швейцарии – ближе к дому – в литературных кругах прозвали «Чёрным лебедем Монтрё». Парадоксально, но это так: изгнание обернулось удачей. Именно ностальгия, благодаря дару, приобретённому в изгнании, дару Мнемозины, стала вдохновенной тоской писателя, способствовала духовному взлёту его личности, питала его гений. «Воспоминая острый луч, преобрази моё изгнание!».



Инна Кушнер

Ванечка, дядюшка Исачок и семья Рабинович



чем быстрее и упрямее летят мои годы, тем всё чаще и настойчивее я возвращаюсь в памяти к своему детству и отрочеству.

Эпизоды из моей детской жизни, разговоры окружавших меня близких людей с годами не стираются, а, наоборот, как это ни странно, приобретают всё более отчётливые очертания и яркие краски, наполняются совершенно иным смыслом и превращаются в моём сознании в последовательно соединённые между собой картины. Тогда я начинаю чувствовать себя, как в знаменитом фильме Ингмара Бергмана «Земляничная поляна», где, как его герои, разговариваю со своими родными и близкими, давно ушедшими из жизни, а они в этих моих картинах-воспоминаниях намного моложе меня теперешней.

И постепенно выстраивается целое повествование, а затем возникает нестерпимое желание рассказать его не только своим более молодым родственникам, но и совершенно незнакомым людям.

А чтобы что-то рассказать незнакомым людям, нужен повод. Для данной истории повод возник абсолютно неожиданно. В апреле 2011 года 9 канал израильского телевидения показал новый документальный фильм: «Иван Семёнович Козловский. Вера... Надежда... Любовь».

Никогда не потянулось бы моё «перо к бумаге», если бы не чувство неудовлетворённости, возникшее у меня после просмотра этого фильма. Со временем это чувство не только не покидало меня, а наоборот, всё больше и больше усиливалось, переходя постепенно во всё нарастающее ощущение досады от сухости, холодности и неэмоциональности кинокартины, а, особенно, от отсутствия в ней, практически, материала, отражающего еврейскую тематику в личной жизни и творческой судьбе И.С. Козловского (1900-1993).

Интервью, взятое в Израиле у дочерей незабвенного Соломона Михоэлса стандартно, «по-советски», лишь усугубляло моё разочарование. А ведь стоило только создателям фильма (среди них оказались и израильтяне) просто обратиться к не раз издававшейся книге воспоминаний И.С.Козловского «Музыка – радость и боль моя», чтобы понять, с какой теплотой, любовью и с каким уважением он относился к своим сотоварищам по музыкальному цеху - евреям. Среди множества фамилий, упоминаемых в книге, назову всемирно известные имена, такие как Б.Э.Гольдштейн, Я.Флиер, Л.Коган, Б.Хайкин, С.Самосуд, М.Рейзен, С.Хромченко, Э.Гилельс и многие, многие другие.

С какой поистине моцартовской щедростью своего таланта он отзывался о творчестве каждого из них! А главы, посвящённые актёрам С.Михоэлсу и В.Зускину, писателю Л.Кассилю и щемлящая душу история о поэте Иосифе Уткине! Это выделяет Ивана Семёновича Козловского из числа многих неординарных людей искусства, в лучшем случае равнодушно относящихся к "еврейскому вопросу".

И эта грань духовного мира уникальной личности великого русского певца почти не известна широкой публике.

**«Иван Семенович
Козловский. Вера...
Надежда... Любовь...»**



О Козловском – не только как об артисте, но и как об уникальной личности, неизвестной широкой публике, вспоминают Татьяна Доронина, Бэла Руденко, Галина Писаренко, недавно ушедшие Белла Ахмадулина, Александр Корнеев, родные и близкие великого тенора.

■ В 15.45 на 9-м канале «Израиль плюс»

Анонс фильма о И.С. Козловском

А ведь фильм, по крайней мере, в Израиле, анонсировался именно так! И вот я решаюсь, по своим детским и юношеским

воспоминаниям, рассказать именно об этой части жизни И.С.Козловского...

В нашей семье его редко называли Иван Семёнович. Чаще звучало ласковое и нежное имя – Ванечка. А рядом с этим распространённым русским именем почти всегда неотступно следовало другое – тоже ласковое и нежное – Исачок.

Дядюшка Исачок был старейшиной нашей большой семьи, раскиданной в послевоенное время по всем городам и весям необъятного Советского Союза и, так сказать, «последним из могикан», рождённым в конце 19-го столетия, и дожившим до середины двадцатого...

Вне семьи его имя звучало: Александр (Исаак) Яковлевич Альтшуллер (иногда пишут Альтшулер с одним «л», что, в общем, неверно) – заслуженный артист РСФСР и УССР, певец, педагог, режиссёр, а в самом конце своей жизни – суфлёр Большого театра.



А.Я. Альтшуллер, 1938 г, И.С. Козловский, 1970-е годы

Но прежде, чем поведать удивительную историю дружбы этих двух замечательных людей – певца, имя которого было известно далеко за пределами бывшего Советского Союза, и малоизвестного широкой публике оперного певца, режиссёра и педагога, я должна объяснить, кем я прихожусь Александру Яковлевичу Альтшуллеру, и рассказать всё, что я знаю о его творческом и жизненном пути.

Итак, мой папа, Яков Иосифович Рабинович, приходился Александру Яковлевичу племянником, то есть сыном его родной

сестры Веры (Двойры) Яковлевны Альтшуллер, в замужестве Рабинович.

Кроме папы у моей бабушки Веры было ещё двое старших детей – сын Рафаил (Рафа) и дочь Эсфирь (Фира). Всего у Александра Яковлевича было 8 племянников и племянниц от четырех его сестёр и брата, а так как это был добрейший и мудрейший человек, к которому всегда можно было прийти за помощью и советом, то, очевидно, отсюда возникло это внутрисемейное трогательное обращение – «дядюшка Исачок».

По рассказам моих близких, а особенно дяди Рафы, у Александра Яковлевича в молодости был великолепный бас-баритон, и он много пел в опере на провинциальных сценах России и Украины. Его неординарные музыкальные способности проявились ещё в юношеском возрасте. В Перми, где он родился в 1870 году, молодой Исаак Альтшуллер часто выступал на ученических концертах. И вот что сенсационно: на этих концертах ему нередко аккомпанировал гимназист Сергей Дягилев. Тот самый Сергей Павлович Дягилев – один из основоположников группы «Мир искусства», организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева» в Париже и Лондоне!



А.Я.Альтшуллер. Пермь, 1900-е годы

При поддержке семьи Дягилевых и при содействии пермской театральной общественности юного Исаака Альтшуллера направили в музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества, куда, сдав успешно вступительные экзамены, он и был принят.

Мне думается, что именно после окончания музыкального училища и перед началом своей артистической карьеры, Исаак Альтшуллер взял себе русское сценическое имя Александр. Так делали многие евреи в России и до революции и после, когда перебирались из провинции в столицу.

Однако, наградив Александра Яковлевича талантом, умом, добротой, Всевышний сыграл с ним злую шутку – при таком мощном и сочном голосе, одухотворенном лице – он наделил его очень невысоким ростом и худощавой фигурой.

Поэтому репертуар Альтшуллера на сцене был в достаточной степени ограничен. И тогда, в начале прошлого столетия, Александр Яковлевич начинает заниматься педагогической и режиссёрской деятельностью.

Среди огромного количества его учеников мне бы хотелось отметить три наиболее знаменитых имени на оперной сцене.

Первым в этом списке стоит имя известного уральского баритона Александра Никитича Ульянова, который впоследствии стал петь в Марининском театре в Ленинграде и был профессором Ленинградской консерватории.

У моего дяди Рафы (старшего брата отца), популярного в Свердловске краеведа и журналиста, хранилась до последних его дней часть архива дядюшки Исачка. К сожалению, после кончины дяди Рафы в 1999 году всё это бесценное достояние было передано его детьми в Свердловский краеведческий музей, а также в музей Свердловского театра оперы и балета имени А.В.Луначарского, и дальнейшая судьба архива неизвестна.

Среди множества писем и фотографий с автографами от таких певцов, как Нежданова, Собинов, Держинская, Лосский, Катульская, хранившихся в архиве, была одна групповая фотография Харьковской оперной труппы сезона 1907 года, где А.Я.Альтшуллер и А.Н.Ульянов стоят рядом. На ней рукой Ульянова написано: «Благодарю судьбу, что она дала возможность мне встретить тебя на моём пути. Помни своего первого (по счёту) ученика Ульяшу».

Однако с труппой Харьковской оперы Александра Яковлевича связывал не только сезон 1907 года. Так уж сложилась его судьба, что один из самых драматичных и в то же время плодотворных периодов его жизни пришёлся на город Харьков.

Было это в конце 1918 года...

А.Я.Альтшуллер, как член Совета Российского театрального общества (РТО), совместно с тенором Петром Ивановичем Певиным, также членом Совета РТО, был

командирован в Крым и Украину для проведения «Дня русского актёра». Кстати, направлены туда они были по распоряжению Александры Александровны Яблочкиной – великой русской актрисы Малого театра, много лет возглавлявшей РТО, а впоследствии и ВТО (Всероссийское театральное общество). Альтшуллер и Яблочкина вместе принимали активное участие в создании РТО и состояли в тёплых дружеских отношениях.

Но, увы! Планам по проведению «Дня русского актёра» в Харькове свершиться было не так просто! Бушевавшая в стране Гражданская война докатилась в это время и до Украины. В Харьков вошли белые. Город стал переходить из рук в руки. Кровавая мясорубка Гражданской войны затягивала в свою воронку людей без разбора, и не каждый мог выстоять и выбраться из этого месива. Не выдержав ужасных лишений, скоропостижно скончался Пётр Иванович Певин, и вся тяжесть порученного РТО дела легла на плечи Александра Яковлевича. Непостижимо, как человек такой хрупкой и тонкой конституции не просто мужественно перенёс весь этот кошмар, но и, выполнив поставленную перед ним РТО задачу, остался в Харькове еще на целых 7 лет!

Многое он сделал за эти годы в тогдашней столице Украины для восстановления оперного дела. Стал главным режиссёром оперного театра, руководителем оперного класса в институте музыкальной культуры, организатором и первым председателем Харьковского профсоюза работников искусств.

Там же, в Харькове, в 1923 г. торжественно отметили 30-летие его театральной деятельности, и ему было присвоено звание заслуженного артиста УССР. Именно туда, в Харьков, из Москвы, ко дню празднования этой даты, пришла такая телеграмма: «Поздравляю старого друга, школьного товарища, шлю сердечный привет, лучшие пожелания. Обнимаю крепко, Леонид Собинов».

А однажды в класс института музыкальной культуры к Александру Яковлевичу пришёл высоченный, тощий, видимо, не каждый день евший досыта молодой человек и попросил прослушать его голос. Это был будущий народный артист СССР Марк Осипович Рейзен. Разглядев в новичке огромный голосовой потенциал и большие артистические способности, Александр Яковлевич согласился заниматься с ним, к тому же - безвозмездно.

Это был второй широко известный музыкальной публике Советского Союза ученик дядюшки Исачка, на которого мне хотелось бы обратить внимание.

И особняком в этом перечне известнейших оперных певцов стоит имя Ивана Семёновича Козловского. Александр

Яковлевич познакомился с Козловским в 1923 году, когда тот уже сделал свои «первые шаги» на оперной сцене в городе Полтава, а, услышав пение начинающего тенора, сразу же был покорён красотой голоса этого самородка, его природной артистичностью и совершенной вокальной техникой.

Будучи сам певцом и оперным режиссёром, Александр Яковлевич прекрасно понимал, как важен для молодого вокалиста, вступившего на профессиональную стезю, опытный и грамотный наставник, который не дал бы артисту оступиться, уйти в сторону от намеченной цели, прельстившись фальшивыми ценностями дешёвой славы, и потерять тот необыкновенный дар, которым наградила его природа.

Он сразу же пригласил Козловского к себе в труппу Харьковского оперного театра. С этого момента и до последних своих дней Александр Яковлевич становится для Козловского преданнейшим другом, педагогом-наставником и даже в какой-то степени «духовником», которому Иван Семёнович доверял свои самые сокровенные мысли и тайны.

А в труппе Харьковской оперы в сезон 1923/1924 гг. поют уже два будущих солиста Большого театра, два будущих народных артиста СССР, которых именно он, Александр Яковлевич Альтшуллер, очень скоро выпустит на широкую дорогу оперного искусства, – Иван Семёнович Козловский и Марк Осипович Рейзен.

В 1924 году Альтшуллер получает приглашение быть главным режиссёром Свердловского оперного театра. Надо отметить, что Свердловский театр всегда считался лучшим периферийным оперным театром России. Кстати, ещё до революции, когда в бывшем тогда Екатеринбурге в 1912 году было построено новое здание оперы, и в нём открылся первый оперный сезон, Александр Яковлевич был первым главным режиссёром, приглашённым на эту должность.

Так что предложение, сделанное в 1924 году, было для него как бы возвращением в «родные Пенаты».

Дав согласие, Александр Яковлевич способствует переходу в Свердловскую оперу почти всей Харьковской труппы и, конечно же, Ивана Семёновича Козловского.

Годы 1924/1925 были для труппы под руководством Альтшуллера периодом необычайного творческого расцвета и огромного успеха.

С удивительной душевной теплотой и необыкновенным лиризмом вспоминает И.С.Козловский в своей книге об этом

времени, как будто рассказывает о своей первой, незабываемой юношеской любви:

«Сезоны 1924 и 1925 годов. Их мне не забыть. Никак не забыть! Они были, можно сказать, отправными этапами в моей дальнейшей сценической биографии. Именно здесь я получил настоящую зарядку как артист и оперный певец. И я всегда говорю, что Свердловский оперный театр имени Луначарского помог мне определиться, найти своё настоящее место в искусстве. А это совсем не так просто. Это сложный, а иногда и мучительный, творческий процесс».

И ещё:

«Когда в 1924-1925 годах я впервые пел на сцене Свердловского оперного театра, там царила блистательная эпоха. Эпоха влюблённости в искусство, как актёров, так и зрителей, эпоха высокого мастерства артистов, дирижёров, режиссёров...».

Сотни, а, может быть, и тысячи сердец свердловчан и особенно свердловчанок завоевал тогда своим уникальным голосом на многие десятилетия И.С.Козловский. И как блестящий результат этого, поистине феноменального, успеха, – приглашение его в сезон 1925/26 гг. в Большой театр.

В этот же сезон в Большой театр был приглашён и Александр Яковлевич.

В 1928-1930 гг. его назначают заведовать оперным отделом «Центропосредбаса» (Центральное посредническое бюро по найму работников искусств), и это был значительный этап в его общественной деятельности. В этот же период он преподаёт в Московском музыкальном училище, поёт в Большом театре и ставит там оперы.

А в 1937 году Александр Яковлевич награждён орденом «Знак почёта». Не могу с уверенностью назвать дату, но в этом же году, как мне кажется, ему было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР».

Но наступило 22 июня 1941 года... Кипучий ритм творческой жизни прерван и нарушен войной. Большой театр эвакуируют в г. Куйбышев. Там все долгие вечера, свободные от работы в театре, Козловский и Альтшуллер проводили вместе или на квартире Ивана Семёновича или у Соломона Михоэлса. Иван Семёнович в своей книге, в главе, посвящённой Соломону Михоэлсу, вспоминает об этом с таким редкостным дружелюбием, что я опять не могу удержаться, чтобы не привести цитату:

«В войну, в Куйбышеве, у меня на квартире, в обществе А.Толстого, Д.Шостаковича, А. Альтшуллера, он (С.Михоэлс) был грустен, трагичен – и это всё звучало в его песнях. Но тут же он

блистательно изображал с Толстым мимическую сцену двух плотников, конечно, под соответствующую музыку и при нашем старательном участии».

Иван Семёнович выступал не только на оперных сценах, но и на различных фронтах Великой Отечественной войны, завоевав сердца уже миллионов слушателей. Получил он и официальное признание: звание народного артиста СССР ему присвоили ещё до войны в 1940 г., а в 1941 г. он стал лауреатом Сталинской премии.

Жестокость военного времени и тяготы эвакуационной жизни ещё сильнее сплотили этих двух близких по духовному настрою людей.

Но какие бы высокие звания и премии ни присуждались И.С. Козловскому, в его отношении к Александру Яковлевичу никогда не было ни тени высокомерия, пренебрежительности и снобизма народного артиста к «вечно заслуженному» артисту РСФСР, а, наоборот, огромное уважение и даже подчёркнутое возвышение его над собой.

Особенно ярко выражалось это в форме обращения Ивана Семёновича к Александру Яковлевичу. Он называл его как-то не по-советски почтительно: «барин»! И звучало это в его устах не только шутливо, но и вполне сердечно, включая целую гамму чувств. Чтобы не быть голословной, ссылаясь опять на рассказы родных, позволю себе привести в доказательство теплоты их взаимоотношений ещё один отрывок из книги Козловского:

«Александр Яковлевич Альтшуллер, уралец по рождению... Он прошёл большой жизненный путь. Учился вместе с Леонидом Витальевичем Собиновым в музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества, пел вместе с ним в итальянской опере в Москве, затем побывал во многих оперных театрах России, но основную свою творческую жизнь посвятил двум городам – Перми и Свердловску. Александр Яковлевич много сделал для становления оперы на Урале, был здесь и певцом, и режиссёром, и художественным руководителем театральных сезонов. Последние годы жизни он служил в Большом театре, особенно блистательно пел он партию Бартоло в «Севильском цирюльнике». Уже глубоким стариком стал суфлёром, и тут с его стороны не было никакой жертвенности, а тем паче обиды.

Помню мою добродушную реплику в его сторону: «Как же вы, дорогой барин (так в шутку звали Александра Яковлевича в театре), со своей возвышенной душой, в суфлёрскую будку сели?».

«Да, брат, всякое бывает», – отшутился он...

Александр Яковлевич не сказал мне тогда, что любит искусство больше, чем самого себя в искусстве. Да и не надо было этого говорить. Он это доказал всей своей жизнью, до самых последних дней стремясь к прекрасному, возвышенному.

Сидя в суфлёрской будке, Александр Яковлевич мог заслушаться и всё позабыть, но мог и пожурить. Вдруг на музыкальной паузе укоризненно тихо раздаётся: «ай-ай-ай!».

Кто из театралов, свердловчан и пермяков, не помнит замечательного Ария Моисеевича Пазовского, выдающегося музыканта, Народного артиста СССР, одного из самых известных советских дирижёров? А кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы не дружеская поддержка Александра Яковлевича Альтшуллера? Именно он оказал Пазовскому помощь, организовал в Перми концерт, чтобы достать ему средства для поступления в консерваторию, ездил с подписным листом, а впоследствии помог молодому дирижёру устроиться в Екатеринбургский оперный театр. Да, Александр Яковлевич был редкой души и сердечности человек!».

Удивительно по-доброму написанные воспоминания! Сколько раз я ни читала их раньше и перечитала сейчас перед тем, как написать всё, что знаю и помню об Александре Яковлевиче Альтшуллере, столько раз я поражалась простоте и точности описания Козловским граней личности Александра Яковлевича: профессиональной, творческой, духовной...

И лишь первая фраза этого отрывка каждый раз вызывала у меня недоумение своей неопределённостью, и я бы сказала, какой-то странной размытостью. Что это означает: «по рождению уралец»? Что-то среднее между местом, где человек родился, и его происхождением? Такое ощущение, что Иван Семёнович что-то не договаривал... Но для меня в этом вопросе нет недомолвок и белых пятен. О месте рождения Александра Яковлевича я уже писала – это город Пермь, на Урале. А вот о социальном статусе семьи Альтшуллера я узнала сравнительно недавно и могу написать об этом уже не с чьих-то слов, а опираясь на объективные данные.

В 2001 году, после кончины моего папы, перебирая его небольшой архив, я среди стандартных документов (свидетельство о рождении, аттестат зрелости и т.п.) неожиданно для себя обнаружила пакет с документами и письмами, относящимися к моим бабушке и дедушке!

Трудно себе представить, но все они были датированы в промежутке от середины XIX века до начала XX, а точнее, от 1866

до 1904 гг. Ветхие, почти истлевшие на сгибах, но легко читаемые свидетельства жизни моих предков! Среди них есть письмо-прошение, написанное в июле 1886 года, в Пермское городское полицейское управление от полоцкого мещанина Якова Ш. (Шаевича) Альтшуллера. В письме мой прадед, отец Александра Яковлевича, просит подтвердить даты рождения его дочерей – Веры (моей бабушки) и Маши, потому что он хочет отправить их учиться в Пермскую прогимназию, а метрических свидетельств у него нет, так как «раввин умер, и книги запечатаны». Обращает на себя внимание то, что все имена в прошении написаны уже в русифицированном варианте.

Итак, Александр Яковлевич Альтшуллер – уроженец города Пермь, по происхождению – мещанин. Отец его – Яков Альтшуллер был в Перми известным ювелиром, и хотя в семье его было шестеро детей (два сына и четыре дочери), она явно не бедствовала.

У меня есть очень интересная фотография всего семейства Альтшуллеров, сделанная в 1902 году. Собственно говоря, фотография интересна не только сама по себе, как иллюстрация быта, а точнее, внешнего вида членов еврейской семьи, переселившейся из Белоруссии, обосновавшейся на Урале и явно стремящейся к светскому образу жизни, но и историей своего появления. На первый взгляд, рассказ об этом не имеет прямого отношения к моему предыдущему повествованию, но мне кажется, прочтя его, можно лучше почувствовать ту атмосферу тепла, любви и взаимопомощи, в которой вырос Александр Яковлевич Альтшуллер, и понять, что именно оттуда, из семейного уклада, растут корни той «редкой души и сердечности», о которых так искренне писал Иван Семёнович.

Итак, фотография была сделана после семейного совета, собранного отцом Александра Яковлевича – Яковом Шаевичем Альтшуллером. На него были приглашены все его дети с супругами, если кто-то из них был женат или замужем, несколько ближайших родственников и даже малолетние внуки. Поводом для такого большого сбора всей семьи послужила личная драма моей бабушки Веры – расстроилась её свадьба с сыном известного пермского богача. Эту беду можно было бы так или иначе пережить, если бы бабушка не ждала от него ребёнка...

На семейном совете было принято решение: ни в коем случае не дать Вере почувствовать себя одинокой и выброшенной за борт родной семьи, всеми силами помочь ей вырастить будущего ребёнка, дать ему образование, а главное – окружить их

обоих заботой и любовью. Было решено также, что его фамилия будет Альтшуллер.

Момент окончания этой встречи и запечатлел фотограф. И хотя судьба будущего первенца (а это был не кто иной, как мой дядя Рафа – старший брат отца) и самой Веры единодушно была решена положительно, всё-таки на лицах присутствующих сохранилось напряжённо-тревожное выражение. Особенно грустными выглядят родители – Яков Шаевич и Анна Моисеевна, сидящие в центре композиции. Печально строгие лица как у женщин, так и у мужчин.



Семья Альтшуллеров, Пермь, 1902 г.

Моей бабушки Веры на этом фото нет. Однако справа в углу на маленьком столике можно увидеть три фотографии – это те, кто не смог присутствовать на семейной встрече. На переднем плане стоит портрет моей бабушки, а сзади – портреты мужа и годовалой дочери одной из её сестёр. Девочка была ещё очень мала для таких собраний, а её отец находился в отъезде...

И всё-таки один человек резко выделяется из этой грустной группы родственников. Это – дядюшка Исачок, стоящий в верхнем ряду, крайний слева. Он отличается всем – и внешним видом (свободный ворот рубашки, галстук-бант со щегольской булавкой, светлые брюки), и вальяжной позой (правая нога опирается о кресло, а рука свободно лежит на его спинке), а главное, блеском глаз на слегка улыбающемся лице. От всей его фигуры веет уверенностью и удовлетворённостью жизнью. Ему здесь 32 года. Он явно успешен – уже сам ставит антрепризы в

родной Перми – и всем своим обликом как бы хочет сказать: «Я уверен! Всё у Верочки будет хорошо!»

Так оно и случилось. Вскоре бабушка знакомится с необыкновенным, удивительно добрым человеком – Иосифом Хаимовичем Рабиновичем, сыном известного в религиозных кругах шавельского (шяуляйского) раввина Хаима Рабиновича. Так же, как Яков Альтшуллер, Иосиф Рабинович (это был мой дедушка) перебрался жить в Сибирь, в город Томск из расположенной рядом с Белоруссией Литвы (город Шяуляй). Он окончил медицинский факультет Томского университета и получил диплом провизора.

В Томске у дедушки была своя аптека, а его диплом об окончании Томского университета также сохранился в архиве моего папы. Он датирован 1896 годом. Дедушка не только усыновил Рафу, дав ему свою фамилию и имя, но никогда не позволял себе отделять его от своих родных детей Фиры и Яши – моего отца.

Эти три племянника были любимыми у дядюшки Исачка, особенно Фира, которая жила в Москве и очень часто навещала дядю. Все трое были хорошо знакомы с Иваном Семёновичем, а тот в свою очередь переносил всё тепло дружбы с Александром Яковлевичем на его племянников.

Совсем иные отношения сложились у Александра Яковлевича с другим его учеником – Марком Осиповичем Рейзенем. Не знаю, почему и что было тому причиной, но между ними не было ни душевной связи, ни сердечной теплоты. Хотя в воспоминаниях Ивана Семёновича с некоторой ноткой ревности написано:

«В юности Рейзен был окружён в театре (Харьковской опере – *И.К.*) требовательной любовью друзей – режиссёра Альтшуллера, дирижёров Пазовского, Палицына».

Может быть, именно потому, что любовь была «требовательной», Марк Осипович отдалился от своего учителя? Но это только мои домыслы и предположения. К величайшему сожалению, книги воспоминаний М.О. Рейзена, вышедшей в 1980 году в издательстве «Советский композитор», г. Москва, у меня нет, и я не могу сделать каких-то личных выводов. Помню только слова тёти Фиры, сказанные о М.О. Рейзене: «Он всегда был очень холодным и прагматичным человеком», а дядя Рафа в своей статье «Первый главный режиссёр», посвящённой А.Я. Альтшуллеру и помещённой в изданном в 1997 году в Свердловске маленьком сборнике статей под названием «Такое не забывается», приводит

небольшую цитату из воспоминаний Марка Осиповича, которую я позволю себе позаимствовать:

«...Помню, я выступал на харьковской сцене в опере «Черевички» Чайковского вместе с Альтшуллером. Я пел Чуба, а Альтшуллер – Чёрта! Что это был за Чёрт! Когда он выходил на сцену, в зале стоял хохот. Однажды даже я не удержался. Взглянув на него, я от смеха так и не смог больше петь. Квартет (в сцене у Солохи) пропели без меня».

А в послевоенной Москве все трое – педагог и оба его воспитанника – служили в одном театре – Большом театре СССР, жили на одной улице, в Брюсовском переулке, в одном доме – «Доме артистов Большого театра» и даже в одном парадном. Иван Семёнович Козловский жил на 9 этаже, дядюшка – на 3, а Марк Осипович – где-то между ними.

Когда дядюшка Исачок стал уже настолько стар, что не мог находиться весь спектакль в суфлёрской будке (что переживал мучительно тяжело) и вынужден был навсегда отойти от театральных дел, проводя всё своё время в замкнутом пространстве двухкомнатной квартиры, сидя в своём любимом старинном кресле, то не было дня, как рассказывали мне мои родные, чтобы, возвращаясь вечером после спектакля домой, Иван Семёнович хоть на пять минут не заскочил бы к своему любимому «барину», дабы справиться о его здоровье, спросить, не нужно ли ему чем-нибудь помочь, просто поговорить.

Марк Осипович не заходил. Он был всегда занят.

Мой двоюродный брат (старший сын дяди Рафы), который живёт сейчас в Хайфе, Виталий Рафаилович Рабинович, рассказал мне интересный случай. Когда ему исполнилось 17 лет (это был 1949 год), родители на зимние студенческие каникулы отправили его в Москву. Остановился он, конечно же, у дядюшки Исачка. Спальное место отвели ему в кабинете дядюшки, на раскладушке. В тот вечер по радио шла трансляция из Большого театра. Что давали тогда в Большом, брат, к сожалению, не помнит, но говорит, что весь вечер дядюшка просидел в своём кресле, внимательно слушая оперу и лишь изредка, покачивая головой, говорил своё знаменитое печально-укоризненное: «Ай-ай-ай!». Затем встал и молча ушел спать.

Вдруг в двенадцатом часу вечера раздаётся звонок в дверь, и через некоторое время на пороге кабинета появляется И.С.Козловский. Он извиняется, мнёт в руках головной убор. Дядюшка проснулся, сел на своей постели и с какой-то тоской в голосе сказал: «Ваня! Ванечка! Как же ты сегодня пел?! Ты же не

пел, ты просто спаса-а-а-ля! Ваня! Ты – народный артист! Негоже, негоже тебе так петь, родимый ты мой!»

Иван Семёнович стоял в дверях, как побитая собака: «Ну что же теперь сделаешь, барин! Случается... Виноват!» – отвечал он, опустив голову, перебирая в руках шапку из серого каракуля.

Виталий лежал на раскладушке ни жив ни мёртв, натянув на лицо одеяло и оставив незакрытыми только глаза.

«А это кто?» – спросил Иван Семёнович.

«Это – Виталий, Рафин сын», – ответил дядюшка.

«Ну, что ж, будем знакомы!» – и Иван Семёнович, приветливо улыбаясь, подошёл к раскладушке и протянул Виталию руку.

Так завязались дружеские отношения между Иваном Семёновичем Козловским и представителем третьего поколения родственников Александра Яковлевича.

Часто, будучи в Свердловске уже известным архитектором, Виталий, приезжая в Москву по делам службы, звонил Ивану Семёновичу, и тот каждый раз приглашал его к себе на завтрак. Время завтрака было для Козловского святая святых. Это было время его отдыха, время восстановления сил, время полной изоляции от внешнего мира. Тем ценнее становились для Виталия эти приглашения, сопровождавшиеся душевными беседами, воспоминаниями и интересными рассказами.

Завтрак подавала сестра Ивана Семёновича, Анастасия Семёновна, удивительно приветливая женщина, до конца дней своих преданно ухаживавшая за своим братом. Нередко во время таких встреч Иван Семёнович просил Виталия выполнить ту или иную просьбу.

Например, отыскать в Свердловске какую-то старую его поклонницу, которая помнила Ивана Семёновича ещё с середины 20-х годов, когда он пел в Свердловской опере, и обращалась к нему с просьбой помочь в решении важного для неё вопроса. А однажды попросил даже передать письмо и деньги одинокой пожилой женщине, испытывавшей материальные затруднения и попросившей у него помощи.

Естественно, что в связи с тесными родственными контактами, всё своё сознательное детство и отрочество я «варилась в соку» восторгов, переживаний, радостей и неудач дядюшки Исачка, а, значит, и Ивана Семёновича Козловского. Выражаясь современными терминами, Иван Семёнович был виртуальным членом нашей семьи. Поэтому я априори должна была быть «козловчанка», и ни на йоту не могло быть сомнений,

что можно восхищаться голосом какого-либо другого оперного певца.

Кто из моих современников может забыть бесконечный, доходивший иногда до абсурда, спор между «лемешистками» и «козловичанками», начинавшийся с темы превосходства вокальных данных каждого из своих кумиров и кончавшийся безрассудным хвастовством друг перед другом добытыми трофеями – это могла быть пуговица от пиджака, клапан кармана, автограф...

Как сейчас помню, мне было лет 12. По радио транслировали из Большого театра «Бориса Годунова». Папа сидит на диване, нога закинута на ногу, глаза закрыты, слушает. После окончания коронной арии Козловского (он пел Юродивого) восклицает: «Ты слышала, как он поёт? Это же потрясающе! Какой чистоты звук!»

Но для меня наступил уже возраст сомнений, и я позволила себе заметить: «Папа! Ну что ты, всё время: «Козловский, Козловский!» А вот Лемешев поёт несколько не хуже!» Недоумение и жалость были написаны на лице моего отца: «Доченька! Но у него же тремоло!», – и папа во время этой фразы торцом ладони несколько раз дробно ударил себя по горлу. Признаться, тогда я в первый раз услышала это слово, но объяснение было таким выразительным, что все сомнения исчезли, и я больше подобных вопросов никогда не задавала.

Сейчас, когда я описываю эти свои эмоциональные детские воспоминания или пересказываю то, что было мне известно из уст моих родных, у меня всё время возникает желание «подкрепить» свои строки документальным материалом. Именно поэтому я обращаюсь к книге воспоминаний Ивана Семёновича, привожу цитату Марка Осиповича... Но у нас в семье есть, если можно так выразиться, и свой эксклюзивно-документальный материал.

В руках у меня старый-старый альбом с чёрно-белыми фотографиями. Без преувеличения можно сказать, что там есть фотографии, которым намного больше 70 лет. Этот альбом с огромной любовью составлен моим папой, и весь он практически посвящён Ивану Семёновичу Козловскому. Не поразительно ли это: где-то далеко-далеко от огромной России, в маленьком, мало кому известном израильском городке Хадера, бережно хранится альбом с фотографиями великого русского певца! Альбом, чудом провезенный через все нелепые препоны советской таможенной службы, который я храню уже 20 лет. В нём помещены не стандартные фотографии из серии «Певцы Большого театра,

народные артисты СССР», а любительские снимки, где Иван Семёнович, в большинстве своём, снят в неофициальной, домашней обстановке. Вот на первом листе две фотографии: большой портрет И.С.Козловского и фотография, где он стоит рядом с А.Я.Альтшуллером, и они с нежностью и любовью смотрят друг на друга. Потом следует небольшой цикл фото, посвящённых дядюшке Исачку. На одном из них, где Александр Яковлевич сидит в суфлёрской будке, на оборотной стороне стоит штамп «Музей ГАБТ». А вот ещё одно интересное фото – отмечается юбилей Александра Яковлевича. За красиво накрытым столом – весь цвет оперной труппы Большого театра и, конечно же, на переднем плане Ванечка Козловский. Чудесная фотография, где сидят вместе, улыбаясь, И.С.Козловский, А.Я.Альтшуллер, известные пианисты Яков Зак, Роза Тамаркина...



А.Я.Альтшуллер и И.С.Козловский. Москва, 1945 г.

И вдруг замечаешь, что на фотографиях нет больше дядюшки Исачка... Он ушёл из жизни в 1950 году, в июне, в возрасте 80 лет. Ушёл так, как говорят, уходят только праведники. Заснул, сидя в своём любимом кресле, с мягкой улыбкой на лице, укутанный в плед заботливыми руками жены. Заснул и больше не проснулся...

И кто знает, что видел он в этом своём последнем земном сновидении, чему улыбался? Шутке ли Соломона Михоэлса? Успеху ли любимого Ванечки? А, может быть, он увидел в эти мгновения ту, что навсегда поселилась в его сердце – Настеньку Месняеву?

Они прожили вместе долгую и счастливую супружескую жизнь – Анастасия Аркадьевна Месняева и Александр Яковлевич Альтшуллер. В молодости она тоже была оперной певицей и вместе с ним пела на провинциальных сценах России и Украины.

Это был её второй брак. И, как мне кажется, за их супружеством скрывалась какая-то романтическая любовная история.

Они были парой, на которую невозможно было не обратить внимания.

Он – невысокий, худощавый, с красивым, умным лицом типичного еврейского интеллигента в ореоле копны вьющихся чёрных волос, она – высокая, статная русская красавица, на 16 лет моложе его. Он – сын полоцкого мещанина-еврея, она – дочь мелкопоместного дворянина.

Анастасия Аркадьевна ровно на 16 лет пережила своего мужа, словно кто-то сверху твёрдой рукой определил прожить ей точно такой же отрезок времени, как и её избраннику – 80 лет. Она скончалась в 1966 году.

А между страницами альбома, как раз там, где начинаются фотографии, на которых уже нет дядюшки Исачка, лежит пожелтевшая от времени вырезка из газеты «Советское искусство», аккуратно завернутая в полиэтилен. Это – некролог, извещающий о смерти старейшего деятеля русского оперного театра Александра Яковлевича Альтшуллера. Некролог подписали: А.Яблочкина, И.Козловский, М.Рейзен, А.Солодовников, З.Дальцев, Д.Мчедели.



Некролог А.Я.Альтшуллера

Было бы неуместно и неискренне говорить, что в свои молодые годы я понимала всю значимость личности Александра Яковлевича в развитии российско-советского оперного искусства. Только впоследствии, уже в зрелом возрасте, после долгих разговоров с моим отцом и очень интересных рассказов дяди Рафы, часто приезжавшего к нам в Ленинград из Свердловска, а особенно после того, как я прочитала книгу Ивана Семёновича Козловского, у меня впервые мелькнула мысль, что мой двоюродный дедушка, Александр Яковлевич Альтшуллер, был недооценён в своём отечестве и незаслуженно забыт. За этой мыслью последовательным звеном шла другая: Иван Семёнович,

как человек, чрезвычайно тонко чувствующий несправедливость, не мог не понимать этого.

Мне думается, что именно постоянное, глубокое осознание недооценки Александра Яковлевича Альтшуллера в сочетании с двумя другими качествами личности самого Ивана Семёновича – необычайное благородство его души и бесконечное чувство благодарности к человеку, открывшему ему путь на сцену Большого театра, и были теми тремя составляющими движущей силы, которая всё время подталкивала Ивана Семёновича доказывать окружающим: нельзя предавать забвению имена людей, подобных Александру Яковлевичу Альтшуллеру.

И с первых мгновений после кончины дядюшки Исачка и до последних дней своей жизни Козловский свято следовал этому принципу.

Он сразу же берёт на себя все трудности и сложности организации похорон Александра Яковлевича Альтшуллера.

Дядюшка Исачок был похоронен на Новодевичьем кладбище, где ещё с советских времён хоронили и до наших дней хоронят выдающихся деятелей советско-российского искусства. Его могила расположена неподалёку от могил Вс. Вишневского и Надежды Аллилуевой. Памятник, поставленный ему, отличается скромностью, соответствующей личности Александра Яковлевича. На белой вертикальной плите под фотографией Александра Яковлевича надпись:

**Заслуженный артист
Александр Яковлевич Альтшуллер
1870-1950**

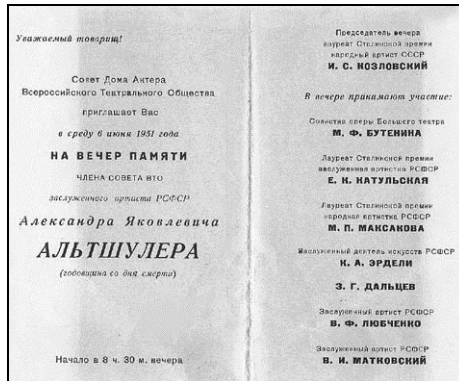
Благодарим, что ты жил среди нас...

Помню, как меня поразили эти два слова – заслуженный артист. А где СССР, РСФСР? Возможно, Иван Семёнович специально не указал названия географического места на карте СССР, где были присвоены эти звания, декларируя тем самым, что Александр Яковлевич Альтшуллер - заслуженный артист на всей территории Советского Союза.

Но память о человеке сохраняется не только в надписи, высеченной на камне. Она в его делах, поступках и воспоминаниях о нём.

Через год после смерти Александра Яковлевича в московском Доме актёра состоялся вечер его памяти. Организатором вечера и его председателем был Иван Семёнович Козловский. У нас (конечно же, благодаря папе) сохранился пригласительный билет на этот вечер, в котором участвовали, кроме Ивана Семёновича, М.Бутенина, Е.Катульская,

М.Максакова, К.Эрдели, З.Дальцев, Н.Озеров, А.Пазовский, М.Рейзен, П.Цесевич и многие другие.



Пригласительный билет на вечер памяти А.Я.Альтшуллера, 1951 г.

На лицевой стороне пригласительного билета та же фотография, что и на памятнике – уже пожилой дядюшка Исачок в официальном костюме, с орденом «Знак Почёта» на груди.

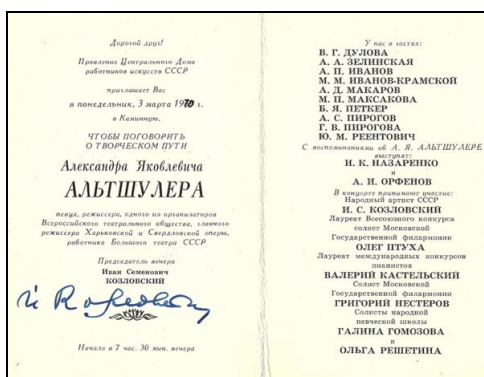


В доме А.А.Месняевой. Сидят: в центре – И.С.Козловский, слева от него – Фира Рабинович, вторая справа за столом – А.А.Месняева

После окончания вечера родные и близкие, среди которых был и Иван Семёнович, а также и моя тётя Фира, собрались в доме дядюшки Исачка, где их принимала его жена – Анастасия Аркадьевна Месняева. В альбоме есть много фотографий с Иваном Семёновичем, сделанных в этот вечер, и только на них мы

можем увидеть Анастасию Аркадьевну. Ей здесь 65 лет. Это уже не та статная красавица, покоровшая сердце преуспевающего оперного режиссёра. Перед нами пожилая, отяжелевшая, но все еще обаятельная женщина с мягкой улыбкой и грустными глазами.

Надо признаться, что с годами, за суетой бытия стал забываться уход из жизни дядюшки Исачка. Как вдруг в 1970 году (через 20 лет после его смерти!) каждому из его племянников приходит из Москвы от Ивана Семёновича пригласительный билет в Центральный Дом работников искусств на вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения А.Я.Альтшуллера!



Пригласительный билет с автографом И.С. Козловского на юбилейный вечер памяти А.Я.Альтшуллера. г. Москва, ЦДРИ, 1970 г.

На каждом (!) пригласительном билете – автограф Козловского. Как и 19 лет назад, на вечере, посвящённом первой годовщине со дня смерти Альтшуллера, председателем этого юбилейного вечера был Иван Семёнович.

Все, кто мог, из родных, безусловно, приехали в Москву. Торжество, посвящённое 100-летию Александра Яковлевича, прошло удивительно тепло, искренне и интересно. В нём принимали участие такие знаменитости, как В. Дулова, М. Максакова, А. Пирогов, А. Макаров и многие другие известные артисты и музыканты.

В нашем альбоме снова появились интересные фотографии. Одну из них Иван Семёнович поместил в своей книге воспоминаний (стр. 245). Под ней написано: «На вечере, посвящённом 100-летию со дня рождения Александра Яковлевича Альтшуллера в ЦДРИ. И.С.Козловский с его семьёй».

А так как семья Александра Яковлевича Альтшуллера – это его племянники (поскольку своих детей ему и Анастасии Аркадьевне Месняевой Б-г не дал), то мне хотелось бы остановиться на этой фотографии подробнее.



ЦДРИ. Юбилейный вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения А.Я.Альтшуллера.
Фотография, помещённая в книге И.С. Козловского

Моего папы на ней, к моему сожалению, нет, так как он в это время был в служебной командировке, зато там есть все те, кто приехал на юбилейный вечер в Москву из разных городов Советского Союза.

В центре фото стоит трио – Иван Семёнович Козловский, обнимающий двух женщин. Слева от него – Фира Рабинович (г. Москва), моя родная тётя, а справа – Магда Айзенберг (г. Ленинград), та самая маленькая годовалая девочка, фото которой на семейном снимке Альтшуллеров (г. Пермь, 1902 г.) стоит на круглом столике. Крайняя слева – Эся Равин (г. Егорьевск), дочь Маши Альтшуллер, по поводу которой писал своё письмо в Пермское городское полицейское управление Яков Шаевич Альтшуллер, (отец Александра Яковлевича), желая определить своих дочерей Машу и Веру (мою бабушку) в Пермскую прогимназию. Крайний справа стоит мой родной дядя Рафа Рабинович (г. Свердловск), а во втором ряду – его сын, Виталий Рабинович (г.Свердловск), о которых я уже упоминала выше.

Вот какие незримые нити протянулись от снимка семьи Альтшуллеров, сделанного ещё в царской России в самом начале 20 века в далёкой Перми, к фото уже советского периода времени, помещённого в книге воспоминаний И.С. Козловского, а связывает

между собой эти две фотографии имя Александра Яковлевича Альтшуллера.

В 1992 году Виталий (мой двоюродный брат) был в Москве по служебным делам, и, как всегда, позвонил Ивану Семёновичу.

К телефону подошла секретарь и сказала, что Иван Семёнович нездоров и не может подойти и поговорить. Узнав, кто звонит, сообщила: «Для вас есть книга. Подъезжайте, пожалуйста, её взять»

Так в нашей большой семье появились воспоминания Ивана Семёновича Козловского. К тому времени прошло уже 42 года после кончины дядюшки Исачка, и книга «Музыка – радость и боль моя», оставленная специально для Виталия, была последним сигналом - напоминанием об этой необыкновенной дружбе и преданности, сигналом, посланным нам, потомкам А.Я.Альтшуллера, от Козловского Ивана Семёновича.

Вскоре его не стало...

А 28 октября 2011 года, после длительного капитального ремонта, торжественно и пышно открылся Большой театр. Включив телевизор, я внимательно вслушивалась в текст, произносимый диктором, ведущим трансляцию вечера, посвящённого этому знаменательному событию. Было рассказано всё: от истории создания театра до мельчайших подробностей модернизации механизмов управления сценой и дополнительными помещениями, названы имена всех корифеев балетного и оперного искусств, имена известных музыкантов, дирижёров, режиссёров... Конечно же, авторы текста упомянули и И.С.Козловского, и М.О.Рейзена, а вот имени А.Я.Альтшуллера я так и не услышала...

Около 60 лет А.Я.Альтшуллер отдал оперной сцене, из них 25 последних лет – Большому театру, воспитал целую плеяду известнейших певцов, стоял у истоков создания ВТО – и забыт!

Вдруг я подумала: «А что с могилой дядюшки Исачка? Ведь у нас в альбоме нет даже фотографии памятника, поставленного ему на Новодевичьем кладбище». И хотя близких знакомых у меня в Москве сейчас нет (о родных и говорить не приходится), всё-таки нашлась одна добрая душа, и, о, какое чудо! - через два дня после звонка в Москву на экране компьютера моего внука я увидела хорошо знакомый мне памятник целым и невредимым! Правда, перед ним, там, где был и должен быть цветник, вырос огромный чертополох. Ну, что делать? Как поётся в песне Булата Окуджавы: «Моцарт отечества не выбирает...»

Новостью для меня стал стоящий рядом памятник Анастасии Аркадьевне Месняевой, супруге дядюшки Исачка. И в этом я опять увидела (думаю, не ошибаюсь) дружескую руку Ивана Семёновича Козловского! Чтобы похоронить никому не известную певицу на закрытом Новодевичьем кладбище (там ведь хоронят только выдающихся деятелей искусств и партийных работников), даже рядом с мужем, надо было иметь не только большой авторитет, но и благороднейшую душу.



Новодевичье кладбище, Москва. Памятники
А.Я.Альтшуллеру и А.А.Месняевой

И последнее...

После кончины Анастасии Аркадьевны в 1966 году по её завещанию двум самым близким к её мужу племянникам, сыновьям его любимой сестры Веры, были переданы памятные знаки внимания.

Дядя Рафа как журналист, получил совершенно бесценный дар – архив А.Я.Альтшуллера, который, как я уже об этом рассказывала вначале, в 1999 году, после его смерти, был передан в музей Свердловска (Екатеринбурга), где, видимо, канул безвозвратно...

Моему папе от имени Анастасии Аркадьевны была передана маленькая картонная коробочка, в которой лежали запонки дядюшки Исачка. Таких запонок я никогда больше в своей жизни не видела. Круглые запонки диаметром в два

сантиметра из чёрного золота. По периметру чёрного круга идёт выступающий блестящий золотой кант шириной в один миллиметр. В центре круга блестит золотая монограмма из букв «И» и «А» – Исаак (по настоящему имени) Альтшуллер.

Папа всегда надевал эти запонки в торжественных случаях.

Давно уже нет папы, он похоронен на городском кладбище Хадеры. А запонки из чёрного золота с выступающей золотой монограммой «И» и «А» лежат у меня. Только коробочка теперь металлическая, потому что старая, картонная, просто развалилась...

P.S. 24 декабря 2013 г. исполнится 20 лет, как ушёл из жизни великий русский певец, классик мирового оперного искусства И.С.Козловский.

Он жил и творил в жестокий и лицемерный век, при тоталитарном режиме, но, несмотря на это (пройдя долгий жизненный и удивительно яркий сценический путь), смог сохранить чистоту и благородство души, необыкновенную порядочность и, что самое главное, верность принципам общечеловеческих идеалов, обозначенных в названии фильма о нём «И.С.Козловский. Вера...Надежда...Любовь...».

Надеюсь, что этого человека в России не забудут, как не забывает его наша семья...

Сентябрь 2011 – март 2012
Хадера, Израиль

Редактор: Шуламит Шалит
Комп. набор: Игорь Файвушович, Хадера



Михаил Юдсон

Познание ребра



Всегда интересно отворить обложку в нечитанное, открыть для себя нового творца текста. Познакомимся с Еленой Минкиной – "израильская писательница с русским прошлым, автор двух книг, номинант премии "Антибукер", член Союза писателей Израиля. Родилась и выросла в Москве. После окончания Первого Московского мединститута работала врачом в отделении кардиореанимации одной из московских клиник. С 1991 года живет в Израиле и продолжает работать врачом. О себе она говорит так: "По специальности я – врач, по жизни – созерцатель, по обязанностям – всеобщая нянька и утешительница, по жанру – прозаик".



Елена Минкина-Тайчер. Женщина на заданную тему.
М.: Поколение, 2011

Что ж, прочитав книгу, добавлю – писатель по призванию. У Елены Минкиной, странное для меня явление, не замечаешь "как написано", не вглядываешься в извивы стиля – плывешь по течению текста, увлеченно несешься быстринами. Медленно

Минкина и не читается – это как цветаевские стихи, взхлеб. Не зря на обложке строки Марины Ивановны: "Как правая и левая рука, твоя душа моей душе близка..."

О чем книга? Да о вечном – о краткости райского сада, о познании добра и зла, о встрече мужчины и женщины. "Любовь – наваждение, любовь – вознесение, просто любовь..."

Заглавная повесть "Женщина на заданную тему" построена по достаточно известному принципу – одни и те же события глазами мужчины и женщины, но читаешь не отрываясь. Уж очень чувственная, захватывающая проза. И при этом ощутимо женская – точная к деталям, зоркая к вещам, пище, запахам, облику жилища – сие с пещерных времен, с поддержания очагового костра.



Очарованный чередой тянутся главки, наперебой течет речь: мужчина-женщина. "И звенящая душевная близость, будто сам Господь когда-то создал эту женщину из ребра этого мужчины".

Временами, задумчиво поглаживая свою седую бороду, могу поспорить с автором насчет некоторых "Мужских глав" – мол, ох не так это было – но тем и интереснее. Придуманно, ан хорошо – лав стори, женская сказка. Славная, сладкая, нежная, как положено. Хочется порой прикорнуть рядом, на глади страниц. И цитату заодно выписать с тихим наслаждением: "Черт возьми, праотцы были гораздо мудрее! Кто сказал, что человеку положена только одна жена? Тот же Иаков прекрасно решил проблему".

Абсолютно соглашусь и, дочитав "старшую" повесть, перейду к оставшимся пяти: "Но в памяти моей", "Мишель, моя прекрасная", "Полания", "Старик", "Принцесса Лягушка".

Тут не грех привести напутственные слова опять же с обложки: "Если вам сложно подобрать слова к жизни, прочитайте повести Елены Минкиной – пополните и словарный запас, и опыт" (телеведущий Лев Новоженев), а заодно: "Сильнейшее человеческое и художественное потрясение. Прозу, столь талантливую, можно пересказать только по-толстовски: воспроизводя в точности, от первой до последней буквы" (публицист Борис Кушнер). Увы, бедный рецензент, коим я являюсь, ударник-строчкогон, лопатящий тома, трудится не по-толстовски, а по-стахановски – даешь угля, пылающего огнем, да поживей! Поэтому скажу о книге бегло, "на одной ноге" – здесь сплетаются реалии Израиля с магией Одессы, библейские реминисценции с ностальгией по московскому дождю, детские воспоминания и старческая печаль, монетка судьбы падает ребром и случайная встреча оборачивается любовью на всю жизнь – Елена Минкина обладает даром превращать вещное, материальное в вечное, горнее – быт в Бытие.

Есть у меня в книге и "любимая" повесть – "Принцесса Лягушка". Замечательно написанная фантазмагорическая проза – о женщине-враче из будущего, находящейся в "тайм-командировке" в Хайфе. И утопически прекрасный Израиль грядущего краешком мелькает (Богу б в уши и зеницы!), а главное – сегодняшние труды и дни "русского" врача начертаны знающе, умно, умело, талантливо. И читателю, бредущему по кочкам нынешнего топкого многокнижья, очень рекомендую, указываю стрелкой – разыщите Минкину.



Александр Рашковский

О шести изданиях 2011 года

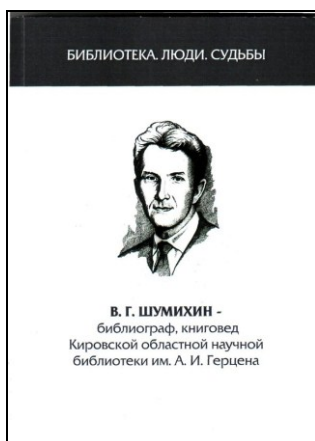
Гордость Вятского края



В конце 2011 года вышел сборник: В.Г. Шумихин – библиограф, книговед Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена: Статьи. Воспоминания. Библиография /Кировская областная научная библиотека им. А.И. Герцена. – Киров, 2011. – 224с.; ил. – Серия «Библиотека. Люди. Судьбы»; вып.4. ISBN 978-5-4338-0050-2. Тираж 100 экз.

Сборник посвящен одному из талантливейших вятских библиографов, краеведов и книголюбов Виктору Георгиевичу Шумихину (1936-1984), оставившему яркий след в истории Вятского края своей замечательной деятельностью. В сборник вошли его научные труды, воспоминания о нем, библиография. Виктор Георгиевич родился 27 июля 1936 года в селе Сардык Унинского района Кировской области. В 1961 году окончил Ленинградский государственный библиотечный институт и с августа того же года до ухода из жизни 7 июля 1984 года работал в библиографическом отделе Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена. Е.Д. Петряев писал, что «Шумихин обладал удивительным талантом открывателя и эвристическим чутьем». Думаю, что у него были такие прицельная фантазия и чутье, которые мне ни у кого больше наблюдать не приходилось. Это, конечно, было выработано у него на основе постоянного самообразования, которое подчас дает больше, чем университетские дипломы. Блестяще ориентируясь в огромном фонде библиотеки и в море текущей литературы, он сделал множество находок. Виктор Георгиевич отличался тем, что охотно делился своими находками с окружающими его товарищами, совершенно не заботясь о приоритете, которым сегодня многие так озабочены. Шумихин страстно любил музыку, особенно произведения Густава Малера, составил, вероятно, первый обширный библиографический указатель материалов о нем. Помню, как однажды он сокрушался о закрытости оригиналов

нотных материалов знаменитого итальянского композитора Россини в библиотеке Ватикана.



В письме Е.Д. Петряеву, находящему в Ленинграде, от 14 октября 1964 года В.Г. Шумихин писал:

«Евгений Дмитриевич, а ведь Дмитриев-то фигура первого класса. Он учился с братьями Рубинштейнами (Антоном и Николаем) у Виллуана. Его даже сравнивали с Антоном Григорьевичем, как пианистом. В 1850-х годах выступал с концертами во многих городах. Жил он в Харькове, работал в гимназии, преподавал там фортепьяно и учеником его был Н. Лысенко.

Берлиоз в свой приезд в Россию слушал его вместе с Николаем Рубинштейном и очень его хвалил.

У регента здешней церкви (в библиотеке хора) есть его духовные произведения. Надо искать и другие.

Если найдется время, взгляните, пожалуйста, на это:

1. «Корреспонденция из Вятки за подписью S» – «Русская музыкальная газета», 1895, №9, столб. 562-564.

2. Васильев В. – Из воспоминаний о С.В. Смоленском – «Русская музыкальная газета», 1911, №28-29.

Это все касается Н.Д. Дмитриева.

К 150-летию Лермонтова я сделал заметку о вятских изданиях Лермонтова. Не пошла! Земство хвалить нельзя.

P.S. В Вятке в 1901 году был издан сборник «Избранных произведений» Лермонтова. У нас его нет... В нем было около 306 с. Была вступительная статья. Кого? Неизвестно. Может быть, стоит взглянуть?»

(ГАКО, ф. Р-139, оп.1, д.145, л.71-72).

Очень переживал Виктор Георгиевич о закрытой для нас литературе Русского Зарубежья. «Ведь это огромный пласт прекрасной литературы» - сокрушался он.

Нередко рассказывал об интересных случаях библиографических поисков. Особенно мне запомнился такой случай. Пришел один читатель и попросил помочь установить источник цитаты из Карла Маркса в одной из книг. Он искал и смог найти эту цитату в опубликованных работах Маркса. Виктор Георгиевич посмотрел в собрании сочинений, которое имело прекрасный справочный аппарат, обеспечивающий возможность практически любых справок. Нет такого произведения. Тогда Шумихин позвонил в Институт марксизма-ленинизма. Сотрудники Института попросили два дня для наведения справок. Через два дня они сообщили Виктору Георгиевичу, что это цитата из произведения Карла Маркса, которое никогда на русский язык не переводилось и в СССР не издавалось. И еще добавили, что они борются с таким цитированием. На резонный вопрос Шумихина: «Почему же нельзя перевести это произведение классика и издать?», ему ответили, что это решает ЦК партии. Такие вот были времена...

Виктор Георгиевич подробно изучил историю Вятского книгоиздательского товарищества, которое возникло в 1902 году. За годы работы в Вятке и Петербурге (с 1905 по 1918 год) товарищество издало около 300 книг русских и зарубежных авторов, которые расходились по всей России. Шумихин проследил историю этих изданий, многие разыскал, уточнил тиражи, раскрыл псевдонимы. Эти книги, частично распространяемые через бесплатную раздачу, находили живой отклик в умах и сердцах сельского населения Вятской губернии. С 1893 по 1907 годы было роздано около 210.000 экземпляров более 1500 названий книг по ремеслам, медицине, сельскому хозяйству, естествознанию. Среди художественной литературы на первом месте стояли произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева. Это был пример, наверно, единственный в земской России.

В указателе «М.Е. Салтыков и Вятка» Виктор Георгиевич дал полную историю того, как вятские библиотеки наполнялись книгами Щедрина на протяжении целого века.

Работа библиографа тиха и незаметна. Но настоящий библиограф на долгие времена оставляет для читателей память о себе своими работами, которые, как компас, позволяют быстро ориентироваться во все возрастающем потоке литературы. Виктор Георгиевич оставил нам огромное научно-библиографическое

наследство, которое долгие годы будет образцом для всех библиотекарей, краеведов и издателей.

Соломон Абрамович Рейсер в письме Е.Д. Петряеву от 10 октября 1984 года написал:

«Краеведение долгое время оставалось на уровне искреннего дилетантства. Вы превратили его в равноправное с другими отраслями литературоведения и истории научное исследование и обогатили его многими достижениями».

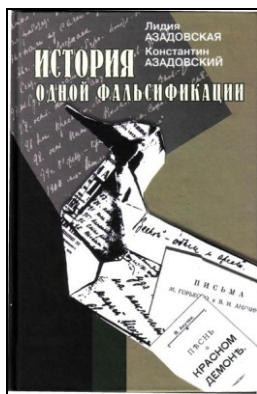
(ГАКО, ф. Р-139, оп.1а, д.23, л.295).

Думаю, что эти слова можно с полным основанием отнести и к Виктору Георгиевичу Шумихину, поистине гордости Вятского края, изучению которого он беззаветно отдал всю свою жизнь.

Судьба беспримерного фальсификатора

Был очень обрадован, получив книгу – Азадовская Л.В., Азадовский К.М. История одной фальсификации / Л.В. Азадовская, К.М. Азадовский. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 263с.

ISBN 978-5-8243-1488-5. Твердый переплет.



Эта книга – результат исследования беспримерной фальсификации в отечественной истории XX века.

Василий Иванович Анучин (1875-1941) получил в свое время немалую известность как корреспондент В.И. Ленина и М. Горького лично с ними встречавшийся. Однако в 1965 году в журнале «Новый мир» (№3) А.Т. Твардовского появилась статья Лидии Владимировны Азадовской (1904-1984), утверждавшей, что большая часть писем М. Горького к В.И. Анучину – подлог, а встречи и переписки В.И. Анучина с В.И. Лениным вообще не было. Огромная работа, проделанная ею, вызвала ряд

одобрительных, подчас восхищенных откликов со стороны известных историков, текстологов, литературоведов (И.С. Зильберштейн, Ю.Г. Оксман, Е.Д. Петряев, Н.Н. Яновский и другие).

В своем отзыве от 5 сентября 1975 года на статью Лидии Владимировны в «Новом мире» Е.Д. Петряев отметил, что фальсификаторская деятельность Анучина отнюдь не сводится к подделке им писем М. Горького, но распространяется также на ряд других лиц, в том числе и... на самого себя. Главная фальсификация Анучина – его собственная биография, сочиненная или существенно искаженная им в ее узловых и принципиальных моментах (например, его «участие» в событиях 1905 года, его якобы революционная работа на Алтае в 1919 году и так далее).

В книге Л.В. и К.М. Азадовских приведена и подробно проанализирована биография В.И. Анучина.

Замечательный литературовед Юлиан Григорьевич Оксман в письме от 10 января 1968 года, писал Лидии Владимировне, что ее работа не только интересна, но и блестяще построена, не уступая лучшим образцам серии «Жизнь замечательных людей». Далее Оксман прозорливо отмечал: «Самый факт существования таких деятелей советской науки не подлежит популяризации ни с какой стороны. Я хорошо понимаю, почему часть Вашего исследования фальшивок Анучина была изъята из «Нового мира» – дело тут вовсе не в ее размерах». Далее Оксман отметил: «Вы, оказывается прирожденный биограф. Если бы Вы затратили хотя бы треть того времени, которое отняла у Вас работа об Анучине, на биографию любого писателя или деятеля революционного движения, Вы давно стали бы популярнейшим литератором, да к тому же очень богатой».

Почти полвека назад, начиная свою работу о фальсификациях «профессора Анучина» Лидия Владимировна и представить себе не могла, сколь долгая и трудная судьба суждена ее литературному детищу.

Так, в своем письме Е.Д. Петряеву от 5 августа 1975 года она писала:

«В Новосибирске вышел второй сборник филиала АН СССР, но Постнов не пропустил моей статьи об Анучине».

(ГАКО, ф. Р-139, оп.1, д.60, л.56-57).

В письме от 2 ноября 1975 года она писала:

«Теперь новости из Омска. 26 сентября было заседание коллегии. И Анучинская статья была принята единогласно, при самых хвалебных оценках и отзывах. Предназначена она в ближайший выпуск сборника и меня просили прислать два

экземпляра чистых, заново отпечатанных, не позднее 13 октября, так как 15 октября рукопись должна была отправляться в дальнейшие инстанции. Пожелания редакторов были крайне незначительные и касались, в целом, разных технических моментов. Но, все же и их надо было выполнить. Как бы там ни было, на сегодня успех полный. Какие-то только будут темпы этого предприятия?».

(ГАКО, ф. Р-139, оп.1, д.60, л.62-63).

В книге подробно описывается вся история фальсификаций В.И. Анучина, даже написание своей фамилии он изменил.

Известный экономист и юрист Роберт Моль отмечал: «Всякий человек имеет жизненную цель и притом свою собственную. Никто из людей не живет только для других, не служит только средством для чьих-либо чуждых целей. Потому что все люди **одарены одинаковыми физическими и нравственными силами, хотя и в различной степени.**

Стремиться к достижению этой жизненной цели есть нравственная обязанность человека, следовательно, его право.

Жизненная цель человека определяется потребностями и способностями человеческой природы, так как нет такого внешнего авторитета, который бы определял эту цель для всех людей без исключения».

В течение своей жизни В.И. Анучин пробовал себя в разных видах деятельности, но единственное, к сожалению, в чем он преуспел, это в фальсификациях. Да и то не смог сделать эти фальсификации такими, чтобы они не были разоблачены. Хотя и произошло это разоблачение не при его жизни.

В настоящей книге, составленной Константином Марковичем Азадовским, сыном Лидии Владимировны, приведены новые доказательства и освещены неизвестные ранее аспекты этой фальсификации, которая оказалась весьма долговечной.

Отмечу еще такой факт, что фальшивые письма В.И. Анучина вошли даже в академическое издание сочинений и писем М. Горького.

Книга заинтересует не только специалистов, но и самый широкий круг читателей. Она будет очень полезна историкам и краеведам как блестящий образец литературного расследования.

О страшной трагедии 1968 года

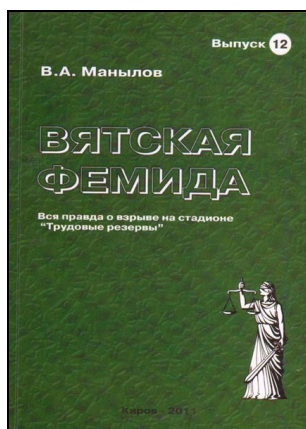
19 апреля 2012 года в Кировской областной библиотеке им. Герцена, в рамках «Краеведческого четверга» состоялась презентация книги Маньолов В.А. Вятская Фемида. Выпуск 12:

Вся правда о взрыве на стадионе «Трудовые резервы». Киров: Лобань, 2011, 120с. ISBN 978-5-85908-238-4.

Замечательный полтавский краевед Петр Петрович Ротач в письме к Е.Д. Петряеву от 6 марта 1978 года писал:

«Как мало на свете настоящих краеведов, я бы сказал ученых краеведов, и как много невежества в этом деле, дилетантства худшего образца. Как много развелось простых «переписывателей», не утруждающих себя ни поисками, ни обобщениями. И вот что печально: им то и предоставляют газеты. И они строчат, «засоряя» настоящую историю, затемняя ее самыми нелепыми измышлениями».

(ГАКО, ф. Р-139, оп.1, д.117, л.151).



Виталий Алексеевич Манылов, работник судебно-военной юстиции в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации, показал себя, как настоящий краевед. На основе архивных документов Государственного архива Кировской области (ГАКО), Государственного архива социально-политической истории Кировской области (ГАСПИКО) и уголовного дела из Государственного архива Российской Федерации он впервые рассказал правду о взрыве на стадионе «Трудовые резервы» города Кирова, произошедшем 25 мая 1968 года. Это взрыв унес жизни 39 человек, в том числе 11 школьников от 11 до 16 лет и 9 военнослужащих срочной службы, которые должны были принимать участие в массовых сценах спектакля Московского театра массовых представлений с участием ведущих артистов театра, кино, эстрады и цирка Москвы, Ленинграда и Киева. Спустя 42 года автор книги впервые изучил 18 томов уголовного дела по факту взрыва. В книге помещены полный список лиц,

погибших при взрыве, приведены показания потерпевших, воспоминания очевидцев – свидетелей взрыва и устранения его последствий. В книге впервые помещены фотографии известного кировского фотографа Виктора Павловича Пестова, который на свой страх и риск снял это трагическое событие.

В процессе активного обсуждения книги выступали сотрудники правоохранительных органов, принимавших участие в расследовании события, краеведы и работники стадиона. Выяснилось, что расследование велось под бдительным наблюдением партийных и советских органов. Для того, чтобы в городе Кирове никто не узнал правды, рассмотрение дела производилось в Верховном суде РСФСР в закрытом порядке. Несмотря на обещание кировских властей, в конце мая 1968 года, рассказать об этом трагическом событии в жизни города, до выхода книги ничего рассказано не было. Не может не вызвать удивления, что, как утверждалось в уголовном деле, в стране отсутствовали инструкции по работе с взрывчатыми веществами, Конечно, это неправда. Уже с давних времен такие инструкции по работе с взрывчатыми веществами, как особо опасными, существовали. Особенно хорошо это известно охотникам. А правила перевозки взрывчатых веществ всегда указываются в Технических условиях и ГОСТах на них.

Но утверждение партийных и советских органов никто оспаривать не стал, так как это давало возможность вывести из-под удара многих чиновников достаточно высокого ранга, проявивших поразительную беспечность. Автор этих строк был свидетелем части событий трагедии, наблюдая проход колонны людей со стадиона по улице Коммуны города. В одном из рядов я заметил хромающего Марка Бернеса. В уголовном деле же было сказано, что самолет с артистами пришел с некоторым опозданием и был тут же отправлен обратно, так как взрыв прозвучал за 20 минут до начала представления. Это, конечно, блеф. Партийное и советское руководство, по воспоминаниям очевидцев, некоторое время находилось в полной растерянности, опасаясь расправы за допущенную трагедию со стороны ЦК КПСС. А вот наша милиция проявила завидную оперативность в устранении последствий взрыва и действовала четко и решительно. Так что, партийным и советским органам, естественно, было не до артистов. Но, чтобы задним числом показать свою лихую оперативность, они исказили события в отчетах наверх. Такое искажение событий было обычным явлением в повседневной деятельности партийных и советских органов, что хорошо подтверждается материалами ГАКО и ГАСПИКО. Никто рапорты, написанные с участием

партийных и советских органов, опровергать не решился, а Верховный суд РСФСР, видимо, не имел оснований в них сомневаться.

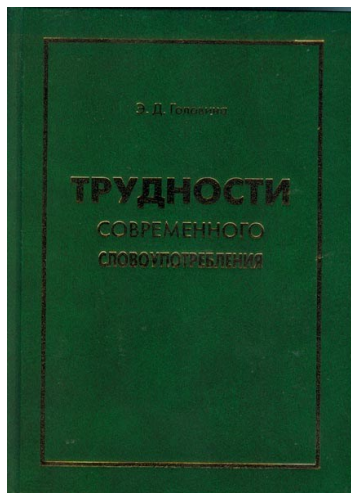
Так что, артисты к стадиону приехали. Зная характер Марка Бернеса, можно не сомневаться, что он бы не дал себя обмануть. Вполне возможно, что известный своей импульсивностью Бернес бросился спасать пострадавших, поэтому он и хромал. Таким образом, часть событий трагедии еще нуждается в уточнении. Поэтому название книги «Вся правда...» звучит претенциозно. Но основное дело сделано. Правда, о самой страшной, на сегодняшний день, трагедии в жизни города Кирова, спустя 43 года, опубликована.

Где находится афедрон?

Головина Э.Д. Трудности современного словоупотребления: Словарь-справочник / Э.Д. Головина. – Киров: О-Краткое, 2011. – 336 с.

ISBN 978-5-91402-078-8 Тираж 1000 экз.

В справочнике, составленном Элеонорой Дмитриевной, известным специалистом по современному русскому языку, более 1000 словарных статей, включающих несколько тысяч паспортизированных примеров реального речевого употребления, характерного для российских средств массовой информации конца XX – начала XXI века.



В современной устной и письменной речи ошибочное словоупотребление встречается гораздо чаще, чем нарушение

грамматических норм русского литературного языка. В качестве ошибочного словоупотребления хочу привести очень яркий пример, приведенный в письме известного российского книговеда Владимира Иосифовича Безъязычного к Евгению Дмитриевичу Петряеву от 26 ноября 1983 года:

«Несколько лет назад сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР В.Е. Ушаков опубликовал «Акцентологический словарь древнерусского языка середины XIV века» (в сборнике «Славянское и балканское языкознание», М., Наука, 1975). Там, среди прочих, появилось слово «АФЕДРОНА» раскрытое как «имя географическое». Какой-то досужий читатель решил уточнить это название и обратился в редакцию журнала «Рашен лингвистик», где было разъяснение по поводу того, что в труде другого нашего лингвиста И.С. Улуханова «Юдоль плачевная» толковалась как «долина вблизи Иерусалима». На самом деле – общеизвестное в христианской литературе обозначение жизненного пути, исполненного невзгод. Некто из Москвы, ссылаясь на этот пример, просил редакцию журнала помочь найти на географический карте местоположение АФЕДРОНЫ или АФЕДРОНА... Ответил на страницах журнала его редактор Александр Васильевич Исаченко. Он из числа первых послереволюционных «утеклецов»: так называли во времена царя Алексея Михайловича беглых за границу. Исаченко был очень знающим славистом, но к нам относился явно враждебно.

В №3/4, октябрь-декабрь указанного журнала 1977 года появилась заметка под названием: «Где же расположен (а) Афедрон (а)?». Автор сообщает, что слово «АФЕДРОН» встречается во многих текстах, начиная с евангельских (От Марка, VII, 18-19). И, приведя примеры, заключает: «На географических картах нам не удалось найти название «АФЕДРОН» или «АФЕДРОНА». Это и не удивительно, ибо слово это как читатель, несомненно, уже догадывается, не является географическим названием. Оно обозначает часть тела – «задний проход» и так далее. И в заключение: «Достойно удивления, что лицо, «составляющее» акцентологический словарь древнерусского языка XIV века, настолько слабо владеет этим языком, настолько поверхностно знакомо с элементарными евангельскими текстами, что принимает «задний проход» за имя географическое... И далее, в том же тоне, рекомендуется искать это слово «не в географических, а предпочтительнее в анатомических атласах».

Каково?! Это, пожалуй, не хуже опечатки в 5 выпуске «Прометей», где вместо слова «ктитора» появилось нечто похожее, но совершенно иное...

Кстати, мне пресловутый «АФЕДРОН» запомнился с «младых ногтей» из стихотворения Пушкина «Ты и я». Но ведь – Академия наук! Целый перечень именитых лиц редакционной коллегии и тех, кому автор словаря выражает «искреннюю благодарность за помощь в работе»

(ГАКО, ф. Р-139, оп.1 «а», д.3, л.287-293).

Все трудности современного словоупотребления Элеонора Дмитриевна рассматривает с привлечением обширного и тщательно паспортизованного материала: нескольких тысяч текстовых извлечений из газетных и журнальных публикаций, а также теле- и радиопередач. В том числе анализируются тексты песен, звучащих в эфире.

Поиски нужного читателю слова облегчаются с помощью алфавитного указателя, расположенного в конце словаря-справочника.

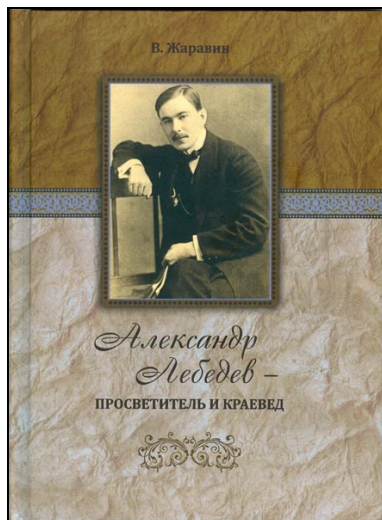
Словарь-справочник предназначен для самой широкой читательской аудитории. Хотел бы рекомендовать его учителям школ и школьникам, редакторам изданий, участникам документооборота всех отраслей нашей хозяйства, преподавателям высших и средних специальных учебных заведений, составляющим методические материалы, литераторам и научным работникам, пишущим статьи в различные издания. Словом, всем тем, кто хочет грамотно использовать слова русского языка, ибо словарь-справочник составлен профессионально, и пользоваться им очень легко.

Любить и знать

Жаравин В.С. Александр Лебедев – просветитель и краевед – Киров, ООО «Лобань», 2011. – 2011. – 184 с.: ил. ISBN 978-5-4338-0034-2. Тираж – 250 экз.

Книга посвящена жизни и деятельности Александра Сергеевича Лебедева, народного просветителя, организатора Кукарского образовательного общества, музеев в Вятке, Кукарке (ныне город Советск Кировской области), Царицыне (Волгоград), создателе зоопарков в Перми, Свердловске, ботанического сада Уральского отделения Академии наук. Александр Сергеевич в сложное послереволюционное время возглавил Вятскую публичную библиотеку им. А.И. Герцена, стоял у истоков государственной архивной службы Вятской губернии.

Александр Сергеевич родился 8 (20) апреля 1888 года в слободе Кукарка Яранского уезда Вятской губернии, в семье купца. В то время Яранский уезд был богатейшим уездом Вятской губернии, тоже богатой, несмотря на утверждения некоторых историков о ее бедности. Это хорошо видно из опубликованной дореволюционной статистики. Слобода Кукарка – одно из красивейших мест нашего края. Неподалеку от Кукарки было имение известного русского поэта Гавриила Романовича Державина.



Именно в слободе Кукарка, где, вместе с ближними волостями, насчитывалось свыше 2000 лиц, занимающихся кружевным промыслом, 1 августа 1893 года была открыта кружевная мастерская, содержащаяся на средства Вятского губернского земства. Мастерская была открыта благодаря энергии и стараниям жены местного врача А.Г. Афанасьевой. Приехавший в Кукарку председатель Вятской губернской земской управы Авксентий Петрович Батуев, наш великий землец, увидев красоту кружев, предложил Афанасьевой сделать, как бы выразились сегодня, гениальный маркетинговый ход: изготовить кружевные покрывала для четырех дочерей Императора и отправить этот подарок в Петербург. Императрице этот подарок очень понравился, и она поблагодарила кружевниц за прекрасные покрывала в нескольких петербургских изданиях. Сообщение перепечатали многие газеты России, и мастерская сразу стала знаменитой. Более того, многим дамам страны, конечно, захотелось иметь такие же покрывала, как у дочерей царя. И

мастерская была полностью обеспечена заказами вплоть до самой революции. Много заказов приходило из-за рубежа, благо кружевницы мастерской участвовали в международных выставках, где демонстрировали свое мастерство.

1 января 1910 года состоялось открытие Кукарского образовательного общества. В своей речи на открытии его, Александр Сергеевич, прежде всего, указал на важность изучения Вятского края в научном и промышленном отношении. Далее он сказал слова, которые не потеряли своей актуальности и сегодня: «Первым признаком культурности народа надо считать его небезучастность к своему краю. Но в нашем народе уживаются две несовместимые черты: любовь к своему краю и полное незнание его. Последнее, конечно, сильно отражается на культуре народа». Общество уже в апреле 1910 года открыло музей, которому Лебедев подарил 3500 экспонатов, передал около 1000 книг и архив Кукарского удельного Приказа в количестве 750 дел.

Так началась его деятельность просветителя и краеведа, которая продолжалась в непростое время: Александр Сергеевич был расстрелян 29 ноября 1937 года. Однако, народный просветитель и краевед, старясь преодолевать все трудности и препятствия, делал все возможное для создания новых уголков культуры и оставил глубокий след в культурном строительстве нашей страны. Об этом прекрасно сказано в воспоминаниях известного уральского писателя и краеведа Владимира Павловича Бирюкова (1888-1971), приведенных в книге.

Книга написана хорошим я зыком, легко и увлекательно читается. Она будет полезна всем, кто интересуется историей нашей родины, хотя бы потому, что возвращает читателю имя человека, положившего всю свою жизнь на создание базы народного просвещения для многих поколений России.

Книга снабжена всем необходимым справочно-поисковым аппаратом, который делает ее очень удобной для использования долгие годы и в качестве справочного издания.

Гордость нации

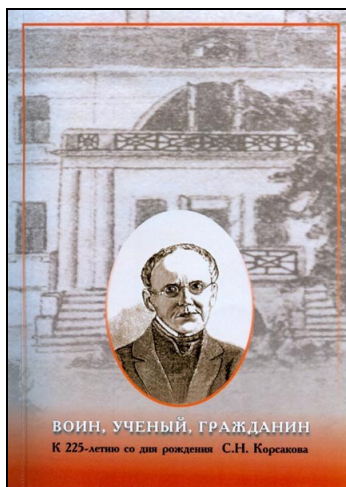
Воин, ученый, гражданин. К 225-летию со дня рождения С.Н. Корсакова. – М.: Техполиграфцентр, 2012. – 132 с.: ил. ISBN 978-5-94385-070-7.

Тираж – 1000 экз.

Сборник статей, изданный под общей редакцией Президента Российского гомеопатического общества Владимира Семеновича Мищенко, посвящен памяти Семена Николаевича

Корсакова (1787-1853), одного из тех людей, «которые сделали бы честь самой превосходной нации на земле».

На основе архивных материалов и на фоне исторических событий того времени в книге воссоздана атмосфера жизни Семена Николаевича и окружающих его людей, их устремлений и путей служения отечеству, их деятельном участии в защите родины, ее развитии и процветании.



Семен Николаевич Корсаков родился в 1787 году в Херсоне, построенном его отцом инженером-полковником Н.И. Корсаковым, выпускником Оксфордского университета. Крестным отцом Семена был Светлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический.

Семен Николаевич был необычайно талантливым и всесторонне развитым человеком. Круг его интересов был необычайно широк – от российской истории до последних достижений науки и техники, за которыми он внимательно следил, выписывая специальные зарубежные издания. Кстати, это было характерно для образованных людей того времени. Он собрал огромную библиотеку, владел английским, немецким и французским языками.

В своей лаборатории Корсаков изучал деятельность человеческого мозга, природу магнетизма, постоянно изобретал хитроумные приборы. Ему удалось впервые в мире разработать оригинальный метод быстрой обработки больших объемов информации, что подробно описано в сборнике сотрудниками МИФИ и МАТИ – РГТУ имени К.Э. Циолковского.

Семен Николаевич до конца своей жизни был неустанным тружеником, занимаясь обширной врачебной практикой, пропагандируя гомеопатию и работая над исследованиями лекарств, о чем также подробно рассказано в сборнике. Замечу, что, вероятно, Корсаков был причастен еще к одному благородному делу.

В письме к известному ученому, сотруднику Пушкинского Дома, Вадиму Эразмовичу Вацуру от 7 августа 1981 года Е.Д. Петряев писал: «Наметилась еще одна негласная линия связи декабристов со столицей. Это – гомеопатия, модная в николаевское время. Оболенский писал («Звенья», №1), что лекарства в Сибирь привозил сын знаменитого петербургского гомеопата Кремкова. Кто-то присылал немецкие лечебники и рукописные «экстракты». Конечно, приходили ответы на запросы».

(ГАКО, ф. Р-139, оп.1 «а», д.3, л.118).

Думаю, что и тут не обошлось без Корсакова, который был необычайно добрым и отзывчивым человеком. Кроме того, как участник Отечественной войны 1812 года, он был знаком со многими декабристами и, несомненно, сочувствовал им, как и его дядя, знаменитый адмирал Николай Семенович Мордвинов, заменивший Семену Николаевичу рано погибшего отца.

Думается, что необходимо перевести и издать работы Семена Николаевича, опубликованные на иностранных языках, опубликовать его дневники, записные книжки и переписку, несомненно, содержащие много материалов, не потерявшие своей актуальности и сегодня. Замечу, что у нас вообще очень мало материалов об обыденной жизни образованных людей того времени, что мешает объективно оценивать многие события прошлого.

Сборник предназначен не только для тех, кто интересуется историей медицины и науки в России, но и для широкого круга читателей, так он возвращает нам одно из незаслуженно забытых имен.

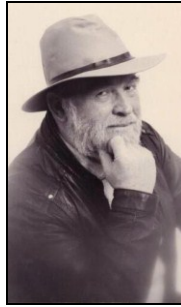
К недостаткам сборника следует отнести отсутствие справочно-поискового аппарата, что, несомненно, затрудняет его использование для справок.



Об авторах



Валентин Бажанов. Заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии Ульяновского государственного университета.

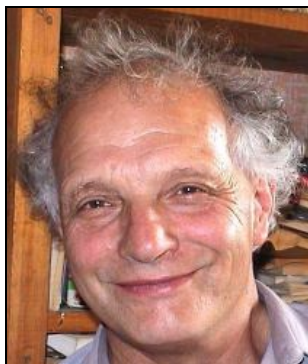


Евгений Майбурд – экономист, автор статей по истории, религии, культуре.

Оскар Шейнин – историк математики, почетный член лондонского Королевского статистического общества.



Борис Э. Альтшулер – врач-хирург, автор нескольких книг по лингвистике.



Борис Альтшулер – Старший научный сотрудник
Физического института им. П.Н. Лебедева РАН



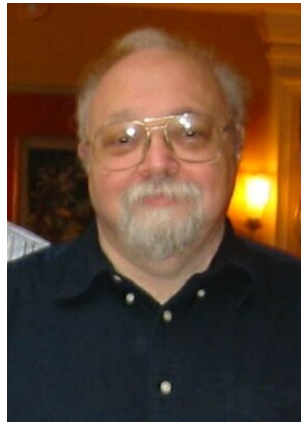
Наталья Завойская – научный сотрудник НИЦ
«Курчатовский институт», издатель трудов отца – академика
Завойского.



Серж Хазанов – поэт, писатель, автор книг, написанных по-
французски, участник международных книжных ярмарок.



Стив Левин – кандидат филологических наук



Борис Тененбаум – автор исторических очерков и книг.



Эдуард Бормашенко – публицист, физик. Живет в Ариэле, Израиль



Александр Левиков – поэт, писатель публицист.



Люсьен Фикс – переводчик, журналист, радиокomentатор.
Автор книги «В эфире "Голос Америки"»



Дора Ромадинова – член Союза Композиторов, журналист



Евгений Кисин – всемирно известный пианист, лауреат множества премий и почетных званий.



Борис Юдин – поэт и прозаик.



Михаил Воловик – поэт.



Анатолий Николин – поэт, прозаик, член-корреспондент Крымской литературной академии.



Борис Суслович – литератор.



Владимир Крastoшевский – редактор русской газеты в Филадельфии.



Владимир Савич – литератор.



Ирина Бузько – блогер, журналист.



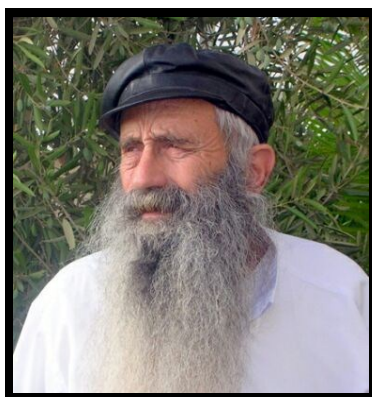
Моисей Борода – композитор, писатель, поэт.



Алекс Тарн – литератор, переводчик, драматург.



Ася Лapidус – математик, литератор.



Вильям Баткин – писатель, публицист.



Игорь Ефимов – писатель, философ, издатель.



Мина Полянская – член немецкого Пушкинского общества и немецкого отделения международного ПЕН клуба.



Инна Кушнер – инженер-конструктор, мемуарист.



Михаил Юдсон – литератор.



Александр Рашковский – краевед-любитель.



Журнал «Семь искусств», июль 2012
ред.-сост. Евгений Беркович
изд-во «Общества любителей еврейской старины»
Ганновер 2012, 547 стр. 26,7 а. л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная верстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер
Общество любителей еврейской старины